ТУРГЕНЕВ

Юрий Лебедев

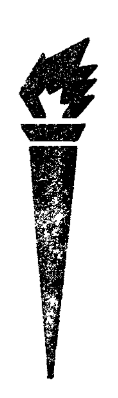


ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Жизнь
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ

Серия биографий

ОСНОВАНА
В 1933 ГОДУ
М. ГОРЬКИМ



706

Юрий Лебедев

ТУРГЕНЕВ

МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
1990

ББК 83.3Р1
Л 33

Рецензент —
доктор филологических наук
Н. Н. СКАТОВ

Лебедев Ю. В.

Л 33 Тургенев — М. : Мол. гвардия, 1990. — 608 с., ил. — (Жизнь замечат. людей. Сер. биогр.; Вып. 706)

ISBN 5-235-00789-1 (2 з-д.)

Книга доктора филологических наук, профессора Ю. В Лебедева посвящена жизненному пути и духовным исканиям великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева Эта биография написана с учетом новых, ранее неизвестных фактов жизни и творчества писателя, которые подчас бросают неожиданный свет на личность Тургенева, позволяют глубже понять его мир.

Л $\frac{4702010201-099}{078(02)-90}$ 149—90

ББК 83.3Р1

ISBN 5-235-00789-1 (2 з-д.)

«Настали темные, тяжелые дни...

Свои болезни, недуги людей милых, холод и мрак старости... Все, что ты любил, чему отдавался безвозвратно, — никнет и разрушается. Под гору пошла дорога.

Что же делать? Скорбеть? Горевать? Ни себе, ни другим ты этим не поможешь.

На засыхающем покоробленном дереве лист мельче и реже — но зелень его та же.

Сожмись и ты, уйди в себя, в свои воспоминанья, — и там, глубоко-глубоко, на самом дне сосредоточенной души, твоя прежняя, тебе одному доступная жизнь блеснет перед тобою своей пахучей, все еще свежей зеленью и лаской и силой весны!» — так писал И. С. Тургенев в июле 1878 года в стихотворении в прозе «Старик».

Прошло несколько лет, и в марте 1882 года он почувствовал первые признаки нешуточной, роковой болезни.

Зиму Тургенев провел в Париже. А предыдущим летом жил в Спасском вместе с семьею своего друга, русского поэта Я. П. Полонского. Теперь Спасское ему являлось «каким-то приятным сном». Он мечтал о поездке в Россию летом 1882 года, но эта мечта оказалась неосуществимой...

В конце мая его «частью перенесли, частью перевезли» в Буживаль на дачу Полины Виардо. Здесь в усадьбе «Ясени», «на краюшке чужого гнезда», рядом с домом семьи Виардо, вдали от родины и соотечественников догорала жизнь русского писателя...

Он еще не думал, что подступившая болезнь грозит смертью, он еще верил, что жить с нею может много лет. «Надо лежать и ждать недели, месяцы и даже годы», — успокоил знаменитый доктор Шарко, признавший у пациента грудную жабу. Что ж? Остается примириться с безысходностью положения: живут же устрицы, прилепившись к скале...

Но как горько быть осужденным на неподвижность, когда кругом все зелено, все цветет, когда в голове столь-

ко планов литературных, когда тянет в родное Спасское, а об этом нельзя и подумать...

«О мой сад, о заросшие дорожки возле мелкого пруда! о песчаное местечко под дряхлой плотиной, где я ловил пескарей и гольцов! и вы, высокие березы, с длинными висячими ветками, из-за которых с проселочной дороги, бывало, неслась унылая песенка мужика, непрерывно прерываемая толчками телеги, — я посылаю вам мое последнее прости!.. Расставаясь с жизнью, я к вам одним простираю мои руки. Я бы хотел еще раз надышаться горькой свежестью полыни, сладким запахом сжатой гречихи на полях моей родины; я бы хотел еще раз услышать издали скромное тяканье надтреснутого колокола в приходской нашей церкви; еще раз полежать в прохладной тени под дубовым кустом на скате знакомого оврага; еще раз проводить глазами подвижный след ветра, темной струею бегущего по золотистой траве нашего луга...».

Сбывались давние его предчувствия. 30 мая 1882 года Тургенев писал отъезжавшему в гостеприимное Спасское Полонскому: «Когда вы будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу, родине поклонитесь, которую я уже вероятно никогда не увижу».

Однако в июле наступило облегчение: Тургенев получил возможность стоять и ходить в течение десяти минут, спокойно спать по ночам, спускаться в сад. Появилась надежда уехать зимой в Петербург, а лето провести в Спасском. И даже «литературная жилка» в нем «зашевелилась», а вместе с нею пришли и встали воспоминания... Не только «пахучей, свежей зеленью» веяло от них. Воскресала в памяти жизнь живая и сложная, а в ней, как в капле воды, отражались суровые исторические судьбы России — далекой, милой и горькой Родины. Как случилось, что признанный миром певец женской любви умирает на чужбине, в одиночестве, так и не свив для себя теплого семейного гнезда? Почему жизнь оторвала его от родных берегов, подмыв вековые корни, и, как река в половодье, унесла в неведомую даль и прибила к чужому берегу, к чужой стране и чужой семье? Кто виноват в этом, он сам или исторические обстоятельства? Вероятно, и то и другое. Тургенев верил в судьбу, но по-своему, без фатализма. «У каждого человека есть своя судьба! <...> Как облака сперва слагаются из паров земли, восстают из недр ее, потом отделяются, отчуждаются от нее и несут ей, наконец, благодать или гибель, так около каждого из нас же самих образуется... род стихии, которая потом разрушительно или спасительно действует на нас же. Эту-то стихию я называю судьбой... Другими словами и говоря просто: каждый делает свою судьбу, и каждого она делает...»

«Всякий человек сам себя воспитать должен — ну хоть как я, например... А что касается до времени — отчего я от него зависеть буду? Пускай же лучше оно зависит от меня», — самоуверенно заявлял его Базаров. Дерзкий юноша, он забывал о силе традиций, о зависимости человека от исторического прошлого. Человек — хозяин своей судьбы, но он еще и наследник отцов, дедов и прадедов с их культурой, с их деяниями, с их нравственными достоинствами и недостатками. Сколько поколений создавали то «облако», которое грозит обрушиться на человека или благодатным дождем, или разрушительной бурей?

И в памяти всплывали стихи поэта, которого Тургенев всю жизнь боготворил, чей локон волос носил в медальоне на своей груди до самого смертного часа. Шепотом повторял он строки пушкинского «Воспоминания»:

Когда для смертного умолкнет шумный день
  И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
  И сон, дневных трудов награда,
В то время для меня влачатся в тишине
  Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
  Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
  Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
  Свой длинный развивает свиток...

СПАССКОЕ ГНЕЗДО

По материнской линии он принадлежал к старинному дворянскому роду Лутовиновых, коренных русаков, в самой фамилии которых слышатся отголоски среднерусского их происхождения: «лутошка» — ободранная липка, без коры. В старой народной сказке жили-были дед да баба, у них не было детей, и вот взял старик липовое полено и вырезал из него мальчика по имени Лутонюшка... Липовые леса, липовые аллеи дворянских парков... В изобилии росло это дерево тургеневского детства и в Спасском саду, и в Чаплыгинском лесу, и на просторах плодородного подстепья Орловской губернии.

Жили Лутовиновы домоседами, на государственной службе себя не прославили, в русские летописи не вошли. Предание говорило о Марке Тимофеевиче Лутовинове, которому царь Алексей Михайлович в 1669 году вручил ключи от города Мценска, сделав его мценским воеводою. А затем родовая семейная память цеплялась за имя тургеневского прадеда по матери, Ивана Андреевича Лутовинова, который имел трех сыновей и пять дочерей. Два сына, Алексей и Иван, прожили жизнь холостыми, третий, Петр, был женат на Екатерине Ивановне Лавровой. Усадьбы Ивана и Петра располагались по соседству друг с другом при деревнях, названных по именам их владельцев — Ивановское и Петровское.

Оба брата были рачительными хозяевами. Петр Иванович увлекался садоводством и научил крестьян прививать сортовые яблони и груши к лесным дичкам. Тургенев помнил, что в Чаплыгинском лесу, среди вековых дубов и ясеней, кленов и лип, росли яблони с плодами самого отменного вкуса. В изобилии водились тут орехи и черемуха, калина и рябина, малина и земляника. На расчищенной поляне заведена была пасека: запах душистого липового меда наполнял весь лес, а с легким летним ветерком доносился до самого Петровского.

Иван Иванович Лутовинов получил прекрасное по тем временам образование: он учился в Пажеском корпусе вместе с А. Н. Радищевым. Выпускников этого привилегированного учебного заведения ожидала блестящая

карьера. Но что-то не заладилось у Ивана Ивановича на государственной службе. Рано вышел он в отставку, вернулся в село Ивановское и занялся хозяйством. Началось строительство новой усадьбы. В стороне от Ивановского, на вершине пологого холма, выросла каменная церковь Спаса Преображения с приделом в честь святого мученика Никиты, возведен был огромный барский дом в форме подковы, в верхней части которой располагался главный корпус, построеный из вековых дубовых бревен с просторным залом в два света: размер верхних окон в нем достигал трехметровой высоты. От основного корпуса двумя полукружьями расходились каменные галереи и завершались расположенными симметрично друг против друга большими флигелями с мезонинами.

На склоне холма Иван Иванович разбил новый спасский сад: на фоне лип, дубов, кленов и ясеней красовались в нем стройные группы хвойных деревьев: высоких елей, сосен и пихт. Иван Иванович пересадил их из старого Ивановского парка: выкорчеванные деревья весом до двух тонн перевозились в вертикальном положении на специально устроенных повозках, в которые впрягалось несколько лошадей. «Много, много было хлопот и трудов! — рассказывали старожилы Ивану Сергеевичу и с гордостью добавляли: — А нашему барину все по силам!»

«Вот она, старая-то Русь!» — писал впоследствии Тургенев. Солоно обходились мужикам широкие барские затеи, трещали крестьянские спины, надрывались от непосильного труда ивановские лошаденки, выросшие на тощих мужицких кормах. Да уж и крут был Иван Иванович в обращении с подвластным ему деревенским людом. Чуть что не по нем — розги на конюшне, это в лучшем случае, а то подведет и под красную шапку — отправит в солдатскую службу на 25 лет вне очереди или сошлет в дальнюю деревню на самые что ни есть тяжелые работы. Но вот привыкли, обтерпелись, научились относиться к барскому гневу и немилости как к стихийному природному бедствию. Сердись на непогоду, грози небу кулаком — а что толку! У природы свои законы, и к ропоту людскому она равнодушна. Так и барин — чем строже взыщет, тем милее мужику...

Вспоминал Тургенев о своих предках Лутовиновых, когда писал «Записки охотника», когда работал над рассказом «Два помещика». Мардарий Аполлонович Стегунов, дворянин старого патриархального покроя, попивал

на веранде чаек и, прислушиваясь к ударам розог на конюшне, добродушно приговаривал в такт: «Чюки-чюки-чюк! Чюки-чюк! Чюки-чюк!» А спустя четверть часа после этой экзекуции потерпевший буфетчик Василий так отзывался о своем барине: «А поделом, батюшка, поделом. У нас по пустякам не наказывают; такого заведенья у нас нету — ни, ни. У нас барин не такой; у нас барин... такого барина в целой губернии не сыщешь».

Часто всматривался Тургенев в портрет Ивана Ивановича в спасской фамильной галерее: бледно-русые волосы, высокий открытый лоб с глубокой волевой морщиной между бровей, а в углах рта — две складки, придающие лицу и надменное, и какое-то нервное выражение. Сразу виден характер — энергичный и жесткий. Художник изобразил его сидящим за столом, с рукою, положенною на счеты.

Всю жизнь он подчинил накопительству и обогащению. Используя высокое положение в кругах мелкого провинциального дворянства, Иван Иванович правдами и неправдами расширял границы своих владений, а под старость лет вообще превратился в Скупого рыцаря. Особое пристрастие питал он к жемчугу, который складывал в специально сшитые мешочки. Случалось, что он брал вещь втридорога, заметив в ней жемчужные зерна, и, вынув дорогие жемчужины, возвращал ее владельцу. Ивана Ивановича Лутовинова имел в виду Тургенев в повести «Три портрета», где старик-скупец пересчитывает палочкой кульки с деньгами.

Скопидомство и жестокость уживались в нем с довольно широкой образованностью и начитанностью. Из Пажеского корпуса Иван Иванович вынес знание французского и латинского языков, в Спасском он собрал великолепную библиотеку из сочинений русских и французских классиков XVIII века. Вряд ли предполагал суровый старик, кому послужат верой и правдой именно эти, подлинные его сокровища.

И хоть восхищалась старая крестьянская Русь энергией и силой, размашистой предприимчивостью своего барина, недобрую славу оставил он о себе в народе. Все легенды об основателе спасской усадьбы неизменно окрашивались в какие-то жутковатые тона. Погребен был Иван Иванович в фамильном склепе под часовней, им самим сооруженной при въезде в усадьбу, в углу старого кладбища. С этой часовней и расположенным невдалеке от нее Варнавицким оврагом связывали крестьяне страшное поверье. Два эти места считались в народе нечистыми: неспокойно лежалось усопшему барину в каменном склепе, мучила совесть, давила могила. Говорили, что по ночам выходит он из часовни и бродит по зарослям глухого Варнавицкого оврага и по плотине пруда в поисках разрыв-травы. Из поколения в поколение передавалась эта легенда, и не случайно звучит она в устах крестьянских ребят из «Бежина луга». Да и сам Тургенев еще мальчиком обегал это проклятое народом место, а в 1881 году говорил гостившему у него в Спасском Я. П. Полонскому: «Ни за что бы я не желал быть похороненным на нашем спасском кладбище, в родовом нашем склепе. Раз я там был и никогда не забуду того страшного впечатления, которое оттуда вынес...»

Другим проклятым урочищем считались остатки старой лутовиновской усадьбы на Ивановском поле: канавы, служившие оградой барского дома, сада и парка, пересохший пруд, затянутый илом и поросший болотной осокой, три одинокие ели из бывшего сада, росшие близко одна от другой, в двадцати метрах от пруда, стройные и такие высокие, что вершины были видны на горизонте чуть ли не за 60 верст от Ивановского. Старожилы утверждали, что эти ели посажены при основании усадьбы и в ясную погоду их можно рассмотреть даже из Орла. Не все по силам оказалось и Ивану Ивановичу: выкопать с корнем эти вековые деревья и перевезти в спасскую усадьбу он не смог. В 1847 году одна ель упала во время бури на вал канавы так, что вершина ее осталась над землей и служила забавными качелями для крестьянских ребят, пока однажды ель не скатилась и не захлестнула вершиной мальчика и девочку.

С этими елями тоже связано было страшное предание. Рассказывали, что жил некогда по соседству в сельце Губарево бедный помещик и служил главным управляющим спасской вотчиной у богатых Лутовиновых. Часто он наказывал кнутом и розгами спасских крестьянок. Наконец одна из них не выдержала, подстерегла жестокого управляющего при выезде из Чаплыгина леса и убила толкачом в голову. Хватились господа, стали искать, да так и не нашли и не узнали, куда исчез их верный слуга. А крестьянка закопала его у Ивановского пруда под тремя елями.

Спасские легенды, художественно осмысленные Тургеневым, органически вошли в роман «Рудин»: «Авдюхин пруд, возле которого Наталья назначила свидание Ру-

дину, давно перестал быть прудом. Лет тридцать тому назад его прорвало, и с тех пор его забросили. Только по ровному и плоскому дну оврага, некогда затянутому жирным илом, да по остаткам плотины можно было догадаться, что здесь был пруд. Тут же существовала усадьба. Она давным-давно исчезла. Две огромные сосны напоминали о ней; ветер вечно шумел и угрюмо гудел в их высокой, тощей зелени... В народе ходили таинственные слухи о страшном преступлении, будто бы совершенном у их корня; поговаривали также, что ни одна из них не упадет, не причинив кому-нибудь смерти; что тут прежде стояла третья сосна, которая в бурю повалилась и задавила девочку. Все место около старого пруда считалось нечистым; пустое и голое, но глухое и мрачное, даже в солнечный день, оно казалось мрачнее и глуше от близости дряхлого дубового леса, давно вымершего и засохшего. Редкие серые остовы громадных деревьев высились какими-то унылыми призраками над низкой порослью кустов. Жутко было смотреть на них: казалось, злые старики сошлись и замышляют что-то недоброе. Узкая, едва проторенная дорожка вилась в стороне. Без особенной нужды никто не проходил мимо Авдюхина пруда».

Отшумела и ушла в небытие старая жизнь, но память о ней хранилась в народных рассказах. Да и сама природа как бы излучала ее. Это излучение с детских лет улавливала эстетически чуткая натура Тургенева. И о деде своем, Петре Ивановиче, довелось услышать ему из уст спасских крестьян жуткие истории. Кроме Петровского, владел он будто бы землей и усадьбой в селе Топки Ливенского уезда, и была окружена эта усадьба соседями-однодворцами. Одна из тяжб с ними закончилась кровопролитием. Собрал барин своих мужиков с дубьем, расставил в засадах и послал сказать противникам своим, чтобы убирались со своей земли подобру-поздорову. Сбежались однодворцы, началась брань, а потом страшное побоище. Лутовинов выехал со всею охотой, напоенной допьяна и стрелявшей из пистолетов. «Когда Лутовинов одолел, тогда собрал все мертвые тела и повез их в город Ливны; едучи туда через селение противников, зажег оное с обеих концов и кричал: «Я — бич ваш!» Приехавши в Ливны, он прямо доставил убитых в суд и сказал судьям: «Вот, я управился». Его, разумеется, взяли, и он сидел в деревне своей более 15 лет на поруках».

Таков рассказ одного из орловских старожилов, рассказ, как выяснилось в наши дни, полулегендарный: в действительности такое бесчинство совершил не Петр, а Алексей Иванович Лутовинов. Тургенев об этом не знал и заставил однодворца Овсянникова из «Записок охотника» по-своему пересказать эту историю: «А хоть бы, например, опять-таки скажу про вашего дедушку. Властный был человек! Обижал нашего брата. Ведь вот вы, может, знаете, — да как вам своей земли не знать, — клин-то, что идет от Чаплыгина к Малинину?.. Он у вас под овсом теперь... Ну, ведь он наш, — весь как есть наш. Ваш дедушка у нас его отнял; выехал верхом, показал рукой, говорит: «Мое владенье» — и завладел... Подите-ка, спросите у своих мужиков: как, мол, эта земля прозывается? Дубовщиной она прозывается, потому что дубьем отнята».

Широко и размашисто жили Лутовиновы, ни в чем себе не отказывая, ничем не ограничивая властолюбивых и безудержных натур: сами творили свою судьбу, исподволь становились жертвами собственных прихотей. Двоим из них так и не удалось свить семейного гнезда. Впрочем, и Петру Ивановичу семейная жизнь была заказана: женился он в 1786 году, а умер 2 ноября 1787 года*, не дожив двух месяцев до рождения дочери Варвары, появившейся на свет 30 декабря уже сиротой. До восьми лет жила девочка в Петровском под присмотром своих теток: нелюбимое было чадо у матери. А потом Екатерина Ивановна вышла замуж вторично за соседа по имению, дворянина Сомова, тоже вдовца с двумя дочерьми, владельца села Холодова, в сорока верстах от Спасского-Лутовинова.

Ревностно и недоверчиво встретили дочери Сомова Варвару: статные и красивые, с презрением смотрели они на сутуловатую и рябоватую девочку с широким утиным носом и острыми черными глазками, явившуюся непрошеной в их отцовский дом. А мать, желая понравиться мужу, отдавала заботу и ласку чужим детям, совершенно забыв о родной дочери. Со всех сторон оскорбленная и помыкаемая, сполна пережила Варвара Петровна горькую долю падчерицы в чужом доме, среди равнодушных к ней людей. Совершенно беззащитная, но по-лутовиновски гордая и своенравная, не могла она ни покориться, ни открыто вступить в борьбу. В минуты уни-

* Здесь и далее даты приведены по старому стилю.

жений она забивалась в угол, молча перенося очередную обиду, и только черные, сверлящие обидчиков глаза полыхали гневом и ненавистью.

Шли годы, дочери Сомова вышли замуж, Екатерина Ивановна умерла, и шестнадцатилетняя девочка оказалась в полной зависимости от разнузданного пьяницы-старика, державшего ее в черном теле, запиравшего на ключ в маленькой комнатке. Наконец, когда чаша терпения переполнилась, зимой 1810 года, полуодетая, Варвара Петровна выскочила в окно и убежала к своему дядюшке Ивану Ивановичу в Спасское-Лутовиново.

Он встретил племянницу без особой радости, но все-таки вошел в ее положение и оставил при себе. Человек сухой и черствый, не знавший в своей одинокой жизни теплых родственных чувств, Иван Иванович совершенно не заботился о своей племяннице и не любил ее. Еще три года прошли для Варвары Петровны в полном одиночестве и периодически повторявшихся стычках с выживающим из ума, помешавшимся на своих богатствах стариком.

Да и время подошло суровое и тревожное. Летом 1812 года войска Наполеона переправились через Неман и вторглись в русские пределы. Пришла «гроза двенадцатого года»! Передовые круги орловского дворянства и купечества охватил патриотический подъем, объявили сбор средств для создания Орловского народного ополчения. Иван Иванович не мог ударить лицом в грязь, пришлось и ему поступиться кое-какими правами при всей его феноменальной скупости. Вслед за денежными пожертвованиями объявили рекрутский набор. Тележный скрип день и ночь раздавался по лутовиновским селам и деревням, по орловским проселочным дорогам. Уходили в ополчение мужики, сиротели крестьянские семьи...

Весь июль и август тянулись мимо Спасского по пыльной дороге войска, направлявшиеся к Москве. Известие о Бородинской битве и сдаче Москвы Иван Иванович воспринял как полное поражение. А между тем война разгоралась и требовала от дворянства новых и новых жертв. Началась закупка лошадей по ценам военного времени, на глазах у строптивого барина таял Спасский конный завод: лучшие орловские рысаки отбирались для гусарских полков. Пустели хлебные амбары и усадебные погреба. Для снабжения русских войск в октябре 1812 года отправился из Орла обоз из 98 конных повозок, а в ноябре шестьдесят семь пехотных и егерских батальонов промаршировали мимо Спасского в действующую армию. Война принимала народный характер, начиналась величественная эпопея изгнания французских полчищ из России.

Вскоре по приказу М. И. Кутузова в Орле организовали «Главный военный госпиталь для раненых», под который заняли офицерский корпус, вице-губернаторский дом, гимназию и более двадцати частных домов. Раненых везли через Спасское, и Варвара Петровна помогала измученным долгим странствием офицерам, когда подводы останавливались на отдых. Подобно большинству молодых дворянок, Варвара Петровна испытывала в эти дни особое патриотическое воодушевление и уже открыто спорила с дядюшкой. Ссора, которая случилась между ними 8 октября 1813 года, едва не закончилась для девушки самым драматическим образом: Иван Иванович выгнал племянницу из дома с угрозой поехать на следующий день в Мценский уезд и отписать все свое состояние сестре, Елизавете Ивановне. Но в этот же день после обеда барин вышел на балкон, уселся за блюдо с вишнями, поданными на десерт, и вдруг поперхнулся, посинел, повалился на пол и скоропостижно скончался на руках у верной ключницы Ольги Семеновны.

За Варварой Петровной послали нарочного, она незамедлительно вернулась и приложила весь свой ум, хитрость и изворотливость для того, чтобы выиграть процесс и удержать за собой право на наследство. Мценский уездный суд, после долгого разбирательства, решил дело в пользу племянницы, не удовлетворив притязаний ее тетки, Елизаветы Ивановны Аргамаковой, на основании того, что Варвара Петровна оказалась прямой и единственной наследницей Ивана Ивановича по мужской линии родства.

Ей было 26 лет, когда злая судьба, наконец, сжалилась над нею и неожиданно щедро сделала ее единственной и полновластной хозяйкой огромного состояния: только в орловских имениях насчитывалось 5 тысяч душ крепостных крестьян, а кроме Орловской, были деревни еще и в Калужской, Тульской, Тамбовской, Курской губерниях... Одной серебряной посуды в Спасском оказалось 60 пудов, а скопленного Иваном Ивановичем капитала — 600 тысяч рублей.

Вместе с баснословным богатством получила Варвара Петровна полную свободу и право делать все что угодно как с собой, так и с подвластными ей людьми. После

многолетнего и беспощадного подавления личности наступило опьянение самовластием. У Тургенева в «Записках охотника» есть один эпизодический, но весьма характерный образ любовницы графа Петра Ильича: «Акулиной ее называли; теперь она покойница, — царство ей небесное! Девка была простая, ситовского десятского дочь, да такая злющая! По щекам, бывало, графа бьет. Околдовала его совсем. Племяннику моему лоб забрила: на новое платье щеколат ей обронил... и не одному ему забрила лоб. Да...» Жертва крепостнического унижения и бесправия, эмансипируясь, превращалась в деспотку и тиранку; и такое случалось не только с людьми из господ, но сплошь и рядом — с людьми из народа. И скольким поколениям русских людей придется изживать вековые недуги крепостничества, оставившие глубокий след в национальной психологии!

Но когда после смерти матери, в 1850 году, Тургенев открыл ее дневник, среди разного рода «художеств» капризной и своевольной барыни-крепостницы его неожиданно прожгли своей искренностью и глубиною раскаяния следующие строки: «Матушка, дети мои! Простите меня! И ты, о Боже, прости меня, ибо гордыня, этот смертный грех, была всегда моим грехом».

Просто было осуждать мать в годы юности, когда жизнь виделась в розовом свете, когда самонадеянному человеку казалось, что судьба в его руках и жизнь легко переменить — стоит только захотеть! Теперь, подводя итоги прожитой жизни, Тургенев думал иначе: прошлое вставало перед ним во всей полноте и сложности...

Подобно братьям Лутовиновым, Варвара Петровна на первых порах проявила незаурядное хозяйственное рвение. Она хотела, чтобы дом ее был полной чашей, и даже стремилась, чтобы мужикам ее жилось хорошо. Ведь крестьянское довольство тоже входило в состав общепризнанных дворянских добродетелей, и владельцы богатых имений добивались, чтоб и мужики у них были хозяйственные и крепкие — не как у соседей. Варвара Петровна гордилась, что под ее неусыпным присмотром и заботой крестьяне живут лучше, чем у тех дворян, которые проводят время за границей, а управление имениями поручают иностранцам.

И нельзя не признать, что при всех крепостнических причудах и издержках хозяйка из нее получилась рачительная. Леса доставляли ей в изобилии материал для изготовления самых разных изделий, от мелкой домашней

утвари до превосходной дубовой и ореховой мебели, которую делали искусные столяры и ремесленники, — целый штат их содержался при барской усадьбе. Те же леса доставляли несметное количество своих даров — орехов, грибов и ягод. На пахотных землях плодородного подстепья выращивались богатые урожаи пшеницы и ржи, ячменя и овса, гречихи и проса, гороха, мака, репы и картофеля. Волокна пеньки и льна обрабатывали дворовые и крестьянские девушки: искусные мастерицы, они пряли нити от самых тонких «талек» до хлопковых, мешковых и дерюжных. А потом доморощенные ткачи из тонких нитей ткали полотно для господского «носильного и столового» белья, из толстых нитей изготовляли расхожие холсты, излишки которых продавались. Спасскими веревками снабжалась вся округа. Держала Варвара Петровна водяную мельницу о четырех поставах на речке Кальне, были у нее в имении маслозавод и крупорушня для выработки гречневой, перловой и овсяной крупы, а сверх того — особо почитаемой и любимой крупы «зелёной». Для ее приготовления специально засевали несколько десятин отменной ржи, которую жали, сушили и обрабатывали «в первой половине налива». Спасская каша из «зелёной крупы» была фирменным блюдом на многолюдных дворянских застольях. Зерновые обрабатывались с помощью конной молотильной машины завода Бутенопа в 8 лошадей на приводе. Использовались в хозяйстве и конные веялки того же завода. Восемь каменных хлебных амбаров для зерна располагались в правой стороне усадьбы у основания нижнего фруктового сада. Тургенев помнил, что в голодные года, когда пускалась по миру изможденная крестьянская Русь, спасские мужики у окон с протянутой рукой не стояли и лебеду с полей им собирать не приходилось.

Детскими воспоминаниями навеяны Тургеневу поэтические строки о покое и довольстве русской деревни:

«Последний день июня месяца: на тысячу верст кругом Россия — родной край.

Ровной синевой залито все небо; одно лишь облачко на нем — не то плывет, не то тает. Безветрие, теплынь... воздух — молоко парное!

Жаворонки звенят; воркуют зобастые голуби; молча реют ласточки; лошади фыркают и жуют; собаки не лают и стоят, смирно повиливая хвостами.

И дымком-то пахнет, и травой — и дегтем малень-

ко — и маленько кожей. Конопляники уже вошли в силу и пускают свой тяжелый, но приятный дух.

Глубокий, но пологий овраг. По бокам в несколько рядов головастые, книзу исщепленные ракиты. По оврагу бежит ручей; на дне его мелкие камешки словно дрожат сквозь светлую рябь. Вдали, на конце-крае земли и неба — синеватая черта большой реки.

Вдоль оврага — по одной стороне опрятные амбарчики, клетушки с плотно закрытыми дверями; по другой стороне пять-шесть сосновых изб с тесовыми крышами. Над каждой крышей высокий шест скворечницы; над каждым крылечком вырезной железный крутогривый конек. Неровные стекла окон отливают цветами радуги. Кувшины с букетами намалеваны на ставнях. Перед каждой избой чинно стоит исправная лавочка; на завалинках кошки свернулись клубочком, насторожив прозрачные ушки; за высокими порогами прохладно темнеют сени.

Я лежу у самого края оврага на разостланной попоне; кругом целые вороха только что скошенного, до истомы душистого сена. Догадливые хозяева разбросали сено перед избами: пусть еще немного посохнет на припеке, а там и в сарай! То-то будет спать на нем славно!

Курчавые детские головки торчат из каждого вороха; хохлатые курицы ищут в сене мошек да букашек; белогубый щенок барахтается в спутанных былинках.

Русокудрые парни, в чистых низко подпоясанных рубахах, в тяжелых сапогах с оторочкой, перекидываются бойкими словами, опершись грудью на отпряженную телегу, — зубоскалят.

Из окна выглядывает круглолицая молодка; смеется не то их словам, не то возне ребят в наваленном сене.

Другая молодка сильными руками тащит большое мокрое ведро из колодца... Ведро дрожит и качается на веревке, роняя длинные огнистые капли.

Передо мной стоит старуха-хозяйка в новой клетчатой паневе, в новых котах.

Крупные дутые бусы в три ряда обвились вокруг смуглой худой шеи; седая голова повязана желтым платком с красными крапинками; низко навис он над потускневшими глазами.

Но приветливо улыбаются старческие глаза; улыбается все морщинистое лицо. Чай, седьмой десяток доживает старушка... а и теперь еще видать: красавица была в свое время!

Растопырив загорелые пальцы правой руки, держит она горшок с холодным неснятым молоком, прямо из погреба; стенки горшка покрыты росинками, точно бисером. На ладони левой руки старушка подносит мне большой ломоть еще теплого хлеба: «Кушай, мол, на здоровье, заезжий гость!»

Петух вдруг закричал и хлопотливо захлопал крыльями; ему в ответ, не спеша, промычал запертой теленок.

— Ай да овес! — слышится голос моего кучера.

О, довольство, покой, избыток русской вольной деревни! О, тишь и благодать!»

О, колдовская сила старческих воспоминаний художественно-утонченной тургеневской души...

В каменном скотном дворе спасской усадьбы дойных коров холмогорской и голландской породы содержалось до двухсот голов. Заготовляли впрок говядину, баранину, свинину, ветчину, масло и сливки, храня все это в просторных погребах с ледниками. Кожевенных дел мастера обрабатывали кожи, а специальные портные шили из них тулупы и теплые шубы, изготовляли сбрую и упряжь, тачали обувь спасские сапожники. В составе дворни Варвары Петровны, кроме многочисленной домашней прислуги, были слесаря, кузнецы, столяры и садовники, повара и землемеры, плотники, портные, сапожники, башмачники, живописцы, маляры, каретники, музыканты и певчие, охотники-егери и лесники. Целая деревня отстроилась по левую сторону от усадьбы под зорким присмотром строгой госпожи.

В центре липового и березового парка, позади главного усадебного дома, были выстроены две каменные оранжереи, а при них специальная теплица для выращивания ананасов. В условиях сравнительно сурового климата средней России ухитрялась Варвара Петровна подавать на праздничный стол не только ананасы, но и абрикосы, персики, сливы, а виноградные лозы в оранжерее ежегодно давали щедрый урожай.

Позади оранжерей и теплицы располагались парники на 300 рам для арбузов, дынь, огурцов, спаржи, салата и редиса. А перед теплицей и оранжереями росли ягодные кусты: смородина и крыжовник, малина и красная куманика. Здесь же располагались гряды с земляникой и душистыми аптекарскими травами, а также — «садовая школа» — ряды молодых деревьев с прививками: яблонь, груш, вишен и слив. Только при спасской усадьбе было

два больших сада — Верхний и Нижний, третий сад располагался в Петровском.

Любимыми занятиями Варвары Петровны считались пчеловодство и цветоводство. Увлекалась она и разведением домашней птицы. Молодая хозяйка Спасского расширила основанную еще ее отцом в Чаплыгинском лесу пчелиную пасеку, доведя число ульев до 1000 штук. Пасека это была обсажена елями в виде живой изгороди. Жизнью пчелиного царства Варвара Петровна так интересовалась, что приказала устроить у окон своего кабинета улей со стеклянными стенками. В письме к Ивану Сергеевичу, студенту Берлинского университета, Варвара Петровна между прочим сообщала: «Я все занимаюсь пчелами. Стеклянные ульи на своем месте. А как нынче гречишный год, то меду они принесли очень много. Я видела матку, опять несущую яйца, и потом, когда она было вылетала погулять и захватил дождь, как она обсушивалась, и как ее пчелы облизывали, обтирали, и как она важно протягивала лапки, кокетствовала, притворялась едва дышащей. О! женщина во всяком создании одинакова!»

Перед спасским домом разбиты были по приказанию госпожи кустарные цветники с шиповником, каприфолием, сиренью и таволгой. Выездная и въездная дороги к парадному крыльцу украшались кустами махровых зимующих роз. На площадке перед домом располагались фигурные клумбы, усаженные многолетними и однолетними цветами. Имелись при Спасском и специальные цветочные оранжереи. Лепестки на розовых аллеях в определенное время года собирались спасскими крестьянами; с помощью специального перегонного куба из них добывали розовую воду для барской косметики. Когда Иван Сергеевич учился в Берлине, мать часто просила его вкладывать в почтовые конверты вместе с письмами цветочные семена. «Прошу тебя еще раз смешивать разные семечки и присылать. А я так в этом искусна, что разберу сама их по сортам... Только, воля твоя, не американских — я этого нигде не нашла в моих ботанических книгах».

Для птиц в Спасском были устроены перед домом специальные столы. По звуку колокола прирученные пернатые слетались на них со всего сада. Барыня выходила на веранду и наблюдала, как расторопный мальчик-казачок кормит шумливое и неспокойное пернатое стадо. В клетках, расположенных в одной из комнат господского дома, распевали на свой лад затейливые и бесхитростные песни певчие птицы разных пород и мастей. «У меня по комнатам, — сообщала Варвара Петровна сыну, — в память тебя птицы-синицы... и попевают, и разбойничают. — А сверх того у меня канарейка, а в птичнике снегирь и чижи, щеглы, овсянки и зяблики. Чижи поют, щеглы забиячут, а снегирь ворчит».

На первых порах своего спасского «царствования» Варвара Петровна давала волю не только властолюбивым сторонам своей натуры. Горькое детство и погубленная юность взывали к милосердию. Она окружила себя целым штатом «прирученных» барынь и барышень из разорившихся дворянских семей, не скупилась на щедрые подарки людям, ей симпатичным и услужливым. Особым благоволением, например, пользовалась у Варвары Петровны Авдотья Ивановна Губарева, родная сестра Воина Ивановича Губарева, помещика Кромского уезда, приятеля В. А. Жуковского. Авдотья Ивановна служила компаньонкой Варвары Петровны еще при жизни Ивана Ивановича Лутовинова. А после смерти строптивого старика его племянница отблагодарила Авдотью Ивановну целым имением в 100 душ в Болховском уезде Орловской губернии, да и замуж выдала в придачу за дворянина Лагривого, незаконнорожденного сына одного из орловских богачей, помещиков Кологривовых, добродушного и простоватого, оказавшегося с первых дней совместной жизни под башмаком хитрой и ловкой супруги. Впоследствии юный Тургенев частенько навещал вместе с матушкой имение Авдотьи Ивановны, а в сатирической поэме «Помещик» изобразил Лагривого, не меняя даже фамилии.

Старожилы вспоминали, что каждое лето Варвара Петровна со своими приживалками отправлялась в соседнюю усадьбу Петровское, в полуверсте от Спасского, на сбор ягод для варенья. Эта ритуальная поездка сопровождалась особо торжественными сборами, впоследствии в ней принимали обязательное участие дети. Усадьба располагалась при ключевом Петровском пруде, устроенном на том же самом овраге, который впадает в большой спасский пруд, названный ныне Савинским. В петровском доме, где родилась Варвара Петровна и где провела она детские годы, был устроен приют для бедных дворянок. На фронтоне красовалась вывеска, сделанная дворовым художником: «Дающего рука, да не оскудевает!»

Живущие в приюте дворянки находились на полном содержании своей благодетельницы и, конечно же, в полном ее подчинении. Они обязаны были трудиться, исполнять различные «дворянские» работы: вышивать ковры шелком и гарусом, плести кружева, шить для себя платье, солить и мариновать на зиму овощи, фрукты, грибы. Говорили, что одних только опенков на зиму для сушки и засола привозили из Чаплыгинского леса возами. Да и чего только в этой женской «дворянской обители» не приготовлялось и не запасалось!

Помнился Тургеневу старый петровский сад с многочисленными липовыми аллеями, большой крытый тесом дом, в котором существовала специальная комната для фамильной портретной галереи. Когда случалось порой ночевать в петровском доме, то казалось, что при бледном свете луны оживали темные лики предков и пристально, недружелюбно наблюдали за дерзким мальчиком.

За главным домом после цветника возвышался другой, точно такой же: в нем располагались богадельня для престарелых дворовых, больница, разделенная на разные покои в зависимости от «сорта» больных и рода их болезней, здесь же были квартиры врача и фельдшера. Невдалеке от первого дома, через двор, имелось большое деревянное крытое соломой здание для живописцев, маляров и обойщиков; в нем же находились их мастерские. Наконец, довершали усадебное хозяйство ледник, погреб и скотный двор. Фруктовый сад и парк со стороны деревни отделялись от широкого тракта, идущего из Черни через Петровское и Спасское на Мценск, высоким земляным валом, обсаженным громадными ракитами. Нависая над дорогой, они давали прохожим и проезжим в знойные летние дни благодатную тень.

Много труда требовалось от спасских и петровских крестьян, чтобы поддерживать такое большое хозяйство. Трудились не только взрослые мужики и бабы. К барщинным работам Варвара Петровна привлекала и ребятишек, начиная с девятилетнего возраста. Они объединялись в несколько трудовых бригад до 30 человек в каждой и под надзором деревенских десятских (выборных от каждого десятка домов) выполняли множество полезных дел: сгребали и ворошили сено в жаркую сенокосную пору, поливали деревья и цветы, собирали ландыши, липовый цвет и березовые почки для домашней аптеки, срывали розовые лепестки, пололи парники, собирали

грибы и лесные орехи, вязали снопы и ставили их в суслоны, подбирали картофель из-под сохи.

Завела Варвара Петровна крестьянское сельское училище для обучения детей грамоте и церковному пению. Хозяйка имения не была набожной женщиной, как большинство провинциальных дворян ее времени, но древнерусские распевы любила и содержала при церкви хорошо обученных певчих, постоянно пополнявшихся молодыми и способными крестьянскими мальчиками. Учащихся в своей школе Варвара Петровна экзаменовала самолично и способ оценки придумала на свой, господский манер. Накануне экзамена крепостные художники изготовляли круглые дощечки, красили их охрой, прикрепляли бумажным шнурком и пронумеровывали. Эти знаки отличия надевала на шеи экзаменующихся Варвара Петровна. В зависимости от успехов свои номера к концу экзамена получали все — от первого до последнего ученика.

Первые ученики после экзамена приглашались в дом на чествование и показ дворне, приживалкам и воспитанницам госпожи. Варвара Петровна одаривала ребятишек гостинцами за успехи, причем гостинцы предназначались не только ученикам, но и их родителям. Наиболее способные и полюбившиеся госпоже дети обязаны были после церковной службы заходить в дом, целовать ручку Варваре Петровне и получать гостинец за усердие.

Надо сказать, что ребятишек суровая хозяйка Спасского все-таки любила. Время от времени она приказывала собирать их на специально устроенные во дворе господского дома качели, любовалась их шумными веселыми играми и раздавала гостинцы: пряники, ленты, серьги, бусы, а то и медные деньги. В зимнее время для детей готовились крутые снеговые горы, обмороженные льдом. До позднего вечера раздавались звонкие ребячьи голоса в спасской усадьбе. Зимние забавы тоже завершались господскими подарками. Бывший дворовый мальчик Варвары Петровны Федор Бизюкин, сохранивший для потомства драгоценные штрихи из жизни старого Спасского, вспоминал, что на день Сорока мучеников, 9 марта, крестьянских детей ждали приятные сюрпризы. С вечера готовили тесто и пекли фигурки жаворонков, знаменовавшие приход весны. А когда совсем смеркалось, мужики-дворовые, тайно от детей, отправлялись на большую дорогу, идущую от Петровского до Спасского, и на длин-

ных мочалах развешивали по придорожным ракитам испеченных из ржаной муки и паточной сыты жаворонков на утреннюю потеху ребятишек.

А годы шли, и Варваре Петровне стукнуло ни много ни мало 28 лет. Для дворянки начала XIX века это был уже возраст старой девы. Надежды на любовь и семейную жизнь с каждым днем таяли. Безнадежность ее положения усугублялась тем, что росла она обиженной не только людьми, но и природой. С годами Варвара Петровна все более дурнела. Ревниво рассматривая себя в зеркало за утренним туалетом, она с отчаянием видела некрасивую, увядающую девицу невысокого роста, сутуловатую, с большой головой, вдавленной в плечи, с угреватым толстым носом и рябоватым лицом. Только черные глаза блестели живым, но не добрым блеском, да густые, черные как смоль волосы как-то скрашивали ее облик.

Но вот кончилась, наконец, Отечественная война с Наполеоном. Россия со слезами горя и радости праздновала свою победу. Возвращались в деревни изнуренные, израненные, но счастливые солдаты. Шумно и весело встречали их крестьянские семьи. Встрепенулась жизнь в Спасском и Петровском, зазвенели народные песни, оживились весенние хороводы. Наконец и на барский двор пришел праздник.

В 1815 году в Орле расквартировался гусарский полк, а вскоре после этого события в Спасское приехал ремонтером (покупщиком лошадей для военных целей) молодой двадцатидвухлетний красавец поручик Сергей Николаевич Тургенев. К одинокой хозяйке большого имения его привел известный на всю округу Спасский конный завод. Варвара Петровна увидела в этом событии перст судьбы и всю свою энергию направила к тому, чтоб удержать непрошеного, но долгожданного гостя. В ход были пущены недюжинный ум, ловкая изобретательность и наблюдательность. С восторгом слушала она рассказ молодого поручика об участии его в Бородинском сражении, о том, как он «храбро врезался в неприятеля и поражал его неустрашимостью», как он был ранен картечью в руку, за что и награжден «знаком отличия военного ордена» — солдатским Георгиевским крестом. Втайне любовалась Варвара Петровна блестящей внешностью своего гостя: высокий рост, белокурые волосы, вьющиеся на лбу, тонко очерченные брови. Что-то женственное и в то же время подкупающее и сразу покоряющее девичье сердце было в этой красоте. Впоследствии

Варвара Петровна рассказывала знакомым, как после смерти мужа она встретилась за границей с владетельной немецкой принцессой и та, увидев браслет с портретом Сергея Николаевича, сказала: «Вы — жена Тургенева, я его помню; после императора Александра I я не видела никого красивее вашего мужа».

Варвара Петровна понимала, что обычными женскими хитростями гостя-офицера ей не прельстить. Да и какие надежды могут быть на взаимность, если этот молодой человек, почти безусый юноша, на шесть лет моложе ее? Услужливая память подсказала Варваре Петровне, что отец Сергея Николаевича жил всего в 18 верстах от Спасского, в ветхом доме под соломенной крышей, и что у этого «липового» дворянина было в услужении лишь 140 душ крепостных крестьян. Расчет она сделала верный. Целый день показывала Варвара Петровна молодому поручику роскошное хозяйство спасской и петровской усадеб, кормила экзотическими фруктами из барских оранжерей, а на прощание потребовала честного слова еще раз навестить ее в деревенском уединении. Когда же в обещании Сергея Николаевича почувствовалась некоторая уклончивость, Варвара Петровна оставила у себя в залог его портупею...

«Женись, женись, ради бога, на Лутовиновой! — убеждал своего сына Николай Алексеевич Тургенев. — Женись, иначе скоро мы совсем разоримся и дойдем до нищенского существования». Сергей Николаевич упорствовал и отказывался. Тогда отец бросился перед ним на колени, умоляя прислушаться к его совету и уступить. После долгих колебаний явился поручик Тургенев в Спасское и просил руки Варвары Петровны Лутовиновой. С трудом сдерживая чувство радости и гордого торжества, она приняла предложение, и 14 января 1816 года в Спасской церкви состоялось венчание и свадебный пир в имении невесты. Это было нарушением общепринятых обычаев, согласно которым свадебные торжества должны были совершаться в доме жениха. Но слишком неравны были их состояния, к тому же, настояв на свадьбе под крышей спасского дома, Варвара Петровна сразу же дала понять жениху, что первенства в управлении имением и в распределении доходов с хозяйства она ему не уступит: знай сверчок свой шесток! Ничего «вещественного» в дом Лутовиновых поручик Тургенев не внес, кроме богатой своей родословной да внешней красоты. Впоследствии Варвара Петровна, ссорясь со своими сыновьями, посто-

янно напоминала им, что по отцовской линии они ничего не унаследовали, кроме полуразвалившегося дома в сельце Тургеневе, и что она вольна оставить их нищими, пустить по миру, если они проявят сыновнюю непочтительность.

Тем не менее к отцовской родословной Иван Сергеевич питал особый интерес и вполне заслуженно гордился ею. В отличие от Лутовиновых Тургеневы оставили заметный след в отечественной истории. Вырастал тургеневский род из татарского корня. В 1440 году из Золотой Орды к великому князю Василию Васильевичу выехал татарский мурза Лев Турген, принял русское подданство, а при крещении в христианскую веру и русское имя Иван. От Ивана Тургенева и пошла на Руси дворянская фамилия Тургеневых. Семейное предание говорило, что князь Василий Васильевич благоволил Тургеневу и пожаловал своего крестника многими имениями в Калужской губернии. Принадлежали Тургеневы к так называемым служилым людям: стольникам, стряпчим, московским дворянам и жильцам. Все эти четыре чина причислялись ко второму из трех крупных разрядов, на которые делилось тогдашнее дворянство. Тургеневы не попадали в высший разряд, не были членами боярской думы, но не спускались и в низший, в ряды провинциального дворянства. Большинство из них входило в «государев полк» — в высший слой боевых сил Московского государства — и назначалось головами и воеводами, то есть офицерами и полковниками, в военные полки, формировавшиеся из провинциального дворянства. Григорий Михайлович Тургенев, например, был в конце XVI века головою в Чернигове, Афанасий Дмитриевич — полковым воеводою в Белгороде, Денис Петрович — в Тамбове.

По достоверным сведениям, в царствование Ивана Грозного, в период борьбы Московского государства с Казанским и Астраханским ханствами, Петр Дмитриевич Тургенев отправился к ногайским мурзам с целью отговорить их от помощи казанскому царю и «претерпел в орде от князя Юсуфа (отца царицы Сююнбеки) великое поругание». Но тем не менее он уговорил астраханского царя Дервиша принять русское подданство без всякого кровопролития.

С особой гордостью вспоминал Иван Сергеевич о подвиге Петра Никитича Тургенева. В эпоху Смуты и польского нашествия, в 1606 году, в Кремле, он бесстрашно обличил Лжедмитрия, бросив ему в глаза всенародно

следующее обвинение: «Ты не сын царя Иоанна, а Гришка Отрепьев, беглый из Железноборовского монастыря, я тебя знаю!» За это был подвергнут праведник жестоким пыткам и казнен, по преданию, на Лобном месте, рядом с которым был сооружен впоследствии благодарной Россией памятник Минину и Пожарскому.

Многие Тургеневы «отличались честностью и неустрашимостью». Уже в старинных грамотах появилось описание герба Тургеневых, который Варвара Петровна перенесла на печать собственной господской конторы: «Под рыцарским лазуревого цвета с золотым подбоем наметом, увенчанным шлемом с обыкновенною золотою дворянскою короной, осеняемою тремя страусовыми перьями, поставлен щит, разделенный на четыре равные части, из коих в нижней половине в левой части в голубом поле — золотая звезда, из Золотой Орды происхождение рода Тургеневых показующая, над коею серебряная рогатая луна, означающая прежний магометанский закон; а над сею частию, в верхней половине на левой части, в серебряном поле, парящий с распростертыми крыльями и как бы отлетающий от луны орел, смотрящий вверх, — означает удаление от магометанства и воспарение к свету христианской веры. В той же верхней половине, в правой части, в красном поле, — обнаженный с золотою рукояткою меч в воспоминание кровавого заклания страдальца Петра Никитича Тургенева от Гришки Отрепьева самозванца за безбоязненное обличение его; в нижней половине, на правой части, в золотом поле, — готовый, оседланный, бегущий по зеленому лугу конь, показующий всегдашнюю рода Тургеневых готовность и ревность к службе государю и отечеству».

От Петра Никитича Тургенева ствол родословного древа разделился на две ветви. Прямая идет к тем Тургеневым, которые в самом начале XIX века прославились своими антикрепостническими взглядами, — к братьям Николаю и Александру Ивановичам Тургеневым. А другая ветвь от брата Петра Никитича Василия в седьмом поколении ведет к отцу Ивана Сергеевича *.

Были в родовых воспоминаниях и другие страницы. Как роковое предчувствие, они тревожили мысль и во-

* Так считали Тургеневы, настойчиво подчеркивая «узы отдаленного родства». В действительности же они были однофамильцами. Род Н. И. и А. И. Тургеневых происходил от Афанасия Борисовича Тургенева и был внесен в родословную книгу московского и симбирского дворянства.

ображение Тургенева-писателя. В 1670 году сидел воеводою в Царицыне стряпчий Тимофей Васильевич Тургенев. Когда началось восстание Степана Разина, отряд Василия Уса прорвался в город. Воевода с семейством и городской знатью укрылся в каменной башне, в страхе ожидая расправы. Она не замедлила явиться. С приездом в Царицын самого Степана Разина пошли казаки на приступ и взяли башню после тяжелого боя. Тимофея Васильевича схватили, надели на шею веревку, привели на крутой волжский берег, прокололи копьем и утопили.

Эпизод народной расправы с ненавистными дворянами Тургенев неспроста воспроизвел в своей повести «Призраки». На протяжении всей жизни своей он, чуткий к зарождающимся общественным настроениям, слышал таинственный гул народного недовольства. Да и были к тому серьезные основания: лутовиновские нравы сполна унаследовала Варвара Петровна и к народному недовольству давала немало поводов.

Эти грозовые предчувствия вынес Тургенев из родовых воспоминаний, но главным образом из впечатлений детских лет.

ДЕТСТВО

Замужество стало для Варвары Петровны еще одним драматическим испытанием, не только не сгладившим, но усугубившим в ее характере припадки самовластья и крепостнической вседозволенности. С первых месяцев совместной жизни с Сергеем Николаевичем Тургеневым она поняла, что муж ее не любил, что брак их был и останется простой коммерческой сделкой. На первых порах Варвара Петровна хотела завоевать симпатии услужливым вниманием и усиленными ласками, пыталась сделать жизнь супруга приятной, легкой и роскошной. Но молодой поручик оставался равнодушным и непроницаемым. Холодом веяло на Варвару Петровну от его светлого «русалочьего» взгляда. В полку, среди товарищей, Сергей Николаевич сделался не только предметом тайной зависти, но и ядовитых насмешек, поводом для которых явился его странный брак. Гордый и обидчивый, он замкнулся, ушел в себя, затаил к жене и близким недоброжелательные чувства. Претензии Варвары Петровны его раздражали, заботы ее казались назойливыми.

Оставался последний шанс привязать мужа к семье.

В 1816 году у Тургеневых появился на свет первенец — Николай, а затем в памятной книжке своей Варвара Петровна записала: «1818 года, 28 октября, в понедельник, родился сын Иван, роста 12 вершков, в Орле, в своем доме, в 12 часов утра». Однако с рождением третьего сына, Сергея, к несчастьям Варвары Петровны как нелюбимой жены добавились страдания материнские. У ребенка с раннего возраста начались припадки эпилепсии, он мучился и мучил окружающих вплоть до самой смерти в шестнадцатилетнем возрасте.

Какой-то рок витал над лутовиновской усадьбой и мстил за грехи отцов, дедов и прадедов. А во искупление этих грехов послал он в гнездо Лутовиновых странного, ни на кого из них не похожего ребенка. С раннего возраста очень беспокоил Варвару Петровну ее Ваничка. И добр, и ласков, и смышлен, но уж очень прост и правдив до бесхитростности: что на уме, то и на языке. Нанесла как-то в Спасское визит светлейшая княгиня Голенищева-Кутузова-Смоленская, почтенная дама в преклонном возрасте, внешности весьма экзотической. Подвели детей, представили. Николай и Сергей, как воспитанные мальчики, скромно приложились к ручке и отошли в сторону. А Ваничка уставился на княгиню широко открытыми глазами, остолбенел и вдруг заявил во всеуслышание: «Ты очень похожа на... обезьяну!»

Больно высекла своего любимца матушка за эту странную откровенность, но порка не произвела желаемого воздействия. Особенно настораживало Варвару Петровну в Ваничкиной правдивости отсутствие обычного в ребяческом возрасте упрямства. Не из упрямства, не назло он так делает — а по какому-то врожденному желанию, по какой-то неосознанной потребности быть искренним во всем. Недели не прошло, явился в дом Тургеневых баснописец, поэт Иван Иванович Дмитриев. Ваничка, как самый способный в семье мальчик, знал наизусть некоторые из его басен По просьбе родителей он встал на середину залы и громко, выразительно прочел одну из них. Старый писатель растаял от умиления. А Ваничка подошел к Ивану Ивановичу, простодушно и доверчиво посмотрел ему в глаза и заявил: «Твои басни хороши, а Ивана Андреевича Крылова — гораздо лучше». «Мать так рассердилась, — рассказывал впоследствии Иван Сергеевич, — что высекла меня и этим закрепила во мне воспоминание о свидании и знакомстве, первом по времени, — с русским писателем».

Справедливости ради следует сказать, что родители заботились о воспитании мальчиков. В 1821 году Сергей Николаевич бросил военную службу и вышел в отставку в чине полковника. Тургеневы оставили Орел и перебрались на постоянное жительство в Спасское-Лутовиново. Когда Тургеневу было четыре года, семейство предприняло первое заграничное путешествие на собственных лошадях с фургоном. Путь лежал через Берлин, Дрезден, Карлсбад, Цюрих и Берн на Париж. У Тургенева от этого путешествия остались смутные воспоминания: застрял в памяти лишь один случай, едва не кончившийся для него трагически. В Берне посещали зоопарк и, в частности, знаменитую «яму», где жили медведи. Любознательный и впечатлительный мальчик так увлекся наблюдением за ними, что перелез через барьер и юркнул головой вниз, к ужасу публики. Спасла ребенка ловкость отца, успевшего схватить его за ногу.

В Париже Тургеневы жили полгода, посещали театры и музыкальные концерты, рассматривали живописные коллекции всемирно известного Лувра. При семействе находился целый штат слуг и даже свой домашний доктор Андрей Евстафьевич Берс, отец жены Л. Н. Толстого Софьи Андреевны. Во время путешествия Сергей Николаевич специально заезжал в Швейцарию, чтобы подыскать детям хороших гувернеров.

Уже в детском возрасте Тургенев свободно говорил на трех европейских языках и читал классиков немецкой, английской и французской литературы в оригинале. К этому времени совершилось в его жизни важное событие — открытие и освоение старой дедовской библиотеки. Тургенев сам рассказал об этом в одном из писем к студенческим друзьям М. А. Бакунину и А. П. Ефремову:

«У нас в деревне был (прежде, теперь сгорел) огромный дом. Нам, детям, казался он тогда целым городом. В нашей части (в нашей комнате) стояли запыленные шкафы домашней работы черной краски с стеклянными дверцами: там хранились груды книг 70-х годов, в темнобурых переплетах, кверху ногами, боком, плашмя, связанных бечевками, покрытых пылью и вонявших мышами. Мне было лет 8 или 9. Я сговорился с одним из наших людей, молодым человеком, даже стихоплетом, порыться в заветных шкафах. Дело было ночью; мы взломали замок, и я, став на его плечи, исцарапавши себе руки до крови, достал две громады: одну он тотчас унес к себе — а я другую спрятал под лестницу и с биением сердца ожидал утра. На мою долю досталась «Книга эмблем» и т. д., тиснения 80-х годов, претолстейшая: на каждой странице были нарисованы 6 эмблем, а напротив изъяснения на четырех языках. Целый день я перелистывал мою книжищу и лег спать с целым миром смутных образов в голове. Я позабыл многие эмблемы; помню, например: «Рыкающий лев» — знаменует великую силу; «Арап, едущий на единороге» — знаменует коварный умысл (почему?) и прочее. Досталось же мне ночью! единороги, арапы, цари, солнцы, пирамиды, мечи, змеи вихрем крутились в моей бедной головушке; я сам попадал в эмблемы, сам «знаменовал» — освещался солнцем, повергался в мрак, сидел на дереве, сидел в яме, сидел в облаках, сидел на колокольне и со всем моим сидением, лежанием, беганием и стоянием чуть не схватил горячки. Человек пришел меня будить, а я чуть-чуть его не спросил: «Ты что за эмблема?»

Верным другом тургеневского детства оказался упоминаемый в письме дворовый человек Леонтий Серебряков, знаток и ценитель русского языка, доморощенный актер и поэт. Ему досталась во время ночного набега на спасскую библиотеку «Россиада» Хераскова. С этой «Россиады» все и началось. Серебряков оказался непредусмотренным родителями, тайным воспитателем восьмилетнего мальчика. Именно он привил ему любовь к русскому языку, к поэтическому слову и родной литературе. Вот как рассказал Тургенев о счастливейшей поре своего детства в повести «Пунин и Бабурин»:

«Невозможно передать чувство, которое я испытывал, когда, улучив удобную минуту, он внезапно, словно сказочный пустынник или добрый дух, появлялся передо мною с увесистой книгой под мышкой и, украдкой кивая длинным кривым пальцем и таинственно подмигивая, указывал головой, бровями, плечами, всем телом на глубь и глушь сада, куда никто не мог проникнуть за нами и где невозможно было нас отыскать! И вот удалось нам уйти незамеченными; вот мы благополучно достигли одного из наших тайных местечек; вот мы сидим уже рядком, вот уже и книга медленно раскрывается, издавая резкий, для меня тогда неизъяснимо приятный запах плесени и старья! С каким трепетом, с каким волнением немотствующего ожидания гляжу я в лицо, в губы Пунина — в эти губы, из которых вот-вот польется сладостная речь! Раздаются наконец первые звуки чтения! Все

вокруг исчезает... нет, не исчезает, а становится далеким, заволакивается дымкой, оставляя за собою одно лишь впечатление чего-то дружелюбного и покровительственного! Эти деревья, эти зеленые листья, эти высокие травы заслоняют, укрывают нас от всего остального мира; никто не знает, где мы, что мы — а с нами поэзия, мы проникаемся, мы упиваемся ею, у нас происходит важное, великое, тайное дело... Пунин преимущественно придерживался стихов — звонких, многошумных стихов: душу свою он готов был положить за них! Он не читал, он выкрикивал их торжественно, заливчато, закатисто, в нос, как опьянелый, как исступленный, как Пифия! И еще вот какая за ним водилась привычка: сперва прожужжит стих тихо, вполголоса, как бы бормоча... Это он называл читать начерно́; потом уже грянет тот же самый стих набело и вдруг вскочит, поднимет руки — не то молитвенно, не то повелительно... Таким образом мы прошли с ним не только Ломоносова, Сумарокова и Кантемира (чем старее были стихи, тем больше они приходились Пунину по вкусу), даже «Россиаду» Хераскова! И, правду говоря, она-то, эта самая «Россиада», меня в особенности восхитила... «Да, — говаривал, бывало, Пунин, значительно кивая головою, — Херасков — тот спуску не дает. Иной раз такой выдвинет стишок — просто зашибет... Только держись!.. Ты его постигнуть желаешь, а он уж — вон где — и трубит, трубит, аки кимвалон! Зато уж и имя ему дано — одно слово: Херррасков!!»

Другим приятелем Тургенева оказался дворовый мальчик Ваня Кубышкин. С ним барчук любил играть в укромных уголках сада и часто убегал тайком в село Спасское, чтобы полюбоваться деревенским праздником и послушать пение крестьянских девушек в праздничных хороводах. Лежа на животе в зарослях густого орешника между садом и деревней, мальчики часами наблюдали за событиями на деревенской улице, прислушиваясь к словам полюбившихся песен, запоминая их мелодии. Музыкальный слух у Ванички Тургенева был изумительный. Пройдет много лет, и Тургенев, плененный искусством Полины Виардо в итальянской опере, все-таки останется верен народным мотивам. В рассказе «Певцы» из «Записок охотника» пению рядчика с фиоритурами и украшениями, напоминающими искусство итальянских певцов, он предпочтет русскую протяжную мелодию Якова «Не одна во поле дороженька пролегала»: «Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась перед вами, уходя в бесконечную даль».

В спасском доме Варвара Петровна содержала не только многочисленную прислугу, но и детей обедневших дворян. Маленький Тургенев был окружен целым «семейством» сверстников. Дети качались на качелях, играли в волан, в русскую лапту, ездили со взрослыми на охоту и рыбную ловлю. В дождливые дни Варвара Петровна усаживала ребятишек в зале за большой круглый стол, играла с ними в карты, но чаще всего устраивала коллективное чтение — по очереди — русских и французских книг. Николай быстро утомлялся, начинал шуметь до строгих окриков матери, болезненный Сережа сидел с отсутствующим лицом, а Ваничка слушал, затаив дыхание, завороженный чудесной игрой воображения. Лишь грубоватые шалости Николая выводили его из забытья. Когда же матушка предлагала детям заняться рассказами —об интересном случае в жизни, о самом ярком впечатлении дня — Ваничка преображался. Резвый и живой мальчуган очень любил смешить окружающих, разыгрывая довольно искусно разные сцены. Порой играли в буриме: на клочках бумаги писали рифмованные слова и по готовым рифмам сочиняли стихи. Николай был туговат по части художественных вымыслов, а Иван неистощим на самые курьезные импровизации, вызывающие всеобщее веселье. При этом старший брат хмурился и пренебрежительно называл Ваничку «сочинителем».

«Нас было трое братьев, — вспоминал Тургенев. — Из них у меня и у старшего брата было воображение довольно сильное, у младшего меньше. У нас существовала, как сейчас помню, игра. Был целый архипелаг островов. Я даже помню имена. У каждого из нас было по острову. Я был королем на одном из них, другой брат — великим герцогом и пр. Острова вели между собою войны. Происходили битвы, одерживались победы. Раз мне пришлось, помню, писать историю островов и я написал вот такую толстую тетрадь. Когда я начал читать ее братьям, то в тех местах, где я дополнял историю воображением, братья меня останавливали: «Нет, нет, не так!» Затем я должен был нанести эти острова на карту и до сих пор помню форму этих островов. После я не раз спрашивал брата, кто сочинил эту игру, этих королей и прочее. Он не знал. Сам я тоже не знал, кому это пришло в голову. Точно все это с неба свалилось готовым, как предание, создалось помимо нашей воли».

Братья дружили, хотя по детской резвости часто задирали друг друга, причем шутки Ванички, остроумные и забавные, никогда слишком обидными не были. Напротив, в шутках Николая проступала колкость и раздражительность. Отличались братья и своей внешностью. Николай более походил на отца, Иван — на мать, Сергей же, кажется, от родителей ничего не унаследовал. В характерах детей и вовсе вышла путаница невообразимая. Иван был слишком мягок, уступчив и уклончив: родителям он не перечил и с матушкой в бесполезные препирательства не входил. Николай же, резкий и порывистый, говорил громко, скоро, увлеченно, в спорах нумером вторым себя ставить не любил; привычка первенствовать укрепилась в нем с детства. Он был силен и ловок: в детских потасовках доставалось больше всех Ивану и Сергею. Обычные в доме наказания Николай сносил довольно легко и безболезненно, обиду не таил, не замыкался, а в ссорах с детьми предпочитал отомстить обидчику злым словом или подзатыльником.

По вечерам, когда съезжались гости, дети любили слушать их воспоминания о славных днях 1812 года. Дом Тургеневых часто навещали офицеры, приятели отца. Рассказы о Бородинском сражении, о пожаре Москвы, о патриотическом подъеме русского народа и бесславном бегстве французов, о герое партизанской войны Денисе Давыдове и легендарной старостихе Василисе будоражили воображение впечатлительного Ванички. Детское сердце наполнялось чувством гордости за свою родину, за храброго отца, который, рискуя жизнью, спас в одном сражении своего командира, генерала Родиона Егоровича Гринвальда. Этот человек всегда был желанным гостем в доме Тургеневых. Добродушный и ласковый, он очень любил детей, тешил рассказами любознательного Ивана. А после смерти отца проявлял отеческую заботу о детях своего безвременно ушедшего друга.

События 1812 года жили тогда не только в памяти и изустных рассказах. Казалось, самый воздух был пропитан славою недавних дней. Патриотизм являлся природным качеством как господ, так и слуг, и мальчиком Тургенев часто общался с людьми вроде того семидесятилетнего камердинера Поликарпа, о котором он поведал читателям в рассказе «Татьяна Борисовна и ее племянник». С детства запомнился Тургеневу этот «чудак необыкновенный, отставной скрипач и поклонник Виотти, личный враг Наполеона, или, как он говорил, Бонапартишки, и страстный охотник до соловьев. Он их всегда держит пять или шесть у себя в комнате; ранней весной по целым дням сидит возле клеток, выжидая первого «рокотанья», и, дождавшись, закроет лицо руками и застонет: «Ох, жалко, жалко!» — и в три ручья зарыдает. К Поликарпу на подмогу приставлен его же внук, Вася, мальчик лет двенадцати, кудрявый и быстроглазый; Поликарп любит его без памяти и ворчит на него с утра до вечера. Он же занимается и его воспитанием. «Вася, — говорит, — скажи: Бонапартишка разбойник». — «А что дашь, тятя?» — «Что дам?.. ничего я тебе не дам... Ведь ты кто? Русский ты?» — «Я амчанин, тятя: в Амченске родился». — «О, глупая голова! да Амченск-то где?» — «А я почем знаю?» — «В России Амченск, глупый». — «Так что ж что в России?» — «Как что? Бонапартишку-то его светлейшество покойный князь Михайло Илларионович Голенищев-Кутузов Смоленский, с божиею помощью, из российских пределов выгнать изволил. По эвтому случаю и песня сочинена: Бонапарту не до пляски, растерял свои подвязки... Понимаешь: отечество освободил твое». — «А мне что за дело?» — «Ах ты, глупый мальчик, глупый! Ведь если бы светлейший князь Михайло Илларионович не выгнал Бонапартишки, ведь тебя бы теперь какой-нибудь мусье палкой по маковке колотил. Подошел бы этак к тебе, сказал бы: коман ву порте ву? — да и стук, стук». «А я бы его в пузо кулаком». — «А он бы тебе: бонжур, бонжур, вене иси, — да за хохол, за хохол». — «А я бы его по ногам, по ногам, по цибулястым-то». — «Оно точно, ноги у них цибулястые... Ну, а как он бы руки тебе стал вязать?» — «А я бы не дался; Михея-кучера на помощь бы позвал». — «А что, Вася, ведь французу с Михеем не сладить?» — «Где сладить! Михей-то во как здоров!» — «Ну, и что ж бы вы его?» — «Мы бы его по спине, да по спине». — «А он бы пардон закричал: пардон, пардон, севуплей!» — «А мы бы ему: нет тебе севуплея, француз ты этакой!..» — «Молодец, Вася!.. Ну, так кричи же: разбойник Бонапартишка!» — «А ты мне сахару дай!» — «Экой!..»

Подчиняясь духу времени, Сергей Николаевич Тургенев готовил сыновей к военному званию и ввел в семье спартанское воспитание, терпимое для Николая, но мучительное для чувствительного и мягкого Ванички. О прелестях такого модного в дворянских семьях начала XIX века воспитания Тургенев рассказал в романе «Дворянское гнездо».

«Музыку, как занятие недостойное мужчины, изгнали навсегда; естественные науки, международное право, математика, столярное ремесло, по совету Жан-Жака Руссо, и геральдика, для поддержания рыцарских чувств, — вот чем должен был заниматься будущий «человек»; его будили в четыре часа утра, тотчас окачивали холодною водой и заставляли бегать вокруг высокого столба на веревке; ел он раз в день по одному блюду, ездил верхом, стрелял из арбалета; при всяком удобном случае упражнялся, по примеру родителя, в твердости воли и каждый вечер вносил в особую книгу отчет прошедшего дня и свои впечатления... «Система» сбила с толку мальчика, поселила путаницу в его голове, притиснула ее... Когда Феде минул шестнадцатый год, Иван Петрович почел за долг заблаговременно поселить в него презрение к женскому полу...».

А между тем в семье Тургеневых нарастал внутренний разлад, который в первую очередь чувствовали дети. Варвара Петровна с каждым днем становилась нетерпимее и раздражительнее, свою нескладную, неудавшуюся жизнь она как бы вымещала на окружающих. Несходство характеров отца и матери наконец обнаружилось вполне. Отец перестал скрывать свои увлечения, неверность с его стороны совершалась уже открыто и не где-нибудь, а под общим кровом. Варвара Петровна завела целую «тайную полицию» из приживалок и компаньонок, которые внимательно следили за каждым шагом всех членов семьи и нашептывали госпоже об их прегрешениях. Одна за другой следовали вспышки ревности, жизнь в доме превращалась в сплошной ад. Часто озлобленность Варвары Петровны выплескивалась на детей: за малейшую провинность, а то и по наговору недобрых приживалок она секла мальчиков собственноручно и жестоко.

Однажды мать заподозрила Ивана в каком-то не совершенном проступке. «Одна приживалка, уже старая, бог ее знает, что она за мной подглядела, донесла на меня моей матери, — рассказывал Тургенев. — Мать, без всякого суда и расправы, тотчас начала меня сечь, — секла собственными руками, и на все мои мольбы сказать, за что меня наказывают, приговаривала: «Сам знаешь, сам должен знать, сам догадайся, за что я секу тебя!» На другой день, когда мальчик отказался признать за собой какую-либо вину, наказание повторилось, на третий — тоже. Мать заявила, что будет сечь его до тех пор, пока он не признается в своем преступлении.

И вот ночью, глотая горькие слезы, собрал Ваничка в узелок нехитрые пожитки по своему детскому разумению и решил бежать из дому. «Я уже встал, потихоньку оделся и в потемках пробирался коридором в сени, — вспоминал Тургенев. — Не знаю сам, куда я хотел бежать, — только чувствовал, что надо убежать и убежать так, чтобы не нашли, и что это единственное мое спасение. Я крался как вор, тяжело дыша и вздрагивая. Как вдруг в коридоре появилась зажженная свечка, и я, к ужасу своему, увидел, что ко мне кто-то приближается — это был немец, учитель мой. Он поймал меня за руку, очень удивился и стал меня допрашивать. «Я хочу бежать», — сказал я и залился слезами. «Как, куда бежать?» — «Куда глаза глядят». — «Зачем?» — «А затем, что меня секут, и я не знаю, за что секут». — «Не знаете?» — «Клянусь богом, не знаю...»

Тут добрый старик обласкал меня, обнял и дал мне слово, что уже больше наказывать меня не будут. На другой день утром он постучался в комнату моей матери и о чем-то долго с ней наедине беседовал. Меня оставили в покое».

Я. П. Полонский, слушая тургеневские рассказы о своем детстве, однажды спросил его: «А твой отец никогда не принимал твоей стороны и не защищал тебя?» — «Никогда! Напротив того, мой отец думал, что если меня секли, значит, я заслужил это».

В домашних делах отец не принимал никакого участия и не имел никакой власти — да он в ней и не нуждался. Женой Сергей Николаевич просто-напросто перестал интересоваться: не спорил и ни во что не вмешивался. Он избрал в отношениях с нею тактику уклончивого смирения, чтобы его оставили в покое и не мешали делать то, что ему хочется. Варвара Петровна в ответ на это, испробовав все, что было в ее силах, застыла в «великолепном и пышном терпении добродетели», в котором, по словам Тургенева, «так много самолюбивой гордости». Она уже не упрекала мужа, перестала устраивать сцены ревности, молча давала ему деньги, молча платила его долги.

Иногда в Сергее Николаевиче прорывалось какое-то быстрое и порывистое отцовское чувство. «Тогда на его каменном лице появлялась трогательная улыбка, окруженные тонкими морщинами голубые глаза светились любовью к сыну». Но когда торопливая ласка истощалась,

вновь весь его облик принимал какое-то строгое, холодное и отдаленное выражение. В повести «Первая любовь», автобиографичной от первой до последней страницы, Тургенев писал: «Странное влияние имел на меня отец — и странные были наши отношения. Он почти не занимался моим воспитанием, но никогда не оскорблял меня; он уважал мою свободу — он даже был, если можно так выразиться, вежлив со мною... Только он не допускал меня до себя. Я любил его, я любовался им, он казался мне образцом мужчины — и, боже мой, как бы я страстно к нему привязался, если б я постоянно не чувствовал его отклоняющей руки! Зато, когда он хотел, он умел почти мгновенно, одним словом, одним движением возбудить во мне неограниченное доверие к себе. Душа моя раскрывалась — я болтал с ним, как с разумным другом, как с снисходительным наставником... Потом он так же внезапно покидал меня — и рука его опять отклоняла меня, ласково и мягко, но отклоняла.

На него находила иногда веселость, и тогда он готов был резвиться и шалить со мной, как мальчик (он любил всякое сильное телесное движение); раз — всего только раз! — он приласкал меня с такою нежностью, что я чуть не заплакал... Но и веселость его и нежность исчезали без следа — и то, что происходило между нами, не давало мне никаких надежд на будущее, точно я все это во сне видел. Бывало, стану я рассматривать его умное, красивое, светлое лицо... сердце мое задрожит, и все существо мое устремится к нему... он словно почувствует, что во мне происходит, мимоходом потреплет меня по щеке — и либо уйдет, либо займется чем-нибудь, либо вдруг весь застынет, как он один умел застывать, и я тотчас же сожмусь и тоже похолодею. Редкие припадки его расположения ко мне никогда не были вызваны моими безмолвными, но понятными мольбами: они приходили всегда неожиданно. Размышляя впоследствии о характере моего отца, я пришел к такому заключению, что ему было не до меня и не до семейной жизни; он любил другое и насладился этим другим вполне. «Сам бери, что можешь, а в руки не давайся; самому себе принадлежать — в этом вся штука жизни», — сказал он мне однажды».

Задумываясь впоследствии над своим детством и юностью, над судьбою матери и отца, Тургенев говорил: «Жизненные условия, в которых мы все воспитались и выросли, сложились особым, небывалым образом, который едва ли повторится». Семейная драма в доме Тургеневых

осложнялась драмой общественной, именуемой крепостным правом, которое, по словам М. Е. Салтыкова-Щедрина, «втягивало все сословия в омут унизительного бесправия, всевозможных изворотов лукавства и страха перед перспективою быть ежечасно раздавленным». С детских лет Тургенев почувствовал, что его личные обиды являются отголоском всенародной беды.

Жил в одном из имений матери статный и рослый великан, глухонемой крестьянин Андрей. Заприметила однажды Варвара Петровна во время поездки по далеким имениям его богатырскую фигуру на хлебном поле и приказала управляющему немедленно доставить мужика в барскую усадьбу. Беззащитного, ничего не понимающего Андрея усадили всем миром в телегу и по прихоти госпожи доставили на барский двор. Что было в душе этого пахаря, насильственно оторванного от родной почвы, от привычных крестьянских трудов? До переживаний Андрея Варваре Петровне не было никакого дела. Она и государственных-то чиновников мелкого пошиба за людей не считала. Принимала, например, однажды ванну в специальной комнате, а в Спасское приехал становой. «Немедленно ко мне!» Становой сконфузился, увидев Варвару Петровну через приотворенную дверь. Тогда она на него грозно прикрикнула: «Да ну! Иди, что ли! Что ты для меня? Мужчина, что ли?!» Так обходилась владетельная особа с судебной властью, а уж об Андреях да Герасимах ей и в голову не приходило задумываться. На мужиков она смотрела как на полную свою собственность: что нравится барыне, то должно приносить радость и рабу.

Чего только не делал немой Андрей по барским приказаниям для удовлетворения прихотей капризной госпожи, каких только должностей не исправлял. В Спасском на первых порах он был назначен собственным господским скороходом. Одна из бедных дворянок, воспитанниц Варвары Петровны, вспоминала: «До сих пор живо представляется мне, как по дороге, ведущей к нашему дому, шагает гигант с сумкой на шее, с такой же длинной палкой, как и он сам, в одной руке, а в другой — с запиской от Варвары Петровны». Случилось что-нибудь? Как же! Госпожа соскучилась по своей воспитаннице и пригласила ее к себе в гости, для чего барскому скороходу пришлось проделать путь 60 верст в один конец. Бывали капризы и поизощреннее: в 70 верстах от Спасского жила Авдотья Ивановна Лагривая. К ней Андрея посылали периодически за горшочком гречневой каши: по мнению Варвары

Петровны, спасские повара гречневую кашу готовить не умели...

В московском доме на Остоженке немой находился в должности дворника. Об этом периоде его жизни поведал Тургенев читателям в повести «Муму», назвав его Герасимом. Повесть эта во всем достоверна, за исключением концовки: Андрей действительно утопил бедную собачонку, но бросить госпожу и самовольно уйти в родную деревню не решился.

Поступки Варвары Петровны чем далее, тем более становились непредсказуемыми: по малейшему капризу любой крестьянин или дворовый человек мог быть облагодетельствован ею или низведен до ничтожества, все зависело от ее настроения. В произволе и кураже она доходила подчас до какой-то артистической изощренности. Тургенев вспоминал, что его матушка очень боялась холеры (этот страх сын от нее унаследовал). Однажды ей прочитали в газете, что холерная эпидемия распространяется по воздуху через болезнетворных микробов. Тотчас последовал приказ управляющему: «Устрой для меня что-нибудь такое, чтобы я, гуляя, могла видеть все окружающие меня предметы, но не глотала бы зараженного воздуха!» Долго ломали голову, но выход нашли: спасский столяр сделал носилки со стеклянным колпаком в форме киота, в котором носили чудотворные иконы по деревням. Барыня располагалась там в мягких креслах, а слуги носили ее по окрестностям Спасского. Варвара Петровна осталась довольна таким изобретением, столяр получил в награду золотой. Все шло хорошо, пока не произошел курьезный случай. Встретил однажды странную процессию благочестивый странник-мужик, принял носилки за киот, отвесил земной поклон и положил медный грош «на свечку». Последовал взрыв безудержного гнева; привели пред грозные очи госпожи несчастного столяра-изобретателя, всыпали изрядное количество плетей и сослали на поселение.

В другой раз Варвара Петровна наблюдала по обычаю за кормлением спасских птиц. Много ворон налетело, и казачок начал их отгонять. «Зачем?» — послышался грозный окрик. Казачок был парень не промах, не растерялся и заявил: «Вороны-то не наши, а господ Завадских». Ответ слуги так понравился барыне, что она тут же распорядилась выдать казачку вольную и отпустить на свободу.

Все приближенные Варвары Петровны жили в постоянном страхе и трепете, потому что от ее самодурного, эксцентрического характера можно было ожидать в любую минуту все что угодно. Случился однажды пожар в деревне Сычи. Управляющий, полковник Бакунин, прискакал на взмыленной лошади в Спасское, вбежал в барский кабинет. Варвара Петровна, как бы не замечая его, задумчиво ходила по комнате.

— Варвара Петровна, матушка, Сычи сгорели!

Никакого внимания, никакой реакции.

— Варвара Петровна, беда: Сычи сгорели!! — повторил запыхавшийся Бакунин, повышая голос. Гробовое молчание.

— Сычи сгорели!!! — в отчаянии вскричал Бакунин, сделав шаг по направлению к госпоже.

Тогда Варвара Петровна быстро повернулась к управляющему и дала ему высочайшую пощечину с гневным криком:

— Как ты смел мне мешать! Да ты знаешь, где я была? Я была в Париже!

В Сычах у Варвары Петровны существовал так называемый гремучий колодец: из каменной горы на изрядной высоте бил источник; струя воды была настолько сильной, что крутила небольшое мельничное колесо и с шумом падала на землю. Шум от этого источника слышался на утренней заре верст за пять и однажды помешал сну Варвары Петровны. Наутро разгневанная барыня позвала сычевского старосту и приказала: «Законопать колодец!» Староста оторопел. Долго думал он наедине, что делать: ведь в случае неудачи ждала его жестокая кара. Решил снова идти к госпоже с просьбой отменить приказ, но Варвара Петровна при первом шаге старосты через порог грозно взглянула на него, повернулась и вышла из комнаты. Староста отвесил поклон в пустоту... Долго совещались доморощенные инженеры, как быть, и в конце концов все-таки ухитрились гремучий колодец законопатить: вода из него пробила ход в другом месте, близко к земле, и шум прекратился.

Господский произвол распространялся на все живое в доме, даже на домашнюю птицу. Жил, например, в Спасском любимый Варварой Петровной голосистый петух. Раз она увидела в окно, как этого петуха гоняет по двору индюк и клюет его в голову.

— Бенкендорф!!!

На крик явился «министр двора».

— Смотри! Видишь? — произнесла госпожа, указывая

пальцем в окно. — Казнить озорника достойным образом!

И вот «министр двора» вместе со слугами поймал индюка, вырыл на дворе яму и живьем закопал провинившуюся птицу.

В домашнем быту своем и в управлении имением Варвара Петровна подражала царям. Слугам давала она придворные звания: дворецкий назывался «министром двора» и даже носил определенную барыней фамилию «Бенкендорф», мальчик лет 14 с несколькими помощниками, занимавшийся получением писем и отправкой почтовых корреспонденций, назывался «министром почт». Подчиненные не имели права обращаться к Варваре Петровне по своей инициативе. Явившись на прием, они должны были стоять у притолоки и ждать обращения к ним госпожи. Порой ждать приходилось долго и уходить ни с чем.

Приезд почты сопровождался специально разработанным ритуалом. Раздавалось несколько ударов большого спасского колокола, висевшего на высоком столбе неподалеку от дома. Затем по коридорам пробегали почтальоны, звоня в маленькие колокольчики. А «министр почт», одетый по форме, преподносил на серебряном подносе газеты и письма госпоже. Во время этой церемонии играла музыка крепостного флейтиста. Если на одном из конвертов была траурная кайма или черная печать, звучала грустная музыка, чтобы предупредить Варвару Петровну о печальном содержании письма. Если же печати были красные, флейтист наигрывал веселую мелодию.

При спасском доме, в мезонине правого флигеля, находилась собственная господская контора. Каждый день по утрам Варвара Петровна приходила в контору, занимала место на «троне» и выслушивала донесение главного управляющего о выполнении господских приказов, а затем писари заносили в книгу новые. Тургенев посвятил этой стороне деятельности своей матушки специальный рассказ «Собственная господская контора»:

«Левон вынул из ящика своего стола голубую книжку с надписью на переплете: «Заметки барыни», — раскрыл ее и принялся читать:

— «Понедельник, 11-го июня.

Во-первых: дворовым я желаю сделать другое распоряжение; хочу из дворовых сделать *колонистов*; а колонисты мои будут делать разные работы, домашние и прочие; построю им каменные флигеля; заведу фабрики, как швейные, так и кружевные, — ткацкую, белильню — и доведу до того, чтобы Введенские фабрики были известны

в России; а ненужных дворовых продам или отпущу по разным местам. Начальник моих колонистов — Куприян Семенов». — Левон остановился.

— Какая по этому сделана отметка? — спросила барыня.

— «Принято к соображению. А насчет Куприяна — исполнено».

Сумасбродные распоряжения и фантастические прожекты госпожи Тургеневой причиняли крепостному люду спасской усадьбы неисчислимые беды, калечили и коверкали человеческие судьбы. Варвара Петровна не допускала, например, чтобы ее служанки выходили замуж, произвольно изменяла их имена, преследовала и угнетала за каждую мелочь. Главная горничная ее Александра Семеновна вспоминала: «Два раза, батюшка, ссылала она меня на скотный двор в дальнюю деревню; один раз за то, что, подавая чай, не доглядела, как попала муха в чашку с чаем, а другой раз я не успела стереть пыль с рабочего столика».

При Спасском существовала своя «полиция» из отставных гвардейских солдат. К «полиции» Варвара Петровна прибегала всякий раз, когда требовалось применение силы. Суд и расправу госпожа чинила в особой комнате, прозванной ею «залом суда». В назначенные дни она являлась в это судилище с хлыстом в руках, садилась в кресло и творила приговоры, заставляя безотлагательно приводить в исполнение свои наказания. Часто по малейшему, пустячному поводу разрушались семьи, отнимались дети от матерей, люди ссылались в дальние деревни или отправлялись в солдаты.

Однажды жертвой господской несправедливости оказался добрый друг Ванички Тургенева Леонтий Серебряков... Уже сидя в телеге, обутый в лапти и старую холщовую рубаху, почитатель Ломоносова и Хераскова обратился к молодому барчуку с речью, которую Тургенев запомнил на всю жизнь и воспроизвел в повести «Пунин и Бабурин»: «Урок вам, молодой господин; помните нынешнее происшествие и, когда вырастете, постарайтесь прекратить таковые несправедливости. Сердце у вас доброе, характер пока еще не испорченный... Смотрите, берегитесь: этак ведь нельзя!» Сквозь слезы, обильно струившиеся по моему носу, по губам, по подбородку, я пролепетал, что буду... буду помнить, что обещаюсь... сделаю... непременно... непременно...»

Мимо постылого дома, мимо ненавистных строений

с надписями «контора села Спасского», «полиция села Спасского» бежал мальчик в самую глубь и глушь сада, в то заветное, укромное место, где они с Леонтием упивались музыкой российского стиха. А в ушах звучали наполненные конкретным, живым смыслом строки Державина:

Ваш долг — спасать от бед невинных,
Несчастливым подать покров,
От сильных защищать бессильных...
Исторгнуть бедных из оков!

О, трижды благословенный спасский сад! Он стал для будущего писателя олицетворением простора, света и свободы, живых творческих сил его любимой Родины. Потрясенный домашними бедами, здесь мальчик отходил душой и сердцем; по контрасту с домашним адом острее воспринималась поэзия русской вольной природы, живущей своей многообещающей и таинственной жизнью. Этот сад не походил на чинный регулярный английский парк; деревья росли в нем в том неприхотливом беспорядке, в каком растут они в лесу: клены вперемежку с березами, елями, зарослями орешника, черемухи. Высокие купы вековых дубов и лип чередовались с маленькими полянками, заросшими травой, в которой красными капельками проступала лесная земляника. Сад «был очень стар и велик и заканчивался с одной стороны проточным прудом, в котором не только водились караси и пескари, но даже гольцы попадались, знаменитые, ныне почти везде исчезнувшие гольцы. В голове этого пруда засел густой лозняк; дальше вверх, по обоим бокам косогора, шли сплошные кусты орешника, бузины, жимолости, терна, проросшие снизу вереском и зорей. Лишь кое-где между кустами выдавались крохотные полянки с изумрудно-зеленой, шелковистой, тонкой травой, среди которой, забавно пестрея своими розовыми, лиловыми, палевыми шапочками, выглядывали приземистые сыроежки и светлыми пятнами загорались золотые шарики «куриной слепоты». Тут по вёснам певали соловьи, свистали дрозды, куковали кукушки; тут и в летний зной стояла прохлада», и маленький Тургенев «любил забиваться в эту глушь и чащу», где у него «были фаворитные, потаенные местечки», известные — так, по крайней мере, он воображал! — только ему одному.

В саду судьба свела Тургенева с людьми из народа, чуткими к красоте родной природы, знатоками и ценителями птичьего пения, людьми с доброй и вольной душой. Об одной из таких встреч любовно рассказал писатель в повести «Пунин и Бабурин»: «Вышедши из бабушкиного кабинета, я прямо отправился в одно из тех местечек, прозванное мною «Швейцарией». Но каково было мое изумление, когда, еще не добравшись до «Швейцарии», я сквозь частый переплет полузасохших прутьев и зеленых ветвей увидал, что кто-то открыл ее кроме меня! Какая-то длинная-длинная фигура, в желтом фризовом балахоне и высоком картузе, стояла на самом облюбленном мною местечке! Я подкрался поближе и разглядел лицо, совершенно мне незнакомое, тоже предлинное, мягкое, с небольшими красноватыми глазками и презабавным носом: вытянутый, как стручок, он точно повис над пухлыми губками; и эти губки, изредка, вздрагивая и округляясь, издавали тонкий свист, между тем как длинные пальцы костлявых рук, поставленные дружка против дружки на вышине груди, проворно двигались круговращательным движением. Время от времени движение рук замирало, губы переставали свистать и вздрагивать, голова наклонялась вперед, как бы прислушиваясь. Я пододвинулся еще поближе, вгляделся еще внимательнее... Незнакомец держал в каждой руке по небольшой плоской чашечке, вроде тех, которыми дразнят и заставляют петь канареек. Сук хрустнул у меня под ногою; незнакомец дрогнул, устремил свои слепые глазенки в чащу и попятился было... да наткнулся на дерево, охнул и остановился.

Я вышел на полянку. Незнакомец улыбнулся.

— Здравствуйте, — промолвил я.

— Здравствуйте, барчук!

Мне не понравилось, что он меня назвал барчуком. Что за фамильярность!

— Что вы здесь делаете? — спросил я строго.

— А вот видите, — отвечал он, не переставая улыбаться. — Птичек на пение вызываю. — Он показал мне свои чашечки. — Зяблики отлично ответствуют! Вас, по младости ваших лет, пение пернатых должно услащать беспременно! Извольте прислушать: я стану щебетать, а они за мною сейчас — как приятно!

Он начал тереть свои чашечки. Точно, зяблик отозвался на ближней рябине. Незнакомец засмеялся беззвучно и подмигнул мне глазом».

К счастью, Варвара Петровна поощряла разбуженную в сыне дворовыми — хранителями сада — любовь к природе. Головастый, большеглазый, рассудительный и не по

годам серьезный мальчик с любопытством слушал рассказы садовников, лесных сторожей, охотников о жизни зверей и птиц. А потом он увлекся ловлей пернатых в западни, силки и на клей; пойманных птичек он сажал в большую зеленую клетку, стоящую в одной из комнат. Внимательно выслушивал Ваничка рассказы лесника об отличиях птиц разных пород, об их повадках и образе жизни. Мальчик привязался к этому добродушному и чуткому человеку, прозванному Борзым за свой высокий рост и худые ноги. Варвара Петровна назначила его хранителем комнатных птиц, и Тургенев имел возможность ежедневно общаться с Борзым, часами слушать его рассказы в саду, в окрестных лесах или дома, в птичьей комнате.

На Благовещенье, 25 марта, по принятой на всей Руси традиции — Благовещенье — птиц на волю отпущенье, — зеленую клетку выносили на балкон, и Ваничка, в присутствии самой Варвары Петровны, выпускал пернатых пленниц на свободу, любуясь, как они стремительно взмывают вверх и тают в небесной синеве. В этот день лицо матери смягчалось, в глазах теплилась материнская ласка.

Ивана она действительно любила, как могла. Временами ему позволялись такие вольности, какие были ни для кого в доме не допустимы. По утрам Варвара Петровна составляла расписание занятий для всех домочадцев, в котором строго регламентировался весь день. Расписание это переписывалось в нужном количестве экземпляров на специальные листки-таблички и вручалось каждому члену семьи, включая воспитанниц и приживалок. А Ваничку с раннего утра тянуло в сад, на простор и приволье любимой природы. Забираясь в укромный уголок, он часами просиживал там в одиночестве, всматриваясь и вслушиваясь в тайную жизнь, тихо струившуюся вокруг. Окутанный свежестью и тенью, он иногда читал, обдумывая прочитанное, а чаще «предавался тому ощущению полной тишины», «прелесть которого состоит в едва сознательном, немотствующем подкарауливанье широкой жизненной волны, непрерывно катящейся и кругом нас и в нас самих». Отступало все плохое и горькое, широко и легко дышала грудь, и время, казалось, прекращало бег свой: «расписание» забывалось, и только звуки большого спасского колокола, зовущие к обеду, выводили мальчика из состояния блаженного оцепенения.

За обедом Варвара Петровна строго всматривалась в проясненное, одухотворенное лицо своего сына и, тайно любуясь им, прощала «вольности и прегрешения». Но материнское великодушие и снисходительные ласки не пробуждали в душе мальчика тихой и теплой радости; подкатывал к горлу комок, все существо пронизывало горькое чувство обиды, хотелось плакать, долго и неутешно. Было в этом великодушии и в этих торопливых ласках что-то похожее на оскорбительную подачку: слишком уж часто и круто сменялись они приступами ничем не оправданной жестокости, торжеством злой и грубой силы. Присутствие в доме этой нерассуждающей силы отравляло все существование и обесценивало легковесную доброту.

Не довелось Ивану Сергеевичу испытать под кровом родного дома глубокого чувства семьи и семейственности, охраняющей теплоты родственных уз, укрепляющей душу материнской ласки и участия, поэзии семейных отношений. Он вышел в большой мир незащищенным, личностно неукорененным, не имея в себе того внутреннего ядра, той крепости и силы, которая оберегает личность в житейских драмах и испытаниях.

Это не значит, конечно, что в семейном быту обитателей Спасского царили только произвол и деспотизм, что ничего светлого и доброго Тургенев от своих родителей не унаследовал, не позаимствовал. Тургеневы на всю округу славились своим хлебосольством и гостеприимством. Всякий раз после праздничной службы в Спасской церкви толпы народа устремлялись к барскому дому поздравить господ. Дворецкий приказывал накрывать столы, ставить горячие пироги, закуски и вина. Варвара Петровна широко и радостно улыбалась, была на редкость щедра и добродушна. Прояснялись лица спасских мужиков, расправлялись морщины, звучала веселая плясовая, водились перед домом крестьянские хороводы.

А на храмовый праздник 15 сентября, в день святого Никиты, с вечера по длинным аллеям, ведущим к дому, тянулись вереницы экипажей: гости собирались ко всенощной. В эти дни Тургеневы не чинились, и в барские хоромы допускались по древнему христианскому обычаю все — и богатые, и мелкопоместные, и даже однодворцы. Равно желанными гостями были и богатый вельможа, и хромой инвалид, и слепая старушка помещица.

В день праздника, по возвращении из церкви, садились за праздничные столы, потом часть гостей разъезжалась по домам. Оставались в Спасском любители охоты: они выходили на балкон, перед которым егеря устраивали смотр охотничьих собак и лошадей. На другой день,

ранним утром, едва начинала брезжить заря, охотники съезжали со двора. Барыни тоже сопутствовали им в тяжелых четырехместных каретах. Охотники со сворами собак рыскали по полям, а их жены и малые дети останавливались на кромке озимого поля, у опушки леса, и поджидали, когда кто-нибудь из охотников для всеобщего удовольствия загонит зайца или лисицу под самые дверцы кареты. В ожидании этой потехи дамы доставали из узелков пирожки и конфеты, пряники, орехи и прочие лакомства, дети играли и резвились на свежем осеннем воздухе.

С сумерками возвращались. Вдали уже виднелся ярко освещенный дом, а в нем гремела музыка и ждал гостей богатый ужин. Начинался веселый бал с маскарадом, устраивались интересные домашние спектакли. Одна из боковых галерей спасского дома была приспособлена для театральных представлений. Участвовали в спектаклях и сами господа, и их гости, приехавшие из дальних уездов. Замечательными сценическими талантами обладал, например, Александр Алексеевич Плещеев. В своем имении Чернь он устраивал спектакли, участниками которых были Н. М. Карамзин и В. А. Жуковский. Плещеев вместе с Жуковским часто гостили в Спасском-Лутовинове, и у Тургенева-ребенка остались смутные воспоминания о том, как на спасской сцене Жуковский исполнял роль волшебника.

Варвара Петровна, следуя требованиям спартанской «педагогики», музыке детей не учила, но музыку любила страстно, до конца дней своих. В Спасском имелся прекрасный оркестр крепостных музыкантов, поэтому стихия музыки с детских лет вошла в душу Тургенева и пленила ее. Впоследствии он не раз с упреком говорил Варваре Петровне: «Била бы ты меня, маман, но и музыке выучила бы!» Содержали Тургеневы и собственный балет из крепостных актрис, которые славились по всей округе и часто сдавались внаем за определенную плату в богатые имения орловских и тульских помещиков.

Супруги Тургеневы знали цену образования, были очень начитанными людьми, регулярно пополняли спасскую библиотеку русской, французской, немецкой и английской литературой. Отец внимательно следил за успехами своих детей в науках. Он очень рано заболел неизлечимой тогда желчнокаменной болезнью и в последние годы часто лечился за границей. Сыновья обязаны были писать ему письма в форме «журналов» — подробных

отчетов за каждый прожитый день. Сергей Николаевич порой упрекал сыновей: «Вы всё мне пишете по-французски или по-немецки, — а за что пренебрегаете наш природный? Если вы в оном очень слабы, это меня очень удивляет. Пора! Пора! Уметь хорошо не только на словах, но и на письме объясняться по-русски — это необходимо. И для того вы можете писать ваши журналы следующим образом: понедельник по-французски, вторник по-немецки, середа по-русски и так далее в очередь».

Не без влияния родителей в сознание Тургенева с детских лет вошли раздумья о судьбе опальных декабристов. Мальчику было семь лет, когда 14 декабря 1825 года прогремели пушки на Сенатской площади. Восстание декабристов, следствие по их делу и жестокий приговор Николая I были предметом самых заинтересованных пересудов в кругах российского дворянства. По соседству с родовым имением отца, селом Тургеневом, жил дальний его родственник Сергей Иванович Кривцов. Причастный к заговору, он вместе с другими декабристами был сослан в Сибирь. Отец и мать Тургенева глубоко сочувствовали несчастной судьбе Сергея Ивановича и посылали в Сибирь вещи и деньги. Отец даже заказал копию с бестужевского портрета С. И. Кривцова, который декабристы прислали из Читы. Тургенев-мальчик, вероятно, знал об этом и не раз слышал беседы взрослых о положении ссыльных дворян. Варвара Петровна в письмах к сыну в Берлин не случайно писала: «И ежели бы ты был сослан в 1826 г. в Сибирь, я бы не осталась — с тобою, с тобою». Конечно, Варвара Петровна, будучи убежденной крепостницей, не разделяла взглядов передового дворянства, но человечески сочувствовала пострадавшим и считала своим долгом помогать знакомым и близким из их числа, не боясь скомпрометировать свое имя в светских и придворных кругах.

В доме Тургеневых жил молчаливый, глухой камердинер Варвары Петровны Михаил Филиппович. Рассказывали, что в день 14 декабря 1825 года он был с солдатами на Сенатской площади, видел страшную картину расстрела восставших. В Спасском считали, что орудийные выстрелы явились причиной его глухоты. Эти полулегендарные рассказы не могли не тревожить воображения впечатлительного мальчика, не могли не рождать в его пытливом уме серьезных вопросов.

Из разговоров родителей Иван Сергеевич уже тогда мог узнать, что Николай I относился ко всем Тургеневым

настороженно и недоброжелательно. В 1832 году, например, император лично приказал вести за Сергеем Николаевичем секретное наблюдение, так как он был в отдаленном родстве с Николаем Ивановичем Тургеневым, одним из самых крупных идеологов декабристского движения, а с его братом, Александром Ивановичем, вел дружескую переписку и в 1832 году встречался с ним в Париже. И отдаленное родство, и тесные дружеские связи с прогрессивно мыслящими дворянами настораживали правительственные круги и заставляли Николая I держать семью Тургеневых под особым наблюдением.

Так или иначе, но, по словам Тургенева, «ненависть к крепостному праву уже тогда жила» в нем, «она, между прочим, была причиной тому, что» он, «выросший среди побоев и истязаний, не осквернил руки своей ни одним ударом». Но до серьезного осознания этих вопросов было еще далеко.

ГОДЫ УЧЕНИЯ

В начале 1827 года Тургеневы приобрели дом в Москве на Самотеке (ныне — Садово-Самотечная, 12), и все семейство переехало на новое место жительства: пришла пора готовить детей к поступлению в высшие учебные заведения. В то время дворяне гнушались отдавать своих сыновей в гимназию, где учились дети разночинцев. Гимназический курс дворянские мальчики проходили, как правило, в благородных пансионах. Николая и Ивана Тургеневых родители определили в частный пансион Вейденгаммера на полное содержание и уехали за границу: тяжело больной отец нуждался в длительном лечении. Наступила двухлетняя разлука Ванички Тургенева с матерью и отцом.

Переход от домашнего к казенному воспитанию девятилетнему Тургеневу давался нелегко. Он скучал о Спасском, об укромных уголках тенистого сада, о добрых друзьях-охотниках, которые остались там, далеко-далеко... Трудно входил Тургенев в пансионский ребяческий мир: докучливые школяры прознали об одной его слабости — кость на темени у мальчика была так тонка, что при ударе по голове рукой он терял сознание, впадая в полуобморочное состояние. Впоследствии, когда приятели упрекали Тургенева в мягкотелости, он говорил:

— Да и какой ждать от меня силы воли, когда до сих

пор даже череп мой срастись не мог. Не мешало бы мне завещать его в музей академии... Чего тут ждать, когда на самом темени провал. Приложи ладонь — и ты сам увидишь. Ох, плохо, плохо...»

Не обходилось и без сословных претензий со стороны самого Ванички Тургенева. Вероятно, воспоминаниями пансионской жизни навеяны следующие строки из повести «Яков Пасынков»: «Я был очень самолюбивый и избалованный мальчик, вырос в довольно богатом доме и потому, поступив в пансион, поспешил сблизиться с одним князьком, предметом особенных попечений Винтеркеллера, да еще с двумя-тремя маленькими аристократами, а со всеми другими важничал».

Тем не менее приходилось смиряться с суровыми пансионскими распорядками. Еженедельно, по субботам, надзиратель отдавал Вейденгаммеру рапортички со списками учеников, замеченных в дурном поведении: в наказание они оставлялись в пансионе на выходные дни, без свидания с родными в домашней обстановке.

Утренний подъем в семь часов, молитва, завтрак, классы... Всемирная история по Шреку, география по Каменецкому, русская история по книге, изданной для народных училищ... Наказания нерадивых учеников — от стояния на коленях у кафедры до ударов указкой или линейкой по рукам и по голове...

Древние языки, греческий и латинский, и современные — немецкий, английский и французский — давались Тургеневу легко. Радовали уроки российской словесности. Литература вообще и поэзия в особенности были тогда предметом всеобщего поклонения. Заучивались наизусть стихи Пушкина, Жуковского, Боратынского, Дельвига, Глинки, Козлова и Языкова, составлялись рукописные тетради из произведений любимых поэтов, устраивались пансионские литературные вечера. В большом почете были немецкие романтики, зачитывались поэзией Шиллера, заслушивались музыкой Шуберта. Появились собственные пансионские поэты, и Ваничка Тургенев пробовал силы на литературном поприще.

Летом 1829 года вернулись из-за границы родители и решили перевести детей в другой пансион. Вышедший в 1828 году новый устав гимназий в целях более основательной подготовки выпускников к слушанию университетских лекций предусматривал существенные изменения в содержании гимназических курсов. Главными предметами были признаны древние языки и математика: первые

«как лучший способ к возвышению и укреплению душевных сил юношей; последняя — как служащая в особенности к изощрению ясности в мыслях, их образованию, проницательности и силе размышления». Увеличивалось число уроков по закону Божию и отечественному языку. Из других предметов оставались география и статистика, история, физика, новые языки, чистописание и рисование.

Вероятно, пансион Вейденгаммера не отвечал новым требованиям, и Тургеневы перевели детей в пансион Краузе. Умный, добродушный и чувствительный немец, Краузе служил инспектором Армянского училища, ставшего впоследствии Лазаревским институтом восточных языков. Здесь Тургенев пережил «сильное литературное впечатление»: по вечерам надзиратель пансиона с увлечением, с красочными подробностями пересказывал ученикам новый роман М. Н. Загоскина «Юрий Милославский». Это был увлекательный рассказ о национально-освободительной борьбе русского народа с польско-литовскими интервентами в 1612 году. Герои «Юрия Милославского» завораживали воображение, рождали в юных сердцах чувство патриотической гордости за свое отечество. Кузьма Минин и князь Пожарский, бесстрашный запорожец Кирша и Омляш с разбойничьей шайкой приобрели огромную популярность не только в среде пансионеров. Вся Россия зачитывалась романом. А Тургеневу «Юрий Милославский» был особенно дорог: он напоминал ему о славной истории тургеневского рода, о Петре Никитиче Тургеневе, обличителе самозванца. Позднее, прочитав в первом номере «Москвитянина» за 1853 год биографию Загоскина, Тургенев писал С. Т. Аксакову: «Да, такая народность — завидна — и дается немногим».

Так случилось, что автор прославленного романа, Михаил Николаевич, оказался другом отца, и, по возвращении родителей из-за границы, стал частым гостем в московском доме Тургеневых. «Я редко встречал таких простосердечных и добродушных людей, — вспоминал о нем И. И. Панаев. — Загоскин весь и всегда постоянно был нараспашку. Его бесхитростный, простой патриотизм часто доходил до комизма. Когда он бывал в расположении духа, он говорил без умолку и рассыпал в своем разговоре цинические пословицы, поговорки и выражения, сам восхищаясь ими и смеясь от всей души. Его круглое румяное лицо, вся его фигура — маленькая, толстенькая, но хлопотливая и подвижная — как-то невольно располагали к нему... Новых идей, проповедываемых молодежью, он терпеть не мог. «Поверь мне, милый, все это чепуха, — говорил он К. Аксакову, — завиральные идеи, взятые из вашей немецкой философии, которая, по-моему, и выеденного яйца не стоит... Русский человек и без немцев обойдется. То, что русскому человеку здорово, — немцу смерть. Черт с ним, с этим европеизмом, чтоб ему провалиться сквозь землю!»

Естественно, что юного романтика и будущего западника Тургенева такой человек в восторг привести не мог. «В Загоскине, — рассказывал Тургенев, — не проявлялось ничего величественного, ничего фатального, ничего такого, что действует на юное воображение; говоря правду, он был даже комичен, а редкое его добродушие не могло быть надлежащим образом оценено мною: *это* качество не имеет значения в глазах легкомысленной молодежи. Самая фигура Загоскина, его странная, словно сплюснутая голова, четырехугольное лицо, выпученные глаза под вечными очками, близорукий и тупой взгляд, необычайные движения бровей, губ, носа, когда он удивлялся или даже просто говорил, внезапные восклицания, взмахи рук, глубокая впадина, разделявшая надвое его короткий подбородок, — все в нем казалось чудаковатым, неуклюжим, забавным. ...Со всем тем нельзя было не любить Михаила Николаевича за его золотое сердце, за ту безыскусственную откровенность нрава, которая поражает в его сочинениях».

Романтически настроенный юноша склонен был восхищаться тогда явлениями экзотическими, необыкновенными, выходящими за пределы бытового ряда. Его внимание привлекали натуры *энтузиастические*, окрыленные. Таким, например, оказался пансионский друг героя повести «Яков Пасынков»: «Без напряжения, без усилия вступал он в область идеала; его целомудренная душа во всякое время была готова предстать перед «святынею красоты»...

— Ищи утешения в искусстве, — говорил я ему.

— Да, — отвечал он мне, — и в поэзии.

— И в дружбе, — прибавлял я.

— И в дружбе, — повторял он.

О, счастливые дни!»

В духовном развитии русских людей, начиная со второй половины 1820-х годов, открывался период длительного и плодотворного увлечения немецкой романтической культурой. В пансионе юноша зачитывался поэзией Шиллера и упивался музыкой Шуберта. Новый мир возвы-

шенных духовных наслаждений, неземных идеалов, сильных страстей, гордых и смелых человеческих характеров смягчал впечатления суровой крепостнической действительности.

В переходный период от детства к отрочеству добрую роль в жизни Тургенева сыграл его родной дядя, младший брат отца, Николай Николаевич. Пока родители оставались за границей, дядя взял на себя все заботы о воспитании детей. Николай Николаевич Тургенев не отличался ни разносторонностью своего образования, ни глубиною духовных запросов. Это был русский дворянин старинного покроя. Но в отличие от Варвары Петровны и Сергея Николаевича он сохранил цельность характера, добродушие, мягкость и сердечность в обращении с детьми. Тургенев так привязался к своему дядюшке, что и впоследствии, когда испортились отношения между ними, все-таки называл его «вторым отцом».

Николай Николаевич был интересным рассказчиком. Он любил предаваться воспоминаниям об Отечественной войне. В 1812 году Н. Н. Тургенев служил юнкером Кавалергардского полка, за храбрость в Бородинском бою его наградили знаком отличия военного ордена, произвели в поручики. В 1814 году он вошел со своим эскадроном в Париж и покорил избранное французское общество необыкновенной физической силой. В одном из французских гимнастических залов, заключив пари, он так растянул силовую пружину, что вырвал ее из стены вместе с креплениями. В Париже долго ходили легенды об этом «подвиге» русского богатыря.

Рассказы дядюшки увлекали воображение Тургенева и послужили материалом для его художественных произведений. В биографиях тургеневских героев Отечественная война 1812 года часто является исходным пунктом: родословная отца Елены Стаховой в «Накануне», родословная Кирсановых в «Отцах и детях»...

Николай Николаевич был страстным охотником, признанным знатоком лошадей и собак. По части коневодства и охоты у него не было соперников в среде деревенских соседей-помещиков. Дядюшка научил Тургенева всем хитростям хорошей верховой езды, меткой стрельбе из ружья, познакомил с прелестями русской охоты. Во вкусах и пристрастиях Н. Н. Тургенева было много такого, что сближало этого патриархального дворянина с людьми из народа. Он ценил поэзию усадебного быта, мирные радости жизни старых дворянских гнезд; он любил природу

средней полосы России. Многие черты характера дядюшки Николая Тургенев передал потом помещику Чертопханову, герою «Записок охотника».

Сохранившиеся письма дядюшки к племяннику — наглядное свидетельство их душевной близости: «Десятый день как я в Тургеневе, все цветет, поля покрыты изобильно, обещают хороший урожай; лошади все живы, нонешние жеребяты очень хороши, собаки во всей красоте, ищут славно, Офанасей носит разной дичи много, особенно куропаток». По наказу Сергея Николаевича дядя внимательно следит за тем, чтобы дети аккуратно вели «журналы», и периодически высылает эти журналы за границу. Однако, человек малообразованный, он с трудом понимает мир духовных интересов племянника, живущего не только охотой, но и поэзией Державина, Пушкина, Жуковского. К одному из «журналов» племянника он делает, например, следующую приписку на полях: «Жаль, что дурно пишит. Я с трудом разбираю и трушу отца. Он будит недоволен».

Летом 1831 года Тургенев вышел из пансиона и с помощью домашних учителей начал готовиться к поступлению в университет. Ежедневно, с 8 часов утра, Николай, Иван и Сергей являлись в классную комнату и рассаживались за тремя столами, стоявшими впереди, рядом с учительской кафедрой. Позади находились «места» для дворовых людей, среди которых особыми успехами в науках отличался Порфирий Кудряшов, будущий спутник и «дядька» Тургенева во время обучения в Берлинском университете.

Русскую словесность преподавал Тургеневым магистр Московского университета Дмитрий Никитич Дубенский, великолепный знаток древнерусской литературы, автор исследования «Слова о полку Игореве». В недалеком прошлом он преподавал словесность в университетском пансионе М. Ю. Лермонтову. Дубенский был поклонником Карамзина, Батюшкова и Жуковского, с воодушевлением читал оды Державина, но литературные вкусы его отличались архаичностью: Пушкина, например, он недолюбливал и явно недооценивал.

Господин Дубле, преподаватель французского языка, предлагал своим ученикам делать самостоятельные переводы «Генриады» Вольтера и политических речей Мирабо. Мейер помогал юношам усовершенствовать свои познания немецкого языка, Шуровский — латыни и начатков философии.

Но особенно увлекательными были лекции по истории Ивана Петровича Клюшникова, студента Московского университета, друга Белинского и Станкевича, члена их философского кружка. Рассказы Клюшникова отличались живой образностью и картинностью изложения, он обладал даром «вызывать дух исторических эпох». Да это и не случайно, так как молодой человек был не только пытливым и талантливым студентом, но и незаурядным поэтом, творчество которого высоко оценивал Белинский.

Летом 1833 года, перед поступлением в университет, «на даче против Нескучного», Тургенев испытал первую несчастную любовь к княжне Екатерине Шаховской. Она нанесла молодому, неокрепшему сердцу юноши глубокую рану. Соперником сына оказался его отец. Это событие настолько потрясло Тургенева, что впоследствии он подробно рассказал о нем в повести «Первая любовь».

А в сентябре Тургенев держал экзамены на словесный факультет Московского университета. Условия для поступления были очень строгими: претенденты подвергались испытаниям не только по специальным, но и по всем предметам гимназического курса, причем особое внимание уделялось знанию иностранных языков. Из 167 экзаменовавшихся было принято лишь 25 человек. Среди них оказался и Тургенев. Это событие отмечалось как большая семейная радость. «Мы, юноши, полвека тому назад смотрели на университет как на святилище и вступали в его стены со страхом и трепетом, — вспоминал И. А. Гончаров. — Образование, вынесенное из университета, ценилось выше всякого другого. Москва гордилась своим университетом, любила студентов, как будущих самых полезных... деятелей общества. Студенты гордились своим званием и дорожили занятиями, видя общую к себе симпатию и уважение». В начале 1830-х годов в Московском университете учился будущий цвет русской литературы и общественной мысли: Герцен, Огарев, Станкевич, Белинский, Аксаков, Лермонтов.

Однако нельзя сказать, что преподавание в нем целиком отвечало потребностям жизни и уровню современной науки. После восстания декабристов, после истории с Полежаевым, лично сосланным Николаем I в солдаты за вольнолюбивую, антиправительственную поэму «Сашка», после разгрома социалистического кружка Герцена и Огарева преподавание в Московском университете было поставлено под строгий контроль правительственных чиновников и тайной полиции.

Лекции по русской словесности профессора И. И. Давыдова касались в основном поэзии и прозы XVIII столетия. Много внимания уделялось «Житиям святых» Димитрия Ростовского, церковным проповедям Стефана Яворского, читалась риторика и поэтика по старым образцам. В историко-литературном курсе не находилось места даже Жуковскому, не говоря о Пушкине и поэтах его плеяды. Тургенев так прохладно отнесся к этой науке, что на экзамене по русской словесности получил удовлетворительную оценку.

Ярким явлением в университетской жизни были лекции профессора М. Г. Павлова по физике, а в действительности — по философии. Один из первых в России приверженцев Шеллинга, знаток немецкой классической философии, он побуждал студентов к занятию самообразованием в этой области, к созданию самостоятельных, не зависимых от институтского начальства, самодеятельных студенческих кружков. А. И. Герцен вспоминал: «Германская философия была привита Московскому университету М. Г. Павловым. Кафедра философии была закрыта с 1826 года. Павлов преподавал введение к философии вместо физики и сельского хозяйства. Физике было мудрено научиться на его лекциях, сельскому хозяйству — невозможно, но его курсы были чрезвычайно полезны. <...> Павлов излагал учение Шеллинга и Окена с такой пластической ясностью, которую никогда не имел ни один натурфилософ. Если он не во всем достигнул прозрачности, то это не его вина, а вина мутности Шеллингова учения. Скорее Павлова можно обвинить за то, что он <...> не прошел суровым искусом Гегелевой логики. <...>

Чего не сделал Павлов, сделал один из его учеников — Станкевич».

В период обучения Тургенева в Московском университете уже существовал философский кружок Н. В. Станкевича. Но в него входили студенты старших курсов, и хотя Тургенев со Станкевичем познакомился, постоянным участником этого кружка он не был; сближение со Станкевичем и людьми его круга произошло позднее.

В 1834 году старший брат Николай был определен в Петербургское артиллерийское училище, и семья Тургеневых решила перебраться в столицу. Варвара Петровна в это время лечилась за границей, а с детьми оставался отец. В мае Иван Сергеевич сдал экзамены за первый курс и подал прошение о переводе его на филологическое

отделение философского факультета Петербургского университета. Просьба была удовлетворена.

В Петербурге Тургенев начинает свои первые литературные опыты. Он сочиняет оду на открытие Александровской колонны, которое состоялось 30 августа 1834 года, и начинает работу над романтической поэмой «Стено».

30 октября 1834 года семью Тургеневых постигает глубокое несчастье — в Петербурге, буквально на руках Ивана Сергеевича, умирает отец. Это случилось ночью. Накануне, словно предчувствуя свою близкую смерть, он неожиданно горячо приласкал сына, что делал так редко...

Устами героя «Дневника лишнего человека» Тургенев так передал свое душевное состояние после рокового события: «Я весь отяжелел, но чувствовал, что со мною совершается что-то страшное... Смерть тогда заглянула в лицо и заметила меня».

Тяжелые переживания, связанные с кончиной отца, нашли отражение в юношеской поэме «Стено», в которой Тургенев, по его позднейшим словам, «с детской неумелостью» рабски подражал байроновскому «Манфреду». Однако, несмотря на детскую беспомощность, в стихах шестнадцатилетнего Тургенева удивляет зрелость раздумий о смысле человеческого существования, о смерти и бессмертии.

Поэма открывалась монологом романтического героя. Лунной ночью в Риме, на развалинах Колизея, Стено предается размышлениям о минувшем величии Рима. Как стремительно летит время, как безжалостно стирает оно следы могучих эпох, целых культур, цивилизаций. Если даже Рим исчез, как сонное видение, то что говорить о слабой человеческой судьбе...

Для чего же дается нам жизнь, как понять смысл ее радостей и надежд, если каждый из нас находится во власти равнодушной и слепой стихии уничтожения? Эти вопросы будут волновать Тургенева всю жизнь, они войдут в его зрелые реалистические повести, составят философский фон его романов. Поэма свидетельствовала о богатом духовном опыте шестнадцатилетнего юноши, о глубине и серьезности его философских увлечений, разбуженных лекциями Павлова в Московском университете.

Примечательно, что в поэме «Стено» определяется и основной конфликт будущих тургеневских произведений: романтик-индивидуалист Стено, с опустошенной душой, не способный на живую страсть, а рядом — Джулия, беззаветно и самоотверженно отдающаяся своему чувству, провозвестница будущих тургеневских девушек.

Зимой 1834 года, по возвращении Варвары Петровны, Тургенев наносит визит одному из своих любимых поэтов, Василию Андреевичу Жуковскому, воспитателю наследника русского престола, будущего Александра II. Мать, узнав о поэтических увлечениях сына, решила напомнить Жуковскому о себе и давнем с ним знакомстве. «Она вышила ко дню его именин красивую бархатную подушку и послала меня с нею к нему в Зимний дворец, — вспоминал Тургенев. — Я должен был назвать себя, объяснить, чей я сын, и поднести подарок. Но когда я очутился в огромном, до тех пор мне незнакомом дворце; когда мне пришлось пробираться по каменным длинным коридорам, подниматься на каменные лестницы, то и дело натыкаясь на неподвижных, словно тоже каменных, часовых; когда я, наконец, отыскал квартиру Жуковского и очутился перед трехаршинным красным лакеем с галунами по всем швам и орлами на галунах, — мною овладел такой трепет, я почувствовал такую робость, что, представ в кабинет, куда пригласил меня красный лакей и где из-за длинной конторки глянуло на меня задумчиво-приветливое, но важное и несколько изумленное лицо самого поэта, — я, несмотря на все усилия, не мог произнести звука: язык, как говорится, прилип к гортани — и, весь сгорая от стыда, едва ли не со слезами на глазах, остановился как вкопанный на пороге двери и только протягивал и поддерживал обеими руками — как младенца при крещении — несчастную подушку, на которой, как теперь помню, была изображена девица в средневековом костюме, с попугаем на плече. Смущение мое, вероятно, возбудило чувство жалости в доброй душе Жуковского; он подошел ко мне, тихонько взял у меня подушку, попросил меня сесть и снисходительно заговорил со мною. Я объяснил ему наконец, в чем было дело — и, как только мог, бросился бежать».

Вероятно, по мысли Варвары Петровны и по желанию Ивана Сергеевича, он должен был дать на суд поэта свои первые литературные опыты, но в смущении совершенно забыл об этом. Неделю спустя состоялось новое свидание Тургенева с Жуковским через посредничество старинного приятеля тургеневского семейства Воина Ивановича Губарева, близкого друга поэта. Показывал ли Тургенев Жуковскому свои стихи? Как откликнулся маститый поэт на первые опыты юноши? Об этом нам ничего не известно.

Влияние поэзии Жуковского очевидно в первых тургеневских стихах. Так, в элегии «Вечер» возникают сомнения в разумности мироздания, но уже исчезает свойственный романтизму Байрона титанизм чувств. На первый план выходит другое — тоска по цельности, желание постичь гармонию в природе и слиться с ней. Появляется жажда веры в разумность мироздания, в его целесообразность. Такие настроения не случайны, в них глухо сказывается тургеневская неудовлетворенность романтическим субъективизмом и уже предчувствуется будущая эволюция Тургенева от романтизма к реализму.

Показателен для юного поэта этот круг литературных влияний: Байрон, «краски романтизма» которого, по словам П. А. Вяземского, «сливались с красками политическими», а рядом с ним Жуковский с его мотивами смерти и бессмертия, скоротечности земного бытия, с его трепетом перед тайнами мироздания. В выборе учителей угадывается писатель, чуткий к современным общественным проблемам и в то же время сохранивший неугасающий интерес к роковым вопросам и неразрешимым загадкам бытия.

В 1835 году Тургенев познакомился со студентом выпускного курса Петербургского университета Тимофеем Николаевичем Грановским, будущим знаменитым ученым-историком западнической школы. Молодые люди сошлись на общем интересе к поэзии: Грановский в эту пору тоже сочинял стихи и однажды, в темный зимний вечер, в большой и пустой комнате своей квартиры прочел Тургеневу отрывок из поэтической драмы «Фауст». Друзья сидели рядом за шатким столиком, на котором вместо всякого угощенья стоял графин с водой да банка варенья.

В драме Грановского Фауст вместе с Мефистофелем поднимались на воздух в стеклянном ящике и обозревали широко раздвинувшуюся землю. Монолог Фауста во многом перекликался с монологом Стено о тщете человеческой жизни; Тургеневу он очень понравился, но насторожило другое. «Почему, Грановский, на протяжении всего отрывка Ваш Мефистофель молчит?» — спросил Тургенев и не получил вразумительного ответа. Уже тогда он заметил, что Грановский лишен чувства юмора и что едкая, безжалостная ирония Мефистофеля вообще чужда его светлой душе.

В комнате Грановского друзья читали вслух только что вышедшие в свет стихотворения В. Г. Бенедиктова и приветствовали в нем новую надежду русской поэзии.

Когда же появилась разгромная статья Белинского об этих стихах, вскрывавшая ходульный и пошловатый романтизм новоявленного гения, друзья несколько смутились ее бесцеремонностью, но тайное сознание правоты критика задело Тургенева, более склонного, чем Грановский, к сомнению и трезвому чувству реальности.

Тургенева подкупало в Грановском «пленительное добродушие». Тоже орловец, тургеневский земляк, он родился в бедной дворянской семье. В отличие от Тургенева, Грановский был человеком цельным и гармоничным, не знакомым с теми противоречиями, с которыми рано столкнула лутовиновского отрока судьба. Тургенев вспоминал, что от Грановского веяло «чем-то возвышенно-чистым». «Он возбуждал прекрасное в душе другого не доводами, не убежденьями, а собственной душевной красотой».

Преподавание в Петербургском университете того времени не отличалось глубиной и серьезностью и было отмечено печатью формализма. Профессора философии (Ф. Б. Грефе), латинской литературы и языка (Ф. К. Фрейтаг) были немцами, плохо знающими русский язык. Студентам волей-неволей приходилось заниматься самообразованием или приглашать домашних учителей. По рекомендации В. А. Жуковского, с Тургеневым, например, проводил домашние занятия доктор Берлинского университета Ф. А. Липман, знаток всеобщей истории.

Среди петербургской профессуры на филологическом факультете наиболее яркой личностью был Петр Александрович Плетнев. «Как профессор русской литературы, — вспоминал Тургенев, — он не отличался большими сведениями; ученый багаж его был весьма легок; зато он искренне любил «свой предмет», обладал несколько робким, но чистым и тонким вкусом и говорил просто, ясно, не без теплоты. Главное: он умел сообщать своим слушателям те симпатии, которыми сам был исполнен, — умел заинтересовать их».

К тому же студенты знали о личной дружбе их профессора с Александром Сергеевичем Пушкиным; Плетневу великий поэт посвятил своего «Евгения Онегина» и в посвящении этом дал точный его портрет. «Кто изучил Плетнева, не мог не признать в нем

Души прекрасной,
Святой исполненной мечты,
Поэзии живой и ясной,
Высоких дум и простоты».

В дружбе с Плетневым были Жуковский, Боратынский, Гоголь... Немудрено, что этого профессора окружал в глазах студентов особый ореол.

Именно Плетневу в конце 1836 года Тургенев отдал на суд поэму «Стено». «В одну из следующих лекций, — писал Тургенев, — Петр Александрович, не называя меня по имени, разобрал, с обычным своим благодушием, это совершенно нелепое произведение... Выходя из здания университета и увидав меня на улице, он подозвал меня к себе и отечески пожурил меня, причем, однако, заметил, что во мне что-то есть! Эти два слова возбудили во мне смелость отнести к нему несколько стихотворений...»

В студенческие годы, на третьем курсе, Тургенев слушал лекции Н. В. Гоголя по истории. «Это преподавание, правду сказать, происходило оригинальным образом, — замечал Тургенев. — Во-первых, Гоголь из трех лекций непременно пропускал две; во-вторых, даже когда он появлялся на кафедре, — он не говорил, а шептал что-то весьма несвязное, показывал нам маленькие гравюры на стали, изображавшие виды Палестины и восточных стран, и все время ужасно конфузился... На выпускном экзамене из своего предмета он сидел повязанный платком, якобы от зубной боли, — с совершенно убитой физиономией — и не разевал рта. Спрашивал за него профессор И. П. Шульгин».

Тургенев имел право отзываться о преподавательском эксперименте Гоголя неодобрительно: слушание этого курса закончилось для него неприятностью. Экзамен по истории средних веков Тургенев сдал неудовлетворительно и в 1836 году вышел из университета в звании действительного студента, а не кандидата, к которому он стремился. Вот как вспоминает об этом событии сокурсник Тургенева Н. М. Колмаков:

«Профессор Шульгин на экзамене задавал нам такие вопросы, которые вовсе не входили в программу лекций Гоголя». Тургеневу попался «на экзаменах вопрос о пытках... Известно, что Иван Сергеевич обладал знанием иностранных языков, а потому неудивительно, что он много читал из иностранных источников и на заданный вопрос мог ответить весьма обширно. Отвечая, Тургенев, между прочим, сказал, что в числе пыток огнем и другими способами был еще один род оных, именно: испытание посредством телячьего хвоста, намазанного салом. Услышав это, Шульгин, пытливо взглянув на Тургенева, поспешно сказал: «Что такое, что такое?» Тургенев продолжал: «Да, посредством телячьего хвоста, намазанного салом: приводили взрослого теленка, брали хвост, намазывали его густо-густо салом и заставляли человека, подвергнутого испытанию, взяться за хвост и держаться, что есть мочи, а между тем теленка ударяли крепко хлыстом. Разумеется, теленок рвался и бежал опрометью. Если испытуемый удерживался, то его считали правым, если нет — виноватым».

Шульгин с усмешкой выслушал и сказал: «Где вы это вычитали?» Тургенев смело назвал автора. Ответ студента не понравился Шульгину: он сжал свои губы, — произошла немая, неприятная сцена. Засим он стал задавать Тургеневу другие вопросы по части хронологии и, разумеется, достигнул своего: Тургенев сделал ошибку и получил неудовлетворительную отметку. Засим и кандидатство его улыбнулось».

Для Ивана Сергеевича это было тем более обидно, что с некоторых пор он твердо решил готовить себя к ученой карьере, путь к которой открывало только звание кандидата. Пришлось писать прошение на имя того же И. П. Шульгина, ректора университета, с ходатайством еще один год посещать лекции выпускного курса и затем повторно сдать экзамены на получение кандидатской степени. Шульгин дал «изустное разрешение», и Тургеневу пришлось потерять целый год на прослушивание лекций изрядно надоевших ему профессоров.

Вот почему, должно быть, писатель так отзывался о лекциях Гоголя, представляя их целиком в черном цвете. Воспоминания современников вносят в тургеневскую характеристику существенную поправку. Первые лекции Гоголя, включенные им потом в сборник «Арабески» и тщательно отшлифованные, захватывали слушателей, в том числе Пушкина и Жуковского, увлекательной «мыслью, которая летела и преломлялась, как молния, освещая беспрестанно картину за картиной в этом мраке средневековой истории». Но «все следующие лекции были очень сухи и скучны», как об этом пишет и Тургенев. Другой современник замечал, что Гоголь «прошел по кафедре, как метеор, с блеском оную осветивший и вскоре на оной угасший, но блеск этот был настолько силен, что невольно врезался в юной памяти».

В Петербурге Тургенев посещал музыкальные вечера и концерты, оперные и драматические спектакли. 19 апреля 1836 года он был на премьере «Ревизора» Гоголя в Александринском театре, возбудившей в обществе боль-

шой шум и различные толки. На премьере присутствовал Николай I, который, подобно большинству великосветской публики, не уловил серьезного содержания комедии, воспринял ее как забавный фарс. Тургенев видел, как Николай в императорской ложе «помирал со смеху». В 1842 году, перерабатывая текст комедии, Гоголь не случайно ввел в финальную сцену обращение городничего в публику: «Чему смеетесь? — над собою смеетесь!..». Присутствовал Тургенев и на рождении русской национальной оперы: 27 ноября 1836 года он слушал первое исполнение «Ивана Сусанина» Глинки — в первоначальном названии — «Жизнь за царя». «Я находился на обоих представлениях, — вспоминал Тургенев, — и, сознаюсь откровенно, не понял значения того, что совершалось перед моими глазами. В «Ревизоре» я по крайней мере много смеялся, как и вся публика. В «Жизни за царя» я просто скучал. Правда, голос Воробьевой (Петровой), которой я незадолго перед тем восхищался в «Семирамиде», уже надломился, а госпожа Степанова (Антонида) визжала сверхъестественно... Но музыку Глинки я все-таки должен бы был понять».

Должен... Но не понял! Может быть, на Тургенева повлияло мнение светской публики, которая упрекала композитора за «плебейский» тон музыки. Но мы знаем, что народные мелодии были близки Тургеневу с детских лет. Вероятно, юношу смущали верноподданнические мотивы, ярко проступавшие в либретто: поэтизировалась преданность русского крестьянина царю и престолу, а это расходилось с демократическими симпатиями Тургенева, который уже в Московском университете прослыл среди однокашников «республиканцем» за энтузиазм по отношению к Северо-Американской республике. Но не исключено, что и «капризное воспитание» начинало приносить «свои плоды»: сказывались отвлеченные романтические увлечения и «западнические» пристрастия.

Не слишком обременяя себя повторным посещением лекций в университете, Тургенев усиленно занимался философией и поэтическим творчеством, переводил трагедии Шекспира, поэму Байрона «Манфред», писал оригинальные стихи. Сомневаясь в себе и в оценках Плетнева, он обращается в марте 1837 года к другому профессору русской словесности Александру Васильевичу Никитенко: «Препровождая Вам мои первые, слабые опыты на поприще русской поэзии, я прошу Вас не думать, чтоб я имел малейшее желание их печатать — и если я прошу

у Вас совета — то это единственно для того, чтобы узнать мнение Ваше о моих произведениях, мнение, которое я ценю очень высоко. Я колебался, должен ли я был послать *драму* (драматическую поэму «Стено». — *Ю. Л.*), писанную мною 16 лет, мое первое произведение... С год тому назад я ее давал П. А. Плетневу — он мне повторил то, что я давно уж думал, что все преувеличено, неверно, незрело... и если есть что-нибудь порядочное — то разве некоторые частности — очень немногочисленные. Считаю долгом заметить, что <...> размер стихов очень неправилен. Переделывать их теперь не стоило труда — и я было хотел ее предать совершенному забвению — когда ближайшее знакомство с Вами побудило меня показать ее Вам». В этом письме Тургенев делится с профессором своими переводческими и поэтическими замыслами, предлагает доставить «три маленькие конченные поэмы», говорит, что у него имеется около 100 «мелких стихотворений — но всё не переписано — разбросано...» А в заключение письма обращается с просьбой: «Не говорите об этом Петру Александровичу, я обещал *ему* — перед знакомством с Вами — доставить мои произведения — и до сих пор не исполнил обещания. Мнения его, которые я, впрочем, очень уважаю — не сходятся с моими. Притом — я Вам скажу откровенно — при первом знакомстве с Вами я к Вам почувствовал неограниченную доверенность...»

Отозвался ли Никитенко на просьбу Тургенева — неизвестно. Однако вывел поэта в литературу все-таки Петр Александрович Плетнев. Тургенев и ему «отнес несколько стихотворений». Плетнев «выбрал из них два и год спустя напечатал их в «Современнике». К Плетневу же с 1836 года Тургенев ходит на литературные вечера.

Первый визит к уважаемому профессору был ознаменован тем, что в передней квартиры Петра Александровича он «столкнулся с человеком среднего роста, который, уже надев шинель и шляпу и прощаясь с хозяином, звучным голосом воскликнул: «Да! да! хороши наши министры! нечего сказать!» — засмеялся и вышел». Тургенев «успел только разглядеть его белые зубы и живые, быстрые глаза». Каково же было его горе, когда он узнал, что этот человек — Пушкин. «Пушкин, — вспоминал Тургенев, — был в ту эпоху для меня, как и для многих моих сверстников, чем-то вроде полубога. Мы действительно поклонялись ему».

Пушкина Тургеневу «удалось видеть еще один раз —

за несколько дней до его смерти, на утреннем концерте в зале Энгельгардт. Он стоял у двери, опираясь на косяк, и, скрестив руки на широкой груди, с недовольным видом посматривал кругом». Тургенев запомнил «его смуглое небольшое лицо, его африканские губы, оскал белых крупных зубов, висячие бакенбарды, темные желчные глаза под высоким лбом почти без бровей — и кудрявые волосы». Он и на Тургенева «бросил беглый взор; бесцеремонное внимание, с которым» тот «уставился на него, произвело, должно быть, на него впечатление неприятное: он словно с досадой повел плечом — вообще он казался не в духе — и отошел в сторону».

Несколько дней спустя на всю Россию разнеслась горестная весть: «Солнце русской поэзии закатилось». Тургенев видел Пушкина лежавшим в гробу — и невольно повторял про себя:

Недвижим он лежал... И странен
Был томный мир его чела...

Он обратился к пушкинскому слуге с просьбой срезать с головы покойного небольшой локон волос — и, очевидно, такой искренней, такой пронзительной была эта просьба, что слуга ее исполнил. Так у Тургенева оказалась священная реликвия, талисман, хранившийся у него всю жизнь в специальном медальоне.

Горькие слезы неотмщенной, безутешной обиды текли по щекам Тургенева, когда он читал ходившие по рукам стихи М. Ю. Лермонтова «Смерть Поэта». Душа юного романтика была потрясена бесчинством грубой силы, лишившей его светлого божества, присутствие которого делало жизнь одухотвореннее и чище. Запали в сердце жгучие и гневные стихи:

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — все молчи!..

Хотелось самому излить обиду и гнев в стихах. Тургенев уже придумал им название — «Наш век». Рука судорожно сжимала перо, один исписанный лист перемарывался и заменялся другим, другой — третьим. В конце концов Тургенев понял, что лучше Лермонтова ему сказать не удастся; слабое в художественном смысле сочинение «Наш век» не было опубликовано и затерялось в бумагах. Но присутствие доброго гения Пушкина он ощущал всегда, и приобщение к его поэзии спасало Тургенева в трудные минуты жизни.

Когда на закате дней писатель оказался в одиночестве, вдали от родины и друзей, прикованным к постели тяжелой болезнью, в длинные бессонные ночи он часто задавал себе вопрос, почему на всем протяжении жизни его постоянно мучили мысли о трагизме человеческого существования. Не потому ли, что еще в юности смерть неоднократно касалась его души своим черным крылом? За три года учебы в Петербургском университете он потерял отца, пережил гибель Пушкина, в ноябре 1836 года скончался восемнадцатилетний друг Миша Фиглев — его образ Тургенев воспроизвел впоследствии в повести «Несчастная» под именем Мишеля Колтовского. В апреле 1837 года умер тяжело больной брат Тургенева Сергей...

Один за другим следовали удары слепой и равнодушной к человеку силы. Возникала мысль о несовершенстве земного миропорядка. События личной жизни подкрепляли давно пробудившийся интерес Тургенева к философским вопросам. В 1837 году он получил желанную степень кандидата и твердо решил всерьез заняться философией в прославленном центре мировой мысли тех лет — Берлинском университете.

«Духовная эмиграция» русской молодежи 30—40-х годов в Германию была, по мнению Тургенева, в какой-то мере оппозиционной по отношению к реакционной внутренней политике правительства Николая I. Царь ревностно следил за настроениями русского студенчества. Всякие серьезные попытки обсуждения политических вопросов в молодежных кружках преследовались жестоко. И вот общественная мысль ушла от конкретных проблем, обратилась к отвлеченно-философским. Нельзя было осуждать «совершенную» российскую действительность, но говорить о высоких общечеловеческих идеалах никто не запрещал. Нельзя было открыто обличать антихудожественные официально канонизированные произведения литературы и искусства, но углубляться в общие проблемы эстетики никому не возбранялось. И Тургенев вместе с лучшими людьми своего поколения самозабвенно нырнул в немецкое «философское море».

Однако социально-политические мотивы, к которым склонялся Тургенев, не объясняют более глубоких причин

этого явления. Самоуглубление, уход целого поколения русских людей в отвлеченную духовную работу — закономерная фаза органического роста и становления национальной культуры. Первый симптом поворота от политических к философским проблемам возник еще в первой четверти XIX века, до трагедии 14 декабря 1825 года. Он связан с деятельностью московского кружка «любомудров», оказавшего большое влияние на личность и духовные интересы Н. В. Станкевича, человека 40-х годов, наставника Т. Н. Грановского, В. Г. Белинского, М. А. Бакунина, А. И. Герцена, И. С. Тургенева. В юношеских письмах Станкевич неизменно восторженно отзывается о В. Ф. Одоевском, С. П. Шевыреве, М. П. Погодине, братьях Киреевских. В 1824 году Одоевский высказал отрицательное отношение к французской философии XVIII века, которая питала идеологию декабристов: «До сих пор философа не могут представить иначе, как в образе французского говоруна XVIII века, — много ли таких, которые могли бы измерить, сколь велико расстояние между истинною, небесною философией и философией Вольтеров и Гельвециев». Вслед за ним в 1826 году Дмитрий Веневитинов утверждал: «Самопознание — вот идея, одна только могущая одушевить вселенную, вот цель и венец человека». Это был закономерный этап формирования национального самосознания, без которого, по мысли «любомудров», невозможна была и подлинная нравственная свобода.

Поколение 40-х годов, подхватив традиции «любомудров», запечатлело новую фразу в развитии русской культуры: пройдя через искусы немецкой классической философии, оно возвращалось к практическому действию уже обогащенное философским самоуглублением и вооруженное диалектическим взглядом на развитие истории. Философское «умозрение» не осталось бесплодным и бесследным. Оно существенно углубило политическую мысль шестидесятников. Неспроста Н. А. Добролюбов находил в себе «сходство» с героем тургеневского «Дневника лишнего человека»: «Я был вне себя, читая рассказ, сердце мое билось сильнее, к глазам подступали слезы, и мне так и казалось, что со мной непременно случится рано или поздно подобная история».

Шеллинг и Гегель дали русской молодежи 1830-х годов оптимистический взгляд на жизнь природы и общества, веру в разумную целесообразность исторического процесса, устремленного к конечному торжеству правды,

добра и красоты, к «мировой гармонии». Вселенная воспринималась Шеллингом как живое и одухотворяющееся существо, которое развивается и растет по целесообразным законам роста и развития. Эти законы не формируются в процессе развития, а предшествуют ему. Как в зерне содержится будущее растение, так и в мировой душе заключен предвечно идеальный «проект» будущего гармонического устройства мира. Целое, по Шеллингу, существует раньше своих частей: в основе любого развития, любого раздвоения лежит первоначальное единство, тождество. Развитие же является осуществлением во времени того, что содержится в зерне мироздания.

Мировой душе необходимо развитие, она должна победить хаотическую стихию, существующую в ее первооснове. Рост организма вселенной во времени и пространстве — это напряженная борьба космического начала с хаотическим, которая завершится достижением абсолютной гармонии бытия.

Грядущее торжество этой гармонии предвосхищается в произведениях гениальных людей, являющихся, как правило, художниками или философами. Гений, по Шеллингу, обладает особой интеллектуальной интуицией, позволяющей ему одухотворять объективную реальность, прозревая в ней идеальную душу мира. Поэтому искусство (а по Гегелю — философия) — высшая форма проявления творческих сил природы. В гениальном художественном произведении воплощается будущий идеальный мир, к которому устремляется вселенная в своем развитии, достигается будущее торжество космических сил над хаотическими. Абсолют, по утверждению Шеллинга, в такой же мере рождает вселенную, в какой творит ее как художник. Поэтому гениальный поэт, писатель, человек искусства в акте творчества сливается с высшим творцом вселенной, *является проводником его воли*, превращается в «орган мирового духа». Гений как сознающее себя в абсолюте существо становится активным участником исторического процесса, в котором зло побеждается добром.

Особую роль в этом мировом процессе одухотворения вселенной наряду с искусством играет, по Шеллингу, любовь. Любовь — это универсальное чувство, просветляющее мир, это дар божества, идеальной души, абсолюта. Любовью связывается в гармоническое единство идеальная основа бытия и реальное существование. Любовь к женщине — одно из могущественных проявлений всеобщего

мирового закона любви, творящего мироздание. Поэтому люди тургеневского поколения буквально обожествляли это чувство, видели в нем великий дар. Любящий человек окружался ореолом, выделялся из толпы смертных. С ним уже и обращались как с человеком особенным, отмеченным печатью божества.

Но именно в силу высокой одухотворенности и чрезмерного интеллектуализма такая любовь не выдерживала испытания реальностью, разбивалась о жизненную прозу. Рыцари любви 1830—40-х годов чаще всего оказывались «рыцарями на час». Тургенев испытает эту жизненную драму на собственном опыте, она найдет отражение в большинстве его повестей и романов.

Философия окрыляла русского человека 30-х годов, человека эпохи безвременья, эпохи николаевской реакции, осложненной господством в стране беззаконных крепостнических порядков, обветшалость которых чувствовалась тогда уже многими. Но как долго может этот порядок жить и процветать? Временами казалось, что он может существовать бесконечно. Однако немецкая классическая философия учила видеть в истории скрытый смысл и воспринимать ее ход как закономерное развитие от состояния, в котором нет свободы, а сознание людей помрачено злом, к состоянию гармонии, к царству правды-истины, добра и красоты.

Откровения Шеллинга вели к философии Гегеля, который обогатил учение своего предшественника последовательной и четко сформулированной идеей диалектического развития (тезис — антитезис — синтезис, закон отрицания отрицания, «снятия» противоречий на более высокой ступени развития), «алгеброй революции», по определению А. И. Герцена. История в свете воззрений Гегеля перестала казаться бессмысленным смешением случайных, бессвязных фактов. Она предстала как закономерный процесс развития, совершающийся по строго определенным диалектическим законам. Русских юношей эпохи николаевского безвременья приводили в восторг следующие положения гегелевской философии:

«Всемирный дух никогда не стоит на одном месте. Он постоянно идет вперед, потому что в этом движении вперед состоит его природа. Иногда кажется, что он остановился, что он утрачивает свое стремление к самопознанию. Но это только так кажется. На самом деле в нем совершается тогда глубокая внутренняя работа, незаметная до тех пор, пока не обнаружатся достигнутые ею

результаты, пока не разлетится в прах кора устаревших взглядов, и сам он, вновь помолодевший, не двинется вперед семимильными шагами».

Так в отвлеченной форме гегелевской идеалистической философии развивалась мысль о революционной роли реакционных периодов в жизни человеческого общества, мысль, которая в сознании молодого человека 1830—40-х годов прямо проецировалась на современное состояние русской жизни эпохи николаевского царствования.

«Стремление молодых людей — моих сверстников — за границу, — говорил Иван Сергеевич, — напоминало искание славянами начальников у заморских варягов. Каждый из нас точно так же чувствовал, что его *земля* <...> велика и обильна, а порядка в ней нет. Могу сказать о себе, что лично я весьма ясно сознавал все невыгоды подобного отторжения от родной почвы, подобного насильственного перерыва всех связей и нитей, прикреплявших меня к тому быту, среди которого я вырос... но делать было нечего. Тот быт, та среда и особенно та полоса ее, если можно так выразиться, к которой я принадлежал — полоса помещичья, крепостная, — не представляли ничего такого, что могло бы удержать меня. Напротив: почти все, что я видел вокруг себя, возбуждало во мне чувства смущения, негодования — отвращения, наконец. Долго колебаться я не мог».

Зимой 1834 года, уехав в Спасское на каникулы, Тургенев еще раз столкнулся с вопиющим произволом со стороны матери. Жила в имении девушка по имени Луша, сверстница Ивана Сергеевича. Еще в детские годы он привязался к этой живой и смышленой девочке, играл с ней в свободное от учебы время, научил чтению и письму. И вот теперь он узнал, что «крепостную девку Лушку» Варвара Петровна продала соседней помещице, прозванной мужиками за ее жестокость Медведицей. Поводом к этому решению послужило заступничество Луши за одного дворового. И хотя Варвара Петровна считала Лушу лучшей своей кружевницей, стерпеть ее «смутьянство» она не могла.

Тургенев застал еще девушку в имении; он стал упрашивать мать отказаться от ее решения, вернуть назад уже полученную от Медведицы крупную сумму. Но ни мольбы, ни уговоры не подействовали. Тогда юноша впервые показал матери свой характер, твердо заявив, что не допустит этой продажи. Он спрятал Лушу в крестьянской избе и приказал охранять ее.

Между тем соседка-помещица возмутилась «самоуправством» молодого барина и направила жалобу властям о том, что «молодой помещик и его девка бунтуют крестьян». В Спасское явился капитан-исправник и с вооруженными дубинами понятыми отправился к дому, где укрывалась Луша. Тургенев вышел на крыльцо с заряженным ружьем и, прицелившись в капитан-исправника, припугнул его таким грозным окриком, что и блюститель «закона» и понятые разбежались.

Было возбуждено уголовное дело «О буйстве помещика Мценского уезда Ивана Тургенева», которое тянулось долгие годы, вплоть до отмены крепостного права.

Такой крутой поворот событий не на шутку испугал Варвару Петровну, и, поскольку сына она любила, она старалась с тех пор вести себя при нем сдержанно и не давать воли самодурским капризам. От своего решения продать Лушу она отказалась и заплатила Медведице крупную неустойку.

Но такие решительные поступки в жизни Ивана Сергеевича являлись исключением и напоминали собою жест отчаяния, а не твердое волевое решение. По характеру своему он оставался человеком мягким и уступчивым. Он мог перечить матушке лишь в самых почтительных выражениях, скорее с мольбой, чем с осуждением.

Последнее лето перед поездкой за границу Иван Сергеевич провел в Спасском. Он приехал домой веселым, жизнерадостным юношей, часто в доме раздавался его заразительный смех. Шутки Тургенева вызывали взрывы хохота в кругу спасской молодежи, неизменно окружавшей остроумного и живого собеседника. Часто на потеху публике он пускал в ход свои незаурядные актерские способности: например, изображал «зарницу» или «молнию». «Фарс этот, — вспоминали очевидцы, — начинался легким миганьем глаз, подергиванием рта то в одну, то в другую сторону с неуловимой быстротой. А когда начиналось подражание молнии, то вся физиономия его настолько изменялась, что становилась неузнаваемой: мышцы лица приходили в такое беспорядочное движение, что Варвара Петровна приказывала немедленно прекратить представление: она боялась, чтобы сын не перекосил себе глаза».

Летом Иван Сергеевич усиленно занимался греческим языком, а в минуты отдыха «обучал» воспитанницу Варвары Петровны премудростям греческого произношения,

заставляя ее заучивать и громко выкрикивать звуки: «Бреке-ке-кекс-коакс-коакс!» Затем Иван Сергеевич ставил Вареньку на стол, придавал ее фигуре классическую позу с вытянутой рукой и заставлял повторять заученное сначала протяжно, почти торжественно, а потом очень быстро и самым тонким, визгливым голосом. При этом оба заливались таким звонким и беззаботным смехом, что следовал приказ Варвары Петровны прекратить это ребячество. «Перестань же, Иван, даже неприлично так хохотать. Что за мещанский смех!»

В это время Варвара Петровна разыгрывала роль несчастной, оставленной богом и людьми женщины. Комнату покойного мужа она объявила «священной»: никто не имел права входить в это святилище, кроме самой хозяйки Спасского. Здесь она предавалась горьким раздумьям о своей вдовьей судьбе. Конечно, для грусти и горестных размышлений у Варвары Петровны были свои основания: вслед за потерей мужа скончался, не дожив до шестнадцатилетнего возраста, младший ее сын. Но в горе матери было что-то показное, вызывающее. Страдая сама, госпожа считала своим долгом мучить других. Часто с ней случались истерики, после которых Варвара Петровна объявляла домашним, что находится при смерти, и разыгрывала сцену прощания с близкими. В образе умирающей женщины, закатывая глаза, поминутно охая и впадая в краткие обмороки, она сидела в мягком кресле у себя в кабинете, а сыновья, родственники и близкие обязаны были подходить к ней по очереди, кланяться и целовать руку. При этом госпожа благословляла каждого, милосердно отпуская водившиеся за ним грехи.

Когда в доме становилось невыносимо от материнских причуд, Иван Сергеевич отправлялся на охоту с ружьем и собакой. Сначала спутником его охотничьих странствий был Николай Николаевич, но однажды в окрестностях Спасского Тургенев встретился с крестьянином-охотником Афанасием Алифановым, которому суждено было стать верным спутником и другом писателя на долгие годы. В «Записках охотника» Тургенев вывел его под именем Ермолая и нарисовал следующий портрет: «Вообразите себе человека лет сорока пяти, высокого, худого, с длинным и тонким носом, узким лбом, серыми глазками, взъерошенными волосами и широкими насмешливыми губами. Этот человек ходил зиму и лето в желтоватом нанковом кафтане немецкого покроя, но подпоясывался кушаком; носил синие шаровары и шапку со смушками,

подаренную ему в веселый час разорившимся помещиком. К кушаку привязывались два мешка, один спереди, искусно перекрученный на две половины, для пороху и дроби, другой сзади — для дичи; хлопки же Ермолай доставал из собственной, по-видимому неистощимой шапки». Ружье у него было одноствольное, кремневое и так «отдавало» при выстреле, что правая щека у охотника всегда была пухлее левой.

Афанасий, крепостной одного из соседних помещиков, в дни рождений, именин или выборов обязывался доставлять дичь к господскому столу. Это был охотник по призванию и по всему складу характера: «беззаботен, как птица, довольно говорлив, рассеян и неловок с виду; сильно любил выпить, не уживался на месте, на ходу шмыгал ногами и переваливался с боку на бок — и, шмыгая и переваливаясь, улепетывал верст шестьдесят в сутки. Он подвергался самым разнообразным приключениям: ночевал в болотах, на деревьях, на крышах, под мостами, сиживал не раз взаперти на чердаках, в погребах и сараях». Зато никто не мог сравниться с ним «в искусстве ловить весной, в полую воду, рыбу, доставать руками раков, отыскивать по чутью дичь, подманивать перепелов, вынашивать ястребов, добывать соловьев с «лешевой дудкой», с «кукушкиным перелетом».

Тургенев все более убеждался, что в охотники отсеивается наиболее живая и талантливая часть русского народа. Афанасий явился для писателя неисчерпаемым источником всевозможных сведений не только о премудростях охоты, но и о нравах, привычках, образе жизни провинциального дворянства и крестьянства средней полосы России. Бездомный странник, всю жизнь проводящий в переходах из одного места в другое, Афанасий, как живая газета, развертывал перед Тургеневым хронику провинциальной российской действительности с точки зрения независимого и вольного человека из народа. Охотники, в отличие от дворовых и даже оседлых пахарей-хлеборобов, в силу страннической своей профессии, в меньшей степени подвергались обезличивающему и развращающему влиянию помещичьей власти. Они сохраняли в целости гордый, независимый ум, живую образную память, чуткость к жизни природы и неуязвленное, естественное чувство собственного достоинства.

Тургенев так привязался к своему новому приятелю, что упросил матушку выкупить его у соседа. Невдалеке от Спасского, у Кобыльего верха, в лесу, Афанасий отстроил себе новую избу, обзавелся семьей и хозяйством и отныне стал постоянным спутником охотничьих странствий Ивана Сергеевича.

Трудно было Тургеневу оставить родной край и уехать на чужбину. Возникали порой на этот счет серьезные сомнения. И кто знает, как бы сложилась его судьба, если бы в отчем доме царило теплое семейное согласие. Но этого согласия не было и уже никогда быть не могло. Характер Варвары Петровны сложился окончательно и с годами только портился, становясь все невыносимее.

Однажды на охоте дядюшка Николай рассказал Тургеневу страшную историю. Собиралась Варвара Петровна в поездку, навестить дальние имения. В дорогу, по обычаю, она брала легкое вино, разбавленное водой. Садясь в экипаж, госпожа вина не обнаружила. Последовал грозный вопрос: «Почему не отпустили вина в дорогу?!» Пятнадцатилетний мальчик-казачок, обязанный доставить это вино, к своему ужасу, обнаружил, что оно все вышло, и затаился в доме. Раздался крик: «Притащить сюда мерзавца!» Несчастный Павлуша с испугу бросился во флигель, где жили молодые Тургеневы, схватил со стены ружье и застрелился. Николай Николаевич, бледный как полотно, совершенно потрясенный случившимся, заявил госпоже, что какой-то незнакомый охотник забрел в сад и вздумал охотиться. Кое-как ему удалось проводить Варвару Петровну в дальний хутор... По возвращении госпоже объясняли отсутствие Павлуши его болезнью, а потом естественной смертью. Но неужели не чувствовала она, что тут есть что-то недоброе?

Перед отъездом Тургенева в Петербург Варвара Петровна жестоко наказала близкого Ивану Сергеевичу человека, его слугу Порфирия, по самому невинному поводу.

Возились они, как близкие друзья, во флигеле — брала свое жизнерадостная молодость, — кидали друг в друга диванными подушками. Вдруг в комнату вошла мать, как раз в тот момент, когда подушка, пущенная Порфирием, летела прямо в лицо Ивана Сергеевича. Тотчас было приказано как следует проучить холопа — высечь его на конюшне плетьми. Никакие заступничества, никакие просьбы и мольбы сына не могли на сей раз смягчить материнский гнев и отменить решение...

«Надо было либо покориться и смиренно побрести общей колеей, по избитой дороге, — говорил впоследствии

Тургенев, — либо отвернуться разом, оттолкнуть от себя «всех и вся», даже рискуя потерять многое, что было дорого и близко моему сердцу. Я так и сделал... Я бросился вниз головою в «немецкое море», долженствовавшее очистить и возродить меня, и когда я наконец вынырнул из его волн — я все-таки очутился «западником», и остался им навсегда.

Мне и в голову не может прийти осуждать тех из моих современников, которые другим, менее отрицательным путем достигли той свободы, к которой я стремился... Я только хочу заметить, что *я* другого пути перед собой не видел. Я не мог дышать одним воздухом, оставаться рядом с тем, что я возненавидел; для этого у меня, вероятно, недоставало надлежащей выдержки, твердости характера. Мне необходимо нужно было удалиться от моего врага затем, чтобы из самой моей дали сильнее напасть на него. В моих глазах враг этот имел определенный образ, носил известное имя: враг этот был — крепостное право. Под этим именем я собрал и сосредоточил все, против чего я решился бороться до конца, с чем я поклялся никогда не примиряться... Это была моя аннибаловская клятва; и не я один дал ее себе тогда».

В конце августа, буквально накануне отъезда в Петербург, Тургенев упал с охотничьих дрожек и вывихнул руку. Это случилось в поле, и крестьяне пришли ему на помощь. «Шел с этой рукой верст 7, ждал 12 часов перевязки — но все кончилось благополучно: руку вправили», — писал Тургенев. Словно какая-то сила удерживала его в России, давая возможность основательно все обдумать и взвесить, прежде чем решиться на отъезд.

В Петербург Тургенев вернулся лишь зимой. 9 марта 1838 года П. А. Плетнев пригласил его на литературный вечер, где он встретился с А. В. Кольцовым. «Одетый в длиннополый двубортный сюртук, короткий жилет с голубой бисерной часовой цепочкой и шейный платочек с бантом, он сидел в уголку, скромно подобрав ноги, и изредка покашливал, торопливо поднося руку к губам». Кольцов «поглядывал кругом не без застенчивости, прислушивался внимательно; в глазах его светился ум необыкновенный, но лицо у него было самое простое, русское — вроде тех лиц, которые часто встречаются у образованных самоучек из дворовых и мещан. Замечательно, что эти лица, в противность тому, что́, по-видимому, следовало бы ожидать, редко отличаются энергией, а, напротив, почти всегда носят отпечаток робкой мягкости

и грустного раздумья». Сколько подобных лиц встречал Тургенев в доме матери среди дворовых художников, мастеровых, садовников, конторщиков и секретарей! Вспомнился ему друг и учитель Леонтий Серебряков. Несут в себе эти таланты зародыш будущего народного развития, но как все-таки они подавлены бесчеловечным порядком вещей! Именно таким увидел Тургенев Кольцова, он тогда еще не в состоянии был почувствовать, что «этот необразованный мужичок понимал гораздо более и смотрел на литературу гораздо глубже многих из так называемых образованных литераторов и своих покровителей». «Эти господа, — говорил Кольцов И. И. Панаеву, — несмотря на их внимательность ко мне и ласки, за которые я им очень благодарен, смотрят на меня как на совершенного невежду, ничего не смыслящего, и презабавно хвастают передо мною своими знаньями, хотят мне пустить пыль в глаза. Я слушаю их разиня рот, и они остаются мною очень довольны, а между тем я ведь их вижу насквозь-с».

Тем не менее что-то родное и близкое почувствовал Тургенев в Кольцове и всей душой потянулся к нему. В двенадцатом часу вечера, почти после всех, он вышел с Кольцовым в переднюю и предложил довезти до дому в своих санях. Поэт согласился, но и в пути оставался молчаливым и застенчивым — только покашливал и кутался в свою худую шубейку. «На угле переулка, в котором он жил, — он вышел из саней, торопливо застегнул полость и, все покашливая и кутаясь в шубу, потонул в морозной мгле петербургской январской ночи...»

Холодновато, пусто и как-то неуютно было все вокруг и в душе Тургенева, начинающего поэта, молодого кандидата Петербургского университета. И эта пустота, неуютность отзывали вдаль, туда, в обетованную страну возвышенной мысли, призванной, как казалось тогда многим, разрешить, наконец, все мучительные вопросы человеческого существования, сделать жизнь осмысленной, устремленной к ясной цели.

БЕРЛИНСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ

И вот наступил этот день 15 мая 1838 года — солнечный весенний день. Отслужили напутственный молебен в Казанском соборе. Истово клала поклоны Варвара Петровна, и Тургенев видел в ее глазах неподдельную материнскую грусть. Странно, загадочно уживались в харак-

тере матери властолюбие, эгоизм, стремление унизить и оскорбить ближнего с порывами великодушия и доброты, нежности и материнской ласки. Всю дорогу из собора до пристани ее томили роковые предчувствия: в первый раз она отпускала сына одного, да еще в такую дальнюю дорогу. А когда пароход «Ижоры» отчалил и ушел по направлению к Кронштадту, с Варварой Петровной случился обморок.

В письме к сыну в Берлин она так рассказывала о том, с чего начинается каждое ее утро: «В гостиной отгорожен к одному углу кабинет, с зеленью, стол письменный стоит. Скоро пришлю тебе рисунок. Вот я беру Кантемира. Кантемиром называется деревянный porte-papier с ручкой. Итак, беру Кантемира, пишу вчерашнего дня журнал. А потом сажусь за приятное провождение времени — ближе всех в глазах моих твой портрет. — «Здравствуй, Ваня», — говорю я и потом принимаюсь писать письма к тебе или брату до 10-ти часов. Братин портрет налево. Параллельно ему налево портрет отцов. Прямо передо мной, на маленьком пюпитре, вид петербургской набережной и отъезжающий пароход *Ижора*. Провожающие машут платками, шляпами... Стоят экипажи... на балконах смотрят в лорнетки. Дымится уже, зазвенел третий звонок — и мать вскрикнула, упала на колени в карете перед окошком... Пароход повернулся и полетел как птица... Кучер по набережной погнал лошадей, но!.. недолго был виден пловец... Улетел, и все осиротело».

Из Кронштадта в Германию Тургенев плыл на пароходе «Св. Николай». Вместе с ним была жена Ф. И. Тютчева с детьми, известный поэт и государственный деятель князь П. А. Вяземский. Сбылись недобрые материнские предчувствия. В ночь на 19 мая, когда пароход находился близ Травемюндского рейда, Тургенев услышал в каюте отчаянный женский крик: «Горим, горим!» Когда он, наспех одевшись, выбежал на палубу, огонь уже выбрасывался наверх в нескольких местах. Началась страшная паника, которой поддался и юный Тургенев. Схватив за руку матроса, спускавшего на воду последнюю лодку, он обещал ему дать десять тысяч рублей от имени матери, если матрос спасет его. К счастью, вскоре прибыли шлюпки из Травемюндского рейда, пассажиры были спасены, хотя несколько человек погибло.

Когда на берегу Тургенев опомнился от страшного потрясения, он увидел полураздетую, босую Тютчеву с прижавшимися к ней детьми, насквозь промокшими под

проливным дождем. Юноша накрыл ее своим сюртуком, отдал ей сапоги и заботливо опекал до тех пор, пока прибрежные немцы не развезли пострадавших на временные квартиры. Но несчастная женщина, спасшая во время пожара трех дочерей, все-таки сильно простудилась и через несколько месяцев скончалась.

Злые языки распространили о Тургеневе слух, что во время пожара он вел себя трусливо и недостойно, в страхе бегал по палубе и кричал: «Спасите меня, я единственный сын у матери!» Этот слух темным пятном преследовал его всю жизнь, пока Тургенев сам не передал историю случившегося с ним в рассказе «Пожар на море».

Можно себе представить, какое значение имело это событие для Тургенева, склонного к размышлениям о бренности существования, о силе слепых случайностей, по своему произволу распоряжающихся человеческой судьбой. Но он был тогда молод, и яркие впечатления от путешествия по незнакомой стране скоро заставили забыть о только что пережитом страхе смерти.

И вот он в Берлине! Он достиг, наконец, цели! Как сжалось сердце, когда он увидел этот немецкий город, на который возлагал все свои надежды. Наконец-то лицом к лицу он станет с «этими обольстителями души», немецкими мудрецами-философами, и потребует от них вразумительного ответа на волнующие его вопросы.

В Берлине Тургенева встретил Грановский. За время разлуки он очень изменился, повзрослел, и в его облике появилась какая-то внутренняя сдержанность и сосредоточенность. Уже не романтический восторженный блеск, а глубокая задумчивость сквозила в его темных глазах. Грановский сразу же предложил Тургеневу знакомство со своим другом Николаем Владимировичем Станкевичем, с которым он жил на одной квартире. «Не виршеплет ли он?» — спросил Тургенев. Грановский рассмеялся, и, когда они пришли на квартиру, представил ему Станкевича под именем «виршеплета».

Это был молодой человек высокого роста, с прекрасными черными волосами, покатым лбом и небольшими карими глазками, взгляд которых был искрист, ласков и весел. Особенно выделялись на его лице тонкие губы с резко очерченными углами: когда Станкевич улыбался, они слегка кривились и придавали лицу чуть-чуть насмешливое, но чрезвычайно приветливое и милое выражение. У Станкевича были большие, узловатые, как у старика, руки; но во всем существе его, в жестах, в движениях

проявлялась какая-то грация — «точно он был царский сын, не знавший о своем происхождении».

Философские диалоги, возникавшие постоянно между Станкевичем и Грановским, на первых порах озадачивали Тургенева: к великому смущению своему, он понял, что не в состоянии поддерживать эти разговоры на таком уровне, на каком их ведут его приятели.

— Грановский! — восклицал Станкевич. — Поверишь ли — оковы спали с души, когда я увидел, что вне одной всеобъемлющей идеи нет знания, что жизнь есть самонаслаждение любви, и что все другое — призрак. Да, это мое твердое убеждение. Теперь есть цель передо мною: я хочу дать себе отчет в каждом явлении, хочу видеть связь его с жизнью целого мира, его необходимость, его роль в развитии одной идеи.

— Да, — соглашался с ним Грановский, — философия не есть наука в ряду наук, но высочайшая из всех наук, служащая им основанием, душою, целью.

— Человек есть житель земли, не чуждый физических потребностей, но он же есть и последнее высшее звено в цепи создания, — продолжал развивать свою мысль Станкевич. — Его сфера — дух, и все физически натуральное в нем должно быть согласно с духом. Если я люблю женщину всю, как она есть, с ее понятиями, чувствами, наружным образом — я весь соединяюсь с ней — я не профанирую ее. Нет! Меня влечет к ней совокупная жажда природы духа, я узнаю в ней себя́, я в этом акте торжествую соединение с целым созданием, я прохожу все его степени — я не делаюсь животным. Я освящаю то, что было во мне животного, и даю ему смысл.

Тургенев молчал и слушал, раскрыв рот. Он вынужден был признать, что смутно понимает то, о чем ведут беседу его приятели. Некоторые обороты речи вообще представлялись ему бессмыслицей. Что такое «совокупная жажда природы духа», «самонаслаждение любви»? «Толковали же они об них беспрестанно, — вспоминал Герцен об идеалистах 30-х годов, — нет параграфа во всех трех частях «Логики», в двух «Эстетики», «Энциклопедии» и пр., который бы не был взят отчаянными спорами нескольких ночей. Люди, любившие друг друга, расходились на целые недели, не согласившись в определении «перехватывающего духа», принимали за обиды мнения об «абсолютной личности и ее *по себе бытии*».

В Берлине Тургенев усиленно штудировал философию

Гегеля под руководством профессора Вердера. Известно, что истины немецкого идеализма русская молодежь тех лет осваивала с упорством, доходящим до самозабвения: с бою действительно брался каждый параграф гегелевского учения. Уход в отвлеченное мышление не мог не повлечь за собой отрицательных последствий: умозрительность, слабое знакомство с практической стороной окружающей действительности, некоторый отрыв «чистого мышления» от национальных корней, чрезмерное развитие интеллекта и логического мышления в ущерб другим сторонам духовной природы человека.

«Все в *самом деле* непосредственное, всякое простое чувство было возводимо в отвлеченные категории и возвращалось оттуда без капли живой крови, бледной алгебраической тенью, — писал Герцен. — Во всем этом была своего рода наивность, потому что все это было совершенно искренно. Человек, который шел гулять в Сокольники, шел для того, чтобы отдаваться пантеистическому чувству своего единства с космосом; и если ему попадался по дороге какой-нибудь солдат под хмельком или баба, вступавшая в разговор, философ не просто говорил с ними, но определял субстанцию народную в ее непосредственном и случайном явлении».

Но в то же время философская школа Шеллинга и Гегеля дала толчок к поиску реальных путей преобразования России. Вспоминая о своих встречах с Белинским в 1843 году, Тургенев писал: «Мы еще верили тогда в действительность и важность философических и метафизических выводов, хотя ни он, ни я, мы нисколько не были философами и не обладали способностью мыслить отвлеченно, чисто, на немецкий манер... Мы тогда в философии искали всего на свете, кроме чистого мышления».

То, что немцы переживали в сфере интеллекта, русские пытались немедленно реализовать на практике. «Исключительно умозрительное направление совершенно противуположно русскому характеру, — писал Герцен, — и мы скоро увидим, как *русский дух* переработал Гегелево учение и как *наша* живая натура, несмотря на все пострижения в философские монахи, берет свое».

На философскую мысль Западной Европы Россия отзывалась жизнью и судьбой. Она взваливала на себя тяжелое бремя практической реализации самых идеальных и отвлеченных мечтаний человечества. В согласии с русскими традициями наши гегельянцы спешили перейти к практическим выводам. И в Берлине, на вечерах в доме

Фроловых, куда постоянно ходил юный Тургенев, Станкевич, Грановский и их друзья говорили не только о всемирном духе. По воспоминаниям участников этого кружка, здесь уже «шла речь о преимуществах народного представительства в государстве, о всесословном участии народа в несении государственной повинности», о доступе его ко всякой государственной деятельности. А в один из вечеров Станкевич заявил: «Масса русского народа остается в крепостной зависимости и потому не может пользоваться не только государственными, но и общечеловеческими правами. Нет никакого сомнения, что рано или поздно правительство снимет с народа это ярмо, но и тогда народ не сможет принять участия в управлении общественными делами, потому что для этого требуется известная степень умственного развития, <...> а потому, кто любит Россию, тот должен желать распространения в ней образования». И при этом Станкевич взял с нас торжественное обещание, что мы все наши силы и всю нашу деятельность посвятим этой высокой цели».

Вероятно, именно это «торжественное обещание» и вспоминал Тургенев впоследствии, называя его своей аннибаловской клятвой.

Семейство Фроловых, у которых по вечерам собиралась вся русская студенческая колония в Берлине, не случайно притягивало к себе молодых энтузиастов философской премудрости. Николай Григорьевич Фролов был старше Тургенева на шесть лет. В 1834 году он закончил Пажеский корпус и был определен офицером в Семеновский полк. Но стремление к научным познаниям заставило его вскоре подать в отставку и отправиться слушать лекции сначала в Дерптском, а потом в Берлинском университете. Параллельно с занятиями философией он изучал сравнительное землеведение и работал над русским переводом «Космоса» Гумбольдта.

Гумбольдту в это время было уже 70 лет, но он старательно ходил на лекции по философии вместе с Тургеневым и другими молодыми студентами. В своем колоссальном труде этот «Аристотель XIX века» стремился представить природу как единое живое существо, движимое и одушевляемое внутренними духовными силами. Разнообразные проявления природной жизни он рассматривал в их совокупной общей связи, и занятия философией Гегеля помогали ему проследить эту диалектическую взаимосвязь.

Гумбольдт был частым гостем в семье Фроловых и принимал участие в общих беседах, душою которых была жена Н. Г. Фролова Елизавета Павловна, по характеристике Тургенева, «женщина очень замечательная, почти гениальная», привлекавшая к себе тонким женским умом и грацией. Она обладала способностью вызывать у людей ощущение непринужденности. Сама Елизавета Павловна говорила немного, но каждое слово ее отличалось такой меткостью и точностью, что долго не забывалось.

На вечерах у Фроловых любил бывать и молодой профессор Карл Вердер, талантливый пропагандист гегелевской философии, с которым Тургенев имел возможность общаться не только в студенческой аудитории. Добродетельный, аккуратный и детски чистый человек, Вердер умел делать отвлеченные истины гегелевского учения яркими, образными и доступными, он умело иллюстрировал их цитатами из второй части «Фауста» Гёте. Философии в его устах как бы возвращалась жизнь и поэзия, философские формулы обретали глубокий нравственный смысл, Вердер связывал с ними достоинство человека и нравственное его воспитание.

«Редкий молодой человек, — говорил Станкевич о Вердере, — наивный, как ребенок. Кажется, на целый мир он смотрит, как на свое поместье, в котором добрые люди постоянно готовят ему сюрпризы. Его беседы имеют спасительное влияние, все предметы невольно принимают тот свет, в котором он их видит, и становится самому лучше, и сам становишься лучше». Когда впоследствии Тургенев писал о «музыке красноречия» Дмитрия Рудина, о его способности зажигать словом сердца людей, он вспоминал о Вердере:

«Образы сменялись образами; сравнения, то неожиданно смелые, то поразительно верные, возникали за сравнениями. Не самодовольной изысканностью опытного говоруна — вдохновением дышала его нетерпеливая импровизация. Он не искал слов: они сами послушно и свободно приходили к нему на уста, и каждое слово, казалось, так и лилось прямо из души, пылало всем жаром убеждения. Рудин владел едва ли не высшей тайной — музыкой красноречия. Он умел, ударяя по одним струнам сердец, заставлять смутно звенеть и дрожать все другие. Иной слушатель, пожалуй, и не понимал в точности, о чем шла речь; но грудь его высоко поднималась, какие-то завесы разверзались перед его глазами, что-то лучезарное загоралось впереди».

Тургенев вместе с другими студентами был так захва-

чен лекциями молодого профессора, что принимал участие в знаменитых серенадах. Нанимались специальные музыканты, студенты приходили вместе с ними под окна к дому учителя и после увертюры пели песни в честь науки. Вердер, и смущенный и сияющий, выходил к студентам и благодарил за оказанную ему честь.

Когда Вердер приходил в дом Фроловых, он моментально овладевал вниманием слушателей и пускался в блестящие философские импровизации. Поддерживать обыденный житейский разговор он не умел, а если случалось, то говорил коряво, с запинками, мучительно долго подбирая простые слова. Не умел он также и слушать собеседника, плохо разбирался в людях. Но как только представлялся повод поговорить на отвлеченную тему, речи его лились рекой.

Раз после ухода Вердера Тургенев не удержался и воскликнул: «В первый раз слышу человека!» На что проницательная и меткая на определения Фролова заметила: «Да. Жаль только, что он с одним собой знаком».

Совершенно иным был душевный склад у Станкевича. Он о себе не думал, но всерьез интересовался собеседником, проникал в его душу и, «как бы сам того не замечая, увлекал его вслед за собою в область Идеала». Однажды Тургенев заявил Станкевичу, что в отрицании заключается подлинная благодать: им жизнь движется вперед, — а в доказательство привел образ Мефистофеля из «Фауста» Гёте. Станкевич внимательно посмотрел ему в глаза и вкрадчиво, но убедительно заговорил:

— Отрицайте всё, и вы легко можете прослыть за умницу: это уловка известная. Добродушные люди сейчас готовы заключить, что вы стóите выше того, что отрицаете. А часто это неправда. Во-первых, во всем можно сыскать пятна, а во-вторых, если даже вы и дело говорите, вам же хуже: ваш ум, направленный на одно отрицание, беднеет и сохнет. Удовлетворяя ваше самолюбие, вы лишаетесь истинных наслаждений созерцания; жизнь — сущность жизни — ускользает от вашего мелкого и желчного наблюдения, и вы кончите тем, что будете лаяться и смешить. Порицать, бранить имеет право только тот, кто любит.

Впоследствии, в романе «Рудин», Тургенев отдал дань благодарной памяти этого светлого человека, образ которого явился прототипом Покорского: «Я тогда находился весь под его влиянием, и это влияние, скажу без обиняков, было благотворно во многом. Он первый не побрезгал

мною, обтесал меня. Покорского я любил страстно и ощущал некоторый страх перед его душевной чистотой». Тургенев думал о вечерах у Фроловых, когда устами Лежнева «вспоминал наши сходки», в которых было «много хорошего, даже трогательного».

«Вы представьте, сошлись человек пять-шесть мальчиков, одна сальная свеча горит, чай подается прескверный и сухари к нему старые-престарые; а посмотрели бы вы все на наши лица, послушали бы речи наши! В глазах у каждого восторг, и щеки пылают, и сердце бьется, и говорим мы о боге, о правде, о будущности человечества, о поэзии <...>.

А ночь летит тихо и плавно, как на крыльях. Вот уж и утро сереет, и мы расходимся, тронутые, веселые, честные и трезвые (вина у нас и в помине тогда не было), с какой-то приятной усталостью на душе... Помнится, идешь по пустым улицам, весь умиленный, и даже на звезды как-то доверчиво глядишь, словно они и ближе стали, и понятнее... Эх! славное было время тогда, и не хочу я верить, чтобы оно пропало даром! Да оно и не пропало, — не пропало даже для тех, которых жизнь опошлила потом».

На вечерах у Фроловых Тургенев познакомился с Беттиной Арним, бывшей поклонницей Гёте, которая незадолго до приезда Тургенева в Берлин опубликовала свою переписку с поэтом. Это была молодящаяся экзальтированная дама в возрасте 53 лет, романтически настроенная, любившая рассуждать «о природе, как о чем-то одушевленном и живом», возбуждавшая интерес Тургенева своими размышлениями о связи человеческого духа с природой. В своих воспоминаниях о знакомстве с Гёте она часто подменяла реальные факты игрой воображения. И тогда знаменитый немецкий критик-биограф Фарнгаген фон Энзе, досконально знавший биографию великого поэта Германии, «выводил ее на чистую воду».

К этому человеку, завсегдатаю вечеров у Фроловых, Тургенев испытывал искреннюю симпатию. Он рассказывал немецкому биографу о русской литературе, о национальном гении России — Александре Сергеевиче Пушкине, читал наизусть его стихи и делал с них переводы.

Фарнгаген фон Энзе проникся интересом к русскому гению и опубликовал в «Ежегоднике наук и искусств» критическую статью о нем, которая произвела сенсацию в берлинских кругах, а в России получила восторженный отзыв Каткова в журнале «Отечественные записки». При-

ятель Тургенева Я. М. Неверов в письме к В. Ф. Одоевскому от 13 ноября 1838 года сообщал об этой статье: «Она возбудила здесь живой интерес как содержанием своим, так в особенности именем Варнгагена, и русская литература наряду с современными политическими вопросами составляла на несколько недель предмет общего разговора. Забавно, что профессор Ганс, одна из остроумнейших голов между тяжеловесными немецкими учеными, высказал подозрение, что это написано не Варнгагеном, а русскими, и именно мною, — он знает, что я хорошо знаком с Варнгагеном, так что мне надобно было оправдаться. Главное дело в том, что Ганс на своих лекциях, на которые каждодневно собирается более 400 человек всех званий, возрастов и наций, жарко нападает на славянские народы и старается доказать, что они способны только воспринимать пассивно, ничего не производя, а потому все его последователи никак не хотели верить, чтобы русские могли иметь поэта с европейским значением...»

Этого красноречивого Ганса, юриста гегелевской школы, слушал и Тургенев. Больно ударяли по национальному самолюбию русского человека кичливые профессорские рассуждения, которые опирались к тому же на авторитет Гегеля. Последний отказывал славянским народам во всемирно-историческом призвании, утверждая, что мировой дух в своем развитии славянство обошел, осенив своим величием немецкую нацию, гениальным сыном которой Гегель открыто считал себя, полагая, что в его философии великий творец вселенной завершил акт своего самопознания.

Уклон в национализм всегда впоследствии вызывал у Тургенева отрицательную реакцию, с какой бы стороны он ни исходил — немецкой, русской, английской или французской. Вероятнее всего, эту болезненную реакцию на малейшие признаки национальной кичливости писатель вынес из университетских лекций, а известно, что воспринятое в юности прочно укореняется в человеке и сохраняется, как правило, на всю жизнь.

Вопрос о судьбах славянства обсуждался в кружке Станкевича. Весною 1838 года Грановский три недели провел в Праге, где познакомился с идеологами чешского и словацкого национально-освободительного движения П. Шафариком и Ф. Палацким. По их рекомендации он прочел трактат известного поэта славянского возрождения Яна Коллара «О литературной взаимности между различными племенами и наречиями славянского народа». Ян

Коллар мечтал о создании единой, всеславянской литературы, и Грановский увидел в трактате «много истинного и важного для нас», хотя автор его «уж слишком славянствует».

Рассказывая в семье Фроловых о встречах с Шафариком, Грановский замечал: «Это преувеличение так понятно, так необходимо в людях, которые служат избранному делу. К концу нашего разговора Шафарик сказал, что ему грустно смотреть на теперешнюю Европу, полную бесплодных волнений, полуразорванную внутренними раздорами... Но при всем моем уважении к его огромным сведениям я не могу согласиться, что славяне не менее немцев участвовали во всемирной истории. Мне кажется, что нам принадлежит будущее, а от прошедшего мы должны отказаться в пользу других. Мы не в убытке при этом разделе. Как ни говори, а все-таки история германцев теперь важнее славянской, в связи со всеобщею. Через два-три столетия — другое дело». Формирующийся «западник», Грановский даже хотел написать об этом специальную статью.

Западничество тем не менее не мешало русским студентам быть патриотами. Я. Неверов вспоминал, как однажды в гостинице Ягора, где часто сходились Грановский, Станкевич, Неверов и Тургенев, друзья встретились с компанией поляков. Кто-то из поляков с явным намерением уязвить русских прочел вслух французский памфлет против России и кончил чтение «возмутительным тостом для русских». Первым вскипел Тургенев, но Грановский тотчас остановил его, прося предоставить ему уладить дело. Потом Грановский произнес примирительную речь, которую закончил так: «Вместо слова ненависти за проклятие, направленное против нас, обратим к ним слова любви. Во главе славянского развития стала Россия, а не Польша; но нам нечего гордиться: надо братски соединить все усилия в стремлении к высокой цели, единению славян и первенствующему их развитию на историческом поприще». Поляки и русские обнялись.

Политические вопросы оказывались ближе сердцу Тургенева. По складу своей душевной организации он все-таки оставался не философом, а художником, склонным воспринимать мир всей полнотою натуры, всем богатством человеческих чувств. Он мог рассуждать уверенно только тогда, когда идея вставала перед ним в форме художественного образа, и с трудом пускался в абстракции. Позднее, в разговоре с американским писателем

Х. Бойесеном, Тургенев объяснял эту особенность своего ума так: «Европа, например, часто представляется мне в форме большого слабо освещенного храма, богато и великолепно украшенного, но под сводами которого царит мрак. Америка представляется моему уму в форме обширной плодоносной прерии, на первый взгляд кажущейся слегка пустынной, но на горизонте которой разгорается блистательная заря».

Односторонность своих друзей, целиком уходящих в толкования отдельных параграфов и пунктов гегелевского учения, и восхищала Тургенева, вызывая в нем тайную зависть, и одновременно отталкивала его. Временами, среди ученейшего разговора на какую-нибудь философскую тему о «становлении», «бытии», «сущности», Тургенев сознательно произносил глупость, первую пришедшую ему на язык, что вызывало со стороны умных и серьезных друзей упреки в легкомыслии, не лишенные известных оснований.

Вот почему Тургенев тянулся к Грановскому и Станкевичу и одновременно отводил душу с любезным его сердцу Януарием Неверовым. Неверов был старше Тургенева на восемь лет и обладал богатым жизненным опытом. Почти разночинец, выходец из бедной дворянской семьи, Неверов по окончании Арзамасского училища служил канцеляристом в уездном суде. Минуя гимназию, благодаря упорству и энергии, он подготовился к экзаменам и поступил в 1828 году в Московский университет. Окончив курс кандидатом, Неверов служил в канцелярии «Журнала министерства народного просвещения», а в мае 1837 года приехал в Берлин. Он жил в одном доме с Тургеневым и, на правах старого друга Станкевича, способствовал их сближению. Однако, в отличие от Станкевича, Грановского и Тургенева, Неверов не доверял философии Гегеля и относился с нескрываемой иронией ко всякого рода отвлеченностям и неопределенным порывам. Вероятно, свойственный Януарию здравый смысл и скептицизм вызывали у Тургенева скрытую симпатию.

Вслед за Януарием Тургенев увлекался лекциями профессора Риттера, создателя географической науки. Шеллингианец Риттер «видел в земной поверхности нечто живое, в отдельных континентах — как бы особые организмы с присущими каждому характерными признаками и качествами, выражающимися в особенностях очертаний берегов, рельефа, климата, характера растительности и животной жизни, а равно и культурного развития связанных

с этими естественными условиями пород человечества». Для будущего автора «Записок охотника» не прошли бесследно лекции этого профессора, учившего чувствовать глубокую внутреннюю связь между природой той или иной страны и особенностями ее национальной культуры.

От «умных» лекций и философских разговоров Тургенев отводил душу с Порфирием Кудряшовым. Вспоминали, что часто барин со слугой играли на квартире в оловянных солдатиков и очень увлекались ловлей крыс. Порфирий в Берлине зря времени не терял, посещая занятия на медицинском факультете, так что он вернулся в Россию довольно толковым и знающим врачом. За границей он влюбился в немецкую девушку, и Тургенев, как литературно одаренный человек, порой, по его просьбе, сочинял любовные письма. Когда пришла пора возвращаться в Россию, Тургенев советовал Порфирию остаться в Германии, напоминая о том, какой кошмар ждет его на родине в доме матери. Но верный слуга так соскучился по родной стороне, что отговорить его от возвращения было невозможно.

По беззаботности, свойственной молодости, Тургенев не баловал Варвару Петровну ответными письмами, хотя она писала ему регулярно о жизни в Спасском, и письма ее нередко превращались в живые, красочные образные отчеты о прожитом дне. В этих письмах проявлялся не только крутой ее нрав, но и преданная любовь к родному сыну Ваничке: «Моя жизнь от тебя зависит... Как нитка в иголке; куда иголка, туда и нитка»; «ради бога, Иван, не скучай на чужбине. Вообрази, что это твоя служба... Ваничка, когда тебе взгрустнется по России, то ты думай, как я: да ведь мои покойны, здоровы и пекут себе попутники, пирожки ко мне на дорогу. Дай срок; все дни впереди — не нынче — завтра... Еще денек... еще день... Вечная песня бедных бурлаков на барке, — тянут веревку и припевают: еще разик, еще раз... О!.. Ох!..» «Что мне твой подарок дорогой? Дорого внимание. Цветочные семена в первой семенной лавке — листочки и семечки все твои берегутся. Но! — тебе и это стало в тягость, и два письма я не получаю этого условленного гостинца. Что такое за важность — берлинское изделие, узорчик по канве, ленточка, колечко, — которое бы 1000 раз целовала.

Но!.. Ты на это ни в отца, ни в мать, ни в брата. Отец не едал сладко, чтобы лишнюю ленточку и чепчик прислать или привезти».

В ответ на молчаливое невнимание сына в письмах нарастают упреки: «Ты эгоист из всех эгоистов... Ты умеешь ценить внимательность, но! — не подумаешь, как она приятна матери... А ты будешь со временем муж, отец. О! Нет! — пророчу тебе, — ты не будешь любим женою. Ты не умеешь любить, т. е. ты будешь горячо любить не жену, т. е. не женщину, — а свое удовольствие».

Упреки переходят в прямые угрозы, за которыми опять-таки скрывается заботливая любовь к сыну: «Не затейся знакомства свести с актрисами в Берлине. Помни, что имение твоего отца не дает тебе на уплату в казну доходу. А я при первом твоем долге публикую, даю тебе мое честное слово, публикую в газетах, что имение у вас не отцово и что я за вас долгов платить не буду. Это не сделает тебе чести, конечно. Но! — по крайней мере, с меня за твои долги взыскивать не будут».

Материнские тревоги были небезосновательными: девятнадцатилетний студент и в денежных делах не проявлял большой аккуратности. Рассудительный брат Николай писал Тургеневу 25 сентября 1838 года: «Мы с тобою были всегда так дружны, что я уверен, Jean, что ты не будешь сердиться на меня, если я сделаю тебе некоторые замечания насчет твоего образа жизни... Ты сам был в деревне, видал и знаешь, как тяжело достается копейка, а со всем тем ты тратишь и не оглядываешься. Прекрасная есть у нас на Руси пословица: по одежке протягивай ножки... Придет время, ты остепенишься да как взглянешь на прошлые шалости да мотовство бесполезное, так будешь жалеть. Если ты молодым студентом с посохом в руках тратишь так много, что же будет, если ты останешься там служить, надо будет, по крайней мере, вдвое». Юный бурш ответил на это письмо брата следующим посланием в стихах:

Напрасно, добрый милый брат,
Ты распекаешь брата Ваньку:
Я тот же толстый кандидат
И как ни бьюсь напасть на лад,
А все выходит наизнанку.
Поверь, умею я ценить
Всю пользу дружеских нападок.
Но дух беспечен — плоть слаба,
Увы! к грехам я слишком падок!

Наступает момент, когда молчание сына выводит Варвару Петровну из всякого терпения. И тогда она чеканит сыну свой «господский деспотический приказ»:

«Три недели я не получала от тебя писем, mon cher

Jean, — пишет матушка. — Слава Богу, что не получала оттого, что ты не писал! Теперь буду покойна. Повторяю мой господский деспотический приказ. Ты можешь и не писать. Ты можешь пропускать просто почты, — но! — ты должен сказать Порфирию — я нынешнюю почту не пишу к мамаше. Тогда Порфирий берет бумагу и перо. И пишет мне коротко и ясно, — Иван С., де, здоров, — боле мне не нужно, я буду покойна до трех почт. Кажется, довольно снисходительно. Но! — ту почту, когда вы оба пропустите, я непременно *Николашку* высеку: жаль мне этого, а он прехорошенький и премиленький мальчик... Что делать, бедный мальчик будет терпеть... Смотри же, не доведи меня до такой несправедливости».

Вряд ли задумывалась Варвара Петровна о том, в какую нравственную дрожь повергают ее любимого сына такие замашки. Для нее-то они были нормой жизни, одним из способов повседневного барского существования. Расчет делался тем не менее верный — на сердобольный и мягкий характер Ивана. Приходилось писать регулярно, так как знал, что матушка слов на ветер не бросает, и что ею сказано, то и будет сделано, — станет плакать и кричать на конюшне от боли и обиды ни в чем не повинный «министр почт», крепостной мальчик Николашка.

В мае, незадолго до окончания первого года учебы в университете, Тургенев получил из Спасского письмо, которое глубоко его потрясло и выбило из колеи.

«Дорогой Иван, — писала матушка. — Когда я, слабая, больная женщина, без всяких приготовлений, сидя на пате в гостиной в 10 часов вечера увидела сыплющиеся на сад искры и вдруг озарившее зарево до самого Петровского, увидела, не слыхав прежде, что пожар на дворне, — то тебя, мужчину, не имею, кажется, нужды долго приготовлять и могу прямо сказать: «Сон твой исполнился, виденный, ежели ты помнишь, два года тому назад, — что после многих бед я, наконец, вошла в церковь, гром грянул, и все исчезло. Да! Я вошла в церковь... *дом Спасский сгорел* и обрушился. Да... да!.. Да! *Спасское сгорело*, начиная от церкви справа, и окружило все по самый дядин флигель. — Уф, написала, кончила. — Теперь начинаю описание.

Это было 1 мая. Я была больна. У меня гости были из Мценска. — Так было все хорошо, изобильно, пили шампанское. Я радовалась... все желаемое мною приведено было в порядок: имение разделено на участки, деньги завелись, — кассир был назначен. Все это накануне:

я говорю тебе — я была счастлива. Гости уехали. Я три дня лежала в постели. Тут встала, легла на пате, — и дети кругом меня, — и начала с Лизеттой о чем-то спор. — Вдруг блеснула искра в моих глазах (брата и дяди не было, они были уже на пожаре. Горела дворня. Алексея кучера жена ходила в закуту с лучиною. Брат думал и дядя, что затушат, и потому мне не сказали). Так, пролетела искра, а там горящий отломок в четверть. — «Боже мой, мы горим», — сказала я, — и в одну минуту зарево осветило весь сад и дом!

Остальное буду рассказывать лично. Все занялись пожаром, меня забыли; я ушла в церковь, и сон твой свершился. В одну лошадь, — Капитошка кучером, — мы трое, т. е. — я и двое детей, уехали в Петровское, в коляске. Лошадь загрязла, делать было нечего. С образом, с мощами, с крестом на шее, приехала я на Петровское. Буря была ураган; все ревело, рвало. В 12 часов ночи Спасское уже не существовало. «Что спасли?» — спросишь ты. — Деньги, вещи — и только. Вынесли все, но! — все перебили, остальное разокрали; нас грабили просто. Мы бедны движимым, как самые беднейшие люди, и без пристанища. Дядин дом вдребезги, окна перебиты, и полы, и мебель. Куда было деться? Отвезли меня в Мценск. У меня там для приезду был нанят домик в 5 комнат. Вот жилище твоей роскошной и богатой матери... «А что дядя?» — спросишь ты. — Род помешанного. А брат желт, как пупавка. А ты де?..

Ах! Ваничка, Ваничка, вот и еще день пятницы, а от тебя писем нет, вот уже две недели.

Завтра суббота, тяжелая почта. Посылаю тебе на дорогу две тысячи ассигнаций. Кажется, тебе нечего в Берлине мешкать. Я и прежде об этом писала, а нынче я требую, чтобы ты приехал, не мешкав. Мне нужно ваше с братом присутствие. Я бы не желала приказывать, но! — мне нечего делать. Я не в силах тебя более содержать за границей. О! Нет! Нет! Не то, не то... Как же не в силах! Боже мой, неужели я отниму от тебя твою карьеру... О! Нет!.. Мне нужно, мне необходимо видеть тебя как можно, как можно скорее. Я упала духом и имею нужду подкрепиться. О! Господи... Господи... Какие кресты ты на меня кладешь.

Но! — только будьте здоровы, будьте здоровы, умны, добры, любите меня, мои деточки, — и все с рук сойдет мне благополучно. ...Итак — на пепелище, до сих пор еще дымящемся... ружье твое цело. А собака твоя очумела. <...>

А ты, злодей, ленив писать. Ох! — при моем горе и нет ни одной от тебя грамотки. Более писать к тебе не буду. Буду ждать, чтобы лично благословить тебя, и увидишь, что я твой верный друг».

Когда Тургенев опомнился от душевного столбняка, который нашел на него, им овладели противоречивые чувства. Непростые отношения складывались у него с родовым гнездом, с домом, где прошло детство. Никак не укладывалось в мысли, что этого дома больше не существует. Память восстанавливала в подробностях и деталях облик спасских комнат. Вот классная, где они с братьями проводили долгие часы за домашними уроками; стол, кромки которого подрезаны перочинным ножом во многих местах... А библиотека! Цела ли спасская библиотека? Неужели сгорели те старые шкафы, открывая которые он, бывало, с удовольствием вдыхал кисловатый запах старых книг и с каким-то священным трепетом раскрывал очередной попавшийся ему под руку том, аккуратно перелистывая слежавшиеся, прилипшие друг к другу страницы. Вспомнился и Херасков, и книга эмблем и символов, и новиковские издания XVIII века, и тома сочинений французских энциклопедистов... Трудно было представить, что ничего этого больше не существует: ни пенья двери в спальной комнате (как испугало оно его тогда, в памятную ночь не осуществленного побега), ни «птичьей» комнаты с зеленой клеткой, ни потаенных уголков, где можно было спрятаться от докучливых гувернеров и часами отсиживаться в темноте, прислушиваясь к стуку в висках и к таинственным звукам, наполнявшим гулкое пространство огромного, как мир, спасского дома.

Вспомнился немец-учитель, который до вступления в новую должность был седельником. Он приехал в Спасское с прирученной вороной, сидевшей у него на плече, и Тургенев вместе с многочисленной дворней с любопытством рассматривал чудака гостя. «Ах ты, фуфлыга!» — флегматически заметил кто-то из стариков-дворовых. Немец прислушался, а за обедом неожиданно спросил отца:

— Позвольте у вас узнать, что значит слово «фуфлыга»? Меня вчера назвал ваш человек этим словом.

Отец взглянул на прислугу, догадался, в чем дело, улыбнулся и сказал:

— Это значит «живой и любезный господин».

Видимо, немец не очень поверил этому объяснению.

— А если б вам сказали, — обратился он к отцу: — «Ах, какой вы фуфлыга!» Вы бы не обиделись?

— Напротив, я принял бы это за комплимент.

Тургенев вспоминал, как этот чувствительный немец не мог читать без слез любимого им Шиллера и как обнаружилось в этом добродушном человеке полное отсутствие какой бы то ни было учительской подготовки. До сих пор осталась в памяти его съеженная фигура с вороной на плече, удаляющаяся от спасского дома навсегда...

Нет больше этого дома! Сгорела и та гостиная, в которой раз за обедом зашел разговор о том, как зовут дьявола — Вельзевулом, Сатаною или иначе?

— Я знаю, как зовут.

— Ну, если знаешь, говори, — отозвалась мать.

— Его зовут Мем.

— Как! повтори, повтори!

— Мем!

— Это кто тебе сказал? Откуда ты это выдумал?!

— Я не выдумал, я это слышу каждое воскресенье у обедни.

— Как так у обедни?

— А во время обедни выходит дьякон и говорит: «Вон, Мем!» (Он полагал, что дьякон выгоняет из церкви дьявола, в то время как тот произносил старославянское «вонмем» — «внимаем»). Удивительно, что матушка тогда его за это не высекла. Даже напротив, неожиданное толкование славянского слова вызвало у взрослых добродушный и веселый хохот.

Где теперь все это? Как быстро летит время и как непрочно перед лицом его стремительного движения человеческое существование, как бренно все, что с таким старанием строят и сооружают люди. Им кажется, что они слуги вечности, но является нежданно-негаданно слепая разрушительная стихия, — и все ими созданное на века в одну минуту разрушается, рассыпается, как карточный домик. И чем острее воспринимается мир в преходящих явлениях, тем тревожнее и трагичнее становится любовь Тургенева к жизни, к ее мимолетной красоте.

Немедленно собираться и ехать в Спасское! Таков был первый душевный порыв. Но вскоре возникло сомнение: а вдруг матушка, поддавшись капризам своего самовластного характера, захочет навсегда удержать его при себе? И тогда — прости, Берлин, прощайте, лекции вдохновенного Вердера и излучающая духовный свет личность Станкевича, прощайте, милые, добрые друзья, прощай, юность и молодость. Настанет полоса мучительного прозябания

под неусыпным, ревнивым контролем взбалмошной самодурки-помещицы...

В середине августа по дороге к Спасскому он с внутренним содроганием пытался представить себе картину, которая ожидает его на месте старого родового гнезда. «Тарантас его быстро катился по проселочной мягкой дороге. Недели две как стояла засуха; тонкий туман разливался молоком в воздухе и застилал отдаленные леса; от него пахло гарью»...

Вот и спасская церковь мелькнула наконец на повороте дороги, и перед его глазами открылся вид грандиозного пепелища. Черным гигантским полукругом охватывало оно то пространство, где некогда располагался левый флигель с мезонином и галерея. А на месте большого спасского дома зиял странный провал, на фоне которого торчали обгорелые деревья, их черные остовы скорбно напоминали о бушевавшей здесь три месяца назад жадной огненной стихии.

Уцелел только правый флигель с остатками галереи... На веранде, поддерживаемая услужливыми приживалками, в окружении многочисленной дворни, стояла постаревшая, исхудавшая и ссутулившаяся мать. В ее черных глазах не было привычного недоброго блеска, а светилась материнская ласка, трогательная беззащитность и мольба...

Тургенев прожил тогда в Спасском до середины сентября. Дружба с Афанасием Алифановым, осенняя охота на вальдшнепов в орловских лесах. Были встречи и знакомства с крестьянами, которые делились с охотниками своими радостями и печалями. Были ночевки под открытым небом у костра, невдалеке от мельничной плотины. В охотничьих странствиях копились жизненные впечатления, созревали сюжеты будущих очерков, хотя до «Записок охотника» было еще далеко...

Пережитое потрясение смягчило на время характер Варвары Петровны. Она окружила сына заботой и лаской, слушала рассказы о его поездках по Германии, вспоминала свою молодость, отца, первое семейное путешествие в Европу. К счастью, библиотека осталась цела, и мать принесла путеводитель Рейхарта, которым они когда-то пользовались с отцом. «То карандашом черточка, то ногтем, то уголок загнут, — все это, как стрелы в сердце». А вот его записочки и высохший цветок геранниума, заложенный отцом между страницами. «Он до сих пор издает слабый запах, а рука, его вложившая, давно уже тлеет в могиле». «Живу прошедшим, живу

воспоминаниями, — говорила мать, — только на Смоленском кладбище бываю я счастливой».

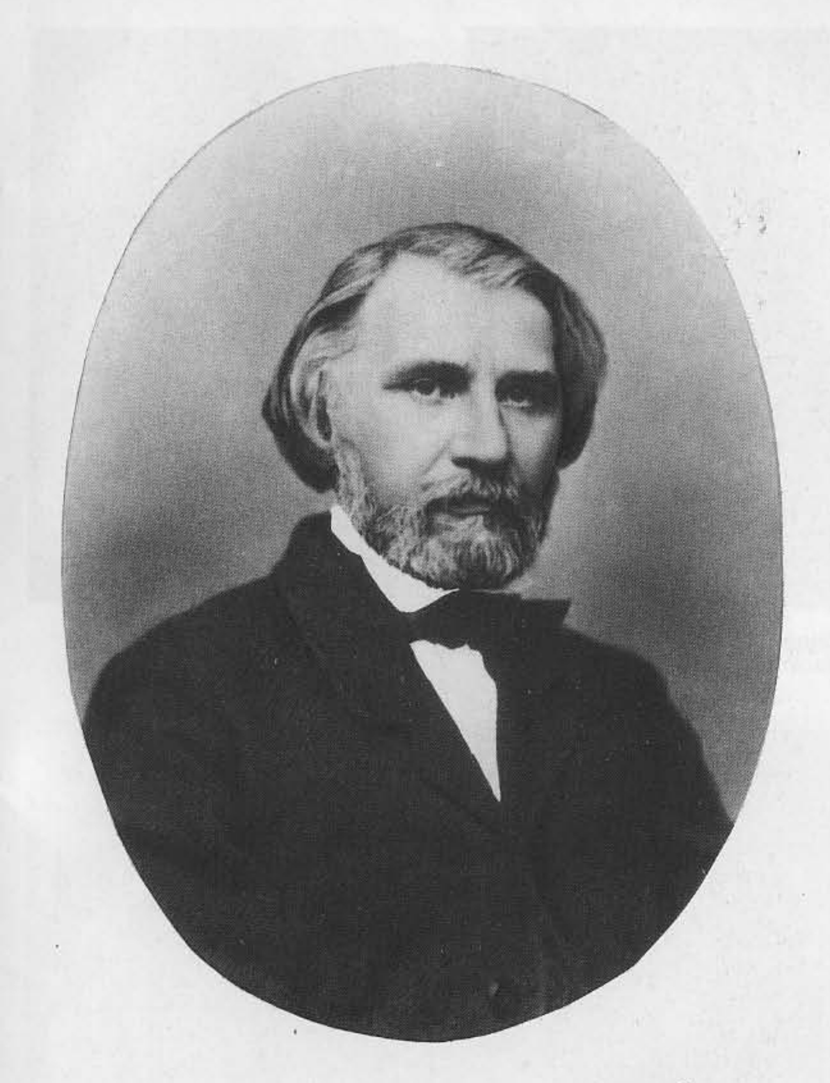
Тургенев с удивлением замечал в характере матери черты, на которые раньше не обращал внимания. Круг её интересов был довольно широк и не вполне обычен для типичной провинциальной помещицы. Однажды Варвара Петровна так жаловалась ему на свою свекровь: «С утра до вечера больше ничего, как карты. Нет! Моя старуха матушка была несравненно занимательней: она любила читать, могла судить о политике, о романах, даже русских. Матушка же Елизавета совсем не такова; вздыхает, ноет, охает, чай пьет, завтракает, обедает, опять ноет, чай пьет — и в карточки, а без того у неё материи нет занимательной. Это очень скучно для такой женщины, как я, читающей и понимающей».

Тургенев удивлялся начитанности Варвары Петровны. Она следила за новинками французской литературы и имела хоть и не безупречный, но достаточно здравый эстетический вкус. Как-то в письме она в ответ на латинские извлечения сына привела целый букет латинских пословиц с припискою: «Вот тебе латынь за латынь... Посмейся со своими товарищами, пусть они угадают, кто пишет тебе латинские поговорки. «Не угадать вам», — скажи. — «Почему ж? Старый учитель, ученый муж!» — «Да как бы не так! Старуха мамаша! Ха-ха-ха!.. По любви к сыну латынит!»

Не оправдались опасения Ивана Сергеевича: мать и не думала препятствовать очередному отъезду сына за границу: «Надо, чтобы ты знал, Иван: я не хочу никакого упущения по твоей карьере, никаких препон на пути к твоему будущему магистерству! Но будь экономен, помни о нашем разорении. Ты мне напомнил об отце очень кстати, потому что при его необыкновенных способностях денег не любил считать. Так, но! — на тебе бы взыскал, и так же, как я!.. а, может быть, и более меня, — счету бы потребовал... он не любил баловать, да и мне заказывал. А мое искомое в том, чтобы ты мне сказал, как насчет музыки: «Маман, била бы ты меня и играть бы заставляла...» «Долги — короста. Нужно сесть прыщу — всё тело покроет», — говорит Васильевна».

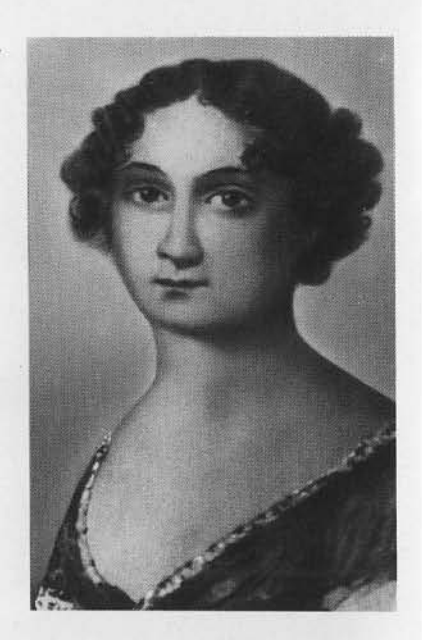
Мать не только разрешила продолжать обучение в Берлинском университете, но и снабдила средствами на путешествие по Италии...

На пути из Спасского Тургенев остановился в Петербурге и пробыл там около двух месяцев. Возобновились





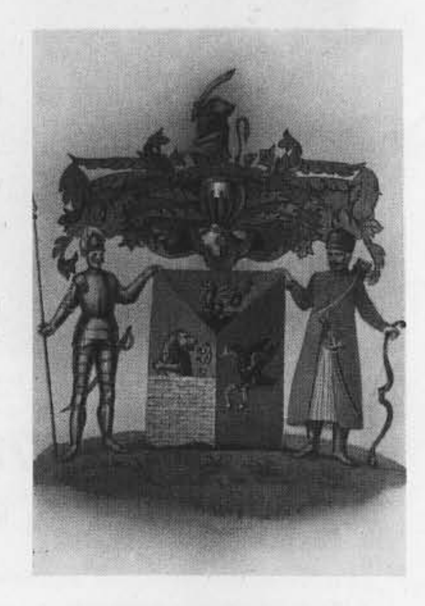
Сергей Николаевич Тургенев, отец писателя.



Варвара Петровна Тургенева (Лутовинова), мать писателя.



Герб рода Тургеневых.



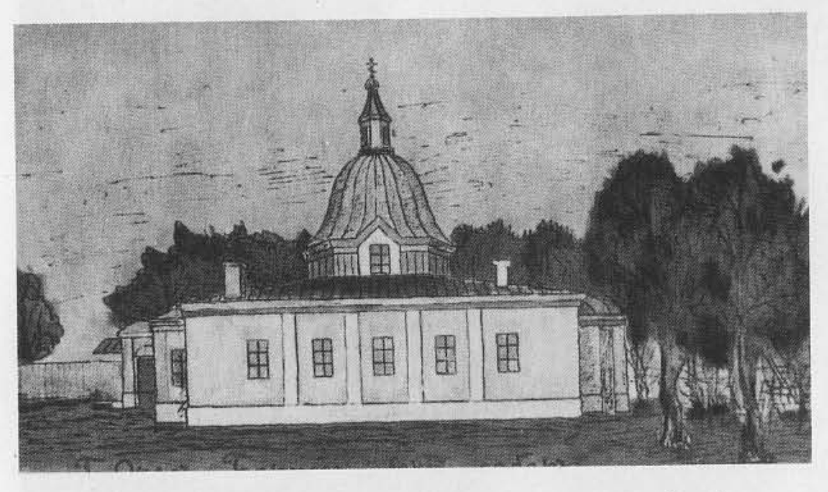
Герб рода Лутовиновых.

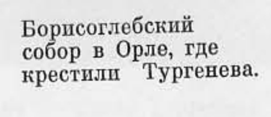


Спасское, усадебный дом. *Совр. фото.*



Иван Сергеевич Тургенев в детские годы.

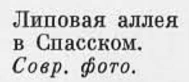




Борисоглебский собор в Орле, где крестили Тургенева.



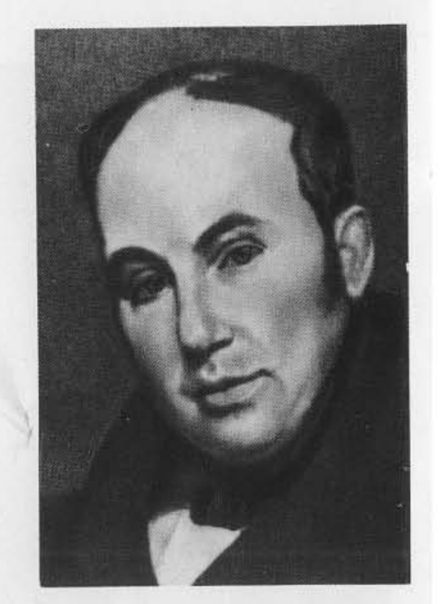
▶ Тургенев. *Акварель К. Горбунова. 1838 год.*



Липовая аллея в Спасском. *Совр. фото.*

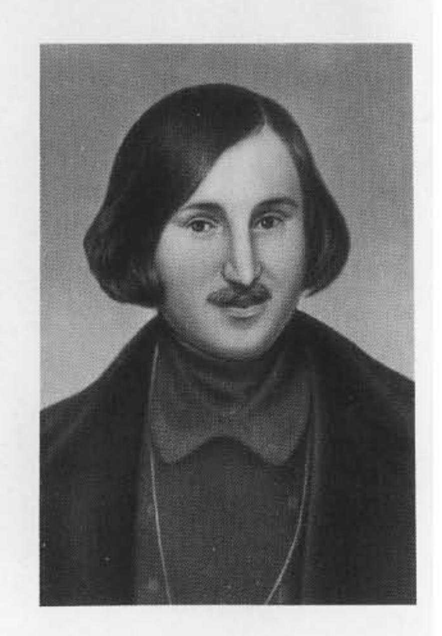


Пушкин.



Жуковский.

П. А. Плетнев.



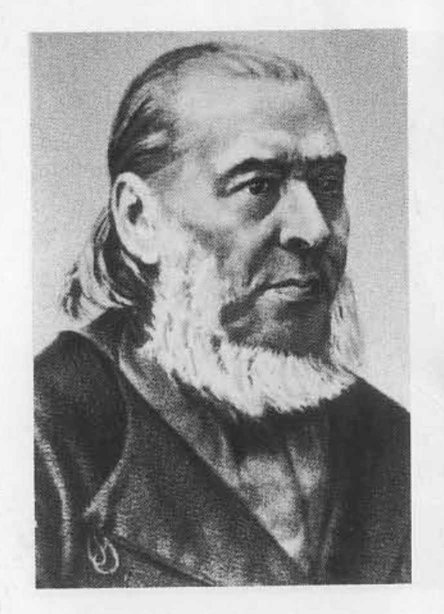
Гоголь.



Москва. Благовещенский собор в Кремле.



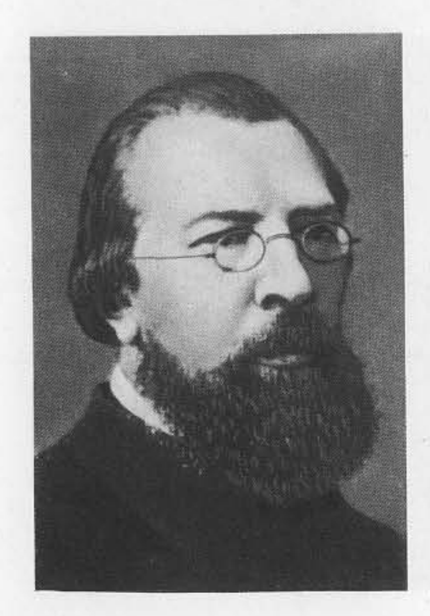
Петербург. Середина XIX века.



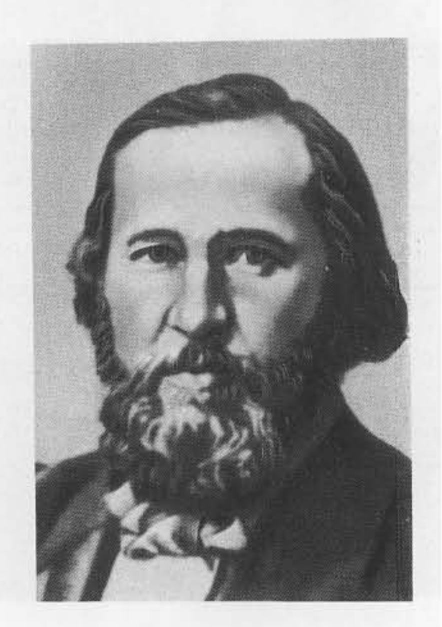
А. С. Хомяков.



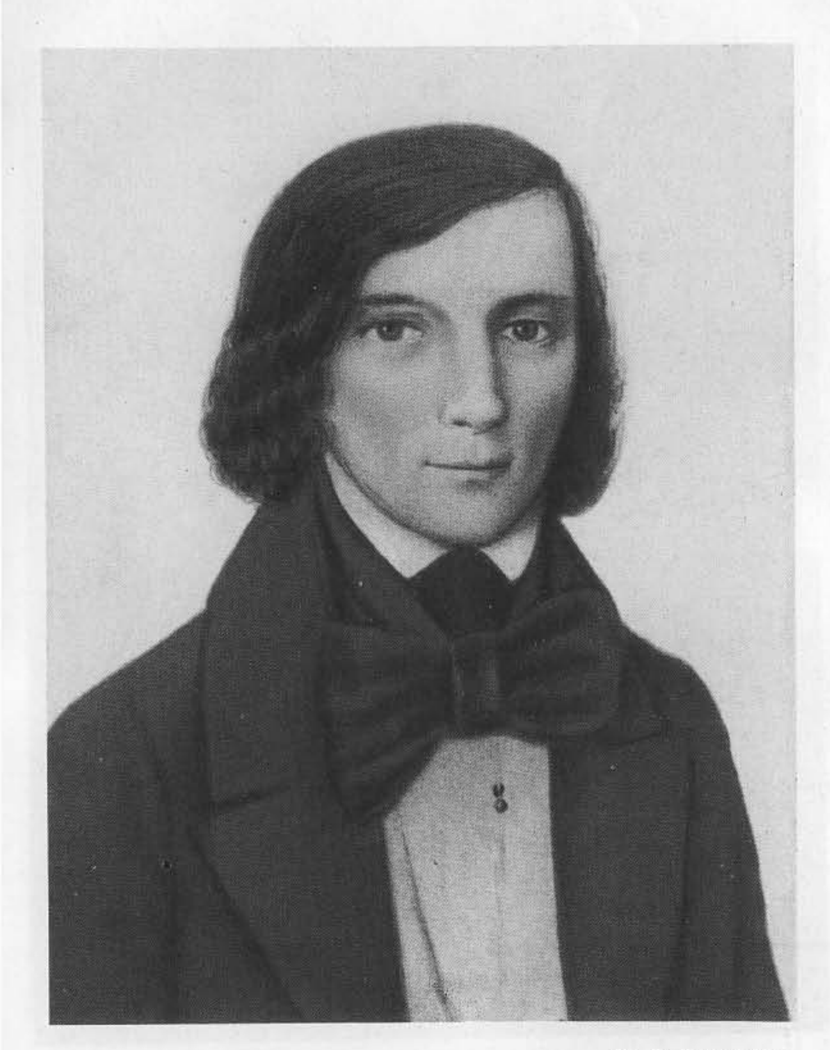
С. Т. Аксаков.



И. С. Аксаков.



К. С. Аксаков.



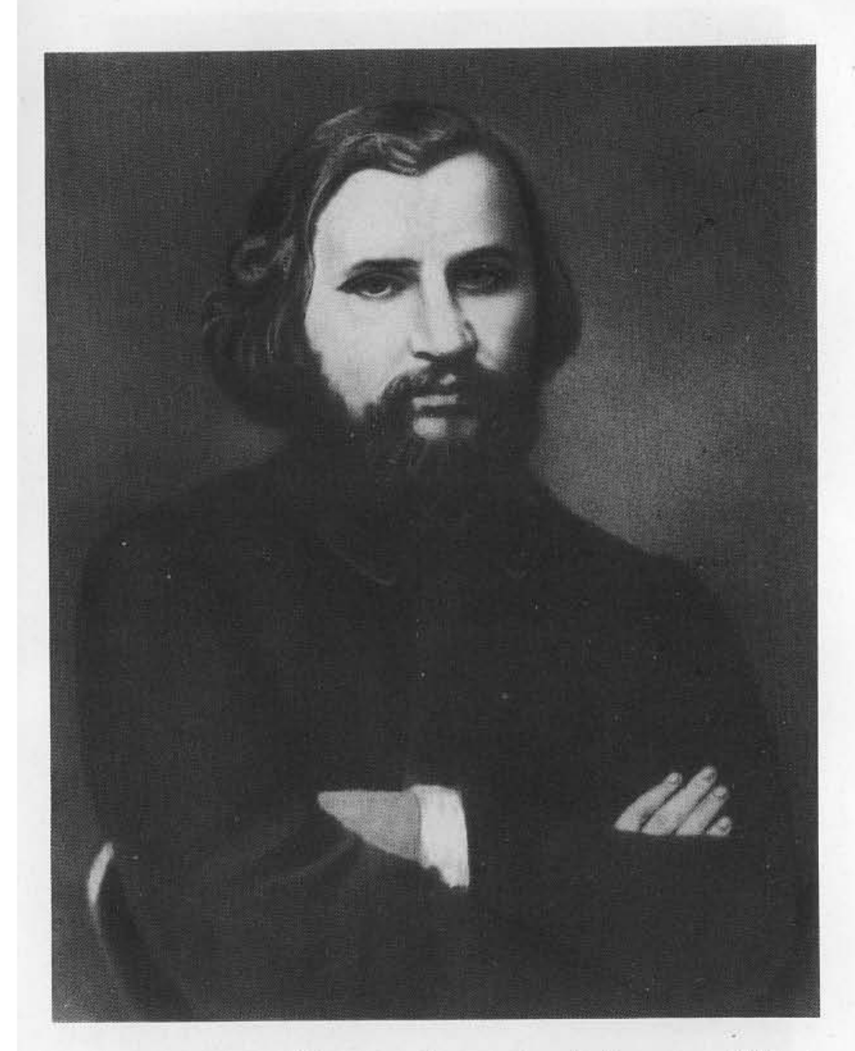
Н. В. Станкевич.



П. В. Анненков.



Рим. Собор Св. Петра.



Тургенев. *Фотография А. Бергнера. 1856 год.*



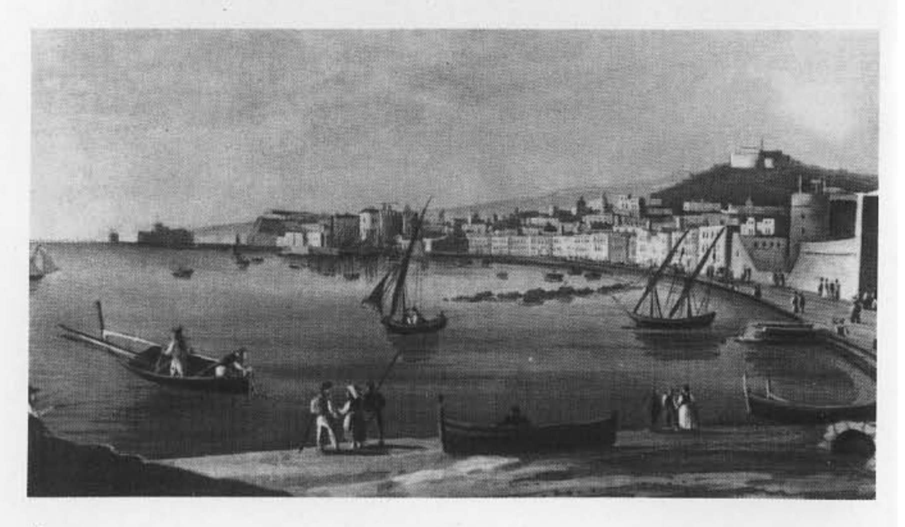
Луи Виардо.



Полина Виардо. *Акварель П. Соколова, 1853 г.*

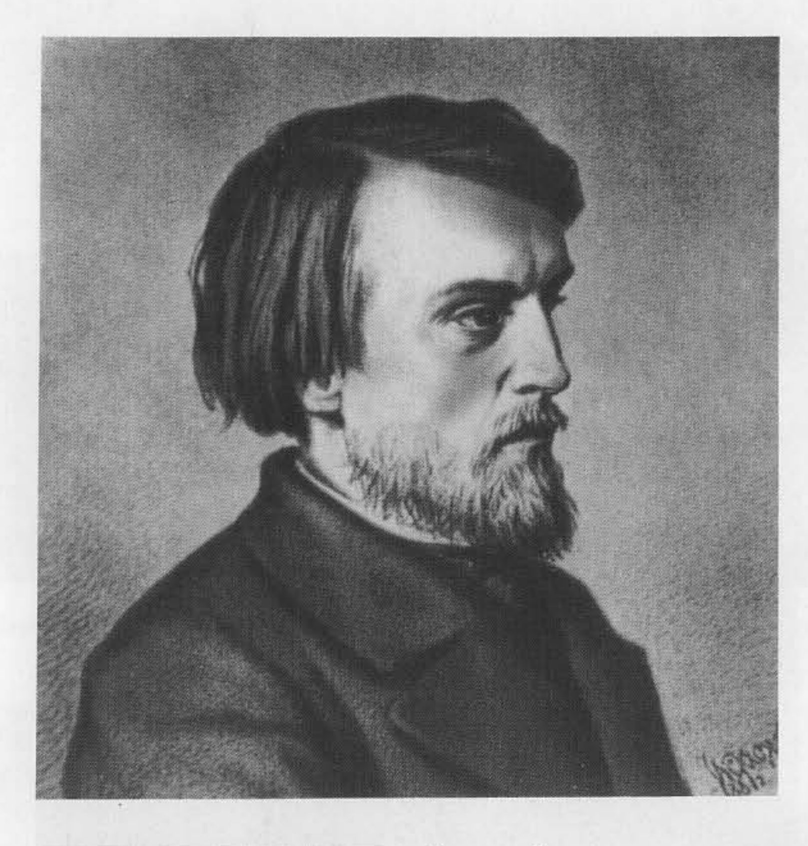


Париж. Улица Риволи.

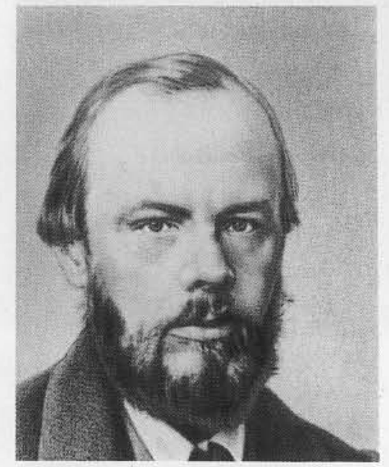


Венеция.

М. С. Щепкин.



Белинский.



Достоевский.

литературные знакомства. В начале 1838 года в первом номере «Современника» Плетнев напечатал его стихотворение «Вечер», а в четвертом — «К Венере Медицейской». Стихи заметила литературная общественность. Драматург Ф. А. Кони предложил Тургеневу стать сотрудником задуманного им журнала «Пантеон русского и всех европейских театров». Начинающий поэт отказался, но предложение Кони задело его за живое. «Я все еще колеблюсь погрузиться в русский литературный мир», — писал он Грановскому.

В декабре 1839 года, в Петербурге, Тургенев дважды видел Лермонтова. В наружности его при первой встрече в доме княгини Шаховской поразило «что-то зловещее и трагическое; какой-то сумрачной и недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица, от его больших и неподвижно-темных глаз. Их тяжелый взор странно не согласовался с выражением почти детски нежных и выдававшихся губ. Вся его фигура, приземистая, кривоногая, с большой головой на сутулых широких плечах возбуждала ощущение неприятное; но присущую мощь тотчас сознавал всякий». Тургенев заметил странную особенность: когда Лермонтов смеялся, глаза его оставались грустными и смотрели на окружающих «с каким-то обидным удивлением». Казалось, что он глубоко скучал и «задыхался в тесной сфере, куда его втолкнула судьба».

Второй раз он видел Лермонтова на балу в Дворянском собрании. Там «ему не давали покоя, беспрестанно приставали к нему, брали его за руки; одна маска сменялась другою, а он почти не сходил с места и молча слушал их писк, поочередно обращая на них свои сумрачные глаза». Тургеневу «тогда же почудилось», что он «уловил на лице его прекрасное выражение поэтического творчества. Быть может, ему приходили в голову те стихи:

Когда касаются холодных рук моих
С небрежной смелостью красавиц городских
Давно бестрепетные руки...»

Но подойти к Лермонтову Тургенев не отважился. Редкий посетитель светских вечеров и балов, он лишь издали, из уголка, куда забился, «наблюдал за быстро вошедшим в славу поэтом».

В середине января 1840 года Иван Сергеевич выехал из Петербурга, девять дней провел в Вене и, наконец,

достиг границ благословенной Италии, страны, где он давно мечтал побывать.

В Риме Тургенев встретился со Станкевичем и по-настоящему сблизился с ним. 19 марта 1840 года Станкевич писал Фроловым: «Тургенева никто не сбивает с толку, от этого он говорит связно и хорошо — ничего не заметно, чтобы он мог когда-нибудь плести такую дичь, какую плел у Вас. Право, он умен!»

Тургенев делился с другом своими впечатлениями, которые он вынес из России, рассказывал о пожаре спасского дома, о противоречивых чувствах, которые он испытывал к родовому гнезду. Станкевич понимающе кивал головой, но в ответ на одну резкую фразу Тургенева по поводу России и российской дворянской семьи мягко, но внушительно сказал слова, которые Тургенев запомнил надолго:

«Отечество и семейство есть почва, в которой живет корень нашего бытия; человек без отечества и семейства есть пропащее существо, перекати-поле, которое несется ветром без цели и сохнет на пути... От этого избави Вас Боже, Тургенев! Впрочем, Вы слишком знаете цену себе, чтоб допустить возможность такого существования».

Они ходили вместе по развалинам Колизея, темно-синее небо просвечивало во все его окна; ступени, на которых сидели прежде зрители, обрушились; кустарник рос на месте этих ступеней и придавал общей картине завершенный, гармонический вид. Они спускались в катакомбы — место жительства, службы и погребения первых христиан. Храм святого Петра превзошел их ожидания: громада, которая велика, как площадь, но настолько стройная и гармоничная, что взгляд не отвлекается на детали, а схватывает её всю сразу, целиком. Станкевич попутно развивал свои взгляды на сущность искусства, на тайны художественной завершенности совершенного в эстетическом отношении произведения. Его комментарии не мешали восприятию увиденного, а, напротив, раскрывали перед спутником внутренние красоты и смысл искусства в самой сокровенной его глубине.

Долго стояли они перед «Моисеем» Микеланджело. «Что за художник! — воскликнул Станкевич. — У него один идеал — сила, энергия, железное могущество, и он его осуществляет как будто шутя, как будто мрамор у него мнется под рукой! Обратите внимание, Тургенев, на лицо Моисея. Оно далеко от классического совершенства: губы и вообще нижняя часть лица выставились вперед, глаза смотрят быстро. Какая свобода и в то же время отчетливость в исполнении. Но вот Гёте, посмотревший на творение Микеланджело, говорил, что не может таким сильным взглядом воспринимать природу. И правда, есть что-то уничижительное в этой гигантской силе. Микеланджело возвратился к Старому Завету, и его Моисей — служитель бога ревнивого, из божества в нем осталась сила».

По контрасту с «Моисеем» друзья рассматривали головку Гвидо Рени. «Тут одна душа без тела, музыка, — сказал Станкевич и смущенно прибавил, — но не забудьте, что я варвар в живописи».

В Ватикане Станкевич остановился перед статуей Аполлона Бельведерского. «Что после этого абстрактная сила Микеланджело? — говорил он. — Там удивляешься таланту, здесь наслаждаешься произведением. Вечная юность, благородная гордость дышит в этих чертах».

Станкевич относился к Тургеневу дружественно, однако не без покровительственного оттенка и временами «осаживал» его «довольно круто».

«Раз в катакомбах, проходя мимо маленьких нишей, в которых до сих пор сохранились останки подземного богослужения христиан в первые века христианства», Тургенев воскликнул: «Это были слепые орудия провидения!» «Станкевич довольно сурово заметил, что «слепых орудий» в истории нет — да и нигде их нет».

В другой раз перед статуей святой Цецилии Тургенев продекламировал стихи Жуковского:

И прелести явленьем по привычке
Любуется, как встарь, душа моя, —

Станкевич сказал, что плохо тому, кто *по привычке* любуется прелестью, да еще в такие молодые годы.

Во всем существе его поражала окружающих редкая правдивость. Временами казалось, что он видит собеседника насквозь, высвечивает своим лучистым взглядом его сущность и прекрасно чувствует, где в нем правда и где ложь. Перед такой цельной личностью Тургенев терялся, чувствуя свои слабости. Но в этом чувстве не было ничего унижающего человеческое достоинство, потому что в правдивости Станкевича отсутствовали малейшие признаки самовлюбленности, внутреннего сознания своей избранности. Таким сделала его природа, и он носил свой дар легко и свободно, не сознавая, каким сокровищем обладает.

Нравственное влияние Станкевича на художественно одаренную натуру Тургенева было велико и плодотворно. Склонный к разнообразию и непостоянству, увлекающийся и разбрасывающийся, в общении с другом он собирался, духовные силы укреплялись и внутренний мир приобретал гармоническую завершенность и полноту. Тогда жизнь становилась радостной и осмысленной, согретой внутренним светом истины, добра и красоты.

Спустя несколько месяцев Тургенев, уже из Берлина, писал в Москву Грановскому: «Со мною случилось то же, что с бедным человеком, получившим огромное наследство... Целый мир, мне не знакомый, мир художества — хлынул мне в душу... Скажу Вам на ухо: до моего путешествия в Италию мрамор статуи был для меня только что мрамор, и я никогда не мог понять всю тайную прелесть живописи».

В Риме жило тогда русское семейство Ховриных, к которым Тургенев и Станкевич ходили беспрестанно. Муж, по характеристике Тургенева, «глупый отставной гусар», жена, Марья Дмитриевна, известная московская барыня, и две дочки, старшей из которых, Александре, едва минуло шестнадцать лет. Александра, которую все ласково называли Шушу, была мила и красива; в неё все были немножко влюблены, но она оставалась равнодушной и веселой щебетуньей, хотя временами казалось, что Шушу испытывает тайную симпатию к Станкевичу, отвечавшему ей «дружеским, почти отеческим чувством». У Ховриных бывал и друг Станкевича Александр Павлович Ефремов, с которым Тургенев близко сошелся в Риме. Ефремов изучал в Берлине географические науки, а потом преподавал в Московском университете. Посещал семейство Ховриных художник А. Т. Марков, впоследствии профессор живописи, поляк Брингинский, друг Листа, превосходный музыкант. По вечерам здесь не умолкали шутки и смех, звучала музыка, Тургенев упражнялся в художестве. Он брал в Риме уроки у немецкого художника Рунда и обнаруживал незаурядные способности рисовальщика. Станкевич особенно одобрял тургеневские шаржи и пришел в восторг от комического рисунка, изображающего свадьбу Шушу с Марковым. На рисунке Тургенев стоял за спиной своего соперника и держал над его головой свадебный венец.

Однако минуты беззаботного молодого веселья временами омрачались болезнью Станкевича. Злая чахотка подтачивала его силы, и он таял на глазах. Раз Тургенев

шел с ним к Ховриным. Говорили о Пушкине, которого Станкевич очень любил. Поднимаясь на четвертый этаж, Станкевич увлеченно читал стихи «Снова тучи надо мною» негромким, но выразительным голосом и вдруг остановился, кашлянул и поднес платок к губам, — на платке показалась кровь... Тургенев невольно вздрогнул, а он улыбнулся в ответ грустной улыбкой и дочитал стихотворение до конца. Станкевич не любил говорить о своей болезни и старался всеми силами сделать так, чтобы для друзей и близких ее как бы не существовало.

Но предчувствие близкой смерти уже жило в нем. Тургенев вспоминал, как однажды вечером они возвращались в открытой коляске из Альбано. У высокой придорожной развалины, обвитой плющом, Тургеневу вдруг вздумалось закричать громким голосом: «Божественный Кай Юлий Цезарь!» — и в развалине эхо отозвалось на этот крик каким-то стоном. Станкевич, который до этого времени был очень разговорчив и весел, — вдруг побледнел, умолк и спустя некоторое время проговорил со странным выражением лица: «Зачем вы это сделали?»...

Во второй половине апреля 1840 года они расстались. Тургенев с Ефремовым отправились в Неаполь, Станкевич остался в Риме в ожидании сестры М. А. Бакунина Варвары Александровны Дьяковой, которую он тайно любил. Из Неаполя Тургенев писал Станкевичу, подробно рассказывал о своих впечатлениях: «Прямо перед нашим домом, на другой стороне залива, стоит Везувий; ни малейшей струи дыма не вьется над его двойной вершиной. По краям полукруглого залива теснятся ряды белых домиков непрерывной цепью до самого Неаполя; там город и гавань, и Кастель-дель-Ово... Но цвет и блеск моря, серебристого там, где отражается в нем солнце, пересеченного долгими лиловыми полосами немного далее, темно-голубого на небосклоне, его туманное сияние около островов Капри и Некия — это небо, это благовонье, эта нега...»

Здесь, под небом Италии, под светом южного солнца, в стране четких и ярких красок, поражающих зрение богатством своих оттенков, оттачивалась художественная восприимчивость Тургенева, рождался писатель-пейзажист, не имевший соперников ни в России, ни в Западной Европе.

Италия, страна классических древностей, пробуждала в чутком человеке совершенно особое чувство исторического времени. Дыхание тысячелетий ощущалось здесь на

каждом шагу, напоминая путешественнику о стремительном беге времени. У подножия Везувия друзья спускались под землю посмотреть раскопанный театр Геркуланума. «Лава залила всё здание слоем вышиной в 75 футов и превратилась в твердый камень. Вырывая колодезь, напали на каменные скамьи театра. Отрыть всего было невозможно — довольствовались проложеньем узких коридоров, пересекающих театр во всех направлениях... Видел постаменты, на которых стояли статуи Бальбусов с надписями; комнаты актеров; в одном месте отпечаток в лаве бронзовой маски».

А на обратном пути в Неаполь рядом с Тургеневым села девушка, очень похожая на Шушу. Даже лучше её. Он молча любовался ею, и в душе роились сладостные мечты, овеянные элегической грустью, сознанием их недостижимости. В Неаполь приехали быстро, и «вот ее черная шляпка пропадает в толпе; вот она скрылась — и навек». Хватило того, что «она на несколько мгновений заняла мою душу, — писал Тургенев Станкевичу, — и воспоминание о ней будет мне отрадно. — Простите — до завтра; ветер ужасно свищет; двери и окна трясутся в доме; море шумит и плещет — плохо английским кораблям».

До высот тургеневской прозы еще далеко. Но она уже зреет, кристаллизуется в письмах, напоминающих лирические миниатюры, стихотворения в прозе. Италия укрепляет в Тургеневе его любовь к трепетным, ускользающим проблескам красоты в окружающем мире, тургеневское восприятие явлений, как бы сотканных из света и воздуха. С детских лет в нем жило чувство пришельца, временного гостя на этой земле.

Из Неаполя Тургенев отправился в Геную, «проехал все королевство Сардинское», катался на лодке по Лаго Маджоре, ехал через Люцерн, Базель, Мангейм, Майнц, Франкфурт-на-Майне и Лейпциг в Берлин. Во Франкфурте он посетил дом Гёте у Оленьего оврага, и строки «Римских элегий» по свежим итальянским впечатлениям звучали в его ушах. Мучило чувство тоски, одиночества, неприкаянности.

В случайной кондитерской, куда Тургенев попутно завернул, ему навстречу выбежала девушка необыкновенной красоты с просьбой помочь упавшему в обморок брату. А потом его с благодарностью усадили за семейный стол, предлагали остановиться во Франкфурте, осмотреть город. Тургенев не сводил глаз с очаровательной девушки, казалось, специально посланной ему Богом или судьбой. Но и билет на Лейпциг был куплен, и деньги на исходе. А главное, священный трепет перед сиянием недосягаемой красоты сковывал все его существо. И была какая-то томительная сладость в самом ощущении этой недосягаемости...

Впоследствии впечатления от неапольской и франкфуртской встреч сольются в единый образ очаровательной Джеммы из повести «Вешние воды» с элегическим и таким тургеневским эпиграфом:

Далекие годы, счастливые дни,
Как вешние воды, промчались они...

Вскоре по прибытии в Берлин Тургенев получил от Ефремова печальное известие: на севере Италии, в городе Нови, по пути к озеру Комо, в ночь на 25 июня 1840 года умер Николай Владимирович Станкевич...

«Нас постигло великое несчастие, Грановский. Едва могу я собраться с силами писать. Мы потеряли человека, которого мы любили, в кого мы верили, кто был нашей гордостью и надеждой...

Отчего не умереть другому, тысяче других, мне, например? Когда же придет то время, что более развитый дух будет непременным условием высшего развития тела... зачем на земле может гибнуть и страдать прекрасное? ...Или возмущается зависть бога, как прежде зависть греческих богов? Или нам верить, что все прекрасное, святое, любовь и мысль — холодная ирония Иеговы? Что же тогда наша жизнь? Но нет — мы не должны унывать и преклоняться. Сойдемтесь — дадим друг другу руки, станем теснее: *один из наших упал* — быть может — лучший. Но возникают, возникают другие... и, рано ли, поздно — свет победит тьму», — так писал Тургенев Грановскому 4 июля 1840 года, глубоко потрясенный случившимся несчастьем. «Станкевич! — восклицал Тургенев в письмах к друзьям. — Тебе я обязан моим возрождением: ты протянул мне руку — и указал мне цель... и если, может быть, до конца твоей жизни, ты сомневался во мне, пренебрегал меня, быть может — что́ я заслужил моими бывшими мелочами и надутыми порывами — ты теперь меня всего знаешь и видишь истинность и бескорыстность моих стремлений. Благодарность к нему — одно из чувств моего сердца, доставляющих мне высшую отраду».

В период духовного пробуждения, навеянного путе-

шествием по Италии, жизнь вновь преподнесла Тургеневу трагический урок, заставила усомниться в её смысле и высоком назначении. Как верить человеку в разумность и мудрость абсолютного духа, если лучшие из лучших обречены слепой природой на раннюю смерть? И хотя письмо к Грановскому заканчивается бодрым утверждением, что рано или поздно «свет победит тьму», — этот оптимистический финал выглядит искусственным и никак не отменяет глубины и серьезности поставленных вопросов, возникающих сомнений. В отличие от философствующих друзей Тургенев-художник наделен от природы острой, непосредственной реакцией на живую жизнь в её конкретных, индивидуально неповторимых проявлениях. И это чувство жизненной конкретности упорно сопротивляется в нем философскому отвлечению. «Выработать философское убеждение, — думает он, — значит создать величайшее творение искусства, и философы — величайшие в мире художники». Но гармонически-завершенный мир гегелевской философской системы сталкивается в его сознании с такими фактами жизни, которые в эту систему не укладываются, ей противоречат. Смерть Станкевича так глубоко потрясает Тургенева, что вновь ставит под сомнение разумность мироздания. Зацепившаяся за это трагическое событие мысль никак не может вырваться в безмятежную сферу чистого философского умозрения. Готовые «разумные» ответы не справляются с бунтом противоречивых чувств, поднимающихся в художественно-чувствительной и незащищенной тургеневской душе.

В таком смятенном состоянии и застает Тургенева в Берлине старый друг Станкевича, участник его московского философского кружка Михаил Александрович Бакунин, приехавший сюда для завершения своего философского образования. Встреча с ним производит на Тургенева неизгладимое впечатление. Перед ним не новичок в философии, а блистательный диалектик и страстный пропагандист гегелевского учения. За спиной у него большой опыт московских философских споров, настоящих идейных битв, из которых он всегда умел выходить победителем. «Рожденный проповедовать», Бакунин «с каким-то ожесточением бросается на каждое новое лицо и сейчас же посвящает в философские тайны». Потерянный и выбитый из колеи Тургенев оказывается самым подходящим объектом для его философской проповеди.

Все мысли Бакунина «были обращены в будущее; это

придавало им что-то стремительное и молодое». В ответ на сомнения Тургенева, навеянные смертью Станкевича, Бакунин диалектически развернул мысль о вечном значении временной жизни человека. «Пойми, Тургенев, точно, наша жизнь быстра и ничтожна; но всё великое совершается через людей. Сознание быть орудием тех высших сил должно заменить человеку все другие радости: в самой смерти он найдет свою жизнь, своё гнездо».

В письме к родным 28 июля 1840 года Бакунин так развивает ту же самую мысль: «...Станкевич, этот святой, возвышенный человек, нас оставил. Я не знаю как, но его смерть не подавляет меня, напротив, в ней есть нечто возвышающее, внушающее веру и крепость. Его бессмертный дух парит над нами, он передал нам священное назначение и безмерно глубокую загадку своей жизни как единственную цель, к которой мы все должны стремиться и осуществление которой будет неисчерпаемым источником блаженной любви и наслаждения. Он теперь к нам ближе, чем когда-либо прежде, он нас не оставил. Такая смерть, как его, есть преодоление смерти, высокое откровение бессмертия и бесконечной мощи живого и поистине вечного духа... Он наш, ему не чуждо высшее и глубочайшее слово нашей общей жизни и стремления. Да, друзья, я надеюсь, я совершенно уверен в том, что его смерть и вас не придавит, и что вы, как и мы, понимаете её глубокое и освободительное значение и живо и глубоко прочувствуете её в себе и найдете в ней новый неисчерпаемый источник духовной, высокой и блаженной жизни. Друзья, мы все много выстрадали, мы понесли большие потери, но мы должны и можем встречать это радостно. В основе всей нашей жизни лежит бесконечная истина, единственно делающая нас человечными и блаженными; и это святое основание нашего общего духовного бытия составляет также его единую цель, цель, которая не является недостижимой и которой мы достигнем».

Так, в русле гегелевской философии, воскрешая дух Станкевича в бесконечной истине, Бакунин, через свою причастность к ней, логически убеждает себя и родных в бессмертии общего друга. Тургенева покорила неотразимая и строгая логика бакунинских рассуждений, соединенная с талантом убеждать, подчинять своей мысли слушателя-собеседника. Его новый друг умел извлекать из явлений жизни «всё общее, хватался за самый корень дела и уже потом проводил от него во все стороны свет-

лые, правильные нити мысли, открывал духовные перспективы».

На мягкую, созерцательную натуру Тургенева порывистая и энергичная личность Бакунина действовала исцеляюще и ободряюще. Он поддавался обаянию его беспокойных и пытливых голубых глаз из-под темных спадающих на лоб волос, прозванных современниками «львиной гривой».

Из Мариенбада, куда Тургенев временно уезжал на лечение, он писал Мишелю добрые письма: «Нас соединил Станкевич — и смерть не разлучит. Скольким я тебе обязан — я едва ли могу сказать — и не могу сказать: мои чувства ходят еще волнами и не довольно еще утихли, чтобы вылиться в слова. Покой, которым я теперь наслаждаюсь — быть может, мне необходим; из моей кельи гляжу я назад и погружен в тихое созерцание: я вижу человека, идущего сперва с робостью, потом с верой и радостью по скату высокой горы, венчанной вечным светом; с ним идет товарищ, и они спешат вперед, опираясь друг на друга, а с неба светит ему тихая луна, прекрасное — знакомое — и незнакомое явление: ему отрадно и легко, и он верит в достижение цели. <...> У меня на заглавном листе моей «Энциклопедии» написано: «Станкевич скончался 21-го* июня 1840 г.», а ниже: «Я познакомился с Бакуниным 2-го июля 1840 г.».

В Берлине друзья поселились вместе, на одной квартире. Днем они слушали университетские лекции, занимались самообразованием, а вечером отправлялись к сестре Бакунина Варваре Александровне, на руках у которой умер в Италии Станкевич. С семейством Бакуниных у него были сложные отношения. В свое время Станкевич полюбил сестру Мишеля Любашу. Эта юная девушка, исполненная, по словам П. В. Анненкова, «кроткой прелести», прожила недолгую жизнь. Ее любовь к Станкевичу, завершившаяся обручением, не принесла ей счастья. Вскоре жених почувствовал, что по-настоящему он свою невесту не любит. Разочарование в ней совпало с болезнью, и в 1837 году Станкевич уехал за границу. Любаша не пережила потрясения и вскоре умерла от скоротечной чахотки. Она не знала, что ее избранник тайно влюбился в сестру, Варвару Александровну, жизнь которой сложилась неудачно. Она вышла замуж за добродушного, но весьма ограниченного человека, имела сына, однако в

* Так у Тургенева *(авт.)*.

1840 году она решилась на разрыв с мужем и отправилась в Италию к Н. В. Станкевичу, дни которого были уже сочтены...

Теперь Варвара Александровна поселилась в Берлине. Женщина умная, обаятельная и одаренная, она прекрасно играла на фортепиано. Тургенев мог часами слушать в её исполнении бетховенские сонаты и восторгаться ими. «Какая у него чистая, светлая, нежная душа! — восхищалась Варенька, обращаясь к Мишелю. — В России Тургенев обязательно должен посетить Премухино».

Бакунинская родовая усадьба Премухино была в конце 1830-х годов своеобразной Меккой философского идеализма. «Искушение» Премухиным пережил не только Станкевич, но и Белинский, Боткин, Панаев. Особую прелесть премухинскому дому придавали сёстры Любовь, Варвара, Татьяна и Александра. Все они оказались первыми жертвами бакунинской пропаганды. Когда в 1837 году Мишель изучил Гегеля и обрел себя полностью в «абсолютном бытии», он начал активно обращать сестер в новую веру. Обладая великолепной способностью развивать самые абстрактные понятия с ясностью, доступной каждому, Бакунин добился желаемого довольно легко и скоро. Сестры усвоили азы немецкого идеализма, возвышенно-философский взгляд на любовь и призвание человека. Культ классической философии Шеллинга, Канта и Гегеля, немецких романтиков царил в интеллектуально-перенасыщенной атмосфере премухинского гнезда. «В чем заключаются основные идеи жизни? — В любви к людям, к человечеству и в стремлении к совершенствованию, — проповедовал Мишель. — Что такое человечество? — Бог, заключенный в материи. Его жизнь — стремление к свободе, к соединению с целым. Выражение Его жизни — любовь, этот основной элемент вечного».

Всякое живое чувство в этом доме моментально возводилось на пьедестал, подвергалось интеллектуальному анализу и определению. В любимом человеке искался отблеск божества, в человеческом чувстве любви — явление божественной силы внеземного порядка, дыхание Абсолюта. «Это замечательное семейство, — говорил о премухинском доме Панаев, — принадлежало к исключительным, небывалым явлениям русской жизни. Оно имело полуфилософский, полумистический немецкий колорит».

Тургеневу одному из последних в плеяде философ-

ских идеалистов 1830—1840-х годов предстояло пройти «испытание» Премухиным. Общение с Мишелем и Варенькой явилось своеобразной прелюдией к этому событию.

В доме у Варвары Александровны собирались знакомые Тургеневу лица: Вердер со своей приятельницей мадемуазель Форман, Фарнгаген фон Энзе, Н. Г. Фролов. Слушали музыку, читали гётевского «Фауста». «Знание Гёте, особенно второй части «Фауста» (оттого ли, что опа хуже первой, или оттого, что труднее её), было столько же обязательно, как иметь платье, — говорил А. И. Герцен. — Философия музыки была на первом плане. Разумеется, об Россини и не говорили, к Моцарту были снисходительны, хотя и находили его детским и бледным, зато производили философские следствия над каждым аккордом Бетховена...» Как только от непосредственного эстетического переживания переходили к его анализу, первенствовал Мишель. Он мгновенно овладевал разговором, переводил его в возвышенно-философский план — и тут перед ним пасовал не только Тургенев: сам Вердер с упоением слушал блестящего, искрометного говоруна, который умел потрясти собеседника, сдвинуть его с места, перевернуть до основания и зажечь силой своего убеждения.

Однако что-то уже тогда смущало Тургенева в его новом друге. Невольно на ум приходило сравнение со Станкевичем. Тот действовал на окружающих не только и не столько силой отточенной философской мысли, сколько нравственным обаянием всей своей личности. Необычайно чуткий к собеседнику, Станкевич никогда не стремился ошеломить и подавить его своим авторитетом.

Мишель был другим; во всем его поведении сквозило стремление первенствовать над окружающими, подчинять их своему влиянию и посвящать в свою веру. Он часто не считался ни с уровнем развития человека, ни с его субъективными, личными симпатиями и антипатиями. Что Мишель любил идею, в этом Тургенев не сомневался, — но вот любил ли он людей?.. Временами казалось, что он проповедует из жажды властвовать над ними, а не из стремления их любить. В разговоре он не мог терпеть возражений и предпочитал или не слушать, или не замечать того, что говорили ему другие. Часто у Тургенева возникало подозрение, что страстные речи Бакунина не согреваются сердечным теплом, что в душе он остается холодноватым человеком.

Весной немецкий революционер Герман Мюллер-Стрюбинг пригласил Тургенева и Бакунина отдохнуть на берегу живописного озера. Здесь Тургенев и Мюллер предавались «трогательной лени», а Бакунин ежедневно покидал их на два-три часа для специальных занятий гегелевской логикой. Он не мог позволить себе расслабления, и это железное трудолюбие вызывало у друзей восхищение. Но как-то случайно Мюллер зашел в соседнюю с бакунинской комнату и вдруг «через закрытую дверь услышал ужасающий храп и соп, показавшийся ему в высшей степени подозрительным». Спустя два часа Бакунин уверял, «будто эти звуки производились сильным движением его духа в дидеротовской борьбе с объектом». В этом с виду комическом и безобидном эпизоде Тургенев не мог не заметить в очередной раз характерного для Мишеля стремления покрасоваться, тщеславного желания во всем выставить себя вперед и вознестись над окружающими.

Но недостатки — у кого их нет! — сполна искупались бесспорными достоинствами незаурядной личности Бакунина, с которым свела Тургенева судьба. Мишель к 1841 году вступал на путь переоценки философии Гегеля, преодолевая консервативные политические выводы, которые логически следовали из его философской системы. Если мировой дух действительно завершил свое развитие и успокоился, заявив устами Гегеля, что «все действительное разумно», то значит, разумна и прусская монархия, подавляющая революционное движение в Европе? Но может ли честный человек смиренно склонять голову перед прусским или русским монархизмом?

Бакунин часто вступал в споры с Вердером. «Не всё то, что существует вокруг нас, является действительным! — горячился Мишель. — В окружающей нас жизни есть явления призрачные, с которыми должны бороться все уважающие себя и идею люди!» Внутри гегельянства намечался раскол на правое и левое крыло, и русский последователь Станкевича являлся его провозвестником. Политические выводы Бакунина были во многом близки Тургеневу, с детства он пережил драму крепостнического произвола, развращающее влияние на личность «призрачной действительности». Когда в мае 1840 года Тургенев прочел книгу Л. Фейербаха «Сущность христианства», ему показалось, будто из душного помещения его вывели на свежий воздух. «О славный

человек, ей-богу, этот Фейербах!» — восклицал Тургенев в письме к Грановскому.

В 1840 году в Берлин приехал Александр Иванович Тургенев, бывший приятель отца, получивший образование в Геттингенском университете. До 1825 года он занимал высокие посты на государственной службе, участвовал в работе комиссии по составлению законов, был помощником статс-секретаря Государственного совета. После подавления декабрьского восстания он вынужден был уйти в отставку и находился под тайным надзором полиции. В свое время, будучи приближенным Александра I, он часто ходатайствовал за близких к нему людей и принимал участие в судьбе Карамзина, Жуковского, Батюшкова и Козлова. Именно благодаря его покровительству был принят в Лицей 12-летний Пушкин, а через 26 лет на его долю выпало сопровождать прах русского поэта в Святогорский монастырь. Человек европейски образованный, он был решительным сторонником освобождения крестьян.

Сразу же по приезде в Берлин А. И. Тургенев познакомился с профессором Вердером и стал посещать его лекции. В дневнике своем он сделал заметку, что в их беседе немецкий профессор хвалил Тургенева. Встречи Ивана Сергеевича с приятелем своего отца и, как считалось, дальним родственником укрепляли антикрепостнические взгляды будущего автора «Записок охотника». Эти встречи были частыми. Продолжались они и в 1842 году, когда И. С. Тургенев приезжал в Германию на лечение. Александр Иванович любил напоминать молодому человеку об исторической славе дворянского рода Тургеневых, в гербе которых есть девиз «И без страха обличаху!» — слова Авраамия Палицына, адресованные Петру Никитичу Тургеневу, обличавшему самозванца. «Пусть квасные патриоты попробуют отыскать такие слова в своей биографии!» — говорил Александр Иванович, поддерживая критическое отношение молодого Тургенева к царящим в России общественным порядкам. Он напоминал с гордостью о судьбе своего брата Николая Ивановича, известного декабриста. Еще в 1818 году Николай Иванович издал книгу «Опыт теории налогов», которая стала настольной для всех декабристов. Он доказывал в ней, что крепостное право препятствует успехам России, что его уничтожение равно выгодно и господам и мужикам. А деньги, которые Николай Иванович выручил от продажи своей книги, он пожертвовал в пользу крестьян, за которыми числилась недоимка. Мужиков в своих имениях он уже в начале XIX века перевел с барщины на оброк; его примеру последовали другие декабристы и передовые дворяне. При этом Александр Иванович напоминал Тургеневу о пушкинском романе «Евгений Онегин»:

Ярем от барщины старинной
Оброком легким заменил,
И раб его благословил.

В специальной записке, поданной в 1819 году императору, Н. И. Тургенев убеждал Александра I приступить к постепенной отмене крепостного права, но записка его была положена под сукно. Будучи членом «Союза Благоденствия», он составил практический план ослабления и уничтожения крепостничества. В 1824 году Николай Иванович уехал на лечение за границу, и это спасло его от самой суровой кары: за участие в тайном обществе он был заочно приговорен к смертной казни и до сих пор находился на положении политического изгнанника.

Иван Сергеевич был благодарен этой встрече. Жизнь выводила его на прямой путь практического служения России. Он еще не знал тогда, в каких конкретных формах выразится его участие в делах, полезных отечеству — в профессорском слове, в государственной службе или в писательской деятельности, — но необходимость борьбы с крепостническими порядками должна быть написана на его знамени по возвращении в Россию, в этом он был убежден твердо, и такой вывод был итогом двухлетнего пребывания его за границей. Весною 1841 года, закончив слушание лекций в Берлинском университете, Тургенев возвращался в Россию, дав слово Бакунину обязательно навестить Премухино.

В письме к сестрам Бакунин сообщал: «Примите его как друга и брата, потому что в продолжение этого времени он был для нас и тем и другим и, я уверен, никогда не перестанет им быть. После вас, Беееровых и Станкевича он — единственный человек, с которым я действительно сошелся. Назвав его своим другом, я не употребляю всуе этого священного и так редко оправдываемого слова. Он делил с нами здесь и радость и горе <...> Он не может быть вам чужим человеком. Он вам много, много будет рассказывать об нас и хорошего и дурного, и пе-

чального и смешного. К тому же он — мастер рассказывать, — не так, как я, — и потому вам будет весело и тепло с ним. Я знаю, вы его полюбите».

НА РАСПУТЬЕ. ДРУЖБА С В. Г. БЕЛИНСКИМ

21 мая 1841 года пароход «Александр» причалил к невским берегам. Тургенев приехал в столицу не с пустыми руками. Он встретился с П. А. Плетневым и показал ему тетрадь новых своих стихов: «Русский», «Я всходил на холм зеленый», «Старый помещик», посвященные Александре Ховриной (Шушу) лирические миниатюры «Что тебя я не люблю» и «Луна плывет над дремлющей землею», переводы из Гёте и Мюссе Плетнев не мог не порадоваться, что в его воспитаннике, при всем влечении к философии, зреет настоящий поэтический талант. Два стихотворения «Старый помещик» и «Баллада» он отобрал для публикации в «Современнике». В 1841 году они увидели свет.

Иван Сергеевич торопился в Москву, на свидание с матерью. Варвара Петровна всплеснула руками, увидев, как окреп и возмужал за полтора года разлуки её сын. И росту огромного, и широкоплеч; глаза глубокие, задумчивые, темно-серые; густые волосы, но почему-то уже с редкой проседью. Не рано ли? Зато улыбка — просто обворожительная. Пусть профиль немного груб и резок, но резок по-барски — и прекрасно. Но рост, рост... Настоящий великан. «Что и говорить, маман, рост у меня действительно крупный, неуклюжий и несносный! — шутил Иван. — Гуляешь с приятелем, ты — шаг, ему нужно отмерить три; ты идешь, а он скачет... Так что маленькому росту я завидую».

А матушка еще более постарела и съежилась. К тому же у неё отнялись ноги, ходить она не могла и разъезжала во дворе и по комнатам в специальном кресле на колесах.

Начались сборы в Спасское — и вот они в обетованной земле. Время залечило раны, причиненные пожаром. Роскошные цветники расцвели на пепелище. К уцелевшему флигелю с остатком галереи были сделаны большие пристройки, и дом снова стал достаточно большим и уютным. Уют Варвара Петровна любила: «Я не могу жить иначе, как в своем собственном доме, мне надо во всяком доме иметь свои угодья, — ширмы, шкапчики, особнячки... Я не могу, Иван, видеть в доме, где живу, ряд комнат, одна на другую похожих».

Пеньем птиц и нежной весенней зеленью встретил Тургенева спасский сад. Он часто откладывал любимую охоту, чтобы побыть в саду с матерью, подталкивая её кресло по тенистым аллеям.

По возвращении из Берлина он был с нею ласков и внимателен. Годы разлуки изгладили все плохое в его памяти, а то, что творилось в доме нынче, он не успел еще разглядеть. Дворовые и воспитанницы Варвары Петровны не могли не заметить, что и госпожа совершенно изменилась: ни придирок, ни капризов, ни гнева. Так было всегда с приездом молодого барина, и потому дворовые говорили: «Наш ангел, наш заступник едет».

Заступником Тургенев был весьма своеобразным: он знал, что всякое резкое высказывание и защита лишь повредят незаслуженно обижаемому, всякая решительная борьба с Варварой Петровной приводила к последствиям отрицательным и только усиливала её капризы и подозрительность. Матушке начинало казаться, что дворовые нашептывают сыну жалобы на нее, полновластную хозяйку. И тут уж она давала волю своему характеру. «Но, несмотря на это, — вспоминала Варенька Житова, — Варвара Петровна при нем и для него точно перерождалась: она, не боявшаяся никого, не изменявшая себе ни для кого, при нем старалась показать себя доброй и снисходительной».

О сыне она неусыпно заботилась, стараясь угодить ему всем, чем могла: заказывались любимые его кушанья и особенно крыжовенное варенье. В романе «Отцы и дети» Тургенев неспроста расставил на окнах в комнате Фенечки банки с вареньем, на которых неумелой её рукой было нацарапано «кружовник». Это варенье посылалось большими банками во флигель, где жил тогда Иван Сергеевич. В истреблении варенья принимали участие не только хозяин флигеля с любимой им воспитанницей Варенькой, но и деревенские ребятишки, почитавшие «своим» простого и ласкового барина: толпами собирались они у окон флигеля с раннего утра, бегали за Иваном Сергеевичем по саду и окрестностям, как преданные собачонки.

Все в доме ожило и весело заговорило. И для Вареньки наступила счастливая пора: прекращались домашние уроки; Тургенев убеждал мать, что летом дети должны отдыхать. Варвара Петровна уступала, хотя и ворчала

при этом добродушно: «Ты балуешь ребенка!» В послеобеденное время Тургенев ложился на пате — подобие огромного дивана, занимавшего всю середину небольшой гостиной нового дома. Когда он вытягивался во весь рост, ноги все-таки не умещались, повисая в пространстве. Варенька садилась подле — и тут рассказывались сказки.

Запомнила девочка и «хищнические набеги на бакалейный шкаф», ревниво охраняемый все тем же глухим Михайло Филипповичем, приставленным на старости лет следить за шкафом и библиотекой. В шкафу хранились всевозможные лакомства; они скупались и привозились из Москвы или Мценска и сдавались на руки Михайлу Филипповичу. Шкаф этот был предметом постоянных мучений верного и преданного слуги, относившегося к барскому добру ревнивее, чем к своему собственному, которого, впрочем, у него и не было. Скупость слуги тут доходила до болезненности. Принимая покупки, он горестно вздыхал и покачивал головой:

— И зачем столько всего навезли? Сколько ни навези — все скушают!

Любой приезд гостей был для него испытанием, особенно в наезды Ивана Сергеевича...

«Со словами «пойдем грабить», — вспоминала Варенька, — отправлялись мы с ним к шкафу. Иван Сергеевич даже иногда при этом принимал свирепый вид, шел необыкновенно крупными шагами, причем я, держась за его руку, едва поспевала бегом за ним. Так и предстанем мы, бывало, перед лицом спасского Гарпагона.

— Отопри! — скажет Иван Сергеевич.

Ему, как большому и как коренному барину, шкаф отворялся настежь, и он полновластно распоряжался в нем». Сокрушенно смотрит старик на варварское опустошение, вздыхает потихоньку, качает головой и размахивает руками; наконец не вытерпит, погремит ключами и сделает легкое движение.

— Погоди, погоди, Михайло Филиппович, — успокаивает его барин, — мы еще не кончили.

— Сударь! Пожалейте мамашеньку! Ведь у вас животик заболит...

После нескольких таких опустошительных набегов являлся Михаил Филиппович к барыне.

— Ну! Что скажешь?

— Ничего, сударыня, не осталось.

— То есть как ничего?!

— Да так, сударыня, ничего, ничего не осталось, всё покушали.

— Ну, что же, написать реестр того, что нужно, и послать подводу в Мценск или в Орёл.

— Так опять ведь всё скушают, матушка, Варвара Петровна, — с отчаянием взмолится старик. А в ответ на смех барыни тяжело вздохнет и уйдет на свой сундук, стоящий рядом со злополучным его «хранилищем».

Тургенев вспоминал, как после смерти матушки старик, наблюдая за щедрыми подарками молодого барина, сердито ворчал в своем углу: «Молодые господа по миру пойдут, по миру пойдут. Наш брат, холоп, скоро лучше самих господ заживет, сами-то с чем останутся. О-ох, молодо-зелено!»

Чертами Михаила Филипповича наградил Тургенев в «Отцах и детях» старого слугу Прокофьича.

Однажды сын, рассказывая о скупости Филиппыча, вспомнил о «Скупом рыцаре» Пушкина, а заодно и поделился с матерью своим заветным желанием стать писателем.

— Да! Имей я талант Пушкина! Вот тот и из Михаила Филипповича сумел бы сделать поэму. Да! вот это талант! А я что? Я, должно быть, в жизнь свою не напишу ничего хорошего...

— А я так постичь не могу, — почти с презрением начала Варвара Петровна, — какая тебе охота быть писателем? Дворянское ли это дело? Сам говоришь, что Пушкиным не будешь. Ну, еще стихи, такие, как его, пожалуй, похвалы заслуживают. А писатель! Что такое писатель? По-моему, писатель и писец — одно и то же! И тот и другой за деньги бумагу марают. Нет, Иван, дворянин должен служить и составить себе карьеру и имя службой, а не бумагомаранием. Да и кто же читает русские книги? Определился бы ты на настоящую службу, получал бы чины, а потом и женился бы, поддержал род Тургеневых.

Тут Иван Сергеевич громко рассмеялся:

— Ну уж это, маман, извини и не жди — не женюсь! Скорее твоя спасская церковь на своих двух крестах трепака запляшет, чем я женюсь. Но я вот чего не пойму. Почему ты, маман, с таким презрением говоришь о писателях? Было время, что вы все, барыни, бегали за Пушкиным, сама ты любила и уважала Жуковского.

— Ах, это было совсем другое дело — Жуковский!

Как было не уважать его: ты знаешь, как близок он был ко двору!

Снова стали набегать тучки на ясное небо спасского гнезда. Вскоре возник спор о Порфирии Кудряшове. Тургенев попросил мать дать ему вольную.

— Зачем это? — удивилась барыня обиженно. — Разве плохо ему живется: имеет свою комнату, почти кабинет, в самом господском доме, и кушанье получает прямо с барского стола, и жалованье, слава богу, вчетверо больше ему положено, чем остальным слугам!

— Все это прекрасно, да сними ты с него это ярмо! Клянусь тебе, что он тебя не бросит, пока ты жива. Дай ты ему только сознание того, что он человек, не раб, не вещь, которую ты можешь — будем откровенны — по своему произволу, по одному капризу упечь куда и когда захочешь!

Сказал и покаялся. В ответ Варвара Петровна наговорила сыну резкостей. Но и он на сей раз не остался в долгу. С матушкой случилась истерика. Отношения испортились. А бедный Порфирий так и остался при Варваре Петровне в положении домашнего лекаря, отпаивая госпожу при напускных припадках неизменными «лавровишневыми каплями» и смягчая ее гнев неизменными словами: «Извольте, сударыня, успокоиться».

Лиха беда начало. Вскоре случилось в Спасском событие, после которого пришлось сыну наспех собирать пожитки и покинуть родное гнездо. Тургенев часто говорил, что вся его биография заключена в художественных произведениях. Вероятно, именно об этой истории он и поведал нам в романе «Дворянское гнездо». Попробуем представить все глазами самого Тургенева.

Случилось так, что в числе прислуги Варвары Петровны находилась одна очень хорошенькая девушка, белошвейка по вольному найму, Авдотья Ермолаевна Иванова, с ясными и кроткими глазками и тонкими чертами лица, умница и скромница. Она с первого раза приглянулась Ивану Сергеевичу; и он полюбил её, он полюбил её робкую походку, стыдливые ответы, тихий голосок, тихую улыбку; с каждым днем она ему казалась милей. И она привязалась к барину всей силой души, как только русские девушки умеют привязываться, — и отдалась ему.

В помещичьем деревенском доме никакая тайна долго держаться не может: скоро все узнали о связи молодого барина с Евдокией; весть об этой связи дошла, наконец,

до самой Варвары Петровны. В другое время она, вероятно, не обратила бы внимания на такое маловажное дело; но она давно дулась на сына и обрадовалась случаю пристыдить берлинского «мудреца». Поднялся гвалт, крик, гам. Авдотью заперли в чулан; Ивана Сергеевича потребовали к родительнице. Ястребом напустилась она на сына, упрекала его в безнравственности, в безбожии и притворстве. Сначала Иван Сергеевич молчал и крепился, но когда Варвара Петровна вздумала грозить ему постыдным наказанием, он не вытерпел. И тут же спокойным ровным голосом, хотя и с внутренней дрожью во всех членах, объявил матери, что она напрасно укоряет его в безнравственности; что хотя он не намерен оправдывать свою вину, но готов её исправить, и тем охотнее, что чувствует себя выше всяких предрассудков, а именно — готов жениться на девушке. Последние слова до того изумили Варвару Петровну, что она онемела на мгновение; но тотчас же опомнилась, замахнулась хлыстом на Ивана Сергеевича, а сын побежал через весь дом, выскочил во двор по направлению к саду под истерические крики матушки: «Стой, мошенник! Стой! Прокляну! Лишу благословения и наследства!»

Когда припадок прошел и Варвара Петровна опомнилась, первым делом приказала она отправить Авдотью из Спасского. В Москве у неё родилась девочка Пелагея, очень похожая на отца. Варвара Петровна приказала отнять девочку у матери и поселить её в Спасском, в доме верного своего слуги Федора Ивановича Лобанова. Здесь она и росла на положении дворовой, помыкаемая всеми и никем не любимая, таскала воду для прачек, исполняла грязную детскую работу. А когда приезжали гости в Спасское, Варвара Петровна любила позабавиться, одевала девочку в господское платье и выставляла напоказ с вопросом:

— Скажите, пожалуйста, на кого она похожа?

С Ивана Сергеевича мать взяла нерушимое обещание — выбросить «дурь» из головы, а в случае неподчинения клятвенно заверяла пустить сына по миру. Шутки с матерью были плохи: знал Тургенев, что в случае неповиновения она слово свое сдержит. Пришлось погоревать и покориться. Успокоить себя тем, что не он первый, не он последний оказался в таком положении.

С грустными тяжелыми думами покидал Иван Сергеевич Спасское. Вспомнился друг Мишель Бакунин, обещание, данное ему перед отъездом — посетить Премухи-

но, вспомнились студенческие сходки, серенады под окнами профессора Вердера, милая Шушу, прекрасная незнакомка в Неаполе, чудесная франкфуртская встреча... Тарантас катился по дороге, прикрытой первой снежной порошей: в этот год стояла засуха, скудные нивы с редкой стерней, сиротливо желтевшей на белом снегу, тянулись вплоть до самого небосклона; в душе сами собой складывались элегические стихи:

Утро туманное, утро седое,
Нивы печальные, снегом покрытые,
Нехотя вспомнишь и время былое,
Вспомнишь и лица, давно позабытые.

. . . .

Вспомнишь разлуку с улыбкою странной,
Многое вспомнишь родное, далекое,
Слушая ропот колес непрестанный,
Глядя задумчиво в небо широкое...

В Премухине его окружила атмосфера ласкового внимания и поклонения. Сёстры Бакунина называли Ивана Сергеевича своим «братом». Завороженно слушали они рассказы о студенческих днях в Германии, о Мишеле и Варваре, о духовных поисках Бакунина, завершившихся отрицанием «призрачной действительности», о восходящем светиле немецкой философской мысли — Людвиге Фейербахе. Но особенно удавались Тургеневу не разговоры на отвлеченные философские темы, а красочные описания разных эпизодов берлинской жизни; лица, характеры, положения представали в них такими выпуклыми и зримыми, что создавалось ощущение присутствия при совершающихся событиях. Сестры сразу же оценили в Тургеневе живую художественную натуру, цепкую писательскую наблюдательность.

Особенно внимательна была к Ивану Сергеевичу старшая Бакунина, Татьяна Александровна. В то время ей уже исполнилось 26 лет. Будучи на три года старше Тургенева, она относилась к гостю с ласковой, мягкой покровительственностью. Татьяна Александровна жила в мире немецких романтиков, наизусть цитировала Новаллиса, Жан Поль Рихтера, с восторгом говорила о знакомой Тургеневу Беттине Арним. Философскими её познаниями руководил Мишель, отличая Татьяну от прочих сестёр за её ум и проницательность. Несколько лет назад в неё влюбился В. Г. Белинский: «Что за чудное, за прекрасное создание Татьяна Александровна! <...> Я смотрел на

нее, говорил с ней и сердился на себя, что говорил — надо было смотреть, любить и молиться. Эти глаза, темно-голубые и глубокие, как море, этот взгляд, внезапный, молниеносный, *долгий, как вечность*, по выражению Гоголя, это лицо, кроткое, святое, на котором еще как будто не изгладились следы жарких молений к небу...»

Но Тургеневу не могла не броситься в глаза некоторая односторонность духовного мира обитательниц Премухина, живущих отголосками былых увлечений его доброго друга; по контрасту с Берлином чувствовался чуть уловимый налет провинциальности в суждениях милых, очаровательных бакунинских сестер. Он читал им Пушкина, Лермонтова, Кольцова и... свои собственные стихи.

Последнее-то как раз и покорило Татьяну Александровну: она поняла, что Тургенев «рожден поэтом», а поэт, в согласии с её романтическими представлениями, был избранником Бога, органом «мировой души». Воображение её мгновенно вспыхнуло и разыгралось, и уже на третий день пребывания в Премухине, когда Тургенев остался с Татьяной наедине, она с экзальтацией произнесла: «Вы святой, вы чудный, вы избранный Богом. На челе у вас я вижу отпечаток его величия, его славы, и вы будете, как он, велики, могущественны, свободны, блаженны, как он».

Форма выражения чувства в устах провинциальной барышни слегка покоробила Тургенева, но слова её были так искренни, а темно-голубые глаза так нежны и лучисты... Играть роль божественного избранника он уже не собирался; легко освоившись в приятном, милом обществе, он шутил, дурачился и даже рискнул однажды изобразить сестрицам свой коронный номер, знаменитую «молнию». К тому же у Тургенева, как часто случалось с ним и в Берлине, в ответ на интеллектуальные излишества и умственное перенапряжение, возникало желание говорить глупости, умышленно снижая взвинченный философский разговор.

Татьяне Александровне все это не нравилось: уж слишком не вязались тургеневские чудачества с определившимся в её умненькой головке представлением о героическом облике поэта. «Вы — как ребенок, в котором скрыто много зародышей и прекрасного и худого, но ни то, ни другое не развилось еще, — говорила она Тургеневу, — а потому можно только надеяться или бояться. Но я не хочу бояться за вас, я хочу только верить».

Отношения между молодыми людьми приняли до-

вольно своеобразный характер: Татьяна Александровна видела в избраннике младшего брата, нуждающегося в помощи и очищении от всего того, что ей казалось мелочным, наносным. В любви своей к Тургеневу она усматривала божественное откровение. А поскольку она считала, что «луч божества» коснулся её души в бóльшей степени, чем души избранника, она видела своё назначение в том, чтобы направить робкие шаги поэта по пути прямому и героическому, не дать погрязнуть его личности в мелочах, в суетности обыденного существования. «О, Тургенев! Неужели вы будете таким, как и все! Неужели и вы будете счастливы обыкновенным, безмятежным счастьем всех людей!»

Перед отъездом Тургенева из Премухина Татьяна Александровна призналась ему в любви и, вероятно, получила ответный отклик. В письме с подзаголовком «тотчас после вашего отъезда» экзальтированная девушка просила своего любимого принять тот крест, который она надела на себя со своей умершей сестры Любаши, и заявляла, что первой её любовью был Христос, последней же — Иван Сергеевич. Но сквозь мистический туман — и это чувствовал Тургенев — пробивалась нежная и поэтическая страсть любящей девушки:

«Вчера вечером мне было глубоко, бесконечно грустно, я много играла и много и долго думала. Молча стояли мы на крыльце с Александрин. Вечер был так дивно хорош. После грозы звезды тихо загорались на небе, и мне казалось, они смотрят мне прямо в душу и хотят, чтобы я надеялась, и я как будто прощалась с землею и с жизнью. И сколь мне было её жаль... Мне грустно было оторваться от вас. Ведь жизнь не повторяется, и смерть отнимает не на один миг, но навсегда. И вдруг я почувствовала, будто оковы спадают с меня. Робость моя исчезла. Я стала свободна, смелость и простота делают свободу нашу, и я почувствовала и смелость и простоту в душе моей, Тургенев! и с вами у меня не было бы робости. Теперь я с вами свободна вполне. Придите же, брат мой, друг мой, примите опять свободное, смелое признание любви моей. Только теперь люблю я вас полной любовью, потому что не знаю ни страха, ни колебания, ни унижения в ней, потому что свободно и гордо отдаюсь ей. Дайте руку, верьте мне. Моя свобода пускай сделает и вас свободным».

Премухинский роман длился около полутора лет. Решающую роль в нем играла Татьяна Александровна.

В заботе о развитии таланта своего избранника она советовала ему покинуть Россию: «Здесь нет жизни, здесь мертво всё. Здесь страшное рабство, вы сами это говорили прежде. И надо много, много силы, чтобы в самом рабстве сохранить свою самобытность, свою свободу, и в этом темном загрязнившемся мире создать себе новый, светлый, чистый, воздвигнуть храм, достойный присутствия Бога живого».

Наконец эти отношения стали тяготить его. Не имея силы поступить смело и решительно — и разом обрубить затянувшиеся объяснения, Тургенев, по врожденной и благоприобретенной слабости характера, поддерживал игру, только усиливая и взвинчивая любовную лихорадку со стороны Татьяны Александровны.

«Знаете, Тургенев, иногда всё внутри меня бунтует против вас. И я готова разорвать эту связь, которая бы должна унижать меня в моих собственных глазах. Я готова ненавидеть вас за ту власть, которой я как будто невольно покорилась. Но один глубокий внутренний взгляд на вас смиряет меня. Я не могу не верить в вас».

Щепетильная деликатность Тургенева, желание не причинять сердечной боли влюбленной девушке заставляли его, при всей уклончивости и увиливаниях, оставлять в ее сердце какую-то надежду, и при внутреннем раздражении делать вид если не влюбленного, то готового полюбить человека. А в ответ он получал всё новые и новые письма, восторженный пафос которых нарастал и углублялся:

«О, вы были мне больше, чем брат, больше, чем друг. Вы были Христом моим, и я до земли склонялась перед вами. Я вам молюсь. Вас благословляю, вас благодарю за все. В вас я узнала всё величие Бога, всю беспредельную любовь Его».

Это было уже слишком... Тургенев понял, что надо кончать, и написал Т. А. Бакуниной следующее письмо:

«Мне невозможно оставить Москву, Татьяна Александровна, не сказавши Вам задушевного слова. <...> Я бы хотел влить в Вас и надежду и силу и радость... Послушайте — клянусь Вам Богом: я говорю истину — я говорю, что думаю, что знаю: я никогда ни одной женщины не любил более Вас — хотя не люблю и Вас полной и прочной любовью».

Нелегко перенесла этот удар Татьяна Александровна. В ответном письме она трезво оценила слабые стороны характера своего избранника: «Удивительно, как некото-

рые люди могут себе воображать всё что им угодно, как самое святое становится для них игрою и как они не останавливаются перед тем, чтобы погубить чужую жизнь. Почему они никогда не могут быть правдивы, серьезны, просты с самими собою — и с другими — неужели у них совершенно нет понятия ни об истине, ни о любви, — я говорю о любви в общем смысле; мне кажется, кто носит её в сердце, кто проникнут её духом — тот всегда прост, велик и добросовестен относительно себя, как и относительно других; он не может легкомысленно играть, как дитя, с самым святым — с жизнью другого человека...»

Не случайно за Тургеневым в первой половине 40-х годов установилась репутация разочарованного скептика и даже легкомысленного человека. В своих светских увлечениях он напоминал Евгения Онегина: ходил в щегольском синем фраке с золотыми пуговицами, изображающими львиные головы, в светлых клетчатых панталонах, белом жилете и цветном галстуке. В его манерах замечалась вялая небрежность и усталость. А. И. Герцен после первой встречи с Тургеневым в Москве в 1844 году посчитал его «Хлестаковым, образованным и умным, внешней натурой». Однако В. А. Панаев отзывался иначе: «Многие старались ломать из себя Онегиных, но они являлись по преимуществу карикатурными, чего никак нельзя было приписать Тургеневу. В нем было столько общего по всем условиям с Онегиным, что его можно было признать за родного брата пушкинского героя».

Благоприобретенный скептицизм Тургенева осложнялся в те годы глубоким кризисом романтического мироощущения. После премухинского романа Тургенев уже не мог относиться к любви так, как, например, Н. П. Огарев в письмах к своей возлюбленной: «Я чувствую, некий Бог живет и говорит во мне; пойдем куда нас зовет Его голос. Если я имею довольно души, чтобы любить тебя, наверное, я буду иметь довольно силы, чтобы идти по следам Иисуса — к освобождению человечества... Наша любовь, Мария, заключает в себе зерно освобождения человечества. Будь горда ею. Наша любовь, Мария, будет пересказываться из рода в род. Все последующие поколения сохранят нашу память как святыню. Я предрекаю тебе это, Мария, ибо я — пророк, ибо я чувствую, что Бог, живущий во мне, нашептывает мне мою участь и радуется моей любви».

В разгоряченных душах молодых философов-романтиков наступало отрезвление. В. Г. Белинский дал следующую характеристику сестрам Бакуниным на примере Александры: «Это девушка, глубокая по натуре, святое, чистое, полное грации созданье — но её натура искажена до последней возможности, без всякой надежды на исправление <...> Она давно отвыкла от жизни сердцем, и сердце у нее — покорный слуга воображения. Воображение живет в голове, следовательно, голова у нее повелевает сердцем <...> Потому у ней нет истинных чувств и истинных потребностей; ей нужен не мужчина, а идеал мужчины, и она может глубоко полюбить мужчину, которого никогда не видала, которого знает по слухам, и несмотря на то, в ее *фантастическом* чувстве будет столько сердечной мистики, столько лиризма, что перед ним преклонит колена всякий, у кого только есть человеческая душа. Она никогда не увидит и не оценит в мужчине человека — глубокое гуманистическое начало, доступность всему высокому и прекрасному, здоровая натура, благородный характер — обо всем этом ей не снилось и во сне: ей нужно блеску, ей нужен герой, хоть Дон Кихот, только герой, — и идеал её героя — брат её Михаил Александрович. Может быть, я жестоко выражаюсь, но это так».

Трагедия сестер Бакуниных заключалась еще и в том, что их брат и кумир к 1842 году в письмах в Премухино стал беспощадно разрушать символы былой веры. 9 октября 1842 года он спрашивал сестер: «Вы верно точно так же, как и я, чувствуете в себе непреодолимую потребность вырваться из этого мира призраков, бессильных чувств и безжизненных мыслей, в котором мы во время оно более или менее жили, для вас верно так же необходимо, как и мне, называть вещи их именами и жить только теми чувствами и мыслями, которые имеют силу непосредственного, живого осуществления. Только действительность может удовлетворить нас, и это потому, что только действительность есть сила энергическая, то есть истинная истина. Всё же остальное есть вздор, призрак и, если Варинька позволит употребить это выражение, постный идеализм».

Мишель безжалостно ниспровергает теперь в душах сестер тот храм, который он с таким рвением выстраивал в конце 30-х годов: «Стыдно утешать себя ложью. Достоинство человека неразрывно связано с действительностью его жизни; идеализм только потому свят и истинен, что он есть идеализм живого, реального мира, а всякий иде-

лист, будь он хоть семи пядей во лбу, если он — только идеалист, если он не бросается страстно и смело в роскошные и сначала чуждые для него волны действительной жизни, если он не осуществил внутреннего мира своего в живой любви и в живом деле, если он не преклонил своей теоретической гордости, своего мудреного идеального мира перед евангельскою простотой действительности, — такой идеалист, Варинька, несмотря на то, что у него скрываются в душе

И всяки высокие мысли,
И разны глубокие чувства

ни копейки не стоит!»

Опыт «премухинского романа» многое дал Тургеневу — прозаику и поэту. Отношениями с Татьяной Бакуниной навеяны стихи «Нева», «К***», «Заметила ли ты, о друг мой молчаливый», «Осень», «Долгие тучи плывут», «Осенний вечер», «Дай мне руку — и пойдем мы в поле». Отголоски этого романа чувствуются в повести в стихах «Андрей», в письме Дуняши к герою. Что же касается прозы, то в ней Тургенев отнесся критически к обоим участникам драмы. В «Андрее Колосове» явно автобиографичен образ рассказчика, разыгравшего «плохую, крикливую и растянутую комедию» из желания щегольнуть великодушием, самолюбиво поиграть преданным сердцем: «О господа! человек, который расстается с женщиною, некогда любимой, в тот горький и великий миг, когда он невольно сознает, что его сердце не всё, не вполне проникнуто ею, этот человек, поверьте мне, лучше и глубже понимает святость любви, чем те малодушные люди, которые от скуки, от слабости продолжают играть на полупорванных струнах своих вялых и чувствительных сердец!» В противоположность рассказчику создается образ Андрея Колосова, который, увидев ложность своих чувств, решительным и быстрым разрывом исправляет положение. Прототип Андрея — Н. В. Станкевич: передается история его любви к Любаше Бакуниной.

Некоторыми чертами Татьяны Александровны Тургенев наделил впоследствии старую деву, философку в рассказе «Татьяна Борисовна и её племянник», вошедшем в «Записки охотника». Эта дева довела своими разговорами до умопомрачения простоватую патриархальную помещицу, пытаясь воспитать её «богатую природу», а потом влюбилась в проезжего студента и вступила

с ним в деятельную переписку, благословляя, как водится, на святую и прекрасную жизнь. При этом приносила себя в жертву, требовала одного имени сестры, вдавалась в описания природы, упоминала о Гёте, Шиллере, Беттине и немецкой философии, — «и довела, наконец, бедного юношу до мрачного отчаяния. Но молодость взяла своё: в одно прекрасное утро проснулся он с такой остервенелой ненавистью к своей «сестре и лучшему другу», что едва сгоряча не прибил своего камердинера и долгое время чуть не кусался при малейшем намеке на возвышенную и бескорыстную любовь».

Роман с Татьяной Бакуниной заставил Тургенева всерьез задуматься о драматических последствиях одностороннего развития, следуя которому даже прекрасные, талантливые люди теряли ощущение реальности и погружались в мир умозрительных химер, имеющих самое отдаленное отношение к живой жизни. Эти мысли были для Тургенева не новыми. Они созревали в нем еще в Берлине на вечерах у Фроловых, в общении с Мишелем. Но теперь те смутные сомнения принимали более определенную форму, с настойчивостью возникал вопрос: что делать дальше, как жить, какую область деятельности избрать? В Берлине Тургенев твердо решил стать магистром философии Московского университета. По возвращении он подал прошение на имя ректора о допуске к сдаче магистерских экзаменов. Теперь, поселившись в новом доме на Остоженке, купленном к приезду сына из Берлина Варварой Петровной, он ждал решения, готовился к предстоящим испытаниям, посещал московские литературно-философские кружки и салоны, познакомился с братьями Михаила Бакунина Алексеем и Александром, студентами Московского университета. «Чудный, живой, одухотворяющий человек! — писали они о Тургеневе. — Как он рассказывает! Будто сам вместе с ним всё видишь и переживаешь!»

Встретился Тургенев и с Грановским, теперь уже преподавателем кафедры западноевропейской истории Московского университета, человеком, нашедшим свое призвание и устроившим семейную жизнь. Дом Грановского на Никитской улице явился тогда средоточием «западнического» направления в умственной жизни московского общества. Тургенева удивили перемены в направлении мыслей Грановского и его кружка, куда входили В. П. Боткин, актер М. С. Щепкин, молодой кандидат Московского университета, будущий историк П. Н. Куд-

рявцев, магистр гражданского права К. Д. Кавелин. Здесь уже не велись отвлеченные философские споры о «явлении и сущности», «первооснове» или «перехватывающем духе»; речь шла об исторических судьбах России, о перспективах её роста и развития. Западники начинали жить тесным и обособленным кружком, решительно противопоставляя себя славянофилам; между формирующимися кружками шла напряженная борьба; и те и другие подходили к оценке мыслящего человека с точки зрения «наших» и «не наших». Такая поляризация общественного движения озадачивала Тургенева: слишком всё это не походило на то, что он видел в Берлине; там царило единодушие, взаимопонимание, общий интерес, там все шли к одной цели, по одному пути, вслед за светлой личностью Станкевича. Теперь члены некогда дружного кружка расходились друг с другом на разные концы баррикад.

— Ты не можешь вообразить, — говорил Грановский Тургеневу о славянофилах, — какая у этих людей философия. Главные их положения: Запад сгнил, и от него уже не может быть ничего; русская история испорчена Петром. Мы оторваны насильственно от родного исторического основания и живем наудачу; единственная выгода нашей современной жизни состоит в возможности беспристрастно наблюдать чужую историю; это даже наше назначение в будущем; вся мудрость человеческая истощена в творениях святых отцов греческой церкви, писавших после отделения от западной. Их только нужно изучать: дополнять нечего, — всё сказано. Гегеля упрекают в неуважении к фактам. Киреевский говорит эти вещи в прозе, Хомяков в стихах. Досадно то, что они портят студентов: вокруг них собирается много хорошей молодежи и впитывают эти прекрасные идеи... Славянский патриотизм здесь ужасно господствует: я с кафедры восстаю против него, разумеется, не выходя из пределов моего предмета, за что меня упрекают в пристрастии к немцам. Дело идет не о немцах, а о Петре, которого здесь не понимают и неблагодарны к нему.

Тургенев не очень понимал, почему славянский патриотизм вызывает у Грановского и его друзей такое негодование. Его и в гегелевской концепции исторического процесса коробило пренебрежительное отношение к славянским народам вообще и к России в частности. Но Гегель был немец, а пристало ли русскому человеку нигилистически оценивать свое историческое прошлое, да еще

делать на этой основе оптимистические выводы. А западники, как казалось Тургеневу, склонялись именно к этому парадоксу. Да, говорили они, прошлое допетровской России являет собою черты деспотизма, невежества и азиатчины, от него мы действительно не унаследовали никаких исторических преданий, но и тем лучше для нас, тем успешнее мы можем перенести на русскую почву последние достижения науки и цивилизации; народ, лишенный прочной исторической памяти, не обремененный традициями, преданиями и авторитетами, гораздо легче усвоит социальные и культурные ценности, выработанные западноевропейским историческим развитием. Гуманные, демократические идеи потому трудно осуществляются в Европе, что она не в силах отрешиться от своего исторического прошлого; это прошлое тянет её назад, висит на ней мертвым грузом. Русскому же человеку оглядываться назад незачем, а потому он смело глядит вперед и заимствует всё передовое, что достигнуто современной цивилизацией.

Такой ход мысли западников Тургенев разделял лишь в той мере, в какой русскому народу они ставили в заслугу переимчивость, отзывчивость на все новое и ценное, чем располагает Запад. Пренебрежительное отношение своих друзей к историческому прошлому России Тургенев признать не мог. Несмотря на все мерзости крепостничества, пережитые и переживаемые им под кровом родительского дома, у Тургенева было развито чувство родовой и исторической памяти. Космополитизм западнических воззрений Грановского и его друзей вызывал у него глубокие сомнения. Россия должна усваивать достижения западноевропейской цивилизации, но не бездумно, а с учетом тех позитивных ценностей, которые созданы её собственным развитием. Поэтому в кружке западников Тургенев часто высказывал мысли, расходившиеся с «символом веры» его участников. Придавая большое значение просвещению России, распространению в ней передовых идеалов гуманизма и демократии, он оставался подлинным ценителем народной культуры, чутким знатоком отечественной истории. Поворот к народной теме четко обозначился тогда и в некоторых его стихах — «Баллада», «Конец жизни», «Федя».

Западнические пристрастия Тургенева не мешали ему внимательно прислушиваться к мнениям людей противоположной партии. Славянофилы подвергали решительной критике все общественные теории, не опирающиеся на

опыт исторического прошлого. Они утверждали идею культурно-исторической самобытности России, принципиального отличия её истории от истории Западной Европы. Культура Запада, считали они, уходит своими корнями в римскую государственность и католичество, а культура России вырастает на почве органической и полнокровной греческой, эллинской традиции. Разные культурные прививки определили различие исторических путей России и Запада. Запад унаследовал начала римского рационализма, римской государственности, католической схоластики и, лишившись духовной полноты, впал в одностороннюю рассудочность, формализм и эгоизм. Россия, унаследовав живые ростки эллинской культуры, сохранила духовную цельность и гармонию как в представлении о личности, так и в общественных идеалах.

Общественным идеалом Запада славянофилы считали «ассоциацию», а России — «соборность». «Ассоциация» представляет собою формальное объединение людей по принципу господства большинства над меньшинством. Это мертвое единство, требующее от его членов принудительного подчинения: на практике оно приводит к постоянной сословной вражде, войнам и революциям. В «соборности» общество объединяется в целое не внешними постановлениями, не юридическими законами, а добровольным, сердечным согласием между людьми. Классическим примером «соборного» общежития славянофилы считали крестьянскую общину с её жизнью «миром», с полюбовным решением на миру всех спорных вопросов. Общинное владение землей, с их точки зрения, потому и сохранилось в крестьянской России, что оно отвечало духу самобытной русской культуры, христианской религии в её восточном, православном существе.

Отстаивая самобытную культуру России, славянофилы много сил отдавали изучению устного народного творчества, русских летописей, трудов православных отцов церкви: «Корень и основа, — говорил А. С. Хомяков, — Кремль, Киев, Саровская пустынь, народный быт с его песнями и обрядами, и по преимуществу община сельская».

В европеизации России славянофилы видели угрозу самой сущности русского национального бытия. Поэтому они резко отрицательно относились к петровским преобразованиям и русской бюрократии, выступали активными противниками крепостного права. Они ратовали за свободу слова и за решение всех экономических и политических вопросов на Земском соборе, состоящем из представителей всех сословий русского общества. Но одновременно славянофилы решительно возражали против введения в России форм буржуазной демократии, считая необходимым сохранение самодержавия, реформированного в духе «соборных» идеалов. Самодержавие, с их точки зрения, обанкротилось и противопоставило себя народу и «земле» в целом. Этот разрыв «земли» и «власти» усугубила реформа Петра I, создавшая на Руси царство враждебной народу, паразитической бюрократии, оторвавшая культурный слой общества от народа. Самодержавие нуждается в радикальном переустройстве. Оно должно встать на путь добровольного содружества с «землею», а в своих решениях опираться на мнение народное, периодически созывая Земский собор. Государь призван выслушивать мнение всех сословий, но принимать окончательное решение единолично, в согласии с духом простоты, добра и правды, так как и большинство не всегда бывает право. Не демократия с её голосованием и победой большинства над меньшинством, а согласие, приводящее к единогласию, единодушному подчинению державной воле, которая должна быть свободной от сословной ограниченности и служить общенациональным интересам.

В салоне Авдотьи Петровны Елагиной в конце 1841-го — начале 1842 года Тургенев встречался и беседовал с братьями Киреевскими, Алексеем Степановичем Хомяковым и Константином Сергеевичем Аксаковым. Это были люди славянофильской партии. Тургеневу импонировала их любовь к родной истории, интерес, который они проявляли к русским народным песням, былинам, балладам, преданиям. Не без увлеченности стариной и устным народным творчеством, которая царила в этом кружке, Тургенев написал стихи в подражание народным песням. Привлек Тургенева Хомяков, человек широких философских познаний, блистательный полемист и увлекательный собеседник. В отличие от многих московских мыслителей-философов он не разделял увлечения Гегелем.

— Из разбора свойств и явлений одного разума с исключением всех других, не менее важных нравственных сил человека, никакой философии, заслуживающей этого имени, быть не может, — утверждал Хомяков.

Его поддерживал Иван Васильевич Киреевский:

— Мышление, отделенное от сердечного стремления, есть такое же развлечение для души, как и бессознатель-

ная веселость. Раздробив цельность духа на части и отдельному логическому мышлению предоставив высшее сознание истины, человек в глубине своего самосознания оторвался от всякой связи с действительностью и сам явился на земле существом отвлеченным как зритель в театре, равно способный всему сочувствовать, всё одинаково любить, ко всему стремиться под условием только, чтобы физическая личность его ни от чего не страдала и не беспокоилась.

Тургенев с интересом слушал этих людей и во многом с ними соглашался. Он и сам в последнее время чувствовал отрицательные последствия односторонне-рассудочной манеры гегелевского философствования, с какимто высокомерием относящегося к реальному и живому многообразию явлений действительности.

Часто речь шла о судьбах славянского племени. Роль славянства в истории европейского человечества, по мнению Хомякова, явно принижалась немецкими историками и философами. И это тем более удивительно, что, по его мнению, именно немцы наиболее органично усвоили славянский элемент.

«Вглядитесь в Пруссию, — говорил Хомяков, — в поморье Балтики, во всю сторону доэльбскую. Узнаёте ли вы направление аристократическое германцев в демократизме прусском? Узнаете ли вы германское рыцарство в торговой Ганзе, вольные города которой владели морями и правили судьбой Дании и Швеции, так же, как в старину славянские племена этого берега несколько времени держали под своею строгою опекою воинственных скандинавов? Узнаете ли вы характер германский в республиканском устройстве союзников древнего нашего Новгорода? Зато и теперь, когда поморяне забыли, что они были отраслью семьи славянской, у них еще живет славянский дух труда и торговли. У них еще немец южный учится тайнам просвещенного земледелия, так же как в старину германец занимал от славян все слова, касающиеся земледелия, и многие слова, принадлежащие к домохозяйству. Вглядитесь в нынешнюю жизнь людей, и вы поймете, почему Ганза была в дружбе с Псковом и Новгородом, почему пословица о новгородском могуществе гордо повторялась в городах немецких, почему Любчане были милыми гостями в наших торговых столицах, а наши купцы были приняты в Любеке (Любиче), как братья родные. Вглядитесь в старину, и вам ясны будут прекрасные результаты славянского чисто человеческого начала, воспринятого завоевательным духом германцев и согретого их деятельной энергией».

К. С. Аксаков резко критиковал современные крепостнические порядки и обрушивался на сословную спесь русской дворянской аристократии: «Я понимаю, откуда возник аристократический взгляд на простой народ у английских лордов, — говорил он, — все они являются потомками дружинников Вильгельма Завоевателя, который разделил между своими приближенными земли покоренных племен. В России же аристократии не было и быть не могло, так как боярство являлось служилым сословием, составлявшим дружину государеву, и пользовалось за свою службу поместьями и вотчинами». — «Да, в России крепостное право есть не что иное как грубая полицейская мера, выдуманная нуждою государственною, но не уничтожившая братства человеческого, а в Англии, да и в германском поморье оно было коренным злом, связанным с завоеванием и насилием племенным», — подхватывал Хомяков.

Но чем внимательнее вслушивался Тургенев в речи этих умных людей, искренних патриотов своей Родины, как и он, горячо ненавидевших николаевскую Россию, — тем более начинала его смущать одна навязчивая мысль. Настаивая на самобытности исторического развития России, они с некоторым пренебрежением и кичливостью говорили об успехах европейской культуры. Получалось, что русскому человеку вообще нечему учиться на Западе, что Петр Великий, прорубивший окно в Европу, отвлек Россию от её самобытного пути, что европеизированная культура «верхов» призрачна и совершенно оторвана от подлинно народных интересов и потребностей, от исторических преданий. Складывалось впечатление, что в полемике с западниками славянофилы впадали в противоположные общие места; первые отлучали Россию от Европы со знаком минус, вторые — со знаком плюс, а истина оставалась где-то посередине. Тургенев не был склонен идеализировать патриархальный крестьянский быт, судьба с детских лет познакомила его с наиболее темными сторонами крепостничества. Да и национальное самомнение со времен берлинских лекций он считал свойством недостойным и даже унижающим великий народ.

В Москве Тургенев часто посещал дом Михаила Федоровича Орлова, в котором царил подлинный культ Пушкина. Орлов находился в опале как деятельный участник

декабристского движения. Он избежал неминуемой каторги лишь благодаря заступничеству своего брата Алексея, который в день 14 декабря был верным защитником Николая I, а затем одним из его приближенных. Орлов много работал в эти годы над трудом по вопросам финансов и кредита, писал воспоминания об Отечественной войне 1812 года. В доме Орлова Тургенев встретился и подружился с начинающим поэтом Яковом Петровичем Полонским.

Наконец, после длительной проволочки Тургенев получил отказ на своё прошение: выяснилось, что в Московском университете принимать экзамен некому, так как кафедра философии в нем давно упразднена. Николай I вообще не жаловал немецкой премудрости и не поощрял открытие подобных кафедр. В конце марта 1842 года Тургенев отправляется в Петербург, где ему удается получить разрешение держать магистерские экзамены. Он много готовится и в начале апреля успешно сдает философию и латинскую словесность. Однако, судя по письмам к друзьям, интерес к философской деятельности у него начинает пропадать. «С большим трудом и душераздирающей зевотой» он «читает скучного и сухого Фихте». А после экзамена пишет А. Бакунину: «Объявляю вам, что я выдержал экзамен по философии блестящим образом — то есть наговорил с три короба разных общих мест — и привел профессоров в восторг, хотя я уверен, что все специально-ученые (историки, математики и т. д.) не могли внутренно не презирать и философию и меня». То, чему в Берлине Тургенев поклонялся со священным трепетом, то, чем продолжала жить в Премухине семья Бакуниных, является теперь для него предметом шутки и насмешки. Не в этом ли скрывается подлинная причина его отказа от дальнейших шагов на ученом философском поприще?

Примечательно, что все письма Тургенева братьям Бакуниным имеют еще один, косвенный адресат. Им является Татьяна Александровна. Зная обычай семьи Бакуниных делиться письмами с родными и близкими, Тургенев не щадит кумира Татьяны, немецкого философа Фихте, называя его «скучным и сухим». Еще раз прощаясь с Т. Бакуниной, Тургенев так завершает письмо от 3 апреля 1842 года: «Поклонитесь от меня Татьяне Александровне и напишите мне, пожалуйста, об её здоровье.

У меня есть песенка, которая так начинается:

О дети вы, о дети,
О, милые, прощайте!
Хотите — позабудьте,
Хотите — вспоминайте!..»

В мае 1842 года Тургенев уезжает в Спасское и предается прелестям весенней охоты на вальдшнепов, а во второй половине июля вместе с братом Николаем сопровождает Варвару Петровну на лечение в Мариенбад. Главная цель этой поездки — свидание с Мишелем, который в 1842 году уехал в Дрезден вместе с известным левогегельянцем Арнольдом Руге и приступил к изданию немецкого революционно-демократического журнала «Deutsche Jahrbücher».

Мишеля Тургенев не узнал: от былых философских воспарений в заоблачные сферы чистого мышления не осталось и следа. Чтобы устранить всякую неловкость, Тургенев счел необходимым объясниться с другом по деликатному поводу, связанному с любимой сестрой Бакунина Татьяной. Но Мишель перебил его:

— Александрина Беер писала мне, Тургенев, что то, что произошло между тобою и Танюшей, должно заставить меня порвать наши дружеские связи. Какая нелепость! Для того чтобы я с кем-либо порвал, я должен перестать верить в этого человека. Никакая другая причина не может довести меня до разрыва. Ты знаешь, что я никогда не был рабом условных идей, управляющих светом. А теперь и тем более мне поздно стать им. Мне хорошо известны твои недостатки, Тургенев. Но причина их — в крайней твоей молодости. Брат мой, когда любишь, то не имеешь времени на подсчитывание недостатков. А в том, что я тебя люблю, ты сомневаться не можешь. Так что оставим этот разговор. Я предупреждаю и другой твой вопрос. Ты не выслал обещанные деньги, чтобы полностью покрыть мой долг. И я не сержусь на тебя, ибо знаю, что намерения твои были и остаются чисты, а если их не удалось осуществить — значит, виноваты обстоятельства.

Как всегда бывает при встрече друзей после долгой разлуки, разговор между Тургеневым и Бакуниным долго прыгал с пятого на десятое, прежде чем попал на существенную стезю:

— Увы, брат мой, — сказал Бакунин, тряхнув по привычке своей львиной гривой, — время берлинской юности ушло и уже никогда не возвратится, ты знаешь

это не хуже меня. Оно было прекрасно, как юность, и заключало в себе все преимущества, достоинства и недостатки юности. Теперь настала пора действительности, мужества, дела. Я почувствовал ее приближение тотчас после твоего отъезда из Берлина. Слава Богу, время теории прошло: все более или менее чувствуют это. Заря нового мира осеняет нас. С тех пор как христианство перестало быть связующим европейские государства цементом, что же еще связывает их? Святой дух свободы и равенства, в громе и молнии французской революции открывшийся людям, подобно семенам новой жизни рассеивается повсюду посредством революционных войн. Мы находимся накануне великого всемирно-исторического поворота, Тургенев, накануне последней борьбы за религию демократии, за коммунизм, призванный осуществить лучшие заветы христианства не в потусторонней действительности, а здесь, на этой земле!

— Но позволь, Мишель, — возражал Тургенев, — я сочувствую демократическим идеям, но иначе понимаю сущность демократии. Она действительно утверждается, но постепенно, через конституционные формы ограничения самодержавия, через политико-экономические перемены. Партию демократов я признаю в качестве неизбежной оппозиции к другой, консервативной партии, признаю необходимость борьбы между ними, но не до полного истребления. Поскольку та и другая представляют крайние полюсы противоречия — истина лежит посередине. Я склонен считать, что в общественной борьбе оба полюса лишь до известной степени правы. Что же касается коммунизма — я в него не верю: вряд ли стоит нам увлекаться несбыточными фантазиями и подхватывать стоптанные башмаки с ног Сен-Симона и Фурье.

— Ты глубоко не прав! — горячился Мишель. — Ведь слияние консерваторов и демократов — положительных и отрицательных полюсов противоречия, — о котором ты печешься, невозможно. Ведь всё значение отрицательного заключается в разрушении положительного. Ты — типичный соглашатель, плохо усвоивший логику Гегеля. Вспомни, что «противоположение есть не равновесие, а *перевес* отрицательного, который составляет его преобладающий момент». Отрицательное, как подготовляющее жизнь новому порядку, содержит в себе одном цельность противоположения, а потому является абсолютно правомочным! И для демократа страсть революционного отрицания — созидательная страсть! В сладости разрушения есть творческое наслаждение! Ты же пытаешься отнять у противоположения его движение, его жизненность, всю его душу. Ты напоминаешь мне польских евреев. В 1830 году они старались служить одновременно обеим борющимся сторонам, как русским, так и полякам — и вешались теми и другими!

— Но не возвращаешься ли ты, Мишель, с твоими раздельно существующими крайностями к абстрактной точке зрения, преодоленной Шеллингом и Гегелем? Разве Гегель не сделал важного замечания о том, что в чистом свете так же плохо видно, как и в абсолютной темноте, и что только конкретное единство обоих делает возможным зрение? И разве не Гегель доказывал, что каждое живое существо лишь потому жизненно, что его отрицание находится не вне его, а в нем как непременное условие жизни, и что если бы оно было только положительно и имело отрицание вне себя, то оно было бы неподвижно и безжизненно?

— Но что это доказывает? Живой организм только потому и жизненен, что носит в себе зародыш своей смерти. И если ты хочешь цитировать Гегеля, так цитируй его, не усекая. Тогда ты увидишь, что отрицание остается условием жизни данного организма лишь до тех пор, пока оно находится в нем как определенный момент в его цельности. На переходном этапе постепенное действие отрицания внезапно прекращается, отрицание превращается в самостоятельный принцип — и этот момент есть смерть данного организма, переход природы в качественно новый мир, свободный мир духа!

Не то же ли наблюдается и в истории? Принцип свободы давал о себе знать, например, в католическом мире с самого начала его существования. Принцип этот был источником всех ересей, которыми так богат был католицизм. Но без этого принципа католицизм был бы инертен. Он являлся принципом его жизненности до тех пор, пока оставался лишь элементом в цельности католицизма. Отсюда постепенно зарождался протестантизм. Начало его относится к началу католицизма. Но в известный момент эта постепенность оборвалась, и принцип теоретической свободы вырос в самостоятельный, независимый принцип. И тут только противоположение сказалось во всей полноте. Помнишь, Тургенев, что сказал Лютер соглашателям его времени, когда они предложили свои услуги?!

— Допустим, что ты прав, Мишель. Но о каком рево-

люционном отрицании можно говорить сейчас? Откуда ты взял, что искомый тобой «момент» наступил в Европе? Посмотри вокруг. Везде спокойно, движение улеглось, материальные интересы стали едва ли не главным делом политики и общей культуры.

— Мир, — говоришь ты. Я же, напротив, утверждаю, что еще никогда противоречия европейского развития не выступали в форме противоположения свободы и несвободы. В наше время это противоположение сходно с критическими периодами языческого мира. Что же, ты слеп и глух? Не видишь и не слышишь, что вокруг происходит? Нет, Тургенев, революционный дух не побежден; он только снова ушел в себя, после того как его первое появление потрясло весь мир до основания. Вскоре он снова прорвется в качестве творческого принципа. А сейчас он роется, как крот под землею, и трудится не напрасно. Оглянись на обломки, которыми покрыта ныне наша религиозная, политическая и социальная почва. Скажи мне, что уцелело от старого католического и протестантского мира? Разве ты не читал Штрауса, Фейербаха, Бруно Бауэра? Разве ты не видишь, что вся немецкая литература проникнута духом отрицания? Ясно, что дух, этот старый крот, выполнил свою подземную работу и скоро явится вновь, чтобы держать свой суд. Повсюду, особенно во Франции и Англии, образуются социалистически-религиозные союзы. Все народы и все люди полны каких-то предчувствий. Даже в России, в этом беспредельном, покрытом снегами царстве, собираются мрачные, предвещающие грозу тучи! О, воздух душен, он чреват бурями! Взываю к тебе, мой заблудший брат, покайся, царство Божие близко! Раскрой сердце для истины. Доверься великому духу, который потому разрушает и уничтожает, что он есть неисчерпаемый и вечно-созидающий источник всякой жизни!

Трудно было совладать Тургеневу с утонченным диалектиком, страстным пропагандистом своей веры, Дон Кихотом революционной идеи.

— Почему же нельзя употребить твою юность и энергию для освобождения России? Разве там, на Родине, нет места для приложения живых, творческих сил?

— Я не гожусь для теперешней России, — возражал Бакунин, — а здесь я чувствую, что я хочу еще жить, я могу здесь действовать, мою юность и энергию я решил отдать освобождению Европы!

Меня ожидает великая будущность, Тургенев. Предчувствия мои не могут меня обманывать. Дела, дела, широкого, святого дела хочу я. Передо мною широкое поле, и моя участь — не жалкая участь.

...В спорах с Тургеневым рождалась знаменитая статья Бакунина «Реакция в Германии», опубликованная в журнале «Deutshe Jahrbücher» от 17—21 октября 1842 года под псевдонимом «Жюль Елизар». Лейтмотивом через всю статью проходила ставшая крылатой фраза Бакунина: «Die Lust der Zerstörung ist eine schaffende Lust». («В сладости разрушения есть творческое наслаждение»). Бакунинская «Реакция в Германии» вызвала большой шум и привлекла внимание немецкой полиции. Бакунин сообщал Тургеневу, что собирается эмигрировать в Швейцарию.

— Прощай, друг! — сказал Мишель при расставании. — Мы идем совершенно разными, противоположными путями. И все же не забывай меня, — я тебя никогда не позабуду, никогда, никогда не перестану действительно, конкретно любить тебя. Хорошо, что мы еще раз свиделись; мы узнали друг друга, и я уверен, что где бы нам ни пришлось встретиться, в каких бы обстоятельствах мы ни были, — мы пожмем друг другу руку.

Бакунин считал, что почва для революции в России не созрела, а ко всякого рода реформистским, постепенным изменениям он относился отрицательно. Так началось идейное расхождение между Бакуниным и Тургеневым, которое с годами всё более и более углублялось. Бакунин шел к революционному отрицанию самого крайнего, анархистского толка — ему было суждено стать основоположником мирового анархического движения. Тургенев же в своих общественных взглядах становился либералом-постепеновцем, сторонником медленных экономических и социальных реформ.

Вернувшись в Россию, Тургенев поселился в Петербурге и, отбросив мечты о философии, о карьере ученого, решил поступить на государственную службу в министерство внутренних дел. Такой выбор был не случайным. Деятельностью этого министерства, возглавляемого бывшим декабристом Л. А. Перовским, интересовались в то время многие противники крепостного права в России. В 1842 году Николай I предложил Перовскому проекты «О юридическом и экономическом положении крестьян», на основе которых в 1845 году Перовский подал государю записку «Об уничтожении крепостного состояния в России». Служба в этом министерстве отвечала, таким

образом, сути «аннибаловской клятвы» Тургенева, его желанию практически содействовать упразднению крепостного права. В декабре 1842 года Тургенев работает над запиской «Несколько замечаний о русском хозяйстве и русском крестьянине», являющейся своеобразным экзаменом к зачислению на службу. Тургеневская записка — очень важный документ, раскрывающий существо общественных убеждений будущего автора «Записок охотника», проясняющий границы его «западничества».

Тургенев выступает здесь сторонником развития русского народа по пути, указанному Петром Великим, но отрицательно относится к европейским буржуазным порядкам и говорит о необходимости сохранения в России крестьянского сословия, наделенного землей и освобожденного от крепостной зависимости.

Главное зло крепостного права, по Тургеневу, заключается в отсутствии законности во взаимоотношениях двух основных сословий русского общества — помещиков и крестьян. По существу, крестьяне находятся в полной зависимости от прихотей своих владельцев, и этот порядок вещей пагубно действует на нравственную природу русского мужика и его гражданские убеждения. У него слабо развито чувство гражданской ответственности и политическое мышление, потому что от рождения и до смерти он не чувствует над собой никакой опеки государственной власти, его личность никакими государственными законами не защищена. Поэтому крестьянин вынужден отстаивать право на свое существование, опираясь лишь на самого себя, на свою хитрость и изворотливость. Следствием такого положения вещей является гражданская незрелость и неразвитость народа.

Шаткость и ненадежность существования при крепостном праве, полная зависимость от произвола помещика воспитывают равнодушие, притупляют самодеятельное, творческое начало, чувство хозяина своей земли и своей судьбы. Крестьянин, в силу ложного своего положения, не думает об улучшении труда, отвыкает заботиться о своем благосостоянии и предается пьянству ради нескольких часов забвения. И он в этом не виноват, корни зла лежат в противоестественных условиях его существования, которые должны быть изменены реформами сверху, так как сам народ, веками находившийся в крепостной зависимости, лишен исторической инициативы и твердых гражданских убеждений. Его судьба находится пока в руках общественных «верхов».

Обращаясь к владельцам крепостных душ, Тургенев наносит чувствительный удар по сословной спеси русского дворянства, без всяких оснований считающего себя «особой породой», аристократией на манер английских лордов. Здесь Тургенев повторяет аргументы, ходившие в кругах славянофилов. В России не было ни победителей, ни побежденных: все говорили одним языком, и у дворян, и у крестьян был один и тот же русский склад лица, а в жилах их текла одна и та же русская кровь.

Дворяне, по Тургеневу, не выполняют своих обязанностей перед государством и народом: они забыли о призвании трудолюбиво обрабатывать землю и заботиться об улучшении условий труда крестьян, находящихся в их власти, они не занимаются их просвещением и не являются проводниками культуры. Время ставит перед русским дворянством важную историческую задачу. «Весь наш сельский быт должен измениться» и в перевороте — медленном и постепенном — должно принять самое активное участие дворянское сословие.

Записка Тургенева свидетельствует о глубине и зрелости антикрепостнических убеждений писателя. Отдельные страницы документа показывают, что во время путешествий по Германии и Богемии Тургенев внимательно наблюдал за жизнью местных крестьян. Однако очевидно и другое: в официальном документе, поданном в одну из высших государственных инстанций, Тургенев не мог высказать свои мысли во всей их резкости и полноте. Он сделал это чуть позднее, укрывшись фамилией Луи Виардо: свою Тургенев поставить не решался. В журнале французских социалистов-утопистов «Revue Indépendante» (1846) записка вышла с дополнениями: глубокой критике подвергнуто правительство за промедление в решении крестьянского вопроса, указано, что эта нерешительность чревата вспышкой недовольства, крестьянской революцией.

Готовясь стать чиновником, Тургенев не бросал писательской работы. «Я много приготовил, Вы, может быть, скоро обо мне услышите», — сообщал он Алексею Бакунину.

В конце февраля 1843 года состоялось знакомство с В. Г. Белинским, пока еще официальное, на квартире критика, жившего тогда в доме Лопатина у Аничкова моста. С Белинским свёл Тургенева Зиновьев, друг Варвары Александровны Бакуниной. Тургенев шел к Белинскому и с любопытством, и не без робости. Его критиче-

ские статьи производили шум в Москве и Петербурге. В великосветском обществе ходили слухи, «что и наружность его самая ужасная; что это какой-то циник, бульдог, призренный Надеждиным с целью травить им своих врагов. Упорно, и как бы в укоризну, называли его «Беллынским». Но от Станкевича и Мишеля Бакунина Тургенев слышал другое.

И вот Тургенев переступил порог дома Белинского. Его встретил «человек среднего роста, на первый взгляд довольно некрасивый и даже нескладный, худощавый, со впалой грудью и понурой головой». Он постоянно кашлял, и следы чахотки всякого, даже не медика, поражали в нем. «Лицо он имел небольшое, бледно-красноватое, нос неправильный, как бы приплюснутый, рот слегка искривленный, особенно когда раскрывался, маленькие частые зубы; густые белокурые волосы падали клоком на белый прекрасный, хоть и низкий лоб».

Но, присмотревшись повнимательнее, Тургенев вздрогнул, встретив обращенный к нему взгляд. Он не видал глаз, более прелестных, чем у Белинского. Голубые, с золотистыми искорками в глубине зрачков, эти глаза, до сей поры полузакрытые ресницами, «вдруг расширились и засверкали»; он воодушевился, когда речь зашла о Бакунине, о Станкевиче. Говорил Белинский слабым хрипловатым голосом, с особенными ударениями и придыханиями, «упорствуя, волнуясь и спеша». «Его выговор, манеры, телодвижения... вся его повадка была чисто русская, московская». «Недаром, — подумалось Тургеневу, — в жилах его текла беспримесная кровь — принадлежность нашего великорусского духовенства, сколько веков недоступного влиянию иностранной породы». Разговор о поэтических увлечениях Тургенева не получил серьезного отклика у Белинского. Критик засмеялся, весело и искренне, как ребенок, и перевел разговор на более серьезную для него тему о попытках Бакунина создать за границей русскую революционную колонию...

Весной 1843 года, уезжая в Спасское за материнским благословением на службу, через посредников Тургенев передал Белинскому на суд свое новое художественное произведение — поэму «Параша», только что вышедшую в Петербурге отдельным изданием за подписью «Т. Л.». Молодой поэт решился на очень рискованный поступок. Ведь именно в эти годы Белинский объявил последний бой романтизму и со всею силою своего критического темперамента обрушился на поэтическое «лепетание в стихах», производя, по словам А. И. Герцена, настоящие разгромы в умах читателей. «Проглотят очередную статью с лихорадочным сочувствием — и трех-четырех верований как не бывало».

И вот уже в Спасском в майской книжке «Отечественных записок» Тургенев прочел отзыв Белинского о своем произведении: «один из прекрасных снов на минуту проснувшейся русской поэзии», «глубокая идея», «стих обнаруживает необыкновенный поэтический талант»!.. Такого Тургенев не ожидал и, вероятно, почувствовал больше смущения, чем радости. «И когда в Москве, — вспоминал он впоследствии, — покойный Киреевский подошел ко мне с поздравлениями, я поспешил отказаться от своего детища, утверждая, что сочинитель «Параши» не я».

Что же произошло? Почему Белинский, отрицательно относившийся тогда к поэзии, так высоко превознес Тургенева-поэта?

В 1844 году вышел в свет русский перевод гётевского «Фауста», сделанный М. Вронченко. Тургенев откликнулся на него рецензией, в которой обратил внимание на слабые стороны романтического мироощущения. Во-первых, романтизм, по Тургеневу, — это «апофеоза личности», романтик — безнадежный пленник своего «я». Он привык ставить себя в центр мироздания и не предается ничему, напротив, всё заставляет себе предаваться. Поглощенный собой, романтик становится эгоистом, романтическая восторженность перегорает в нем, и на душевном пепелище пышным цветом расцветает бесплодный скептицизм. Мефистофель — вот конечный удел оторванного от жизни мечтателя, — «бес людей одиноких и отвлеченных, которых глубоко смущает какое-нибудь маленькое противоречие в их собственной жизни, и которые с философическим равнодушием пройдут мимо целого семейства ремесленников, умирающих с голода».

Во-вторых, романтик — человек «отвлеченный», «общечеловек», «космополит», а истинный талант — «не космополит», он принадлежит своему народу, своему времени.

В-третьих, романтик боготворит искусство, ставит его выше всех других форм общественного сознания и впадает в отвлеченный эстетизм. Такое отношение к искусству изживает себя. Наступает эпоха, когда «при виде прекрасной картины, изображающей нищего», люди «не мо-

гут любоваться «художественностью воспроизведения», но печально тревожатся о возможности нищих в наше время».

Наконец, Тургенев не принимает предложенное Гёте в «Фаусте» утилитарно-практическое разрешение: «Какой добросовестный читатель поверит, что Фауст, оттого, что его утилитарные затеи удаются, действительно наслаждается «мгновеньем высшего блаженства» и в силу условия, заключенного с чертом, принужден расстаться с жизнью? Гёте в одном только отношении остался верен своей натуре: он не заставил Фауста искать блаженства вне человеческой сферы... но как бледно и пошло задуманное им «примирение»! Тургенев считает далеко не призрачными те вечные философские вопросы, которые волнуют Фауста. Практическая деятельность и трезвый реализм не должны отменять высоких духовных порывов, не должны успокаивать человека в малом. «Нас не испугает, — говорит Тургенев, — отсутствие «примирения» <...> мы — как народ юный и сильный, который верит и имеет право верить в свое будущее, — не очень-то хлопочем об округлении и завершении нашей жизни и нашего искусства».

Таким образом, в рецензии на перевод «Фауста» Тургенев ратовал за новое, реалистическое миросозерцание, которое нашло художественное воплощение в поэме «Параша». Сюжет её восходит к «Евгению Онегину»: в центре поэмы — судьба провинциальной девушки, своим простонародным именем напоминающей о пушкинской Татьяне. Но Тургенев дает сюжету новый поворот: его Параша, в отличие от Татьяны Лариной, становится женой разочарованного, скучающего Виктора Александровича, который лишь внешне перекликается с героем пушкинского романа. Тургенев вывел тип истасканного, измельчавшего человека, пародию на Онегина и Печорина. Его разочарованность — всего лишь мода. «Улыбкою презренья и насмешки» он, по словам Белинского, «прикрывает тощее сердце, праздный ум и посредственность своей натуры». В поэме звучит тревожный тургеневский вопрос: для чего даются любящему сердцу девушки поэтические надежды и мечты, для чего рождается на свет распускающаяся на радость миру красота? Почему прекрасные порывы женской души гаснут в буднях жизни, в прозе пошлого, скучного прозябания? Одновременно с этими вопросами сам образ героини приобретает символическое звучание. Участь Параши напоминает Тургеневу горькую

долю России, в которой богатые природные силы увядают в самый момент их расцвета:

Друзья! Я вижу беса... на забор
Он оперся — и смотрит; за четою
Насмешливо следит угрюмый взор.

. . . .

Моя душа трепещет поневоле;
Мне кажется, он смотрит не на них —
Россия вся раскинулась, как поле,
Перед его глазами в этот миг...

Высокая оценка Белинского была не случайной. Критик увидел в поэме решительный поворот Тургенева к проблемам современности, нашел в ней черты «дельной поэзии», за которую ратовал и которой ждал.

В 1843 году знакомство Тургенева с Белинским переросло в крепкую дружескую связь. «На меня действовали только энтузиастические натуры, — вспоминал Тургенев. — Белинский принадлежал к их числу». В свою очередь, русского критика привлекала к автору «Параши» блестящая философская подготовка, художническое чутье к общественным явлениям русской жизни. «Вообще Русь он понимает, — говорил Белинский о Тургеневе. — Во всех его суждениях виден характер и действительность. Он враг всего неопределенного, к чему я довольно падок».

Летом 1844 года Белинский отдыхал на даче в Лесном, а Тургенев — в пяти верстах, в Парголове, и друзья встречались почти ежедневно, проводя большую часть времени в разговорах. Сначала они решали «философские вопросы о значении жизни, об отношениях людей друг к другу и к божеству, о происхождении мира, о бессмертии души». Во всех этих вопросах Тургенев был для Белинского незаменимым собеседником. Не зная ни одного иностранного языка, он многое приобретал из разговоров с друзьями, умея схватывать суть той или иной философской системы и затем развивать её, опираясь на свой талант и духовную одаренность. Тургенев только недавно вернулся из Берлина и мог передать Белинскому «самые последние и свежие выводы».

Сомнения в существовании Бога и бессмертия в то время мучили Белинского, «лишали его сна, пищи, неотступно грызли и жгли его». Он говорил об этих вопросах с такой искренностью и энтузиазмом, что увлекал

Тургенева; но молодой последователь Фейербаха, «проговорив часа два, три», «ослабевал» и думал о прогулке, об обеде. «Сама жена Белинского, — вспоминал Тургенев, — умоляла и мужа и меня хотя немножко погодить, хотя на время прервать эти прения, напоминала ему предписания врача... но с Белинским сладить было нелегко. «Мы не решили еще вопроса о существовании Бога, — сказал он мне однажды с горьким упреком, — а вы хотите есть!..» И «не пришло бы в голову смеяться тому, кто сам бы слышал, как Белинский произнес эти слова; и если, при воспоминании об *этой* правдивости, об *этой* небоязни смешного, улыбка может прийти на уста, то разве улыбка умиления и удивления...»

Тургенев говорил о психологических причинах человеческого стремления к бессмертию, в согласии с Фейербахом отрицая потустороннее бытие: «То, что человек называется Богом, есть сущность самого человека, проектированная в бесконечность и противопоставленная ему, как нечто самостоятельное. Человек, как утверждает Фейербах, сам творит божественное начало по своему образу и подобию». — «Но человек по своей природе — слабое, смертное существо, каждый из нас на ниточке висит, бездна ежеминутно под ним разверзнуться может... А он очаровывается поэтическими тайнами, тянется к утонченным переживаниям, мечтает о бессмертии. Значит, кто-то вдохнул в него сверхчеловеческий идеал... Если эта несправедливость мирового устройства — краткость жизни человека перед вечностию — осознается мною, тревожит мое сердце, значит, есть во мне более одухотворенная точка отсчета, более высокая, чем мое смертное, земное существо!» — «Да, но по Фейербаху, это не божественная сила, а еще не реализованные потенциальные возможности нашей природы, находящейся в становлении и развитии. И если суждено человечеству достигнуть бессмертия, то оно осуществится не божественными, а человеческими силами, ибо всё великое совершается через людей»». — «Но где же справедливость! — возмущался Белинский. — Что мне в том, что разумность восторжествует, что в будущем будет хорошо, если судьба велела мне быть свидетелем торжества случайности, неразумия, животной силы!»

Так в долгих спорах проходили часы и дни, пока Белинский не удовлетворился выводами новой философии и, отложив размышления о капитальных вопросах, возвратился к ежедневным трудам и занятиям. Возникли

разговоры о иных, «земных» вещах, о развернувшейся борьбе между славянофилами и западниками по поводу исторической будущности России. Белинский «был западником не потому только, что признавал превосходство западной науки, западного искусства, западного общественного строя, — вспоминал Тургенев, — но и потому, что был глубоко убежден в необходимости восприятия Россией всего выработанного Западом — для развития собственных её сил, собственного её значения. Он верил, что нам нет другого спасения, как идти по пути, указанному нам Петром Великим, на которого славянофилы бросали тогда свои отборнейшие перуны». Но в то же время критик предостерегал от рабского, слепого подражания Западу, от бездумного перенесения на русскую почву результатов западноевропейского развития. «Принимать результаты западной жизни, применять их к нашей» можно, только «соображаясь с особенностями породы, истории, климата — впрочем, относиться к ним свободно, критически — вот каким образом могли мы, по его понятию, достигнуть наконец самобытности, которою он дорожил гораздо более, чем предполагают. Белинский был вполне русский человек, даже патриот <...> благо родины, её величие, её слава возбуждали в его сердце глубокие и сильные отзывы. Да, Белинский любил Россию; но он также пламенно любил просвещение и свободу: соединить в одно эти высшие для него интересы — вот в чем состоял весь смысл его деятельности, вот к чему он стремился».

«Не бездумная прививка иноземных начал нужна России, — соглашался Тургенев с Белинским, — а такая, при которой иноземные начала перерабатываются, превращаются в кровь и сок; восприимчивая русская природа давно ожидала этого влияния, и вот она развивается и растет не по дням, а по часам, идет своей дорогой. И со всей трогательной простотой и могучей необходимостью истины возникает вдруг, посреди бесполезной деятельности подражания, дарование свежее, народное, чисто русское, как возникнет со временем русский, разумный и прекрасный быт и оправдает, наконец, доверие нашего великого Петра к неистощимой жизненности России.

Есть и среди западников и среди славянофилов люди, чуждые народной жизни и духу нашей истории. Взять те же патриотические драмы Н. В. Кукольника или последнее сочинение С. А. Гедеонова «Смерть Ляпунова».

Сколько в них официального блеску и треску! А где народность? Её нет: если в сердце автора не кипит русская кровь, если народ ему не близок и не понятен прямо, непосредственно, без всяких рассуждений, пусть он лучше не касается святыни старины. Только кто же нам доставит наслаждение поглядеть на нашу древнюю Русь? Неужели не явится, наконец, талант, который возьмется хоть за этих двух рязанских дворян, Прокопа и Захара Ляпунова, и покажет нам, наконец, русских живых людей, говорящих русским языком?»

В лице Белинского Тургенев встретил человека, разрешившего его московские сомнения. «Центральная натура» выдающегося критика и мыслителя снимала крайности одностороннего западничества и кабинетного славянофильства. В его мировоззрении Тургенев нашел тот цельный идеал, к которому стремился сам. Вот почему общение с Белинским Тургенев считал выдающимся событием в своей жизни и память о нем, как об учителе и наставнике, хранил всю жизнь.

Окрыленный успехом и поддержкой Белинского, Тургенев в эти годы много работает. Из-под его пера выходят лучшие поэтические произведения: драматическая поэма «Разговор», спор двух поколений, бледный очерк будущих «Отцов и детей», повесть в стихах «Андрей», сатирическая поэма «Помещик». Он пробует силы в жанре драмы и создает этюд «Неосторожность», в это же время появляются первые прозаические опыты писателя — повести «Андрей Колосов», «Бреттер», «Петушков». В них Тургенев продолжает развенчивать романтическую личность, героев фразы, рассчитанной на эффект, скучающих эгоистов, разочарованность которых — поза: трагическая мина придает им загадочность и облегчает завоевание неопытных сердец. Опошленным и обмельчавшим романтикам противопоставляются люди иного склада — простые и естественные, цельные душой.

Наконец в тургеневской поэзии намечается новый путь, ведущий к «Запискам охотника». Это поэтический цикл «Деревня», первый подход к народной теме, к будущим Калинычам, Ермолаям, Касьянам. Цикл задуман как единое художественное произведение из девяти стихотворений; в нем соблюдается типичное для будущих романов «годовое кольцо»: весна, лето, осень, зима. Вынырнув из философско-романтических волн «немецкого моря», Тургенев с головою окунулся в море русское:

Туда, туда, в раздольные поля,
Где бархатом чернеется земля,
Где рожь, куда ни киньте вы глазами,
Струится тихо мягкими волнами
И падает тяжелый, желтый луч
Из-за прозрачных, белых, круглых туч.
Там хорошо; там только — русский дома;
И степь ему, как родина, знакома,
Как пó морю, гуляет он по ней —
Живет и дышит, движется вольней;
Идет себе — поет себе беспечно;
Идет... куда? не знает! бесконечно
Бегут, бегут несвязные слова.
Приподнялась уж по следу трава...
Ему другой вы не сулите доли —
Не хочет он другой, разумной воли...

ПОЛИНА ВИАРДО

Когда в 1843 году Тургенев поступил на государственную службу, Варвара Петровна успокоилась за судьбу сына. Втайне она уж и невесту подыскала. Да и к поэтическим опытам Ивана стала относиться благосклонно. Впрочем, мать всегда достаточно ревниво следила за его поэтическими успехами, а Иван Сергеевич частенько уже из Берлина вместо писем посылал ей стихи. «Нечего писать, — ворчала Варвара Петровна в ответ, — ну, тогда и пиши стихи! — Но! — как ждешь, ждешь, — а вместо письма, где бы я видела тебя, как в зеркале: что ты делаешь, как поживаешь, где бываешь, в каких местах гуляешь. — И вдруг, что же?.. — Получаю стихи, да еще какие беспутные, — то есть без рифм. — Воля твоя, — не понимаю я их — в наши времена так не писали. — Я люблю почерк Пушкина за то, что понимаю или разбираю его почти как собственный. Ты же напоминаешь мне простоту тетки Федосьи... доброй, впрочем. — Возьмет ноты и мычит по оным, будто поёт...

Не понимаю, не понимаю я... Вот почему и поставила крест и отослала назад...»

Но порой получал он от матери и такие письма: «Ах! Прекрасные стихи ты прислал. Я-то читать не хотела, что мне было непонятно. А так писать — благослови тебя Господь. И ясно и складно».

Однажды, незадолго до отъезда из Берлина на родину, Тургенев послал матери стихи Лермонтова «Казачья колыбельная», она отвечала: «Я не верю, чтобы эти сти-

хи он написал, а не ты. Кто, кроме тебя, мог написать матери: «Стану целый день молиться, по ночам гадать?!» — Это ты... ты подсмотрел за мною. Чья мать? Разве есть еще мать в разлуке, у которой под головами карты, и всё спит и гадает, и молится. — «Дам тебе я на дорогу образок святой!» — Слава Богу, что в этом же письме и твой план я прочла, а то бы я неутешно плакала больше».

Когда же она прочла поэму «Параша», Тургенев получил очень ободряющее письмо: «Параша» мне прежде еще читательской похвалы понравилась — и я точно вижу в тебе талант... Сейчас подают мне землянику. Мы, деревенские, всё материальное любим. — Итак, твоя поэма пахнет земляникой. Есть картины, которые можно было бы нарисовать из «Параши», например: два лета, итальянское и русское. <...> Ты знаешь, я тщеславна. Прости меня Господь! Но!.. Я прошу тебя быть в твоем сочинении Лутовиновым, ты меня очень утешишь. Нет, не переставай писать, не убивай от одного критика свой талант. «Параши» Лутовиновой прекрасное начало. Дай бог тебе таких детей. Но твоя первая дочь будет Парашей, и я желаю ей во всем, — и даже с пороками, — походить на сестру...»

После 1842 года все надежды Варвары Петровны сосредоточились на Иване Сергеевиче, а старший сын Николай попал в жестокую опалу. Всё началось на злополучном пожаре, почти дотла истребившем спасский дом. Николай заездом был у матери и собирался с дядюшкой в Лебедянь на ярмарку закупать лошадей для своего полка. Мать любовалась сыном: красивый, статный офицер, один из лучших женихов в губернии, он внешне очень был похож на отца. Прекрасно образованный, говоривший на английском, немецком и французском, Николай был остроумен, умел вести изящный светский разговор. Мать называла сына «Златоустом», прочила ему блестящую карьеру и выгодную партию с какой-нибудь богатой невестой. В отличие от Ивана он был расчетлив, скуповат, практичен, мечтал о выходе в отставку, капитале и открытии собственной фабрики. Хозяйственного Николая мать нередко ставила Ивану в пример.

Горела дворня, Николай и дядюшка вели борьбу с огнем. Потом занялся барский дом, возникла паника, в пристройке позабыли нянюшку Васильевну, и Николай, рискуя жизнью, бросился в окно и чудом спас старушку. Она и плакала, и умоляла барина: «Ангел ты мой! Спаситель мой! Брось ты меня. Старая уж, ненужная я стала! Сам сгоришь! Брось, батюшка!» Она любила рассказывать потом, как барин вынес ее из огня «на своих барских ручках и не дал ей помереть мученической смертью, без покаяния».

Но вот и рухнул главный барский дом, сноп искр взметнулся вверх и огненными змейками рассыпался по саду, — всё было кончено. И тут-то Николай Сергеевич вспомнил о шкатулке с казенными деньгами — в ней было 30 тысяч, выданных ему полковым начальством для казенных надобностей. Молодой офицер впал в отчаяние.

Его вывела из состояния страха и потерянности Анна Яковлевна Шварц, камеристка Варвары Петровны. В руках её была спасенная шкатулка. Когда все в доме опомнились от несчастья, в почете оказалась эта девушка, немочка из Риги, служившая в Спасском по вольному найму. В её обязанности входили кройка и шитье для госпожи утренних, дневных и вечерних нарядов. Сама Варвара Петровна приласкала девушку и даже позволила ей садиться за общий барский стол.

По случаю семейного несчастья Николай Сергеевич взял отпуск и до конца лета прожил в Спасском, руководя отстройкой и расширением уцелевшего от пожара флигеля. Добрые отношения с Анной Яковлевной незаметно, как часто бывает в молодости, перешли в тайную любовь. Когда срок отпуска закончился, Николай Сергеевич отправился в Петербург, а девушка попросила у госпожи расчет по случаю её вызова в Ригу родителями, и тоже уехала из Спасского. Вспоминали, что ничего не подозревавшая Варвара Петровна наградила её щедро, устроила трогательное прощание и даже приколола на грудь Анны Яковлевны букет цветов.

Но не в Ригу ехала молодая камеристка; она осталась в Петербурге и в 1842 году тайно обвенчалась с Николаем Сергеевичем. Когда слухи о самовольной женитьбе сына на служанке-немке дошли до Спасского, Варвара Петровна не хотела верить ушам своим. Немедленно был послан в Петербург дворецкий Федор Иванович Лобанов с приказом всё узнать и доложить всю правду по возвращении.

Иван Сергеевич находился в Спасском, когда из Петербурга вернулся Лобанов. В соседней комнате раздался истерический крик матери: потрясенная случившимся,

она схватила хлыст и бросилась на Федора Ивановича, который выхватил его, швырнув в угол. На крик сбежалась спасская «полиция», связали «бунтаря» и заперли в арестантскую. После того как Порфирий привел госпожу в чувство «лавровишневыми каплями», Иван Сергеевич на коленях просил у матушки помиловать ни в чем не повинного слугу. Но просьбы, уговоры и мольбы остались без последствия. Через день несчастный Федор Иванович предстал пред госпожой уже не в щегольском фраке, а в сермяжной рубахе, обутым в лапти. Его оторвали от семьи, разлучили с детьми и сослали на исправление в дальнюю деревню.

Поступок Николая так уязвил Варвару Петровну, что до самой смерти не могла она примириться со случившимся. А все её невзгоды и горечи обычно вымещались на близких людях. К Ивану Сергеевичу удвоилось внимание, усилилась забота, но тем ревнивее воспринимала матушка каждый его шаг: талантлив, скромен и умен, возможно, сделает служебную карьеру, вот только бы не упустить момент, составить сыну выгодную партию. Но тут случилось в жизни любимчика Ванички событие, перетряхнувшее не только материнские планы, но и его собственную жизнь.

Тургенев неспроста верил в судьбу, в роковое стечение обстоятельств, которые однажды набегают на человека и разом, круто меняют его жизнь. 1843 год в писательской и человеческой судьбе Тургенева оказался роковым: это был год начала его литературного успеха, год знакомства с Белинским и одновременно встречи писателя с «центральным светилом» его жизни — молодой двадцатидвухлетней певицей *Полиной Виардо-Гарсиа*, выступавшей осенью в Петербурге в составе Итальянской оперы. Говорили, что родом она испанка, дочь и ученица знаменитого на всю Европу тенора Гарсиа, выходца из цыганского квартала Севильи. Имя свое Полина получила по крестной матери, княжне Прасковье Андреевне Голицыной, «русские связи» начались для неё с колыбели. Но в Петербург она явилась незнакомкой, и её выхода ждали только с любопытством. Никто не знал, что России она будет обязана своей славой и своим успехом, что Россию она назовет «вторым отечеством», испытывая к ней «вечную признательность».

Шел «Севильский цирюльник», в котором Виардо исполняла партию Розины. Началась картина первого акта. «Комната в доме Бартоло. Входит Розина: небольшого

роста, с довольно крупными чертами лица и большими, глубокими, горячими глазами. Пестрый испанский костюм, высокий андалузский гребень торчит на голове немного вкось. «Некрасива!» — повторил мой сосед сзади. «В самом деле», — подумал я.

Вдруг совершилось что-то необыкновенное!

Раздались такие восхитительные бархатные ноты, каких, казалось, никто никогда не слыхивал...

По зале мгновенно пробежала электрическая искра... В первую минуту — мертвая тишина, какое-то блаженное оцепенение... но молча прослушать до конца — нет, это было свыше сил! Порывистые «браво! браво!» прерывали певицу на каждом шагу, заглушали её... Сдержанность, соблюдение театральных условий были невозможны; никто не владел собою. Восторг уже не мог вместиться в огромной массе людей, жадно ловивших каждый звук, каждое дыхание этой волшебницы, завладевшей так внезапно и всецело всеми чувствами и мыслями, воображением молодых и старых, пылких и холодных, музыкантов и профанов, мужчин и женщин... Да! это была волшебница! И уста её были прелестны! Кто сказал «некрасива»? — Нелепость!

Не успела еще Виардо-Гарсиа кончить свою арию, как плотина прорвалась: хлынула такая могучая волна, разразилась такая буря, каких я не видывал и не слыхивал. Я не мог дать себе отчета: где я? что со мною делается? Помню только, что и сам я, и всё кругом меня кричало, хлопало, стучало ногами и стульями, неистовствовало. Это было какое-то опьянение, какая-то зараза энтузиазма, мгновенно охватившая всех с низу до верху, неудержимая потребность высказаться как можно громче и энергичнее.

Это было великое торжество искусства! Не бывшие в тот вечер в оперной зале не в состоянии представить себе, до какой степени может быть наэлектризована масса слушателей, за пять минут не ожидавшая ничего подобного.

При повторении арии для всех стало очевидно, что Виардо не только великая исполнительница, но и гениальная артистка... Каждое почти украшение, которым так богаты мотивы Россини, явилось теперь в новом виде: новые, неслыханно-изящные фиоритуры сыпались как блистательный фейерверк, изумляли и очаровывали, никогда не повторяясь, порожденные минутой вдохновения.

Диапазон её голоса от сопрано доходил до глубоких ласкающих сердце нот контральто с неимоверной легкостью и силою. Обаяние певицы и женщины возрастало крещендо в продолжение всего первого акта, так что под конец каждый с нетерпением ожидал возможности поделиться с кем-нибудь из близко знакомых переполнившими душу впечатлениями.

И действительно, последовавший затем антракт не походил на обыкновенные: началось сильное передвижение, но довольно долго почти никто не выходил из партера: отовсюду слышались горячие восклицания восторга и удивления. Вызовам, казалось, не будет конца...»

Триумфы певицы продолжались и далее, восторженная толпа поклонников и поклонниц ожидала всякий раз при выходе из театра, за счастье почитали получить один цветок или лепесток из её букета, провожали её карету до самой квартиры. В этом энтузиазме не обходилось и без преувеличений. «Она была необыкновенным явлением на нашей сцене, разбудила нас от спячки, внесла в нашу жизнь новые художественные ощущения, настроила нас на возвышенный лад, потрясла наши нервы» — таково было единодушное мнение благодарной публики Петербурга.

Вспоминали, что арию Амины в «Сомнамбуле» Беллини она спела так, что «звуки её голоса не могут быть забыты вовеки. Кто слыхал эту арию, исполнявшуюся Виардо, тому казалось, что подобное исполнение «выше человеческих средств». Тайна влияния Полины Виардо на русскую публику заключалась не только в исключительных технических возможностях её голоса широчайшего диапазона, но и в талантливости актерской игры. Рубини не раз после спектаклей говорил Полине: «Не играй так страстно — умрешь на сцене!»

В Москве Виардо исполняла русские романсы, и особенно успешно «Соловья» Алябьева...

С тех пор Тургенев ходил как в тумане: все помыслы его были сосредоточены на одном — познакомиться лично с Полиной. Вскоре представился к этому удобный случай. 28 октября 1843 года в доме второстепенного поэта, преподавателя литературы во Втором кадетском корпусе А. А. Комарова Тургенев встретился с мужем Полины Луи Виардо. С двенадцати лет Луи был охотником с ружьем и собакой, и у них мгновенно завязался самый оживленный разговор. Намечен был день выезда на охоту в окрестностях Петербурга, рассказы Тургенева о прелестях русской охоты привлекли внимание Луи к талантливому собеседнику и, как оказалось, поэту, писателю. Луи был старше Тургенева на восемнадцать лет и на двадцать — Полины: он родился в 1800 году в Дижоне во французской буржуазной семье, успешно окончил курс школы права в Париже, но вскоре оставил юридическое поприще ради литературы и искусства. В разговорах с Тургеневым Луи показал себя знатоком голландской и испанской живописи, испанской истории и литературы. В 1836 году он перевел на французский язык «Дон Кихота» Сервантеса. Тургенев вспомнил, что он уже держал эту книгу в своих руках. Элегантный брюнет высокого роста, с красивыми правильными чертами лица, он был мягок характером, подобно Тургеневу, но только уж слишком мнителен относительно своей персоны и несколько суховат. Тургенев сошелся с Луи и в общественных убеждениях: как журналист, Виардо находился в оппозиции к правительству короля Луи Филиппа, он был последовательным республиканцем и сочувственно, заинтересованно отнесся к антикрепостническим взглядам Тургенева.

Вероятно, от Луи Тургенев узнал и некоторые подробности личной жизни Полины, историю семейства Гарсиа. С Полиной Луи встретился впервые, когда она была еще девочкой, а он — другом и советчиком её старшей сестры, знаменитой певицы Марии-Феличиты Малибран. Отец Полины уже тогда прочил младшей дочери славное артистическое будущее. «Марию надо было заставлять работать железной рукой, — говорил он, — а Полину можно вести на шелковом поводке». Тогда некрасивая внешность Полины и её склонность к мальчишеским шалостям не понравились Луи Виардо. После смерти отца Полину взяла на воспитание Мария. До пятнадцати лет её готовили стать пианисткой, и она занималась музыкой под руководством Ф. Листа, в которого, конечно, влюбилась. Но с возрастом у нее сформировался и окреп необыкновенный голос; тогда мать Полины, тоже известная певица, в молодости «служившая украшением Мадридского театра», стала учить её вокальному искусству.

В 1838 году Полина Гарсиа дала свой первый концерт в зале парижского театра «Ренессанс». Знаменитый французский поэт Альфред де Мюссе воскликнул после концерта: «Поёт, как дышит!» — и влюбился в юную артистку, а Жорж Санд записала в своём дневнике: «Как трагическая актриса — она лучше Рашели, и поет, как никогда не пели ни её сестра, ни Паста».

В 1839 году между Полиной, Жорж Санд и Шопеном завязалась тесная дружба. Жорж Санд сыграла решающую роль в замужестве Полины, поддержав её решение отказать Альфреду де Мюссе, которого хорошо знала. Раздосадованный поэт изобразил ход своего сватовства к Полине в 17 сатирических рисунках: в каждом из них нос худого и длинного Виардо удлинялся или укорачивался, в зависимости от колебаний Полины в выборе жениха, а дородная «Индиана» (Ж. Санд), дымя папиросой, урезонивала юную певицу. Полина вдохновила Жорж Санд на создание образа певицы Консуэло в одноименном романе, взбудоражившем всю Европу, а в России воспринятом с энтузиазмом, который породил общественное движение за эмансипацию женщин.

Имя Жорж Санд было в те годы священным для русского человека. «Я думаю, я не ошибусь, — вспоминал Достоевский, — что Жорж Занд <...> заняла у нас сряду чуть не самое первое место в ряду целой плеяды новых писателей, тогда вдруг прославившихся и прогремевших по всей Европе <...> Надо, кстати, заметить, что к половине сороковых годов слава Жорж Занда и вера в силу её гения стояли так высоко, что мы, современники её, все ждали от нее чего-то несравненно большего в будущем, неслыханного еще нового слова, даже чего-нибудь разрешающего и уже окончательного <...> Она основывала свой социализм, свои убеждения, надежды и идеалы на нравственном чувстве человека, на духовной жажде человечества, на стремлении его к совершенству и к чистоте, а не на муравьиной необходимости. Она верила в личность человеческую безусловно (даже до бессмертия ее), возвышала и раздвигала представление о ней всю жизнь свою — в каждом своем произведении и тем самым совпадала и мыслию, и чувством своим с одной из самых основных идей христианства, то есть с признанием человеческой личности и свободы её (а стало быть, и её ответственности). Отсюда и признание долга и строгие нравственные запросы на это и совершенное признание ответственности человеческой. И, может быть, не было мыслителя и писателя во Франции в её время, в такой силе понимавшего, что «не единым хлебом бывает жив человек».

Духовное родство Полины Виардо с французской писательницей еще более возвышало её в глазах Тургенева. Счастьем представлялось уже простое знакомство с нею. И вот 1 ноября 1843 года, утром, в доме на Невском, против Александринского театра, свершилось событие, которое Тургенев называл «священным днем» своей жизни. Вспоминая потом о первом знакомстве с Тургеневым, Полина Виардо говорила: «Мне его представили со словами: «Это — молодой русский помещик, славный охотник и плохой поэт».

Отныне Тургенев оказался в числе четырех избранных поклонников Полины Виардо. Первым считался сын директора императорских театров С. А. Гедеонов. По воспоминаниям современников, «он приказал устроить возле сцены Большого театра особую комнату, где Виардо проводила несколько часов после каждого спектакля среди своих друзей, число которых сначала было неограниченно, но потом в волшебный покой допускались только четверо»: С. А. Гедеонов, А. А. Комаров, И. П. Мятлев, И. С. Тургенев. Все — начинающие поэты и охотники. Однажды они убили медведя в лесных окрестностях Петербурга и «привезли в подарок своей богине редкую по красоте и величине шкуру». «Виардо всякий раз после спектакля покоилась на этой шкуре, а друзья помещались у лап, занимали артистку рассказами о своих похождениях, читали стихи. Вскоре счастливцев прозвали четырьмя лапами: первой, второй, третьей и четвертой». Тургенев к числу первых «лап» не принадлежал, но и последней, вероятно, не был.

Восторг, возбужденный певицей в слушателях, был преходящим, но «в душу Тургенева этот восторг вошел до самой сокровенной ее глубины и остался там навсегда, повлияв на всю личную жизнь этого «однолюба» и, может быть, в некоторых отношениях исказив то, чем эта жизнь могла бы быть, — писал друг Тургенева А. Ф. Кони. — Несомненно, что описание Тургеневым внезапно налетевшей на некоторых из его героев любви, вырвавшей подобно буре из сердца их слабые ростки других чувств, — и те скорбные, меланхолические ноты, которые звучат в описаниях душевного состояния этих героев в «Вешних водах», «Дыме» и «Переписке», имеют автобиографический источник. Недаром он писал в 1873 году г-же Комманвиль: «Ваше суждение о «Вешних водах» совершенно правильно; что же касается второй части, которая недостаточно обоснована и не необходима, я дал себя увлечь воспоминаниям». Замечательно, что более чем через тридцать пять лет после первых встреч с Виардо, в сентябре 1879 года, Тургенев начал одно из своих чудных «Стихотворений в прозе» словами:

«Где-то, когда-то, давно-давно тому назад, я прочел одно стихотворение. Оно скоро позабылось мною, но первый стих остался у меня в памяти: «Как хороши, как свежи были розы...» Теперь зима; мороз запушил стекла окон; в темной комнате горит одна свеча; я сижу, забившись в угол; а в голове все звенит да звенит: «Как хороши, как свежи были розы...» Оказывается, что забытое Тургеневым и слышанное им *где-то* и *когда-то* стихотворение принадлежало Мятлеву и было напечатано в 1843 году под названием «Розы». Вот начальная строфа этого произведения, звучащая через три с половиной десятилетия своим первым стихом в памяти незабвенного художника, вместе с Мятлевым восхищавшегося Виардо-Гарсией:

Как хороши, как свежи были розы
В моем саду! Как взор прельщали мой!
Как я молил весенние морозы
Не трогать их холодною рукой!

Вероятно, общение с одаренными молодыми людьми приносило Полине Виардо не только чувство самолюбивого удовлетворения своими актерскими и вокальными успехами. Её брак с Луи Виардо нельзя назвать счастливым: уж слишком большой возрастной барьер отделял их друг от друга. Луи любил жену, не докучал ей мелкими придирками ревности, к её увлечениям относился с пониманием, ни в чем не стеснял её свободы, но даже расположенная к нему Жорж Санд находила Луи «унылым, как ночной колпак», и отмечала в дневнике, что Полина любила мужа «без гроз и страстей». Впоследствии Виардо признавалась «шепотом на ушко» Ю. Рицу, что её сердце «немного устало от изъявлений любви, разделить которую она не может».

Любовь, которую испытывал Тургенев к Полине Виардо, была необычной и странной. Что-то от средневекового рыцарства со священным культом «прекрасной дамы» проскальзывало в ней. В глазах Тургенева певица возносилась на высокий пьедестал, была недосягаема в своей божественной красоте и могуществе; хотелось пасть ниц к её ногам, целовать край её платья, ступни ног её и следы, которые она оставляет на земле. Малейший знак внимания с её стороны доставлял ему какое-то сладостное и мучительное наслаждение. В демократическом кружке Некрасова приземленнее и проще смотрели на «таинственные отношения» между мужчиной и женщиной, и к

охватившему Тургенева романтическому чувству относились с иронической улыбкой, как к чудачеству богатого барина, аристократа.

А. Я. Панаева рассказывала, как дорожил Тургенев малейшим вниманием Виардо: «Я помню, раз вечером Тургенев явился к нам в каком-то экстазе.

— Господа, я так счастлив сегодня, что не может быть на свете другого человека, счастливее меня! — говорил он.

Приход Тургенева остановил игру в преферанс, за которым сидели Белинский, Боткин и другие. Боткин стал приставать к Тургеневу чтобы он поскорее рассказал о своем счастье, да и другие очень заинтересовались. Оказалось, что у Тургенева очень болела голова, и сама Виардо потерла ему виски одеколоном. Тургенев описывал свои ощущения, когда почувствовал прикосновение её пальчиков к своим вискам. Белинский не любил, когда прерывали его игру, бросал сердитые взгляды на оратора и его слушателей и наконец воскликнул нетерпеливо:

— Хотите, господа, продолжать игру или смешать карты?

Игру стали продолжать, а Тургенев, расхаживая по комнате, продолжал еще говорить о своем счастье. Белинский поставил ремиз и с сердцем сказал Тургеневу:

— Ну, можно ли верить в такую трескучую любовь, как ваша?»

Но любовь Тургенева была именно такой. Однажды в разговоре с Полонским он заявил, что не может понять, отчего граф Толстой так очевидно пристрастен к Левину, тогда как этот Левин для него антипатичен донельзя — эгоист и себялюбец в высшей степени.

— Неужели же, — говорил Тургенев, — ты хоть одну минуту мог подумать, что Левин влюблен или любит Кити, или что Левин вообще может любить кого-нибудь? Нет, любовь есть одна из тех страстей, которая надламывает наше «я», заставляет как бы забывать о себе и своих интересах. Левин же, узнавши, что он любим и счастлив, не перестает носиться со своим собственным «я», ухаживать за собой... Не одна любовь, — продолжал Тургенев, — всякая сильная страсть, религиозная, политическая, общественная, даже страсть к науке, надламывает наш эгоизм. Фанатики идеи, часто нелепой и безрассудной, тоже не жалеют головы своей. Такова и любовь...

В повести «Дневник лишнего человека» Тургенев писал: «Найти приют, свить себе хотя временное гнездо, знать отраду ежедневных отношений и привычек — этого счастья я, лишний, без семейных воспоминаний человек <...> не испытал». В тургеневской любви к женщине отсутствовало душевное равновесие, которое дается человеку в детстве поэзией семейных отношений, культурой одухотворенных родственных чувств. На всех любовных увлечениях Тургенева лежала печать рокового прошлого, проклятье жизни в безлюбовной семье, лишенной теплоты и ласки, домашнего уюта и заботы, душевного взаимного родства. Взамен духовной крепости и силы в тургеневской любви в избытке расцвела чувственная утонченность, способность безграничного преклонения и подчинения воле и власти женского существа.

Есть, вне сомнения, автобиографический элемент в самопризнаниях героя тургеневской повести «Переписка» о происшествии, которое оказало сильное влияние на его судьбу: «А именно: я отправился в театр смотреть балет. Я балетов никогда не любил и ко всем возможным актрисам, певицам, танцоркам чувствовал всегда тайное отвращение... Но, видно, ни судьбы своей переменить нельзя, ни самого себя никто не знает, да и будущее тоже предвидеть невозможно <...> Словом, я влюбился в одну танцовщицу.

Это было тем более странно, что и красавицей её нельзя было назвать. Правда, у ней были удивительные золотисто-пепельные волосы и большие светлые глаза, с задумчивым и в то же время дерзким взором... Мне ли не знать выражения этого взора? Я целый год замирал и гас в его лучах! Сложена она была прекрасно, и когда она плясала свой народный танец, зрители, бывало, топали и кричали от восторга... Но, кажется, кроме меня, никто в нее не влюблялся — по крайней мере, никто так не влюбился, как я. С той самой минуты, как я увидел ее в первый раз (поверите ли, мне даже и теперь стоит только закрыть глаза, и тотчас передо мною театр, почти пустая сцена, изображающая внутренность леса, и она выбегает из-за кулис направо, с виноградным венком на голове и тигровой кожей по плечам), — с той роковой минуты я принадлежал ей весь, вот как собака принадлежит своему хозяину; и если я и теперь, умирая, не принадлежу ей, так это только потому, что она меня бросила.

Говоря правду, она никогда особенно и не заботилась

обо мне. Она едва замечала меня, хотя весьма добродушно пользовалась моими деньгами. Я был для нее, как она выражалась на своем ломаном французском наречии: «oun Rousso, boun enfan» * — и больше ничего. Но я... я уже не мог жить нигде, где она не жила; я оторвался разом от всего мне дорогого, от самой родины, и пустился вслед за этой женщиной.

<...> В немецких сказках рыцари впадают часто в подобное оцепенение. Я не мог отвести взора от черт её лица, не мог наслушаться её речей, налюбоваться каждым её движеньем; я, право, и дышал-то вслед за ней. Впрочем, она была добра, непринужденна, даже слишком непринужденна, не ломалась, как большею частью ломаются актрисы. В ней было много жизни, то есть много крови, той южной, славной крови, в которую тамошнее солнце, должно быть, заронило часть своих лучей.

<...> Я не ожидал, какую роль мне придется разыгрывать. Я не ожидал, что буду таскаться по репетициям, мерзнуть и скучать за кулисами, дышать копотью театральной, знакомиться с разными, совершенно неблаговидными лицами... что я говорю, знакомиться — кланяться им; я не ожидал, что буду носить шаль танцовщицы, покупать ей новые перчатки, чистить белым хлебом старые (я и это делал, ей-ей!), отвозить домой её букеты, бегать по передним журналистов и директоров, тратиться, давать серенады, простужаться, занемогать... Я не ожидал, что получу, наконец, в одном немецком городишке затейливое прозванье: der Kunst-Barbar... ** И всё это даром, в самом полном смысле слова — даром! Вот то-то и есть... Помните, как мы с вами словесно и письменно рассуждали о любви, в какие тонкости вдавались; а на поверку выходит, что настоящая любовь — чувство, вовсе не похожее на то, каким мы её себе представляли. Любовь вовсе даже не чувство; она — болезнь, известное состояние души и тела; она не развивается постепенно; в ней нельзя сомневаться, с ней нельзя хитрить, хотя она и проявляется не всегда одинаково; обыкновенно она овладевает человеком без спроса, внезапно, против его воли — ни дать ни взять холера или лихорадка... Подцепит его, голубчика, как коршун цыпленка, и понесет его куда угодно, как он там ни бейся и ни упирайся... В любви

* Русский простак *(франц.)*.
** Варвар от искусства *(нем.)*.

нет равенства, нет так называемого свободного соединения душ и прочих идеальностей, придуманных на досуге немецкими профессорами... Нет, в любви одно лицо — раб, а другое — властелин, и недаром толкуют поэты о цепях, налагаемых любовью. Да, любовь — цепь, и самая тяжелая. По крайней мере, я дошел до этого убеждения, и дошел до него путем опыта, купил это убеждение ценою жизни, потому что умираю рабом».

Этот суровый монолог на грани авторского самопризнания Тургенев написал в 1854 году. Он чувствовал, что роковое бремя такой любви ему придется нести до самой смерти. В трагической любви героя «Переписки» Тургенев видел отголосок всероссийской драмы, источником которой являлся все тот же крепостнический порядок вещей в стране, все те же привычки рабства в нашей психологии. Безволие героя Тургенев оценивал как исторически приобретенную национальную черту. В романе «Дым» писатель сказал устами Потугина: «Привычки рабства слишком глубоко в нас внедрились; нескоро мы от них отделаемся. Нам во всем и всюду нужен барин...»

Тургеневу как человеку и художнику не суждено было почувствовать и пережить любовь в той полноте и жизненной укорененности, какую ощутил и передал его соперник, друг и антипод Лев Николаевич Толстой. Зато с проникновенным мастерством и утонченнейшей поэзией он чувствовал и воскрешал мгновенья чистой, трепетной и радостной влюбленности. До самой старости он сохранил в душе способность любить избранницу свежо и молодо, весенним чувством первой, искренней любви, в которой чувственность преображается до степени чистейшего духовного огня. Другим и противоположным полюсом любви в произведениях Тургенева была слепая и нерассуждающая власть её над человеческой душой, когда весь человеческий состав надламывался, терялось собственное «я» и любящий оказывался в положении безгласного раба.

Любовь к Полине Виардо у русского Тургенева не знала чувства меры и естественного равновесия: она лишь колебалась между полюсами «святости» и «рабства», хотя общение с талантливой артисткой погружало его в атмосферу ценимых и любимых им искусств. Полина Виардо была не только выдающейся певицей, не только незаурядной пианисткой, но и композитором, талантливой по-своему художницей и человеком, наделенным тонким литературным чутьем. Тургенев с детских

лет был неизменным поклонником и ценителем музыки. Случалось, что в Спасском, оставаясь в одиночестве, он испытывал настоящий музыкальный голод, и тогда он подходил к фортепиано и одним-двумя пальцами слегка наигрывал любимую мелодию и подпевал высоким тонким голосом, не соответствующим ни его росту, ни широкой, богатырски сложенной груди. Он обладал безукоризненным музыкальным слухом, улавливающим самую ничтожную ошибку, любой фальшивый звук. Музыкальная его память вызывала удивление у современников; он помнил в исполнении Полины Виардо такие подробности, а преклонение перед её талантом достигало такой высокой степени, что иногда во время концерта или в ходе постановки оперы он не выдерживал и забывáлся, вставал с кресел и начинал жестикулировать или подтягивать певице, пока кто-нибудь из недовольных зрителей не одергивал его.

Со временем приступы любовной лихорадки повторялись реже, но крепла связь с чужим семейством, «на краюшке» которого он нашел себе приют. Тургенев очень любил детей Виардо, относился к ним с настоящей отеческой нежностью, они же, в свою очередь, привязались к доброму и ласковому великану из России, гуляющему с ними часами, рассказывающему импровизированные сказки. Особенно теплыми были чувства Тургенева к Марианне и Клавдии, младшим детям Полины и Луи.

С Луи Виардо его связывали прочные приятельские чувства. Они часто занимались совместными переводами с русского на французский, и уже в 1845 году, благодаря сотрудничеству Тургенева и доброй воле Виардо, во Франции появились первые переводы Гоголя. Тургенев очень увлекался живописью и чрезвычайно высоко ценил эстетическое чутье друга, большого знатока и ценителя изобразительных искусств, автора капитальных трудов по этому вопросу. Сближала их и страсть к охоте, которой они неизменно предавались на протяжении долгих лет жизни под одной крышей.

А в отношениях с Полиной главным было обожание «единственной в мире» женщины и артистки. Избалованная славой и успехом, которые сполна выпали ей на долю, она обладала характером сильным и властным, обостренным чувством самолюбия и гордости, умением подчинять себе людей и наслаждаться их благоговейным почитанием. Тургенев же перегорал в эстетических восторгах и сорокавосьмилетней своей богине пятидесятилетним

мужем писал письма, как юный Ромео пятнадцатилетней Джульетте: «Я не могу больше. Я не могу жить вдали от вас. Я должен чувствовать вашу личную близость, наслаждаться ею. День, когда ваши глаза не светили мне, — погибший для меня день... Ах! довольно! довольно! Иначе я не совладаю с собой». Он по-прежнему «с несказанным умилением простирался у её ног», вновь просил «её милые руки», чтобы «выцеловать всю душу», рассыпался в словах благодарности за простую справку о здоровье, за «милую записочку». Всякая подробность её жизни оставалась для Тургенева священной и значительной: в письмах к Людвигу Пичу сообщалось об опухоли её пальца, при известии о том, что её нос укусила муха, едва не совершался побег из Спасского в Париж.

Тут чистейшая любовь действительно опасно балансировала на грани подданства: «Для меня её слово — закон!» В разговоре с Полонским Тургенев всерьез говорил о «присухе» и утверждал, что Полина Виардо — колдунья. Николай Сергеевич намекал, что «такие тайны доверяют только брату», а Некрасов настоятельно советовал Тургеневу не шутить со своими нервами и действовать решительно, — иначе не придется уехать из Парижа. Тургенев не послушал. И снова он «исходит в непрестанном обожании» и «на коленях целует священный для него подол ее платья». «Он страдал сознанием, что не может победить женской души и управлять ею», — говорил близкий друг Тургенева П. В. Анненков.

Но в романе с Полиной Виардо этот недостаток был достоинством. Гениальная певица сама обладала сильной страстью только на сцене и для сцены. Здесь она могла казаться воплощением тропического зноя. А в жизни не было человека благоразумнее и трезвее. Тургенев изумлялся её способности быть вечно здоровой, веселой и деятельной. А Жорж Санд поражалась уравновешенным эгоизмом жгучей актрисы, её «спокойной и ревнивой» заботливостью о своем покое. «Декабрьское превращение» Луи Наполеона в Наполеона III, например, несказанно взволновало всех, кто был небезразличен к политической свободе Франции. Спокойной осталась одна Полина: она даже приказала не принимать мужчин, потому что они надоедали ей своими вопросами. «Это меня только даром утомляет и волнует», — объясняла она. «Уметь рассчитать, когда стоит и не стоит волноваться, и переживать только *не напрасные* волнения — значит вовсе не испытывать непосредственных волнений, быть неспособной

на такие волнения. Поистине — дар богов — не менее драгоценный, чем сценический талант! Не Тургеневу, разумеется, было взволновать эту необыкновенную душу», — писал старый биограф Тургенева И. И. Иванов.

Как только Варвара Петровна узнала о роковом увлечении сына, сердце её упало: она считала своих сыновей однолюбами, и тревоги её оказались не напрасны. Во время гастролей Полины в Москве Варвара Петровна была на одном из концертов и, скрепя материнское сердце, признала: «Хорошо проклятая цыганка поёт». Но, не умея подействовать на сына ласковым проникновенным словом и советом, по привычке старой крепостницы, она решила сократить материальную поддержку. Постепенно она свела её до такого минимума, что Тургеневу нечем было платить за квартиру, а порой и за обед. С 1843 года он переживает трудное время. Среди новых друзей круга Белинского он слывет богачом и аристократом. Тургенев вхож в великосветские салоны, он усвоил с юности замашки светского человека и привык жить широко. А теперь приходится занимать деньги у Панаева и Некрасова, на концерты ходить в чужие ложи, не имея средств оплатить дорогие билеты, и при этом как-то выкручиваться, делать вид, что ничего не произошло. Временами в связи с ложным своим положением он попадает в неловкие ситуации, дающие повод заподозрить его в хлестаковщине. А. Я. Панаева вспоминает, как в разговоре на даче у Белинского Тургенев похвалился искусным поваром, умевшим готовить очень тонкие блюда.

— Небось, графов и баронов угощаете тонкими обедами, а своих приятелей-литераторов не приглашаете к себе, — шутя заметил Белинский.

Тургенев пришел в замешательство: конечно, по своему положению в обществе он должен, обязан был приглашать в гости друзей. Этого требовал общепринятый кодекс порядочного светского человека, но как быть, если повар у него действительно искусный, да не на что приготовить обед. Отказаться — стыдно, сказать правду — не поверят. И вот, не подавая виду, не обнаруживая внутреннего замешательства, он приглашает всех к себе на дачу на обед. Когда же гости в назначенный час к нему являются, виновника обещанного торжества не оказывается дома... За этим следуют тургеневские визиты с извинениями и ссылкой на забывчивость. Другого выхода он придумать не мог.

Бывали промахи и профессионального характера: Тургенев — мастер устного рассказа, и в ходе разговора о случившихся в действительности событиях его воображение разыгрывается, в рассказ включается творческая фантазия, — а в результате складывается мнение, что он любитель прихвастнуть и сочинитель небылиц. Водилась в молодости за Тургеневым еще одна особенность: пресыщенный в Берлине отвлеченно-философскими разговорами на эстетические темы, он прерывал нередко словоизлияния приятелей какой-нибудь нелепой выходкой. Однажды, например, Тургенев заявил, что перед великими произведениями искусства, живописи и скульптуры он испытывает зуд под коленами и ощущает, как икры его ног обращаются в треугольники. Здесь автор «Гамлета Щигровского уезда» допускал сознательный и дерзкий эпатаж.

Манера поведения Тургенева, не вполне понятая современниками, была умышленным протестом против нивелирующего личность кружкового воспитания, инерция которого еще сказывалась в среде петербургских литераторов. Впоследствии устами уездного Гамлета, дворянина Василия Васильевича, Тургенев дал уничтожающую критику наиболее отрицательных сторон кружковой жизни, которые испытал он сам: «...Кружок — да это гибель всякого самобытного развития; кружок — это безобразная замена общества, женщины, жизни... Кружок — это ленивое и вялое житьё вместе и рядом, которому придают значение и вид разумного дела; кружок заменяет разговор рассуждениями, приучает к бесплодной болтовне, отвлекает вас от уединенной, благодатной работы, прививает вам литературную чесотку; лишает вас, наконец, свежести и девственной крепости души. Кружок — да это пошлость и скука под именем братства и дружбы, сцепление недоразумений и притязаний под предлогом откровенности и участия; в кружке, благодаря праву каждого приятеля во всякое время и во всякий час запускать свои неумытые пальцы прямо во внутренность товарища, ни у кого нет чистого, нетронутого места на душе; в кружке поклоняются пустому краснобаю, самолюбивому умнику, довременному старику, носят на руках стихотворца бездарного, но с «затаенными» мыслями; в кружке молодые, семнадцатилетние малые хитро и мудрено толкуют о женщинах и любви, а перед женщинами молчат или говорят с ними, словно с книгой, — да и о чем говорят! В кружке процветает хитростное красноречие; в кружке наблюдают друг за другом не хуже полицейских чиновников... О кружок! ты не кружок: ты заколдованный круг, в котором погиб не один порядочный человек!»

В непривычно резкой для Тургенева характеристике прорывается еще не остывшее раздражение интеллектуальной замкнутостью философских кружков. Преодолевая романтизм и идеализм, Тургенев слишком беспощадно оценивает «метафизический» период своей и русской духовной жизни 1830 — начала 40-х годов. «Посудите сами, — восклицает уездный Гамлет, — какую, ну, скажите на милость, какую пользу мог я извлечь из энциклопедии Гегеля? Что общего, скажите, между этой энциклопедией и русской жизнью? И как прикажете применить её к нашему быту, да не её одну, энциклопедию, а вообще немецкую философию... скажу более — науку?»

Позднее в романе «Рудин» писатель внесет существенные поправки в столь однозначную и однобокую характеристику. Ученый круга Тургенева, известный либеральный профессор Б. Н. Чичерин вспоминал: «Однажды я сказал Ивану Сергеевичу, что напрасно он в «Гамлете Щигровского уезда» так вооружился против московских кружков... Это были легкие, которыми в то время могла дышать сдавленная со всех сторон русская мысль... Тургенев согласился с моим замечанием».

В КРУГУ «СОВРЕМЕННИКА»

«Семена, посеянные Гоголем, — мы в этом уверены, — безмолвно зреют теперь во многих умах, во многих дарованиях; придет время — и молодой лесок вырастет около одинокого дуба», — писал Тургенев в 1846 году. К этому времени вокруг В. Г. Белинского объединилась целая группа писателей-реалистов, последователей Гоголя, сторонников так называемой «натуральной школы».

В 1845 году вышел в свет первый сборник, составленный Н. А. Некрасовым из трудов этих писателей, — «Физиология Петербурга». В предисловии к сборнику Белинский призывал русскую литературу выйти за пределы кружкового столичного существования на простор разноголосой и пестрой российской действительности: «Великороссия, Малороссия, Белоруссия, Новороссия, Финляндия, Остзейские губернии, Крым, Кавказ, Сибирь, — всё это целые миры, оригинальные и по климату, и по природе,

и по языкам и наречиям, и по нравам и обычаям, и особенно по смеси чисто русского элемента со множеством других элементов, из которых иные родственны, а иные совершенно чужды ему! Мало этого: сколькими оттенками пестреет сама Великороссия не только в климатическом, но и в общественном отношении! Северная полоса России резко отличается от средней, а средняя — от южной. Переезд из Архангельска в Астрахань, с Кавказа в Уральскую область, из Финляндии в Крым — всё равно что переезды из одного мира в другой. Москва и Петербург, Казань и Харьков, Архангельск и Одесса — какие резкие контрасты! Какая пища для ума наблюдательного, для пера юмористического!»

Литературу, вышедшую из-под опеки романтической, кружковой эстетики, манила и звала к себе живая жизнь. Большую заботу о становлении писательского таланта Тургенева проявлял в эти годы Белинский. Общение с ним направило художественный поиск писателя по новому, демократическому руслу. В разговорах Белинский, идейный вдохновитель «Записок охотника», неоднократно напоминал Тургеневу, что «народ — почва, хранящая жизненные соки всякого развития; личность — плод и цвет этой почвы».

В министерстве внутренних дел Тургенев служил в канцелярии В. И. Даля, мастера рассказов из народного быта, составителя «Толкового словаря живого великорусского языка». В канцелярию Даля попадали дела о наказаниях, о сектантах, о «преобразованиях губернских правлений», о земской полиции и т. п. Именно по этим делам Тургеневу приходилось составлять доклады, записки, отношения. Поэтому служба расширяла знакомство писателя с современной жизнью народа, в частности, с русскими раскольниками и их сектами. Возможно, уже здесь созревал у Тургенева образ Касьяна-правдоискателя из секты «бегунов». Немаловажное влияние на будущего автора «Записок охотника» оказывал и начальник канцелярии. В то время Даль собирал и обрабатывал материалы для словаря. Самая тесная дружба объединяла его с подчиненными. Как только они освобождались от дела, завязывались споры и рассуждения о русском языке. Тургенев питал особое пристрастие к употреблению в разговоре провинциальных выражений, Белинский даже называл его в шутку «орловцем, не умеющим говорить по-русски». И этим качеством своего подчиненного литератора Даль очень дорожил.

Однако служба не приносила Тургеневу удовлетворения: он видел, что деятельность бюрократических кругов слишком далека от решения практического вопроса, которому стоило посвятить жизнь. В министерстве Тургенев часто сталкивался с проявлением той же деспотической силы, которая была ему глубоко ненавистна: наказание без суда и следствия, административным порядком, петербургских бродяг; суровые полицейские меры по отношению к раскольникам. А однажды и сам Тургенев сделал досадную оплошность, окончательно выбившую его из колеи: «переписывая бумагу, влепил какому-то несчастному вору вместо 30 ударов плети — триста ударов кнута». Вместе с нараставшим желанием бросить службу в министерстве зрели новые писательские планы. В рецензии на «Повести, сказки и рассказы Казака Луганского» — В. И. Даля — Тургенев писал, что «в русском человеке таится и зреет зародыш будущих великих дел, великого народного развития». Его внимание всё более и более привлекала низовая, крестьянская или патриархально-дворянская Русь. Тургенев утверждал, что «народный писатель» должен проникнуться «сочувствием к народу, родственным к нему расположением, наивной и добродушной наблюдательностью».

Все эти качества, необходимые для «народного писателя», открывала перед Тургеневым охота. В последние наезды в Спасское он стал более внимательно присматриваться к русскому мужику. Охота превращалась в способ особого изучения всего строя народной жизни, внутреннего склада крестьянских характеров. В общении с Афанасием Алифановым и другими охотниками из народа Тургенев убеждался, что «вообще охота свойственна русскому человеку; дайте мужику ружьё, хоть веревками связанное, да горсточку пороху, и пойдет он бродить, в одних лаптишках, по болотам да по лесам, с утра до вечера». И сколько он всего насмотрится в своей скитальческой жизни! Но главное в том, что охота сближает людей между собою, что на этой общей для него, барина, и для простого мужика основе между ними возникает особый характер отношений, немыслимый в обычной, повседневной действительности. Когда Тургенев в Спасском, для Афанасия он барин, и отношения с ним складываются соответствующим образом. Но стоит им вдвоем покинуть усадьбу и затеряться в лесной глуши или дальних деревеньках, — всё сразу меняется. Исчезает в Афанасии подобострастное выражение лица, интонации голоса

изменяются, да и весь характер тоже. На охоте он ведет себя с Тургеневым на равных, что барин, что мужик — нет разницы: оба охотники. И одеваются они одинаково, так что господина от слуги если и можно отличить, то по высокому росту и походке.

Вспомнился Тургеневу курьезный, но характерный случай. Отправляясь на охоту, он брал с собой обычно сухое вино, разбавленное водой, и несколько бубликов. Афанасий носил провизию в своей сумке. И вот однажды устали охотники, сели под деревом.

— Ну, теперь можем и поесть, — сказал Тургенев.

— А всё съедено, нет вина и бубликов, — спокойно отвечал Афанасий.

— Но как ты посмел съесть их?

— Как хотите, — спокойно ответствовал верный слуга. — Я раскупорил бутылку, налил вино и выпил его, а бубликами закусил...

«Ну мыслимое ли это дело, чтобы в границах Спасского слуга мог позволить себе подобное? А на охоте это возможно, тот же Афанасий видит во мне не барина, а охотника, такого же, как он, человека. Вот что мне в охоте и дорого: я люблю охоту за её свободу».

Да и мужики, с которыми он встречался в охотничьих странствиях, вели себя с ним необычно, были перед ним щедро откровенны, доверчиво сообщали свои тайны. И всё по той же причине: он был для них охотником, а охотник — ведь это странник, бродяга, отрешившийся от тех ложных ценностей, которые в мире социального неравенства разобщают людей.

Раз в Калужской губернии Тургенев встретился с мужиком, поразившим его государственным складом ума. Он жил посреди леса: на расчищенной поляне стоял его добротно сложенный дом, и сам хозяин был «кряжист, сед и плотен». Мужик этот, прозванный в народе Хорем, был крайне любопытен и, узнав о пребывании Тургенева за пределами отечества, много расспрашивал его о порядках в немецких землях, и не просто выслушивал, а постоянно как бы на себя и на русскую крестьянскую жизнь примеривал заморские обычаи и здраво рассуждал о том, что русскому человеку не годится, а что ему явно бы подошло. Тургенев так и вздрогнул от удивления и тайной радости: мужик-то этот буквально подтверждал правоту Белинского в тех долгих беседах, которые велись летом 1844 года. Вот он, русский человек, настоящий, не придуманный в кружках теоретизирующих интеллигентов. Он сам не хочет отрываться от Европы, а проявляет к ней живейший интерес и готовность учиться всему хорошему, что есть у его заграничных соседей.

Но тут же и другая мысль, уже печальная, пришла Тургеневу в голову. Прими он этого мужика в барских комнатах Спасского, — слова бы от него путного не добился, кроме: «Вы наши отцы, благодетели...» А почему? Да потому, что не доверяет мужик барину, даже если он добрый и вполне искренне хочет крестьянину помочь. Выход один — рубить цепь, которая лежит тяжелым бременем на плечах русского человека и не дает развернуться богатым творческим его возможностям.

На прощанье Хорь спросил у Тургенева:

— А что, у тебя своя вотчина есть?

— Есть.

— Далеко отсюда?

— Верст сто.

— Что же ты, батюшка, живешь в своей вотчине?

— Живу.

— А больше, чай, ружьем пробавляешься?

— Признаться, да.

— И правильно делаешь, стреляй себе тетеревов, да старосту меняй почаще.

С какой свободой этот Хорь оценивал никчемное положение нынешних господ в стране, какую ничтожную роль он отводил помещикам в культурной и хозяйственной жизни русской деревни!

Когда в 1845 году Тургенев оставил службу в министерстве внутренних дел и вместе с Луи и Полиной Виардо впервые посетил Францию, в Париже он встречался с Николаем Ивановичем Тургеневым, одним из первых русских борцов за освобождение крестьян. Не только мнимые родственные связи привели Ивана Сергеевича в дом опального декабриста, насильно лишенного родины. Он чувствовал, что найдет в этом доме поддержку своим мыслям и благословение на писательский труд. Николай Иванович живо интересовался тем, что происходит в России, и в связи с высокой оценкой Петровских реформ напомнил, что Яков Тургенев служил при Петре I шутом и стриг бороды боярам, а прапрадед Ивана Сергеевича Роман Семенович участвовал в первом Нарвском походе, отличился в Полтавской битве, был «ранен под левое плечо». Не в традициях тургеневского рода равнодушно взирать на царящие в стране произвол и насилие по отношению к русскому мужику. Он упрекал рус-

ских литераторов за упорное молчание по этому наболевшему вопросу: «Почему рабство в собственном смысле слова, рабство гражданское никогда не занимает их Музу? Как ни толкуй, но хладнокровному оставаться нельзя, когда один мучит — терпят другие по произволу. А бедных русских крепостных и вообще мужиков русских мне как-то особенно жаль, жаль донельзя. Как такое зрелище не образумит Жуковского? С его чистой нравственностью?»

Рассказы Ивана Сергеевича о богатых творческих возможностях русского народа, вынесенные из его охотничьих наблюдений, воодушевили Николая Ивановича: «Вот предмет для литературного изображения! Почему бы вам не продолжить Гоголя? Я читал его «Мертвые души». Это книга замечательная, но крестьянская Русь в ней остается на заднем плане. В ваших же рассказах она как живая. Грех носить всё это в себе, большой грех перед Россией!»

Окрыленным возвращался Тургенев на родину: радовали встречи с Полиной Виардо в Куртавнеле, работа с Луи над переводом статьи о русском хозяйстве и русском крестьянине, перевод «Капитанской дочки» Пушкина на французский язык, который сделал Луи с его помощью, наконец, общение с Николаем Ивановичем Тургеневым.

Кружок Белинского встретил Тургенева радостной новостью. Его познакомили с новым талантом, Федором Михайловичем Достоевским, автором повести «Бедные люди», которую сам Белинский поставил по художественным достоинствам вровень с Гоголем.

В поведении Достоевского Тургенев заметил угловатость и болезненность, резкие переходы от гордости и похвальбы к какой-то внутренней беспомощности и замешательству. Начнет вдруг громко и уверенно развивать захватившую его мысль, живым огнем зажгутся ясные глаза, но вдруг собьется, покраснеет, скомкает... Тургенев понял, что приливы гордости идут у Достоевского от неуверенности и робости, что это очень сложный, болезненно обидчивый, но, в сущности, незащищенный человек.

С вниманием и дружеской открытостью идет Тургенев навстречу Достоевскому и получает радостный ответный отклик. В письме к брату Михаилу Достоевский пишет с гордостью: «Ну, брат, никогда, я думаю, слава моя не дойдет до такой апогеи, как теперь. Всюду почтение неимоверное, любопытство насчет меня страшное. Я познакомился с бездной народу самого порядочного. Князь Одоевский просит меня осчастливить его своим посещением, а граф Соллогуб рвет на себе волосы от отчаяния. Панаев объявил ему, что есть талант, который их всех в грязь втопчет. Соллогуб обегал всех и, зашедши к Краевскому, вруг спросил его: Кто этот Достоевский? Где мне *достать Достоевского?* Краевский, который никому в ус не дует и режет все напропалую, отвечает ему, что «Достоевский не захочет Вам сделать чести осчастливить Вас своим посещением». Оно и действительно так: аристократишка теперь становится на ходули и думает, что уничтожит меня величием своей ласки. Все меня принимают как чудо. Я не могу даже раскрыть рта, чтобы во всех углах не повторяли, что Достоевский то-то сказал, Достоевский то-то хочет делать. Белинский любит меня как нельзя более. На днях воротился из Парижа поэт Тургенев (ты, верно, слыхал) и с первого раза привязался ко мне такою привязанностию, такою дружбой, что Белинский объясняет ее тем, что Тургенев влюбился в меня. Но, брат, что это за человек? Я тоже едва ль не влюбился в него. Поэт, талант, аристократ, красавец, богач, умен, образован, 25 лет, — я не знаю, в чем природа отказала ему? Наконец: характер неистощимо прямой, прекрасный, выработанный в доброй школе. Прочти его повесть в «Отечественных записках» «Андрей Колосов» — это он сам, хотя и не думал тут себя выставлять».

Не знал Достоевский, что этот красавец богач находится на «голодном пайке» у своей маменьки, что «выработан он» далеко не в идиллической «доброй школе». А потому, смотря на Тургенева в глубине души снизу вверх, с особенной обидчивостью относился к его подшучиваниям, которые казались Достоевскому капризами баловня-аристократа. В ответ на очередной прилив гордыни Достоевского Тургенев с Некрасовым написали эпиграмму, простить которую Федор Михайлович не имел сил:

Рыцарь горестной фигуры,
Достоевский, милый пыщ,
На носу литературы
Рдеешь ты, как новый прыщ...

Надо сказать, что в кругу Белинского такого рода эпиграммы были в ходу и, по негласному уставу кружка, на них не принято было обижаться. Все упражнялись в этой игре. У Тургенева иногда получалось злее и метче,

чем у других, и Дружинин, например, не обижался, когда Тургенев прочел ему следующее:

Дружинин корчит европейца.
Как ошибается, бедняк!
Он труп российского гвардейца,
Одетый в áнглийский пиджак.

А какая была эпиграмма на Боткина! Перепев пушкинского «Анчара», который завершался стихами:

К нему читатель не спешит,
И журналист его боится,
Панаев сдуру набежит
И, корчась в муках, дальше мчится.

Доставалось и грозному Никитенко, профессору Петербургского университета, бывшему тургеневскому наставнику. Уж что можно придумать ядовитее:

Исполненный ненужных слов
И мыслей, ставших общим местом,
Он красноречья пресным тестом
Всю землю вымазать готов...

Все прощали — и мстили ответными эпиграммами. А Достоевский не простил и простить не мог.

Ощущение неловкости за причиненную обиду, сделанную необдуманно и грубовато, не оставляло Тургенева всю жизнь:

— Да все это были грехи задорной юности моей, — признавался Тургенев Полонскому в 1881 году.

Однако эти «грехи задорной юности» были далеко не безобидного свойства, если учесть при них тургеневскую проницательность, умение разбираться в людях. «По молодости и нервности своей он (Достоевский. — *Ю. Л.*) не умел владеть собой и слишком явно высказывал свое авторское самолюбие, — вспоминала А. Я. Панаева. — Ошеломленный неожиданным блистательным первым своим шагом на литературном поприще и засыпанный похвалами компетентных людей в литературе, он, как впечатлительный человек, не мог скрыть своей гордости перед другими молодыми литераторами, которые скромно вступили на это поприще с своими произведениями. С появлением молодых литераторов в кружке беда была попасть на зубок, а Достоевский как нарочно давал к этому повод своей раздражительностью и высокомерным тоном, что он несравненно выше их по своему таланту. И пошли перемывать ему косточки, раздражать его самолюбие уколами в разговорах; особенно на это был мастер Тургенев — он нарочно втягивал в спор Достоевского и доводил его до высшей степени раздражения. Тот лез на стену и защищал с азартом иногда нелепые взгляды на вещи, которые сболтнул в горячности, а Тургенев подхватывал и потешался».

Белинский пытался вмешаться и не раз после ухода Достоевского урезонивал своих приятелей:

— Ну, да вы хороши, сцепились с больным человеком, подзадориваете его, точно не видите, что он в раздражении, сам не понимает, что говорит.

Но увещевания Белинского не действовали. «Раз Тургенев при Достоевском описывал свою встречу в провинции с одной личностью, которая вообразила себя гениальным человеком, и мастерски изобразил смешную сторону этой личности. Достоевский был бледен как полотно, весь дрожал и убежал, не дослушав рассказа Тургенева. Я заметила всем: к чему изводить так Достоевского? Но Тургенев был в самом веселом настроении, увлек и других, так что никто не придал значения быстрому уходу Достоевского».

Здесь уже сказывались типичные слабости тургеневской натуры: мягкость и уступчивость, отсутствие твердого и сильного волевого начала приводили порой к нравственной неустойчивости и легкомысленным, необдуманно-эгоистическим поступкам. Не случайно дочь Ф. И. Тютчева Анна Федоровна (впоследствии жена И. С. Аксакова) однажды сказала Тургеневу: «Вы — беспозвоночный в нравственном отношении». А приятель молодого Тургенева Е. Феоктистов вспоминал: «Когда Виардо поселилась в Петербурге и сводила с ума публику, Кетчер (живший тогда в Петербурге) и его друзья абонировали ложу где-то чуть ли не под райком; конечно, это было чересчур высоко, но Тургеневу приходилось завидовать даже им: он сблизился с знаменитой певицей, был одним из habutuès * её салона, а, между тем, как нарочно, в это время находился в крайней нужде (потому что мать, поссорившись, не высылала ни копейки), очень часто не хватало денег даже на билет. И тогда он отправлялся в ложу Кетчера. Но в антрактах спускался вниз, чтобы показаться лицам, с которыми привык встречаться у Виардо. Один из этих господ спросил:

* Завсегдатай *(франц.)*.

— С кем это вы, Тургенев, сидите в верхнем ярусе?
— Сказать вам по правде, — отвечал сконфуженный Иван Сергеевич, — это нанятые мною клакеры, нельзя без этого, нашу публику надо непременно подогревать...»

На беду случился тут один из знакомых Кетчера, который передал ему этот разговор, приведший Кетчера в неописуемую ярость.

Подобные снисходительно-легкомысленные поступки, соединенные с художественным непостоянством и широтою симпатий и увлечений, приводили к тому, что ему не доверяли многие приятели. Тургенев чувствовал это и по-своему мстил сарказмами. Так, жену Грановского, чувствительную и религиозную женщину немецкого происхождения, он называл за глаза «неудавшимся стихотворением Уланда», а своего приятеля Фролова в «Гамлете Щигровского уезда» — «отставным поручиком, удрученным жаждой знания, весьма, впрочем, тупым на понимание и не одаренным даром слова».

Был тут и еще один повод для обид у друзей Тургенева. Он заключался в особенности его писательского дарования. Тургенев не раз говорил, что он не умеет сочинять и что все характеры его героев собраны на основании синтеза тех типических свойств и черточек, которые он подмечает в реальной жизни, у знакомых ему людей. Потому-то в произведениях писателя очень многие друзья узнавали или себя, или свойства и привычки своих близких.

В январе 1846 года вышел в свет новый альманах писателей «натуральной школы». Тургенев опубликовал в «Петербургском сборнике» повесть «Три портрета», сатирическую поэму «Помещик», которую Белинский назвал «физиологическим очерком помещичьего быта». Уверенно входил писатель в большую литературу. Молодой критик Аполлон Григорьев счел повесть «Три портрета» «в высшей степени художественной».

В 1846 году, в мае месяце, на квартире у Белинского Тургенев познакомился с другим начинающим писателем Иваном Александровичем Гончаровым, который прочел свой роман «Обыкновенная история». Молодой романтик Александр Адуев обретал у Гончарова прочные жизненные корни, уходящие в патриархально-усадебную почву. Вспомнился Тургеневу миф об Антее: какую силу дает человеку соприкосновение с родной землей, с глу-

бинами российской провинции! Тургенев мог оценить Гончарова по достоинству: эту жизнь и сам он знал очень хорошо.

В Спасском-Лутовинове Тургенев сделал первые наброски очерка из крестьянской жизни. Он горячо одобрил идею предприимчивого Некрасова арендовать у П. А. Плетнева журнал «Современник», освободить Белинского от журнальной кабалы, в которой он оказался у Краевского, редактора-издателя «Отечественных записок», и предоставить ему на страницах обновленного «Современника» полную свободу. Это будет журнал последователей гоголевского направления, журнал литераторов «натуральной школы». В Петербурге уже подготовлено специальное объявление, разработана программа журнала. Тургенев значился в ней в числе ведущих сотрудников.

С некоторых пор Тургенев стал внимательно и пристально вглядываться в личность Некрасова, перечитывать его поэтические произведения. Они казались ему грубоватыми по сравнению с Пушкиным и даже Лермонтовым, но в них чувствовалась энергическая сила в отрицании темных сторон крепостнического быта, прозаическая с виду суровость, в которой тем не менее были своя правда и своя красота. Некрасовскую «Родину», например, Тургенев непроизвольно выучил наизусть. Нынешней весною, подъезжая к Спасскому, он твердил про себя «суровые и неуклюжие», тяжело бьющие в одну точку строки:

И вот они опять, знакомые места,
Где жизнь отцов моих, бесплодна и пуста,
Текла среди пиров, бессмысленного чванства,
Разврата грязного и мелкого тиранства;
Где рой подавленных и трепетных рабов
Завидовал житью последних барских псов,
Где было суждено мне божий свет увидеть,
Где научился я терпеть и ненавидеть...

Тургенев так увлекся, что не заметил, как дрожки подкатили к воротам Спасского. И вдруг раздался крик целого хора людских голосов: «Ура! Иван Тургенев!» Он поднял голову и увидел следующую картину: всех дворовых Варвара Петровна вывела на улицу и выстроила мужчин у подъезда, а женщин на балконе мезонина. На веранде, в ожидании сына, она стояла, бесконечно довольная своей барской затеей. Выбитый из колеи, раздраженный Тургенев приказал поворачивать лошадей обратно. И только посланный вдогонку Николай Нико-

лаевич сумел кое-как уговорить племянника вернуться назад.

Трудно было понять Варваре Петровне причину гнева её сына: ей казалось, что такое изъявление всеобщей любви придется молодому барину по вкусу. Отношения с матерью оставались натянутыми до отъезда. Иван Сергеевич, сославшись на расстроенное здоровье, объявил ей, что уезжает за границу. Рассерженная Варвара Петровна, проклиная проклятую цыганку, ссудила на сей раз такую мизерную сумму денег, что с ними впору было только добраться до Парижа. Но решение уехать из России было твердым и бесповоротным, никакие увещевания и угрозы удержать Тургенева уже не могли. В конце января 1847 года он был в Берлине.

РОССИЯ ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ В «ЗАПИСКАХ ОХОТНИКА»

В январе 1847 года в культурной жизни России и в творческой судьбе Тургенева произошло знаменательное событие. В обновленном журнале «Современник», который не без помощи Тургенева перешел в руки Некрасова, Панаева и Белинского, в отделе «Смесь» был опубликован очерк из народного быта «Хорь и Калиныч». Предполагают, что и сам автор, и некоторые члены редакции не надеялись на тот шумный успех, который выпал на его долю. Даже место, ему отведенное, оставляло желать лучшего: набранный мелким шрифтом, помещенный среди заметок на агрономические, хозяйственные и прочие темы, «Хорь и Калиныч» на первый взгляд должен был затеряться в них.

Однако читатели не только заметили очерк Тургенева, но и предпочли его другим публикациям, отвели ему первое место в журнале. Чем объяснить этот успех? Может быть, актуальностью темы? Но в русской литературе уже существовали признанные мастера в жанре рассказа и повести из народного быта — В. И. Даль и Д. В. Григорович. Так что читательский интерес к тургеневскому очерку порождался совсем другими причинами.

Впервые на них указал Белинский: «Не удивительно, — писал он, — что маленькая пьеска «Хорь и Калиныч» имела такой успех: в ней автор зашел к народу с такой стороны, с какой до него к нему никто еще не заходил».

Публикацией «Хоря и Калиныча» Тургенев совершил своего рода «коперниковский переворот» в художественном решении темы народа. В двух крестьянских характерах он представил коренные силы нации, определяющие её жизнеспособность, перспективы её дальнейшего роста и становления. Перед лицом практичного Хоря и поэтичного Калиныча потускнел образ их господина, помещика Полутыкина. Именно в крестьянстве Тургенев нашел «почву, хранящую жизненные соки всякого развития», а значимость личности государственного человека он поставил в прямую зависимость от глубины её связей с этой «почвой»: «Из наших разговоров с Хорем я вынес одно убежденье, которого, вероятно, никак не ожидают читатели, — убежденье, что Петр Великий был по преимуществу русский человек, русский именно в своих преобразованиях».

С такой стороны к крестьянству в конце 40-х годов не заходил даже Некрасов. Да и позднее, в 60-е годы, Добролюбов напоминал, что «полного, естественного воспроизведения народного быта» можно достичь лишь с уяснением значения «низших классов» «в государственной жизни народа». В словах критика-демократа указывался такой масштаб освещения народной жизни, какой уже заключал в себе очерк Тургенева, но какой и в 60-е годы был не по плечу демократической беллетристике.

Вдохновленный успехом первого очерка, Тургенев стал писать другие, внутренне ощущая единый замысел книги, поэтическим ядром которой «Хорь и Калиныч» оказался. Условно говоря, Тургенев зашел к народу с «толстовской» стороны: он нашел в жизни народа ту значительность, тот общенациональный смысл, который Лев Толстой положил потом в основу художественного мира романа-эпопеи.

Наблюдения над характерами Хоря и Калиныча у Тургенева не самоцель: «мыслью народной» выверяется здесь жизнь верхов. От Хоря и Калиныча эта мысль устремляется к русскому человеку, к русской государственности. И вот мы уже читаем, что из разговоров с Хорем охотник вынес убеждение: «Русский человек так уверен в своей силе и крепости, что он не прочь и поломать себя: он мало занимается своим прошедшим и смело глядит вперед. Что хорошо — то ему нравится, что разумно — того ему и подавай».

Тургенев выводит своих героев к природе, сливает их с нею, устраняя резкие границы между отдельными ха-

рактерами. Этот замысел ощутим в сопоставлении обрамляющих книгу очерков — от «Хоря и Калиныча» в начале, к «Лесу и степи» в конце. Хорь погружен в атмосферу лесной обособленности: его усадьба располагалась посреди леса на расчищенной поляне. А Калиныч своей бездомностью и душевной напевностью сродни степным просторам, мягким очертаниям пологих холмов, кроткому и ясному вечернему небу.

В Париже Тургенев ведет уединенную жизнь, почти не выходит из своей квартиры и очень много работает. «Никогда еще мысли не приходили ко мне в таком изобилии, — сообщает он Полине Виардо, — они являлись целыми дюжинами. Мне представлялось, что я несчастный бедняк-трактирщик в маленьком городке, которого застигает врасплох целая лавина гостей; он в конце-концов теряет голову и совсем уже не знает, куда размещать своих постояльцев». Ощущая эстетическую целостность, складывающуюся из совокупности отдельных замыслов, Тургенев набрасывает одну за другой на полях черновых рукописей знаменитые «программы»; расположению рассказов в книге он придает очень большое значение: испробовано по крайней мере около девяти вариантов их расстановки, прежде чем найден оптимальный и окончательный. На расстоянии, из «прекрасного далека» Россия видится Тургеневу в едином образе, объединяющем в целое всё многообразие нахлынувших впечатлений и воспоминаний. Возникает не простая подборка тематически однородных рассказов, но рождается единое художественное произведение, внутри которого действуют закономерности образной взаимосвязи рассказов. Эти взаимосвязи чувствуют и его друзья в России; Некрасов печатает очерки не поодиночке, а группами — так создается особый поэтический контекст, обогащающий их художественную ёмкость.

Критика — русская и зарубежная — сразу же обратит внимание на композиционную рыхлость отдельных очерков в «Записках охотника». П. Гейзе в Германии и П. Анненков в России начнут разговор об их эстетическом несовершенстве. Подмеченная ими «неразрешенность» композиции в очерках есть, но как к ней отнестись, с какой точки зрения на неё посмотреть? Тургенев сам называет отдельные очерки «отрывками». В «изобилии подробностей», отступлений, «теней и отливов» скрывается не слабость его как художника, а секрет эстетического единства книги, составленной из отдельных, лишь

относительно завершенных вещей. Чуткий Некрасов, например, понимает, что композиционная рыхлость их далеко не случайна и глубоко содержательна: с её помощью образный мир каждого очерка включается в широкую панораму бытия. В концовках очерков Тургенев специально резко обрывает нить повествования, мотивируя это логикой случайных охотничьих встреч. Судьбы людей оказываются незавершенными, и читатель ждет их продолжения за пределами случайно прерванного рассказа, а Тургенев в какой-то мере оправдывает его ожидания: разомкнутый финал предыдущего очерка часто подхватывается началом последующего, незавершенные сюжетные нити получают продолжение и завершение в других очерках.

В «Хоре и Калиныче», например, есть эпизод о тяжбе помещика Полутыкина с соседом: «Сосед Пичуков запахал у него землю и на запаханной земле высек его же бабу». Эта «случайная» деталь выпадает из композиционного единства очерка, о ней и сообщается мимоходом: главный интерес Тургенева сосредоточен на образах Калиныча и Хоря. Но художественная деталь, обладающая относительной самостоятельностью, легко включается в далекий контекст. В «Однодворце Овсяникове» курьезы помещичьего размежевания, непосильным бременем ложащиеся на плечи крепостных крестьян, развертываются в целую эпопею крепостнических самодурств и бесчинств. Рассказы Овсяникова о дворянских междоусобицах, об издевательствах богатых помещиков над малой братией — однодворцами — уводят повествование в глубь истории до удельной, боярской Руси. «Гул» истории в «Записках охотника» интенсивен и постоянен; Тургенев специально стремится к этому, историческое время в них необычайно емко и насыщенно: оно заключает в свои границы не годы, не десятилетия — века.

Постепенно, от очерка к очерку, от рассказа к рассказу, нарастает в книге мысль о несообразности, нелепости векового крепостнического уклада. В «Однодворце Овсяникове» история превращения французского барабанщика Леженя в учителя музыки, гувернера и, наконец, в дворянина характерна по-своему: любой иностранный выходец чувствовал себя в России свободным, крепь опутывала по рукам и ногам только русского человека, русского крестьянина. И вот в следующем очерке «Льгов» охотник натыкается у сельской церкви на почерневшую урну с надписью: «Под сим камнем погребено тело французско-

го подданного, графа Бланжия». Судьба барабанщика Леженя повторяется в ином варианте.

Но тут же дается другой, русский вариант судьбы человека в крепостнически-беззаконной стране. Тургенев рассказывает о господском рыболове Сучке, который вот уже семь лет приставлен ловить рыбу в пруду, в котором рыба не водится. Жизнь Сучка — сплошная цепь драматических несообразностей, играющих по своему произволу человеческой личностью. В каких только должностях не пришлось побывать Сучку по сумасбродной воле господ: обучался он сапожному ремеслу, был казачком, кучером, поваром, кофишенком, рыболовом, актером, форейтором, садовником, доезжачим, снова поваром и опять рыболовом. Тургенев показывает драматические последствия крепостнических отношений, их развращающее воздействие на психологию народа. Человек перестает быть хозяином своей собственной судьбы и своей земли. Более того, он привыкает к противоестественному порядку вещей, начинает считать его нормой жизни и перестает возмущаться своим положением. Аналогичным образом складываются в книге судьбы многих её героев: шумихинского Степушки, скотницы Аксиньи с садовником Митрофаном из «Малиновой воды»; псаря Ермилы, у которого собаки никогда не жили, из «Бежина луга». Одна судьба цепляется за другую, другая за третью: возникает единая «хоровая» судьба народа в стране, где жизнью правит крепостнический произвол. Разные судьбы, «рифмуясь» друг с другом, участвуют в создании монументального образа крепостного ига, оказывающего влияние на жизнь нации.

В «Записках охотника» изображается Россия провинциальная. Сама тема вроде бы исключает критические выходы к России государственной, не представляя никакой опасности для «высших сфер». Возможно, это обстоятельство отчасти и усыпило цензуру. Но Тургенев занавес провинциальной сцены широко раздвигает, видно, что творится и там, за кулисами. Читатель ощущает мертвящее давление тех сфер жизни, которые нависли над русской провинцией, которые диктуют ей свои законы.

Характер помещика Полутыкина Тургенев набрасывает в «Хоре и Калиныче» легкими штрихами. Походя сообщается о его пристрастии к французской кухне, бегло упоминается о другой праздной затее — барской конторе. Неспроста о Полутыкине говорится мимоходом: так незначителен, так пуст этот человек по сравнению с полнокровными характерами крестьян. Но, выпадая из композиции очерка о Хоре и Калиныче, полутыкинская стихия оказывается не столь случайной и безобидной. Тургенев покажет барскую контору на полутыкинский манер в специальном очерке «Контора», а французские пристрастия полутыкиных воскресит в более значительном образе помещика Пеночкина. Даже в фамилиях героев останется сходство — и там и тут отсутствует жизненная полнота и полноценность. Но в пеночкиных полутыкинская стихия уже страшна, её разрушительные последствия в рассказе «Бурмистр» налицо.

В «Записках охотника» беспощадно разоблачаются и экономические последствия «цивилизаторской» деятельности «верхов». Полутыкинская манера хозяйствования не ограничивается заведением французской кухни и никому не нужных контор. В «Двух помещиках» Тургенев расскажет о «хозяйственной» деятельности важного петербургского сановника, «который, усмотрев из донесений своего приказчика, что овины у него в имении часто подвергаются пожарам, отчего много хлеба пропадает, — отдал строжайший приказ: вперед до тех пор не сажать снопов в овин, пока огонь совершенно не погаснет. Тот же самый сановник вздумал было засеять все свои поля маком, вследствие весьма, по-видимому, простого расчета: мак, дескать, дороже ржи, следовательно, сеять мак выгоднее».

С деятельностью этого сановника перекликается хозяйствование на земле помещика Чертопханова Пантелея Еремеевича, который «избы крестьянам по новому плану перестроивать начал, и всё из хозяйственного расчета; по три двора вместе ставил треугольником, а на середине воздвигал шест с раскрашенной скворечницей и флагом. Каждый день, бывало, новую затею придумывал: то из лопуха суп варил, то лошадям хвосты стриг на картузы дворовым людям, то лен собирался крапивой заменить, свиней кормить грибами. <...> Около того же времени повелел он всех подданных своих, для порядка и хозяйственного расчета, перенумеровать и каждому на воротнике нашить его нумер...». В бесчинствах провинциального помещика просвечивают бесчинства иного, всероссийского, государственного масштаба, ощущается тургеневский намек на деятельность «надменного временщика» Аракчеева, организатора крестьянских военных поселений.

Веками складывался этот противоестественный поря-

док вещей, вошел в плоть и кровь национального характера, наложил свою суровую печать даже на природу России. Через всю книгу Тургенев провел устойчивый, повторяющийся мотив изуродованного пейзажа. Впервые он возникает в «Хоре и Калиныче», где бегло сообщается об орловской деревне, обыкновенно расположенной «близ оврага». В «Певцах» деревня Колотовка рассечена «страшным оврагом», который, зияя, как бездна, вьется, разрытый и размытый, по самой середине улицы. Его не оживляют ни растительность, ни ключи, а на дне лежат «огромные плиты глинистого камня». Заблудившийся, застигнутый угрюмым мраком ночи охотник испытывает в «Бежином луге» «странное чувство», когда попадает в лощину, имевшую вид «почти правильного котла с пологими боками». «На дне её торчало стоймя несколько больших белых камней, — казалось, они сползлись туда для тайного совещания...» Образ страшного, проклятого людьми урочища не раз возникает на страницах «Записок охотника». Такова, например, прорванная в Варнавицком овраге плотина — место, по рассказам крестьянских ребят, «нечистое и глухое». «Кругом всё такие буераки, овраги, а в оврагах всё казюли водятся». Не случайно среди пугающей народ нечисти появляется на старой плотине призрак барина Ивана Ивановича, восставшего из могилы в поисках разрыв-травы. Пейзажи такого рода концентрируют и сгущают в себе вековые народные беды, страхи и невзгоды.

Тургенев с небывалой широтою захватывает в книге всероссийский социальный конфликт, драматически сталкивает друг с другом два национальных образа мира, две России — официальную, крепостническую, мертвящую жизнь, с одной стороны, и народно-крестьянскую, живую и поэтическую, с другой. И все герои, эту книгу населяющие, тяготеют к одному из двух полюсов — «мертвому» или «живому».

При всём многообразии индивидуальностей всем поэтически одаренным героям Тургенев придает устойчивые, из рассказа в рассказ повторяющиеся черты. Сходны, например, их портретные характеристики: внешний облик Калиныча — «худой, с небольшой, закинутой назад головкой», с «жидкой клиновидной бородой» — повторяется в Степушке из «Малиновой воды» — «худеньком, маленьком» с «седой головкой» и «бородой, словно две недели тому назад выбритой». В Касьяне Тургенев увидит «маленькое, смуглое, сморщенное лицо» с «острым

носиком», «карими, едва заметными глазками» (ср. со Степушкой: «лицо у него маленькое», «носик остренький»), «крошечную головку» и тело «чрезвычайно тщедушное и худое». В рассказе «Бежин луг» в облике Кости Тургенев подметит «задумчивый и печальный взор», и лицо его вновь будет «невелико, в веснушках, книзу заострено, как у белки», и роста он окажется «маленького», «сложения тщедушного». Так формируется в книге цельный художественный образ, к которому в равной мере причастны Калиныч, Касьян, Костя, Яков Турок и другие герои «Записок охотника» с поэтическим складом ума и характера.

Очень часто случается в «Записках охотника», что судьба одного из героев, кажущаяся загадочной и недосказанной, проясняется судьбой другого. О прошлом Степушки в «Малиновой воде» ничего не сказано, как он дошел до нищенски-бесприютного существования — мы не знаем. Однако предыстория жизни Степушки в «Малиновой воде» есть, только раскрывается она через историю Власа. Рассказ о бессмысленной встрече с барином, к которому он ходил в Москву за многие сотни верст, и о полной безнадежности его нынешнего положения неспроста приводит Степушку в возбужденное состояние, столь ему не свойственное — уж очень забит, безответен и робок этот герой. Но рассказ задел его за живое. В истории Власа он нашел, по-видимому, повторение своей собственной горемычной судьбы. В жалком и заплеванном Степушке неожиданно прорывается чуткость к чужому страданию.

Острая до боли человечность, воспитанная в народе жизнью, полной невзгод и лишений, особенно трогательна в характере Вани, семилетнего крестьянского мальчугана. Вспомним эпизод из «Бежина луга»: разговор двух мальчиков, один из которых живет в богатой семье, а другой — в бедной: «А что, Ваня, — ласково заговорил Федя, — что, твоя сестра Анютка здорова?» — «Здорова», — отвечал Ваня, слегка картавя. — «Ты ей скажи — что́ она к нам, отчего не ходит?..» — «Не знаю». — «Ты ей скажи, чтобы она ходила». — «Скажу». — «Ты ей скажи, что я ей гостинца дам». — «А мне дашь?» — «И тебе дам». Ваня вздохнул: «Ну, нет, мне не надо. Дай уж лучше ей: она такая у нас добренькая».

Эта же особенность национального характера поражает Тургенева и в рассказе «Смерть»: русские люди умирают удивительно, ибо и в час последнего испытания

думают не о себе, а о других, о ближних. В сострадательной любви — источник их мужества и душевной стойкости, с которой они принимают смерть.

Многое привлекает Тургенева в русской жизни и многое отталкивает. Но есть в ней одно качество, которое автор «Записок охотника» ставит очень высоко, которое искупает, с его точки зрения, теневые стороны национальной психологии. Это качество — демократизм, дружелюбие, живой талант взаимопонимания, который хранится в народной среде и который не истребили, а заострили века крепостничества, суровые испытания русской истории. Родство народных судеб, так тонко тургеневской книгою схваченное, на каждом шагу заявляет о себе глубокой, сердечной общительностью.

В создании целостного образа живой России участвует природа. Поэтичных героев Тургенева чаще всего сопровождает родственный пейзажный мотив. Мы видим лицо Калиныча, кроткое и ясное, как вечернее небо. Душевная кротость героя подхвачена природой, в ней разлита. Расставаясь с Калинычем, Тургенев вновь затронет эту художественную связь: «Мы поехали; заря только что разгоралась... Мы въехали в кусты. Калиныч запел вполголоса, подпрыгивая на облучке, и всё глядел да глядел на зарю». Кроткое и ясное вечернее небо еще раз признает в Калиныче внутреннее родство с собою. Облик героя срастается с образом зари и неба. Через Калиныча сама природа оживает и одухотворяется. И следующий очерк «Ермолай и мельничиха», открывающийся картиной весеннего вечера, это поэтическое родство природы с Калинычем по-своему развивает. Рассказывается только о природе: о птицах, о деревьях, о лесе, о заре. Но образ Калиныча в ней оживает, когда речь идет об «алом свете вечерней зари» или о том, как «румяное небо синеет». Природа не только хранит память о героях, уже ушедших из книги, не только периодически воскрешает их в образной памяти читателя, но и художественно связывает родственные характеры людей между собою. Вечерняя заря предваряет появление у охотника нового спутника — Ермолая, очередной вариации на тему Калиныча.

Друг Тургенева, немецкий писатель Пауль Гейзе, говорил о «чрезвычайной близости» Тургенева к природе, близости, уже утраченной Западной Европой. В авторе «Записок охотника» его привлекало непривычное для немецкого литератора сочетание «непосредственной, простонародной задушевности и просвещенной культуры». «Я много сходился с русскими, — заявлял один из героев Гейзе. — В них, как в моем уважаемом друге Тургеневе, мне особенно нравилось редкостное слияние светского человека с простым, крестьянским укладом души». Француз Альфонс Доде отмечал у Тургенева потерянный художественной культурой Запада синкретизм образного восприятия, близкий к фольклору. Взгляд Тургенева лишен специализации, «двери между его чувствами открыты. Он воспринимает деревенские запахи, глубину неба, журчание вод и без предвзятости сторонника того или иного направления отдается многообразной музыке своих ощущений». Эта музыка доступна далеко не всем. «Людям, оглушенным с детства ревом большого города, никогда не уловить её, не услышать голосов, населяющих мнимую тишину леса».

Живая любовь ко всему живому коренится не только в природной мягкости характера Тургенева. Она вынесена им из народной глуби, из непосредственного общения с культурой русского крестьянства. В тургеневском рассказчике привлекает редкий талант приобщения к народному миросозерцанию. Как и Касьян, он тоже человек бессемейный, непоседа и правдолюбец, скитающийся по Руси. Как Ермолай, он тонко чувствует лес вплоть до каждого дерева и каждой птицы в нём, степь вплоть до каждого насекомого и каждой былинки в ней. Герои книги «живут одной жизнью» с её автором, одаренным тем же национальным складом ума.

Удивителен с этой точки зрения «Бежин луг»: в нём как в капле воды отражается неподдельный демократизм поэтического мироощущения Тургенева, характерный для книги в целом. «Бежин луг» — живой художественный организм с динамичным, стремительно развивающимся сюжетом. Всё в нём движется от мрака к свету, от тьмы к солнцу, от загадок и тревожных вопросов к их разрешению. Рассказ открывается впечатляющей картиной одного из июльских дней. Утренняя заря, разливаясь «кротким румянцем», пробуждает в памяти читателя Калиныча с лицом, кротким и ясным, как вечернее небо, а вслед за ним и других героев с поэтическим складом души, уже неотделимых от устойчивого в книге пейзажного лейтмотива. Люди и природа дышат здесь одной жизнью, «помнят» друг о друге, выступают как органы единого и живого существа.

Душою этого единства является личность автора, Тур-

генева, слитая с жизнью народа, с глубинными пластами русской и даже праславянской культуры. Из этого бездонного источника черпает она свою поэзию. «Солнце — не огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветно лучезарное — мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый её туман... Но вот опять хлынули играющие лучи, — и весело и величаво, словно взлетая, поднимается могучее светило».

Солнце здесь — как всесильное божество, излучает жизнь, одухотворяя и просветляя окружающий мир. Читатель забывает о поэтической условности картины; вместе с автором он любуется сиянием живого и ласкового существа, которое пронизывает всё какой-то «трогательной кротостью», вызывает в сухом и чистом воздухе запахи полыни, сжатой ржи и гречихи, облегчает земледельцу уборку хлеба.

Поклонение солнцу встречается в многочисленных памятниках народной культуры, от старинных песен и крестьянских обрядов до «Слова о полку Игореве». «Исчезающее вечером, как бы одолеваемое рукою смерти, оно постоянно, каждое утро, снова является во всем блеске и торжественном величии, что и возбудило мысль о солнце, как о существе неувядаемом, бессмертном и божественном. Как светило вечно чистое, ослепительное в своем сиянии, пробуждающее земную жизнь, солнце почиталось божеством благим, милосердным; имя его сделалось синонимом счастья <...> карателем нечистой силы мрака и холода, а потом и нравственного зла — неправды и нечестия», — писал глубокий знаток поэтических воззрений крестьян на природу, современник Тургенева А. Н. Афанасьев.

Чародей русского художественного слова, Тургенев будит застывшие в языке народные предания и поверья, легко касается мифологических первооснов национальной памяти. Французский критик Мельхиор де Вогюэ замечал, что в «Бежине луге» поэт «заставил говорить землю, прежде чем заговорили дети, и оказалось, что земля и дети говорят одно и то же». Поэтическое чувство природы у Тургенева развивается в русле национального мифопоэтического мышления: просыпаются спящие в словах древние смыслы, придающие картине природы поэтическую образность, согласную с духом тех народных легенд, которые рассказывают крестьянские ребятишки в таинственную ночь у костра.

Местность, по которой блуждает Тургенев близ родового гнезда своего отца, издревле питала народную фантазию и служила источником многочисленных легенд. Земляк Тургенева, писатель-этнограф И. П. Сахаров, еще в 1831 году записал в своем дневнике: «Чаплыгинское городище находится в Чернском уезде, в имении г. Тургенева, при реке Снежедок. Ныне все это городище поросло березняком и изрыто кладокопальщиками. В деревнях есть предание, что в этом городище скрываются сокровища, а потому многие из поселян принимали на себя труд разрывать землю в городищах для открытия кладов». По народным преданиям, собранным современным ученым и краеведом В. А. Громовым, клады Чаплыгинского городища подле Бежина луга «зарыл местный разбойник Кудеяр, имевший здесь в стародавние времена свой притон».

В лесной части Орловской губернии вплоть до начала XX века крестьяне называли много мест, где скрыты клады Кудеяра. Говорили, что «над камнями, прикрывающими эти сокровища, не только вспыхивают огоньки, но два раза в неделю, в 12 часов ночи, слышен бывает даже жалобный плач ребенка». А в селе Козьем на берегу Красивой Мечи бытовало старое предание о погибели троицкого хоровода. «Был год худой и неурожайный, были знамения на войну и мор, носились по селам худые толки о большой беде, о великом горе. Народ жил кручиною всю весну: никто не смел песни спеть, никто не думал о хороводах. Наступил Троицын день. Молодежь не стерпела и вышла в поле разыграть хоровод. Долго старики уговаривали молодых забыть про веселье. Молодые поставили на своем... Вдруг налетела грозная туча, ударил гром — и весь хоровод обратился в камни. С тех пор, говорят старики, каждый год на этот день воют камни и вещают всем беду неминучую».

Народными легендами навеяно «странное чувство», испытанное охотником в глухой лощине, на дне которой «торчало стоймя несколько больших белых камней, — казалось, они сползлись туда для тайного совещания». Душевный мир охотника захвачен поэзией сказаний и поверий, излучаемых во мраке ночи древней дедовской землей. Есть в жутковатой тургеневской ночи далекие отголоски славянских представлений о божестве мрака. «С закатом дневного светила на западе, — писал А. Н. Афанасьев, — как бы приостанавливается вечная деятельность природы, молчаливая ночь охватывает мир,

облекая его в свои темные покровы». И у славян «сложилось убежденье, что мрак и холод, враждебные божествам света и тепла, творятся другою могучею силою — *нечистою,* злою и разрушительною».

Еще не прозвучали рассказы Кости о заблудившемся в лесу Гавриле, Ильюши о лешем, который долго водил по лесу заплутавшего мужика, а потерявшийся охотник уже кружит и кружит по незнакомым местам, пока вдруг не оказывается «над страшной бездной». Всё, что совершается с ним, напоминает читателю обычные проделки лешего, который нарочно путает, или, по народному выражению, *обходит* странствующих по лесу, с умыслом переставляет дорожные приметы и, наконец, заводит человека в гиблое место — в овраг или в болото, а то и на край обрыва.

Возбуждая суеверные чувства сначала в душе охотника, а потом в сознании крестьянских ребят, тургеневская ночь дает лишь намеки на возможность реалистического объяснения её загадок и тайн. Она всесильна и всевластна, окончательное слово разгадки она бережет от человека в темной своей глубине. Звучит жутковатый рассказ о псаре Ермиле, о том, как встревожилась его лошадь, почуя злую нечистую силу. И вдруг «обе собаки разом поднялись, с судорожным лаем ринулись прочь от огня и исчезли во мраке... Послышалась беспокойная беготня встревоженного табуна». Чего испугался табун? Что почуяли в ночном мраке собаки? Природа своей таинственной жизнью продолжает фантастические рассказы ребят.

— Что там? Что там такое? — спросили мальчики.

— Ничего, — отвечал Павел, махнув рукой на лошадь, — так, что-то собаки зачуяли. Я думал, волк, — прибавил он равнодушным голосом, проворно дыша всей грудью».

Ответ как будто бы есть, но ответ неуверенный, предположительный. Да и внешним спокойствием Павел не в силах сдержать неутоленную тревогу и дрожь.

Ночная природа не дает пытливой мысли человека полного удовлетворения, поддерживает ощущение неразрешенности загадок земного бытия. Поэтому все реалистические мотивировки имеют оттенок предположительности. Мир, надвигающийся со всех сторон на слабый огонек костра, не теряет своей поэтической таинственности, глубины, неисчерпаемости: «Гляньте-ка, гляньте-ка, ребятки, — раздался вдруг детский голос Вани, — гляньте на божьи звездочки, — что пчелки роятся!» Он выставил своё свежее личико из-под рогожи, оперся на кулачок и медленно поднял кверху свои большие тихие глаза. Глаза всех мальчиков поднялись к небу и не скоро опустились».

Тургеневская ночь не только жутка и таинственна, она еще и царственно прекрасна своим «темным и чистым небом», которое «торжественно и необъятно высоко» стоит над людьми, «томительными запахами», звучными всплесками больших рыб в реке. Она духовно раскрепощает человека, очищает его душу от мелких повседневных забот, тревожит его воображение бесконечными загадками мироздания. «Я поглядел кругом: торжественно и царственно стояла ночь... Бесчисленные золотые звезды, казалось, тихо текли все, наперерыв мерцая, по направлению Млечного Пути, и, право, глядя на них, вы как будто смутно чувствовали сами стремительный, безостановочный бег земли».

Совершающейся во мраке ночной своей жизнью природа наталкивает ребятишек у костра на красивые, фантастические сюжеты легенд, диктует их смену, предлагает детям одну загадку за другой и сама же нередко подсказывает возможность их разрешения. Рассказ о русалке, например, предваряется шуршанием камышей и загадочными всплесками на реке, а также полетом падающей звезды — души человеческой по крестьянским поверьям. Образ мифической русалки удивительно чист и как бы соткан из самых разных природных стихий. Она светленькая и беленькая, как облачко, серебряная, как свет месяца или блеск рыбки в воде. И «голосок у ней такой тоненький и жалобный», как голос того загадочного зверка, который «слабо и жалобно пискнул среди камней». Фантазия ребят не бесплотна, не удалена от земли, в ней присутствует стихийный и здоровый материализм, столь свойственный народному миросозерцанию: домовой у них кашляет от сырости в старой рольне, тоненький голосок русалки сравнивается с писком жабы, а волосы её с густой зеленью конопли. На смех и плач поэтичной крестьянской русалки незамедлительно откликается в рассказе ночная природа: «Все смолкли. Вдруг, где-то в отдалении, раздался протяжный, звенящий, почти стенящий звук (отзвук плача русалки и неизбывной грусти Гаврилы. — *Ю. Л.*) Казалось, кто-то долго, долго прокричал под самым небосклоном, кто-то дру-

гой как будто отозвался ему в лесу тонким, острым хохотом, и слабый, шипящий свист промчался по реке».

И уже не русалка плачет, а мать утонувшего Васи, крестьянка Феклиста — «плачет, плачет, горько богу жалится». И не русалка смеется, а обманутая полюбовником, сошедшая с ума Акулина — «она ничего не понимает, что бы ей ни говорили, только изредка судорожно хохочет». Мифические существа «Бежина луга» не обособлены от мира несчастий и бед реальной крепостной России, точно так же, как не обособлены они и от того возвышенного и поэтического, чем не менее щедро наполнена крестьянская жизнь. Болезненный крик ночной птицы напоминает о стонах утопленного в омуте Акима-лесника: так душа его «жалобится», а может быть, это просто «лягушки махонькие» жалобно кричат. Белый голубь, внезапно налетевший на трепетный свет костра, — то ли праведная душа, улетающая на небо, то ли птица, случайно отбившаяся от дома. И даже Тришка, лукавый человек, сродни знакомому всем в околотке бочару Вавиле.

Объясняя таинственные явления природы, сознание крестьянских ребят питается живыми впечатлениями окружающего мира. Самые фантастические существа тысячами нитей связаны с поэзией жизни земной: их драмы — своеобразное продолжение людских драм, их красота — отражение земной красоты. Да и сюжет «Бежина луга» движется от легендарного и фантастического к земному и реалистическому.

Это движение совершается не только внутри каждой из рассказанных ребятишками историй, но и в последовательной связи их между собою: от мифических существ, русалок, домовых, оборотней в начале рассказа воображение ребят обращается к судьбам человеческим, к несчастной Акулине, к Акиму-леснику, к утонувшему мальчику Васе и матери его Феклисте, к Ивашке Федосееву и бабке Ульяне и, наконец, к легендам о Тришке-избавителе и обетованной земле, — о теплых странах, где зимы не бывает, где живет человек в довольстве и справедливости.

Тургенев писал и печатал «Бежин луг», когда цензура бдительнее, чем когда-либо, следила за литературой. В тексте первой публикации рассказа во втором номере «Современника» за 1851 год цензура исключила весь рассказ Кости о Тришке-антихристе, заменив последующие упоминания о нем словом «леший».

Много лет спустя, после реформы 1861 года, земляк Тургенева, писатель-демократ П. И. Якушкин опубликовал в путевых письмах легенды орловских крестьян о Тришке-сибиряке, с юношеских лет знакомые Тургеневу. Варвара Петровна еще в 1839 году сообщала сыну в Берлин: «Тришка у нас проявился вроде Пугачева, — то есть он в Смоленске, а мы трусим в Болхове». Спустя некоторое время она же писала: «Тришку поймали, и слухов о нем больше нет».

Главной заслугой Тришки, по крестьянским легендам, было заступничество за бедных крестьян, причем бескровное: Тришка ни одной христианской души не загубил, добивался своего удалыми шутками. Узнал как-то Тришка-сибиряк, что в Смоленской губернии живет барин, который всех мужиков «в разор разорил». Посылает барину письмо: «Ты, барин, может, и имеешь душу, да анафемскую, а я, Тришка, пришел к тебе повернуть твою душу на путь — на истину. Ты своих мужиков в разор разорил, а я думаю теперь, как тех мужиков поправить. Думал я думал и вот что выдумал: ты виноват, ты и в ответе будь. Ты обижал мужиков, ты их и вознагради; а потому прошу тебя честью: выдай мужикам на каждый двор по пятидесяти рублёв, честию тебя прошу, не введи ты меня, барин, во грех — рассчитайся по божии».

В конце XVIII — начале XIX века Орловский край действительно славился на всю Россию многочисленными шайками разбойников: «Орел да Кромы — старинные воры, Ливны — всем ворам дивны, Елец — всем ворам отец, да и Карачев на поддачу!» На усиление крепостнического произвола русский мужик плодородного подстепья отвечал неповиновением властям, бегством от крепостной неволи. Бежин луг неспроста «славился в наших околотках»: он служил приютом для беглецов, спасавшихся в глухих местах от помещичьего произвола.

В первом отдельном издании «Записок охотника» 1852 года Тургенев восстановил изъятый цензурой текст о Тришке. И хотя в авторской интерпретации социальный пафос легенды оставался приглушенным, современники чувствовали его. Рецензент демократического «Журнала для детей» в 1856 году писал: «Да тут светится и серьезная мысль: люди наделали зла, осквернили свет злобой, ложью и неправдой, так их и придет казнить Тришка; а все остальные создания божии — невинны, им и бояться нечего». Судя по рассказам Павлуши, Тришку со страхом ждут именно виновники народных бед: барин,

староста со старостихой и Дорофеич, богатый мужик-мироед, по всей вероятности.

Мирный сон крестьянских детей под звездами овеян в финале рассказа и другой доброй легендой о далекой земле, где зимы не бывает. Она хранит детские сердца от разрушительных воздействий нужды и забот, которыми полна повседневная жизнь крестьянина:

«— Что это? — спросил вдруг Костя, приподняв голову.

Павел прислушался.

— Это кулички летят, посвистывают.

— Куда ж они летят?

— А туда, где, говорят, зимы не бывает.

— А разве есть такая земля?

— Есть.

— Далеко?

— Далеко, далеко, за теплыми морями.

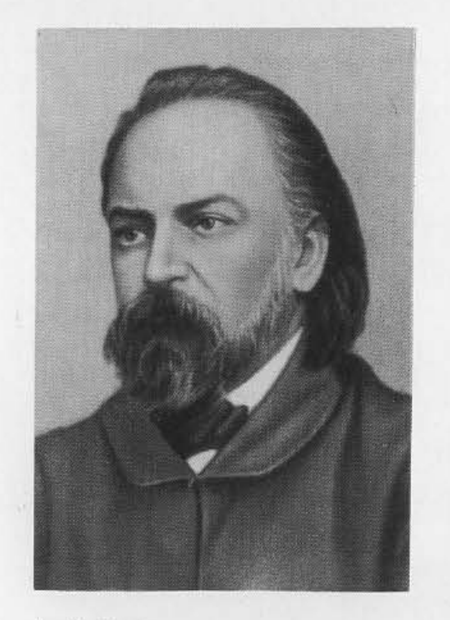
Костя вздохнул и закрыл глаза».

Поэзия народных легенд и верований, широко разливщаяся в «Бежином луге» среди таинственных звуков и шорохов летней ночи, постепенно обретает социально активный характер и готовит появление в книге Касьяна, героя с подвижническим отношением к истине, странника и правдоискателя. Поэтому рассказ «Касьян с Красивой Мечи» Тургенев помещает вслед за «Бежиным лугом». В устах Касьяна получает окончательное оформление легенда о далеких землях, мечта народа о братстве и социальной гармонии: «А то за Курском пойдут степи <...> И идут они, люди сказывают, до самых теплых морей, где живет птица Гамаюн сладкогласная, и с дерев лист ни зимой не сыплется, ни осенью, и яблоки растут золотые на серебряных ветках, и живет всяк человек в довольстве и справедливости».

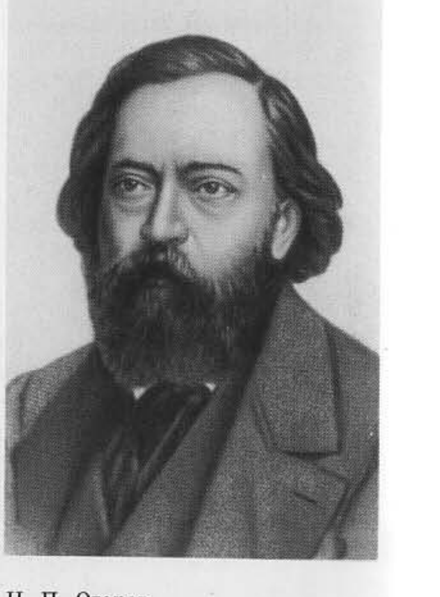
Так вслед за кратковременными страхами летняя ночь приносит охотнику и крестьянским ребятишкам проблески надежд, а затем мирный сон и успокоение. Всесильная и всевластная по отношению к человеку, ночь сама по себе лишь миг в живом дыхании космических сил природы, восстанавливающих в мире свет и гармонию. «Свежая струя пробежала по моему лицу. Я открыл глаза: утро зачиналось <...> Не успел я отойти двух верст, как уже полились кругом меня <...> сперва алые, потом красные, золотые потоки молодого, горячего света <...> Все зашевелилось, проснулось, запело, зашумело, заговорило. Всюду лучистыми алмазами зарделись



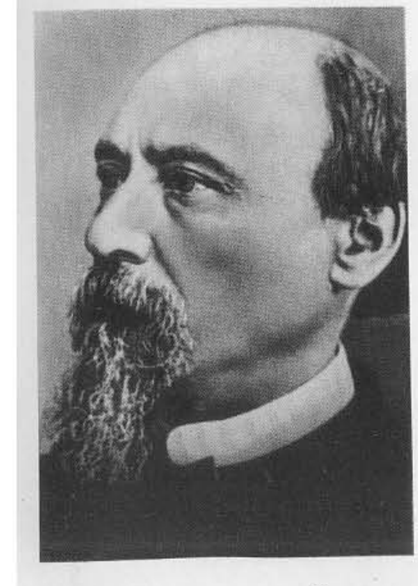
М. А. Бакунин, *1843 г.*



А. И. Герцен.

Н. П. Огарев.



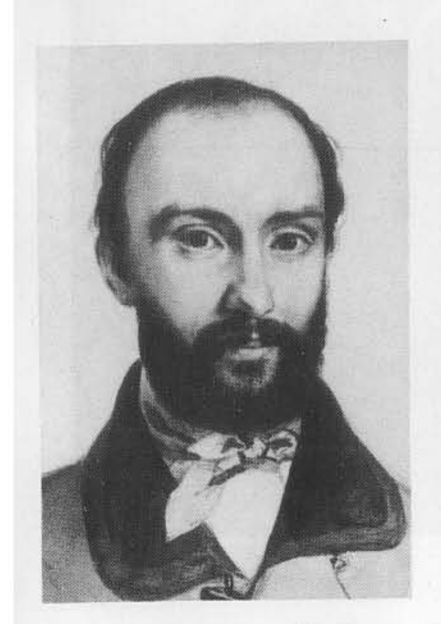
Некрасов.



И. И. Панаев.



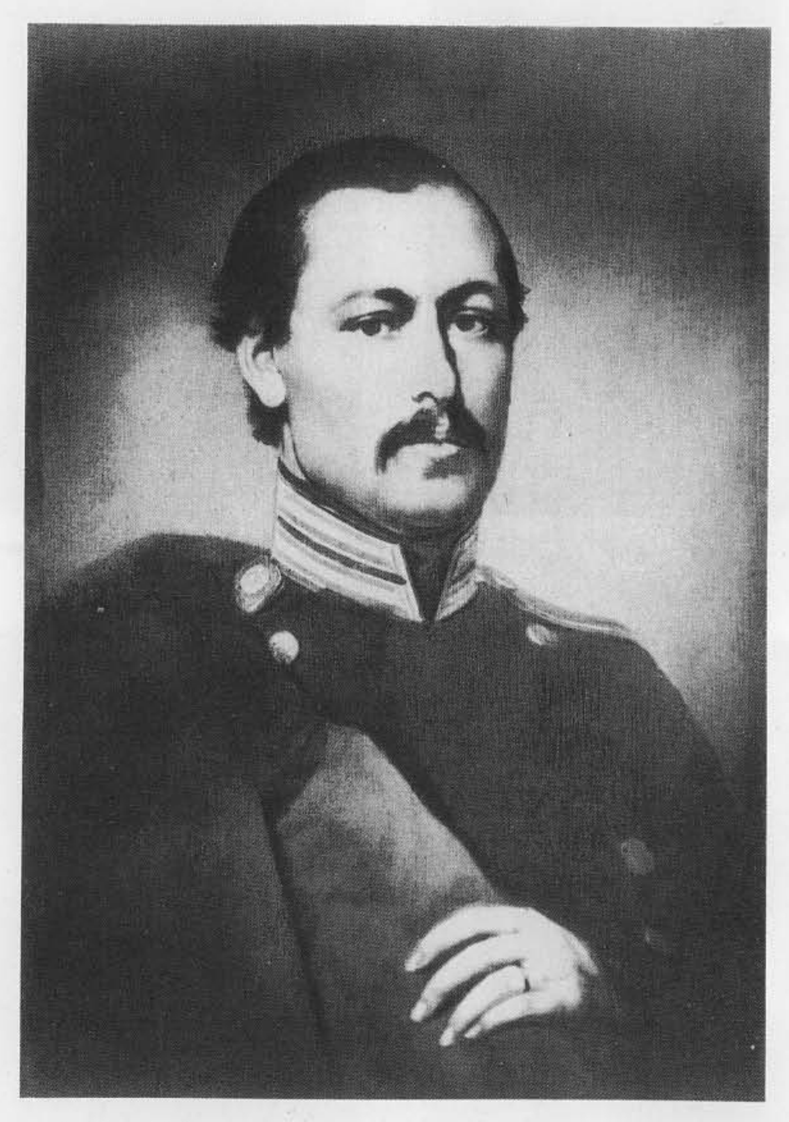
«Флигель изгнанника» в Спасском-Лутовинове, где Тургенев жил в период спасской ссылки.



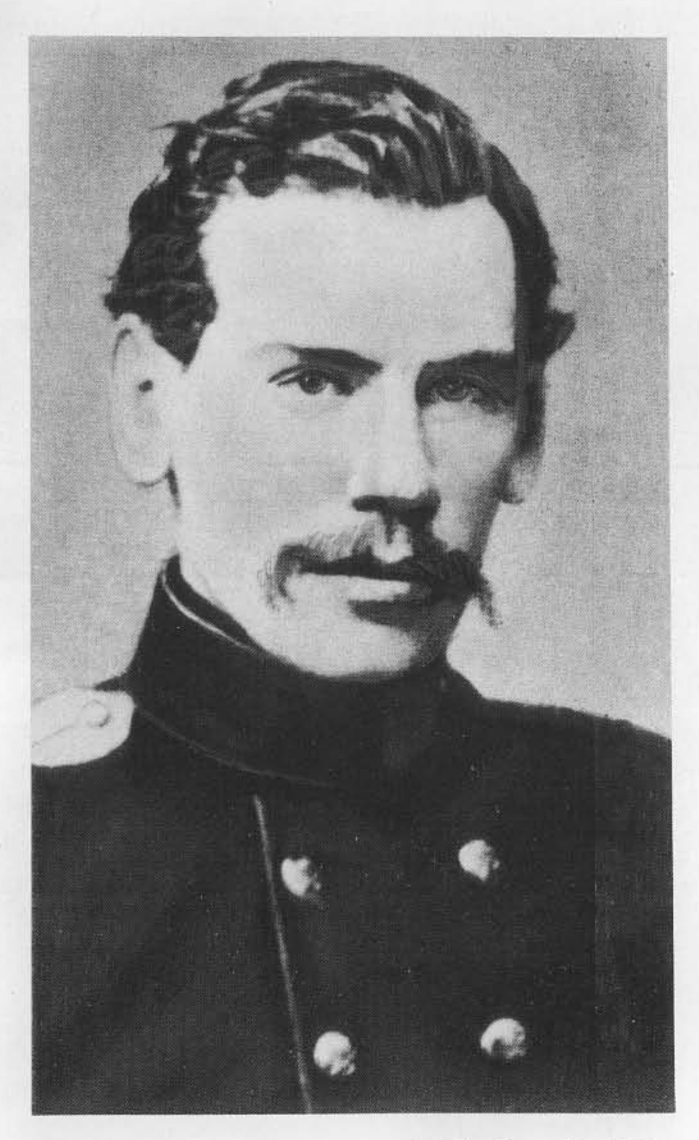
П. Боткин.



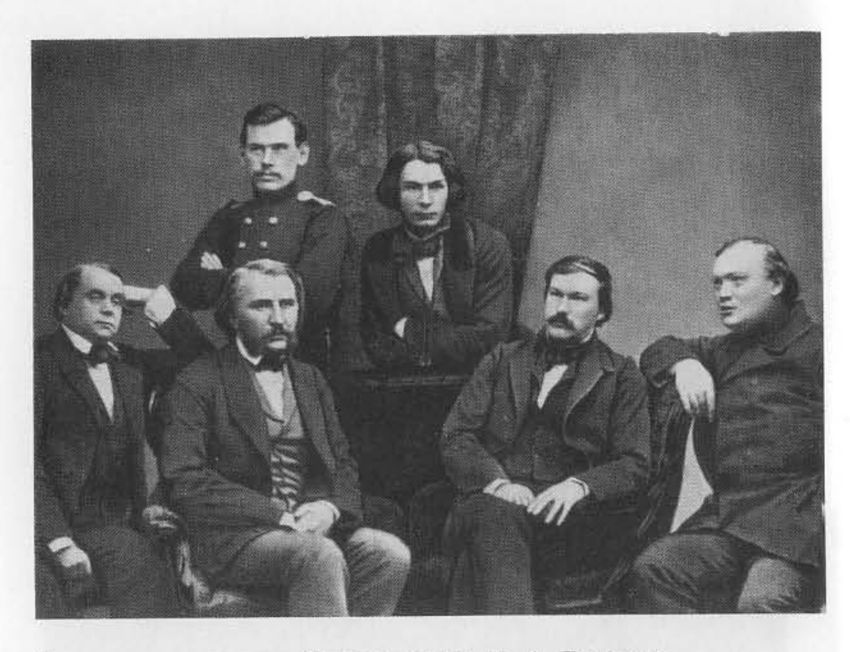
Т. А. Бакунина.



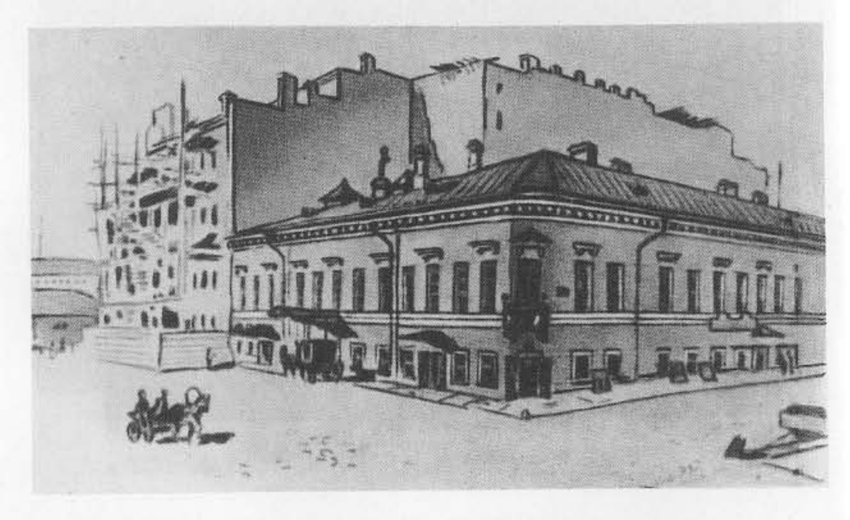
А. А. Фет, *1848 г.*



Л. Н. Толстой, *1856 г.*

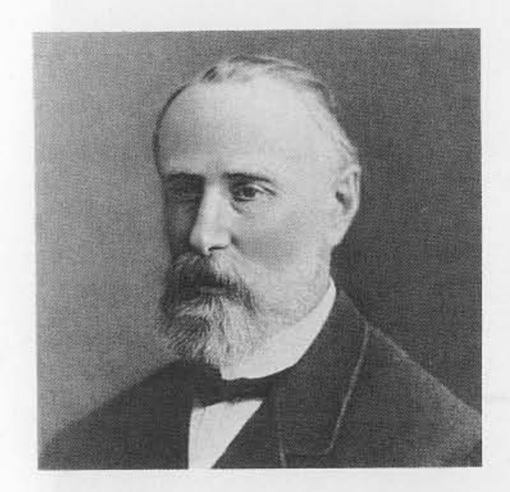


Сотрудники редакции «Современника»: И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Д. В. Григорович, А. В. Дружинин, А. Н. Островский.



Петербург, здание на Литейном, где размещалась редакция «Современника».

Адрес Тургеневу от редакции «Современника».



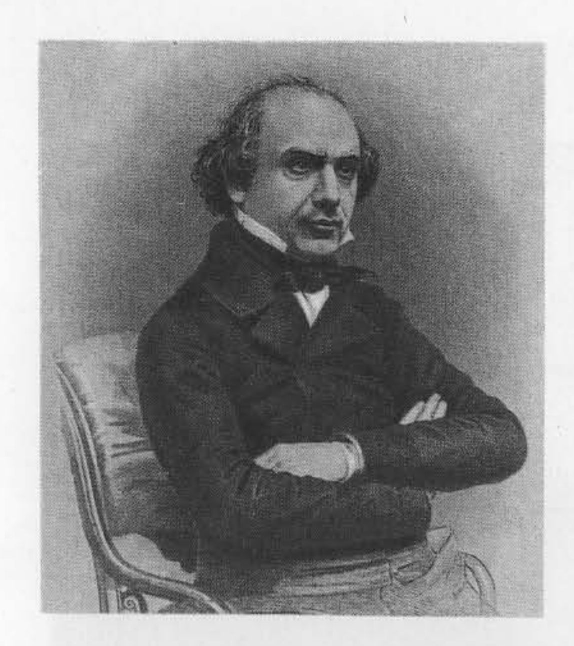
М. Н. Катков.
С портрета Н. Яш.

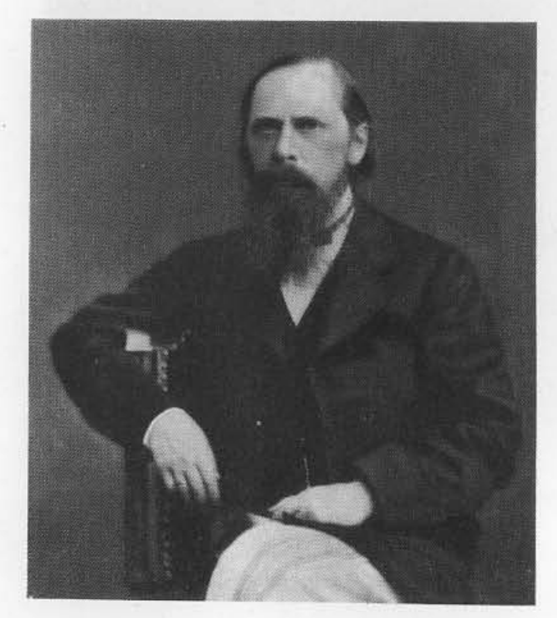


Карикатура на Тургенева после выхода романа «Отцы и дети».

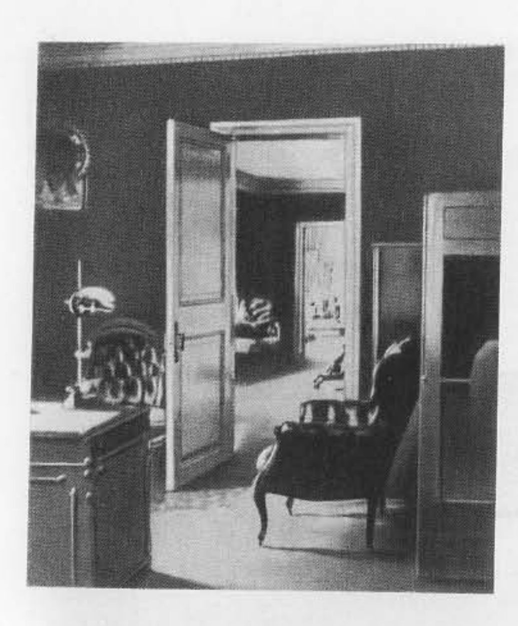


С картины В. Перова «На могиле сына».

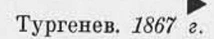

Т. Н. Грановский.


М. Е. Салтыков-Щедрин.


А. К. Толстой.



Кабинет Тургенева в Спасском. *Фото Каррика. 1883 г.*



Тургенев. *1867 г.*



Н. Н. Тютчев, управляющий имением Тургенева.

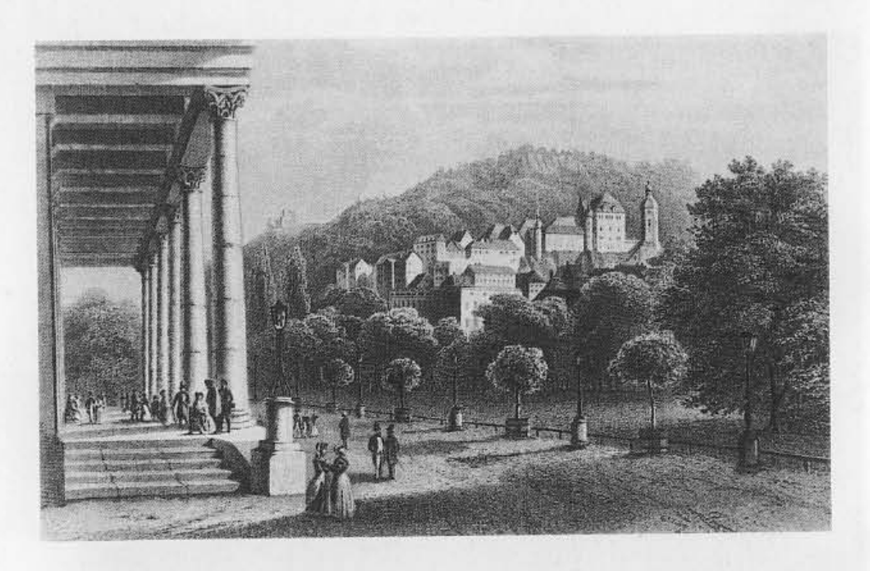


Н. Г. Чернышевский.

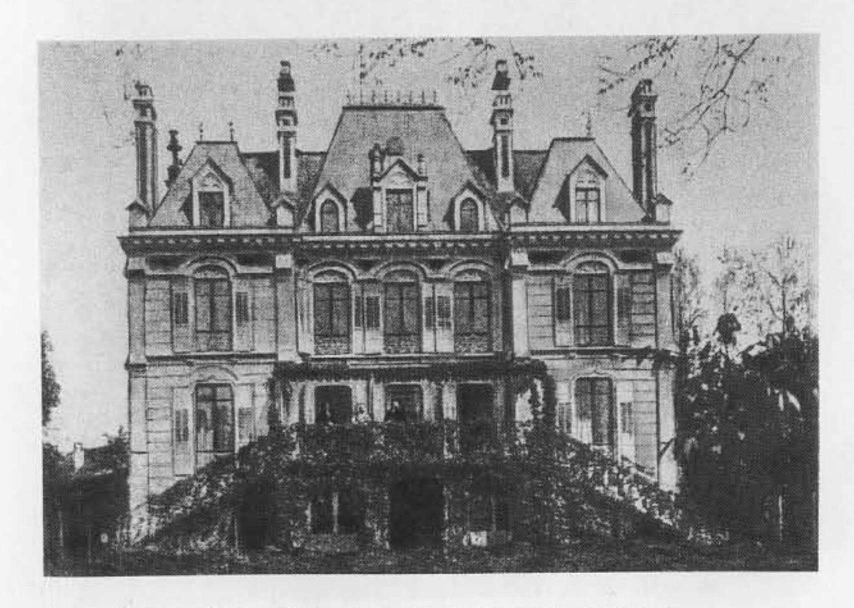


Д. И. Писарев.

Н. А. Добролюбов.



Баден-Баден.



Баден-Баден. Вилла Тургенева на Тиргартенштрассе, 3.

крупные капли росы; мне навстречу, чистые и ясные, словно тоже обмытые утренней прохладой, принеслись звуки колокола, и вдруг мимо меня, погоняемый знакомыми мальчиками, промчался отдохнувший табун».

Восходом могучего светила и открывается и закрывается «Бежин луг» — один из лучших рассказов о русской природе и детях ее. В «Записках охотника» Тургенев создавал единый образ живой поэтической России, увенчивала который жизнеутверждающая солнечная природа. В крестьянских детях, живущих в союзе с нею, он прозревал «зародыш будущих великих дел, великого народного развития».

От рассказа к рассказу в книге Тургенева растет и крепнет русское единство. Групповые образы в ней динамичны. В переходах от одного героя к другому — от Калиныча к Касьяну, от Касьяна к Якову — те или иные качества группового портрета не просто повторяются: происходит духовное обогащение, лучшее цементируется и крепнет, слабое отсеивается и отпадает.

С широкой, общенациональной точки зрения смотрит Тургенев на крепостное иго, мучительное для мужика, но опасное и для барина. Презрение к оголтелым крепостникам не снимает у него сочувствия к тем дворянам, которые сами оказываются жертвами крепостничества. Образ России живой в «Записках охотника» в социальном отношении не однороден. В книге есть целая группа дворян, наделенных национально-русскими чертами характера. Таковы, например, мелкопоместные дворяне типа Петра Петровича Каратаева или однодворцы, среди которых выделяется Овсяников. Живые силы нации Тургенев находит и в кругу образованного дворянства. Василий Васильевич, которого охотник называет Гамлетом Щигровского уезда, мучительно переживает свою беспочвенность, свой отрыв от России, от народа. Он с горечью говорит о том, как полученное им философское образование превращает его в умную ненужность. Живые силы нации Тургенев находит и в дворянской и в крестьянской среде. Он убежден, что с общенациональным врагом, каким является в его книге крепостничество, должна бороться вся Россия, не только крестьянская, но и дворянская.

В «Записках охотника» Тургенев впервые ощутил Россию как единство, как живое художественное целое. По отношению к этому универсальному образному миру с его внутренней гармонией будет оцениваться жизнеспо-

собность лучших героев в романах Тургенева, да и в творчестве других русских писателей. В ряду тургеневских преемников упоминают в этом случае Николая и Глеба Успенских, Левитова, Решетникова, Слепцова, Эртеля, Засодимского. Далее традицию ведут к Чехову, Короленко и от них к Горькому с его циклом «По Руси». Но значение «Записок охотника» этим не ограничивается. Книга Тургенева открывает 60-е годы в истории русской литературы, предвосхищает их. Прямые дороги от «Записок охотника» идут не только к романам Тургенева, но и к эпосу «Войны и мира» Толстого.

ГОДЫ СКИТАНИЙ

«У нас — русских — две родины: наша Русь и Европа, — утверждал Достоевский. — Многое, очень многое из того, что мы взяли из Европы и пересадили к себе, мы не скопировали только, как рабы у господ, <...> а привили к нашему организму, в нашу плоть и кровь; иное же пережили и даже выстрадали *самостоятельно*, точь-в-точь как те, там — на Западе, для которых всё это было своё родное. <...> Я утверждаю и повторяю, что всякий европейский поэт, мыслитель, филантроп, кроме земли своей, из всего мира, наиболее и наироднее бывает понят и принят всегда в России <...> Это русское отношение к всемирной литературе есть явление, почти не повторявшееся в других народах в такой степени, во всю всемирную историю, и если это свойство есть действительно наша национальная русская особенность — то какой обидчивый патриотизм, какой шовинизм был бы вправе сказать что-либо против этого явления и не захотеть, напротив, заметить в нем прежде всего самого широко обещающего и самого пророческого факта в гаданиях о нашем будущем».

И, пожалуй, никто из русских писателей XIX века с такой последовательностью не выразил эту коренную особенность русской души и русской судьбы, как Иван Сергеевич Тургенев.

В январе 1847 года он вновь очутился в Берлине, где на сцене Королевской оперы пела Полина Виардо. Ревниво всматривался Тургенев в облик города, где прошли лучшие годы его студенческой юности. Наружность Берлина мало изменилась с сорокового года, но произошли большие внутренние перемены. О них Тургенев писал

в редакцию «Современника»: «Начнем, например, с университета. Помните ли восторженные описания лекций Вердера, ночной серенады под окнами, его речей, студенческих слез и криков?.. Все эти невинные проделки давным-давно позабыты. Участие, некогда возбуждаемое в юных и старых сердцах чисто спекулятивной философией, исчезло совершенно — по крайней мере в юных сердцах. В сороковом году с волнением ожидали Шеллинга, <...> воодушевлялись при одном имени Вердера, воспламенялись от Беттины». А теперь Шеллинг умолк, Беттина перестала красить свои волосы... И только Вердер («с одним собою знакомый»!) «с прежним жаром комментировал логику Гегеля, не упуская случая приводить стихи из 2-й части «Фауста»; но увы! — перед тремя слушателями... Отшумели и сошли со сцены левогегельянцы, с которыми был дружен Мишель Бакунин. Говорили, что Бруно Бауэр живет в Берлине, но никто его не видит и не слышит. На концерте Тургенев встретил «прилизанного и печально смиренного»... Макса Штирнера. Того самого недавнего бунтаря, отрицавшего все — и государство, и право, и семью — и провозглашавшего эгоизм альфой и омегой современности. Как много, торжественно и громко говорил о нем Бакунин в последнюю встречу 1842 года! Пять-шесть лет всего прошло, а как изменилась духовная жизнь Германии, России, да и всей Европы! Река времени ускоряла свое течение, и Тургенев вновь и вновь переживал ощущение непрочности и хрупкости жизненных явлений, вчера рожденных, а сегодня обреченных на смерть. Он всматривался в себя, мысленно восстанавливал духовный путь, пройденный им за последние годы. И недавнее прошлое казалось далеким, какой-то роковой чертой отрезанным от настоящего, и сам себе казался он убеленным сединами стариком: сколько отшумело и умерло в нём навсегда за последнее десятилетие.

Но вместе с тем жизнь шла вперед, и то новое, молодое, что шло на смену старому, обнадеживало и вселяло уверенность. Забыли Шеллинга, Гегеля, Бауэра... И понятно, почему их забыли: Фейербах не забыт, напротив! И хорошо, что кончилась «теоретическая, философская, фантастическая эпоха германской жизни». Грустно оттого, что ты сам был её частицей; погребают эпоху — и... одновременно частицу тебя самого.

Берлинский театр живо напомнил Тургеневу время студенческих увлечений: особенный восторг тогда вызы-

вал Зейдельман, отличившийся в роли Мефистофеля. Какие ухватки, свидетельствующие о дьявольском происхождении своего героя, он выдумывал! Ходил неровно, большими шагами, как будто копытцам его неловко было в узких башмаках. Беспрестанно выправлялся: казалось, что испанская куртка помяла ему крылья. А с какой духовной силой господствовал он над Фаустом! Но и Берлинский театр был другой, перестроенный после пожара 1843 года. Над сценой находились портреты четырех главных немецких композиторов: Бетховена, Моцарта, Вебера и Глюка... Тургенев с грустью думал, что первые два жили и умерли в бедности, а Вебер и Глюк нашли приют в чужой земле... В чужой... Вот и он, Тургенев, бежал из родного гнезда, покинул милый его сердцу орловский край. Вставали в памяти поля и перелески далекой родины. Орел, Курск, Жиздра так и ходили около... Но открывался занавес — и снова слушал он волшебный голос Виардо...

Когда весной 1848 года он жил в Париже, из Петербурга до берегов Сены донеслась весть, в которую невозможно, трудно было поверить: 26 мая скончался Виссарион Григорьевич Белинский. В душе образовалась пустота, которую могли заполнить лишь воспоминания. Но и они не смягчали боль утраты, а обжигали запоздалым чувством вины, обиды на себя.

Тургенев вспомнил, что Белинский ещё перед отъездом за границу написал ему письмо: «Ах, если бы и с Вами свидеться! Где Вы будете в это время? Не в Берлине ли, которого мне не миновать по пути... Или не в Дрездене ли, откуда Вам ничего не будет стоить приехать повидаться со мною? Да одного этого достаточно для выздоровления, кроме приятной поездки, отдыха, целебного воздуха, прекрасной природы и минеральных вод».

Белинский собирался за границу впервые и на эту поездку возлагал последние надежды поправить совсем расстроенное здоровье. Он был беспомощным на чужбине без знания иностранного языка, и Тургенев с радостью согласился быть его «нянькой» и «опекуном».

Но что-то не заладилось с первой минуты. Письмо запоздало, и Тургенев не знал о точном дне прибытия друга. Пока Белинский нашел его квартиру, он пережил немало хлопот и «комических несчастий». Комических для других, но не для него, впервые оказавшегося в совершенно чужом иноязычном городе.

Зачем он повез Белинского в Дрезден? Ведь он же знал, что его друг не жалует Виардо и увлечение ею считает то ли блажью, то ли умопомрачением. Зачем он потащил полуживого Белинского в оперу, где вместе с восторженной немецкой публикой кричал: «Браво! Браво! Вернитесь к нам скорей!» — а его друг сидел сгорбленный и погруженный в какие-то свои, нерадостные думы.

Тургенев постоянно ловил себя на мысли, что он вел себя как юноша, как эгоист. Конечно, у него была надежда: вдруг Белинский оценит и поймет его любовь; ему нужно было сочувствие человека, которому он верил больше, чем себе. И втайне он досадовал, сердился, а временами спорил с Белинским по поводу оценок некоторых людей и упрекал его в идеализме, в неумении разбираться в людях.

В Зальцбрунне им тоже не везло. Стояла ужасная, редчайшая для этих мест погода: день и ночь шли нескончаемые дожди, а в комнатах висела промозглая сырость, и было холодно, как осенью. Белинский находился в тяжелом состоянии духа: он пережил жестокое разочарование в Гоголе. С какой страстностью, до полного нервного истощения, переживал Белинский факт публикации «Выбранных мест из переписки с друзьями» Гоголя и писал знаменитое, обращенное к автору «Мертвых душ» письмо: «Да, я любил Вас со всею страстью, с какою человек, кровно связанный со своей страною, может любить её надежду, честь, славу, одного из великих вождей её на пути сознания, развития, прогресса. <...> Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение, по возможности, строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть <...> И в это-то время великий писатель, который своими дивно-художественными, глубоко-истинными творениями так могущественно содействовал самосознанию России, давши ей возможность взглянуть на себя самое как будто в зеркале, — является с книгою, в которой во имя Христа и церкви учит варвара-помещика наживать от крестьян больше денег, ругая их *неумытыми рылами!*.. <...>

Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов — что Вы делаете?.. Взгляните себе под ноги: ведь Вы стоите над бездною...»

Укрывшись пледом, сидя в кресле, Белинский поеживался и нервно вздрагивал, слушая только что написанный Тургеневым рассказ «Бурмистр». Когда кончилось чтение, он встал, с благодарностью взглянул на Тургенева и с чувством досады и презрения сказал: «Что за мерзавец с тонкими вкусами!» Он понимал, что в характере культурного крепостника остро схвачено Тургеневым социальное явление, далеко выходящее за провинциальные пределы. «Пеночкины» потенциально присутствовали даже в самых культурных и образованных людях России.

Когда в Зальцбрунн приехал П. В. Анненков, он с трудом узнал Белинского... Перед ним стоял старик, который по временам, словно заставая себя врасплох, быстро выпрямлялся и поправлялся, стараясь придать своей наружности тот вид, какой, по его соображениям, ей следовало иметь. Усилия длились недолго и никого обмануть не могли. Белинский таял буквально на глазах.

Тургенев вспоминал, как наступил момент, когда стремление быть рядом с Виардо прорвалось в нем с неудержимой силой, как он забыл о данных другу обещаниях, оставил его на попечение Анненкова и бежал в Берлин, чтобы сопровождать супругов Виардо в Англию, где намечались новые гастроли Полины. И стыдно было вспоминать свои мальчишеские объяснения с Белинским и обещания встретиться в Париже.

Они там встретились в июле. Белинский изнывал за границей от скуки, его так и тянуло назад в Россию: «Уж очень он был русский человек и вне России замирал, как рыба на воздухе». Тургенев вспоминал, как в Париже Белинский впервые увидел площадь Согласия:

— Не правда ли? Ведь это одна из красивейших площадей мира? — спросил он с какой-то странной интонацией в голосе. И на удовлетворительный ответ воскликнул:

— Ну и отлично; так уж я и буду знать, — и в сторону, и баста! — и заговорил о Гоголе.

— На этой самой площади стояла гильотина, здесь отрубили голову Людовику XVI! — заметил Тургенев.

Белинский посмотрел вокруг, сказал: «А!» — и вспомнил сцену Остаповой казни в «Тарасе Бульбе».

Не чувствовал ли он тогда, что ему оставалось жить

всего несколько месяцев? Не с этим ли была связана его отрешенность?

Тургенев в августе показался в Париже еще раз и пробыл с Белинским очень недолго. Прощаясь с другом, Тургенев обещал приехать к нему на проводы. Глубокой грустью, упреком, но и тихим прощением светились голубые глаза Белинского, которые стали еще больше и прекраснее на похудавшем, бледном его лице.

Тургенев не знал, что видит дорогого человека в последний раз. Он не приехал провожать его из Парижа в Россию и лишь послал короткое письмо:

«Вы едете в Россию, любезный Белинский; я не могу лично проститься с Вами — но мне не хочется отпустить Вас, не сказавши Вам прощального слова... Анненков мне ничего не написал об Вашем здоровье... Надеюсь, что доктор Тира Вам помог: прошу Вас написать мне об этом. Мне нечего Вас уверять, что всякое хорошее известие об Вас меня обрадует; я хотя и мальчишка — как Вы говорите — и вообще человек легкомысленный, но любить людей хороших умею и надолго к ним привязываюсь...»

Легковесные были сказаны слова, да ничего не вернешь и ничего не поправишь! А. И. Герцен, провожавший Белинского из Парижа, рассказал: «Страшно ясно видел я, что для Белинского всё кончено, что я ему в последний раз жал руку. Сильный, страстный боец сжег себя... Он был в злейшей чахотке, а все еще полон святой энергии и святого негодования, всё еще полон своей мучительной, «злой» любви к России».

Так на всю жизнь от этой горестной утраты и осталась в душе Тургенева незаживающая боль. Много лет спустя, когда пришли к Тургеневу воспоминания, образ Белинского в них потеснил многих. В спасском доме, в кабинете, над письменным столом, за которым были созданы лучшие тургеневские романы, неизменно висел портрет Белинского. Перед смертью Тургенев завещал похоронить себя на Волковом кладбище, рядом с его могилой...

Куртавнель... С сорок пятого года стал он болью тургеневской и радостью. С замиранием сердца подъезжал всякий раз к пепельно-серому замку с большими окнами, со старой, мохом поросшей кровлей. Густая стена тополей и каштанов его окружала; под окнами стояли тропические деревья из оранжерей; подъемный мост был пе-

рекинут через каменный ров, переходящий в широкую канаву, кольцом окаймлявшую усадьбу; глубокая тишина и покой царили под сводами деревьев старого парка, и только лягушки порой мягко плюхались в канавы и бесшумно двигались по зеленой поверхности пригретой солнцем стоячей воды, да слышался иногда шорох и легкий стук — падали яблоки в глубине сада. А за садом бежало вверх по холмам широкое хлебное поле, и кромка дальнего леса мерцала в мареве знойного июльского полдня. Напоминал Куртавнель природу родного Спасского, хоть и не мог её заменить. Но в замке жили люди, свободные от предрассудков, во многом близкие по духу. В уединенной комнате огромного дома, так похожего на старый спасский, легко и радостно работалось под приглушенные звуки музыки, доносившиеся снизу, под таинственное шептание летней ночи, когда работа увлекала до утра.

Он проводил в Куртавнеле счастливые дни своей жизни и писательского труда. Воображение уносило его вдаль, на охотничьи просторы орловского края; оживали Ермолаи, Калинычи, Касьяны, вспоминались их лица, разговоры; одна сцена сменяла другую, вились нити охотничьих странствий и сюжетов; целый пестрый мир возникал перед глазами, люди, звери, птицы, поля и перелески проступали в душе, как частицы одного одухотворенного и живого существа по имени Россия. Населенный родными образами и видениями, преображался и Куртавнель, сжималось огромное пространство, отделявшее его от Орла да Мценска, и Россия сближалась с Европой, не меняя своей индивидуальности, своего неповторимого лица. С полным правом называл потом Тургенев Куртавнель «колыбелью своей литературной славы». Частью здесь, а частью в Париже он создал «Записки охотника», написал цикл оригинальных драм.

Зиму 1847 года Тургенев провел в Париже. Ему хорошо работалось, и он «смиренно молил своего ангела-хранителя (говорят, у каждого есть свой ангел) быть к нему благосклонным». «Что за прекрасная вещь — работа!» — восклицал он. Перед обедом Тургенев гулял по саду при дворце Тюильри — излюбленному месту детских игр парижан. «Их детски-важная приветливость, их розовые щечки, пощипываемые первыми зимними холодами, спокойный и добрый вид нянек, чудесное красное солнце из-за высоких каштанов, статуи, дремлющие воды, величественный темно-серый цвет Тюильри», — все это успокаивало и освежало его после утренней работы.

В минуты отдыха он усиленно изучал испанский язык, читая Кальдерона, этого «величайшего католического драматического поэта, какой когда-либо существовал». «Его «Поклонение кресту» — шедевр. Эта непоколебимая, победоносная вера, без тени какого-либо сомнения или даже размышления, подавляет вас своею мощью и своим величием, невзирая на всё, что есть отталкивающего и жестокого в этом учении. Это уничтожение всего, что составляет достоинство человека, перед божественною волею, безразличие, с каким *благодать* снисходит на своего избранника, ко всему, что мы называем добродетелью или пороком, — ведь это еще новое торжество для человеческого разума, потому что существо, столь отважно провозглашающее своё собственное ничтожество, тем самым возвышается до равенства с этим фантастическим божеством, игралищем которого человек признает себя. А это божество — оно само создание его рук». Тем не менее Тургенев «предпочитает Прометея, предпочитает Сатану, тип возмущения и индивидуальности. Какой бы я ни был атом, я сам себе владыка; я хочу истины, а не спасения; я чаю его от своего ума, а не от благодати».

Но в то же время Тургенев видит, как измельчал предоставленный самому себе современный человек. Читая прекрасные произведения Кальдерона, писатель чувствует, «что они выросли естественно на плодоносной и могучей почве; их вкус, их благоухание просты; литературные объедки здесь не дают себя чувствовать. <...> Между тем в то критическое и переходное время, которое мы переживаем, все художественные или литературны произведения представляют, самое большее лишь индивидуальные мнения и чувства, лишь смутные и противоречивые размышления, лишь эклектизм их авторов; жизнь распылилась; теперь уже нет крупного общего движения, за исключением, может быть, движения промышленности, которая, если ее рассматривать с точки зрения нарастающего подчинения сил природы человеческому гению, может быть, сделается освободительницей обновленного человеческого рода». А потому, на его взгляд, «величайшие современные поэты — американцы, которые собираются прорыть Панамский перешеек и толкуют об устройстве электрического телеграфа через океан. Как только социальная революция совершится — да здравствует новая литература!»

Примечательна у автора «Записок охотника» эта неудовлетворенность как элементарным патриархальным общежитием, в котором личность поглощена авторитарными представлениями о всесилии божественной воли, так и современным состоянием личности, отпавшей от целого, предавшейся эгоистическим формам буржуазного обособления. Как русский писатель, Тургенев чувствует ограниченность того и другого и ищет третьего пути, снимающего противоречие между бессознательной общностью и современным раздроблением. В «Записках охотника» это противоречие художественно разрешается: личность автора в них, сохраняя неповторимую индивидуальность, выражает общенародные мнения, общенациональные интересы.

В декабре 1847 года Тургенев закончил комедию «Где тонко, там и рвется», в январе 1848 года работал над «Нахлебником», предназначенным для московского друга М. С. Щепкина, а потом написал «Безденежье», «Холостяк» и «Завтрак у предводителя». Эти драмы ожидала несчастливая судьба: «Нахлебник» запретила театральная цензура под предлогом оскорбления дворянского достоинства, «Завтрак у предводителя» не разрешили печатать. Завершенную в 1850 году лирическую комедию «Месяц в деревне» удалось опубликовать с цензурными поправками лишь в 1855 году. В обстановке общественного оживления 1860-х годов драмы Тургенева увидели свет и были частично поставлены на сцене, но прочного успеха не имели. Только на рубеже XIX—XX веков обрели они новую сценическую жизнь. Оказалось, что Тургенев прокладывал пути к «новой драме» чеховского типа: ослабление сюжетного действия, тщательная разработка психологической стороны интриги, отказ от внешних сценических эффектов. «Тонкие любовные кружева, которые так мастерски плетет Тургенев, потребовали от актеров особой игры, которая позволяла бы зрителю любоваться причудливыми узорами психологии любящих, страдающих и ревнующих сердец», — писал К. С. Станиславский.

Годы жизни во Франции обогатили политический опыт Тургенева. Уже в первые месяцы пребывания в Париже чуткое ухо писателя уловило скрытое брожение; город жил как на вулкане, готовящемся к извержению, глухо доносился грозовой подземный гул. Когда в июле 1847 года в Париж из Зальцбрунна приехали Анненков и Белинский, на Avenue Marigny, где жил А. И. Герцен, собрались старые друзья: Белинский, Бакунин, Анненков, Герцен. Из Куртавнеля частенько наезжал к ним Тургенев. Сначала разговоры и споры велись вокруг России. Бакунин возмущался, что привезенные Герценом, Тургеневым и Анненковым новости касались университетского и литературного мира. Он ждал рассказов «о партиях, о министерских кризисах, об оппозициях». Герцен же говорил «о кафедре, о публичных лекциях Грановского». И только главная новость — споры западников и славянофилов — вызвала у Мишеля живой интерес.

Эти споры возникли давно, однако теперь они, достигнув высшей точки, завершились разрывом. Все началось с публичных лекций Грановского зимой 1843 года, ожививших общественную жизнь Москвы. Сперва казалось, что успех этих лекций явился сигналом к примирению враждующих партий. Даже Хомякову славянофильская «мурмолка» не мешала «хлопать с величайшим усердием красноречию и простоте речи Грановского» и публично заявлять, что «крайности мысли не мешают какому-то добродушному русскому единству». Лекции по истории средних веков продолжались и в 1844 году с таким же успехом и завершились общим обедом у западников и славянофилов, на котором И. В. Киреевский, обнимая Герцена, просил у него одного — вставить в фамилию букву «ы» (Герцын) и сделать ее тем самым более благозвучной для русского уха. «Он и с «е» хорош, он и с «е» русский!» — уверял подгулявший профессор российской словесности Московского университета Степан Петрович Шевырев.

— Дети! Дети! — посмеивался Белинский из Петербурга. — Какое это примирение? И неужели Грановский серьезно верит в него? Быть не может!

Тем не менее возникла даже идея общего журнала под редакцией Грановского, направили прошение в высшие инстанции. Между тем славянофилы взяли в свои руки у Шевырева и Погодина «хромающий» «Москвитянин» и стали предлагать западникам сотрудничество в нем. Грановский с Герценом заподозрили славянофилов в лукавстве: им показалось, что задержка официального разрешения нового журнала связана с тайными кознями славянофилов. Вскоре возникли и другие поводы для размолвки. Шевырев начал публичные лекции «История русской словесности, преимущественно древней». Опровергая западнический взгляд на прошлое России, он по-

казал вековые корни русской литературы. Причем успех лекций Шевырева был столь же значителен, как и курса Грановского. Белинский ворчал из Петербурга:

— Наша публика — мещанин во дворянстве. Для нее хорош Грановский, да не дурак и Шевырев... Лучшим она всегда считает того, кто читал последний...

Славянофилы праздновали победу. Друг А. С. Пушкина, поэт Н. М. Языков, восхваляя «жреца науки и воина правды» Шевырева, призвал его не смущаться врагов-западников:

Твои враги... они чужбине
Отцами проданы с пелен;
Русь неугодна их гордыне,
Им чужд и дик родной закон,
Родной язык им непонятен,
Им безответна и смешна
Своя земля, их ум развратен,
И совесть их прокажена.

«В 1844 году, когда наши споры дошли до того, что ни «славяне», ни мы не хотели больше встречаться, — рассказывал Герцен, — я как-то шел по улице, К. Аксаков ехал в санях. Я дружески поклонился ему. Он было проехал, но вдруг остановил кучера, вышел из саней и подошел ко мне. «Мне было слишком больно, — сказал он, — проехать мимо вас и не проститься с вами. Вы понимаете, что после всего, что было между вашими друзьями и моими, я не буду к вам ездить; жаль, жаль, но делать нечего. Я хотел пожать вам руку и проститься». Он быстро пошел к саням, но вдруг воротился; я стоял на том же месте, мне было грустно; он бросился ко мне, обнял меня и крепко поцеловал. У меня были слезы на глазах. Как я любил его в эту минуту ссоры».

Анненков вспоминал, что «с Грановским дело было еще замечательнее. К. Аксаков приехал к нему ночью, разбудил его, бросился к нему на шею и, крепко сжимая в своих объятиях, объявил, что приехал к нему исполнить одну из самых горестных и тяжелых обязанностей своих — разорвать с ним связи и в последний раз проститься с ним, как с потерянным другом, несмотря на глубокое уважение и любовь, какие он питает к его характеру и личности».

Раскол западников и славянофилов, по законам диалектики, на пределе обострения противоречий породил тенденцию к грядущему снятию их: и внутри славяно-

фильства, и внутри западничества возникает некоторое брожение и намечается поляризация.

После разрыва в 1845 году славянофилы — братья Аксаковы, Хомяков, братья Киреевские и Самарин — окончательно расходятся с идеологами «официальной народности» — Погодиным и Шевыревым, — делая тем самым существенную уступку западнической партии, доказывающей несостоятельность догматических воззрений Погодина и Шевырева на разлагающийся Запад и процветающую Россию. В «Обозрении современного состояния литературы» И. В. Киреевский показывает нелепость нигилистического взгляда Шевырева на европейское образование и даже подвергает сомнению исключительное преобладание в западноевропейской жизни принципа эгоизма. Отчуждение от Европы, к которому стремятся сторонники «официальной народности», он считает ничем не обоснованным и не сулящим России ничего, кроме бедствия: «любовь к образованности европейской, равно как и любовь к нашей — обе совпадают в последней точке своего развития в одну любовь, в одно стремление к живому, полному, всечеловеческому и истинно-христианскому просвещению».

Западники же обращают внимание на демократические стороны учения славянофилов. Летние месяцы 1845—46 гг. западники проводили время в беседах и пирах на подмосковной даче Герцена Соколово. Однажды, во время прогулки по окрестностям усадьбы, молодые господа остановились на кромке хлебного поля перед крестьянками, которые, не обращая на них внимания, жали рожь в открытых сарафанах. Кто-то пренебрежительно заметил, что только русская женщина ни перед кем не стыдится, а потому и перед ней не стыдится никто. Грановский вспыхнул и сказал: «Факт этот составляет позор не для русской женщины из народа, а для тех, кто довел ее до этого и кто привык относиться к ней цинически. Большой грех за последнее лежит на нашей русской литературе, распространяющей презрительный взгляд на народность». Грановского горячо поддержал Герцен, который признавался, что он никак не может понять ненависти Белинского к славянофилам. Еще в дневнике от 17 мая 1844 года Герцен записал: «Странное положение мое»: перед славянофилами «я человек Запада, перед их врагами я человек Востока. Из этого следует, что для нашего времени эти односторонние определения не годятся». Утверждая, что призвание интеллигенции

быть адвокатом народа, Герцен подталкивал русскую литературу на тот путь, по которому она пошла тургеневскими «Записками охотника». Герцен одним из первых в среде западников правильно оценил значение поднимаемых славянофилами тем. Он же первым и обратился к их художественному освоению в конце 1845 года, создавая антикрепостническую повесть «Сорока-воровка». Эту повесть Герцен предложил в январе 1846 года Белинскому в задуманный им, но не изданный альманах «Левиафан». Так получилось, что сокровенные чаяния и заботы славянофилов литературное свое воплощение получили впервые в творчестве западников.

Вместе с тем внутри западнической партии обнаруживался назревший раскол на либеральное и революционно-демократическое течения. Разногласия возникли по социальному вопросу. Герцен связывал учение славянофилов о крестьянской общине с идеями западноевропейского социализма, полагая, что Россия может успешно миновать капиталистический фазис развития. Грановский спорил с Герценом, считая отрицательное отношение к буржуазии в русских условиях преждевременным. Белинский сильно колебался в этом вопросе между Герценом и Грановским. В Париже союзником и решительным сторонником Герцена оказался Михаил Бакунин. Что же касается Анненкова и Тургенева — они с большой осторожностью и недоверием отнеслись к социалистическим идеалам Герцена. Воинственный характер его учения, подхваченного Бакуниным и развитого до последних логических выводов, внушал Тургеневу большие опасения. Казалось, что революционная буря в российских условиях приведет к истребительному походу на цивилизацию.

Бакунин между тем стал деятельным участником польского освободительного движения. Его блестящие агитаторские способности повергали в изумление поляков. Он стоял в центре революционной работы, хотя его программа и расходилась с узконациональными стремлениями польских патриотов. Бакунин мечтал о сближении всех славянских революционных партий в общей борьбе против их правительств.

29 ноября 1847 года, в очередную годовщину польского восстания 1831 года, революционные польские эмигранты пригласили Бакунина выступить с речью на их традиционном собрании. Бакунин с готовностью ухватился за это предложение и произнес речь, направленную против общего врага русских и поляков — российского самовластия:

— Для меня не тайна, насколько Россия непопулярна в Европе, — заявил Бакунин. — Поляки смотрят на нее как на одну из главных причин всех своих несчастий. Независимые люди других стран в столь быстром развитии ее могущества видят непрерывно растущую опасность для свободы народов...

— В Европе обычно думают, — я это знаю, — что мы составляем с нашим правительством нераздельное целое; что мы чувствуем себя бесконечно счастливыми под властью Николая; что он и его система угнетения внутри и завоевания вовне являются истинным выражением нашего национального гения.

Ничего подобного на самом деле нет.

Нет, господа, русский народ не чувствует себя счастливым! Я говорю это с радостью, с гордостью. Ибо, если бы он мог чувствовать себя счастливым в том унизительном положении, в какое он поставлен, то он был бы самым подлым народом в мире. Нами тоже правит иностранная рука, государь — немец по происхождению; он никогда не поймет ни нужд, ни характера русского народа; его правление, представляющее своеобразное сочетание монгольской жестокости с прусским педантизмом, совершенно исключает национальный элемент. Таким образом, лишенные всех политических прав, мы не пользуемся даже тою естественною, так сказать, патриархальною свободою, которою пользуются наименее цивилизованные народы и которая по крайней мере позволяет человеку отдохнуть сердцем в родной среде и целиком отдаться инстинктивным влечениям своей нации. У нас ничего этого нет: ни одного естественного жеста, ни одного свободного движения нам не разрешается.

Нация слабая, истощенная могла бы нуждаться во лжи для продления жалких остатков своей угасающей жизни, — продолжал Бакунин. — Но Россия, слава Богу, еще не дошла до такого состояния. Характер этого народа испорчен лишь поверхностно. Стоит только этому сильному, могучему и юному народу разрушить препоны, какими осмеливаются его окружать, чтобы проявить себя во всей девственной красоте, чтобы развернуть все свои неведомые сокровища, чтобы показать, наконец, миру, что не во имя грубой силы, как обыкновенно думают, а во имя всего, что есть самого благородного и самого святого

в жизни нации, во имя человеколюбия, во имя свободы русский народ требует себе права на существование.

Господа, Россия не только несчастна, она и недовольна: терпение ее истощено...

Речь Бакунина неоднократно прерывалась взрывами аплодисментов и восторженными криками, когда он перешел к характеристике антинациональной сущности самодержавия.

— Эта система правления, кажущаяся столь величественной извне, внутри бессильна; ничего ей не удается; все предпринимаемые ею реформы оказываются мертворожденными. Имея своею основою две низменные страсти человеческого сердца — продажность и страх, чуждая в своих делах всем национальным стремлениям, всем жизненным интересам и живым силам страны, власть в России с каждым днем своими же собственными действиями в ужасающей степени ослабляет и дезорганизует себя. Она теряет самообладание, беспомощно топчется на месте, каждую минуту меняя проекты и идеи: начинает сразу кучу дел, ни одного не доводя до конца. Только способностью творить зло щедро одарена эта власть, и она широко ею пользуется, точно сама торопится приблизить момент своей гибели. Чуждая и враждебная стране, она обречена на близкое падение!

Бакунин называл в своем выступлении революционные силы России — крестьянство, недовольное крепостническими порядками, разночинную интеллигенцию, армию, лучшую часть дворянства.

— Господа, — заключил Бакунин, — от имени этого нового общества, этой настоящей русской нации я предлагаю вам союз. Да придет же день, когда русские, объединенные с вами одними и теми же чувствами, борющиеся за одно и то же дело против общего врага, будут вправе запеть вместе с вами вашу национальную польскую песнь, этот гимн славянской свободы: «Еще Польска не сгинела!»

Речь Бакунина завершилась овацией, а затем она была опубликована во французской и немецкой печати. 5 декабря 1847 года русский посол в Париже П. Д. Киселев по указанию министра иностранных дел К. Р. Нессельроде потребовал от правительства Гизо высылки Бакунина из Франции. Несмотря на протесты демократической общественности, Бакунин был выслан из Парижа и вместе с Тургеневым уехал в Брюссель.

Но связи с польскими эмигрантами продолжались и

здесь. Гостями Бакунина и Тургенева в брюссельской гостинице были Лелевель и Тышкевич, а также Михаил Лемпицкий, вызывавший у Бакунина особую симпатию. С ним Бакунин говорил о роли крестьянской общины, призванной стать основой социалистического устройства славянского союза, о непохожести общинного начала на фаланстер Фурье и другие формы общежития, предложенные французскими социалистами.

В Брюсселе Бакунин навещал Маркса, но общего языка с ним не нашел, а его упреки в «мелкобуржуазных представлениях» счел «теоретическим высокомерием». 14 февраля 1848 года Бакунин присутствовал на собрании поляков в память пяти казненных декабристов и польского патриота С. Конарского, расстрелянного в 1839 году. В своей речи он говорил «о великой будущности славян, призванных обновить гниющий западный мир», пророчил близкую революцию, неминуемый распад Австрийской империи и образование свободной «славянщизны» — федерации славянских государств с общим центром в России.

26 февраля 1848 года в гостинице, где жили Тургенев и Бакунин, раздался поутру крик гарсона: «Франция стала республикой! В Париже революция!»

Срочно были уложены вещи, и в тот же день друзья мчались по железной дороге в Париж. На границе и перед Парижем были сняты рельсы. Приходилось пересаживаться в наемные повозки. Тургенев вспоминал, как на одной из станций с шумом и треском пронесся локомотив с одним вагоном первого класса: в этом экстренном поезде мчался первый комиссар республики Антоний Туре. Люди с любопытством провожали глазами громадную фигуру комиссара, до половины высунувшегося из окна с высоко поднятою в знак приветствия рукою. Пассажиры вели возбужденные разговоры, но Тургенев заметил в углу седого старичка, беспрестанно повторявшего: «Все пропало! все пропало!»

Трехцветные знамена республики, мелькавшие всюду трехцветные кокарды, вооруженные блузники, разбиравшие камни баррикад... У Тургенева голова шла кругом от шума революционного Парижа, и весь первый день его пребывания там прошел как в чаду.

В эти тревожные и торжественные дни Тургенев еще ближе сошелся с Александром Ивановичем Герценом и всем его семейством, а также с немецким поэтом и революционером Георгом Гервегом.

Бакунин торжествовал: он с головою окунулся в революционную работу, стал жить в казармах с рабочими, охранявшими революционного префекта полиции Коссидьера. Это был, по словам Бакунина, «месяц духовного пьянства. Не один я, все были пьяны: одни от безумного страха, другие от безумного восторга, от безумных надежд. Я вставал в пять, в четыре часа поутру и ложился в два; был целый день на ногах, участвовал решительно во всех собраниях, сходбищах, клубах, процессиях, прогулках, демонстрациях, одним словом, втягивал в себя всеми чувствами, всеми порывами упоительную революционную атмосферу». Тургенев объяснял секрет влияния Бакунина на массы тем, что он был «демократом по природе», доступным всем и каждому, и часто вспоминал при этом случай, как однажды рабочий остановил «гражданина Бакунина» на улице и стал излагать ему бредовый проект, согласно которому для спасения человечества нужно было уничтожить около 800 лучших зданий Парижа. Бакунин сел на придорожный камень и в течение четырех часов доказывал безумцу, что его проект нелеп.

Когда в апреле месяце донеслась весть о начавшемся брожении в Австрийской империи, Бакунин, добившись от Временного правительства Франции нужной ему минимальной суммы, отправился через Франкфурт, Кёльн, Берлин и Лейпциг в Бреславль. На первых порах к Бакунину отнеслись настороженно: сыграли роль распущенные недоброжелателями слухи о том, что он является агентом русского правительства, призванным внести раскол в ряды революционеров. Далее Бакунин прибыл в Прагу, центр национально-освободительного движения в Австрийской империи, где славяне собирались на съезд для выработки программы действий против общегерманского национального собрания, выдвинувшего во Франкфурте-на-Майне план включения всех владений Австрии в общегерманскую империю. В Праге Бакунин написал статью «Основа славянской политики», которая была опубликована в сентябре 1848 года в журнале «Славянские летописи». Показывая иллюзорность идеи объединения славян в рамках Австрийской, Германской или Российской империи, Бакунин излагал план создания свободной федерации славянских народов, управляемой общеславянским советом.

После неудачного восстания в Праге Бакунин вернулся в Бреславль, а потом в Берлин, Лейпциг. Он «бросился между славянами и немцами, между двумя великими, но, к сожалению, взаимно друг друга ненавидящими расами, бросился, чтобы предотвратить гибельную борьбу и повести соединенные силы» против русской тирании для народного освобождения. Очень сильно подействовал на Бакунина «крик немцев против славян, поднявшийся после роспуска славянского конгресса со всех концов Германии... Это уже был не демократический крик, а крик немецкого национального эгоизма; немцы хотели свободы для себя, не для других... В сей ненависти против славян, в сих славянопожирающих криках участвовали решительно все немецкие партии; уж не одни только консерваторы и либералы, как против Италии и Польши, демократы кричали против славян громче других: в газетах, в брошюрах, в законодательных и в народных собраниях, в клубах, в пивных ларьках, на улице... Это был такой гул, такая неистовая буря, что если бы немецкий крик мог кого убить или кому повредить, то славяне уже давно бы все перемерли».

В этой ситуации Бакунин, по его словам, «ожидал и требовал от немцев», чтобы «они совершенно изменили свои отношения и чувства к славянам, чтобы публично и громко выразили свою симпатию к славянским демократам и в положительных выражениях признали славянскую независимость. Такая демонстрация мне казалась необходимою для того, чтобы связать самих немцев положительным и громко выраженным обязательством; для того, чтобы подействовать сильно на мнение всех прочих европейских демократов и заставить их смотреть на славянское движение глазами другими, более симпатическими; необходимо наконец и для того, чтобы победить закоренелую ненависть славян против немцев и ввести их таким образом как союзников и друзей в общество европейских демократий».

Проповедь Бакунину удалась. В довольно короткое время «почти все немецкие демократические журналы, клубы, конгрессы заговорили вдруг совершенно иным языком и в самых решительных выражениях об отношениях Германии к славянам, признавая вполне и безусловно право последних на независимое существование, призывая их к соединению на общеевропейское революционное дело, обещая им союз и помощь против франкфуртских притязаний, равно как и против всех других немецких реакционных партий».

Из Лейпцига Бакунин отправился в Дрезден и там поднял восстание рабочих, которые вручили ему дикта-

торские полномочия. Вскоре из Дрездена пришла в Париж грустная весть. 9 мая прусские войска приступили к штурму дрезденских баррикад. Герцен выдавал за достоверный слух о том, что Бакунин убеждал руководителей восстания выставить на городские стены «Мадонну» Рафаэля и сообщить прусским офицерам, что, стреляя по городу, они могут уничтожить великое произведение искусства.

— Немцы получили слишком классическое образование, чтобы стрелять по Рафаэлю, — говорил революционер-идеалист.

Восстание жестоко подавили. Медовый месяц революции закончился трагически: Бакунина взяли в плен, приговорили к смертной казни, которую заменили пожизненным заключением. 16 февраля 1850 года Бакунин писал из крепости Кенигштейн Матильде Рейхель:

«...Итак Вы уже знаете, что я приговорен к смерти. Теперь я должен сказать Вам в утешение, что меня уверили, будто приговор будет смягчен, т. е. заменен пожизненною тюрьмою или столь же продолжительным заключением в крепости. Я говорю «Вам в утешение», потому что для меня это — не утешение. Смерть была бы мне куда милее. Право, без фраз, положа руку на сердце, я в тысячу раз предпочитаю смерть. Каково всю жизнь прясть шерсть или сидеть в одиночестве, в бездействии, никому ненужным в крепости за решеткой, просыпаясь каждый день с сознанием, что ты заживо погребен, и что впереди еще бесконечный ряд таких безотрадных дней! Напротив, смерть — только один неприятный момент, к тому же последний, момент, которого никому не избежать. <...> Для меня смерть была бы *истинным освобождением*». Но до этого последнего освобождения Бакунину было еще далеко. Из Кенигштейна его отправили в Австрию, а Австрия выдала Бакунина России, где он сидел некоторое время в Шлиссельбургской крепости, а потом был сослан в Сибирь...

Крушение потерпел революционный план и другого приятеля Тургенева — Георга Гервега. В апреле 1848 года он собрал в Париже из числа революционных эмигрантов немецкий вооруженный отряд и с помощью баденских революционеров проник в город, но был разбит виртембергскими войсками. «Экспедиция» Гервега, которую Карл Маркс считал революционной авантюрой, закончилась напрасной гибелью многих участников-рабочих.

Гервег едва не попал в плен и спасся лишь благодаря находчивости и энергии его жены.

«Экспедиция моего друга Гервега, — писал Тургенев, — потерпела полное фиаско; эти несчастные немецкие рабочие подверглись ужасному избиению... Если он приедет сюда, я ему посоветую перечитать «Короля Лира», особенно сцену между королем, Эдгаром и шутом в лесу. Бедняга! Ему следовало или не начинать дела, или дать убить себя...»

Однако Гервег вернулся в Париж, и Тургенев был свидетелем начала знаменитой семейной драмы Герцена: жена его, Наталия Александровна, увидела в Гервеге трагического героя, достойного сочувствия и любви.

Тургенев часто бывал в семьях Герценов и Тучковых, но с Наталией Александровной Герцен не находил общего языка. Интеллектуальная изощренность со времен премухинского романа вызывала у него раздражение. «Знакомы ли вы с такими домами, — спрашивал Тургенев Полину Виардо, — где невозможно разговаривать с *распущенным* умом, где разговор становится рядом задач, которые приходится решать в поте ума своего, где хозяева дома не подозревают того, что часто самое деликатное внимание с их стороны, это— не обращать внимания на своих гостей; где каждое слово как будто прилипает? Какая пытка!»

Верный себе, Тургенев часто разряжал интеллектуальное напряжение «странными комедиями». То он просил позволения крикнуть петухом и, получив его, влезал на подоконник и, кукарекая, устремлял на дам неподвижные глаза, то представлял сумасшествие, взлохмачивая волосы и дико бегая по комнате.

В «Отцах и детях» Тургенев писал: «Появление пошлости бывает часто полезно в жизни: оно ослабляет слишком высоко настроенные струны, отрезвляет самоуверенные или самозабывчивые чувства, напоминая им свое близкое родство с ними».

Тургенев очень сдружился в это время с Герценом: его привлекал в нём острый политический ум, аналитическая оценка совершающихся событий. Задолго до июньской катастрофы Герцен почувствовал измену буржуазии революционным идеалам. Столкновение между рабочими и буржуа было неизбежно, трагический финал его был предопределен. В отличие от Бакунина и Гервега, Герцен не участвовал в революционных событиях, оставаясь, подобно Тургеневу, зрителем совер-

шавшейся кровавой драмы. Исход ее обернулся для Герцена глубоким разочарованием в западноевропейской цивилизации, а для Тургенева — сомнением в разумности революционных форм обновления жизни вообще.

В дни потрясений 1848 года в кафе Пале-Рояль Тургенев познакомился с человеком, не пожелавшим раскрыть своей фамилии. Впоследствии писатель посвятил ему очерк «Человек в серых очках». Герцен считал его шпионом, Тургенев в этом сомневался, но, вероятно, «человек в серых очках» был близок к кругам буржуа и банкиров, не выпускавших из-под своего контроля ход революционных событий. Революция в его глазах была бездарным, но трагическим фарсом, напоминающим театр марионеток, нити которого держали в своих руках люди, завладевшие богатствами целого мира.

— Национальные мастерские! Национальные мастерские! — восклицал он с горькой иронией. — Были вы там? Видели их? Видели, как рабочие в тачках землю с одного места на другое перевозят? Вот откуда все пойдет. Что́ будет крови! крови! Целое море крови! Какое положение! Все предвидеть — и ничего не мочь сделать!! Быть ничем! ничем!

Этот странный человек заранее предвидел исход выборов и победу Луи Наполеона — ставленника крупной буржуазии. Он называл точное число голосов, которые получит каждый депутат.

Тургенев в тот же вечер передал все эти имена и цифры Герцену и очень запомнил его изумление, когда на следующий день все предсказания мусье Франсуа опять сбылись от слова до слова.

— Откуда ты все это знаешь? — спрашивал его не раз Герцен. Тургенев называл источник.

И вот, как по сценарию составленной заранее драмы, наступили трагические июньские дни. Приказ о закрытии национальных мастерских переполнил чашу народного терпения.

— Началось! — сказала Тургеневу утром 23 июня прачка, принесшая белье. По ее словам, большая баррикада была воздвигнута поперек бульвара, недалеко от ворот Сен-Дени. Тургенев немедленно отправился туда. Сначала ничего особенного не было заметно. «Но вот впереди, криво пересекая бульвар во всю его ширину, вырезалась неровная линия баррикады». По самой ее середине небольшое красное знамя шевелило — направо, налево — свой острый, зловещий язычок. Один из блузников кричал: «Да здравствуют национальные мастерские! Да здравствует республика, демократическая и социальная!» Подле него стояла высокая черноволосая женщина в полосатом платье, подпоясанная портупеей с заткнутым пистолетом; она одна не смеялась и, как бы в раздумии, устремила прямо перед собою свои большие темные глаза».

Но уже слышалась дробь барабанов, и, волнуясь, вытягиваясь, как длинный червяк, шла навстречу инсургентам колонна гражданского войска. Грянул жесткий, короткий звук... Трагедия началась...

Тургенев видел улицы Парижа, залитые кровью рабочих. Тяжелое, однообразное буханье зависло над городом вместе с чадом и гарью зноя.

Однажды под вечер Тургенев услышал, как к этому буханью присоединились другие, резкие и как бы веерообразные звуки... Расстреливали инсургентов по мериям. Нарушив запрет выходить из квартиры, Тургенев сошел поутру вниз. Офицер национальной гвардии подскочил к нему с грозным вопросом:

— Почему вы не исполняете долг гражданина и не находитесь в рядах национальной гвардии?

— Я русский!

— А, вы русский агент; вы явились сюда, чтобы возбуждать распри, гражданскую войну! Почему на вас блуза? Это для того, чтобы стакнуться с мятежниками! В мерию!

Тургенева окружили четыре национальных гвардейца и, взяв под конвой, приказали идти в мерию, откуда через каждые 5—10 минут слышались короткие залпы. Его повели, но, к счастью, на пути знакомая дама, француженка, заступилась за него, и Тургенев избежал рокового исхода.

В разгар кровавой бойни в комнату Гервегов, у которых находился Тургенев, вошел гарсон с встревоженным лицом.

— Что такое?

— Вас, мсье Гервег, какая-то блуза спрашивает!

— Блуза? Какая блуза?

— Человек в блузе, работник.

— Примите.

«Гарсон удалился, — вспоминал Тургенев, — повторяя, как бы про себя: «Человек... в блузе!!» Он ужасался; а давно ли, вскоре после февральских дней, блуза считалась самым модным, приличным и безопасным костю-

мом?.. Но другие времена — другие нравы; в эпоху июньской битвы блуза в Париже сделалась знаком отвержения, печатью Каина, вызывала чувство ужаса и злобы».

Явился рабочий сообщить Гервегу о сыне:

— Ваш мальчик приехал вчера; но так как станция железной дороги в Сен-Дени в руках у наших и сюда его послать было невозможно, то его отвели к одной из наших женщин — вот тут на бумажке адрес написан, — а мне наши сказали, чтоб я пришел к вам, дабы вы не беспокоились. И бонна его с ним; помещение хорошее и кормить их будут обоих.

Старик отказался от денег и согласился только на завтрак: он второй день ничего не ел.

— Мы в феврале, — рассуждал он, — обещали временному правительству, что будем ждать три месяца; вот они прошли, эти месяцы, а нужда все та же; еще больше. Временное правительство обмануло нас: обещало много — и ничего не сдержало. Ничего не сделало для работников. Деньги мы все свои проели, работы нет никакой, дела стали. Вот тебе и республика!

Он ушел в город, наполненный правительственными войсками, и участь его осталась неизвестной. «Нельзя было не подивиться его поступку, — говорил Тургенев, — той бессознательной, почти величавой простоте, с которой он совершил его. Ему, очевидно, и в голову не приходило, что он сделал нечто необыкновенное, собою пожертвовал. Но нельзя также не дивиться и тем людям, которые его послали, которые в самом пылу и развале отчаянной битвы могли вспомнить о душевной тревоге незнакомого им «буржуа» и позаботились о том, чтобы его успокоить».

Тургенев не разделял социалистических идеалов Герцена и восставших рабочих, ему казалось, что инсургенты дрались за исполнение несбыточной, донкихотской мечты, да и без надежды на успех, а с намерением только умереть, так как им нечем было жить. Но в то же время он глубоко сочувствовал восставшим:

— Они не были достойны такой жестокости: их били и резали и ссылали как разбойников, без суда, а между тем они занимали половину города и не разбили ни одного дома, они занимали Латинский квартал, в их руках были все колледжи, дети тех аристократов, которые с ними обошлись так жестоко, и они не только не тронули их, но даже окружили их охранною стражей.

Тургенев был свидетелем и последнего акта революционной драмы: избрания Луи Наполеона. Теперь разыгрывался предсказанный мсье Франсуа пошлый и дешевый фарс. Какой-то шарлатан бесплатно раздавал на улицах Парижа брошюрки о Луи Наполеоне: так новоявленный душитель свободы и республики еще в начале июньских дней «приобретал народность». Подкупленные им люди собирались у Вандомской колонны и громко толковали о гениальности Наполеона. Потом нанятые политиканом толпы бродили по парижским улицам и кричали: «Да здравствует Наполеон! Да здравствует император!» Весь этот спектакль разыгрывался на средства известного банкира Ахилла Фульда, который после избрания Луи Наполеона занял место министра финансов.

Однажды Герцена с Тургеневым остановили на улице подгулявшие прихвостни Наполеона. Один из них сказал другому:

— Эти негодяи не будут кричать «да здравствует император», потому что они республиканцы, — и обращаясь к Герцену и Тургеневу, грубо потребовал здравицы в честь новоявленного императора.

— Я русский! — гордо отвечал Герцен. — Но даже если бы я был француз, то слова бы не обронил в защиту такого пошляка и подлеца, каким является Луи Наполеон!

Крикуны оторопели от неожиданной смелости, что и позволило друзьям спастись от пьяной ватаги, которая, опомнившись, бросилась за ними в погоню...

События 1848 года вели Тургенева к грустному итогу. Он убедился, что революцией управляла злая сила в лице богатых буржуа и финансистов, несчастный же народ служил игрушкой в политической борьбе. Возникли серьезные сомнения в том, что народ вообще является творцом истории. Казались вполне справедливыми суждения «человека в серых очках»:

— Народ, — говорил он, — то же, что земля. Хочу, пашу ее... и она меня кормит; хочу, оставляю ее под паром. Она меня носит — а я ее попираю. Правда, иногда она вдруг возьмет да встряхнется, как мокрый пудель, и повалит все, что мы на ней настроили, — все наши карточные домики. Да ведь это, в сущности, редко случается — эти землетрясения-то.

Трагический опыт революции 1848 года все более склонял Тургенева к мысли, что творческой силой истории является интеллигенция, тот верхний слой общества, который создает науку и культуру, который является про-

водником цивилизации в народную среду. И только тот может надеяться на успех, кто не спеша, упорно и последовательно занят этой культурнической работой. Пережитое во Франции уводило Тургенева в сторону от того писательского пути, который был намечен им в «Записках охотника». Внимание его все более и более привлекала историческая судьба русской интеллигенции.

Из России приходили тоже неутешительные вести. Февральская революция 1848 года отозвалась там политическим процессом по делу кружка Петрашевского, был арестован и заключен в Петропавловскую крепость Достоевский. В стране наступила жестокая реакция, вошедшая в историю под названием «мрачного семилетия». Страх перед распространением свободолюбивых идей заставил Николая I ужесточить требования к печати. Цензура свирепствовала беспощадно и доходила до запретов анекдотических. В поваренных книгах вычеркивалось словосочетание «вольный дух», а цензор Н. С. Ахматов остановил печатание арифметического задачника, сочтя подозрительными многоточия между цифрами.

Говорили, что на русских людей, возвращавшихся на родину из революционной Франции, правительство смотрело косо. Незадолго до отъезда П. В. Анненкова Герцен высказал сомнение, стоит ли уезжать:

— Жутко вам будет в России.

— Что делать? Мне ехать необходимо... Ведь и здесь теперь не бог знает как хорошо; как бы вам не пришлось раскаяться, что остаетесь.

— Нет, — ответил Герцен, — для меня выбора не существует. Я должен остаться и если раскаюсь, то скорее в том, что не взял ружье, когда мне его подавал работник за баррикадой. Невзначай сраженный пулей, я унес бы в могилу еще два, три верования.

Потрясенный июньскими днями, расстрелами рабочих, Тургенев покидает Париж. Он бежит на юг Франции с одним желанием — забыться, уйти куда глаза глядят. Писатель проезжает Лион, Валанс, Авиньон, Ним, Арль, Марсель, Тулон и прибывает в Иер. Но и в пути его преследует тень парижских событий. Один из спутников вызывает тошноту рассказами о расправах с «бунтовщиками»:

— О, это было недолго! Им кричали: «На колени, негодяи!» Они вырывались, но — бац! — удар прикладом по затылку, пуф — пуля прямо в упор между бровей и... дрыг, дрыг... они корчились на мостовой.

В Иере Тургенев снял комнату в гостинице. Лили дожди. Все покрыто было тусклым, серым туманом...

Осень и зиму он провел в Париже, а весной 1849 года с ним случилось то, чего он более всего боялся всю жизнь. Город охватила эпидемия холеры, Париж покрылся трупами. И однажды утром Тургенев почувствовал первые симптомы страшной болезни. Он действительно заразился холерой и чуть не умер. Спас его Герцен. Друг перевез Тургенева к себе на квартиру и десять дней, рискуя собственной жизнью, самоотверженно выхаживал его, отправив жену с детьми в деревеньку под Парижем и оставшись с больным вдвоем.

А между тем Варвара Петровна давно вызывала блудного сына домой, от души проклиная коварную «цыганку». Летом 1849 года она прислала 600 рублей на дорогу, но их едва хватило на погашение долгов. Старшему Николаю матушка тоже подала слабую надежду на возможность прощения.

С мая в Спасском шли приготовления: заново отделывался флигель, обновлялись цветники перед домом, померанцевые деревья в зеленых кадках расставлялись вокруг балкона, из грунтовых сараев переносились испанские вишни и сливы.

— Пусть они здесь, около дома, стоят. Ваничка ужасно всякие фрукты любит, а я из окна буду любоваться, как он их кушает.

На доме развевался флаг с тургеневским гербом, с одной стороны, и с лутовиновским, с другой — знак того, что госпожа в хорошем настроении и ждет гостей. У большой дороги водрузили столб, на котором дворовый живописец нарисовал руку с протянутым перстом и сделал надпись: «Они вернутся!!!»

Но они не вернулись...

Николай прислал письмо, умоляя мать простить его и благословить уже состоявшийся брак с Анной Яковлевной Шварц. А Иван просил денег на дорогу.

Старшему сыну был дан ответ: Варвара Петровна соглашалась навестить его семью в Тургеневе, отслужить обедню в сельской церкви, познакомиться с внуком и объявить сыну свое решение. Радости Николая не было конца. С раннего утра тургеневские мужики стояли у околицы в ожидании высокой гостьи. А когда карета подъехала, выпрягли лошадей и подвезли госпожу на руках прямо к церковной паперти. Отслужили обедню, зашла Варвара Петровна в дом, на внука взглянула, но от угощения

отказалась, дав приказ отправляться в Спасское. Николай, усаживая матушку в карету, робко намекнул на обещанное. Она достала из ридикюля свернутую в трубку гербовую бумагу с печатью и сказала: «Тут изложена моя воля, дано мое решение». Сын рассыпался в благодарностях, карета тронулась...

Дрожащими от волнения руками снял Николай сургучную печать, освободил шнурки и развернул оставленный Варварой Петровной документ. Это был совершенно чистый лист бумаги...

Ивану же ответа вообще не последовало, высылка денег полностью прекратилась. Но однажды Тургеневу пришла из России нефранкированная посылка тяжести необыкновенной. За ее пересылку он отдал последние гроши, распечатал... Матушка набила посылку кирпичами.

В Куртавнеле летом 1849 года Тургенев жил на унизительном положении нахлебника. Виардо гастролировала в Англии, а он пребывал в печальном одиночестве, отвлекаясь тем, что отыскивал в окрестностях деревья, которые имели бы физиономию, и давал им имена; ходил удить линей и любовался утренними восходами солнца; чистил куртавнельские канавы от густых зарослей («мы работали как негры в продолжение двух дней»); поливал цветы и полол сорную траву в оранжерее.

Сложный, трудный период в жизни он переживал. И конечно, не безденежье было главным источником его драмы. «Уже до 1848—49 гг., — писал академик Тарле, — Николай предстал перед Францией, как смертельный неутомимый и неутолимый враг свободы и прав гражданина не только в раздавленной Польше, но и в России, во имя якобы «величия» которой работали Нессельроде и Паскевичи. Общественное мнение было вполне подготовлено к тому, что самодержавие всегда вмешивается всюду, где возможно будет поддержать чужое рабство... Во время общеевропейского кризиса 1848—49 гг., особенно же с весны 1849 года, когда Николай стал обнаруживать явные намерения вмешаться в европейские дела и послать армию в Венгрию, — грозное значение для Европы русского самодержавия ярко предстало перед общественным сознанием. Достаточно посмотреть такие умеренные и отчасти реакционные газеты как «Temps» и «Journal des Débats» за первые месяцы 1849 года, чтобы оценить то раздражение, смешанное с животным беспокойством, которое внушал Николай... Венгерская же кампания 1849 года только усилила эти чувства».

На русских Запад смотрел косо и требовал от них забыть, что они русские варвары. Этот гнет предубеждений, особенно в республиканской семье Виардо, постоянно преследовал Тургенева. Даже Герцен, если верить полицейским донесениям, иногда скрывал, что он русский, и выдавал себя за пруссака. Тургеневу приходилось выдерживать немалую борьбу, чтобы отстоять свое право на признание в нем русского, свободного человека, представителя не официальной, а живой, свободной России.

Летом в Куртавнеле Тургенева одолевали далеко не веселые мысли:

«Честный человек в конце концов не будет знать, где ему жить: молодые нации еще варвары, как мои дорогие соотечественники, — делится он своими сомнениями с Полиной Виардо, — а старые нации умирают и смердят... Но довольно! А потом, кто сказал, что человеку предназначено быть свободным? История нам доказывает противное. Гёте, конечно, не из желания быть придворным льстецом написал свой знаменитый стих: «Der Mencsh ist nicht geboren frei zu sein!» Это просто-напросто факт, истина, которую он высказал в качестве наблюдателя природы, каким он был...»

«Да, «человек не рожден быть свободным», и не только применительно к обществу эта формула Гёте верна. Человек не свободен и в ином, природно-космическом смысле: он игрушка в руках жестокой и грубо-равнодушной природы. Да, она такова, она равнодушна; душа есть только в нас и, может быть, немного вокруг нас... это слабое сияние, которое древняя ночь вечно стремится поглотить. Парадокс, — но это не мешает природе быть восхитительно прекрасной, и соловей может доставлять нам чудесные восторги, в то время как какое-нибудь несчастное насекомое мучительно умирает у него в зобу».

Мысль о тщете человеческих дерзаний, о слепой власти над личностью стихийных сил общества и природы не дает Тургеневу покоя ни днем, ни ночью.

«Ночь прекрасная, звезд невероятное количество. Крупные звезды светятся голубым светом и как будто мигают... Нет ничего зауряднее представления, будто они внушают религиозные чувства, хотя именно об этом толкуют все воспитательные книжки. Вовсе не такое представление производят эти звезды на того, кто смотрит на них просто, без предвзятой мысли. Тысячи миров разбросаны по самым отдаленным глубинам пространства... Бес-

конечное распространение жизни, которая находится везде, проникает всюду, заставляет целый мир растений и насекомых без цели и без надобности зарождаться в каждой капле воды. Это произведение непреодолимого, невольного, бессознательного движения, которое не может поступать иначе; это необдуманное творчество. Но что же такое — эта жизнь? Я ничего об этом не знаю, но знаю, что в данную минуту она всё, она в полном расцвете, в полной силе; не знаю, долго ли это будет продолжаться, но, во всяком случае, в данную минуту это так: она заставляет кровь обращаться в моих жилах без всякого моего участия, и она же заставляет звезды появляться на небе, как прыщи на коже, и это ей одинаково ничего не стоит, и нет ей в том большой заслуги. Эта штука равнодушная, повелительная, прожорливая, себялюбивая, подавляющая — это жизнь, природа или Бог; называй ее как хочешь, но не поклоняйся ей... Впрочем, когда она прекрасна или когда она добра (а это не всегда случается) — поклоняйся ей за красоту, за доброту, но не поклоняйся ей никогда ни за ее величие, ни за ее славу! Ибо, во-первых, для нее не существует ничего великого или малого; во-вторых, в акте творения заключается не больше славы, чем есть славы в падающем камне, в текущей воде, в переваривающем желудке; все это не может поступать иначе, как следовать Закону своего существования, а это и есть жизнь».

Отрицание разумности бытия и мироздания приводит Тургенева к атеистическим выводам, но одновременно — и он чувствует это — к отрицанию прочных оснований для истины, добра и красоты. Духовные ценности, включенные в стихийную игру природы, теряют свою безусловность и глубокий творческий, созидательный смысл. Мысль заходит в тупик и останавливается в скептическом сомнении.

Но Тургенев не был бы большим художником, если бы в его душе не возникал сопротивляющийся этим безнадежным мыслям ход:

«Довольно крупный зайчонок третьего дня утонул во рвах. Как и почему? Покончил ли он с собой? Но ведь в его возрасте еще верится в счастье. Впрочем, говорят, что наблюдались примеры самоубийства у животных».

Значит есть в живом существе нечто такое, что сопротивляется равнодушной работе природы! Факт самоубийства — факт восстания духовных сил против слепой стихии, которая равнодушна к неповторимому живому существу, факт духовного вызова ей.

А любовь?

«Оказывается, даже куропатки отлично разыгрывают представления. Они очень хорошо умеют притворяться, будто ранены, будто они насилу летают, они кричат, они пищат, и все это, чтобы заманить за собою собаку и отвлечь ее от места, где находятся их птенцы. Материнская любовь третьего дня чуть не обошлась очень дорого одной из них: она так превосходно сыграла свою роль, что Султан схватил ее. Но так как он совершенный джентльмен, то он только смочил ее своей слюной и вырвал у нее несколько перьев; я возвратил свободу этой отважной матери и слишком хорошей актрисе...»

Много передумал Тургенев в куртавнельском одиночестве, подводя итоги пережитых дней. Философский фон его романов чувствуется в этих размышлениях и мечтах, похожих как две капли воды на будущие «Стихотворения в прозе». Грусть усугубляло, конечно, и шаткое положение Тургенева; в помощи матери ему теперь отказано, жить литературой невозможно: шли более или менее свободно только «Записки охотника», драмы натыкались одна за другой на цензурный запрет. Двусмысленным было существование Тургенева в чужом семействе. В письмах к Полине он делал часто приписки по-немецки, помня, что Луи Виардо этого языка совсем не знал. Кроме обычных восхищений «любимейшим и благороднейшим существом во всем мире», попадались и тревожные вопросы: «Что случилось с Виардо? Может быть, ему неприятно, что я здесь живу?»

Госпожа Сичес, тетка Полины Виардо, уезжая из Куртавнеля, оставляет Тургеневу 30 франков; 26 он немедленно тратит на поездку в Париж, чтобы прочитать в английских журналах все, что пишут о гастролях Виардо. «Впрочем, я живу здесь, как в очарованном замке, — сообщает он хозяевам Куртавнеля, — меня кормят, меня обстирывают; чего больше нужно одинокому человеку?» Мысленно он видит себя в Англии: «Одиннадцать часов... Только что кончился четвертый акт и вас вызывают, я тоже аплодирую: браво, браво, смелее! *Полночь*. Я аплодирую что есть силы и бросаю букет цветов... Не правда ли, все было прекрасно? Да благословит вас бог! А теперь вы можете отправляться спать. Я тоже пойду спать. Покойной ночи, спите крепко на ваших лаврах».

В одиночестве воображение иногда до того разыгры-

вается, что дело доходит до галлюцинаций: «Вам, вероятно, неизвестно, что я никогда не ложусь спать после полуночи. И вот вчера, я только что собрался уйти из гостиной, как вдруг услышал два глубоких, совершенно ясных вздоха, раздавшиеся, или, вернее, пронесшиеся, как дуновение, в двух шагах от меня. Это вызвало во мне легкую дрожь. Проходя по коридору, я подумал о том, что бы я сделал, если б почувствовал, как чья-то рука внезапно схватила меня за руку: и я должен был себе признаться, что испустил бы пронзительный крик». Так вызревают зерна для будущих «таинственных повестей».

Куртавнель в какой-то мере исцелил Тургенева от драматических впечатлений 1848 года, явился для него тем уединенным островом, на котором он мечтал поселиться с «Одиссеей» Гомера. В Куртавнеле Тургенев изучил испанский язык, читал в подлиннике Сервантеса, Кальдерона, штудировал труды Паскаля, работы по истории христианства. Здесь он предавался игре свободных дум, усладам творческого вдохновения и... думал о далекой Родине, напоминавшей ему издалека мифологического Сфинкса, загадки которого он призван разгадать.

Зиму 1849—50 годов Тургенев провел в Париже. Здесь он установил довольно прочные связи с французскими литераторами, подружился с Жорж Санд, познакомился с Мериме, выступал в качестве посредника-миссионера, пропагандиста русской литературы в Западной Европе. Благодаря Тургеневу, Мериме прочел Пушкина и Гоголя, с помощью Тургенева переводы русских классиков вышли в Париже на французском языке.

5 октября 1849 года умер Шопен. Отпевание и похороны великого польского композитора состоялись 18 октября. Согласно завещанию, на его заупокойной мессе был исполнен реквием Моцарта в инструментовке Ребера. Сольные партии в парижской церкви святой Мадлены исполняли Виардо, Кастеллан и Лаблаш. В короткой записочке Эмме Гервег Тургенев написал: «Вот Вам билет на отпевание Шопена. Как Вы поживаете? Я по-прежнему очень плохо».

Весной 1850 года Варвара Петровна выслала сыну необходимую сумму денег на дорогу в Россию при условии безотлагательного возвращения: она была тяжело больна.

В Париже перед отъездом Тургенев хотел повстречаться с Герценом, но уже не застал его: «Я приехал из деревни, любезный Александр, час спустя после твоего отъезда; ты можешь представить, как мне было это досадно; я бы так был рад еще раз с тобой повидаться перед возвращением в Россию. Да, брат, я возвращаюсь; все вещи мои уложены, и послезавтра я покидаю Париж... Ты можешь быть уверен, что все твои письма и бумаги будут мною доставлены в целости».

В книге «С того берега», прощаясь с Родиной, Герцен повторил те мысли, которыми он поделился с Тургеневым весною 1850 года:

«Непреодолимое отвращение и сильный внутренний голос, что-то пророчащий, не позволяют мне переступить границу России, особенно теперь, когда самодержавие, озлобленное и испуганное всем, что делается в Европе, душит с удвоенным ожесточением всякое умственное движение <...> Свобода лица — величайшее дело; на ней, и *только на ней*, может вырасти действительная воля народа. В себе самом человек должен уважать свою свободу и чтить ее не менее, как в ближнем, как в целом народе. Если вы в этом убеждены, то вы согласитесь, что остаться теперь здесь — мое право, мой долг; это — единственный протест, который у нас может сделать личность, эту жертву она должна принести своему человеческому достоинству».

«Эмиграция, — напоминает Герцен, — первый признак приближающегося переворота». А потому на Западе он найдет для себя важное дело: «Пора действительно знакомить Европу с Русью. Европа нас не знает; она знает наше правительство, наш фасад и больше ничего <...> Пусть она узнает ближе народ, которого отроческую силу она оценила в бою, где он остался победителем; расскажем ей об этом мощном и неразгаданном народе, который втихомолку образовал государство в 60 миллионов, который так крепко и удивительно разросся, не утратив общинного начала, и первый перенес его через начальные перевороты государственного развития; об народе, который как-то чудно умел сохранить себя под игом монгольских орд и немецких бюрократов, под капральской палкой казарменной дисциплины и под позорным кнутом татарским; который сохранил величавые черты, живой ум и широкий разгул богатой натуры под гнетом крепостного состояния и в ответ на царский призыв образоваться — ответил через сто лет громадным явлением Пушкина...»

Тургенев и Герцен не надеялись на скорую встречу. Они условились о секретном способе сообщения друг с другом:

«Бог знает, — сказал Тургенев, — когда мне придется

тебе писать в другой раз; Бог знает, что меня ждет в России... В случае *какого-нибудь важного обстоятельства,* ты можешь известить меня помещением в объявлениях «*«Journal des Débat», que m-r Lois Morisset de Caen*» («Журнал дэ Деба», что господин Луи Мориссе из Кана. — *Ю. Л.*) и т. д. Я буду читать этот журнал и пойму, что ты захочешь мне сказать».

СЕМЕЙНАЯ ССОРА. СМЕРТЬ МАТЕРИ

В июне 1850 года Тургенев сел на пароход, отправлявшийся из Штеттина в Петербург. Три года, проведенные за границей, составили целую эпоху в его жизни. Пережито и перечувствовано за это время было слишком много. Да и возвращался он в Россию известным литератором, прославленным автором «Записок охотника». В Петербурге сразу же возникли некоторые затруднения, связанные с его пребыванием в революционном Париже, но помощь друзей и влиятельных знакомых отвела, но не развеяла собиравшуюся над ним грозу.

В середине июля он явился в дом на Остоженке долгожданным, провинившимся гостем. Слезы радости на глазах у матери, расспросы, рассказы Ивана Сергеевича, добрые воспоминания. Собирались поехать в Спасское: наступало время летних охот по тетеревиным выводкам. Оставался нерешенным один вопрос. Безраздельная зависимость от матери доставляла сыновьям немало огорчений и лишений. Даже здесь, в Москве, Иван Сергеевич занимал порою деньги у Порфирия, чтобы заплатить извозчику. Но особенно тяжелым было положение у Николая. Мать благословила наконец его брак с Анной Яковлевной, предложила бросить службу и купила отдельный дом. Сын покорно согласился, вышел в отставку и перевез семью в Москву. Но на этом все и кончилось. По-прежнему он не получал от матери никакой материальной помощи, и семья его терпела страшную нужду.

Предварительно посовещавшись, братья попросили мать определить им небольшой доход, чтобы знать заранее, сколько они могут тратить. Варвара Петровна выслушала сыновей со вниманием, без гнева, согласилась с ними и обещала подумать и все решить. Проходили дни, минула неделя — никаких распоряжений, полное молчание.

Разговор возобновил Иван Сергеевич.

— Я не столько прошу за себя, как за брата... Я как-

нибудь проживу сочинениями и переводами. А у него ничего нет, ему скоро есть будет нечего.

— Все, все сделаю, — отвечала Варвара Петровна, — оба вы будете мною довольны.

Наконец настал торжественный день объявления господского решения. Сыновья были приглашены в большую залу дома на Остоженке.

— Позвать сюда Леона Ивановича, — приказала мать вошедшему слуге.

Через несколько минут Леон Иванович принес на серебряном подносе два пакета и подал их своей госпоже. Варвара Петровна проверила надписи и один из них торжественно вручила Николаю, а другой Ивану.

— Прочтите же!

Сыновья повиновались. На простой бумаге, не скрепленной никакими официальными подписями и печатями, объявлялось о том, что Николаю даруется Сычево, а Ивану Кадное.

— Довольны ли вы теперь мною?

Николай Сергеевич подавленно молчал, а Иван ответил:

— Конечно, маман, будем довольны и будем благодарить тебя, если ты все сделаешь и оформишь дарственные.

— То есть как «оформишь»?!

— Не мне объяснять тебе, маман, ты сама прекрасно знаешь.

Могли ли они предполагать, что над ними будет разыграна очередная комедия.

Слуга Леон Иванович сказал им позже на ухо, что старостам Сычева и Кадного по почте послан был приказ: немедленно продать в «дареных» имениях весь хлеб, имеющийся на гумнах и на корню, а деньги от продажи выслать в Москву на имя самой Варвары Петровны.

На другой день утром барыня приступила к Ивану Сергеевичу с вопросами:

— Скажи мне, Иван, отчего вчера ты даже не поблагодарил меня? Неужели ты опять мною недоволен?

— Послушай, маман, оставим этот разговор... Не делай для нас ничего, оставь, и будем жить, как жили.

— Нет, не так! У вас теперь свои имения!

— Никаких имений нет, ничего ты нам не дала и ничего не дашь, — отвечал выведенный из терпения Иван Сергеевич. — Твои дарственные, как ты их называешь, не имеют силы. Завтра же ты можешь отнять у нас все, что «подарила» сегодня. Да и к чему! Имения твои, и все

твое. Скажи нам просто: «Не хочу ничего вам дать!» К чему вся эта комедия?

— Ты с ума сошел! — закричала Варвара Петровна. — Ты забываешь, с кем ты говоришь!!!

— Мне брата жаль. За что ты его сгубила? Ты позволила ему жениться, заставила его бросить службу, переехать сюда с семьей. Ведь он жил своими трудами, у тебя ничего не просил... А теперь со дня его переезда ты на муку его обрекла, ты постоянно его мучаешь, не тем, так другим.

— Чем? Скажи, чем?! — повышала голос Варвара Петровна.

— Всем! — уже с отчаянием и не сдерживаясь, воскликнул Иван Сергеевич. — Да кого ты не мучаешь? Кого? Всех! Кто возле тебя свободно дышит?!

— Нет у меня детей! — вдруг закричала Варвара Петровна. — Вон! Ступай! — И, хлопнув дверью, удалилась из комнаты.

В господском кабинете с сердцем брошен был об пол портрет Ивана Сергеевича; стекло разбилось вдребезги, а картон с изображением отлетел далеко к стене. Сбежались слуги. Начались обмороки и истерика...

Так и валялся дорогой образ сына Ванички поруганным вплоть до возвращения Варвары Петровны из Спасского в первых числах сентября.

Когда припадок самовластия прошел, направила госпожа за сыновьями посыльного, но те уже уехали из Москвы в Тургенево, единственную им принадлежащую деревушку, которая досталась по наследству от покойного отца.

Врачующие сельские просторы милой Родины. Им, только им обязан был Тургенев исцелением от невзгод безрадостного детства, трудной юности и бесприютной, скитальческой молодости. Все лето он провел в охотничьих странствиях, встречаясь с мужиками и крестьянскими детьми. Случалось, настигала ночь заплутавшего охотника, и небо с ясными, мерцающими звездами являлось для него надежным кровом при слабом свете догорающего костра. Тогда он написал два поэтических рассказа из «Записок охотника» — «Певцы» и «Бежин луг».

Неподалеку от Тургенева, в невзрачном кабачке, который получил в народе прозвище Притынного, присутствовал Иван Сергеевич при состязании двух певцов. Потрясенный услышанным, возвращался Тургенев домой по широкой равнине. «Затопленная мглистыми волнами

вечернего тумана, она казалась еще необъятней и как будто сливалась с потемневшим небом. «Он» сходил большими шагами по дороге вдоль оврага, как вдруг где-то далеко в равнине раздался звонкий голос мальчика: «Антропка! Антропка-а-а!..»

Он умолкал на несколько мгновений и снова принимался кричать. Голос его звонко разносился в неподвижном, чутко дремлющем воздухе. Тридцать раз по крайней мере прокричал он имя Антропки, как вдруг с противоположного конца поляны, словно с другого света, пронесся едва слышный ответ:

«Чего-о-о-о?»

«Как велики силы русской жизни и как они подавлены, — думал Тургенев. — Сколько скрытых возможностей таится в русском, самом странном и самом удивительном народе, какой только есть на свете».

Возгласы мальчика, «более и более редкие и слабые, долетали еще до его слуха, когда стало уже совсем темно и он огибал край леса», окружающего Тургенево.

«Антропка-а-а!» — все еще чудилось в воздухе, наполненном тенями ночи». Казалось, сама русская природа, сам степной и лесной ее простор взывали к человеку...

Часто Тургенев ловил себя на мысли, что думает о матери. Обида улеглась, и было жаль ее, жаль несчастной и по-своему незаурядной женщины с изломанной, трагической судьбой. Два раза подъезжал он к Спасскому, справлялся о здоровье матери, тайком забирался в потаенные уголки родного сада. «Горлинки немолчно ворковали, изредка свистала иволга, зяблик выделывал свое милое коленце, дрозды сердились и трещали, кукушка отзывалась вдали». Воспоминания детства набегали на него: «Куда ни шел, на что ни взглядывал, они возникали отовсюду, ясные до мельчайших подробностей, ясные в своей отчетливой определенности». Дядюшка Николай Николаевич сообщил ему под большим секретом, что Варвара Петровна оформила наконец своим сыновьям дарственные. И этот шаг был столь мучительным для ее неуступчивого характера, что матушка тяжело занемогла.

Тургенев знал, что мать раскаивается в своем поступке, что причиненная сыновьям жестокая обида и в материнском сердце отзывается теперь тяжелой болью. С годами становилась Варвара Петровна жертвой собственного своеволия. Дворовые шептали: «Изменилась барыня, ни крика, ни приказов, ни капризов. Как будто

жить устала и устала властвовать». По-видимому, так оно и было; здоровье барыни с каждым днем таяло, одолевали роковые недуги.

С камнем на сердце возвращался Иван Сергеевич после таких воровских визитов в Тургенево. К осени испортилась погода, пошли дожди, и поневоле приходилось коротать одинокие часы в необжитом домишке под соломенной крышей. И вспоминался Куртавнель, дыхание легкого осеннего ветерка, который шептал в яблонях над головами. Куда ушло это прекрасное время? И где они теперь, далекие друзья? По-видимому, вернулись в Куртавнель. Что делают они в эту минуту? Сидят за столом, им весело, они шумно болтают? Возможно, вспоминают иногда и о Тургеневе? А он сидит один в маленькой комнатке, на дворе холод и слякоть, и северный ветер несет по земле желтые листья.

Однажды встречавшийся со спасскими дворовыми людьми слуга сообщил Тургеневу, что Варвара Петровна отбыла в Москву в тяжелом состоянии. На другой день Иван Сергеевич с ружьем и собакой отправился на охоту, и какая-то властная сила привела его в Спасское. Поздно вечером, в 11 часов, он постучал в стекло балконной двери родного дома. Служанка испугалась, но Варенька узнала Тургенева и отворила двери. И вот он стоял на пороге, весь промокший, с ружьем и охотничьей сумкой за плечами.

— Как маменька? Что ее здоровье? — были первые слова. — Я слышал, она очень больна? Опасна она?

Варенька его успокоила: «Страха за очень быстрый исход Порфирий Тимофеевич не высказывал».

Иван Сергеевич вошел в залу, где горела единственная сальная свеча: расчетливый Михаил Филиппович находил, что этого достаточно. И на душе было темно и нерадостно: в родительском доме Тургенев чувствовал себя в положении незваного гостя.

Из Спасского он взял с собою в Петербург восьмилетнюю дочь, Пелагею, которая жила в семействе Лобановых. Когда он увидел эту девочку, тащившую утром ведро воды с Варнавицкого колодца, жгучее чувство стыда и нежной отцовской жалости впервые горячей волной ударило в грудь, краской бросилось в лицо. Ведь он в своих заграничных скитаниях совсем забыл о ее существовании. Чем виноват несчастный ребенок перед миром, за что он мучается?

Тургенев написал супругам Виардо во Францию об

истории рождения Пелагеи и о том несчастном положении, в котором оказалась его дочь. Он полагал, что в условиях России девочку ждут унижения и обиды. По закону она не может даже называть себя дочерью Тургенева, не имеет права наследовать его состояние, учиться в привилегированных учебных заведениях. В России в лучшем случае ей уготована судьба мещанки, занимающейся каким-нибудь расхожим ремеслом.

Вскоре из Куртавнеля пришел ответ. Супруги Виардо предлагали русскому другу взять дочь на полное содержание и воспитание за определенную и довольно круглую сумму. Тургенев был вне себя от великодушия своих французских друзей. Подумать только, какое счастье ожидает девочку! Какую радость должна она испытывать под опекой самой мадам Виардо! Так думалось Тургеневу, отцу, не знавшему цены семейной ласки и участия, не понимавшему, что интеллект, высокая духовная культура, даже божественная музыка не могут заменить ребенку и восполнить недостаток материнского и отцовского тепла. Прощаясь с девочкой, которую взялась доставить к Виардо знакомая француженка, Тургенев говорил о благах, ожидающих ее во Франции, о том, как нужно чтить и обожать Полину Виардо. Из этих наставлений восьмилетняя Пелагея поняла лишь то, что по желанию Ивана Сергеевича она теперь называется не Пелагея, а Полина и что во Франции никто не говорит по-русски и надо учиться понимать чужой и странный для нее язык.

Утром первого ноября 1850 года, после проводов дочери, Тургенев пошел взглянуть на дом, где ровно семь лет тому назад он встретил свою избранницу. В письме к Полине Виардо он сообщал: «Во всей моей жизни нет воспоминаний более дорогих, чем те, которые относятся к Вам... Мне приятно ощущать в себе, после семи лет, все то же глубокое, истинное, неизменное чувство, посвященное вам; сознание это действует на меня благодетельно и проникновенно, как яркий луч солнца; видно, мне суждено счастье, если я заслужил, чтобы отблеск вашей жизни смешивался с моей! Пока живу, буду стараться быть достойным такого счастья; я стал уважать себя с тех пор, как ношу в себе это сокровище.

Маленькая Полина должна быть уже в Париже, если с ней ничего не случилось дорогой; благодарю вас вперед за ласки, которые вы подарили ей, и за всю доброту, которою вы ее окружите. Повторяю вам: единственное, что я сказал ей при расставании, было то, что она должна

обожать вас, как своего бога. В этом она не будет одинока; но ей особенно не годится думать о вас иначе, как скрестив руки и склонив колени».

Так он писал, ослепленный сиянием того полубожественного нимба, которым его утонченное художественное воображение окружило облик действительно великой певицы, избранницы его изысканнейших эстетических наслаждений. В Полине Виардо он любил не столько женщину с ее земными достоинствами и недостатками, сколько Музу высокого искусства, артистический образ, доставлявший ему веру в бессмертие прекрасных жизненных мгновений.

Такая жизненная позиция оборачивалась известного рода прекраснодушием не только по отношению к окружающим, близким ему людям, что ярко видно в истории с дочерью, но и в судьбе самого Тургенева: сугубо эстетическое отношение к жизни привело — и не могло не привести — к страннической, бесприютному существованию. Уникальная всемирная отзывчивость Тургенева на все прекрасное, где бы оно ни росло, под каким бы небом ни обитало, в своих крайних проявлениях вырождалось в космополитизм — «противоположное общее место» по отношению к национальному эгоизму, национальной замкнутости и ограниченности. Эту опасность Тургенев постоянно чувствовал, создавая образы «лишних людей», работая над типами Рудина, Лаврецкого, Берсенева, Потугина.

Гоняться за прекрасными мгновениями — ведь это значит на каждом шагу испытывать боль потерь и утрат, привыкать видеть жизнь лишь в прихотливой изменчивости постоянно ускользающих явлений, ведь это значит лишить себя надежной защиты, неизменного покровительства веками выверенных ценностей — родного крова, семьи, отечества, национальной культуры в более плотных, материально ощутимых ее проявлениях...

— Я скоро приеду в Москву и опять постараюсь сойтись с маменькой, — сказал Тургенев в Спасском.

Теперь в Петербурге до него доходили слухи, что положение Варвары Петровны безнадежное. Но он все медлил с отъездом, пока 16 ноября не получил из Москвы известие, что мать его в агонии...

Он приехал в Москву... 21 ноября и матери в живых, конечно, не застал; родственники уже вернулись с кладбища Донского монастыря.

Тургенев зашел в ее комнату. На столе, на самом

почетном месте, застекленный, вставленный в новую рамку, стоял портрет ее любимого сына Ванички. Вернувшись в Москву из Спасского, мать приказала привести его в порядок, любовно поставила там, где он стоял всегда — на столике возле кровати.

Вдоль кровати, на которой она умерла, была приделана полочка. Тут стояла коробка с надписью «отдельные листки». Перед смертью каждый день Варвара Петровна что-то писала на них тонко отточенным карандашом. Это был ее дневник, а точнее, предсмертная исповедь.

Воспитаннице Вареньке она продиктовала следующее письмо:

«Милые мои дети, Николай и Иван!

Приказываю вам по смерти моей выдать вольную Полякову и всему его семейству и выдать ему 1000 рублей награждения; а также и доктору моему Порфирию Тимофееву вольную и 500 рублей награждения.

Любящая вас мать Варвара Тургенева».

За день до кончины своей она потребовала Николая Сергеевича. Явившись, он встал на колени у постели матери. Варвара Петровна притянула его к себе слабеющей рукой, обняла, поцеловала и каким-то умоляющим шепотом произнесла:

— Ваню, Ваню!

Но свидания с любимцем — этого последнего утешения — жизнь подарить ей не хотела и не могла...

Среди листков материнского дневника Тургенева особенно поразили тогда кровью сердца написанные слова:

«Матушка, дети мои! Простите меня! И ты, о Боже, прости меня, ибо гордыня, этот смертный грех, была всегда моим грехом».

Полине Виардо Тургенев сообщал:

«С прошлого вторника у меня было много разных впечатлений. Самое сильное из них было вызвано чтением дневника моей матери... Какая женщина, друг мой, какая женщина! Всю ночь я не мог сомкнуть глаз. Да простит ей Бог все... Но какая жизнь...

Право, я совершенно потрясен. Да, да, мы должны быть добры и справедливы, хотя бы для того, чтобы не умереть так, как она...»

Со смертью матери на Тургенева обрушились незнакомые и чуждые ему хозяйственные хлопоты. Раздел наследства был произведен с большими уступками в пользу брата. Одно условие Тургенев выговаривал — оставить за

ним Спасское. «Продать Спасское — значит для меня лечь в гроб», — говаривал он впоследствии.

Войдя в законное владение имением, Тургенев распустил значительную часть дворовых на свободу, а пожелавших крестьян перевел с барщины на оброк. Он «всячески содействовал общему освобождению» и крестьянам, желающим откупиться на волю, уступил пятую часть установленной в те годы выкупной суммы; за усадебную землю он не брал ничего, безвозмездно передавая ее в собственность крестьянам. На бо́льшее Тургенев не решился не только из соображений личной, материальной выгоды. В очерке «Хорь и Калиныч» умный и хозяйственный мужик так отвечает на вопрос охотника, почему он не хочет откупиться от своего барина:

— Попал Хорь в вольные люди, — кто без бороды живет, тот Хорю и набольший.

Крестьянин в тех условиях, лишаясь покровительства помещика, попадал в кабальную зависимость от «безбородой» чиновничьей братии, которая набрасывалась на вольного мужика и разоряла его своими поборами. Выстоять перед нею мог лишь очень состоятельный крестьянин, скопивший большой капитал и записавшийся в купцы.

Заведовать хозяйственными делами Спасского сам Тургенев не решался. Он пригласил для этого управляющего, Н. Н. Тютчева, человека с университетским образованием, близкого к кружку писателей журнала «Современник».

Получив известную свободу и независимость, Тургенев мог теперь жить более широко. Как человек гостеприимный и хлебосольный, он часто устраивал в Москве обеды для знакомых артистов и писателей: в уютном доме на Остоженке бывали Щепкин и Садовский, Грановский и братья Аксаковы. На продолжавшиеся споры западников со славянофилами Тургенев смотрел с широкой и терпимой точки зрения, считая, что в своих суждениях обе стороны страдают партийной узостью и ограниченностью.

Современники вспоминали, например, один характерный эпизод о поведении Тургенева в кружке Грановского. Только что в славянофильском «Москвитянине» вышла статья Аполлона Григорьева о комедиях Островского. Критик заявлял в ней, что «новое слово Островского есть самое старое слово — народность». Грановский в обществе единомышленников погрузился в чтение этой статьи.

— Полно вам заниматься болтовней «молодой редакции», — заметил ему кто-то, — присядьте-ка лучше к нам для беседы.

— Нет, господа, — отвечал он, — дайте дочитать! Это до того глупо, что даже становится интересным.

— А вы, Тургенев, об этой статье какого мнения?

— Мне она нравится, — отвечал Иван Сергеевич.

В Москве в 1850—1851 годах друзья часто встречали Тургенева с томиком «Опытов» Мишеля Монтеня, крупнейшего французского писателя и мыслителя эпохи Возрождения. Тургенев восхищался его сочинениями, часто цитировал их и всячески пропагандировал в кругах московских западников и славянофилов.

Увлечение Монтенем было знаменательным. В эпоху бескомпромиссной, доходившей до фанатизма борьбы между партиями гвельфов и гибеллинов во Франции XVI века Мишель Монтень придерживался золотой середины, не примыкая ни к одной из них. Он оставался сторонником спокойствия, нравственного равновесия, ясности человеческого духа, решительным противником любых завершенных идеологических и философских систем. В век энтузиазма и борьбы страстей он ухитрялся сохранять позицию спокойного наблюдателя, не впадающего ни в одну из крайностей, принципиально враждебного любому догматическому озлоблению.

Монтень был умеренным скептиком как во взгляде на людей, так и в философских воззрениях, в основе которых лежало убеждение в недостаточности человеческого познания. Людям не дано знание абсолютной истины, а всякие претензии на это знание неосновательны и приводят к фанатизму. Этот тезис в эпоху ожесточенной борьбы религиозных партий подрывал самый корень фанатизма.

Тургенев многое взял у Монтеня, за исключением, может быть, его эпикуреизма. Монтень видел в эгоизме естественное и необходимое для человеческого счастья качество. Если человек будет принимать интересы других так же близко к сердцу, как свои собственные, — прощайте счастье и душевное спокойствие. Тургеневу было чуждо отрицание нравственного долга, стремление поставить добродетель в зависимость от собственного душевного комфорта. Но желание Монтеня уйти от фанатизма и крайностей вызывало у русского писателя искреннее сочувствие. И как для Монтеня положение между двумя враждебными партиями становилось все более и более невыносимым, а умеренность делала его подозрительным

обеим сторонам (гибеллинам он казался гвельфом, а гвельфам гибеллином), — так и Тургенев вызывал естественное недоумение и у славянофилов, и у западников, а в конечном счете — у всех.

До поры до времени тургеневские приятели более или менее терпеливо сносили эту особенность его характера. В какой-то мере она отвечала внутренней, не всегда осознанной, но существовавшей тогда потребности единения всех думающих людей. В эпоху «мрачного семилетия» живая мысль находилась под мощным давлением цензуры и Третьего отделения. Она преследовалась и губилась на корню при каждом удобном случае. А это способствовало относительной консолидации всех жизнеспособных общественных сил. Перед лицом консервативной политики Николая I они охотнее прощали друг другу разногласия и чаще шли на союз.

Но чем сильнее обострялись общественные конфликты, тем более нетерпимо относились разные круги русского общества к тургеневской позиции, пока на гребне 1860-х годов писатель волею судеб не оказался вынесенным за пределы России волною общественного подъема и беспощадной межпартийной борьбы.

Но это произошло позднее, а пока в доме Тургенева царила любезная его сердцу артистическая атмосфера. Пока широта тургеневских воззрений еще удерживала противоположные, враждующие группы в относительном единстве и взаимопонимании. Особенно восхищали гостей дома на Остоженке юмористические сцены из народной жизни в неподражаемом исполнении Прова Садовского. Историк Иван Егорович Забелин увлекал рассказами о древней Москве, о быте русских царей. В его рассказах история ощущалась в бытовых деталях и подробностях, в особенностях русского домостроительства, в семейных традициях и нравах. Тургеневу-писателю такие рассказы давали больше материала для художественных образов, чем чтение официальных исторических трудов. «Выводы науки, даже события современной жизни, — говорил Забелин, — с каждым днем все более раскрывают истину, что домашний быт человека есть среда, в которой лежат зародыши и зачатки его развития и всевозможных явлений его жизни, общественной и политической или государственной. Это в собственном смысле историческая природа человека, столь же сильная и столько же разнообразная в своих действиях, как и природа его физического существования».

В это время Тургенев впервые испытал успех как драматический писатель. На сцене Малого театра был поставлен «Холостяк». В письме к Полине Виардо Тургенев сообщал: «Третьего дня я... присутствовал на представлении моей комедии. Публика приняла ее очень горячо; особенно третий акт имел чрезвычайно большой успех. Сознаюсь, это приятно. Щепкин был великолепен, полон правды, вдохновения и чуткости... Но как поучительно для автора присутствовать на представлении своей пьесы! Что там ни говори, но становишься публикой, и каждая длиннота, каждый ложный эффект поражает сразу, как удар молнии».

Особенный успех у московской публики имела «Провинциалка»: «Вообразите себе, меня вызывали такими неистовыми криками, что я наконец убежал совершенно растерянный, словно тысячи чертей гнались за мной, и брат мой тотчас рассказал мне, что шум продолжался добрую четверть часа и прекратился только тогда, когда Щепкин вышел и объявил, что меня нет в театре. Я очень жалею, что удрал, так как могли подумать, что я манерничаю. Милый Щепкин пришел обнять меня и побранить за бегство».

20 октября 1851 года Щепкин свел Тургенева с Гоголем. Ивана Сергеевича прежде всего поразила перемена, которая произошла с Гоголем с 1841 года, когда Тургенев видел писателя в доме А. П. Елагиной. «В то время он смотрел приземистым и плотным малороссом; теперь он казался худым и испитым человеком, которого уже успела на порядках измыкать жизнь. Какая-то затаенная боль и тревога, какое-то грустное беспокойство примешивались к постоянно проницательному выражению его лица». Увидев Тургенева и Щепкина, он с веселым видом подошел им навстречу и, пожав Тургеневу руку, промолвил: «Нам давно следовало быть знакомыми». Гоголь следил за творчеством Тургенева и считал, что во всей русской литературе «больше всех таланту у него».

Теперь Тургенев пристально вглядывался в черты человека, произведения которого знал чуть ли не наизусть. «Его белокурые волосы, которые от висков падали прямо, как обыкновенно у казаков, сохранили еще цвет молодости, но уже заметно поредели; от его покатого, гладкого, белого лба по-прежнему так и веяло умом. В небольших карих глазах искрилась по временам веселость... Длинный, заостренный нос придавал физиономии Гоголя нечто хитрое, лисье».

«Гоголь говорил много, с оживлением, размеренно отталкивая и отчеканивая каждое слово, — что не только не казалось неестественным, но, напротив, придавало его речи какую-то приятную вескость и впечатлительность... Он говорил о значении литературы, о призвании писателя, о том, как следует относиться к собственным произведениям».

Однако Тургенева покоробило благосклонное отношение Гоголя к цензуре: он едва ли не возвеличивал ее и не одобрял в качестве средства, развивающего в писателе сноровку и умение защищать свое детище. Он говорил о том, что цензура воспитывает в писателе терпение, смирение и другие христианские добродетели. Перед Тургеневым был теперь тот самый Гоголь, которым возмущался Белинский; в его суждениях постоянно проглядывал автор «Выбранных мест из переписки с друзьями». Вскоре Тургенев почувствовал существенное различие между его мировоззрением и убеждениями Гоголя. «Не одно и то же мы ненавидели, не одно любили; но в ту минуту — в моих глазах все это не имело важности. Великий поэт, великий художник был передо мною, и я глядел на него, слушал его с благоговением, даже когда не соглашался с ним».

В памяти Тургенева пронеслись строки ответного письма Гоголя Белинскому, письма, исполненного великодушия и прощения:

«Я не мог отвечать скоро на ваше письмо, — писал Гоголь. — Душа моя изнемогла, все во мне потрясено, могу сказать, что не осталось чувствительных струн, которым не было бы нанесено поражения еще прежде, чем получил я ваше письмо. Письмо ваше я прочел почти бесчувственно, но тем не менее был не в силах отвечать на него. Да и что мне отвечать? Бог весть, может быть, и в ваших словах есть часть правды.

...Мне кажется даже, что не всякий из нас понимает *нынешнее* время, в котором так явно проявляется дух *построенья полнейшего*, нежели когда-либо прежде: как бы то ни было, но все выходит теперь наружу, всякая вещь просит и ее принять в соображенье, старое и новое выходит на борьбу, и чуть только на одной стороне перельют и попадут в излишество, как в отпор тому переливают и на другой. Наступающий век есть век разумного сознания; не горячась, он взвешивает все, приемля все стороны к сведенью, без чего не узнать разумной середины вещей. Он велит нам оглядывать многосторонним взглядом старца, а не показывать горячую прыткость рыцаря прошедших времен; мы ребенки перед этим веком. Поверьте мне, что и вы и я виновны равномерно перед ним. И вы и я перешли в излишество. Я по крайней мере сознаюсь в этом, но сознаетесь ли вы? Точно так же как я упустил из виду *современные* дела и множество вещей, которые следовало сообразить, точно таким же образом упустили и вы; как я слишком *усредоточился* в себе, так вы слишком *разбросались*. Как мне нужно узнавать многое из того, что знаете вы и чего я не знаю, так и вам тоже следует узнать хотя часть того, что знаю я и чем вы напрасно пренебрегаете.

А покамест помните прежде всего о вашем здоровье. Оставьте на время современные вопросы. Вы потом возвратитесь к ним с большею свежестью, стало быть и с большею пользою как для себя, так и для них.

Желаю вам от всего сердца спокойствия душевного, первейшего блага, без которого нельзя действовать и поступать разумно ни на каком поприще».

Тогда же, в ответ на зальцбруннское письмо Белинского, Гоголь писал другу Тургенева П. В. Анненкову:

«Узнавши, что вы в Париже, пишу к вам. Я получил письмо от Белинского, которое меня огорчило не столько оскорбительными словами, устремленными лично на меня, сколько чувством ожесточения вообще. Последнее сокрушительно для его здоровья. Вы теперь при нем: отведите от него все возмущающее дух его. Убедите его прежде всего в той непреложной истине, что *излишество* теперь удел всех, кто сколько-нибудь имеет сердце не бесчувственное к делам мира, какой-нибудь характер и какое-нибудь убеждение. Все переливают через край, потому что никто не спокоен. Я, более других спокойный и хладнокровный, впал в излишество более других: писавши мои письма, я был истинно убежден в той мысли, что все звания и должности могут быть освящены человеком и что чем выше место, тем оно должно быть святее; я хотел рассмотреть все места и звания в их чистом источнике, а не в том виде, в каком они являются вследствие злоупотреблений человеческих; я начал с высших должностей; я хотел напомнить человеку о всей святости его обязанностей, а выразился так, что слова мои приняли за куренье человеку».

Вот и теперь перед Тургеневым и Щепкиным Гоголь все пытался объяснить свою позицию. О Белинском он не заговаривал — «это имя обожгло бы его губы». Но он

вспомнил о заграничной статье Герцена, упрекавшего Гоголя в измене прежним убеждениям. Внезапно изменившимся и торопливым голосом Гоголь стал уверять собеседников, что и в прежних его сочинениях не было никакой оппозиции, что он всегда придерживался религиозных, охранительных начал. Но в самой горячности и поспешности оправдания чувствовалась «наболевшая рана». С юношеской живостью он вскочил с дивана и убежал в соседнюю комнату за томиком «Арабесок». Щепкин при этом «возвел очи горé — и указательный палец поднял... «Никогда таким его не видел», — шепнул он Тургеневу.

А Гоголь, вернувшись, стал читать на выдержку некоторые места из принесенного сборника и комментировать их: «Вот видите, я и прежде всегда то же думал, точно такие же высказывал убеждения, как и теперь!» «И это говорил автор «Ревизора», одной из самых отрицательных комедий, какие когда-либо являлись на сцене!» Тургенев и Щепкин молчали. Тогда Гоголь бросил книгу на стол и начал речь о театре. Он был крайне недоволен игрою московских актеров в «Ревизоре», считал, что они «тон потеряли», и предложил прочесть эту пьесу перед артистами Малого театра.

Через два дня Тургенев присутствовал на авторском исполнении «Ревизора». Это было превосходно. Говоря о его манере чтения, Тургенев сравнивал ее с манерой Диккенса. Диккенс разыгрывал свои романы, владел даром драматического, почти театрального чтения; в одном его лице являлось как бы сразу несколько первоклассных актеров. Гоголь читал иначе, просто и сдержанно. Он заботился не о театральном эффекте, а о том, чтобы как можно глубже вникнуть в смысл прочитанного. «Эффект выходил необычайный — особенно в комических, юмористических местах; не было возможности не смеяться — хорошим, здоровым смехом; а виновник всей этой потехи продолжал, не смущаясь общей веселостью и как бы внутренно дивясь ей, все более и более погружаться в самое дело — и лишь изредка, на губах и около глаз, чуть заметно трепетала лукавая усмешка мастера. С каким недоумением, с каким изумлением Гоголь произнес знаменитую фразу городничего о двух крысах: «Пришли, понюхали и пошли прочь!» — Он даже медленно оглянул всех, «как бы спрашивая объяснения такого удивительного происшествия». Тургенев «только тут понял, как вообще неверно, поверхностно, с каким желанием только поскорей насмешить обыкновенно разыгрывается на сцене «Ревизор». Хлестаков в исполнении Гоголя был «увлечен и странностью своего положения, и окружающей его средой, и собственной легкомысленной юркостью; он и знает, что врет, — и верит своему вранью: это нечто вроде упоения, наития, сочинительского восторга — это не простая ложь, не простое хвастовство. Его самого «подхватило». «Просители в передней жужжат, 35 тысяч эстафетов скачет — а дурачье, мол, слушает развесив уши, и какой я, мол, бойкий, игривый светский молодой человек!» Вот какое впечатление производил в устах Гоголя хлестаковский монолог».

С тех пор Тургенев уже никогда с Гоголем не встречался...

АРЕСТ И СПАССКАЯ ССЫЛКА

Это было в последних числах февраля 1852 года. На утреннем заседании в зале Дворянского собрания в Петербурге Тургенев заметил странно возбужденного И. И. Панаева, перебегавшего от одного лица к другому. «В Москве умер Гоголь!»...

«Нас поразило великое несчастие, — писал Тургенев Полине Виардо. — Гоголь умер в Москве, умер, предав все сожжению, — все — второй том «Мертвых душ», множество оконченных и начатых вещей, — одним словом, все. Вам трудно будет оценить всю огромность этой столь жестокой, столь полной утраты. Нет русского, сердце которого не обливалось бы кровью в эту минуту. Для нас он был более, чем только писатель: он раскрыл нам нас самих. Он во многих отношениях был для нас продолжателем Петра Великого. Быть может, эти слова покажутся вам преувеличенными, внушенными горем. Но вы не знаете его: вам известны только самые из незначительных его произведений, и если б даже вы знали их все, то и тогда вам трудно было бы понять, чем он был для нас. Надо быть русским, чтобы это почувствовать. Самые проницательные умы из иностранцев, как, например, Мериме, видели в Гоголе только юмориста английского типа. Его историческое значение совершенно ускользнуло от них. Повторяю, надо быть русским, чтобы понимать, кого мы лишились».

В смерти Гоголя Тургенев увидел событие, отражающее трагические стороны русской жизни и русской исто-

рии. «Это тайна, тяжелая, грозная тайна — надо стараться ее разгадать... но ничего отрадного не найдет в ней тот, кто ее разгадает... Трагическая судьба России отражается на тех из русских, кои ближе других стоят к ее недрам — ни одному человеку, самому сильному духу, не выдержать в себе борьбу целого народа — и Гоголь погиб!» Тургеневу казалось, что это была не простая смерть, а смерть, похожая на самоубийство, начавшееся с истребления «Мертвых душ». Социальная дисгармония прошла через сердце великого писателя России, и это сердце не выдержало, разорвалось.

Тургеневу было неприятно видеть, что многие петербургские литераторы приняли известие о смерти Гоголя спокойно. Писатель надел траур и в общении с друзьями и знакомыми резко обличал хладнокровие петербургской публики, петербургских журналов и газет. Стремясь разъяснить читателям глубину постигшей Россию трагедии, Тургенев написал некролог:

«Гоголь умер! Какую русскую душу не потрясут эти два слова? Он умер... Да, он умер, этот человек, которого мы теперь имеем право, горькое право, назвать великим; человек, который своим именем одним означил эпоху в истории нашей литературы...

Мысль, что прах его будет покоиться в Москве, наполняет нас каким-то горестным удовлетворением. Да, пусть он покоится там, в этом сердце России, которую он так глубоко знал и так любил...»

Тургенев направил некролог в редакцию «Петербургских ведомостей». Но статья не появилась ни в один из последовавших дней. На недоуменный вопрос Тургенева издатель газеты заметил:

— Видите, какая погода, — и думать нечего.

— Да ведь статья самая невинная.

— Невинная *ли, нет ли, — возразил издатель, —* дело не в том; вообще имя Гоголя не велено упоминать.

Вскоре до Тургенева дошел слух, что попечитель Петербургского учебного округа Мусин-Пушкин назвал Гоголя «лакейским писателем». Возмущенный Тургенев обратился к московским друзьям с просьбой попытаться напечатать некролог в Москве. Им это удалось, и 13 марта некролог под заглавием «Письмо из Петербурга» вышел в газете «Московские ведомости».

Так Тургенев попал, наконец, «под статью», нарушил закон, и против него уже можно было применить чрезвычайные меры. Он был на подозрении как автор антикрепостнических «Записок охотника», как свидетель парижских событий 1848 года, как друг Бакунина и Герцена. Нужен был повод. И он нашелся. Глава цензурного комитета, попечитель Петербургского округа Мусин-Пушкин заверил начальство, что он призывал Тургенева лично и лично передал ему запрещение цензурного комитета печатать статью, хотя в действительности Тургенев Мусина-Пушкина в глаза не видал и никакого с ним объяснения не имел. И вот за ослушание и нарушение цензурных правил Тургенев был арестован, приговорен к месячному заключению, а затем ссылке на жительство в родовое имение под полицейский надзор.

Первые сутки он просидел в обыкновенной сибирке, где «беседовал с изысканно-вежливым и образованным полицейским унтер-офицером, который рассказывал ему о своей прогулке в Летнем саду и об аромате птиц». А затем месяц находился под арестом в Адмиралтейской части. Образованный Петербург был взволнован этим безобразным событием. Толпы посетителей устремились к месту заключения, чтобы выразить свое искреннее сочувствие автору «Записок охотника». Тогда на посещение наложили запрет. Кто-то из литераторов пустил гулять по Петербургу каламбур: «Говорят, литература не пользуется у нас уважением, — напротив, литература у нас в *части*».

Но в высших кругах общества, близких ко двору, арест Тургенева вызвал одобрение: этот дерзкий человек договорился до того, что осмелился назвать Гоголя, писателя, «великим человеком». Одна из светских дам, охотно согласившаяся помочь Тургеневу, отказалась от своей затеи, узнав о такой «дерзости». «Великим» разрешалось называть императора, полководца, государственного человека. В высших сферах еще господствовал взгляд, подобный взгляду покойной Варвары Петровны, сравнивавшей писателя с писцом.

Поплатились и московские друзья Тургенева. В. П. Боткин за содействие в публикации некролога был взят под полицейский надзор, а неслужащий Е. М. Феоктистов насильственно определен на государственную службу с установленным и за ним «присмотром».

Николай I был тогда в отъезде, и Тургенев написал объяснительное письмо цесаревичу Александру, объясняя свой «проступок» глубокой скорбью об ушедшем писателе. Официального ответа Тургенев, по-видимому, не получил, но условия пребывания под арестом улучшились: его

перевели на квартиру частного пристава, разрешили читать и работать. А. К. Толстой приносил ему книги и вместе с княжной С. И. Мещерской пытался добиться освобождения. Хлопоты оказались безуспешными. В придворной среде ходили слухи об антиправительственных настроениях Тургенева. С. И. Мещерская предупреждала, что переписка с семейством Виардо должна быть осмотрительной с обеих сторон: «Малейшее рассуждение чуть-чуть либеральное... да еще исходящее из семьи, известной как очень республиканская, — может вас подвергнуть новым и более значительным неприятностям».

Но в литературных семьях Петербурга Тургенев оказался героем дня. Младшие дочери Ф. И. Тютчева, «обе республиканки», по словам Мещерской, «подняли бунт» из-за Тургенева: «Портрет императора сковырнулся с почетного места в шкаф для нижних юбок и там был помещен в самом низу, лицом к задней стенке шкафа, — и выйдет оттуда только после благоприятного конца нашей драмы».

Тургенев начал было под арестом изучать польский язык, но Мещерская предупредила, что это безумно со стороны человека, преследуемого властями, знающими об антигосударственных настроениях в современной Польше, где поднимается освободительное движение. Княжна не уставала повторять: «Помните, что ни одно ваше движение или слово не остаются незамеченными... Прощайте и еще раз — сожгите ваш польский учебник».

В письме к супругам Виардо, пересланном в Париж частным образом, Тургенев объясняет свой арест не статьей о Гоголе, «совершенно незначительной», а тем, что на него уже давно смотрели косо и только искали подходящего случая. Письмо выдержано в спокойных тонах. Тургенев огорчен, что не увидит весны, а в деревню едет охотно: он собирается изучать русский народ, «самый странный и самый изумительный во всем мире», будет писать давно задуманный роман.

Под арестом Тургенев создает рассказ «Муму», навеянный воспоминаниями о матери: «день ее нерадостный и ненастный, и вечер ее чернее ночи». После освобождения он читает «Муму» своим друзьям в Петербурге: «Истинно трогательное впечатление произвел этот рассказ, вынесенный им из съезжего дома, и по своему содержанию, и по спокойному, хотя и грустному тону изложения. Так отвечал Тургенев на постигшую его кару, продолжая без устали начатую им деятельную художническую пропаганду по важнейшему политическому вопросу того времени», — вспоминал П. В. Анненков.

По пути в Спасское Тургенев остановился в Москве, где встречался с И. Е. Забелиным и внимательно осматривал с ним «московские древности», В последнее время в нем пробудилась тяга к отечественной истории, к народному творчеству, крестьянской культуре.

И вот он в Спасском, но не на положении хозяина, а в роли политического изгнанника. Вновь, и в который раз, родовое гнездо угрожало обратиться по отношению к нему тюрьмой. За Тургеневым установлен надзор местной полиции, причем довольно назойливый. За ним приставлен человек, которого соседи называют «мценским цербером». «Цербер» следит за каждым шагом Тургенева и строчит в полицейское управление доносы-отчеты, вроде следующего: «И ехали они на охоту. Вид у них был бравый. Остановились в поле и долго с крестьянами изволили говорить о воле. А когда я к ним подошедши шапку снял и поклонился, то Иван Сергеевич такой вид приняли, как будто черта увидели, сделались серьезными».

По воспоминаниям современников, «в первое время ссылки визиты к Ивану Сергеевичу соседними помещиками делались как-то нерешительно, с каким-то смущением: приезжали к нему только самые храбрые, и то с оглядкою; но, когда первые пионеры побывали в Спасском без каких-либо для себя последствий, тогда и все другие соседи начали совершать набеги на Спасское безбоязненно».

В 1852 году, сразу же после освобождения из-под ареста, отправляясь в Спасское, Тургенев пригласил в гости двух молодых друзей, студентов Петербургского университета Д. Я. Колбасина и И. Ф. Миницкого, принадлежавших к кружку демократически настроенной молодежи. Визит не был безопасным для студентов, но, как заявлял Колбасин, ради Тургенева он был «готов на все, даже если б потребовалась личная жертва — исполнил бы ее не заикнувшись».

Начинались летние охоты — любимое время Тургенева. Колбасин напросился взять его с собой. Иван Сергеевич обрадовался неожиданному спутнику и приказал своим егерям, старику Афанасию и молодому Александру, снарядить его по-охотничьи. «Ружье, шляпа, сумка с порохом и дробью, старый кафтан, сидевший на мне как мешок и ниже колен, все это было собрано, — вспоминал Колбасин, — но явился вопрос о болотных сапогах. Как быть? Судили, рядили и порешили нарядить меня в сапоги

доктора Порфирия, мужчины почти такого же роста, как и Тургенев, но вдвое его толще. Кто-то сбегал в деревенскую больницу, и сапоги были принесены. Но увы! Один сапог оказался с искривленным каблуком, а величина каждого равнялась двум моим ногам... Увидев меня в таком наряде, Иван Сергеевич расхохотался».

Утром, «проехав Малиновую воду, мы остановились у мужика, знакомого егерю Афанасию, и, приказав приготовить на сеновале постели и самовар, после заката солнца отправились на болото. Увидев первого бегущего кулепа, я поотстал, приложился — и кулеп затрепетал на месте. Собака бросилась, чтобы принести дичь, но в это мгновение Тургенев повернулся ко мне лицом и серьезно сказал: «Послушайте, Колбасин, вы этого не делайте. Стрелять сидящую птицу или сонного зверя — считается убийством и прилично только промышленникам, а не охотникам...»

Все лето Тургенев посвятил охоте, но, когда пришла ненастная осень, когда уехали молодые друзья, ему часто становилось тоскливо и грустно. Скрашивали жизнь письма друзей, воспоминания, мечты, игры воображения и, наконец, девушка из народа, «жена — не жена, а почитай, что жена», — говоря словами тургеневского Чертопханова.

У дяди Николая Николаевича было две дочери на выданье, и он в Москве часто устраивал вечера. Временами на них появлялась племянница Николая Николаевича Елизавета Алексеевна Тургенева со служанкой Феоктистой...

Современники вспоминали: «В первую минуту в ней не усматривалось ничего ровно: сухощавая, недурная собой брюнетка — и только. Но чем более на нее глядели, тем более отыскивалось в чертах ее продолговатого, немного смуглого личика что-то невыразимо-привлекательное и симпатичное. Иногда она так взглядывала, что не оторвался бы... Стройности она была поразительной, руки и ноги у нее были маленькие; походка гордая, величественная. Не один из гостей Елизаветы Алексеевны, рассматривая ее горничную, невольно думал: откуда в ней все это взялось?.. Ни с какой стороны не напоминала она девичью и дворню...»

В один из приездов в Москву Иван Сергеевич заглянул к кузине — и... стал часто захаживать к ней, глаз не сводил с Феоктисты. Родные заметили, что он «влюбился в нее по уши». В одном из устных рассказов Тургенев вспоминал: «Когда одна горничная входила при мне в комнату, я готов был броситься к ее ногам и покрыть башмаки поцелуями». Наконец, Иван Сергеевич не выдержал, признался кузине в своем чувстве.

Он выкупил Феоктисту за 700 рублей на волю — по тем временам такая цена считалась «сумасшествием». Но, к сожалению, это увлечение оказалось недолгим: они расстались с окончанием спасской ссылки, когда Тургенева снова потянуло вдаль, к другой любви, к стихии прекрасных мгновений.

В письмах к Полине Виардо из Спасского и намека нет на этот тайный роман. В них Тургенев по-прежнему тоскующий влюбленный. «Дорогой, добрый друг, умоляю вас писать мне часто; ваши письма всегда делали меня счастливым, а теперь они мне особенно необходимы». Он по-прежнему напоминает Виардо о годовщине их первой встречи, теперь уже девятой, помнит все, как будто встреча произошла вчера. «Что же остается мне? — Работа и воспоминания. Но для того чтобы работа была легка, а воспоминания менее горьки, мне нужны ваши письма, с отголосками счастливой, деятельной жизни, с запахом солнца и поэзии, который они ко мне приносят». Тургенев сетует, что жизнь его уходит «капля за каплей, словно вода из полузакрытого крана». «Никому не дано вернуться на следы прошлого, но я люблю вспоминать о нем, об этом неуловимо прелестном прошлом».

В этих письмах трудно заподозрить Тургенева в неискренности. В них любилось отлетевшее, ушедшее, недосягаемое, в Феоктисте же была живая, не воображаемая жизнь. Вероятно, частицу своего душевного опыта вложил Тургенев в описание любви Николая Петровича Кирсанова к милой простушке Фенечке. Любовь к ней не мешала герою предаваться сладостным воспоминаниям о прошлом, о любимой девушке, той самой, что потом была его женой. Оба этих чувства уживаются в душе Николая Петровича, потому что разная у них природа.

Теплым летним вечером, в саду, Николай Петрович предается радостной игре одиноких дум, воскрешает прошлое, умершую жену свою, Марию. Но не о счастливых днях семейной жизни вспоминает герой; над его душою безраздельно властвует другое: «полуслова, полуулыбки, и недоумения, и грусть, и порывы, и, наконец, эта задыхающаяся радость». И в Марии видит он не женщину, а девушку, любит в ней мгновенья робко пробуждающегося чувства, — то, что называется «предысторией любви». «Но, — думал он, — те сладостные, первые мгновенья,

отчего бы не жить им вечною, неумирающею жизнью?»

«Он не старался уяснить самому себе свою мысль, но он чувствовал, что ему хотелось удержать то блаженное время чем-нибудь более сильным, нежели память; ему хотелось вновь осязать близость своей Марии, ощутить ее теплоту и дыхание, и ему уже чудилось, как будто над ним...

— Николай Петрович, — раздался вблизи его голос Фенечки, — где вы?

Он вздрогнул. Ему не стало ни больно, ни совестно... Он не допускал даже возможности сравнения между женой и Фенечкой, но он пожалел о том, что она вздумала его отыскивать. Ее голос разом напомнил ему: его седые волосы, его старость, его настоящее...

Волшебный мир, в который он уже вступал, который уже возникал из туманных волн прошедшего, шевельнулся — и исчез.

— Я здесь, — отвечал, он, — я приду, ступай. «Вот они, следы-то барства», — мелькнуло у него в голове».

Но не только в барстве был исток тургеневской раздвоенности, а и в особенностях его художественной натуры. Устремляясь к абсолютной красоте и эстетической гармонии, от реальности он неизбежно отлетал. Жить искусством можно было в одухотворенной сфере чистого воображения, где царили лишь прекрасные мгновения. Только реальная жизнь при этом оставалась прозаична и суха.

Поэтому и отношения с Полиной Виардо у Тургенева раздваивались: в царстве духа — божество, заслуживающее молитвенного восхищения, в повседневной жизни — властное и волевое существо, под влиянием которого надламывалась личность. Время спасской ссылки постепенно отрезвляет Тургенева. В январе 1853 года Полина Виардо гастролирует в России, но Тургенев узнает об этом из газет. «Признаюсь, хотя без малейшего упрека, что я предпочел бы узнать все это от вас самой. Но вы живете в вихре, отнимающем у вас время, — и лишь бы только вы не забыли обо мне, мне больше ничего не нужно».

В марте, когда гастроли продолжаются в Москве, Тургенев не выдерживает и с фальшивым паспортом, в купеческом костюме, отчаянно рискуя, отправляется в Москву. Вероятно, свидание не принесло ему радости: и по возвращении Тургенев постоянно сетует на лаконичность ее писем, напоминающих стремительный поток, в котором «каждое слово рвется быть последним». Живые связи постепенно истончаются и остаются только сладостные воспоминания да дружеская переписка, поддерживаемая заботами о дочери. Но, кроме этого, — бессмертные страницы, поэтизирующие любовь, которая сильнее смерти:

«Это было в конце марта, перед Благовещением, вскоре после того, как я в первый раз тебя увидел, и, еще не подозревая, чем ты станешь для меня, уже носил тебя в сердце — безмолвно и тайно. Мне пришлось переезжать одну из главных рек России. Лед еще не тронулся на ней, но как будто вспух и потемнел; четвертый день стояла оттепель. Снег таял кругом — дружно, но тихо; везде сочилась вода; в рыхлом воздухе бродил беззвучный ветер. Один и тот же, ровный молочный цвет обливал землю и небо; тумана не было — но не было и света; ни один предмет не выделялся на общей белизне; все казалось и близким, и неясным. Оставив свою кибитку далеко назади, я быстро шел по льду речному — и, кроме глухого стука собственных шагов, не слышал ничего; я шел, со всех сторон охваченный первым млением и веянием ранней весны... И понемногу, прибавляясь с каждым шагом, с каждым движением вперед, поднималась и росла во мне какая-то радостная, непонятная тревога... Она увлекала, она торопила меня — и так сильны были ее порывы, что я остановился наконец в изумлении и вопросительно посмотрел вокруг, как бы желая отыскать внешнюю причину моего восторженного состояния... Все было тихо, бело, сонно; но я поднял глаза: высоко на небе неслись станицей перелетные птицы... «Весна! Здравствуй, весна! — закричал я громким голосом, — здравствуй, жизнь, и любовь, и счастье!» — и в то же мгновенье, с сладостно потрясающей силой, подобно цвету кактуса, внезапно вспыхнул во мне твой образ — вспыхнул и стал, очаровательно яркий и прекрасный, — и я понял, что я люблю тебя, тебя одну, что я весь полон тобою...»

Поэзия взлетала над жизненной прозой, и когда Тургенев писал эти строки уже в 1862—1864 годах, воспоминание о рискованной, отчаянной поездке на свидание с Полиной Виардо явилось для них биографической подоплекой. В духовной сфере, в поэзии сердечного воображения роман Тургенева с Полиной Виардо длился всю жизнь и, вероятно, не слишком нуждался в «вещественных знаках невещественных отношений». Для его продолжения достаточно было ласкового взгляда, трепетного прикосновения к ее руке, достаточно было рожденного ею бессмертного искусства.

В Спасском у Тургенева появилась возможность сосредоточиться и пополнить пробелы в знании истории России. «Что касается до меня, — пишет он из ссылки, — то я погрузился по шею в русские летописи. Когда я не работаю, то не читаю ничего другого». С увлечением штудирует Тургенев книгу И. Сахарова «Сказания русского народа», труд И. Снегирева «Русские простонародные праздники и суеверные обряды», «Быт русского народа» А. Терещенко, восторгается былинами, собранными Киршею Даниловым, упивается народными русскими песнями.

«Я ни одного мгновения до сих пор не чувствовал скуки, — пишет он в ноябре 1852 года А. Краевскому, — работаю и читаю». «Никогда так много и легко не работал, как теперь». «Уединение, в котором я нахожусь, мне очень полезно»: «я чувствую, что я стал проще и иду прямее к цели, может быть потому, что во время писания не думаю о печатании». «Клянусь вам честью, вы напрасно думаете, что я скучаю в деревне. Неужели бы я вам этого не сказал? — убеждает Тургенев Феоктистова. — Я очень много работаю и притом я не один; я даже рад, что я здесь, а не в Петербурге. Прошедшее не повторяется и — кто знает — оно, может быть, исказилось. Притом надо и честь знать, пора отдохнуть, пора стать на ноги. Я недаром состарился, — я успокоился и теперь гораздо меньшего требую от жизни, гораздо большего от самого себя. И так я уже довольно поистратился, пора собирать последние гроши, а то, пожалуй, нечем будет жить под старость. Нет, повторяю, я совсем доволен своим пребыванием в деревне».

Постепенно Тургенев врастает в деревенскую жизнь, и она открывается перед ним новой, незнакомой своей стороной: «У меня на праздниках были маскарады: дворовые люди забавлялись, а фабричные с бумажной фабрики брата приехали за 15 верст — и представили какую-то, ими самими сочиненную, разбойничью драму. Уморительнее этого ничего невозможно было вообразить — роль главного атамана исполнял один фабричный — а представитель закона и порядка был один молодой мужик; тут был и хор вроде древнего, и женщина, поющая в тереме, и убийство, и все, что хотите...»

Он знакомится с соседями-помещиками, и почти все они интересны: «живу, батюшка, провинциальной жизнью, во всю ее ширину», «ближе стал к современному быту, к народу». В июле 1853 года Тургенев с увлечением рассказывает П. В. Анненкову о большой охотничьей эпопее, впечатления от которой отзовутся в повести «Поездка в Полесье». Он «был на берегах Десны, видел места, ни в чем не отличающиеся от того состояния, в котором они находились при Рюрике, видел леса безграничные, глухие, безмолвные — разве рябчик свистнет или тетерев загремит крылами, поднимаясь из желтого моха, поросшего ягодой и голубикой, — видел сосны вышиною с Ивана Великого — при взгляде на которые нельзя не подумать, что они сами чувствуют свою громадность, до того величественно и сумрачно стоят они, — видел следы медвежьих лап на их коре (медведи лазят по ним за медом) — познакомился с весьма замечательной личностью, мужиком Егором».

В начале спасской ссылки случилось важное событие в литературной жизни и писательской судьбе Тургенева. В Москве отдельным изданием вышли «Записки охотника» и вызвали в цензурном комитете настоящий переполох. По личному распоряжению Николая I цензор В. В. Львов, детский писатель демократической ориентации, пропустивший, вероятно, не без риска, книгу в печать, был уволен с должности без права службы по цензурному ведомству. Возникло подозрение, что Тургенев существенно изменил свои рассказы, усилил их политический смысл, готовя «Записки охотника» к отдельному изданию. Однако чиновник цензурного ведомства в результате порученной ему кропотливой сверки текста с журнальным вариантом «Современника» пришел к заключению, что «содержание рассказов осталось везде одно и то же». Обличительный пафос книги действительно усилился, но не за счет авторской переделки, которой почти не было, а в результате сложного художественного взаимодействия очерков между собою. В итоге «следствия» по делу об отдельном издании «Записок охотника» цензурный комитет выработал и обнародовал «специальное предостережение», которым отныне обязаны были руководствоваться все цензоры: «Так как статьи, которые первоначально не представляли ничего противного цензурным правилам, могут иногда получить в соединении и сближении направление предосудительное, то необходимо, чтобы цензура не иначе позволяла к печатанию подобные полные издания, как при рассмотрении их в целости».

Тургенев торжествовал. Он знал, что в неожиданном для публики эффекте нет ничего случайного: такова логи-

ка авторского замысла, очерки и создавались как фрагменты целого, как «отрывки» из единой книги. Порадовал автора и восторженный отклик Ивана Сергеевича Аксакова, который увидел в «Записках» «стройный ряд нападений, целый батальный огонь против помещичьего быта».

Однако литературная форма «Записок» казалась теперь Тургеневу уже исчерпанной. «Надобно пойти другой дорогой — надобно найти ее — и раскланяться навсегда с старой манерой. Довольно я старался извлекать из людских характеров разводные эссенции... Но вот вопрос: способен ли я к чему-нибудь большому, спокойному! Дадутся ли мне простые, ясные линии...»

В творчестве периода ареста и спасской ссылки Тургенев порывает со старой манерой и выходит на новую дорогу. «Муму» и «Постоялый двор» — своеобразный эпилог «Записок охотника» и пролог к тургеневским романам. Приступая к работе над этими произведениями, писатель мечтает о «простоте и спокойствии». Аналитическая пестрота, эскизность характеров, очерковость художественного письма его уже не удовлетворяют. Открытое в «Записках охотника» живое ощущение народной России как целого помогает теперь Тургеневу показать русский народ в едином и монументальном образе немого богатыря Герасима.

Образ Герасима настолько емок, что тяготеет к символу; он вбирает в себя лучшие стороны народных характеров «Записок охотника» — рассудительность и практический ум Хоря, нравственную силу, добродушие, трогательную любовь ко всему живому Калиныча, Ермолая, Касьяна. Появляются и новые штрихи: вслед за былиной о Микуле Селяниновиче и кольцовскими песнями, Тургенев поэтизирует вековую связь Герасима с землей, наделяющую его богатырской силой и выносливостью. Звучат отдаленные переклички и с другим героем былинного эпоса — Василием Буслаевым, когда немой Герасим стукает лбами пойманных воров или ухватывает дышло и слегка, но многозначительно грозит обидчикам.

Как и в «Записках охотника», в «Муму» сталкиваются друг с другом две силы: русский народ, прямодушный и сильный, и крепостнический мир в лице капризной, выживающей из ума старухи. Но теперь Тургенев дает этому конфликту новый поворот. Возникает вопрос, на чем держится крепостное право, почему мужики-богатыри прощают господам любые прихоти?

Сила крепостнического уклада не в личностях отдельных господ — жалка и немощна барыня Герасима, — а в вековой привычке: барская власть воспринимается народом как стихийная природная сила, всякая борьба с которой бессмысленна. В повести «Муму» Тургенев создает особый эстетический эффект. Все побаиваются немого богатыря: «Ведь у него рука, ведь вы изволите сами посмотреть, что у него за рука: ведь у него просто Минина и Пожарского рука». «Ведь он все в доме переломает, ей-ей. Ведь с ним не столкуешь; ведь его, черта этакого ...никаким способом не уломаешь». К финалу повести будто бы наступает предел терпению. Вот-вот взорвется и разбушуется, вот-вот раскроет немые уста Герасим и заговорит!

Но напряженный конфликт разрешается неожиданным уходом богатыря в родную деревню. И хотя торжествен и радостен этот уход, хотя вместе с Герасимом сама природа празднует освобождение, в сознании читателя остается чувство тревожного недоумения и обманутых надежд.

В «Постоялом дворе» умный, рассудительный и хозяйственный мужик Аким в один день лишается по прихоти своей госпожи всего состояния. Как ведет себя Аким? Подобно Герасиму, он уходит с барского двора, берет в руки посох странника, «божьего человека». На смену Акиму является ловкий и цепкий хищник из мужиков Наум. Однажды Тургенев так сказал Полине Виардо о бедности русских деревень: «Святая Русь далеко не процветает! Впрочем, для святого это и не обязательно».

Повести Тургенева получили высокую оценку в кругах славянофилов. Восхищаясь характером Акима, И. С. Аксаков писал: «Русский человек остался чистым и святым — и тем самым... святостью и правотою своей смирит гордых, исправит злых и спасет общество». В ответ на это Тургенев заявлял: «Один и тот же предмет может вызвать два совершенно противоположные мнения». «...Я вижу трагическую судьбу племени, великую общественную драму там, где вы находите успокоение и прибежище эпоса».

«Трагическую судьбу племени» Тургенев видел в гражданской незрелости народа, рожденной веками крепостного права. Нужны просвещенные и честные люди, исторические деятели, призванные разбудить «немую» Русь. Однако тезка его, Иван Сергеевич Аксаков, сделал по поводу «Муму» совсем иные выводы: «Мне нет нужды знать: вымысел ли это или факт, действительно ли

существовал дворник Герасим или нет. Под Герасимом разумеется иное. Это олицетворение русского народа, его страшной силы и непостижимой кротости, его удаления к себе и в себя, его молчания на все запросы, его нравственных, честных побуждений... Он, разумеется, со временем заговорит, но теперь, конечно, может казаться немым и глухим». Но заговорит ли русский крепостной мужик сам по себе, без помощи разумного советчика и просветителя? Едва ли. Нужна длительная школа умственного и гражданского развития, чтоб речь «немых» Герасимов была сильна и глубока. Вот этой-то трагедии народного развития упорно не желают замечать славянофилы. Отсюда следует высокомерно-презрительное отношение к Западу и к русскому культурному слою общества, прошедшему европейскую выучку. И. С. Аксаков еще терпим, а брат его, Константин Сергеевич, вообще считает русскую интеллигенцию «жалкими людьми без почвы», разыгрывающими полтораста лет «роль обезьян Западной Европы».

Вот чисто русская, буслаевская замашка: уж коль рубить, так со всего плеча! Слов нет, немало «обезьян» на русской почве вырастало в послепетровскую эпоху. Но ведь и всякое серьезное общественное движение сопровождает накипь; она-то и достойна глубокого презрения. У Константина же Сергеевича весь «верхний» слой идет под общей кличкой «обезьян»! Он так и пишет Тургеневу: «Вы увидите, что люди-обезьяны годятся только на посмех, что как бы ни претендовал человек-обезьяна на страсти или на чувство, он смешон и не годится в дело для искусства, что, следовательно, вся сила духа в самостоятельности».

«Я не могу разделять Вашего мнения насчет «людей-обезьян, которые не годятся в дело для искусства», — отвечает Тургенев К. С. Аксакову. — Обезьяны добровольные и главное — самодовольные — да... Но я не могу отрицать ни истории, ни *собственного права* жить; — претензия отвратительна — но страданью я сочувствую. Трудно объяснить все это в коротком письме... Но я знаю, что здесь именно та точка, на которой мы расходимся с Вами в нашем воззрении на русскую жизнь и на русское искусство».

Тургенев все чаще и чаще обращается к изображению культурного дворянства, историческая роль которого, по его мнению, далеко еще не исчерпана. Он пишет повести «Дневник лишнего человека», «Два приятеля», «Затишье»,

«Переписка», «Яков Пасынков», — в которых с разных сторон исследует психологию «лишнего человека», дворянского героя в русской жизни и литературе. В его бездействии, никчемности и бесприютности он видит национальную трагедию. Такие люди — жертвы сурового общественного климата, они достойны не презрения, а сострадания. Они по-своему талантливы, незаурядны, но в обстановке николаевской реакции культурные дворяне не находят себе места и пристанища, кипят, перегорают в «действии пустом».

Бездомные и неприкаянные, одержимые несчастной страстью «все видеть и все испытать», они становятся трагическими жертвами французской наглости, подобно тургеневскому Вязовнину из «Двух приятелей». Писатель нетерпим к французской фразе и французской пошлости, которую наследуют худшие из русских дворян. Он не щадит в своих повестях тех «обезьян Западной Европы», о которых пишет ему К. С. Аксаков. В «Двух приятелях» ими оказываются «неотразимая» Эмеренция и госпожа Заднепровская. И «русский европеец» Вязовнин, общаясь с ними, чувствует лишь отвращение и тошноту.

В «Затишье» и «Двух приятелях» Тургенев поэтизирует женские характеры, рожденные неспешной и привольной жизнью степной провинции. И в Верочке, и в Марье Павловне есть величавость, внутренняя строгость и гармония, но в то же время некий преизбыток еще неразвернувшихся душевных сил. Она в «затишье», русская провинция, но тишина ее не мертвая, не безнадежная. Какой-то силой богатырской веет на Тургенева от этой настороженной глуши. Степная Русь застыла в ожидании, она готова к бурному, стремительному пробуждению, исполненному удали и силы. Таков порыв любви Марии Павловны к талантливому, но «лишнему» Веретьеву. В его цыганской жизни и российской бесприютности есть обещание иной, свободной жизни, страстной, полной и раскованной, способной утолить девическую, русскую тоску. Но, пробуждая жажду сильной, деятельной любви в степной красавице, Веретьев остается «полой» личностью, не знающей ни цели, ни пристанища.

Тургенев обнажает сложные, болезненные изломы в психологии таких героев, но в то же время и оправдывает их. «Лишние люди» виноваты, но не только по собственной вине: их лишило полнокровной общественной

жизни у себя на родине трудное время. На их долю выпало одно — возможность самообразования, разработки собственной личности, что привело к противоречию между непомерно развившимся самоанализом и приглушенным чувством живой жизни с ее насущными практическими потребностями — противоречию между умом и волей, словом и делом.

Но в этом драматическом противоречии не только слабость, но и сила «лишних людей». Среди общества, приученного официальной властью к бездумному существованию и погруженного в социальную апатию, мыслящие люди оказались нужными людьми. Вольные или невольные пропагандисты, они приучали окружающих к размышлению, будоражили, будили уснувшую общественную совесть, заставляли сомневаться, волноваться. Как же не сочувствовать их страданиям, как же вычеркивать их из русской истории, как же огульно объявлять их «обезьянами Европы», если они сугубо русский исторический продукт?! Среди меркантильного существования они были яркими, серьезными людьми. Не случайно женские сердца тянулись к ним. Героиня «Переписки» говорит: «Мы, женщины, те из нас, которые не удовлетворяются заботами домашней жизни, получаем образование все-таки от вас — мужчин».

В цикле повестей о «лишнем человеке» Тургенев вплотную подошел к объективной оценке исторического значения дворянского героя 1830-х — начала 40-х годов. Этот герой был очень хорошо знаком писателю и психологически близок ему. Вероятно, размышления над историческими судьбами России, выдвигавшие на первый план современного развития острую потребность в мыслящем и деятельном герое из общественных «верхов», и потеснили замысел романа «Два поколения», над которым он тогда упорно работал.

В романе изображался усадебный быт, и в его коллизиях угадывались реальные события из жизни Спасского. Тургенев писал «Два поколения» увлеченно и быстро. Роман был почти готов к публикации, когда Тургенев уничтожил его.

Писатель постоянно нуждался в чьем-то одобрении для успешного литературного труда. Болезненно прислушливый к мнению о своих произведениях, он ранимо воспринимал каждый критический укол. Для смягчения ударов «официальной» критики он, как в воздухе, нуждался в критике приятельской. Одним из добровольцев

в такой роли был Василий Петрович Боткин. Сын богатого чаеторговца, он занимался философией, эстетикой, литературой, а во время постоянных заграничных поездок по отцовским поручениям попутно приобрел обширные познания в области европейского искусства. В кругах московских западников Боткин слыл знатоком и ценителем изящных искусств. Эта роль пришлась по душе молодому дилетанту, хотя на искусство он смотрел с сугубо эстетической точки зрения, а в приятельской оценке часто употреблял термины гастрономического происхождения и в общественных приговорах был и недалек и неглубок.

Роман показался Боткину излишне дидактичным, растянутым и вялым, а герой преувеличенным и ходульным. Этот письменный отзыв, как ушат холодной воды, вылил на голову Тургенева услужливый приятель, когда работа над романом была в полном разгаре. Тургенев охладел к своему детищу, решил не завершать и не публиковать роман, за исключением маленького отрывка из него — «Собственная господская контора».

Посылая П. В. Анненкову боткинский отзыв, Тургенев писал: «Согласитесь, что это хоть кого озадачит. Я начинаю думать, что я едва ли найду в себе довольно огня, чтобы продолжать мою работу. Уверенность в себе необходима для уествления музы <...> а уверенность эта — я чувствую — так и сочится из меня вон».

Об уровне советов Боткина свидетельствует, например, следующая оценка «Записок охотника», данная знатоком и ценителем в 1856 году: «...Ты писатель для людей чувства образованного и развитого; писатель для передовой, самой избранной части общества... Дело другое «Записки охотника» и вообще произведения, затрагивающие известную струну: их всеобщий успех — дело немудреное и ясное. Да тебе, с твоим талантом, стыдно выезжать на подобных мелодраматических сюжетах».

Надо прямо сказать: не только добрую, часто и «медвежью услугу» оказывали Тургеневу «домашние» критики. Среди друзей писателя наиболее чутким был, конечно, Павел Васильевич Анненков. Но и он своей «умеренностью и аккуратностью» сдерживал свободный ход тургеневского дарования. Впрочем, все эти «опекуны» и «тонкие ценители» были тем духовным облаком, которое рождалось личностью самого Тургенева, нуждавшегося в подобной «опеке» и «защите».

Кстати, посетить изгнанника, несмотря на постоянные

его мольбы и призывы, ни один из литературных опекунов и поверенных Тургенева в те годы не решился. Зато Спасское навестил Михаил Семенович Щепкин. Камердинер Тургенева вспоминал, как его барин радостно бросился навстречу гостю и обнимался с ним. Это случилось 9 марта 1853 года. Щепкин привез новую комедию А. Н. Островского «Не в свои сани не садись». Разместившись в уютной комнатке флигеля, друзья с наслаждением читали пьесу, сюжет которой в чем-то перекликался с замыслом тургеневского «Затишья»: цельные русские характеры, почвенные натуры в столкновении с «вихоревской» психологией промотавшегося дворянчика, соблазняющего купеческую дочку. Все бы хорошо, но Тургеневу не нравился в комедии привкус морализаторства и дидактизма. Купеческие характеры казались излишне высветленными, а дворянин Вихорев чересчур облегченным. Во всем этом чувствовалось влияние славянофильской концепции: нетронутая европейскими влияниями животворящая и спасительная стихия народной жизни, с одной стороны, и европеизированные «люди-обезьяны», с другой. Уж слишком сильна у Островского эта «начинка естественности и морали»; такая ли дорога ведет к истинному художеству? И все же комедия произвела большое впечатление, да и прочел ее талантливый Щепкин, как и подобало лучшему русскому актеру.

Вспоминали Гоголя. Речь зашла о сохранившихся главах второго тома «Мертвых душ». Тургенев особенно восхищался третьей главой:

— Вещь удивительная! Совершенство! Что за гениальная карикатура, что за водопад здоровой веселости — этот Петух! Но пятая глава с невыносимым Муразовым меня более нежели озадачила — она меня огорчила. Если все остальное было *так* написано — уж не возмутившееся ли художественное чувство заставило Гоголя сжечь свой роман?

Тургенев познакомил Щепкина с семейством Тютчевых, которые жили в большом спасском доме. Жена управляющего сносно играла на фортепиано и вместе со своей сестрой разыгрывала в четыре руки Бетховена и Моцарта, Глюка и Гайдна. Тургенев обыкновенно составлял программы маленьких концертов, которые выходили очень удачными. И на этот раз любитель музыки, с жадностью утоляя «музыкальный голод», стоял за стульями играющих дам, переворачивал нотные листы и изображал капельмейстера. Щепкин улыбался, когда

в моменты энтузиазма его друг не сдерживался и, под предлогом пения, издавал высоким тенорком тонкие звуки, странно не соответствующие его высокому росту и широкой груди.

Вечером, при свечах, уединившись во флигеле, Тургенев читал Щепкину новую повесть «Два приятеля». Лукавым огоньком светились его глаза, когда он перешел к эпизоду знакомства Вязовнина с двумя провинциальными дворяночками, сестрами Поленькой и Эмеренцией. Щепкин по достоинству оценил меткую наблюдательность приятеля: уж очень походила Эмеренция на сестру жены управляющего Констанцию Петровну своей непомерной восторженностью и приторной чувствительностью. По характеристике Тургенева, она даже смеялась неестественно, «грациозно приподняв одну руку, и в то же время так держалась, как будто хотела сказать: «Смотрите, смотрите, как я благовоспитанна и любезна и сколько во мне милой игривости и расположения ко всем людям!»

Совсем иные, драматические интонации зазвучали в голосе Тургенева, когда его герой, Вязовнин, с дыханием наступившей весны покидал усадебную глушь. Что-то затаенное, личное проскальзывало в тургеневской характеристике Верочки, напоминавшей Феоктисту: «Она была небольшого роста, миловидно сложена; в ней не было ничего особенно привлекательного, но стоило взглянуть на нее или услышать ее голосок, чтобы сказать себе: «Вот доброе существо». Щепкин не мог не заметить, что Феоктиста, при всей своей привязанности к Ивану Сергеевичу, «не знала, что ему сказать, чем занять его».

Щепкин понял, как непрочен для Тургенева тот близкий к семейному уют, который окружал его под крышей спасского флигеля, понял, что при первой возможности он снимется и улетит сначала в Петербург, а потом и в Париж. Он сделает это тем более легко, что теперь у него и предлог есть для побега, важный и безотлагательный — дочь Полина, пригретая семейством Виардо.

Как только речь зашла о гастролях Виардо в Москве, Тургенев встрепенулся и изложил Щепкину план уже обдуманного тайного побега. Подобно многим друзьям, Михаил Семенович не одобрял тургеневского увлечения заморской певицей и, слушая взволнованную речь приятеля, неодобрительно покачивал головой.

29 мая 1853 года Спасское навестил Афанасий Афа-

насьевич Фет. Этот визит явился началом прочного знакомства его с Тургеневым, вскоре перешедшего в тесную дружбу, скрепленную общей любовью к поэзии и охоте.

— Ох, напрасно, напрасно ты заводишь это знакомство! — уговаривал Фета отец. — Ведь ему запрещен въезд в столицы, и он под надзором полиции. Куда как неприглядно!

Но желание видеть автора «Записок охотника», в котором Фет ценил утонченного лирика природы, поэта прекрасных мгновений бытия, возобладало над отцовскими предостережениями. Тургенев тоже был неравнодушен к поэзии Фета: он высоко оценил антологические его стихотворения, в которых античный мир лишался привычной классической холодноватости и даже мрамор статуй наполнялся трепетом живой жизни, одухотворялся и воскресал. Опубликованные в «Москвитянине» «Снега» вызывали восхищение утонченной передачей трудноуловимых состояний человеческой души.

Тургенев отметил про себя, как трудно угадать в чернобородом, плотном степном помещике нежнейшего лирика и поэта. Трудно представить более разительный и резкий контраст!

И в суждениях своих об искусстве Фет, как ни странно, оказался четким логиком и систематиком. Вспыхнул спор о содержании второй части «Фауста». Фет утверждал, что Гёте обнимает здесь широким поэтико-философским взглядом все человечество, и в этой философской отвлеченности он грандиозен и велик.

— Послушайте, Афанасий Афанасьевич, — горячился Тургенев, — никто не думает о гастрономии вообще, когда хочет есть, а просто кладет себе кусок хлеба в рот. Во всяком философском отвлечении есть равнодушие к земле и к человеческой индивидуальности. Я без волнения не могу видеть, как ветка, покрытая молодыми, зеленеющими листьями, отчетливо вырисовывается на голубом небе. Меня поражает контраст между этой маленькой живой веточкой, колеблющейся от малейшего дуновения, и этой вечной и пустой беспредельностью, этим небом, которое только благодаря земле сине и лучезарно. Я не выношу неба, — но жизнь, действительность, ее капризы, ее случайности, ее привычки, ее мимолетную красоту... все это я обожаю. Я прикован к земле. Я предпочту любым философским воспарениям созерцание торопливых движений утки, которая влажною лапкой чешет себе затылок на краю лужи, или длинных

блестящих каплей воды, медленно падающих с морды неподвижной коровы, только что напившейся в пруду, куда она вошла по колено. Все это для меня гораздо интереснее, чем философские полеты в небеса.

5 июня, после отъезда Фета, Тургенев писал С. Т. Аксакову: «У меня на днях был Фет, с которым я прежде не был знаком. Он мне читал прекрасные переводы из Горация — иные оды необыкновенно удались, — напрасно только он употребляет не только устарелые слова, каковы: перси и т. д., — но даже небывалые слова вроде: завой (завиток), ухание (запах) и т. д. ... Собственные его стихотворения не стоят первых его вещей — его неопределенный, но душистый талант немного выдохся... Сам он мне кажется милым малым. Немного тяжеловат и смахивает на малоросса — ну, и немецкая кровь отозвалась уваженьем к разным систематическим взглядам на жизнь и т. п. — но все-таки он мне весьма понравился».

В последний год спасского затворничества рано началась зима. Тютчевы уехали, взяв окончательный расчет. Тургеневский управляющий с университетским образованием «в два года довел дело до того, что доходов не хватало на его жалованье», а на прожиток хозяина «не приходилось ни копейки». К осени на беззащитную голову Тургенева «рухнула громада дел и управления, как свод, из-под которого выдернули подпорки». Оставшись неумелым хозяином огромного, но запущенного поместья, писатель, подобно Николаю Петровичу Кирсанову, беспомощно разводил руками или успокаивал себя мудростью народных пословиц: «Перемелется — мука будет», «стерпится — слюбится». «Я объездил все свои деревни, — сообщал Тургенев Анненкову, — и, должно быть, показался моим крестьянам глуповатым малым». Да делать было нечего. Как часто говаривал о себе в подобных ситуациях Тургенев — «умираю, а ногой дрыгаю».

При продаже урожая он продешевил пшеницу, ухитрился купить дрянных лошадей, возводимые под его присмотром новые постройки едва не развалились. Словом, хлопотал он страшно и к зиме даже начал привыкать к своему безнадежному положению. Но все это было бы не так тяжело, если б не мучило одиночество, особенно при наступившей холодной погоде. «Ветер такие выводит переливы, — жаловался Тургенев Сергею Тимофеевичу Аксакову, — что невозможно не воскликнуть иногда невольно: «Фу! как гадко, и скушно, и холодно, и непри-

язненно — жить на земле!» Точно та «волшебница зима», о которой говорил Пушкин, выслала вперед свою злую дворную собаку — и сидит она, и воет перед каждым домом, возвещая прибытие своей хозяйки и злобно скучая о ней. Вот-вот — вишь как высоко забирает! Надо встряхнуться и думать о другом».

В одиночестве Тургенева часто выручали стихи Пушкина. Впоследствии он не раз говорил своим друзьям и собеседникам: «Если у вас плохое настроение, грызет тоска, случилась неприятность, — откройте томик стихов Пушкина и прочтите стихотворений 20 подряд — вы увидите, как вам это поможет. Мне, во всяком случае, Пушкин всегда помогал и помогает в трудные минуты жизни».

Часто Тургенев проводил время над шахматной доской — и не зря: впоследствии он был признанным шахматным игроком не только в России, но и во Франции. Изредка приезжал к Тургеневу в гости молодой сосед Василий Каратеев, малый неглупый, симпатичный, но несколько церемонный. Да ведь и как еще иначе мог вести себя 22-летний юноша перед известным на всю Россию писателем?

Однажды заглянул на спасский огонек П. В. Киреевский и доставил Тургеневу настоящий праздник. Единственный в своем роде самоотверженный собиратель великорусской народной песни, посвятивший этому делу всю свою жизнь, славянофил не только и не столько головой, сколько всем существом своей жизнелюбивой натуры, Петр Васильевич буквально заворожил Тургенева тончайшим пониманием поэтических сторон народного характера. Пусть многое в его воззрениях Тургенев не разделял, но личность этого энтузиаста русского народознания подействовала на него освежающе и ободряюще.

А в ноябре 1853 года в Спасское заезжает Иван Сергеевич Аксаков по пути на юг России, где по заданию Географического общества он должен был заняться описанием важнейших ярмарок. Натура деятельная, творческая и общительная, Аксаков упрекал Тургенева в бездействии, советовал ему не прятать свой талант, продолжить благородное и жизнеспасительное дело, начатое «Записками охотника».

Тургенев так рассказывал о добром впечатлении от этой встречи П. В. Анненкову: «Очень я ему обрадовался — как Вы можете себе представить. Он целое утро рассказывал мне о Москве, Петербурге и о прочем — читал мне кое-что из своих произведений. Что он говорил — я Вам пересказывать не стану. Вы ведь его знаете. <...> Он очень благородный малый — в нем столько же рыцарского, сколько русского — и ума в нем много — а тяжеленько ему жить. Кровь в нем не довольно легка — как он сам признается. Нашему брату, свистуну, жить легче. Он не способен лежать пупком кверху и мирно улыбаться собственному бездействию — а это дело хорошее».

И. С. Аксаков читал Тургеневу свои стихи «Добро б мечты, добро бы страсти...», в которых современное поколение культурных дворян обвинялось в лени и прекраснодушном фразерстве:

Мы любим к пышному обеду
Прибавить мудрую беседу
Иль в поздней ужина поре,
В роскошно убранной палате,
Потолковать о бедном брате,
Погорячиться о добре!
Что ж толку в том? Проходят лета, —
Любовь по-прежнему мертва!
О, слово старое поэта:
«Слова, слова, одни слова!»
Не то чтоб лгали мы бесстыдно,
Но спим, но дремлем мы обидно;
Но постепенно силы в нас,
Пугаясь подвигов суровых,
Средь мелких благ, средь благ дешевых,
Счастливо гаснут каждый час!

Аксаков читал свои стихи с глубокой силой убежденья, исполненный внутреннего огня. А заключительная их строфа буквально прожгла Тургенева, заставила содрогнуться:

Нет! темных сделок, Боже правый,
С неправдой нам не допусти,
Покрой стыдом совет лукавый,
Блаженство сонных возмути!
Да пробудясь в восторге смелом
С отвагой пылкою любви
Мы жизнью всей, мы самым делом
Почтим веления твои!

Была в этих стихах какая-то пророческая сила, какое-то предчувствие грядущих перемен, тем более удивительные, что И. С. Аксаков только что пережил очередное цензурное гонение. Была конфискована рукопись второго тома подготовленного им «Московского сборника», в котором должен был увидеть свет и рассказ Тургенева «Муму».

Вслед за этим было получено высочайшее повеление: «Ивана Аксакова, Константина Аксакова, Ивана Киреевского, Алексея Хомякова и кн. Черкасского обязать подпискою, чтобы все сочинения свои представляли отныне для цензуры не в Московский цензурный комитет, а в *Главное управление цензуры*, в Петербург. Сверх того, Ивана Аксакова лишить на будущее время права быть редактором какого бы то ни было издания». Казалось бы, такие санкции кого угодно могли повергнуть в апатию и уныние! Но И. С. Аксакова они только укрепили в правоте своих воззрений.

— Пора, пора нам переходить от слов к делу! — говорил Аксаков Тургеневу. — Довольно мы сибаритствовали. Уже нет сил русскому человеку выносить такое общественное устройство, где надо солгать, чтобы сказать правду, надо поступить беззаконно, чтобы поступить справедливо, надо пройти всю процедуру обманов и мерзостей, чтобы добиться необходимого, законного!

Разговор завязался вокруг событий разгоравшейся восточной войны, которые тревожили тогда всю Россию: в июле русские войска вступили в дунайские княжества Молдавию и Валахию, а 4 октября Турция объявила войну России. Иван Сергеевич Аксаков убеждал Тургенева, что, несмотря на те виды, которые возлагает на эту войну правительство Николая I, объективно она имеет великий смысл. Россия призвана быть освободительницей балканских славян, своих братьев по крови и культуре, от многовекового турецкого ига, так и не сумевшего подавить в наших родичах гордого стремления к свободе, национальной независимости. Но в разговоре с А. С. Тимашевым, возражая, что у нас плохое вооружение, Николай I решительно объявил, что у него численность войск будет такая, что он постоянно будет сильнее врагов, и поэтому нечего бояться. Не слишком ли это самонадеянно и бесчеловечно с его стороны? Турцию Англия и Франция снабжают современными нарезными штуцерами, дальнобойной артиллерией. А мы уповаем на численность войск?!

Нас ожидает страшная борьба! На их стороне искусство, наука, все материальные средства; на нашей — только правота дела и личное мужество войск; остального ничего нет!

— Но позвольте, Иван Сергеевич, — прервал Тургенев затянувшийся монолог, — и это говорите вы, славянофил, отрицающий значение Европы для исторических

судеб России, называющий русских людей, стремящихся приобщиться к новейшим достижениям западноевропейской науки и культуры, «обезьянами Европы»? Ведь ваш брат, Константин Сергеевич, и меня зачислил в разряд этих «обезьян», лишив тем самым права на существование.

Аксаков грустно улыбнулся:

— Надо знать причуды Константина. Этот человек любой вывод доводит до логического конца, до крайности, до парадокса. У меня за Европу душа болит с 1848 года — и до сих пор. Франция в руках Луи Наполеона! Когда это совершалось, я написал стихи:

Пережитá тяжелая година;
Была борьба и пролилася кровь.
Последних грез решалася судьбина...
Но дряхлый мир не обновился вновь!

И что бы вы думали, Иван Сергеевич, мой брат Константин обвинил меня в отступничестве! Что делать? Он без всякой душевной боли способен заклеймить проклятием 9/10 человечества и давно не считает людьми бедные народы Запада, а чем-то вроде лошадиных пород. Оно, может быть, и так, но убеждение это полно для меня горечи!

...До вечера продолжалась эта беседа, доставившая Тургеневу глубокое душевное удовлетворение. На него всегда благотворно действовали натуры энтузиастические. И на этот раз после встречи с И. С. Аксаковым хотелось продолжать работу, думать, писать, бороться за правду силой художественного слова.

Приезд Аксакова явился каким-то добрым предзнаменованием, подобным свежему ветру перед рассветом, хотя ночная мгла «мрачного семилетия» еще покрывала Россию.

18 ноября уехал Аксаков, а 23 ноября Тургенев получил письмо от графа Орлова «с объявлением свободы и позволения въезжать в столицы». Спасское затворничество кончилось.

НА ПЕРЕЛОМЕ

День 13 декабря 1853 года в редакции «Современника» был особенно оживленным. На квартире Н. А. Некрасова состоялся обед в честь «спасского изгнанника».

Он прошел весело и оживленно, конца не было речам и остроумным экспромтам. Обсуждались последние события разгоравшейся войны: удачные действия русских войск на Кавказе, уничтожение турецкого флота в Синопском сражении эскадрой П. С. Нахимова.

Зиму И. С. Тургенев провел в Петербурге. Здесь он встретился с А. А. Фетом и ввел его в круг редакции «Современника», познакомился с Ф. И. Тютчевым и уговорил его опубликовать собрание своих стихотворений, а в апрельском номере «Современника» напечатал статью «Несколько слов о стихотворениях Ф. И. Тютчева». В мартовской книжке «Современника» увидела, наконец, свет повесть Тургенева «Муму».

После спасского одиночества Тургенева увлек и заворожил шумный круговорот петербургской жизни, и снова минутным очарованием счастья и семейного пристанища поманила любовь. Иван Сергеевич часто посещал дом своего дальнего родственника Александра Михайловича Тургенева, друга В. А. Жуковского и М. М. Сперанского, убежденного противника крепостного права. У Александра Михайловича была дочь Ольга, которая в младенчестве лишилась матери и находилась под опекой отца и тетушки, Надежды Михайловны Еропкиной, женщины умной и образованной, написавшей интересные воспоминания об И. А. Крылове. В доме Тургеневых была прекрасная библиотека русской и иностранной классики, и в свои 18 лет Ольга Александровна отличалась широкой начитанностью, тонким литературным вкусом и музыкальной чуткостью. Она играла на фортепиано, умно и проницательно судила о литературе.

Дом Тургеневых в Петербурге привлекал русских литераторов, вечера здесь проходили «мило, тихо и весело». Вспоминали, что Ольга Александровна, единственная в этом доме и столь юная дама, «была общим баловнем и любимицей». Ее суждениям о прочитанном произведении придавали большое значение, считали, что у нее есть художественное чутье и редкая правдивость.

«Сегодня Иван Сергеевич принес в рукописи свою повесть «Муму», — писала в своем дневнике Ольга Александровна, — чтение ее произвело на всех слушавших его в этот вечер очень сильное впечатление. Сперва никто не проронил ни слова. Чувствуя, что глаза мои полны слез, я боялась заговорить, но, почувствовав на себе испытующий взгляд Ивана Сергеевича, который всегда просил меня первой высказывать мое суждение, я вместо

слов, не удержавшись, ответила слезами, которые неудержимо катились по моим щекам.

Иван Сергеевич, глядя нежно и ласково на меня, сказал мне: «Ваши слезы, дорогая Ольга Александровна, лучше слов передали мне, что «Муму» вам понравилась». Мне сделалось так хорошо, так радостно на душе, я почувствовала, что между нами установилась новая, более тесная связь и понимание друг друга. Весь следующий день я была под впечатлением этого бесхитростного рассказа. А сколько в нем глубины, какая чуткость, какое понимание душевных переживаний. Я никогда ничего подобного не встречала у других писателей, даже у моего любимца Диккенса я не знала вещи, которую могла бы считать равной «Муму». Каким надо быть гуманным, хорошим человеком, чтобы так понять и передать переживания и муки чужой души».

Ольгу Александровну нельзя было назвать красавицей. Но неотразимым обаянием веяло от всего ее доброго, скромного, лишенного всякого светского кокетства и манерности существа: теплый ласкающий голос, приветливое лицо, просветленное ясной улыбкой и сиянием больших, синих, задумчивых глаз.

Когда в начале мая 1854 года Тургенев навестил Сергея Тимофеевича Аксакова в Абрамцеве, он говорил ему о зреющем решении жениться на Ольге Александровне. Атмосфера абрамцевского семейного гнезда, где все домочадцы были связаны между собою добрыми родственными чувствами, сильно подействовала на Тургенева. Он впервые попал в духовную атмосферу совершенно незнакомого ему мирного семейного быта. Разными были дети у Сергея Тимофеевича, но как они любили своего «отесеньку», какая теплота окутывала человека, попадавшего в этот семейный круг! Тургенев здесь особенно остро почувствовал свое сиротство, свое холодное одиночество.

В конце мая Тургенев поселился на даче близ Петергофа и пробыл там до середины сентября. Ольга Александровна жила с отцом и тетушкой в самом Петергофе, и Тургенев почти ежедневно навещал ее, иногда один, а чаще в обществе Некрасова, Панаева, Дружинина и Анненкова.

«Сегодня наш литературный вечер не состоялся... Папа известил Ивана Сергеевича, ...но он пришел в обычный час и сказал: «Ольга Александровна, я пришел Вас послушать, сыграйте мне мою любимую «Лунную сонату» Бетховена». Я сама ее люблю больше других и в этот

вечер, исполняя ее, совсем отдалась всеми своими чувствами этой дивной музыке, забыв все окружающее. Когда я кончила, Иван Сергеевич протянул мне обе руки и, пожимая мои, сказал: «Вы мне дали высокое наслаждение, оно навсегда сохранится в моей памяти, благодарю Вас, милая Ольга Александровна». Я покраснела от радости, сердце сильнее забилось, мне стало так хорошо от его слов. Почему меня так сильно волнуют и радуют похвалы Ивана Сергеевича, хвалят мою игру и другие, но почему я счастлива, когда Иван Сергеевич хвалит меня, неужели я его люблю?»

Увы, не знала милая Ольга Александровна, что избранник ее, добрый волшебник, чародей художественного слова, любит только легкие прикосновения ласкающего, трепетного чувства, но быстро перегорает и мгновенно охлаждается его утонченная, хрупкая душа. Тургеневу чаще, чем кому-либо другому из русских писателей, открывался идеальный смысл любви, какая-то многообещающая ее тайна, залоги бессмертия души, охваченной этим несказанно высоким чувством. Именно в зачатках своих, в счастливые минуты первой влюбленности наиболее полно раскрывался для Тургенева таинственный любовный свет, в лучах которого мгновенно увядали и блекли все последующие, уже земные радости. В любимой женщине этот свет открывал иное, более совершенное существо неземной силы и святости. И когда это существо в ней приоткрывалось, когда совершалось таинственное откровение, — земная жизнь и земной облик женщины преображался, а с его неизбежным потом заземлением исчезало очарование счастья и улетала любовь...

Так и на этот раз быстро произошла «разлука с улыбкою странной». Уже в январе 1855 года Тургенев писал: «Ольга Александровна, позвольте прежде всего поблагодарить вас за ваше решение написать ко мне. Я сам давно желал откровенно поговорить с вами — но без вашего письма, вероятно, наши отношения так бы и кончились немо и глухо.

...В мои лета смешно оправдываться необдуманностью первых порывов — но другого оправдания я не могу представить — потому что оно одно истинно. Когда же я убедился, что чувство, которое во мне было, начало изменяться и слабеть — я и тут вел себя дурно. Вместо того чтобы предаваться тем бессмысленным желчным выходкам, которые вы переносили с такой простотой

и кротостью — я должен был тотчас уехать... Вы видите, что виноват я один — и только женское — скажу более, только девственное великодушие чистой души — может еще даже не пенять на человека, сделавшего все это — чуть не обвинять само себя!»

Дуновение этого легкого и грустного романа кончилось ничем для судьбы И. С. Тургенева, но не раз потом пробегало по страницам его художественных произведений. В «Переписке», созданной буквально по его следам, Марья Александровна советует герою поселиться на даче под Петергофом. Она тоже садится за фортепиано перед раскрытым окном при свете луны и играет Бетховена. Но решающей встречи у них не состоялось: увлечение заезжей танцовщицей уносит героя далеко от родины, лишь поманившей его соблазном тихого семейного счастья.

Образ милой Ольги Александровны с ее тетушкой Н. М. Еропкиной воскресает в «Дыме» в облике Татьяны и Капитолины Марковны, упрекающей Литвинова: «Вы не смотрите на нее, что она теперь храбрится, ведь вы знаете, какой у ней нрав! Она никогда не жалуется; она себя не жалеет, так другие должны ее жалеть! Вот она теперь мне толкует: «Тетя, надо сохранить наше достоинство!», а какое тут достоинство, когда я смерть, смерть предвижу... И что такое могло сделаться? Приворожили вас, что ли? Давно ли вы писали ей самые нежные письма?.. Одумайтесь, пока есть время, не губите ее, не губите собственного счастья, она еще поверит вам...»

Проблески радости и счастья, мгновения поэтических взлетов любовного чувства входили в искусство и оставались в нем бессмертными и нетленными. На целую жизнь их у Тургенева никогда не хватало, да и хватить не могло. «Если проза в любви неизбежна, так возьмем и с нее долю счастья», — писал Некрасов. Тургенев же никогда не спускался до прозы любви: этот максимализм в жизни большого поэта оборачивался драматической неукорененностью его «странных» любовных увлечений. Отправляясь в сентябре 1854 года в родное Спасское, Тургенев нашептывал полюбившиеся ему стихи Фета:

Какие-то носятся звуки
И льнут к моему изголовью.
Полны они томной разлуки,
Дрожат небывалой любовью.

Казалось бы, что ж? Отзвучала
Последняя нежная ласка,

По улице пыль пробежала,
Почтовая скрылась коляска...

И только... Но песня разлуки
Незбыточной дразнит любовью,
И носятся светлые звуки
И льнут к моему изголовью.

...Осенью 1854 года в Спасском Тургенева навестил Н. А. Некрасов. Они очень сблизились в последнее время, часто обсуждали события войны, в которую уже вступили в качестве союзников Турции Англия и Франция. В апреле 1854 года англо-французский флот зашел в Черное море, бомбардировал Одессу, а затем блокировал Севастополь. В июне английские корабли показались в Балтийском море и подошли к Кронштадту. Некрасов с Тургеневым ездили тогда на Красную горку и рассматривали курсировавшие в отдалении сорокапушечные фрегаты. Предчувствие грозных событий волновало умы и сердца всех русских людей. Итогом этой поездки явились написанные Некрасовым стихи:

Великих зрелищ, мировых судеб
Поставлены мы зрителями ныне:
Исконные, кровавые враги,
Соединясь, идут против России;
Пожар войны полмира обхватил,
И заревом зловещим осветились
Деяния держав миролюбивых...
Обращены в позорище вражды
Моря и суша... Медленно и глухо
К нам двинулись громады кораблей,
Хвастливо предрекая нашу гибель,
И наконец приблизились — стоят
Пред укрепленной русскою твердыней...
И ныне в урне роковой лежат
Два жребия... и наступает время,
Когда решитель мира и войны
Исторгнет их всесильною рукой
И свету потрясенному покажет.

Некрасов был заинтересован в общении с Тургеневым и как редактор «Современника», беллетристический отдел которого в эпоху «мрачного семилетия» сильно прихрамывал и держался в значительной степени на «Записках охотника» и тургеневских повестях. Во всех письмах Некрасова к Тургеневу этих лет звучит один настойчивый мотив побуждения к сотрудничеству в журнале:

«Любезный Иван Сергеич! Хотя и мало надеюсь, чтоб Вы уважили мою просьбу, но так как к ней присоединяется и Ваше обещание, то и решаюсь напомнить Вам о «Современнике». Сей журнал составляет единственную, хотя и слабую и весьма непрочную, но тем не менее единственную опору моего существования, — поэтому не удивитесь, что я уже приставал часто и ныне пристаю к Вам с новою просьбою не забыть прислать нам, что у Вас написано, <...> и поскорее: верите ли, что на XI книжку у нас нет ни строки, ничего — ибо даже уже и «Мертвое озеро» иссякло». Случалось, что перед выходом в свет «Современника» цензура запрещала к публикации добрую треть материала, и Некрасову приходилось проявлять невероятную изобретательность, чтобы спасти журнал от катастрофы. Именно в этот период он совместно с А. Я. Панаевой пишет два объемных романа «Три страны света» и «Мертвое озеро», призванные заполнять запрещенные цензурой страницы журнала.

«Присылай свою статью о книге Аксакова. Мы спрашивали о тебе, и нам сказано, что ты можешь писать и печатать, — обращается Некрасов к Тургеневу во время спасской ссылки. — Если бы ты нам прислал рассказ (например, «Переписку») — это теперь нам принесло бы более пользы, чем целый роман другого автора».

«В проезд мой через Москву слышал я от В. Боткина и Н. Кетчера ругательства твоему роману («Два поколения». — *Ю. Л.*). Эти люди таковы, что коли ругать, так ругать, а хвалить, так хвалить, — и меня не удивила резкость их отзывов; но меня удивил выбор судей с твоей стороны: как Боткин, так и Кетчер очень мало понимают в этом деле».

После спасской ссылки между Тургеневым и Некрасовым возникла дружеская близость. «Я дошел в отношениях к тебе до такой высоты любви и веры, — пишет Некрасов, — что говаривал тебе самую задушевную мою правду о себе. Заплати и мне тем же». Некрасов очень ценил эстетический вкус Тургенева и часто отдавал ему на суд свои стихотворения: «Я знаю, как у тебя тонок глаз на эти вещи», «кроме тебя, я никому не верю».

И Тургенев в эти годы проявлял искреннюю заинтересованность поэтическим творчеством Некрасова, во многом содействовал изданию сборника его стихов 1856 года, о котором сказал: «А Некрасова стихотворения, собранные в один фокус, — жгутся». В беседах с друзьями и знакомыми он часто защищал Некрасова от нападок эстетической критики. «Некрасов, которого Вы так не любите, написал несколько хороших стихотворений, осо-

бенно одно — плач старушки по умершем», — сообщает Тургенев С. Т. Аксакову.

Некрасов часто рассказывал Тургеневу о своей жизни, о детстве в Грешневе, о деспотизме отца и благотворном, просветляющем влиянии матери, о петербургских мытарствах. «Твоя жизнь именно из тех, которые должны быть рассказаны, — убеждал Тургенев Некрасова, — потому что представляет много такого, чему не одна русская душа отзовется». Деятельное участие Тургенева в журнале «Современник» вдохновляло Некрасова, и когда в 1855 году он собрался за границу на лечение, у него было желание передать «Современник» в руки Ивана Сергеевича.

В Спасском большую часть времени друзья проводили на охоте. У Некрасова начиналась тяжелая болезнь горла, он совершенно потерял голос, часто впадал в отчаяние, считая, что дела его плохи и дни жизни сочтены. Тургенев, как мог, поддерживал падающего духом товарища и в то же время замечал, какое чуткое, отзывчивое к чужому страданию и боли сердце бьётся в его груди. Однажды на охоте Некрасов прошептал Тургеневу начало своей поэмы «Саша»:

Словно как мать над сыновней могилой,
Стонет кулик над равниной унылой.

Пахарь ли песню вдали запоет —
Долгая песня за сердце берёт...

Одновременно и Тургенев задумал новое произведение — о культурном дворянине, о той роли, которую он призван сыграть в жизни России. Выдержит ли русское дворянство предназначенную ему историческую роль? Очевидно, эти разговоры в преддверии общественного подъема 60-х годов были очень оживленными с обеих сторон: и роман «Рудин», и поэма «Саша» рождались в тесном и заинтересованном общении писателей друг с другом. Не случайно сюжеты их во многом перекликаются, а Некрасов сопровождает «Сашу» дружеским посвящением И. С. Тургеневу.

Некрасов верил в огромный талант Тургенева, считая, что «он в своем роде стоит Гоголя», и способен «дать нам идеалы, насколько они возможны в русской жизни». Он даже собирался написать о тургеневском творчестве критическую статью: «Может быть, скажу что-нибудь, что тебе раскроет самого себя как писателя».

Однако дружба эта имела чёткие пределы. Интересно, что в пору сердечной близости с Тургеневым Некрасов работал над романом «Тонкий человек, его приключения и наблюдения». Это был роман о дворянине 1840-х годов, получившем умозрительное, далекое от жизненной практики кружковое воспитание. Некрасов вторгался в область, казалось бы, сугубо тургеневской тематики, но в отличие от Тургенева образ «лишнего человека» окрашивался у него в иронические тона. Ирония проступала уже в самом заглавии — «Тонкий человек» — и подхватывалась в тексте пародийными обыгрываниями «тонкости» героя. Тургенев не мог не заметить элементов скрытой полемики Некрасова с его повестями о «лишнем человеке», не мог не уловить лёгкого оттенка иронической стилизации этих повестей. В тексте Некрасова встречались порой и прямые уколы, когда, например, заявлялось, что «всякий предмет уясняется только тогда, когда перестает быть достоянием ограниченного числа специалистов, как бы получивших на него привилегию». Ясно, что «специалистом» этим был он, Тургенев, придумавший само определение героя — «лишний человек»!

Что же не принимал Некрасов в тургеневской характеристике «лишнего человека»? По-видимому, характерное для Тургенева оправдание слабостей дворянского героя. В отличие от Тургенева Некрасов обращал преимущественное внимание не на философские, а на социальные корни «бездействия», «обломовщины» героя, связанные с дворянским его воспитанием, а потому давал им ироническую интерпретацию, пародировал и снижал открытый Тургеневым тип «лишнего человека». В поэме «Саша» эта пародийность была смягчена, но тем не менее дворянин Агарин не произвел на Тургенева положительного впечатления: «Он (Некрасов. — *Ю. Л.*) написал «Сашу» и, по своему обыкновению, обмелил тип».

Скрытая и явная полемика между Тургеневым и Некрасовым возникала не только по причине идейных расхождений между ними. Сказывалось и различие воспитания, определившего духовный склад этих людей. На это различие указывал ещё Белинский. Сетуя в письме к Тургеневу на чрезмерную практичность Некрасова-редактора, критик сделал примечательную оговорку: «Мне теперь кажется, что он действовал честно и добросовестно, основываясь на объективном праве, а до понятия о другом, высшем, он ещё не дорос, а приобрести его не мог по причине того, что возрос в грязной положитель-

ности и никогда не был ни идеалистом, ни романтиком на наш манер. Вижу из его примера, как этот идеализм и романтизм может быть благодетелен для иных натур, предоставленных самим себе».

Некрасов и сам чувствовал в себе подмеченную Белинским слабость, потому-то, вероятно, он и тянулся к Тургеневу. В творчестве последнего он высоко ставил именно поэтический, романтический элемент: «Я читал недавно кое-что из твоих повестей... Тон их удивителен — какой-то страстной, глубокой грусти. Я вот что подумал: ты поэт более, чем все русские писатели после Пушкина, взятые вместе. И ты один из новых владеешь формой — другие дают читателю сырой материал, где надо уметь брать поэзию. Написал бы тебе об этом больше, но опять проклятая мысль — не принял бы ты этого за пустую любезность! Но прошу тебя — перечти «Три встречи», — уйди в себя, в свою молодость, в любовь, в неопределенные и прекрасные по своему безумию порывы юности, в эту тоску без тоски — и напиши что-нибудь этим тоном. Ты сам не знаешь, какие звуки польются, когда раз удастся прикоснуться к этим струнам сердца, столько жившего — как твое — любовью, страданьем и всякой идеальностью».

Некрасов ценил в Тургеневе именно эту романтическую молодость души, утонченность сердечных движений и психических чувствований, все то, что восполняло его собственную, некрасовскую односторонность. И в то же время Некрасов видел, как романтическая идеальность оборачивалась порой недоверием к «грубой существенности» жизни, мягкостью и уступчивостью, чрезмерной утонченностью, способной разрушить цельность и ясность душевной жизни.

Тургенева, напротив, привлекала в Некрасове грубоватая прямота и деловитость, практический склад ума, — качества, которых сам он был лишен, — но и отталкивали проявления «разночинской», «плебейской» резкости суждений, чрезмерной расчетливости в деловых отношениях с сотрудниками журнала.

Разногласия возникали и в представлениях о сущности и назначении искусства. Когда Тургенев прочел в некрасовском стихотворении «Поэт и гражданин»: «Служи не славе, *не* искусству», — он обратился к поэту с недоуменным вопросом: «Что это, Некрасов? Опечатка?» — и предложил иной вариант: «Служи не славе, *но* искусству». Однако никакой опечатки не было. Просто

Некрасов и Тургенев по-разному понимали смысл искусства и место его в ряду других форм общественного сознания. Тургенев постоянно отстаивал самоценность искусства, считал занятие им делом жизни, благородным подвигом. Ему всегда казалось, что открыто социальные тенденции в творчестве поэтов-демократов угрожали разрушением специфике искусства, а порой и действительно разрушали ее. Открытость эстетических границ размывала поэзию, а в творчестве Некрасова приводила к чрезмерной прозаизации стиха. Не случайно похвалы Тургенева некрасовским стихам все время определялись мерою близости их к пушкинской традиции. Так, он высоко оценил «Родину», «Музу», «Еду ли ночью по улице темной» и в отзывах, как правило, говорил: «пушкински хороши» или «напоминают пушкинскую фактуру». А иногда заявлял другое: поэзия в стихах Некрасова «и не ночевала».

Двойственная оценка эта по сути не менялась, смещались лишь ее акценты. После разрыва с Некрасовым они склонялись в негативную сторону. Однако, узнав о смерти Некрасова, Тургенев писал Я. П. Полонскому 11 января 1878 года: «Ты знаешь мое мнение о Некрасове; и потому говорить о нем не стану. Пускай молодежь носится с ним. Оно даже полезно, так как, в конце концов, те струны, которые его поэзия (если только можно так выразиться) заставляет звенеть, — струны хорошие. Но когда г. Скабичевский, обращаясь к той же молодежи, говорит ей, что она права, ставя Некрасова *выше* Пушкина и Лермонтова — и говорит это, «не обинуясь», я с трудом удерживаю негодование...»

В 40—50-х годах Тургенев не только высоко оценивает, но порой и прислушивается к поэзии Некрасова, да так чутко, что в тургеневской прозе этого времени ощущаются её отголоски. Мотивы некрасовской поэмы «Тишина» слышны в «Дворянском гнезде» в описании возвращения Лаврецкого на Родину, в желании героя с головою погрузиться в «родную глушь», в стремлении его «сесть на землю и пахать её, как можно глубже пахать». Сам образ России в этом романе, наполненный живительной тишиной, восходит, вероятно, к известным строкам некрасовской поэмы:

Над всею Русью тишина,
Но не предшественница сна:
Ей солнце правды в очи блещет,
И думу думает она...

В сентябре 1854 года русские войска оставляют Молдавию и Валахию, а 8 сентября терпят сокрушительное поражение на реке Альме и отходят к Севастополю, фактически открыв путь англо-французским и турецким войскам к осаде не защищенного с суши и заблокированного с моря города. Патриотический подъем, царивший в кругах русской интеллигенции в начале войны, стремительно идет на убыль. По свежим тогда воспоминаниям о 1812 годе, о разгроме французского нашествия, казалось, что военный перевес будет именно на нашей стороне. На деле вышло совсем другое: за пышным словесным фасадом империи Николая I открылось, наконец, в час сурового испытания совершенно прогнившее ее нутро. Треснула по всем швам николаевская дипломатия, возглавляемая продажным Карлом Нессельроде. Убаюканный его лживыми заверениями Николай полагался на австрийский нейтралитет и на подъем освободительного движения балканских народов, находившихся под турецким игом. Австрия сразу же отшатнулась от России вместе с Пруссией, развязав руки Луи Наполеону. Он только что отпраздновал пышную коронацию на крови расстрелянных в 1848 году рабочих и начал оголтелую антирусскую кампанию в расчете на сплочение нации, взбудораженной недавней революцией: «Цивилизованный мир должен сокрушить русского варвара», «Россия в Константинополе — это смерть для католицизма, смерть для западной цивилизации». Вступив в союз с Англией и Турцией, Наполеон III мечтал о возмездии русским за позор 1812 года. При этом Франция и Англия рассчитывали на захват Крымского полуострова и ослабление русского влияния на Кавказе.

После дипломатической катастрофы последовала катастрофа военная. Русская армия, вооруженная гладкоствольными винтовками, оказалась беззащитной перед карабинами системы Минье, разбивавшими ряды наших войск на расстоянии, в два раза превышающем дальность полета русских пуль. Несчастные наши солдаты уповали на рукопашную схватку как на единственное спасение от метких неприятельских залпов, перед которыми их оружие было совершенно бессильно.

В стране, где в течение многих лет живое дело подменялось канцелярской бумагой, обнаружилась полная гнилость военной верхушки, бездарной и двурушной, привыкшей лишь к механической исполнительности.

Наконец, война обнаружила вопиющую экономическую отсталость России: крепостнические отношения, изжив себя, отбрасывали страну назад, лишали ее возможности поддерживать свой хозяйственный потенциал на уровне передовых стран Европы. Проявилась воочию полная дезорганизованность государственного хозяйства, оказавшегося в руках отъявленных мошенников, взяточников и казнокрадов. Продовольствие, обмундирование и даже боеприпасы разворовывались, не доходя до места своего назначения. Солдаты чуть не умирали от голода. Одна из французских газет того времени, толкуя о качествах русского солдата, о его любви к родине, уверяла, что каждый русский носит в своем ранце мешочек с землей с его родины — ничему иному они не могли уподобить трехдневный запас наших горелых сухарей, истолченных в порошок для более удобного помещения их в ранце. Теплое обмундирование было разворовано интендантскими службами, и наши солдаты всю зиму пробавлялись в своих истасканных шинелишках, добавляя к ним, и то на собственные гроши, рогожи, которые надевались в виде ризы на плечи, а во время дождя и на голову, образуя громадный башлык. Этот наряд, видимый издали, приводил в недоумение неприятелей: что это за особый род военного костюма в русской армии? Баснословные суммы отпускали в войска на фуражное довольствие лошадей, а между тем на глазах у всех лошади дохли от голода.

«Взгляните на годовые отчеты, — писал в своем дневнике либерал П. А. Валуев. — Везде сделано все возможное; везде приобретены успехи; везде водворяется, если не вдруг, то, по крайней мере, постепенно должный порядок. Взгляните на дело, всмотритесь в него, отделите сущность от бумажной оболочки, то, что есть, от того, что кажется, правду от неправды или полуправды, — и редко где окажется прочная, плодотворная польза. Сверху блеск; внизу гниль. В творениях нашего официального многословия нет места для истины».

Так начиналось отрезвление русских людей от тридцатилетнего николаевского царствования. 5 октября был окружен Севастополь и началась многомесячная его осада. Французы и англичане для подвоза боеприпасов срочно соорудили узкоколейную железную дорогу от места расположения своих войск к черноморской гавани, находившейся под их контролем. А у нас из Симферополя до Севастополя на курьерских лошадях добирались восемь дней: заморенные лошади буквально тонули в грязи. Не хватало ни пороху, ни снарядов: в лучшем случае на три

выстрела неприятельских батарей мы отвечали одним. А давно ли Федор Глинка под ура-патриотические рукоплескания восклицал:

Ура! на *трех* ударим разом,
Не даром же *трех*гранный штык!
Ура! — отгрянет над Кавказом.
В Европу грянет тот же клик!

И вот теперь ходят слухи, что великие князья скупают французские штуцеры, объявив цену по 6 рублей за штуку, и формируют штуцерные батальоны; говорят, что легкой артиллерией нам почти невозможно действовать, так как штуцеры, хватающие на большое расстояние, убивают всю прислугу. Протоиерей Петропавловской церкви в Севастополе сообщает своим близким: «И умереть — новая беда: ни доски, ни мастера для гроба, ни людей понести тело нет... Погребение совершается как бы тайком, или по заходе солнца, или на рассвете, до начала бомбардировки».

Вот к чему привел Россию основной порок николаевского царствования — его стремление казаться, а не быть: «ложь в приветной улыбке, в уме, который обманывает и обманывается; в языке, который употребляется для того, чтобы скрывать свои мысли; ложь в образовании, наружном, поверхностном, без глубины, без силы, без истины, — ложь и ложь, бесконечная цепь лжей», по словам А. В. Никитенко.

В роковой, судьбоносный для России 1854 год через Спасское часто шли полки измученных, усталых солдат, направлявшихся в Севастополь. На кромке пыльной дороги, огибавшей старое господское кладбище, находился камень с эпитафией маленькой девочке, дочери спасского архитектора:

Бог ангелов считал —
Одного недоставало,
И смертная стрела
На Лизоньку упала.

Тургенев был свидетелем, как однажды подошел к этому памятнику какой-то старый-старый капитан, кивер в виде ведерка, в чехле, штаны в сапогах, на голенищах следы засохшей грязи, седые усы, и пыль, пыль по самые брови. Усталый, сгорбленный, увидел он надпись на камне и стал медленно читать:

Бог ангелов считал, —

прочел, плюнул, выругался самой что ни на есть площадной бранью и пошел дальше...

«Помню, — рассказывал Тургенев Полонскому, — как это меня озадачило... Но разве в этой ругани не сказалась вся жизнь его — бедная, скучная, тяжелая, бессмысленная и безотрадная... И то сказать — если мужику, которого только что высекли в волостном правлении или который только что вернулся верст за двадцать в свою семью, брюзгливую и злую от того, что есть нечего, начать читать стихотворение Пушкина или Тютчева, — если бы он даже и понял их, непременно бы плюнул и выругался... До стихов ли, в особенности нежных, человеку, забитому нуждой и всякими житейскими невзгодами».

Наступало время переоценки ценностей, трудное время трезвой преобразовательной деятельности, требовавшее и от искусства более суровых жизненных красок, иного, правдивого и мужественного языка. В октябре 1854 года, оставшись в Спасском один, Тургенев живет «лихорадочным ожиданием известий» из Севастополя. В почтовый день он ничего решительно делать не может. «Что-то будет, что-то будет! Иностранные газеты хоть в руки не бери».

В апреле 1854 года в Париже появился перевод «Записок охотника», сделанный Э. Шарьером, под явно тенденциозным заглавием «Воспоминание знатного русского барина или Картина состояния дворянства и крестьянства в русских провинциях в настоящее время». Перевод был сделан крайне небрежно, с бесцеремонным изменением заглавий, искажениями в тексте, вставками от лица переводчика, но главное — книга Тургенева становилась предметом политической спекуляции, использовалась врагами России для разжигания антирусских настроений во Франции.

Тургенев вынужден был написать открытое письмо редактору выходящего в Петербурге на французском языке издания «Journal de St. Pétersbourg». Показывая нелепости и курьезы перевода, непроизвольные и сознательные, Тургенев, между прочим, заявлял: «Этот перевод, неизвестно почему-то названный «Записками русского барина...», подал повод к нескольким статьям, помещенным в разных иностранных журналах. Вы легко поймете, м. г., что мне не идет вступать в прения с моими критиками, слишком, впрочем, ко мне благосклонными, но я чувствую потребность протестовать против заключений, которые многие из них сочли возможным извлечь

из моей книги. Я протестую против этих заключений и против всех выводов, которые можно из них сделать, протестую как писатель, как честный человек и как русский; смею думать, что те из моих соотечественников, которые меня читали, отдали справедливость моим намерениям, а я и не добивался никогда другой награды».

В ноябре 1854 года Тургенев писал из Спасского П. В. Анненкову: «Я каждую ночь вижу Севастополь во сне. Как бы хорошо было, если б прижали незваных гостей». К тревогам за судьбу отечества примешивалась у Тургенева тревога за судьбу человека, к таланту которого он с некоторых пор был очень неравнодушен. Когда за подписью «Л. Н.» на страницах «Современника» в 1852 году появилась повесть «История моего детства», Тургенев был удивлен жизненной силой и стихийной мощью новоявленного таланта. «Поощряй его писать, — обращался Тургенев к Некрасову, — скажи ему, если это может его интересовать, что я его приветствую, кланяюсь и рукоплещу ему».

Лев Николаевич Толстой... он теперь там, среди русских офицеров, он подвергает себя ежеминутной опасности быть убитым вражеской пулей или снарядами. Происходящая там, в Севастополе, драма касается каждого русского человека и даже судьбы отечественной литературы. Тургенев знал, что в двадцати верстах от Спасского, в имении Покровское, живет с семьей родная сестра Толстого Мария Николаевна, которая была замужем за своим дальним родственником Валерианом Толстым. Еще в декабре 1852 года тетушка Льва Николаевича Т. А. Ергольская писала племяннику: «Твой литературный дебют произвел много шума и волнений среди соседей Валерьяна: все интересуются знать, кто этот новый писатель, выступивший с таким успехом; более всех заинтересован Тургенев, автор «Записок охотника»; он расспрашивает всех и каждого, нет ли у Марѝ брата на Кавказе, который пишет, и говорит: если этот молодой человек будет продолжать так, как начал, он пойдет далеко».

Когда осенью 1854 года Тургенев получил в Спасском очередной номер «Современника» с повестью Л. Н. Толстого «Отрочество», решение познакомиться с сестрой Льва Николаевича осуществилось: «Очень рад я успеху «Отрочества», — писал он. — Дай только Бог Толстому пожить — а он, я твёрдо надеюсь, еще удивит нас всех. Это талант первостепенный. Я здесь познакомился с его сестрой... Премилая, симпатичная женщина».

Инициатором этого знакомства был Тургенев. 17 октября он написал В. П. Толстому, мужу Марии Николаевны, следующее письмо:

«Милостивый государь!

Посылаю Вам № «Современника», в котором помещена повесть брата Вашей супруги — «Отрочество» — думая, что это будет интересно для Вас. Я давно имел желание с Вами познакомиться; если Вы с Вашей стороны не прочь от этого, то назначьте мне день, когда мне к Вам приехать, начиная со вторника. Я чрезвычайно высоко ценю талант Льва Николаевича и весьма желал бы знать о нем, где он и что с ним».

24 октября 1854 года Тургенев приехал в Покровское, и вечером, в гостиной небольшого барского дома, состоялось чтение толстовской повести. Мария Николаевна вспоминала, что Тургенев читал просто, вдумчиво, как бы толкуя, разъясняя написанное. К концу чтения он настолько увлекся, что не выдержал, встал на стул с томиком «Современника» в руках и сказал: «Вот насколько Ваш брат, Мария Николаевна, как писатель выше и талантливее меня!»

По писательской привычке Тургенев внимательно всматривался в Марию Николаевну, и она все более нравилась ему редкой непосредственностью и правдивостью. Особенно прекрасны были ее лучистые глаза (те самые, которые впоследствии будут у толстовской княжны Марьи в «Войне и мире»). Но в этих влажных, глубоких глазах, ласкающих лучистым светом, была затаенная тревога и мольба о защите и покровительстве. Чувствовалось, что при внешнем благополучии не сложилась ее личная жизнь...

«Маша в восхищении от Тургенева, — пишет Л. Н. Толстому его брат Николай Николаевич. — Маша говорит, что это простой человек, он играет с ней, раскладывает гранпасьянс, большой друг с Варенькой (четырехлетней дочерью Марии Николаевны. — *Ю. Л.*), но Маша плохо знает свет, и она может очень ошибаться насчет такого умного человека, как Тургенев».

Действительно, знакомство вскоре перерастает в дружбу. Мария Николаевна хорошо играет на фортепиано и тонко чувствует музыку. Тургенев утоляет обычный для него в Спасском «музыкальный голод». Впоследствии Мария Николаевна вспоминала, как она аккомпанировала Тургеневу, а он пел романс Глинки на слова Пушкина «Я помню чудное мгновенье»:

— Я аккомпанирую, а Иван Сергеевич меня пальцем в плечо толкает, чтобы энергичнее выходило: «Шли годы, бурь порыв мятежный...» А я говорю: «Да откуда тут энергии взять, коли вы бог знает что поете, ни одной ноты верной».

— Ах, Мария Николаевна, — со вздохом отвечает Иван Сергеевич, — да что же мне делать? Ведь я и сам знаю, что у меня не голос, а просто свинья!

«Премилая женщина, умна, добра и очень привлекательна... Жаль, что отсюда до них около 25 верст. Она мне очень нравится», — сообщает Тургенев Некрасову 29 октября 1854 года. «Одно из привлекательнейших существ, какие мне только удавалось встретить. Мила, умна, проста — глаз бы не отвел. На старости лет (мне четвертого дня стукнуло 36 лет) — я едва не влюбился... поражен в самое сердце. Я давно не встречал столько грации, такого трогательного обаяния».

На зиму Тургенев уехал из Спасского в Петербург. Но образ Марии Николаевны не только не покидал его, но и окончательно вытеснил из сердца образ Ольги Александровны. После отъезда из Спасского он писал Толстым: «Все это время я часто думал о вас всех — и о днях, проведенных вместе с вами».

В январе 1855 года Тургенев был в Москве на праздновании юбилея Московского университета. Воспоминаниями юности пахнуло на него при виде знакомых студенческих аудиторий, а встреча с изменившимися, постаревшими друзьями говорила о неумолимом беге времени. Константин Аксаков с единомышленниками на официальные торжества не пришел в знак презрения к правительству в лице министра просвещения А. С. Норова, специально прибывшего из Петербурга. Славянофилы пригласили Тургенева на домашний дружеский вечер в Москве, а затем — в Абрамцеве.

Тургенев вспомнил весенние дни 1854 года, клейкие молодые листочки абрамцевского сада, добродушного и хлебосольного Сергея Тимофеевича — само олицетворение русского домашнего тепла и щедрой доброты. Предстояло наслаждение послушать в его чтении очередные главы «Семейной хроники»... Наконец, семейная атмосфера абрамцевской усадьбы, где было так уютно, так спокойно, где оттаивала и расправлялась душа... Соблазн был столь велик, что Тургенев радостно согласился.

Тургенев приехал туда вместе со Щепкиным, когда

в доме уже было много гостей. Константин Сергеевич и его друзья, среди которых оказался старый знакомый Тургенева Алексей Степанович Хомяков и юный Александр Федорович Гильфердинг, литератор, ученый-славист со своим отцом, чиновником министерства иностранных дел, — решили, очевидно, окончательно выяснить, на чьей стороне Тургенев и, по возможности, посвятить его, наконец, в свою веру.

Сначала общее внимание привлек Гильфердинг-старший, который знал все последние сведения о положении дел в Крыму и в дипломатических сферах. Союзники, как выяснилось, потребовали в качестве условия для заключения мира уничтожения Россией Черноморского флота и сдачи Севастополя.

— Вот куда завело несчастную Россию, — заявил А. С. Хомяков. — Сначала духовное пресмыкательство перед Европой, а теперь готовится иное — физическое повиновение. Россию хотят превратить в служанку Европы. И наше положение особенно безотрадно, потому что «верхи» общества оторвались в своей культуре, в своей политике, в своем образе жизни, наконец, от народной почвы, от тех духовных сил, которые лежат в основе России.

— И вы серьезно считаете, что вся сила русского народа заключена в его религиозности? — задал опрометчивый вопрос Тургенев.

— А вы ее видите в чем-то другом? Не кажется ли вам, Иван Сергеевич, что совершающаяся буквально у нас на глазах всемирно-историческая драма заключается в исконной ненависти мирового католицизма и папизма к русскому православию? Почему Запад так оскорбительно отзывается о России, почему он ищет любой повод, чтобы обвинить ее в варварстве, почему все славянство он обвиняет в неспособности к самостоятельному историческому развитию и клеймит именем «варваров»?

— Ну, положим, к этому есть и некоторый повод. Наша историческая отсталость, например.

— Историческая отсталость?! Нет, другая, совсем другая тут причина, любезнейший Иван Сергеевич. Она прежде всего заключается в нашей силе, вызывающей зависть, в нашей способности не закрывать глаза на собственные грехи, в отличие от самодовольного и духовно уснувшего Запада. Мы имеем громадные исторические преимущества перед Западом, и наша задача заключается

в том, чтобы развить их. Наше современное положение потому так безобразно, что мы оторвались от тех духовных сил, которые лежат в основе православной Руси. Католический и протестантский Запад разлагается, его просвещение, основанное на чисто рационалистических началах, впадает в одностороннюю рассудочность и эгоизм. Полнота духовного начала, заповеданная миру христианством, именно у нас, в православии, нашла свое чистое воплощение в восточном православии, милостивый государь, а не в западном папизме.

— Да в чем же это наше духовное преимущество конкретно проявляется?

— Прежде всего в особенностях нашего разума, нашего любомудрия, в корне отличного от суемудрия западной цивилизации. Римско-протестантский Запад обожествил разум, оторвал его от духовно-нравственных основ веры и любви и, пустившись во все тяжкие по стезе отвлеченной логики и формальной диалектики, привел свое общество к духовному краху и тупику. Западный ум истощен в дебрях бесплодной схоластики. Ум русского, неевропеизированного, заметьте, человека, напротив, — таит в себе здоровые зерна будущего великого развития. Разум сам по себе дьявольски подвижен и эгоистически хитер. Только разум в единстве с верой в православном ее существе дает истинное знание.

— Но вы не ответили на мой вопрос!

— Извольте, это старый наш спор с западниками. И помнится, в 1841 году, когда у нас шла речь об односторонности гегелевской философии, вы со мною соглашались.

— Я и теперь ясно вижу ее односторонность!

— Охотно вам верю, но видите ли вы отчетливо ее истоки?

Тургенев пожал плечами.

— Вот так! А я вижу. Гегелевский рационализм — плод западной схоластики, наиболее ярко обнажающий вопиющую односторонность католицизма как веры, лишенной духовной полноты. Русский же тип мышления не логически-отвлеченный, а целостный, духовный, основанный на законах любви, согласный с ними и им подчиненный. Истоки его лежат в восточном православии, именно в нем!

А посему временное физическое превосходство Запада ничего не доказывает против духовной исключительности православных народов. Именно России, ее «цивилизации», заметьте, уготована всемирно-историческая роль. Нам нечего рассчитывать на приобретение силы от западного просвещения, начала которого совершенно чужды русской жизни. Чтобы устранить недостатки нашего образования, как одностороннего, чисто рассудочного, нужно вернуться в лоно восточной православной церкви.

— Допустим, допустим, Алексей Степанович, что вы правы. Но укажите хотя бы одно постановление в нашем самобытном русском быту, которое не заслуживало бы сейчас полного отрицания!

— А крестьянская община! — вмешался в разговор Константин Сергеевич. — Вот вам образец русского соборного общественного быта в противоположность формализму столь почитаемой вами западной демократии. Вспомните «Тараса Бульбу» Гоголя — товарищество Запорожской Сечи, — это ли не образец самобытности? В западной ассоциации существуют формальные объединения людей по принципу господства большинства над меньшинством, это мертвое единство, не согретое нравственным светом, теплом и любовью. Оно и приводит Запад к постоянной сословной вражде, войнам и революциям. В русской общине люди объединяются не внешними постановлениями, не юридическими законами, а добровольным, сердечным согласием между собою. И в крестьянском быту царствует именно этот закон жизни «миром», личность здесь не обособлена и сила ее обретается через единство с другими крестьянами (христианами — заметьте: тут корень самобытной нашей культуры и самобытной нашей общественности). Наш мужик все свои частные вопросы решает полюбовно, на миру.

— Но почему вы считаете, господа, что общинный быт — плод именно христианской культуры в православном ее существе, в целости сохранившем, как вы утверждаете, первоначальные основы христианских древних общин? — начал Тургенев. — Может быть, это оскорбит, и я заранее приношу свои извинения, может быть, это оскорбит ваши религиозные чувства, которые, поверьте, ценю и уважаю... Но истина порой бывает безжалостна... Так вот, как-то в одиночестве, в Париже, я погрузился в чтение книг по истории религии. Среди них мне попалась в руки книга Даумера «Тайны христианской древности»... Возможно, этот Даумер какой-то безумец... Но что есть истинного в этой книге, господа, — это факты, факты, показывающие кровавую, мрачную сторону той

религии, которая должна была вся состоять из любви и милосердия. Разве не производят на вас тяжелого впечатления все эти предания о мучениках, все эти бичевания, процессии, поклонение костям, ожесточенное презрение к жизни, отвращение к женщинам! все эти язвы, вся эта кровь!.. Это так тягостно, что я не хочу более об этом говорить...

— И правильно сделаете, Иван Сергеевич, пощадите свято верующую женщину, о которой вы забыли. Все ваши примеры — из католицизма с его инквизицией, кострами, на которых сжигали еретиков. А мученичество первых христиан... В чем его источник? Не в языческой ли ненависти к новой религии? Восточная церковь не знала ни инквизиций, ни казней...

— А разве наша восточная церковь не освящает и по сию пору барский кнут и российский деспотизм? Да и сама церковь с ее иерархией какое отношение имеет к соборности, к жизни «миром»? Не стала ли и наша церковь льстивой угодницей деспотической власти? Вы превозносите русское духовенство. Но как к нему относится русский народ? Не забудем о том любопытнейшем факте, что больше всего сатирических, хуже! похабных сказок русский мужик сочинил про попа. И не доказывает ли этот факт, что всякая система в хорошем и дурном смысле этого слова — не русская вещь, все резкое, определенное, разграниченное нам не идет...

— Пощадите же Веру Сергеевну, безнадежный вы человек! Скажите же, в чем ваша вера, где ваша религия?

— Письмо Белинского к Гоголю — вот моя религия! — в запальчивости воскликнул Тургенев и тут же пожалел о сорвавшихся с языка словах.

Возникло замешательство. Культ Гоголя царил беспредельно в аксаковской семье. Он должен был это знать.

На помощь пришел добрейший Сергей Тимофеевич. Он ослабил до предела натянутую струну.

— Стоит ли продолжать спор, господа? Совершенно ясно, что убеждения Ивана Сергеевича противоположны нашим, что он равнодушен к тому, что всего дороже для нас. И пусть различие наших воззрений не мешает нам любить друг друга и ценить высокий поэтический талант автора «Записок охотника».

Но, увы, вечер был испорчен. Ночью Тургенев не мог заснуть. Ему были дороги связи с этим добрым семейством, с мудрым человеком и талантливым писателем Сергеем Тимофеевичем. Зачем он ввязался в этот спор, оскорбил этих людей в лучших верованиях. Он вспомнил бледное лицо Веры Сергеевны... и застонал, как от зубной боли.

Утром читали «Семейную хронику». Увлеченный неторопливыми ритмами аксаковской прозы, от которой веяло душевным здоровьем, дыханием живой, полнокровной народной культуры, Тургенев думал: «Вот оно, настоящее!»

Умная и тонкая тургеневская оценка книги Сергея Тимофеевича несколько смягчила неловкость давешнего запальчивого спора.

Тургенев уезжал из Абрамцева, чувствуя холодок со стороны всех членов аксаковского семейства, а Вера Сергеевна записала в своем дневнике: «Я со вниманием всматривалась в него и прислушивалась к словам и вот что могу сказать. Это человек кроме того, что не имеющий понятий ни о какой вере, кроме того что проводил всю жизнь безнравственно и которого понятия загрязнились от такой жизни, это человек, способный испытывать только физические ощущения; все его впечатления проходят через нервы, духовной стороны предмета он не в состоянии ни понять, ни почувствовать... У Тургенева мысли есть плод его чисто земных ощущений... У него есть какие-то стремления к чему-то более деликатному, к какой-то душевности, но не к духовному; он — весь человек ощущений, впечатлений, в котором нет даже языческой силы и возвышенности души, дряблость душевная, как и телесная, несмотря на его огромную фигуру».

Что посеешь — то и пожнешь! Иным Иван Сергеевич и не мог предстать в глазах этой глубоко религиозной девушки, свято верующей в истину славянофильских воззрений брата Константина и его друзей.

Но не обладая твердыми христианскими убеждениями, Тургенев верил в добро, человеческую совесть и благородство. Он был убежден, что цель человеческой жизни не в материальных удовольствиях, не в чувственных плотских наслаждениях. «Знайте, — писал Тургенев, — что без веры, без глубокой и сильной веры не стоит жить — гадко жить; знайте, что это говорит вам человек, про которого, может быть, думают, что он весь проникнут иронией и критикой, — но без горячей любви и веры ирония — дрянь — и критика хуже брани. Если разобрать поэзию зла, воплощенную в типе сатаны — то и в ней мы найдем основанием бесконечную любовь... Во вся-

ком случае, наше призвание — не быть чертями — будемте людьми — постараемся быть ими как можно долее — «С Богом в трудную дорогу!»

Тимофей Николаевич Грановский приветливо и радушно встретил старого университетского товарища. Однако что-то непривычно беспокойное царило теперь и в его доме, и в душе друга тоже не было ласковой и мягкой умиротворенности, которая всегда благотворно действовала на Тургенева. Грановский был тяжело болен и нервно возбужден. Всю жизнь он пропагандировал гуманистические идеи Европы, а теперь две великие нации творили ужасающий разгром в Севастополе. Грановским владела скорбь о России, которая расплачивалась за николаевскую национальную кичливость во внешней и внутренней политике. Национальная изоляция и самодовольство обернулись теперь, как он думал, народной кровью у стен Севастополя. «Будь я здоров, — говорил Грановский, — ушел бы в ополчение без желания победы России, но с желанием умереть за нее. Душа наболела в это время. Надобно носить в себе много веры и любви, чтобы сохранить надежду на будущность России. Наши матросы и солдаты славно умирают в Крыму, но жить здесь никто не умеет».

Да, почти невыносимые, мучительные чувства переживал этот ярый западник. Казалось бы, внешне его положение в университете определилось достаточно прочно. Он получил официальное признание. Новый министр А. С. Норов поручил ему составление программы преподавания истории, написание учебника. Его назначили деканом историко-филологического факультета. Но служебный успех не радовал Грановского — не было мира в душе, которая и любила Россию, и ненавидела ее за всегубящий режим Николая, погрузивший страну в летаргический сон... Какое мучительное пробуждение он ей уготовил!

Тургенев оставил Грановского с тяжелым чувством тревоги за судьбу своего друга, и только визит к Александру Николаевичу Островскому несколько смягчил грустные московские впечатления.

С большой Лубянской площади по Солянке, мимо Опекунского совета Тургенев прошел довольно успешно, а затем долго плутал в поисках Серебрянического переулка, прежде чем наткнулся на неказистый деревянный дом обычного московского пошиба. Он был обшит тесом и покрашен темно-коричневой краской.

Всполошился дворник Иван Михайлов, побежал к хозяину с испуганным лицом:

— Батюшка-отец! Александр Николаевич! Там внизу большой барин просится к тебе пройти, — Тургеневым сказывается. Пущать ли?

«Немалый переполох и замешательство произвело это неожиданное посещение Тургенева и между присутствующими, — вспоминал С. В. Максимов. — Сконфузился и сам хозяин, Александр Николаевич, застегивая ворот коротенькой поддевки на крючки, стыдливо оглядываясь на простоту своей повседневной обстановки. Она не совсем соответствовала вкусу и не отвечала надлежащему достойному приему такого гостя, который был и богатым человеком, и чуть не аристократом, но во всяком случае, уже крупной известностью, передовым после Гоголя писателем».

Однако первое смущение вскоре прошло, когда Тургенев очаровал всех простой и приветливой беседой и был достойно вознагражден за дружеским столом знаменитым тостом генерала Дитятина. Этот тост с неподражаемым юмором произнес молодой актер И. Ф. Горбунов.

«Милостивые господа, — начал Горбунов, мгновенно войдя в роль тупого генерала-ретрограда. — Вы собрались сюда чествовать литератора 40-х годов Ивана Тургенева... Я против этого ничего не имею... Хотелось бы и говорить, но говорить, находясь среди вас, трудно: во-первых, разница ваших взглядов, во-вторых, мое официальное положение, в-третьих, присущая людям нашей эпохи осторожность: нас учили более *осматриваться,* чем *всматриваться;* больше *думать,* чем *говорить;* одним словом, нас учили тому, чему, к сожалению, не учат теперь...

В начале 30-х годов, — выражаясь риторическим языком, среди безоблачного неба, тайный советник Дмитриев внезапно был обруган семинаристом Каченовским. Подняли шум... Критик скрылся... Далее, генерал-лейтенант, сочинитель патриотической истории 12-го года, Михайловский-Данилевский, был обруган. Были приняты меры... стало тихо. Но на почве, усеянной, удобренной мыслителями 30-х годов, показались всходы; эти всходы заколосились, и первый тучный колос, сорвавшийся со стебля в 40-х годах, были «Записки охотника», принадлежащие перу чествуемого вами литератора, отставного коллежского секретаря Ивана Тургенева.

В простоте солдатского сердца я взял эту книгу, ду-

мая найти в ней записки какого-либо военного охотника... оказалось, что под поэтической оболочкой скрываются такие мысли, о которых я не решился не доложить графу Закревскому. Граф сказал: «Я знаю». Я в разговоре упомянул об этом князю Сергию Михайловичу Голицину. Он говорит: «Это дело администрации, а не мое». Я сообщил конфиденциально митрополиту Филарету. Он мне ответил, что это «веяние времени».

Я увидал, что совершается что-то странное, — и посторонился.

Теперь я, милостивые господа, стою в стороне, пропускаю мимо себя нестройные ряды идей, мнений, постоянно сбивающихся с ноги, и всем говорю: «Хорошо!» Но мне уже никто не отвечает: «Рады стараться, ваше превосходительство!», а только взводные кивают с усмешкой головой. Я кончил».

Тост генерала Дитятина неоднократно прерывался дружным смехом гостей, и громче, заразительнее всех смеялся Иван Сергеевич. Так уморительно и точно передавал Горбунов психологию николаевского солдафона, что, пожалуй, дал фору Прову Садовскому. Тусклый взор, отвисшая нижняя губа и особенно знаменательная беспомощная и бессмысленная улыбка... Уходила в прошлое, разваливаясь под гром пушек в Севастополе, целая эпоха русской жизни. Каким-то свежим ветром повеяло на Тургенева в кружке этих людей, ближе стоявших к самым недрам народной жизни, чутко схватывавших перемены в умонастроениях демократических слоев общества. Любовь к русскому человеку, не исключавшая трезвого взгляда на его слабости, теплилась в горбуновских рассказах из крестьянской жизни: «Вся-то жизнь наша — слезы, — сетовал Горбунов, великолепно перевоплотившийся в русского мужика, — родимся мы в слезах и помрем в слезах... И сколько я этих слез на своем веку видел, и сказать нельзя. Бывало хоть в некрутчину: и мать-то воет, и отец-то воет, а у жены у некрутиковой из глаз словно смола горячая капает».

На дружеском вечере у Островского познакомился Тургенев с рисунками Боклевского к комедии «Бедность не порок» и так ими увлекся, что немедленно решил вывести этого художника в свет, Горбунову же обещал всяческое содействие к переводу в Александринский театр и сдержал свое обещание.

Возвращаясь в Петербург и обдумывая московские встречи, Тургенев не мог не заметить с грустью, что его

поколение, прошедшее через германскую философскую школу, через искусы «мрачного семилетия», поколение идеалистов 30—40-х годов, при всех его достоинствах, слишком поглощено рациональным, книжным воспитанием, слишком отягощено бременем собственного интеллекта. В Островском и его друзьях чувствовалось веяние иного времени, рождение новой, молодой поросли людей демократического склада ума и характера, людей по-народному цельных и прямых, мудрых новой, от жизни идущей мудростью. И грусть Тургенева была светла: значит, жизнь не остановилась, не замерла, есть силы для ее возрождения...

18 февраля 1855 года умер Николай I.

Сначала Тургенев услышал эту весть утром от своего слуги, который, подавая чай, промолвил равнодушным голосом:

— Государь помер.

Вскоре прибежал Павел Васильевич Анненков и подтвердил:

— Верно, брат был во дворце, сам видел.

Друзья обнялись, но Тургеневу как-то еще не верилось, что кончилась николаевская эпоха в русской истории... Он наскоро оделся и отправился к Зимнему дворцу. Там уже стояла толпа народа, шли неопределенные разговоры и пересуды. Тургенев пробрался вперед и обратился к часовому:

— Правда ли, что наш государь скончался?

Часовой стоял неподвижно и только слегка покосился на слишком назойливого барина.

— Правда ли?

Солдат не выдержал и раздраженно, резко ответил:

— Правда, проходите!

— Верно ли? — настаивал Тургенев.

— Кабы такое сказал, да было бы неверно, меня бы повесили, — укоризненно и сердито ответил часовой и отвернулся.

...На похороны Николая I Тургенев смотрел из квартиры одного петербургского знакомого, окнами выходившей на улицу, по которой шествовала похоронная процессия. Народу в квартире собралось много. Впереди у окон усадили дам, мужчины стояли сзади. Когда потянулась траурная процессия, одна из дам, сидевшая перед Тургеневым, начала стонать, заламывать руки и рыдать насильственным, как показалось Тургеневу, показным рыданием. Так она его раздражала, что Тургенев с трудом

сдерживался, чтобы не оборвать её. Наконец рыдания сменились сетованиями:

— Кто? Какой русский, какой злодей не плачет о нем?!

Тут уж Тургенев не выдержал:

— Я! я, сударыня, не плачу!

Дама даже взвизгнула от неожиданной дерзости, а Тургенев поспешно сбежал вниз и отправился домой...

...«С Крымской войной, с смертью Николая настает другое время, из-за сплошного мрака выступали новые массы, новые горизонты, чуялось какое-то движение», — писал А. И. Герцен. И в самом деле, уже в марте 1855 года в руки Тургенева попала ходившая по Петербургу в списках «Рукопись неизвестного лица о положении России к началу царствования Александра II». Автором её был Николай Александрович Мельгунов.

«У нас, наряду с марширующей армией, — читал Тургенев, — есть другая — пишущая. Эта вторая армия так же многочисленна, как и первая; на неё также тратится значительная часть доходов, и она также отвлекает от полезных занятий цвет молодёжи свободных сословий».

Бюрократия или чиновничество и канцелярство привыкает «жить на чужой счет и смотреть на Россию как на завоёванную землю. Бюрократ считает себя как бы гражданином иной земли, даже не в государстве, а над государством и убеждается мало-помалу, по свойству человеческой души, что не он существует для нации, а нация для него. Он, подобно католическому попу, принадлежит не России, а своему Риму — Петербургу; знает не отечество, а своего папу — министра или генерал-губернатора<...>

...В России больше бумажных мельниц, чем бы казалось следовало ожидать, судя по степени её образования. Куда же идёт бумага? Огромнейшая масса поступает в присутственные и другие казенные места<...>

Мудрено ли при огромных размерах нашей бюрократической письменности, что она навлекла на Россию, к сожалению, заслуженное прозвание «бумажного царства» и «страны бесполезных формальностей»? Действительно, формализм овладел всем; мертвая буква убила живой дух; формы опутали своей крючками испещренной сетью все жизненные силы народа и не дают им двигаться <...>

Наш государственный механизм, говоря вообще, донельзя и бесполезно сложен, чем, разумеется, лишь увеличено канцелярское письмоводство и замедлен ход дел<...> Загляните в иные ведомства: соберутся да и сидят девять десятых сложа руки и болтая всякий вздор. Одна обширность зданий, где помещаются правительственные места, достаточно свидетельствует о числе чиновного люда. <...>

Дайте частным кампаниям возможность пролагать дороги, а нашим обществам сельского хозяйства право изучать и обсуждать коренные препятствия к улучшенному земледелию<...> и тогда из живой среды различных местностей в короткое время возникнет для общественного продовольствия, для хлебопашества больше плодотворного, чем изо всех правительственных мер, сочинявшихся доселе в отвлеченной сфере петербургского управления. Только в Петербурге могут приходить на мысль улучшения в роде посева кукурузы в Смоленской, Калужской, Тульской и других губерниях, в подспорье, на случай неурожаев. Общий хохот был ответом на такое предложение одного из прежних министров внутренних дел. Но есть предложения или предписания, на которые нельзя отвечать одним хохотом. С землёю иногда труднее сладить, чем с людьми. Людей легче дрессировать».

А вскоре по рукам пошла «Записка», адресованная Александру II Константином Аксаковым. «Не подлежит спору, — читал Тургенев, — что правительство существует для народа, а не народ для правительства. Поняв это добросовестно, правительство никогда не посягнет на самостоятельность народной жизни и народного духа... Современное состояние России представляет внутренний разлад, прикрываемый бессовестною ложью. Правительство, а с ним и верхние классы, отдалилось от народа и стало ему чужим. И народ и правительство стоят теперь на разных путях, на разных началах... Народ не имеет доверенности к правительству; правительство не имеет доверенности к народу... При потере взаимной искренности всё обняла ложь, везде обман... Все лгут друг другу, видят это, продолжают лгать, и неизвестно, до чего дойдут... Взяточничество и чиновный организованный грабеж — страшны. Это до того вошло, так сказать, в воздух, что у нас не только те воры, кто бесчестные люди; нет, очень часто прекрасные, добрые, даже в своем роде честные люди — тоже воры: исключений немного... Всё зло происходит главнейшим образом от угнетательской системы нашего правительства... Такая система, пагубно действуя на ум, на дарования, на все нравственные си-

лы, на нравственное достоинство человека, порождает внутреннее неудовольствие и уныние. Та же угнетательная правительственная система из государя делает идола, которому приносятся в жертву все нравственные убеждения и силы... Лишенный нравственных сил, человек становится бездушен и, с инстинктивной хитростью, где может, грабит, ворует, плутует... Нужно, чтоб правительство поняло вновь свои коренные отношения к народу, древние отношения государства и земли, и восстановило их... Стоит лишь уничтожить гнет, наложенный государством па землю, и тогда легко можно стать в истинно русские отношения к народу».

С таким «голосом из Москвы» Тургенев почти полностью соглашался. Теперь в слове Константина Аксакова послышалось «дело». Неужели ему, тургеневскому поколению, которое писатель называл «лишним», суждено, наконец, прямое практическое дело?! Справится ли оно? Как оно проявит себя уже не в отвлеченных философских умствованиях, а в практике живой и настоящей общественной жизни, в деле подлинного жизнестроительства? Выдержит ли оно испытание новым временем? Именно эти вопросы возникали теперь перед Тургеневым и настоятельно требовали писательского отклика.

В Петербурге Тургенев часто встречался со старым своим знакомым, лидером в кругах либералов-западников, профессором Константином Дмитриевичем Кавелиным. Он познакомился с ним еще в 40-х годах, когда Кавелин занимал кафедру истории русского законодательства в Московском университете. В 1848 году он вышел в отставку, переехал в Петербург и определился на службу в комитете министров, совмещая её с преподаванием в военно-учебных заведениях. Близко связанный с передовой интеллигенцией Москвы и Петербурга, Кавелин оказался в центре развивающегося в России либерального движения и был активным сотрудником журнала «Современник».

В период Крымской войны, когда раздражение против правительства Николая I охватило широкие круги дворянства, Кавелин стал инициатором создания целой серии рукописных статей с оценкой политического положения страны и либеральной программой реформ, призванных предотвратить надвигающуюся на Россию катастрофу. В январе 1855 года, во время юбилейных торжеств в Москве по случаю столетия Московского университета, Кавелин, приехавший из Петербурга, обратился

с этим предложением к своему ученику и единомышленнику Борису Николаевичу Чичерину, профессору государственного права. Кавелин откровенно высказал ему свой взгляд на политическое положение страны, которое «с каждым днем становится невыносимее», и предложил ему принять участие в создании ряда статей по злободневным вопросам русской жизни. Чичерин встретил это предложение с горячим сочувствием: «Я с жадностью ухватился за эту мысль, которая давала исход моим либеральным убеждениям и моему стремлению к деятельности». После воцарения Александра II Кавелин привлек к написанию статей и третьего автора — Н. А. Мельгунова, с запиской которого Тургенев ознакомился.

В марте 1855 года Кавелин составил ходившую в рукописи записку по крестьянскому делу, поставившую его сразу же в ряд выдающихся русских публицистов. В ней он пытался «приискать средние меры для соглашения разнородных и разноречивых интересов государства, дворянства и крестьянского сословия». Стремясь к «всеобщему, разумному соглашению разрозненного», Кавелин верил в гармонию общественных интересов, полагая, что после реформы крестьяне найдут в дворянах «своих естественных, достойных доверия представителей».

Кавелин первым сделал практический шаг, изложив в своей записке 1855 года реальные пути крестьянского освобождения. По Кавелину, освободить крестьян следовало с землею при единовременном выкупе ее у помещиков в надел бывшим крепостным на правах собственности. Кавелин категорически высказался против «освобождения» крестьян без земельного надела. К дворянству он относился очень бережно, считая его «высшим, первенствующим сословием империи». Ему он сулил грядущее «возрождение». Утверждая закон общественного неравенства, согласно которому «управлять народом» должен высший класс, Кавелин полагал, что после реформы дворянство будет наилучшим представителем «всенародных польз и ходатаем за них». Защищая сословные интересы дворянства, Кавелин решительно высказывался не только за выкуп земельного надела, но и за выкуп личной свободы крепостных: «Надо оценить крепостных с следующей им землею по существующим на месте ценам». Он же предложил переходный период, установление «на известный срок» для крестьян обязательных работ, повинностей и служб. По сути дела, Кавелин в своей записке определил путь, на который встанут редакци-

онные комиссии при разработке положения о «временно-обязанных крестьянах».

Когда же падет ненавистное рабство — рухнет и стена, отделявшая дворян-землевладельцев от их крепостных, а общие интересы дворян и крестьян создадут идеальную гармонию в их взаимоотношениях. Так думал Кавелин, и Тургенев во многом соглашался с ним. Ведь он тоже мечтал об особом историческом призвании дворянского сословия в назревающем в России переломе. Но Тургеневу казалось, что его приятель слишком идиллически представляет себе русское дворянство, недооценивает его крепостнические убеждения, как бы и не замечает, что либеральные взгляды имеет лишь незначительная его прослойка, культурная его часть...

Наконец, из туманного Лондона от старого тургеневского друга Александра Ивановича Герцена послышался долгожданный вольный голос и радостный привет. Вышел первый номер альманаха «Полярная звезда», «обозрение освобождающейся Руси», с эпиграфом из Пушкина «Да здравствует разум!» и силуэтами пяти казненных декабристов на обложке.

«С 18 февраля, — писал Герцен в предисловии к первому выпуску, — Россия вступает в новый отдел своего развития. Смерть Николая больше, нежели смерть человека, смерть начал, неумолимо строго проведенных и дошедших до своего предела. <...>

Севастопольский солдат, израненный и твердый как гранит, испытавший свою силу, также подставит свою спину палке, как и прежде? Ополченный крестьянин воротится на барщину так же покойно, как кочевой всадник с берегов каспийских, сторожащий теперь балтийскую границу, пропадет в своих степях? И Петербург видел понапрасну английский флот? — не может быть. Всё в движении, всё потрясено, натянуто... и чтоб страна, так круто разбуженная, снова заснула непробудным сном?

Лучше пусть погибнет Россия!

Но этого не будет. Нам здесь вдали слышна другая жизнь, из России потянуло весенним воздухом. <...> Только не следует ошибаться в одном; обстоятельства — многое, но не всё. Без личного участия, без воли, без труда, ничего не делается вполне. <...>

Мы призываем к труду. Это не много, но физиологически важно; мы сделали первый шаг, мы раскрыли калитку — идти ваше дело!»

В этом же номере «Полярной звезды» Герцен поместил письмо к императору Александру II:

«Государь, — писал он, — дайте свободу русскому слову. Уму нашему тесно, мысль наша отравляет нашу грудь от недостатка простора, она стонет в цензурных колодках. Дайте нам вольную речь... Нам есть что сказать миру и своим.

Дайте землю крестьянам. Она и так им принадлежит; смойте с России позорное пятно крепостного состояния, залечите синие рубцы на спине наших братий — эти страшные следы презрения к человеку.

<...> Я стыжусь, как малым мы готовы довольствоваться; мы хотим вещей, в справедливости которых вы так же мало сомневаетесь, как и все.

На первый случай нам и этого довольно...»

ШКОЛА ГОСТЕПРИИМСТВА

Летом 1855 года к Тургеневу в Спасское приехали его друзья — Д. В. Григорович, А. В. Дружинин и В. П. Боткин. Григорович вспоминал, что первая минута знакомства со Спасским произвела в гостях легкое разочарование. По рассказам все ожидали увидеть старинный, обширный барский дом, полный, как чаша, нескончаемый парк, леса на несколько верст в окружности и соседку красавицу М. Н. Толстую.

Ожидания не оправдались: после пожара старого дома осталась только его часть, парк оказался садом, на всем лежала печать запустения, до леса было около двух верст. Стали подтрунивать над Тургеневым, упрекая его в преувеличениях. Гостеприимный хозяин подхватывал шутки, превращая их в язвительный шарж. Возникла идея пьесы о некоем дворянине, неожиданно получившем в наследство деревню, в которой ему бывать не доводилось. На радостях он приглашает в новое имение и друзей, и всяких встречных, в ярких красках описывает прелести деревенской жизни, богатейшую обстановку огромного дома. Однако, приехав в деревню с женой и детьми, хозяин видит крайнее запустение, беспорядок, развал. Он в отчаянии. И в это-то время к нему жалуют гости с самыми разными вкусами, привычками, взглядами на жизнь. Начинается неудовольствие, ссоры, столкновения. Среди съехавшейся пестрой братии объявляется и некий желчный господин, напоминающий Чернышев-

ского и наводящий на сборище гостей нервную дрожь своими язвительными выходками. Жена хозяина не выдерживает и вместе с детьми бежит из дома. Но гости все прибывают. Несчастный помещик совсем теряет голову, и когда кухарка объявляет, что за околицей показались еще два тарантаса, он в изнеможении падает на авансцене и говорит ей ослабевшим голосом: «Аксинья, поди *скажи им*, что мы все умерли!» «Нет, нет! — поправил Боткин. — Вы, Иван Сергеевич, кричите: «Спасите меня, я единственный сын у матери!»

Комедия сочинялась коллективно, каждый в меру своих сил упражнялся в остроумии, и порой дружный хохот сотрясал стены спасского дома. Решили назвать новоиспеченную комедию «Школа гостеприимства» и сделать предложенный Боткиным финал. Желчный литератор бросал зажженную спичку на солому, служившую ему постелью: «Пускай горит! Он накормил нас тухлыми яйцами!» Раздавался крик: «Пожар!» Вбегал хозяин (Тургенев) и выкрикивал злополучную фразу о спасении.

Весёлый фарс был разыгран в присутствии гостей-соседей, среди которых была и Мария Николаевна Толстая. Гостей наехало так много, что они с трудом разместились в самой большой комнате спасского дома. Так получилось, что слух о спектакле в Лутовинове быстро распространился по всему уезду; со всех концов посыпались письма с просьбой получить приглашение на игру известных русских литераторов. Тургенев всё это время страшно суетился, уверяя, что отказать просьбам — значило бы перессориться со всем уездом.

По предчувствию или по случайному совпадению, но «Школа гостеприимства» предвосхищала тот распад дружеского редакционного круга «Современника», который вскоре должен был произойти. Неспроста, во всяком случае, среди гостей неразборчивого домохозяина появилась колючая фигура «желчного» литератора.

Свои первые критические статьи Чернышевский опубликовал в «Современнике» в 1854 году. Весной 1855 года он защитил магистерскую диссертацию «Эстетические отношения искусства к действительности», которая вызвала раздражение Тургенева элементами утилитарного отношения к искусству, названному Чернышевским «суррогатом действительности».

Однако в Спасском возникали споры о другом. А. В. Дружинина задела статья Чернышевского «Об искренности в критике», опубликованная в «Современнике». Его оскорбил резкий и откровенно бескомпромиссный тон этой статьи.

— Литератор должен держаться вдали от мизерного ратоборства и не терять хладнокровия в книжном споре, — заявлял Александр Васильевич.

— Всё это раздражение, которым проникнута статья «клоповоняющего» господина Чернышевского, — следствие физиологического расстройства печени, и не более, — подхватывал Д. В. Григорович.

— А я считаю, — утверждал Тургенев, — что в Чернышевском при всех его крайностях есть страстность, необходимая всякому критику. Вспомним хотя бы незабвенного Виссариона Григорьевича. Что может быть желчнее и резче его письма к Гоголю? Нет, любезнейший Дмитрий Васильевич, Чернышевский понимает потребности действительной современной жизни — и в нем это не проявление расстройства печени, а самый корень всего его существа.

Уже здесь, в Спасском, начинался знаменитый спор о «пушкинском» и «гоголевском» направлении в развитии русской литературы, который вскоре возникнет между Дружининым и Чернышевским на страницах «Библиотеки для чтения» и «Современника». Дружинин утверждал, что нельзя всей русской словесности питаться традицией гоголевских «Мертвых душ».

— Нам нужна поэзия! А именно поэзии-то и мало в последователях Гоголя, нет её в излишне реальном направлении многих новейших деятелей. Против этого однобокого сатирического направления, к которому привело нас неумеренное подражание Гоголю, поэзия Пушкина может служить спасением.

— Я согласен с вами, что одностороннему сатирическому направлению в качестве противовесия нужно возвращение к пушкинским традициям. Но при этом, дорогой Александр Васильевич, вы не хотите замечать *исторического* значения Гоголя. Вот что досадно в вашей позиции. Она настолько однобока, что ваша полуправда выходит кривдой. Бывают эпохи, где литература не может быть *только* художеством — а есть интересы высшие поэтических интересов. Момент самопознания, критики так же необходим в развитии народной жизни, как и в жизни отдельного лица. Вы же о Пушкине говорите с любовью, а Гоголю отдаете только справедливость, что, в сущности, никогда не бывает справедливо. То же самое я могу ска-

зать и о противнике вашем, Чернышевском, у которого любовь к Гоголю часто оборачивается лишь терпимым отношением к Пушкину. «Противоположное общее место»! Хотя, положа руку на сердце, я скорее отдаю предпочтение вашему противнику. Хотите знать почему? Да потому, что и для Пушкина литература никогда не была «чистым художеством», и если вы хотите любить всего Пушкина, то надо вспомнить и его «Деревню», и «Послание в Сибирь», и «Вольность», и «Памятник», наконец.

В споре, положившем начало размежеванию революционеров-демократов с либералами, Тургенев и далее останется «арбитром»: «Чернышевский, без всякого сомнения, лучший наш критик и более всех понимает, что именно нужно, — напишет он в 1856 году из-за границы, — вернувшись в Россию, я постараюсь сблизиться с ним более, чем до сих пор».

Но в Спасском разногласия не омрачали еще дружеских симпатий членов этого кружка, подобно легким тучкам в ясную солнечную погоду. В жизни Тургенева летние дни 1855 года останутся в числе лучших его воспоминаний.

Когда друзья уехали, писатель вплотную приступил к работе над «Рудиным». В перерывах единственной и желанной пристанью оставалось для него Покровское. Мария Николаевна Толстая вспоминала, что Тургенев привозил с собою главы и части еще не отделанного и не завершенного романа, читал их вслух и внимательно выслушивал замечания.

— Так в серьезных домах, — говорил он, — не заставляют гостей любоваться своими детьми. Еще можно, пожалуй, показать их на крестинах, а потом уже нечего их выводить, пока не станут большими.

«Я помню, — рассказывала Мария Николаевна, — как он читал нам «Рудина», который и мне и мужу очень понравился. Мы были поражены небывалой тогда живостью рассказа и содержательностью рассуждений. Автор беспокоился, вышел ли Рудин действительно умным среди всех остальных, которые больше умничают. При этом он считал не только естественной, но и неизбежной растерянность этого «человека слова» перед сильнейшей духом Натальей, готовой и способной на жизненный подвиг».

Перед своим отъездом из Спасского в Москву Тургенев обратился к Льву Николаевичу Толстому с первым своим письмом:

«Я давно собирался затеять с Вами хотя письменное знакомство, любезный Лев Николаевич, за невозможностью — пока — другого; теперь, уезжая из дома Вашей сестры в Петербург — хочу привести в исполнение это давнишнее намерение. Во-первых, благодарю Вас душевно за посвящение мне Вашей «Рубки лесу» — ничего еще во всей моей литературной карьере так не польстило моему самолюбию. Ваша сестра, вероятно, писала Вам, какого я высокого мнения о Вашем таланте и как многого от Вас ожидаю — в последнее время я особенно часто думал о Вас. Жутко мне думать о том, где Вы находитесь. Хотя, с другой стороны, я и рад для Вас всем этим новым ощущениям и испытаниям, — но всему есть мера — и не нужно вводить судьбу в соблазн, — она и так рада повредить нам на каждом шагу. — Очень было бы хорошо, если б Вам удалось выбраться из Крыма — Вы достаточно доказали, что Вы не трус, — а военная карьера все-таки не Ваша. Ваше назначение — быть литератором, художником мысли и слова».

На пути из Спасского в Петербург Тургенев собирался навестить в Абрамцеве Сергея Тимофеевича Аксакова. Но там его ждал тяжелый удар, второй в этом году, после известия о падении Севастополя в августе 1855 года. В Москве Тургенев оказался на похоронах Т. Н. Грановского. «Давно ничего так на меня не подействовало, — писал он С. Т. Аксакову. — Потерять этого человека в теперешнюю минуту — слишком горько — с этим, вероятно, согласятся все, к какому бы образу мыслей ни принадлежали. Самые похороны были каким-то событием — и трогательным — и возвышенным».

Размышляя перед открытым гробом друга о капризах жестокой судьбы, о непрочности человеческого существования, Тургенев думал о тщете взаимных обид, которые наносили друг другу славянофилы и западники. Ведь, в сущности, и те и другие душой болели за Россию, у тех и у других был один общий враг — крепостное право. И вот теперь, когда наступает время великих дел, смерть выбивает лучших из рядов мыслящих людей... Эта смерть указывает нам на то, что мы должны теснее держаться друг за друга, терпимее относиться к различиям в наших взглядах и объединяться в главном и существенном, что нас сближает. Тургенев жмет руку Некрасову в ответ на его письмо из Петербурга, «как на сражении товарищ жмет товарищу руку, когда картечь вырывает лучших из рядов». Одновременно он обращает-

ся с призывом к примирению и в стан славянофилов: «Время, в которое мы живем, принадлежит к числу тех, которые повторяются слишком редко — и все люди мыслящие, любящие свою родину, должны желать сближения и духовного сообщения». Эта выстраданная Тургеневым убежденность будет ведущей и центральной в преддверии реформы 1861 года.

Редакционный кружок «Современника» с нетерпением ждал нового тургеневского романа. По возвращении в Петербург Тургенев устроил публичное чтение. Друзья давали ему советы, которые он внимательно выслушивал без «малейшего признака самолюбивого укола» и учитывал при доработке. Заново переписывались страницы, посвященные студенческой жизни Лежнева и Рудина, был доработан эпилог — встреча Рудина на постоялом дворе. Строки о гибели героя на парижских баррикадах были внесены в роман позднее как завершающий штрих на его трагическую фигуру. Атмосфера единомыслия, взаимопонимания, согласия казалась Тургеневу тем идеальным состоянием, в котором и должны пребывать мыслящие патриоты России.

Но вскоре тургеневская мечта была подвергнута первому суровому испытанию. 19 ноября в Петербург приехал Лев Николаевич Толстой и прямо с Московского вокзала явился на квартиру к Тургеневу. Встреча эта была для автора «Записок охотника» особенно радостной и долгожданной. Он уговорил Толстого поселиться вместе и 3 декабря писал Боткину: «Ты уже знаешь от Некрасова, что Толстой здесь и живет у меня... Человек он в высшей степени симпатичный и оригинальный. Но кого бы ты не узнал — это меня, твоего покорного слугу. Вообрази ты меня, разъезжающего по загородным лореточным балам, влюбленного в прелестную польку...» Вырвавшись из севастопольского ада, Толстой предавался самозабвенному прожиганию жизни, а Тургенев, как заботливая нянька, всюду ходил за ним, укоризненно вздыхая и разводя руками, — в «виде скелета на египетском пире», по язвительному определению А. В. Дружинина.

Через несколько дней после приезда Толстого в Петербург к Тургеневу заглянул Фет и застал следующую картину:

«Когда Захар отворил мне переднюю, я в углу заметил полусаблю с анненской лентой.

— Что это за полусабля? — спросил я, направляясь в дверь гостиной.

— Сюда пожалуйте, — вполголоса сказал Захар, указывая налево в коридор. — Это полусабля графа Толстого, и они у нас в гостиной ночуют. А Иван Сергеевич в кабинете чай кушают.

В продолжение часа, проведенного мною у Тургенева, мы говорили вполголоса из боязни разбудить спящего за дверью графа.

— Вот всё время так, — говорил с усмешкой Тургенев, — вернулся из Севастополя с батареи, остановился у меня и пустился во все тяжкие. Кутежи, цыгане и карты всю ночь; а затем до двух часов спит как убитый. Старался удерживать его, но теперь махнул рукою».

Тургенев был на десять лет старше Толстого, и в его отношениях к молодому писателю проскальзывала постоянно отеческая забота и нежность. Он добровольно и совершенно искренне взял на себя поначалу роль старшего наставника. Тургеневу казалось, что он имел на это полное право: благодаря широчайшей своей образованности он видел зияющие пробелы в философской, литературной, общекультурной подготовке Толстого. Деликатно, однако упорно и настойчиво он пытался привить Толстому любовь к Шекспиру, интерес к личности Станкевича и Белинского, Герцена и Огарева. Кое-что ему удалось. Когда Толстой по настоянию Тургенева познакомился с только что опубликованными П. В. Анненковым письмами Н. В. Станкевича, он сказал:

— Вот человек, которого я любил бы, как себя. Веришь ли, у меня теперь слезы в глазах — я нынче только кончил его и ни о чем другом не могу думать... И зачем? За что мучилось, радовалось и тщетно желало такое милое, чудное существо.

14 декабря 1855 года, в тридцатилетие со дня восстания декабристов, Тургенев организовал у себя литературный вечер, на котором познакомил Толстого с Н. П. Огаревым. Огарев читал только что законченную поэму «Зимний путь». Для Толстого люди 40-х годов были людьми иного, не знакомого ему поколения; он не знал ни искусов отвлеченного немецкого идеализма, ни мучительных поисков истины во мраке николаевского царствования, ни трагизма одинокого, предоставленного самому себе существования. Утонченный интеллект и духовная щепетильность этих людей казались подчас Толстому несколько манерными и искусственными.

Однако по сравнению со своими старшими литературными собратьями Толстой имел немало преимуществ, ко-

торые давали ему право смотреть на петербургских литераторов не только снизу вверх, но еще и со стороны. Кто из этих прекраснодушных и милых людей видел «кровь, грязь, страдания и смерть» в той мере, в какой испытал их одаренный повышенной чувствительностью и восприимчивостью художественной натуры Лев Толстой? Вот они восхищаются европейской культурой, часами могут рассуждать о Жорж Санд, о Теккерее, о Диккенсе, с преклонением говорить о Шекспире... Их бы провести по Севастополю, заставить взглянуть на маджару, доверху наполненную окровавленными покойниками, или вдохнуть удушающий запах гниющих трупов солдат среди цветущей долины! Вот и Огарев читает свои стихи с задушевной и задумчивой прелестью, которая завораживает, покоряет сердце пронзительной правдивостью. Но почему-то Толстого раздражают огаревские сетования на людей:

Но к делу! В сей юдоли слез
Есть люди вне беды и гроз,
Которых жгучие печали
Бог весть как в жизни миновали...

Раздражают не случайно: ему кажется, что и сам Огарев, и Тургенев, и Дружинин, и весь петербургский ареопаг — «люди вне беды и гроз». И потому с особым чувством упрека идеалистам сороковых годов Толстой читал о поведении князя Гальцына в «Севастополе в мае», когда он выскакивал из военного госпиталя: утонченные нервы не выдерживали криков раненых, отрезанных рук и ног, окровавленных тел. Что стоят «жгучие печали» петербургских литераторов по сравнению, например, с такой картиной:

«Сотни свежих окровавленных тел людей, за два часа тому назад полных разнообразных, высоких и мелких надежд и желаний, с окоченелыми членами, лежали на росистой цветущей долине, отделяющей бастион от траншеи, и на ровном полу часовни Мёртвых в Севастополе; сотни людей — с проклятьями и молитвами на пересохших устах — ползали, ворочались и стонали, — одни между трупами на цветущей долине, другие на носилках, на койках и на окровавленном полу перевязочного пункта; а всё так же, как и в прежние дни, загорелась зарница над Сапун-горою, побледнели мерцающие звезды, потянул белый туман с шумящего темного моря, зажглась алая заря на востоке, разбежались багровые длинные тучки по светло-лазурному горизонту, и всё так же, как

и в прежние дни, обещая радость, любовь и счастье всему ожившему миру, выплыло могучее, прекрасное светило».

Какая невиданная и неведомая никому из окружавших его умных людей, раздирающая душу, ни с чем не сообразная кровавая драма оказывалась вплавленной в типично тургеневский пейзаж, перекликающийся с финальными строками «Бежина луга» о «прекрасном светиле».

Но ни Тургеневу, ни Дружинину, ни Фету не был понятен психологический источник того душевного бунта, того духа противоречия, который периодически шокировал их в поведении и поступках молодого Толстого. Григорович вспоминал, как по пути на обед в редакцию «Современника» он специально предупредил Толстого, что следует удерживаться от нападок на Жорж Санд, перед которой фанатически преклонялись люди 40-х годов.

Обед проходил благополучно; Толстой был довольно молчалив. Но вот речь зашла-таки о Жорж Санд. Тургенев стал расточать похвалы новому ее роману и высказывать особое восхищение ее эмансипированными женщинами. Одна из таких героинь, как известно, была предметом роковой любви писателя. Толстой не выдержал и заявил, что героинь ее романов, если бы они существовали в действительности, следовало бы, ради назидания, привязывать к позорной колеснице и возить по петербургским улицам. С Тургеневым чуть не сделалось плохо, и вечер закончился ссорой.

Дело было не только в нетерпимости Толстого ко всякого рода авторитетам, как казалось Д. В. Григоровичу, или в дерзости неперебродивших, бунтующих молодых сил, как думалось Тургеневу. Толстой пришел в этот кружок со стороны, из жизни, исполненной сверхчеловеческого напряжения, неслыханных и невиданных мук и жертв. Он видел русскую жизнь в минуту такого испытания, когда на карту была поставлена национальная самостоятельность, национальная судьба. На севастопольских бастионах ему открылись воочию подлинные и мнимые ценности жизни в самом чистом и незамутненном виде. Толстой увидел тщеславие верхов и неподдельный, негромкий героизм простого солдата, согретый стыдливой в русском человеке теплотою патриотизма. Там, под неприятельскими снарядами, становилась очевидной глубокая мудрость народной пословицы — «на всякого мудреца довольно простоты», война упрощала все отношения между

людьми, отсеивала всё усложненное и обнажала неразложимое и простое.

В интеллектуальной утонченности петербургских литераторов Толстой видел прежде всего ненужную, затемняющую нагую суть вещей риторику и фразу, их разговоры об убеждениях казались ему лишь словами. Тургеневское стремление выводить истину из сложного лабиринта сбалансированных противоречий казалось Толстому лишь «податливостью во все стороны».

— Я не могу признать, — заявлял он, — чтобы высказанное вами было вашими убеждениями. Я стою с кинжалом и саблею в дверях и говорю: «Пока я жив, никто сюда не войдет!» Вот это убеждение. А вы друг от друга стараетесь скрыть сущность ваших мыслей и называете это убеждением.

— Зачем же вы к нам ходите? — задыхаясь и голосом, переходящим в тонкий фальцет (при горячих спорах это постоянно бывало), говорил Тургенев. — Здесь не ваше знамя! Ступайте к княжне...

— Зачем мне спрашивать у вас, куда мне ходить! И праздные разговоры ни от каких моих приходов не превратятся в убеждения...

«Голубчик, голубчик, — говорил захлебываясь и со слезами смеха на глазах Григорович Фету. — Вы себе представить не можете, какие тут были сцены. Ах, боже мой! Тургенев пищит, пищит, зажмет рукою горло и с глазами умирающей газели прошепчет:

— Не могу больше! у меня бронхит! — и громадными шагами начинает ходить вдоль трех комнат.

— Бронхит, — ворчит Толстой вослед, — бронхит — воображаемая болезнь. Бронхит это металл!

Конечно, у хозяина — Некрасова — душа замирает: он боится упустить и Тургенева и Толстого, в котором чует капитальную опору «Современника», и приходится лавировать... В предупреждение катастрофы подхожу к дивану и говорю:

— Голубчик, Толстой, не волнуйтесь! Вы не знаете, как он вас ценит и любит!

— Я не позволю ему, — говорит с раздувающимися ноздрями Толстой, — ничего делать мне назло! Это вот он нарочно теперь ходит взад и вперед мимо меня и виляет своими демократическими ляжками!»

Увы! Первые стычки с Толстым оказались лишь «генеральной репетицией» той драмы, которую суждено будет пережить Тургеневу с его либеральными, всепримиряющими убеждениями в 60-е годы. В литературной и общественной жизни происходила смена поколений. Сомневающихся, анализирующих каждый свой поступок, рефлексирующих «гамлетов», «лишних людей» вытесняли цельные характеры демократов, болезненно чувствительных к либеральной фразе, предпочитающих дело умному многословию. В лице Толстого Тургенев впервые столкнулся с личностью нового, демократического склада ума и характера. Вскоре ему придется вступить в спор с куда более бескомпромиссными и радикальными оппонентами; всякая надежда на союз и взаимопонимание с ними окажется неосуществимой...

Толстой никак не может принять тургеневской широты и веротерпимости, тургеневского недоверия ко всякого рода конечным истинам, «последним словам» и «системам». Только бесхребетности, например, он может приписать следующие обращенные к нему советы Тургенева: «Глядеть налево так же приятно, как направо — ничего клином не сошлось — везде «перспективы»... — стоит только глаза раскрыть. Дай Бог, чтобы Ваш кругозор с каждым днем расширялся! Системами дорожат только те, которым вся правда в руки не дается, которые хотят её за хвост поймать; система — точно хвост правды, но правда, как ящерица: оставит хвост в руке — а сама убежит: она знает, что у ней в скором времени другой вырастет».

РОМАН «РУДИН»

1855 год внезапно обрушил на Тургенева такой противоречивый поток жизненных впечатлений, столкнул его с такими конфликтами, что волей-неволей приходилось задумываться и о себе, и о людях своего поколения. Время ставило перед ними решительные и прямые вопросы, требуя от них столь же решительного и последовательного действия. Разговоры и споры в тесном кругу единомышленников, некогда определявшие смысл существования культурной части русского дворянства, теперь никого не могли удовлетворить. Время «слова» уходило в прошлое, сменялось новой эпохой, звавшей мыслящего человека на дело, на практическое участие в политической жизни страны. В обществе назревали крутые перемены, касавшиеся в первую очередь судьбы двух сословий России — дворянства и крестьянства.

В такой исторической атмосфере, летом 1855 года, Тургенев приступил к работе над романом «Рудин», произведением во многом автобиографическим. Главный герой его — человек тургеневского поколения, сформировавшийся в конце 30-х — начале 40-х годов, один из лучших представителей культурного дворянства. Рудин получил блестящее образование сначала в кружке Покорского (прототип Н. В. Станкевич), а потом в Берлинском университете. В облике Рудина современники узнавали друга Тургенева М. А. Бакунина, хотя в процессе работы над романом Тургенев и пытался затушевать черты сходства с ним.

Тургенева волновал вопрос, что может сделать дворянский герой в условиях, когда перед обществом встали конкретные практические задачи. Сначала роман назывался «Гениальная натура». Под «гениальностью» Тургенев понимал способность к просвещению, разносторонний ум и широкую образованность, а под «натурой» — твердость воли, острое чувство насущных потребностей общественного развития, умение претворять слово в дело.

По мере работы над романом это заглавие перестало удовлетворять Тургенева. Оказалось, что применительно к Рудину определение «гениальная натура» звучит иронически: в нем есть «гениальность», но нет «натуры», есть талант пробуждать умы и сердца людей, но нет сил и способностей вести их за собой.

«Рудин» открывается контрастным изображением нищей деревни и дворянской усадьбы. Одна утопает в море цветущей ржи, другая омывается волнами русской реки. В одной — разорение и нищета, в другой — праздность и призрачность жизненных интересов. Причем невзгоды и беды «забытой деревни» прямо связаны с образом жизни хозяев дворянских гнезд. Умирающая в курной избе крестьянка просит не оставить без присмотра свою девочку-сиротку: «Наши-то господа далеко...»

Здесь же читатель встречается с Лежневым и Пандалевским. Первый — сгорбленный и запыленный, погруженный в бесконечные хозяйственные заботы, напоминает «большой мучной мешок». Второй — воплощение легкости и беспочвенности: «молодой человек небольшого роста, в легоньком сюртучке нараспашку, легоньком галстучке и легонькой серой шляпе, с тросточкой в руке». Один спешит в поле, где сеют гречиху, другой — за фортепиано, разучивать новый этюд Тальберга.

Пандалевский — человек-призрак без социальных, национальных и семейных корней. Даже речь его — парадокс. Он «отчетливо» говорит по-русски, но с иностранным акцентом, причем невозможно определить, с каким именно. У него восточные черты лица, но польская фамилия. Он считает своей родиной Одессу, но воспитывался в Белоруссии. Столь же неопределенно и социальное положение героя: при Дарье Михайловне Ласунской он не то приемыш, не то любовник, но скорее всего — нахлебник и приживала.

Черты «беспочвенности» в Пандалевском абсурдны, но по-своему символичны. Своим присутствием в романе он оттеняет призрачность существования некоторой части состоятельного дворянства. Тургенев искусно подмечает во всех героях, причастных к кружку Дарьи Михайловны, нечто «пандалевское». Хотя Россия народная — на периферии романа, все герои, все события в нем оцениваются с демократических позиций. Русская тема «Записок охотника», ушедшая в подтекст, по-прежнему определяет нравственную атмосферу романа. «Несчастье Рудина состоит в том, что он России не знает, и это точно большое несчастье. Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без неё не может обойтись», — говорит Лежнев.

Есть скрытая ирония в том, что ожидаемого в салоне Дарьи Михайловны барона Муффеля «подменяет» Дмитрий Рудин. Впечатление диссонанса рождает и внешний облик этого героя: «высокий рост», но «некоторая сутуловатость», «тонкий голос», не соответствующий его «широкой груди», — и почти символическая деталь — «жидкий блеск его глаз».

С первых страниц романа Рудин покоряет общество в салоне Ласунской блеском своего ума и красноречием. Это талантливый оратор; в своих импровизациях о смысле жизни, о высоком назначении человека он неотразим. Ловкий и остроумный спорщик, он наголову разбивает провинциального скептика Пигасова. Молодой учитель, разночинец Басистов и юная дочь Ласунской Наталья поражены музыкой рудинского слова, его мыслями о «вечном значении временной жизни человека».

Но и в красноречии героя есть некоторый изъян. Он говорит увлекательно, но «не совсем ясно», не вполне «определительно и точно». Он плохо чувствует реакцию окружающих, увлекаясь «потоком собственных ощущений» и «не глядя ни на кого в особенности». Он не замечает, например, Басистова, и огорченному юноше неспро-

ста приходит в голову мысль: «Видно он на словах только искал чистых и преданных душ».

Крайне узким оказывается и тематический круг рудинского красноречия. Герой превосходно владеет отвлеченным философским языком: его глаза горят, а речи льются рекой. Но когда Дарья Михайловна просит его рассказать что-нибудь о студенческой жизни, талантливый оратор сникает, «в его описаниях недоставало красок. Он не умел смешить». Не умел Рудин и смеяться: «Когда он смеялся, лицо его принимало странное, почти старческое выражение, глаза ежились, нос морщился». Лишенный юмора, он не чувствует комичности той роли, которую заставляет его играть Дарья Михайловна, ради барской прихоти «стравливающая» Рудина с Пигасовым. Человеческая глуховатость героя проявляется и в его нечуткости к простой русской речи: «Ухо Рудина не оскорблялось странной пестротою речи в устах Дарьи Михайловны, да и вряд ли имел он на это ухо».

Постепенно из множества противоречивых штрихов и деталей возникает целостное представление о сложном характере героя, которого Тургенев подводит, наконец, к главному испытанию — любовью.

Полные энтузиазма речи Рудина юная и неопытная Наталья принимает за его дела: «Она всё думала — не о самом Рудине, но о каком-нибудь слове, им сказанном...» В её глазах Рудин — человек подвига, герой дела, за которым она готова идти безоглядно на любые жертвы. Молодому, светлому чувству Натальи отвечает в романе природа: «По ясному небу плавно неслись, не закрывая солнца, низкие, дымчатые тучи и по временам роняли на поля обильные потоки внезапного и мгновенного ливня». Этот пейзаж — развернутая метафора известных пушкинских стихов из «Евгения Онегина», поэтизирующих молодую, жизнерадостную любовь:

Любви все возрасты покорны;
Но юным, девственным сердцам
Ее порывы благотворны,
Как бури вешние полям...

Но жизнь избранника Натальи достигла зенита и клонится к закату. Годы отвлеченной философской работы иссушили в Рудине живые источники сердца и души. Перевес головы над сердцем особенно ощутим в сцене любовного признания. Еще не отзвучали удаляющиеся шаги Натальи, а Рудин предается размышлениям: «Я

счастлив, — произнес он вполголоса. — Да, я счастлив, — повторил он, как бы желая убедить самого себя». В любви Рудину явно недостает «натуры».

Но вместе с тем роман Рудина и Натальи не ограничивается обличением социальной ущербности «лишнего человека»: есть глубокий художественный смысл в скрытой параллели, которая существует в романе между «утром» жизни Натальи и рудинским безотрадным утром у пересохшего Авдюхина пруда. «Сплошные тучи молочного цвета покрывали все небо; ветер быстро гнал их, свистя и взвизгивая». Вновь в романе реализуется «формула», данная Пушкиным поздней любви:

Но в возраст поздний и бесплодный,
На повороте наших лет,
Печален страсти мертвой след:
Так бури осени холодной
В болото обращают луг
И обнажают лес вокруг.

В литературе о романе встречается мнение, что в сцене у Авдюхина пруда проявилась трусость Рудина, что возникшее на его пути препятствие — нежелание Дарьи Михайловны выдать дочь за бедного человека — обусловило его отказ, его совет Наталье: «Надо покориться». Напротив, здесь скорее всего сказалось благородство героя, осознавшего, наконец, что Наталья приняла его не за того человека, каков он на самом деле. Рудин прекрасно чувствует свои собственные слабости, свою способность быстро увлекаться, вспыхивать и гаснуть, удовлетворяясь прекрасными мгновениями первой влюбленности — черта, характерная для всех идеалистов эпохи 30—40-х годов, и для Тургенева в том числе.

В последующих главах автор от суда над героем переходит к его оправданию. После любовной катастрофы Рудин пытается найти достойное применение для своих жизненных сил. Конечно, не довольствуясь малым, романтик-энтузиаст замахивается на заведомо неисполнимые дела: перестроить в одиночку всю систему гимназического преподавания, сделать судоходной реку, не считаясь с интересами владельцев маленьких мельниц на ней. Но трагедия Рудина-практика еще и в другом: он не способен быть Штольцем, он не умеет и не хочет приспосабливаться и изворачиваться.

У Рудина в романе есть антипод — Лежнев, пораженный той же болезнью времени, но только в ином ва-

рианте: если Рудин парит в облаках, то Лежнев стелется по земле. Тургенев сочувствует этому герою, признает законность его практических интересов, но не скрывает их ограниченности. Желаемой цельности Лежнев, как и Рудин, лишен. Кстати, и сам герой отдает в конце романа дань уважения и любви к Дмитрию Рудину. «В нем есть энтузиазм, а это... самое драгоценное качество в наше время». Так слабость оборачивается силой, а сила слабостью.

К концу романа социальная тема переводится в иной, национально-философский план. Сбываются пророческие слова Рудина, которые вначале могли показаться фразой: «Мне остается теперь тащиться по знойной и пыльной дороге, со станции до станции, в тряской телеге». Спустя несколько лет мы встречаем Рудина в тряской телеге, странствующим неизвестно откуда и неведомо куда. Тургенев умышленно не конкретизирует здесь место действия, придавая повествованию обобщенно-поэтический смысл: «...в одной из отдаленных губерний России» «тащилась, в самый зной, по большой дороге, плохонькая рогожная кибитка, запряженная тройкой обывательских лошадей. На облучке торчал... седой мужичок в дырявом армяке...» Вновь реализуется в романе пушкинская метафора, возникает перекличка с «Телегой жизни»:

Ямщик лихой, седое время,
Везет, не слезет с облучка.

А «высокий рост», «запыленный плащ» и «серебряные нити» в волосах Рудина заставляют вспомнить о вечном страннике-правдоискателе, бессмертном Дон Кихоте. Мотивы «дороги», «странствия», «скитальчества» приобретают в конце романа национальный колорит. Правдоискательство Рудина сродни той душевной неуспокоенности, которая заставляет русских касьянов бродить по Руси, забывая о доме, об уютном гнезде: «Да и что! много, что ли, дома-то высидишь? А вот как пойдешь, как пойдешь и полегчит, право».

В эпилоге романа изменяется не только внешний вид, но и речь Рудина. В стиле рудинской фразы появляются народные интонации, утонченный диалектик говорит теперь языком Кольцова: «До чего ты, моя молодость, довела меня, домыкала, что уж шагу ступить некуда». Несчастной судьбе героя вторит скорбный русский пейзаж: «А на дворе поднялся ветер и завыл зловещим завыванием, тяжело и злобно ударяясь в звенящие стекла. Наступила долгая осенняя ночь. Хорошо тому, кто в такие ночи сидит под кровом дома, у кого есть теплый уголок... И да поможет господь всем бесприютным скитальцам!»

В Рудине отражается драматическая судьба тургеневского поколения русских скитальцев в поисках истины. Финал романа героичен и трагичен одновременно. Рудин гибнет на парижских баррикадах в революцию 1848 года. Верный себе, он появляется здесь тогда, когда восстание национальных мастерских уже подавлено. Русский Дон Кихот поднимается на баррикаду с красным знаменем в одной руке и с кривой и тупой саблей в другой. Сраженный пулей, он падает замертво, и отступающие инсургенты принимают его за поляка.

И все же жизнь Рудина не бесплодна. Восторженные речи его жадно ловит юноша-разночинец Басистов, в котором угадывается молодое поколение «новых людей», Чернышевских и Добролюбовых. Проповедь Рудина принесет свои плоды в новом поколении «сознательно-героических натур», знающих русскую жизнь, вышедших из её глубин. «Сеет он все-таки доброе семя!» Да и гибелью своей, несмотря на её трагическую бесплодность, Рудин отстаивает высокую ценность вечного поиска истины, неистребимость героических порывов. Рудин не может быть героем нового времени, но он сделал всё возможное в его положении, чтобы такие герои появились. Таков окончательный итог социально-исторической оценки сильных и слабых сторон «лишнего человека».

Вместе с тем в «Рудине» отчетливо звучит мысль о трагичности человеческого существования, о мимолетности молодых лет, о роковой несовместимости людей разных поколений, разных психологических возрастов. Тургенев и в этом романе смотрит на человеческую жизнь не только с исторической, а и с философской точки зрения. Жизнь человека, считает он, определяется не только общественными отношениями данного исторического момента, не только всей совокупностью национального опыта. Она находится еще и во власти неумолимых законов природы, повинуясь которым дитя становится отроком, отрок — юношей, юноша — зрелым мужем и, наконец, стариком. Слепые законы природы отпускают человеку время жить, и время это до боли мгновенно по сравнению даже с жизнью дерева, не говоря о вечности. Кратковременность человеческой жизни — источник не только лич-

ных, но и исторических драм. Поколения людей, вынашивающих малые или грандиозные исторические замыслы, равно сходят в могилу, не сделав и сотой доли задуманного ими. В процессе работы над «Рудиным» Тургенев особенно остро ощутил стремительность бега исторического времени, сделавшего крутой поворот. Столько было изжито и пройдено, что уже начинала одолевать душевная усталость, давил плечи груз прожитых лет, таяли надежды на семейное счастье, на обретение душевного пристанища, своего «гнезда».

«Рудин» при всей благосклонности критических оценок вызвал у современников упреки в неслаженности «главной своей постройки». А. В. Дружинин считал, что истинное художественное произведение должно строиться на кульминационном событии, к которому стягиваются нити повествования. В романе Тургенева это кульминационное событие — любовный сюжет — не объясняет вполне загадку личности героя. «Сам автор видит это и, подобно мифологическому Сизифу, снова принимается за труд, только что конченный, стараясь с помощью заметок Лежнева и его последнего, превосходного разговора с Рудиным дополнить то, что необходимо». Критик предъявлял к роману требования классической эстетики, от которых Тургенев решительно уходил. На привычный сюжет с любовной историей в кульминации автор романа наслаивал несколько «внесюжетных» новелл — рассказ о кружке Покорского, вторая развязка романа — встреча Лежнева с Рудиным в провинциальной гостинице, второй эпилог — гибель Рудина на баррикадах. Связи между этими новеллами возникали не столько на событийной, сколько на ассоциативной основе. К цельному представлению о Рудине читатель приближался в процессе взаимоотражения противоречивых его характеристик, придающих изображению объемность и полноту, но все-таки не исчерпывающих до конца всей глубины рудинского типа. Эта стереоскопичность изображения усиливалась тем, что Тургенев окружил Рудина «двойниками» — Лежнев, Пандалевский, Муффель и другие, — в которых, как в системе зеркал, умножались сильные и слабые стороны героя. В построении романа действовал эстетический закон «Записок охотника», где целостный образ живой России формировался в художественных перекличках между эскизами разных народных характеров.

МАЛЕНЬКИЙ ФЛИГЕЛЬ НА БЕРЕГУ СНЕЖЕДИ

31 мая 1856 года Толстой навестил Тургенева в Спасском и записал в памятной книжке: «Дом его показал мне его корни и много объяснил, поэтому примирил с ним». А потом они часто встречались в Покровском, в семье Марии Николаевны. Столкновения прекратились: вместе охотились, развлекались, играли в шахматы...

Но холодок отчужденности все-таки сохранялся; между Толстым и Тургеневым возник тот «овраг», который позволял им любить друг друга только на расстоянии. Толстой в Покровском часто сдерживал свое раздражение, выплескивая его на страницы дневника: «Тургенев решительно несообразный, холодный и тяжелый человек, и мне его жалко. Я с ним никогда не сойдусь». «У него вся жизнь притворство простоты. И он решительно мне неприятен».

В тургеневском нежелании связывать себя с чем-то прочным и определенным в общественной жизни и в личном быту Толстой видел отсутствие страсти и живого порыва, последовательного увлечения, стремление превратить всю жизнь в скептическую игру. «Тургенев глупо устроил себе жизнь. Нельзя устроить жизнь необыкновенно». «Тургенев ни во что не верит — вот его беда, не любит, а любит любить».

Он действительно «любил любить» вследствие особой организации своей утонченной, нервной натуры, останавливающей мгновения и перегоравшей в томлении первых проблесков любовного чувства — одухотворенного, бесплотного и чистого в своей основе, но не созданного для земной любви с её семейной укорененностью и прочным чувством пристанища, домашнего «гнезда». Это качество своей натуры Тургенев переживал как личную драму, мучился и терзался своей неприкаянностью. «Осужден я на цыганскую жизнь — и не свить мне, видно, гнезда нигде и никогда!» «Я уже слишком стар, чтобы не иметь гнезда, чтобы не сидеть дома. Весною я непременно вернусь в Россию, хотя вместе с отъездом отсюда — я должен буду проститься с последней мечтой о так называемом счастье». «Боже мой, как мне хочется поскорее в Россию! Довольно, довольно, полно!» И приезжал в Россию, и снова уезжал из нее, так и не примирив в своей душе рвущих её на части противоположностей...

Суров был суд Толстого над Тургеневым, хотя и не-

справедливым его назвать нельзя. Некрасов писал Толстому: «Фраза могла и, верно, присутствовала в нас безотчетно, а Вы поняли её как основание, как главное в нас... свобода исчезла, — безотчетная или сознательная оглядка сделалась неизбежна... Отношения не могли стать на ту степень простоты, с какой начались, а следовательно, не могли двигаться вперед по пути сближения». Некрасов тонко чувствует, что тургеневское начало в той или иной степени жило в каждом человеке сороковых годов, но в Тургеневе оно выразилось именно в полную меру: «Эта душа, вся раскрывающаяся, — продолжает Некрасов, — при Вас сжалась, и как-то упорно не размыкается. Грустно вас видеть вместе. Вы должны бы быть друзьями, а вы что?»

В мае 1856 года, перед отъездом в Спасское, Тургенев познакомился с Елизаветой Егоровной Ламберт, натурой глубоко верующей и аскетичной. Знакомство это было связано с хлопотами по поводу заграничного паспорта: кончилась Крымская война, и у Тургенева появилась возможность съездить за границу на свидание с дочерью и семейством Виардо. В лице этой женщины, принадлежавшей к высшему светскому кругу, Тургенев неожиданно для себя нашел доброго и умного друга, способного сочувственно откликаться на трудности и беды ближнего. «Мне кажется, — писала Ламберт Тургеневу, — что нам не очень нужно видеться, — писать лучше; по-моему, при свидании много бывает лишнего и пустого — с иными людьми хотелось бы иметь душевную связь».

В Спасском Тургенева томили тревожные чувства, которыми он изредка делился с Елизаветой Егоровной: «Ах, графиня, какая глупая вещь — потребность счастья — когда уже веры в счастье нет! Однако я надеюсь, все это угомонится — и я снова, хотя и не вполне, приобрету то особенного рода спокойствие, исполненное внутреннего внимания и тихого движения, которое необходимо писателю — вообще художнику».

И погода в этом году в деревне как-то не заладилась: ветер выл, как осенью, мокрые серые тучи носились по небу и лил тонкий, неприятный дождь. Охоту пришлось отложить до времени. Тургенев много читал. В Москве он встретился с С. Т. Аксаковым и получил в подарок «Семейную хронику», которую признал «вещью совершенно эпической», и с наслаждением, неторопливо прочитывал страницу за страницей. А потом, по обыкновению, он долго «лечил себя» Пушкиным.

К июлю погода, наконец, установилась, и снова поманило к себе Покровское. Мария Николаевна Толстая вспоминала, что Тургенев часто приезжал с томиком Пушкина в руках. Тут был и свой расчет. Мария Николаевна не любила и не понимала стихов, что приводило Тургенева в полное замешательство: он волновался и спорил с нею, «иногда даже до сердцов».

«Из-за прекрасного его чтения, под его влиянием развившись вкусом и умом, я во многом изменила свои взгляды, многое перечитала, даже пристрастилась» к поэзии. Только Фета «продолжала не ценить и не понимала его прелести, — вспоминала М. Н. Толстая. — Раз наш долгий спор так настойчиво разгорячился, что перешел даже как-то в упреки, в личности. Тургенев сердился, декламировал, доказывал, повторяя отдельные стихи, кричал, умолял. Я возражала, ни в чем не сдаваясь и подсмеиваясь. Вдруг я вижу, что Тургенев вскакивает, берет шляпу и, не прощаясь, уходит прямо с балкона не в дом, а в сад. Я очень испугалась, потому что к балкону не была приделана лестница, ступенек 6—8. Но огромный рост помог ему соскочить благополучно.

Приказав запрягать коляску и догонять себя, он сердитой походкой зашагал по полю.

Мы с недоумением прождали его несколько дней. Тургенев не приезжал.

Как часто бывает при размолвках, люди понемногу свыкаются с неожиданной обидой, подыскивают ей основание, и случайное недружелюбие переходит во взаимность, закрепляется. Так и мы через две-три недели перестали его ждать и уже избегали даже разговаривать о ссоре: она стала неприятностью, сердившей нас.

Вдруг неожиданно приезжает Тургенев, очень взволнованный, оживленный, но без тени недовольства.

— Да почему вы так долго не показывались?

— А видите ли, — это была хитрость. Никогда так не пишется, как «в сердцах», никогда так прилежно не работаешь, как озлобившись. Я почувствовал тогда это настроение и поскорее ушел, чтобы не сгладить его, не упустить. Мне давно надо было написать одну вещицу. Вот я и написал. Если хотите, я вам вечерком прочитаю.

В тот же вечер он прочел нам эту повесть. Она называлась «Фауст».

— «Фауст», — говорил Тургенев, — был написан на переломе, на повороте жизни — вся душа вспыхнула последним огнем воспоминаний, надежд, молодости».

Именно летом 1856 года Тургенев впервые почувствовал в себе признаки рано надвигающейся старости. «А знаешь ли, почему я стал замечать, что старею? Вот почему. Я теперь стараюсь преувеличивать перед самим собою свои веселые ощущения и укрощать грустные, а в дни молодости я поступал совершенно наоборот. Бывало, носишься с своей грустью, как с кладом, и совестишься веселого порыва», — говорит герой повести «Фауст», автобиографической от первого до последнего слова.

«Я вдруг увидел, как я постарел и переменился в последнее время. Домишко мой, уже давно ветхий, теперь чуть держится, весь покривился, врос в землю... Зато сад удивительно похорошел: скромные кустики сирени, акации, жимолости... разрослись в великолепные сплошные кусты; березы, клены — все это вытянулось и раскинулось; липовые аллеи особенно хороши стали. Люблю я эти аллеи, люблю серо-зеленый нежный цвет и тонкий запах воздуха под их сводами; люблю пестреющую сетку светлых кружков по темной земле... Мой любимый дубок стал уже молодым дубом. Вчера, среди дня, я более часа сидел в его тени на скамейке. Мне очень хорошо было. Кругом трава так весело цвела; на всем лежал золотой свет, сильный и мягкий; даже в тень проникал он...

Вчера я раскрыл все шкафы и долго рылся в заплесневших книгах. Я нашел много любопытных, прежде мною не замеченных вещей... Попались мне детские книжки, и мои собственные, и моего отца, и моей бабки, и даже, представь себе, моей прабабки... Я увидал книги, привезенные мною когда-то из-за границы, между прочим гётевского «Фауста»... Было время, я знал «Фауста» наизусть (первую часть, разумеется) от слова до слова; я не мог начитаться им... Но другие дни — другие сны, и в течение последних девяти лет мне едва ли пришлось взять Гёте в руки. С каким неизъяснимым чувством увидал я маленькую, слишком мне знакомую книжку (дурного издания 1828 года). Я унес ее с собою, лег в постель и начал читать. Как подействовала на меня вся великолепная первая сцена! Появление Духа Земли, его слова: «На жизненных волнах, в вихре творения» возбудили во мне давно неизведанный трепет и холод восторга. Я вспомнил все: и Берлин, и студенческое время, и фрейлейн Клару Штих, и Зейдельманна в роли Мефистофеля, и музыку Радзивилла и все и вся... Долго не мог я заснуть: моя молодость пришла и стала передо мною, как призрак; огнем, отравой побежала она по жилам, сердце расширилось и не хотело сжаться, что-то рвануло по его струнам, и закипели желания...»

В этот переходный момент жизни и встала на пути героя повести «Фауст» Вера Николаевна Ельцова, как на пути И. С. Тургенева — Мария Николаевна Толстая.

«О, мой друг, я не могу скрываться более... Как мне тяжело! Как я ее люблю! Ты можешь себе представить, с каким горьким содроганьем пишу я это роковое слово. Я не мальчик, даже не юноша; я уже не в той поре, когда обмануть другого почти невозможно, а самого себя обмануть ничего не стоит. Я все знаю и вижу ясно. Я знаю, что мне под сорок лет, что она жена другого... Я очень хорошо знаю, что от несчастного чувства, которое мною овладело, мне, кроме тайных терзаний и окончательной растраты жизненных сил, ожидать нечего, — я все это знаю, я ни на что не надеюсь и ничего не хочу; но от этого мне не легче...»

И в кульминации любовного романа: «Я не смел заговорить, я едва дышал, я ждал её первого слова, ждал объяснений; но она молчала. Молча дошли мы до китайского домика, молча вошли в него, и тут — я до сих пор не знаю, не могу понять, как это сделалось — мы внезапно очутились в объятиях друг друга. Какая-то невидимая сила бросила меня к ней, её — ко мне. При потухающем свете дня её лицо, с закинутыми назад кудрями, мгновенно озарилось улыбкой самозабвения и неги, и наши губы слились в поцелуй...

Этот поцелуй был первым и последним».

А как было в жизни? Мария Николаевна однажды рассказала Е. И. Сытиной:

— Знаешь, Катя, я сегодня бросила мой платок вот так, а сама, облокотясь, сидела и видела, как он мой платок взял и поднес к губам».

И всё...

10 июня Тургенев получил известие о разрешении заграничной поездки. «Позволение ехать за границу меня радует, — писал он, — и в то же время я не могу не сознаться, что лучше было бы для меня не ехать. В мои годы уехать за границу — значит: определить себя окончательно на цыганскую жизнь и бросить все помышления о семейной жизни. Что делать! Видно такова моя судьба. Впрочем, и то сказать: люди без твердости в характере любят сочинять себе «судьбу»; это избавляет их от необ-

ходимости иметь собственную волю — и от ответственности перед самими собою <...>

Я не рассчитываю более на счастье для себя, то есть на счастье, в том опять-таки *тревожном* смысле, в котором оно принимается молодыми сердцами; нечего думать о цветах, когда пора цветения прошла <...> Должно учиться у природы её правильному и спокойному ходу, её смирению... Впрочем, на словах-то мы все мудрецы: а первая попавшаяся глупость пробежит мимо — так и бросишься за нею в погоню <...>

У нас нет идеала — вот отчего всё это происходит: а идеал даётся только сильным гражданским бытом, искусством (или наукой) и религией. Но не всякий родится афинянином или англичанином, художником или ученым — и религия не всякому дается — тотчас. Будем ждать и верить — и знать, что — пока — мы дурачимся. Это сознание все-таки может быть полезным...»

В первых числах августа 1856 года Тургенев был уже в Париже, а 11 сентября он писал М. Н. Толстой: «По временам, среди французской природы и французского общества, которое меня окружает, приходит мне на память Ваш маленький флигель на берегу Снежеди»...

...Прошли годы. И монахиня Мария Николаевна Толстая, указав однажды на фотографию Тургенева, которого уже не было на свете, сказала: «Если бы он не был в жизни однолюбом и так горячо не любил Полину Виардо, мы могли бы быть счастливы с ним, и я не была бы монахиней, но мы расстались с ним по воле Бога: он был чудесный человек, и я постоянно о нем вспоминаю».

Уже в 1856 году Мария Николаевна оставила нелюбимого и неверного мужа. Тургенев знал об этом, несколько раз еще встречался с ней... но ничего между ними больше не происходило, да и произойти не могло...

ЗАГРАНИЧНЫЕ СКИТАНИЯ. ВЕСТИ ИЗ РОССИИ

В Париже Тургенев сразу же направился в пансион госпожи Аран, где училась его дочь Полина. Прошло около шести лет с тех пор, как восьмилетней девочкой он посадил ее на пароход и отправил на чужбину. Из переписки с Виардо он знал, что девочка выросла способной и делала успехи в музыке. «Ты не представляешь, как я буду рад услышать сонату Бетховена в

твоём исполнении», — писал Тургенев Полине в Париж. Писал он ей часто и, как подобает отцу, испещрял свои письма советами и наставлениями. Но эти письма не могли заменить дочери живого общения, не могли восполнить отсутствие матери и отца.

— Полина, — спрашивал Тургенев, — неужели ты ни слова русского не помнишь? Ну, как по-русски вода?

— Не помню.

— А хлеб?

— Не знаю...

Это было горько и противоестественно, тем более что, теша избалованную французскую публику, другая Полина — Виардо-Гарсиа — пела на сцене по-русски алябьевского «Соловья». Фет вспоминал: «Окружающие нас французы громко аплодировали, что же касается до меня, то это неожиданное мастерское, русское пение возбудило во мне такой восторг, что я вынужден был сдерживаться от какой-либо безумной выходки».

Осень Тургенев вместе с дочерью провел в Куртавнеле, за исключением недельной отлучки в Лондон для свидания с Герценом.

Шесть лет прошло с тех пор, как они расстались в тревожные послереволюционные дни 1850 года. Вспоминали революционный Париж, сожалели о том, как он изменился теперь. Тургенев рассказал Герцену, что в 1851 году парижский муниципалитет, имея в виду антибонапартистские, республиканские взгляды Луи Виардо, распорядился воздвигнуть на улице Дуэ колоссальную статую Наполеона в виде Прометея работы скульптора М. Мёнье. Этот псевдоантичный герой с мускулистым торсом и увенчанной лавровым венком огромной головой незрячими глазами уставился прямо в окна их дома. Тургенев испытывал какой-то мистический ужас и отвращение при виде этих пустых глаз. И только крылья ветряных мельниц на холме, приходившиеся при взгляде снизу как раз над головой истукана, как-то смягчали общее безрадостное впечатление.

Герцен говорил о духе мещанства и буржуазности, охватившем Францию, да и всю Европу. Великие идеалы «свободы, равенства и братства» преданы поруганию. «Вы любите европейские идеи, и я люблю их. Это идеи всей истории. Россия с ними и только с ними может быть введена во владение той большой доли наследства, которая ей достаётся. Но жизнь *современной* Европы несообразна этим идеям. И наивно думать, что идеи Европы,

не находящие осуществления дома, уже нигде не осуществятся. Нет! Пример Америки, усвоившей англо-саксонский идеал, наглядно это опровергает. А как перешло наследство Египта и Индии — Греции и Риму? Я прожил здесь шесть лет не зря, они меня убедили, что творческая способность западных народов истощилась... Вне Европы, *которая остановилась и гниет*, есть лишь два деятельных края: Америка и Россия — и может быть Австралия. Остальное всё спит или бьется в судорогах».

Тургеневу показалось, что его друг слишком сгущает краски: в его отрицательном воззрении на Западную Европу много односторонности, такой взгляд потрясает верования, еще необходимые для России; западное просвещение, наука, свободные общественные учреждения, демократия, — всё это для России не реальность, а идеалы будущего. А во взгляде на крестьянский быт Герцен сделал еще более решительные шаги в сторону славянофилов.

«У славян, — говорил он, — есть верное сознание *живой души в народе, есть чаяние будущего века»*. Правда, их учение о крестьянской общине слишком консервативно. «Попадись этим господам в руки власть, они заткнут за пояс третье отделение». Но зерно их учения — верно и даст свои всходы в будущем. В основе нашей народной жизни лежит сельский «мир» — с разделением полей, с коммунистическим владением землею, с выборным управлением... Все это находится в состоянии подавленном, искаженном, но все это живо и пережило худшую эпоху. Александр II уничтожил аракчеевские поселения, эпоха военного деспотизма проходит. Сердиться на прошедшее — дело праздное; живой взгляд нужен вперед. Военные поселения проходят, но села *остаются: «общинное владение землею, мир и выборы* составляют почву, на которой может возрасти новая общественная жизнь, которой, как нашего чернозема, нет в Европе».

Тургенев и Герцен остались каждый при своем мнении, и разговор перешел к политике Александра II. Начало его царствования внушало смутные и противоречивые чувства. В августе 1855 года вновь назначенный министр внутренних дел, граф С. С. Ланской, издал странный циркуляр. Бывший масон и член «Союза Благоденствия» писал в нем, что государь повелел ему «ненарушимо охранять права, венценосными его предками дарованные дворянству». Крепостники возликовали — либералы повесили головы. Однако в манифесте 19 марта 1856 года, изданном по случаю заключения невыгодного и унизительного для России Парижского мира, появились слова, дающие либералам некоторую надежду. Все обратили внимание на следующую фразу: «каждый под сенью законов, для всех равно справедливых, всем *равно покровительствующих*, да *наслаждается в мире* плодом трудов своих». И когда Александр II приехал в Москву в августе 1856 года, граф Закревский, трепещущий крепостник, попросил государя выступить перед московскими дворянами и успокоить их относительно вызванных манифестом «опасных слухов». Александр согласился и произнес импровизированную речь:

«Слухи носятся, — сказал государь, — что я хочу объявить освобождение крепостного состояния. Это несправедливо, а от этого было несколько случаев неповиновения помещикам. Вы можете сказать это все направо и налево. Я не скажу вам, чтобы я был совершенно против этого; мы живем в таком веке, что со временем это *должно случиться*. Я думаю, что и вы одного мнения со мною; следовательно, гораздо лучше, чтобы это произошло *свыше, нежели снизу»*.

Такая речь оказалась неожиданной и для Ланского, но на недоуменный вопрос его Александр II ответил: «Да, говорил точно то и не сожалею о том!» В день коронации 26 августа 1856 года новый манифест был отмечен целым рядом либеральных послаблений: на три года прекращены рекрутские наборы, отменены все казенные недоимки, амнистированы политические преступники — ссыльные декабристы получили, наконец, возможность вернуться в Европейскую Россию. Ходили слухи о том, что намечается учреждение секретного комитета по проведению крестьянской реформы.

В этих условиях было не до споров, не до разногласий. Герцен тепло отозвался о тургеневском романе «Рудин». Пора избавиться от несчастной русской страсти к словам, на которых любят с самодовольством останавливаться: как будто достаточно решиться что-нибудь сделать, чтоб дело и было сделано. Пришло время действовать, поддерживая каждый шаг правительства вперед.

Итоги дружеской встречи Герцен подвел в очередном выпуске «Полярной звезды» в статье «Ещё вариации на старую тему», обращенной к «любезному другу»: «Не станем спорить о путях, цель у нас одна, будемте же

делать все усилия, чтобы уничтожить все заборы, мешающие у нас свободному развитию народных сил... На работу, на труд, — на труд в пользу русского народа, который довольно, в свою очередь, поработал на нас!»

Именно этот призыв к единству, к сплочению всех антикрепостнических сил казался Тургеневу наиболее отвечающим сути и задачам того исторического момента, который переживала Россия. В Лондоне, куда приехал только что и друг Герцена Н. П. Огарев, обсуждался вопрос об издании революционной газеты «Колокол». Тургенев согласился быть постоянным и тайным её корреспондентом. Перед «Колоколом», первый номер которого вышел в 1857 году, ставилась задача обличения высшей правительственной бюрократии, неосуществимая в России под контролем цензуры. Тургенев, знакомый со многими высшими сановниками, имевший доступ в придворные и дипломатические круги, был для Герцена и Огарева незаменимым помощником.

Осенний Куртавнель живо напомнил Тургеневу уединенные дни, проведенные здесь в творческой работе над «Записками охотника». С тревогой замечал он, как за семь лет изменилась Полина, как постарел его друг Луи. Да и Тургенева парижские друзья встретили невольными возгласами удивления: побелела голова, холодные серебряные нити матовым блеском светились в его бороде.

«Мне здесь очень хорошо, — писал Тургенев Толстому, — я с людьми, которых люблю душевно и которые меня любят». Разыгрывались домашние спектакли, отцовское сердце радовалось успехам дочери, принимавшей в них самое живое участие. По вечерам за круглым столом играли в «портреты»: Тургенев или Полина Виардо рисовали профили разных людей, а потом все участники игры пытались давать им развернутые характеристики, физиогномические описания. Игра была настолько увлекательной и так обостряла профессиональное искусство Тургенева-писателя, что многие характеристики он сберегал, используя потом в своих романах. С наслаждением и самозабвением погружался Тургенев в стихию музыки. Словом, ему было хорошо, как форели «в светлом пруде, когда солнце ударяет по нём и проникает в воду».

Фет посетил Тургенева в Куртавнеле именно в этот наиболее счастливый момент его жизни. Приятеля не было дома: он охотился с Луи Виардо в окрестностях

Куртавнеля. Полина пригласила Фета в ожидании охотников прогуляться вокруг старого замка.

«День был прекрасный. Острые вершины тополей дремали в пригревающих лучах сентябрьского солнца, падалица пестрела вокруг толстых стволов яблонь, образующих старую аллею проселка, которою замок соединен с шоссе. Из-под скошенного жнивья начинал, зеленея, выступать пушистый клевер; невдалеке, в лощине около канавы, усаженной вербами, паслись мериносы; на пригорке два плуга, запряженные парами дюжих и сытых лошадей, медленно двигались друг за другом, оставляя за собою свежие, темно-бурые полосы. Когда мы обошли по полям и небольшим лескам вокруг замка, солнце уже опустилось к вершинам леса, разордевшись ярким осенним румянцем...

Версты за полторы раздались выстрелы.

— А! Это наши охотники возвращаются. Пойдемте домой через сад...

Мы подошли к лощине, около которой паслось стадо мериносов.

— Babette! Babette! — закричала одна из девочек, шедшая с англичанкой.

На голос малютки из стада выбежала белая коза и доверчиво подошла к своей пятилетней госпоже. Около оранжерей вся дамская компания рассеялась вдоль шпалер искать спелых персиков к обеду. Опять раздались выстрелы, но на этот раз ближе к дому...»

Желая сколько-нибудь оправдать в глазах хозяев свой приезд, Фет громко спросил при встрече:

— Тургенев! неужели вы ни словом не предупредили хозяйку о моем приезде?

На что мадам Виардо шутя воскликнула:

— О, он дикарь!

Вечером за столом велась неторопливая беседа, политическая и литературная. Луи Виардо говорил о последних стихотворениях Гюго и, восхищаясь их поэтической силой, читал на память. Тургенев тайком подмигивал Фету из своего угла: Гюго он не жаловал, но в споры с Виардо по этому поводу, очевидно, не вступал.

Потом из-за стола все отправились в гостиную, хозяйка села за рояль, и долго чудные звуки Моцарта и Бетховена раздавались в умолкшей, потемневшей комнате. Запомнились Фету серебряные голоски девушек, читавших вслух роли из Мольера, приготовляемого к домашнему спектаклю. Тургенев довольно улыбался, вслушиваясь в

звонкий голос четырнадцатилетней девочки, весьма мило читавшей стихи и очень похожей на Ивана Сергеевича.

Фету не могло не броситься в глаза, что во взаимоотношениях совершенно седого Виардо и сильно поседевшего Тургенева, несмотря на их дружбу, ясно выражалась приветливость полноправного хозяина, с одной стороны, и благовоспитанная предупредительность гостя, с другой.

Оставшись с другом наедине, Тургенев начал разговор о дочери. Очевидно, её судьба очень тревожила его.

— Заметили ли вы, — спросил он, — что дочь моя, русская девочка, до того превратилась во француженку, что не помнит даже слова «хлеб», хотя вывезена во Францию уже семи лет? Я понимаю, что это противоестественно, но что делать... В её двусмысленном положении внебрачной дочери в Россию лучше не возвращаться.

Но еще хуже другое. Начальница пансиона, госпожа Аран, жаловалась мне: «И наказать её нельзя, и на ласку не поддается». Упрямится, дичится; из всех своих сверстниц сошлась только с одной — некрасивой, загнанной и бедной девочкой. Остальные барышни, большей частью из хороших фамилий, не любят её, язвят и колют как только могут. Да и в семье мадам Виардо она смотрит дичком и, что для меня особенно невыносимо, кажется, не любит свою благодетельницу. Иногда я просто не знаю, что мне делать с Полиной, как быть? На днях вдруг она начала уверять меня, что я стал к ней холоднее прежнего, что она одного меня любит. И при этом расплакалась... А когда взяла себя в руки, заявила, что она очень дурная: плохо играет на фортепиано, не умеет рисовать, — что у неё вообще нет никаких способностей: такая у нее «деревянная голова».

То вдруг начала приставать с вопросами: «Скажите, что я должна читать? Скажите, что я должна делать?» Поинтересовался, в чем причина, а она мне ответила: «Я все буду делать, что вы мне скажете, только не заставляйте меня одного: целовать руки мадам Виардо». Кажется, что она с ревностью смотрит на мои отношения с Виардо, и всякие знаки внимания и любви вызывают в ее душе неприятные чувства. Она в эту минуту становится дерзкой, ведет себя вызывающе, грубо отвечает на вопросы Виардо, не подчиняется ее требованиям. Я ожидал встретить свою дочь счастливой в милой для меня семье. А что получается на деле? Что я увидел? Дочерям госпожи Виардо Полина кажется чудачкой, они называют ее «мальчиком в юбке», «сумасшедшей», «злой»... А Полина, в свою очередь, призналась мне, что не любит этих «дурочек и кукол»!

— Иван Сергеевич, — возразил Фет, — поймите одно: эти девочки не умеют да и вообще не смогут пощадить уязвленную гордость вашей дочери. Напротив, в любой подходящий момент они будут давать ей почувствовать всю разницу между ней и ими. Иначе и быть не может — в любой семье. У вас один выход — изолировать девочку, взять ее из чужого семейства, найти ей преданного друга, хорошую наставницу-гувернантку, а Вам — проявить максимум внимания к несчастному существу, насильственно вырванному из родной почвы. И, наконец, Вы должны, просто обязаны вернуть дочери свою фамилию, послушайте человека, который до сих пор под всеми деловыми бумагами ставит подпись: «К сему иностранец Фет руку приложил»!

Тургенев прислушался к советам друга, и в 1857 году написал дочери следующее письмо:

«Моё дорогое дитя,
прошу тебя впредь подписываться «П. Тургенева» и передать госпоже Аран, чтобы это имя писалось всюду, где речь идет о тебе».

А. А. Фет за границей чувствовал себя плохо, тосковал о России. В Куртавнеле с Тургеневым он отводил душу: читали стихи Кольцова, обсуждали литературные новости. Но когда речь зашла об ожидающих страну переменах, мнения их резко разошлись. Тургенева рассердил консерватизм Фета: начался спор на таких повышенных тонах, что перепугались французы-хозяева. «Впоследствии мы узнали, — рассказывал Фет, — что дамы в Куртавнеле, поневоле слыша наш оглушительный гам на непонятном и гортанном языке, наперерыв восклицали: «Боже мой! они убьют друг друга!» И когда Тургенев, воздевши руки и внезапно воскликнув: «Батюшка! Христа-ради, не говорите этого!» — повалился мне в ноги и вдруг наступило взаимное молчание, дамы воскликнули: «Вот, они убили друг друга!»

Ироничный и проницательный Фет по отдельным штрихам подметил, что Тургенев не очень уютно чувствовал себя в кругу этой полуфранцузской, полуиспанской семьи. Так оно на сей раз и было: отношения с Полиной Виардо складывались драматично. Годы разлуки сделали свое дело: они отдалили Полину от русского друга, «несносного дикаря и чудака», благоговейного обожателя её таланта, её певческой славы. Двусмысленное положение

Тургенева в ее доме вызывало ненужные толки в парижских салонах. Но главная причина охлаждения Полины была, конечно, в другом: она увлеклась тогда немецким дирижером Юлиусом Рицем...

Идиллическая осень завершилась ударом в самое сердце. Отголоски его слышатся в «Дворянском гнезде», в описании душевного состояния Лаврецкого после разрыва с неверной женой Варварой Павловной:

«Лаврецкий взял карету и велел везти себя за город. Весь остаток дня и всю ночь до утра пробродил он, беспрестанно останавливаясь и всплескивая руками: он то безумствовал, то ему становилось как будто смешно, даже как будто весело. Утром он прозяб и зашел в дрянной загородный трактир, спросил комнату и сел на стул перед окном. Судорожная зевота напала на него. Он едва держался на ногах, тело его изнемогало, а он и не чувствовал усталости, — зато усталость брала свое: он сидел, глядел и ничего не понимал; не понимал, что с ним такое случилось, от чего он очутился один, с одеревенелыми членами, с горечью во рту, с камнем на груди, в пустой незнакомой комнате...»

Драматические ноты глубокого разочарования в жизни зазвучали в письмах к друзьям: «О себе говорить не стану: обанкрутился человек — и полно; толковать нечего. Я постоянно чувствую себя сором, который забыли вымести». «Да, любезнейший Павел Васильевич, — тяжелую я провел зиму, такую тяжелую, что, кажется, в мои лета уж и не след бы...» «Темный покров упал на меня и обвил меня; не стряхнуть мне его с плеч долой».

Проведя зиму в одинокой, холодной парижской квартире, потрясенный, выбитый из колеи Тургенев нажил мучительную болезнь, еще более усугубившую переживаемую им духовную драму. О возвращении в Россию нельзя было и мечтать: он нуждался в срочном лечении. Летом Тургенев отправился в курортный немецкий городок Зинциг, уничтожив все записи, все планы задуманных произведений. К физическим недугам прибавилось изнуряющее чувство пустоты, творческого кризиса, полной человеческой беспомощности. Он искал уединения...

Городок ему понравился своим местоположением у подошвы двух высоких холмов, своими дряхлыми стенами и башнями, вековыми липами, крутым мостом над светлой речкой, впадавшей в Рейн. Он любил бродить по городу теплыми июльскими вечерами, смотреть на величавую реку и размышлять о своих отношениях с Виардо,

с дочерью, просиживая долгие часы на каменной скамье под одиноким ясенем.

Однажды после вечерней прогулки он шел домой, уже *ни о чем не* размышляя, но со странной тяжестью на сердце, «как вдруг его поразил сильный, знакомый, но в Германии редкий запах». Тургенев остановился и увидал возле дороги небольшую грядку конопли. Ее степной запах мгновенно напомнил ему родину и возбудил в душе страстную тоску по ней. Ему захотелось дышать русским воздухом, ходить по русской земле. «Что я здесь делаю, зачем таскаюсь в чужой стороне между чужими?» — подумал он, и мертвенная тяжесть, которую он ощущал на сердце, разрешилась внезапно в горькое и жгучее волненье».

Это было начало повести «Ася», наиболее полно передающей тургеневские раздумья о судьбе дочери, о своей несчастной любви, о потерянной, как ему казалось, жизни.

«Обнимаю тебя за повесть и за то, что она прелесть как хороша, — писал Некрасов. — От неё веет душевной молодостью, вся она — чистое золото поэзии. Без натяжки пришлась эта прекрасная обстановка к поэтическому сюжету, и вышло что-то небывалое у нас по красоте и чистоте. Даже Чернышевский в искреннем восторге от этой повести». Некрасову вторил Панаев: «Повесть твоя — прелесть. Спасибо за нее: это, по-моему, самая удачная из повестей твоих. Я читал ее вместе с Григоровичем, и он просил написать тебе, что внутри у тебя цветет фиалка».

Последняя фраза заставила Тургенева горько улыбнуться. Знали бы они, далекие друзья, какая «фиалка» цвела тогда в горемычной его душе. Вспомнились стихи Некрасова, которые тот написал перед отъездом Тургенева за границу и посвятил ему:

Ты счастлив. Ты воскреснешь вновь;
В твоей душе проснется живо
Все, чем терзает прихотливо
И награждает нас любовь —
Пора наград, улыбок ясных,
Простых, как молодость, речей,
Ночей таинственных и страстных
И полных сладкой лени дней!

. . . .

Счастливец! из доступных миру
Ты наслаждений взять умел

Все, чем прекрасен наш удел:
Бог дал тебе свободу, лиру
И женской любящей душой
Благословил твой путь земной...

Помнится, при расставании эти стихи польстили сердцу Тургенева. Теперь же воспоминание о них наполняло душу горькой иронией.

И в то же время Тургенев чувствовал, как личная драма всё теснее и теснее прижимала его к России. Вспомнилось, как летом 1856 года, перед отъездом за границу, на редакционном обеде, Некрасов предложил заключить писателям литературного кружка «Современника» «обязательное соглашение», по которому все они обещали печатать свои новые вещи только в этом журнале, получая в награду часть доходов с подписки. А потом все отправились в фотографию Левицкого: так появился групповой портрет участников нового литературного предприятия — Толстой, Тургенев, Гончаров, Григорович, Островский, Дружинин... Некрасов с трудом сдерживал радость, предвкушая успех «Современника», и возбужденно потирал руки.

Осень и зиму 1856 года Некрасов провел в Риме вместе с А. Я. Панаевой в надежде поправить совсем расстроенное здоровье. С Тургеневым он поддерживал постоянную дружескую переписку. Искренне радовался Тургенев «громадному, неслыханному успеху «Стихотворений» Некрасова. 1400 экземпляров разлетелись в две недели; этого не бывало со времен Пушкина». Из Рима Некрасов прислал Тургеневу на суд отрывки из поэмы «Несчастные», над которой упорно работал, вдохновляясь одобрительными отзывами друга.

В феврале 1857 года Некрасов приезжал в Париж в большой тревоге: Чернышевский, оставленный за редактора, перепечатал в ноябрьском номере «Современника» три стихотворения из только что вышедшего сборника Некрасова — «Поэт и гражданин», «Забытая деревня» и «Отрывки из путевых записок графа Гаранского». Незамеченные в книге, они бросились всем в глаза в журнале, вызвали возмущение в высших сферах, обратили на себя внимание Александра II. Начался переполох в цензурных инстанциях, цензора «Современника» Бекетова уволили от должности. И. И. Панаева вызвал к себе министр просвещения и объявил строжайший выговор за «неуместное и неприличное перепечатывание стихотворений г. Некрасова». Дело принимало опасный оборот.

Неосторожный поступок Чернышевского мог погубить журнал.

Тургенев, как мог, пытался успокоить Некрасова, показывал ему город, водил «по гульбищам и ресторанам». «Я теперь живу с Некрасовым, — сообщал Тургенев в Россию. — Здоровье его, кажется, поправилось — хотя он хандрит и киснет сильно. Он кое-что сделал, но слухи, до него дошедшие об участи его стихотворений, несколько приостановили его деятельность. Впрочем, он успокаивается понемногу». Тургенев видел, что римские и парижские впечатления действуют на Некрасова подавляюще: «Одно верно, — говорил он, — что, кроме природы, всё остальное производит на меня скорее тяжелое, нежели отрадное впечатление... Я думаю так, что Рим есть единственная школа, куда бы должно посылать людей в первой молодости, — в ком есть что-нибудь непошлое, в том оно разовьется здесь самым благодатным образом... Но мне, но людям, подобным мне, я думаю, лучше вовсе не ездить сюда. Смотришь на отличное небо — и злишься, что столько лет кис в болоте, — и так далее до бесконечности. Возврат к впечатлениям моего детства стал здесь моим кошмаром, — верю теперь, что на чужбине живее видишь родину, только от этого не слаще и злости не меньше. Всё дико устроилось в русской жизни, даже манера уезжать за границу, износивши душу и тело... Зачем я сюда приехал!»

Мучило Некрасова и «огаревское дело», в которое он оказался впутанным по милости А. Я. Панаевой. Подруга Авдотьи Яковлевны, жена Огарева Марья Львовна, уезжая за границу, поручила Панаевой и Н. С. Шаншиеву взыскание денег по векселям, выданным ей Огаревым. Панаева и Шаншиев обязались выполнить её поручение к маю 1853 года. Но Марья Львовна внезапно умерла. Огарев потребовал с Панаевой и Шаншиева выплаты денег. Они выразили полную готовность сделать это; шло время — деньги не возвращались. Тогда поверенный Огарева передал требование о взыскании в суд.

К этой неприятной истории Некрасов причастен не был, но его личные отношения с Панаевой дали повод Огареву и Герцену заподозрить Некрасова: «Одна из лучших новостей та, что Некрасов и Панаев, которые вели процесс... украли всю сумму». Герцен, как говорил позднее Н. Г. Чернышевский, «имел неосторожность высказать свое мнение, не ознакомившись с фактами». Так на доброе имя Некрасова была брошена черная тень, что

сильно осложняло и без того сложные отношения Некрасова с Панаевой. Подобно Тургеневу, он попал в странную зависимость от волевой и сильной женщины. Обстоятельства требовали разрыва с нею, а Некрасов не находил в себе сил, чтобы решиться на этот шаг.

Тургенев платил Некрасову откровенностью за откровенность и вновь оценил чуткую к чужой беде душу поэта. Некрасов отлично понимал «безумную» связь Тургенева с Полиной Виардо и советовал воспользоваться размолвкой, чтобы расстаться. Но Тургенев отвечал с грустной улыбкой: «Я и теперь, через 15 лет, так люблю эту женщину, что готов по её приказанию плясать на крыше, нагишом, выкрашенный желтой краской!»

Весною 1857 года, когда Тургенев был в Лондоне, Некрасов приезжал к нему с надеждой вывести Герцена из заблуждения. «Мне просто больно, — говорил Некрасов, — что человек, которого я столько уважаю... приветствовавший добрым словом мои стихи... что этот человек нехорошо обо мне думает... Ты лучше других можешь знать, что я тут столько же виноват и причастен, как ты, например».

Тургенев долго убеждал Герцена встретиться с Некрасовым, но тот был неумолим. Так и пришлось Некрасову возвращаться с Тургеневым в Париж с чувством незаслуженного оскорбления. В конце июня Некрасов и Панаева уезжали в Россию. Тургенев провожал их до Берлина и с трудом сдерживал чувство сильной неприязни к подруге поэта, изливая его только в письмах к друзьям: «Он очень несчастный человек: он всё еще влюблен в эту грубую и гадкую бабу — и она непременно сведет его с ума». Она «владеет им как своим крепостным человеком. И хоть бы он был ослеплен на этот счет! А то — нет. Но ведь — известное дело: это все тайна — или, говоря правильнее, — чепуха. Тут никто ничего не разберет, а кто попался — отдувайся, да еще, чего доброго, не кряхти».

Прощаясь с Тургеневым в Берлине, Некрасов очень просил друга возвращаться в Россию как можно скорее и взять в свои руки журнал «Современник». Тургенев отвечал на это, как всегда, уклончиво: «Не знаю, право, насколько мне удастся помочь Вам. Выдохся я или еще не выдохся — но очень туго закупорился — что на одно и то же сбивается». Но в письме к П. В. Анненкову в конце июня 1857 года Тургенев писал о Некрасове: «Здоровье его, однако, немножко поправилось, хотя он и не лечился нисколько. Я постараюсь, вернувшись к октябрю в Петербург, отправить его опять на зиму в более теплый климат».

И теперь, уже из России, Некрасов предупреждал: «Я продолжаю бояться, что ты застрянешь в Париже. Не советую, милый человек; не шути с своими нервами и действуй решительно, пока они в порядке; если развинтишь их до такой степени, как они были развинчены прошлой зимой, — так опять не уедешь».

В эти трудные времена Тургенева спасало и поддерживало общение с русскими друзьями. А. В. Дружинин писал ему из Петербурга: «Милейший и дорогой наш патриарх, целую Вас тысячекратно и благодарю Вас за все милые сведения и добрые слова, находящиеся в письме Вашем... Вы только приблизительно знаете о том, как Вы нам дороги, оно всегда сказывается в отсутствии лучше, чем в присутствии. Последнее Ваше письмо имело какой-то грустный оттенок... Хандрите ли Вы, пузырь ли у Вас болит, или, что вернее, бродячая жизнь с ее треволнениями Вам уже не по сердцу? В таком случае приезжайте скорее. Трудно рассказать, как здесь будете Вы полезны и сколько отличной деятельности себе найдете. Несмотря на некоторую цензурную реакцию, общее сочувствие к литературе принимает огромные размеры, поминутно в наш круг набиваются разные сильные и преполезные лица, а мы, по занятиям и крутости нрава, большей частию от них отворачиваемся. Возьмем, например, дело о Литературном фонде, которое должно связать весь наш артистический круг, дать ему целостное значение и соприкосновение со всеми сторонами света — теперь оно спит, по моей суровости и тугости на знакомства. Как бы Вы могли популяризировать и отлично повести это важное предприятие! Со всех сторон много ласковости, готовности, сочувствия, но нет у нас отличного по добродушию, всеми любимого и немного *праздношатающегося* литератора, который бы двинул его своими хлопотами и своим любезным словом».

Тургенев заверял друзей, что собирается вернуться. Некрасову, в ответ на его предостережения, он писал: «Во всяком случае, если я буду жив... *никакие* силы меня не удержат здесь долее...

Полно, перестань;
Ты заплатил безумству дань.

Мне жалко, что о себе ты даешь известия плохие; скверные наши годы, скверное наше положение (во многом, как ты знаешь, сходное); но должно крепиться, не для достижения каких-нибудь целей, а просто чтоб не лопнуть».

На свадьбе Фета с сестрой В. П. Боткина в Париже Тургенев был шафером. Он искренне радовался счастью своего приятеля, был весел, искрометен, шутлив. Но к концу свадебного торжества с грустной улыбкой заявил: «Я сейчас сяду на пол и буду плакать».

«Солон пришелся» Тургеневу Париж. Иван Аксаков, встретившийся с ним в апреле 1857 года, писал своему «отесеньке»: «Тургенев хандрит, совсем размяк, тоскует». В минуту предельной откровенности Тургенев сказал Фету о Полине Виардо: «Она давно и навсегда заслонила от меня всё остальное, и так мне и надо. Я только тогда блаженствую, когда женщина каблуком наступит мне на шею и вдавит мое лицо носом в грязь. Боже мой! — воскликнул он, заламывая руки над головою и шагая по комнате, — какое счастье для женщины быть безобразной!»

Лев Толстой, навестивший Тургенева в Париже в феврале 1857 года, застал его вдвоем с Некрасовым: «Оба они блуждают в каком-то мраке, грустят и жалуются на жизнь». На другой день Некрасов внезапно уехал в Рим к А. Я. Панаевой, а Тургенев, по обычаю, как парижский старожил, водил Толстого по улицам и площадям города, ходил с ним в прославленные на весь мир музеи и с удовлетворением замечал, как его строптивый приятель глядит на всё, «помалчивая и расширяя глаза». «Я радуюсь, глядя на него, — сообщал Тургенев друзьям, — это, говоря по совести, единственная надежда нашей литературы».

Вместе с Толстым он совершал небольшую поездку в Дижон. Стояли холода, в промерзлой гостинице они сидели у камина. Толстой работал над повестью «Альберт», исписывая одну за другой чистые страницы, а Тургенев радовался, глядя на его вдохновенное лицо.

И вновь они спорили. Вновь Тургенев предостерегал Толстого от крайностей суждений и оценок:

— Больше всех вам не по нутру Чернышевский, но тут вы немного преувеличиваете. Положим, вам его «фетишизм» противен и вы негодуете на него за выкапывание старины, которую, по-вашему, не следовало бы трогать; но вспомните, дело идет об имени человека, который всю жизнь был тружеником, вспомните, что бедный Белинский всю жизнь свою не знал не только счастья или

покоя — но даже самых обыкновенных удовлетворений и удобств; что в него за высказывание тех самых мыслей, которые теперь стали общими местами, со всех сторон бросали грязью, камнями, эпиграммами, доносами... Чтобы понять мои чувства насчет этих статей — я назначаю вам свидание через десять лет; — посмотрю я тогда, весело ли вам будет, если вам запретят сказать слово любви о друге нашей молодости, о человеке, который и радовался, и страдал, и жил в силу своих убеждений... Вы, я вижу, теперь очень сошлись с Дружининым и находитесь под его влиянием. Дело хорошее — только смотрите, не объешьтесь и его!

Приветствуя статьи Чернышевского «Очерки гоголевского периода в развитии русской литературы», которые резко не принимали и осуждали тургеневские друзья — Дружинин, Анненков и Боткин, — Тургенев тем не менее проявлял интерес и к «Библиотеке для чтения», редактором которой стал А. В. Дружинин. В поддержку этого издания он послал свою повесть «Поездка в Полесье», подыскивал Дружинину талантливых сотрудников. Такая широта симпатий не могла не казаться Толстому, да и многим тургеневским современникам, беспринципностью.

Сотрудник «Современника» и друг Тургенева Елисей Яковлевич Колбасин писал ему в Париж письменные сообщения в виде рефератов обо всем, что делается в русской литературе. При этом Тургенев упрямо настаивал на вознаграждении за труд. И хотя Колбасин отнекивался, он принужден был согласиться и получал по настоятельному требованию Тургенева 10 рублей за информацию. В «панорамических» описаниях Колбасин сообщал обо всем, что появилось в русских журналах и привлекло внимание публики, рассказывал о самочувствии друзей-писателей.

«Представьте себе, какая у него уловка, — писал Колбасин о несчастном пороке А. Ф. Писемского: — в присутствии своей жены он боится пить и обыкновенно говорит: «Выйди, душенька, я хочу сказать неприличное слово». Жена выйдет, и он поспешно выпьет рюмку водки».

И вот Тургенев «из прекрасного далека» пытается помочь другу. Он просит А. Н. Островского: «Слышу я, что Писемский в Москве хандрит. Отчего он хандрит? Вы, кажется, имеете на него влияние — встряхните его. Что

его роман? Поклонитесь ему от меня — и попросите его от моего имени написать мне письмо».

С тревогой он пишет об этом же Фету: «Сообщенные подробности о Писемском и Островском — не слишком отрадны. Но что прикажете делать? У всякого человека своя манера блох ловить. Боюсь я, что при таком поведенце Писемский себя ухлопает; Островский — тот здоров. Эти два весьма замечательных и чрезвычайно талантливых русских человека не брали себя в руки, не ломали себя; а русскому человеку это совершенно необходимо. Талант их от этого, может быть, уцелел — да ведь он с другой стороны затрещать может». И Дружинина Тургенев тоже просит поддержать Писемского, дать ему работу в своем журнале. В хлопотах о друзьях Тургенев забывает о себе — и так лечит свою неизбывную боль.

В апреле 1857 года, уезжая из Парижа, Толстой зашел к Тургеневу проститься и записал в своем дневнике: «Заехал к Тургеневу... Прощаясь с ним я, уйдя от него, плакал о чем-то. Я его очень люблю. Он делает из меня другого человека». «Несчастная его связь с госпожой Виардо и его дочь задерживают его в Париже. Климат здешний ему вреден, и он жалок ужасно. Никогда не думал, что он способен так сильно любить», — сообщает Толстой своим родственникам.

В январе 1857 года Герцен выслал Тургеневу продолжение мемуаров «Былое и думы», которые печатались в «Полярной звезде». Тургенев оценил талант Герцена еще по первым книжкам и всячески поощрял его к работе над продолжением воспоминаний. «Кончил я твои мемуары во второй части «Полярной звезды». Это прелесть — и только остается сожалеть о неверностях в языке. Но ты непременно продолжай эти рассказы: в них есть какая-то мужественная и безыскусственная правда — и сквозь печальные их звуки прорывается, как бы нехотя, веселость и свежесть... Странное дело! В России я уговаривал старика Аксакова продолжать свои мемуары, а здесь — тебя. И это не так противуположно, как кажется с первого взгляда. И его и твои мемуары — правдивая картина русской жизни, только на двух ее концах — и с двух разных точек зрения. Но земля наша не только велика и обильна — она и широка — и обнимает многое, что кажется чуждым друг другу».

Сложнее складываются на этот раз у Тургенева отношения с французской литературой. Правда, молодой француз Делаво берется за новый перевод «Записок охотника», и Тургенев, пользуясь случаем, побуждает его написать статью о «Семейной хронике» С. Т. Аксакова для французской публики. Неожиданно Тургенев знакомится в Париже с Бичер-Стоу, оказавшейся, по его словам, доброй, простой, застенчивой американкой с двумя дочками, рыжими, в красных бурнусах и со свирепыми кринолинами. Общение с Мериме приводит Тургенева к выводу, что этот писатель очень похож на свои сочинения: «холоден, тонок, изящен, с сильно развитым чувством красоты и с совершенным отсутствием не только какой-нибудь веры, но даже энтузиазма».

Однако литературная и театральная жизнь Франции не вызывает у Тургенева восторга. «Здесь, на чужой земле, мне всё русское еще более близко стало и дорого, — пишет он А. Н. Островскому, — а ни в одном из наших писателей русский дух не веет с такой силой, не играет так, как в вас. Подарите нас всех и меня в особенности «Мининым»; — а мы вам поклонимся в пояс. ...Хочется мне посмотреть поближе на здешнюю жизнь и на здешнюю литературу. Оно, пожалуй, и не весело, да поучительно. Всё здесь измельчало и изломалось. Простоты и ясности и не ищи; всё здесь хитро и столь же бедно, нищенски бедно, сколь хитро».

Фет вспоминал, как в театре «Водевиль» они смотрели с Тургеневым «Даму с камелиями». «Последнюю ломала перед нами старая и чахоточная актриса, имени которой не упомню. Тургенев сообщил мне шепотом, что покрывающие её бриллианты — русские. При её лживых завываниях Тургенев восклицал: «Боже! Что сказал бы Шекспир, глядя на все эти штуки!» А когда она бесконечно завыла перед смертью, я услыхал русский шепот: «Да ну, издыхай скорей!» Между тем дамы в ложах зажимали платками глаза. При таком несообразном зрелище я не выдержал и, припав головою к рампе, затрясся неудержимым смехом. Это не мешало Тургеневу давать мне шепотом знать, что многие недовольные взоры обращены на меня и что, если я буду продолжать смеяться, грозное «вон!» не заставит ждать себя».

«Французская фраза, — пишет Тургенев Толстому, — мне так же противна, как вам — и никогда Париж не казался мне столь прозаически-плоским. Довольство не идет ему; я видел его в другие мгновения — и он мне тогда больше нравился». Писатель действительно чувствовал резкий контраст между революционным Парижем 1848 года и современным его состоянием, когда собствен-

ник стал героем, а революционную окрыленность сменил пошлый буржуазно-мещанский комфорт. С нескрываемой иронией рассказывал Тургенев русским друзьям об увлечении французской публики спиритическими сеансами Юма:

— Был я в одном доме, где известный колдун Юм, о котором вы, вероятно, слышали — должен был произвести свои чудеса; но ничего не вышло; только раз по моему требованию что-то у меня три раза простучало под подошвой правой ноги. Хорошенько я не понимаю, как это было сделано. Но Париж только и толкует, что о нем; в теченье одной недели он три раза был в Тюльерийском дворце — и там, говорят, происходили удивительные вещи: и стол поднимался на воздух, и какие-то руки виднелись, и гармоники играли сами, и колокольчики не падали, а волнообразно опускались на пол... Мы, грешные, ничего этого не видали.

В декабре 1856 года Тургенев в письме к С. Т. Аксакову дал нелестную характеристику и современному состоянию французской литературы: «Я должен сознаться, что всё это крайне мелко, прозаично, пусто и бесталанно. Какая-то безжизненная суетливость, вычурность или плоскость бессилия, крайнее непонимание всего не французского; отсутствие всякой веры, всякого убеждения, даже художнического убеждения — вот что встречается вам, куда ни оглянитесь. Лучшие из них это чувствуют сами — и только охают и кряхтят. Критики нет: — дрянное потаканье всему и всем: каждый сидит на своем коньке, на своей манере и кадит другому, чтобы и ему кадили — вот и всё. Один стихотворец вообразит, что нужно «проводить» реализм — и с усилием, с натянутой простотой воспевает «Пар» и «Машины», — другой кричит, что должно возвратиться к Зевсу, Эросу и Палладе — воспевает их, с удовольствием помещая греческие имена в свои французские стишки; и в обоих капли нет поэзии. Сквозь этот мелкий гвалт и шум пробиваются, как голоса устарелых певцов, дребезжащие звуки Гюго, хилое хныканье Ламартина, болтовня зарапортовавшейся Жорж Санд; Бальзак воздвигается идолом, и новая школа реалистов ползает в прахе перед ним, рабски благоговея перед Случайностью, которую величают Действительностью и Правдой; а общий уровень нравственности понижается с каждым днем — и жажда золота томит всех и каждого — вот вам Франция!»

Приятным исключением явилась кратковременная

поездка в Англию, где Тургенев сделал «множество приятных знакомств» — с Карлейлем, Теккереем, Диккенсом, Маколеем. «Действительно великий народ!» — выразил он восхищение этими встречами.

Но на чужбине, и особенно в этот раз, с ностальгической остротой чувствовалось, как дорого ему всё русское: «Пребывание во Франции произвело на меня обычное свое действие, — писал Тургенев Аксакову, — всё, что я вижу и слышу, как-то теснее и ближе прижимает меня к России, всё родное становится мне вдвойне дорого — и если бы не особенные, от меня уж точно не зависящие обстоятельства, я бы теперь же вернулся домой».

И вот когда пришла пора собираться в Россию, Тургенев вдруг сделал неожиданный, обескураживший его петербургских друзей ход.

«Любезные и добрые мои петербургские друзья!

Письмо мое вас удивит, я это знаю — но делать нечего. Знайте же: вместо того чтобы возвратиться в Россию — я с Боткиным еду в Рим, где провожу зиму — и только на весну вернусь на родину. Причины, побудившие меня к такой внезапной перемене моих намерений, следующие: соблазнительная мысль провести зиму в Италии, а именно в Риме, прежде чем стукнуло мне 40 лет, и я превратился в гриб. Надежда, почти несомненная, хорошенько поработать. В Риме нельзя не работать — и часто работа бывает удачна. Боязнь возвратиться в Петербург прямо к зиме. Наконец, представившийся случай сделать это путешествие вдвоём с Боткиным. А потому не сердитесь на меня...

Ты, милый Некрасов, тоже не сердись. Если, как я надеюсь, я буду работать в Риме, то это для «Современника» будет полезнее моего присутствия — и я оттуда буду высылать тебе всё, что сделано...

Припадаю к стопам Писемского, Гончарова и всех дорогих друзей, которых я так желал бы видеть и которых не увижу зимой. Пусть они простят меня великодушно!»

После пережитых душевных волнений и мук, фактически кончившихся для Тургенева разрывом с Полиной Виардо, его соблазнила возможность тихой, исполненной спокойной работы зимы в Риме среди величественной и умиротворяющей обстановки. Вдруг Италия поможет ему еще раз возродиться духом? «Рим именно такой город, где легче всего быть одному; а захочешь оглянуться — не пустые рассеяния ожидают тебя — а великие следы

великой жизни, которые не подавляют тебя чувством твоей ничтожности, — а, напротив, поднимают тебя и дают твоей душе настроение несколько печальное, но высокое и бодрое».

В Риме Тургенев постепенно оттаивал душою. Каждый день совершался какой-то праздник на небе и на земле; каждое утро, как только он просыпался, голубое сияние улыбалось ему в окна. Особенно успокаивал вид римских развалин. «Через несколько лет всё рухнет — иные стены едва держатся — но под этим небом самое запустение носит печать изящества и грации; здесь понимаешь смысл стиха «Печаль моя светла». Одинокий, звучно журчащий фонтан чуть не до слез меня тронул. Душа возвышается от таких созерцаний — и чище, и нежнее звучат в ней художественные струны».

«Что за удивительный город! Вчера я более часа бродил по развалинам Дворца Цезарей — и проникся весь каким-то эпическим чувством; эта бессмертная красота кругом, и ничтожность всего земного, и в самой ничтожности величие — что-то глубоко грустное, и примиряющее, и поднимающее душу... Этого словами передать нельзя, но, раз ощутив, забыть, смешать с другим чувством нельзя. Впечатления эти музыкальны и лучше могли бы передаться музыкой».

Надо было смириться с положением одинокого, оставленного человека. В жизни совершался крутой возрастной перелом. С треском рушилось хрупкое здание прошлого и ничего обнадеживающего, нового еще не появлялось. «В человеческой жизни, — писал он из Рима Е. Е. Ламберт, — есть мгновенья перелома, мгновенья, в которых прошедшее умирает и зарождается нечто новое; горе тому, кто не умеет их чувствовать, — и либо упорно придерживается мертвого прошедшего, либо до времени хочет вызывать к жизни то, что еще не созрело. Часто я погрешал то нетерпением, то упрямством; хотелось бы мне теперь быть поумнее. Мне скоро сорок лет; не только первая и вторая, третья молодость прошла — и пора мне сделаться если не дельным человеком, то, по крайней мере, человеком, знающим, куда он идет и чего хочет достигнуть. Я ничем не могу быть, как только литератором — но я до сих пор был больше дилетантом. Этого вперед не будет».

«Теперь каждому надобно быть на своем гнезде. В мае месяце я надеюсь прибыть в деревню — и не выеду оттуда, пока не устрою моих отношений к крестьянам.

Будущей зимой, если Бог даст, я буду землевладельцем, но уже не помещиком и не барином». Созревали надежды сесть на землю и «пахать ее», как можно лучше пахать, те надежды, которыми живет тургеневский Лаврецкий, герой «Дворянского гнезда». Размышления Тургенева перекликаются с раздумьями о смысле существования, о родине, о деревенской России, которым предается Лаврецкий: «Я знал перед моей поездкой за границу, которая так была для меня несчастлива — что мне было бы лучше оставаться дома... и я все-таки поехал. Дело в том, что судьба нас всегда наказывает и так, и немножко не так, как мы ожидали, и это «немножко» нам служит настоящим уроком. Отдохнув в Риме, я вернусь в Россию сильно потрясенный и побитый, но надеюсь, по крайней мере, что на этот раз урок не пропадет даром».

Тургенев мечтает о конце скитальческой жизни, о твердой определенности взглядов, чувств и поступков, решает отказаться от погони за призраками ускользающего счастья, думает о самоотречении, об укреплении своей личности на твердом якоре долга. Погружаясь в тихую жизнь, он вынашивает в душе замысел самого «тихого» и гармоничного романа, главным лицом которого будет девушка, существо религиозное. Тургенев понимает трудность поставленной задачи, но надеется к концу 1858 года справиться с нею.

Возможно, что формированию этого замысла способствовало знакомство с Александром Ивановым и его картиной «Явление Христа народу». «По глубине мысли, по силе выражения, по правде и честной строгости исполнения вещь первоклассная, — писал Тургенев Анненкову. — Не даром он положил в неё 25 лет своей жизни. Но есть и недостатки. Колорит вообще сух и резок, нет единства, нет воздуха на первом плане (пейзаж в отдалении удивительный), всё как-то пестро и желто. Со всем тем я уверен, что картина произведет большое впечатление (будут фанатики, хотя немногие), и главное: должно надеяться, что она подаст знак противодействия Брюлловскому марлинизму».

Творчество Брюллова Тургенев считал худшим проявлением романтизма в русской живописной школе, чем-то аналогичным русскому Марлинскому или французскому Гюго в литературе. Влияние Брюллова казалось ему губительным для самобытного развития отечественной живописи. «Художеству еще худо на Руси, — писал он

Анненкову из Рима. — Сорокин кричит, что Рафаэль дрянь и «все» дрянь, а сам чепуху пишет; знаем мы эту поганую российскую замашку. Невежество их всех губит...» «Представьте, все они (почти без исключения — я, разумеется, не говорю об Иванове) как за язык подвешенные, бессмысленно лепечут одно имя: Брюллов, а всех остальных живописцев, начиная с Рафаэля, не обинуясь, называют дураками... Я объявил им наконец, что художество у нас начнется только тогда, когда Брюллов будет убит, как был убит Марлинский... Брюллов — этот фразер без всякого идеала в душе, этот барабан, этот холодный и крикливый ритор — стал идолом, знаменем наших живописцев!»

И в Риме Тургенева ни на секунду не покидали мысли о России, о развитии национального искусства, о готовящихся в стране общественных преобразованиях. Ему было известно, что давно началась работа секретного комитета по подготовке крестьянской реформы, но правительство медлило с обнародованием результатов, и это промедление вызывало тревогу. «Я здесь в Риме всё это время много и часто думаю о России. Что в ней делается теперь; двинется ли этот Левиафан (подобно английскому) — и войдёт ли в волны или застрянет на полпути? До сих пор слухи приходят все довольно благоприятные; но затруднений бездна, — а охоты, в сущности, мало. Ленив и неповоротлив русский человек — и не привык ни самостоятельно мыслить, ни последовательно действовать. Но нужда — великое слово! — поднимет и этого человека из берлоги».

Тургенев опасается, что Александр II встречает сильное противодействие в своих начинаниях со стороны реакционной партии, и просит Герцена не бранить царя на страницах «Колокола», «а то его и без того жестоко бранят в Петербурге все реаки — за что же его эдак с двух сторон тузить — эдак он, пожалуй, и дух потеряет».

Находившийся летом 1857 года за границей Александр II еще более укрепился в своей решимости освободить крестьян под влиянием прусского короля Вильгельма и барона Гакстгаузена, автора известной книги о русской сельской общине, в которой он заимствовал у Константина Аксакова славянофильские взгляды на русский сельский быт и мирское самоуправление. Вернувшись в Россию, Александр II высказал недовольство, что за восемь месяцев секретный комитет ничего не сделал, кроме длинных и велеречивых отписок. Он сказал графу Павлу Дмитриевичу Киселеву, старому поборнику освобождения: «Крестьянский вопрос меня постоянно занимает. Надо довести его до конца. Я более, чем когда-либо, решился и никого не имею, кто бы помог мне в этом важном деле». Вот почему Тургенев урезонивал Герцена и с нетерпением ожидал вестей из России.

Одновременно в воображении Тургенева всё более четко проступал замысел романа о судьбе российского дворянства. Он постепенно оттачивался в ходе внутренней полемики писателя с мыслями на этот счет своих друзей-либералов. Летом 1857 года Тургенев получил из Лондона третий выпуск нового издания Герцена под названием «Голоса из России». В нём помещались статьи либералов-западников, часть из которых была знакома Тургеневу ранее, в рукописном виде. Это были статьи, созданные по намеченной Кавелиным программе, проект которой утверждался на юбилее Московского университета в 1855 году. Опубликовать их в России не было возможности, и тогда Кавелин в марте 1856 года направил их к Герцену в Лондон с Н. А. Мельгуновым, а Герцен решил начать их публикацию в особых сборниках малого формата.

Тургенева задела в этом выпуске статья Б. Н. Чичерина «Об аристократии, в особенности русской». Иван Сергеевич прекрасно знал, что придворная знать, претендующая на первенство в государстве, настроена очень консервативно. Председатель Государственного совета граф А. Ф. Орлов, министр государственных имуществ граф М. Н. Муравьев, шеф жандармов князь В. А. Долгоруков, члены Государственного совета князь П. П. Гагарин и граф В. Ф. Адлерберг являлись убежденными противниками реформ и имели на царя большое влияние.

Однако, читая статью Чичерина, Тургенев испытывал двойственное чувство. По мнению автора, русское боярство, образовавшееся из членов княжеской дружины, было искони чуждо коренным основам народной жизни. Князья «ходили с дружиною по всей земле русской, а иногда предпринимали и дальние походы, воевали между собою, сбирали дани и пошлины, и раздавали товарищам, с которыми проводили время в войне, пирах и веселии... Не раз общины восставали на княжеских тиунов и платили им смертью за все их грабежи и притеснения. Но какое дело было боярину до народа? Он не имел постоянного отечества и местопребывания, не имел постоянных обязанностей, а хотел только нажиться да погулять, пере-

езжая с места на место и останавливаясь там, где ему было любо...».

Не слишком ли облегченно и пренебрежительно смотрел Чичерин на историческую суть княжеской дружины, на судьбы дворянского сословия? Правомерно ли отказывал он своим предкам в какой бы то ни было связи с историей отечества? Конечно, были и междоусобицы, были измены общему делу во имя личных, своекорыстных интересов. Но можно ли на этом основании всех русских князей и бояр уравнять с грабителями и разбойниками?! И если в родословной книге дворянства только 36 родов русских и 551 выехавших из разных стран, то значит ли это, что «бояре не знали отечества», «не имели никакой связи с народом», что они «съехались в Россию для личных целей, чтобы нажиться, где можно, и этот характер они передали потомкам»? По Чичерину выходило, что не только предкам Тургенева, но и ему было отказано в праве называться русским человеком!

Что и говорить, немало горькой правды чувствовалось в обличениях русской дворянской аристократии: «Насильно сблизившись с народами Западной Европы, она прельстилась одним внешним блеском и великолепием, переняла у них платье, моды, роскошь, язык, но не переняла истинного просвещения, государственного смысла, любви к науке и искусству. Она забыла родной свой язык, стала презирать своё отечество и свой народ, и совершенно отделившись от него, образовала особенный мир, где нет ни национальности, ни образованности космополитической, ни понятия об общественной пользе, а есть только поверхностный лоск и стремление к личным целям и выгодам».

И всё же... Разве европеизация России, начатая Петром I, не отозвалась спустя сто лет на русской почве явлением пушкинского гения? Разве можно свести всю историю русского дворянства к раболепству перед верховной властью? И неужели за многовековой период существования в нем не проявилось «и тени государственных начал»? Наконец, с какой целью Чичерин подвергал всесокрушающей критике дворянское сословие? Оказывается, ему важно было доказать, что «наисамодержавнейший государь в миллион раз лучше корыстной и надменной олигархии, ищущей только собственной выгоды».

Чичерин смотрел на русское дворянство глазами иной, чиновничьей олигархии, ниспровергающей историю своего народа с высоты бюрократического самосознания. Герцен заметил, что гражданской религией Чичерина является апологетика государства — идола с царем наверху и палачом внизу. Тургенев убедился в правоте суждений Герцена о Чичерине, когда уже здесь, в Риме, в четвертой книжке «Голосов из России» познакомился с другой статьей либерального профессора — «Современные задачи русской жизни».

Провозглашая общелиберальные лозунги свободы совести, гласности, освобождения от крепостного состояния, Чичерин заканчивал презрением к историческому прошлому России, к народу: «Нет в Европе народа, у которого бы общественный дух был так мало развит, как у русских; каждый живет себе особняком, и никому дела нет до общих потребностей и интересов... Русский человек обладает характером более пассивным, нежели деятельным. Но это самое делает его с другой стороны чрезвычайно способным перенять чужое, и когда его раз заставят выйти из обычной колеи, он может так же легко и в такой же крайности подчиняться новизне, как он прежде упорно держался старины. Не мудрено, что при таких условиях он не развил из себя разнообразного исторического содержания, не выработал человеческих начал — науки, искусства, промышленности, изящества нравов. Этому способствовало и удаление его от римского мира, передавшего Западным народам вековые стяжания древней истории».

Этот снисходительно-презрительный взгляд на Россию таил в себе опасность очередного деспотического перекраивания ее на казенный салтык вне тысячелетних традиций, вне ее культуры, без всякой веры в идеал. Русский народ обвинялся в «неспособности к созданию новых форм гражданственности», в «пассивности», в невозможности объединиться в союз, основанный на собственных силах и на собственной деятельности. Тем самым Чичерин доказывал, «что правительство всегда стояло у нас во главе развития и движения. При пассивном своем характере русский народ не в состоянии был собственными силами, без принуждения выработать из себя многообразные формы жизни. Правительство вело его за руку, — и он слепо повиновался своему путеводителю. Потому нет в Европе народа, у которого бы правительство было сильнее, нежели у нас».

Мог ли согласиться с такой оценкой русского народа автор «Записок охотника»? Мог ли будущий автор «Дво-

рянского гнезда» признать разумным следующий взгляд на дворянское сословие: «Едва лепеча на родном языке, они не знают ни русского духа, ни русского народа, ни русской истории, и в старании своем казаться истинно русскими они похожи на тех обезьян, которые хотя и подражают всем человеческим действиям, но все же сохраняют свои обезьянские ухватки»?!

Тургенев верил, что дворянство как большая культурно-историческая сила еще способно к общественному творчеству, к труду на родной земле. В незаконченной статье «Несколько мыслей о современном значении русского дворянства» он высказал уверенность в возможности коренного его перерождения. Крепостное право отнюдь не являлось, по Тургеневу, определяющей сущностью дворянского сословия: «Дворянство русское существовало и до окончательного закрепощения», как служилое сословие, приносившее пользу «земле» и государству. А потому и после освобождения крестьян дворянство должно сохраниться: его призвание — участвовать в медленном и постепенном перевороте, «учиться пахать землю, и как можно глубже её пахать».

Не мог согласиться Тургенев и с бездумным, насильственным навязыванием России таких общественных учреждений, которые не согласуются с её культурой, с нажитым ею историческим опытом. Его раздражало предложение Чичерина «вводить учреждения несвоевременные и противные народному духу» в целях «практической потребности установить порядок и стройность в государственном организме». И когда Е. Корш утверждал вслед за Чичериным, что общественные преобразования должны быть не столько следствием «внутреннего воздействия жизни народа», сколько результатом «внешних побуждений государства», являющегося «орудием образованности», — Тургенев возмущался и протестовал.

Такое отделение государства от «земли», такое расширение прав государственной власти вплоть до поощрения полного административного произвола представлялось Тургеневу крайним заблуждением. Он тоже считал, что творческой силой в России является небольшая часть культурного дворянства, умственная прослойка общества. Но Тургенев никогда не отождествлял с нею государственную власть. Наконец, Тургенев не отрицал в народной жизни глубоких традиций, преданий, авторитетов, общественных институтов и сознавал, что их разрушение было бы посягновением на органическую сущность национального бытия. Вслед за Карамзиным и славянофилами Тургенев видел силу государства в исконном союзе «земли» и власти. Он утверждал, что государственность в России складывалась иначе, чем в Западной Европе. Если там она возникла в результате завоевания, «в силу покоряющего меча», то у нас она формировалась на мирной основе.

В Италии Тургенев не случайно близко сошелся с князем В. А. Черкасским, который, в отличие от «государственников», рассматривал исторические факты борьбы Российского государства с дворянской фрондой не в пользу централизации, а в пользу восстановления «здоровых нравственных норм» средневековой жизни, когда произвол самодержавия ограничивался боярской думой и земским собором. Черкасский называл себя «другом просвещенного дворянства» и ратовал за расширение его прав в местном самоуправлении. Правда, Тургеневу казалось, что Черкасский несколько идеализирует современное состояние русского дворянства, недооценивая опасность реакционной партии «плантаторов». Тургенев разделял тревоги Николая Ивановича Тургенева, который относился к дворянству критически и видел исторические корни дворянских слабостей в отрыве значительной части высшего сословия от народа. Именно этот отрыв и являлся, по Тургеневу, главным затруднением России на путях цивилизации и прогресса. Пришла пора повернуться лицом к лицу к насущным потребностям народа и, опираясь на современную науку и европейскую культуру, сосредоточить все усилия на дальнейшем развитии своего отечества. Это желание росло в Тургеневе с каждым днем. Он вспоминал о том, что наиболее чуткие в нравственном отношении девушки из дворянского общества давно ощущали противоестественность принятого в их кругу образа жизни. Так, дальняя родственница, молодая поэтесса Елизавета Никитична Шахова в возрасте 28 лет оставила свет и постриглась в монахини Тверского Рождественского монастыря. Какой душевной силой надо было обладать, чтобы отречься от всех благ дворянского сословия и целиком отдаться служению тем нравственным идеалам, которые понятны народу, ценимы им. Да и мало ли примеров подобного самоотвержения видел Тургенев вокруг. Та же великая княгиня Елена Павловна, с которой он тесно сошелся в Италии, подтверждала всей жизнью своею заветные мысли Тургенева периода работы над «Дворянским гнездом». Дочь вюртенбергского принца

Павла, *она принадлежала к самой высокой европейской* аристократии. Избранная в невесты великому князю Михаилу Павловичу, она прибыла в Россию в 1823 году, и уже в первый день Карамзин услышал, что она читала его «Историю государства Российского» в подлиннике, а с Шишковым она говорила о славянском языке, обнаруживая живой интерес к русской культуре и основательное знакомство с нею. В 1854 году, во время Крымской войны, она основала Крестовоздвиженскую общину сестер милосердия и обнародовала воззвание о помощи больным и раненым ко всем русским женщинам. Она превратила свой дворец в склад вещей и медикаментов, по ее инициативе был отправлен в Севастополь отряд врачей во главе с Пироговым. И теперь она оказалась одной из первых в аристократическом кругу сторонниц отмены крепостного права. Елена Павловна использовала все связи и все личное влияние для того, чтобы склонить Александра II к этому историческому шагу.

Так можно ли всерьез считать, что дворянская аристократия была лишь паразитической прослойкой общества во все эпохи и все времена? И стоит ли категорически утверждать, что в нынешнее, ответственное для России время дворянство не в состоянии проникнуться общенациональными интересами и отречься от праздности и узкосословных, эгоистических страстей? Сама жизнь убеждала Тургенева в том, что категоричность оценок и суждений либералов-государственников нуждалась в серьезных поправках во имя полной правды.

Сделанное Александром II 30 марта 1856 года предложение московскому дворянству обдумать, как лучше уничтожить крепостное право *сверху*, не повело к решительным шагам. Негласный комитет занимался обычным в бюрократических кругах переливанием из пустого в порожнее. Люди крепостнических убеждений по-прежнему ссылались на невозможность придумать что-либо для практического осуществления этого намерения. И вот в то время, когда министр внутренних дел Ланской докладывал государю, что дворянство не желает ничего предпринимать для улучшения быта своих крестьян, отговариваясь тем, что не может придумать, с чего начать первые практические шаги, — в дело вмешалась великая княгиня Елена Павловна. Она решила собственным примером показать, какие практические начала должны быть положены для преобразования крестьянской жизни. У нее было большое поместье «Карловка» в Полтавской губернии, объединявшее 12 селений и деревень. Этих крестьян она и решила отпустить на волю, предоставив право выкупа части состоящей в их пользовании земли в размере, необходимом для их существования. Она обратилась за помощью к Николаю Алексеевичу Милютину, которого знала еще с 1846 года, когда Милютин был занят проведением реформы городского самоуправления. Уже тогда она высоко оценила его способности и непоколебимые антикрепостнические убеждения. В «Карловке» было организовано четыре общества со своим управлением и судом. Обществам была отдана 1/6 часть всей помещичьей земли с платою 2 рубля в год за десятину и с правом выкупа за взнос 50 рублей с десятины. Елена Павловна решила предложить такие же преобразования другим помещикам Полтавской губернии. Милютин изучил этот опыт и написал для передачи государю записку «План действий для освобождения в Полтавской и смежных губерниях крестьян тех помещиков, которые сами того пожелают». План получил одобрение Александра II. Тогда Милютин составил список лиц, заинтересованных в освобождении, и обратился к ним с просьбой представить свои предложения. Так, среди прочих в портфеле Милютина оказалась записка К. Д. Кавелина.

В начале октября 1856 года Елена Павловна получает от Милютина подготовленную совместно с Кавелиным записку «Предварительные мысли об устройстве отношений между помещиками и их крестьянами», в которой уже говорилось о необходимости освобождения крестьян с землёй, сопровождаемого выкупной операцией и предварительным обсуждением вопроса в губернских комитетах. Александр II счел правительственные указания на этот счет преждевременными.

Тогда Елена Павловна обратилась к видному дворянину Полтавской губернии Льву Викторовичу Кочубею, предлагая ему учредить общество из благомыслящих помещиков губернии для обсуждения крестьянского вопроса, а сама приступила к преобразованиям в «Карловке», а также в своих имениях Черниговской, Курской и Харьковской губерний. Она понимала, что освобождение 15 тысяч душ, сделанное членом императорского дома, послужит нравственным примером и будет важным событием внутренней жизни России.

Большую помощь великой княгине оказывала баронесса Эдита Федоровна Радэн. В ее скромной квартире Михайловского дворца Тургенев просиживал долгие пе-

тербургские вечера в окружении И. С. Аксакова, Ю. Ф. Самарина, К. Д. Кавелина...

Накануне перемен, которые вызревали на родине, жизнь за границей становилась невыносимой: «...Душа моя, все мысли мои в России; мне противно это нерешительное, переходное состояние», — писал Тургенев.

...Наконец из Петербурга в Рим приходят радостные вести: издан указ об организации губернских комитетов для обсуждения проекта реформы и выработаны конкретные предложения по ликвидации крепостного права. От слов и туманных обещаний правительство перешло к практическим шагам по осуществлению заветной мысли Тургенева. «Вы совершенно правы, — пишет он Толстому 17 января 1858 года, — что известия из России заставят меня вернуться... Не стану Вам говорить, как сильно это на меня действует — этого на бумаге высказать нельзя. Давно ожиданное сбывается — и я счастлив, что дожил до этого времени».

Тургенев принимает самое деятельное участие в обсуждении предстоящей реформы в кружке русских людей, собирающихся у проживавшей тогда в «вечном городе» великой княгини Елены Павловны. Кроме Тургенева и Боткина, в кружок входят будущие активные деятели реформы: князь В. А. Черкасский, граф Н. Я. Ростовцев, князь Д. А. Оболенский. На сходках произносятся целые доклады, особым красноречием и страстностью отличаются речи князя Черкасского.

Великая княгиня заменяет русским либералам в Риме все газеты и все журналы: их не выписывало даже посольство, считавшее, очевидно, излишним получать хоть одну печатную русскую строку. Елена Павловна регулярно и скоро получала в Риме самые последние политические известия из Петербурга и давала исчерпывающую информацию о том, как смотрят на дело официальные круги.

«Дух захватывает, когда думаешь о том, какое великое дело делается теперь в России, — пишет Фету Боткин. — С тех пор, как я прочел в «Nord» рескрипты и распоряжения о комитетах, — в занятиях моих произошел решительный перелом, — уже ни о чем другом не думается и не читается, и постоянно переносишься мыслью в Россию. Да, и даже вечная красота Рима не устояла в душе, когда заговорило в ней чувство своей родины».

В конце декабря Тургенев получает письмо от С. Т. Аксакова, исполненное глубокой тревоги: «У нас нет ничего готового: ни местных сведений, ни статистических описаний, ни экономических планов, никаких предварительных трудов, и что всего хуже — нет согласия между собою. Корабль тронулся, и у нас закружилась голова. Мы не только не столковались между собою, но мы еще и не думали о деле серьезно. Письменное и еще более изустное слово имеют теперь большое значение; теперь надобно говорить направо и налево, объяснять трудный и запутанный предмет и по возможности упрощать его понимание».

Тургенев целиком и полностью разделяет заботы своего старого друга. В крутую и решительную минуту жизни страны он пытается стать одним из организаторов всероссийского объединения всех антикрепостнических сил. В Риме он разрабатывает проект журнала «Хозяйственный указатель», составляет официальную записку, получившую одобрение в кружке Елены Павловны, и посылает ее на рассмотрение властей. Он старается убедить правительство, что в ответственный исторический момент дворянство плохо организовано и не готово к реформе. За целые века владения крепостными крестьянами дворяне не сумели приобрести самых элементарных навыков культурного хозяйствования на земле, их сведения в финансовой, административной, экономической областях совершенно неудовлетворительны. Нужен живой печатный орган для обсуждения и разъяснения новых вопросов, связанных с реформой. Задачу своего журнала он видит в «возбуждении и призвании всех живых общественных сил» на общее дружное дело подготовки реформы. Писателю хочется верить, что его голос будет услышан, что он выражает «единодушное мнение» всех просвещенных людей России.

Жизнь покажет другое: в благородных, но утопических стремлениях «связать лучшие силы» национальной жизни «воедино и направить их к великой цели» Тургенев останется одиноким.

Когда в зарубежном органе русского правительства — газете «Nord» — Тургенев прочел, что на официальном обеде московских профессоров и литераторов в связи с обнародованием рескриптов были представлены все литературные партии, кроме славянофилов, он глубоко возмутился и направил в эту газету специальную заметку. Он обвинял редакцию газеты в том, что она вводит пуб-

лику в заблуждение относительно истинного состояния умов в России. Общественная мысль страны в главном вопросе едина, и в интересах газеты устранить недоброжелательный тон по отношению к славянофилам. Тургенев заявлял, что «славяне никогда не оставались чужды подготовляющемуся движению». «Зачем же изображать перед Европой некий разлад, которого, по счастию, в действительности нет?»

Именно с такими оптимистическими общественными настроениями Тургенев возвращался в Россию. Ушла на второй план личная неустроенность, душевная драма. Нужно было смириться, подавить в себе голос тревожных страстей, отказаться от бесплодной погони за личным счастьем. Россия требовала от своих сынов исполнения сурового общественного долга.

Эти мотивы глухо прозвучали еще в повестях о трагическом смысле природы и любви, созданных до января 1858 года и явившихся своего рода прелюдией к роману «Дворянское гнездо», который Тургенев завершил осенью 1858 года в Спасском-Лутовинове.

«Поездка в Полесье» открывается мыслью о ничтожестве человека перед лицом всемогущих природных стихий. Сталкиваясь с их властью, герой остро переживает свое одиночество, свою обреченность. Есть ли спасение от этого одиночества? Есть: оно заключается в обращении к трудам и заботам жизни. Рассказчик наблюдает за простыми людьми, воспитанными первобытной природой Полесья. Таков его спутник Егор, человек неторопливый и сдержанный в проявлении своих чувств и страстей. Судя по всему, он перенес немало невзгод и жизнь его не слишком баловала, но Егор предпочитает молчать об этом. От постоянного пребывания наедине с природой «во всех движениях Егора замечалась какая-то скромная важность — важность старого оленя»; у этого великого «молчальника» «тихая улыбка» и «большие, честные глаза».

Именно общение с людьми из народа открывает одинокому интеллигенту-рассказчику скрытый смысл в жизни природы: «Тихое и медленное одушевление, неторопливость и сдержанность ощущений и сил, равновесие здоровья в каждом отдельном существе — вот самая ее основа, ее неизменный закон, вот на чем она стоит и держится. Все, что выходит из-под этого уровня — кверху ли, книзу ли, все равно — выбрасывается ею вон, как негодное». Так формируется тургеневская концепция русского национального характера: недоверие к бурным страстям и порывам, мудрое спокойствие, сдержанное проявление духовных и физических сил.

В «Фаусте» и «Асе» Тургенев развивает тему трагического значения любви. Н. Г. Чернышевский в статье «Русский человек на rendez vous», посвященной разбору повести «Ася», споря с Тургеневым, пытался доказать, что в несчастьях рассказчика повинны не роковые законы любви, а он сам как типичный «лишний человек», у которого слово расходится с делом и который пасует всякий раз, когда жизнь требует от него решительного поступка. Разумеется, Тургенев был далек от такого понимания смысла своей повести. У него герой невиновен в своем несчастье. Его погубила не душевная дряблость, а своенравная сила любви, перед властью которой беззащитен любой человек. В момент свидания герой еще не был готов к решительному признанию. Любовь к Асе вспыхнула в нем с неудержимой силой несколько мгновений спустя. Она запоздала — и счастье оказалось недостижимым, а жизнь разбитой.

В повести «Фауст» любовь, подобно природе, напоминает человеку о силах, стоящих над ним, и предостерегает от чрезмерной самоуверенности и безоглядного самодовольства. Она учит человека готовности к самоотречению, мудрой сдержанности ощущений и сил. Вот почему эпиграфом к повести Тургенев берет слова из гетевского «Фауста»: «Der Mensch ist nicht geboren frei zu sein».

В повестях о трагическом значении любви и природы зреет мысль Тургенева о нравственном долге, которая получит социально-историческое обоснование в романе «Дворянское гнездо». В погоне за личным счастьем человек не должен упускать из виду требований нравственного долга, забвение которого уводит личность в пучины индивидуализма и влечет за собой неминуемое возмездие в лице неизменных и вечных законов природы, стоящих на страже мировой гармонии.

НАДЕЖДЫ И СОМНЕНИЯ. «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»

Вернувшись в июне 1858 года в Россию, Тургенев задержался в Петербурге недолго. Он спешил в Спасское с твердым желанием заняться хозяйством и упрочить быт

своих крестьян. На обеде в ресторане Донона чествовали художника Александра Иванова, который привез в Россию завершенное детище — картину «Явление Христа народу». Тургенев вспоминал, как он встретил художника в Петербурге на площади Зимнего дворца среди беспрестанно набегавших столбов той липкой сорной пыли, «которая составляет одну из принадлежностей нашей северной столицы». Иванов с озабоченным видом отвечал на его приветствие, «он только что вышел из Эрмитажа; морской ветер крутил фалды его мундирного фрака; он щурился и придерживал двумя пальцами свою шляпу. Картина его была уже в Петербурге и начинала возбуждать невыгодные толки».

На обеде присутствовали многие из членов редакции «Современника». С распростертыми объятиями встретил Тургенева Некрасов. Он хотел поделиться с другом новыми планами издания. Важные события, которые происходили в России, требовали от руководителей журнала более четкой общественной позиции. Но Тургенев еще не был посвящен в серьезные внутренние разногласия, возникшие в его отсутствие среди либеральных и революционно-демократических группировок в редакции «Современника». Одержимый идеей единства, он был взволнован другим: поднимала голову реакция, удалены из дворца либерально мыслящие воспитатели наследника престола В. П. Титов и К. Д. Кавелин, в министерстве народного просвещения подал в отставку князь Г. А. Щербатов.

— Реакция расправляет плечи — вот что страшно, Некрасов. Мне рассказывали в Париже, какую речь держал недавно перед вами, редакторами, министр просвещения Е. П. Ковалевский: «Я, дескать, стар — и с препятствиями не могу бороться, меня только выгонят — а вам, господа, хуже может быть». Ведь умолял же он вас быть крайне осторожными?

— Вы преувеличиваете опасность консервативной партии. Бояться их не следует, — отвечал Некрасов.

— Мне тоже хотелось бы так думать. Что ни делай, — камень покатился под гору — и удержать его нельзя. Но всё же, всё же... Александр Николаевич окружен именно такими людьми и, может быть, даже худшими, чем мы предполагаем. В таких обстоятельствах нам всем нужно держаться за руки, дружно и крепко, а не заниматься дрязгами и мелкими разногласиями, — наставительно заметил Тургенев и перевел разговор к давно волновавшему его вопросу:

— Кстати, скажите мне, наконец, кто такой «-лайбов», статьи которого в «Современнике», несмотря на их однолинейность и суховатость, дышат искренней силой молодого, горячего убеждения? Я с интересом прочел его статью о «Собеседнике любителей российского слова»: только проницательный ум мог столь легко извлечь из событий прошлого урок, полезный для современности. Так умел говорить об истории покойный Тимофей Николаевич Грановский, и статьи вашего«-лайбова» мне напомнили его светлый облик.

— Как я рад, что вы оценили талантливого юношу! Его пригласил к сотрудничеству Чернышевский. Это Николай Александрович Добролюбов, молодой человек, выходец из духовного сословия, выпускник педагогического института. Я уверен, что знакомство с ним доставит вам истинное удовольствие, — торопливо и увлеченно говорил Некрасов.

— Я буду рад с ним познакомиться, но вот что меня настораживает, Некрасов, не принимает ли наш журнал в последнее время слишком однобокий и суховатый характер. Я уважаю Чернышевского за его образованность и ум, за твердость и силу убеждений. Но как далеко ему до Белинского, который учил своими статьями понимать и чувствовать искусство, воспитывал в читателях взыскательный эстетический вкус. Мы растеряли в последнее время все это. Во Флоренции я встретился с Аполлоном Григорьевым и, как мальчишка, проводил с ним в беседах и спорах целые ночи. Он, конечно, впадает в славянофильские крайности, и это его беда. Но какая энергия, какой темперамент, и, главное, какой эстетический вкус, благородство, готовность к самопожертвованию во имя высокого идеала! Он живо напомнил мне покойного Белинского. Почему бы нам не привлечь его к сотрудничеству в журнале? Его статьи уравновесили бы критический отдел, внесли бы в него живость и эстетический блеск. Они служили бы прекрасным дополнением к умным, но сухим работам Чернышевского. Право, подумайте об этом, Некрасов! Ведь вам писал Боткин? Подумайте не спеша, а по возвращении моем из Спасского осенью мы все это обстоятельно и подробно обсудим. Вопрос настолько важен, что всякая спешка может лишь повредить. Нам важно сейчас объединиться в борьбе с общим врагом, который, увы, многолик и коварен. В Париже я был на обеде у нашего посланника П. Д. Киселева. Присутствовали там все русские люди,

кроме одного... Это был француз Геккерн... Да, да, тот самый Дантес, убийца нашего Пушкина. Он любимчик Луи Наполеона, этого новоявленного французского цезаря. Меня возмутило полное презрение нашего сановника к русской культуре и русскому народу. Вот оно, лицо нашей придворной аристократии, окружающей государя, вот подлинные наши враги, Некрасов. Я, конечно, сообщил этот факт Герцену, и в «Колоколе» должна появиться уничтожающая подлых реаков заметка. Ну найдите мне пошехонцев, ирокезов, лилипутов, наконец, которые имели бы меньше такта!

...Он торопился на родину в надежде застать там в полном разгаре выборы в губернский комитет по крестьянскому делу. Важно было подействовать на местное дворянство своим авторитетом и добиться, чтобы в комитет попали достойные, либерально настроенные люди. На другой день по приезде в Спасское Тургенев отправился в Орел. Но на комитетские выборы, к великой своей досаде, опоздал: «они уже были кончены — весьма скверно, как оно и следовало ожидать: благородное дворянство выбрало людей самых озлобленно-отсталых». «Едва ли не единственным представителем прогресса в Орловском комитете — как и в других комитетах — будет лицо, назначенное правительством, — а именно Ржевский, — писал Тургенев В. А. Черкасскому. — В странное время мы живем! — Слышанные мною в Орле и в других местах слова и мнения представляют мало отрадного».

В глазах Тургенева главным препятствием на пути реформ оказывалось реакционное дворянство, а прогрессивной силой общества — Александр II с небольшой прослойкой культурных дворян, не имевших большинства, а следовательно, и решающего голоса в губернских комитетах. Все это было очень грустно.

Орёл навеял Тургеневу смутные детские воспоминания. Блуждая по знакомым зеленым улицам, он вышел на крутой берег Орлика. Деревянный особнячок завершал глухую, утопавшую в садах улочку. Тургенев зашел во двор и погрузился в тишину огромного сада. Зеленой стеной стояли в нем высокие липы; то здесь, то там встречались сплошные заросли сирени, бузины, орешника. «Светлый день клонился к вечеру, небольшие розовые тучки стояли высоко в небе и, казалось, не плыли мимо, а уходили в самую глубь лазури», — складывались в душе Тургенева первые строки «Дворянского гнезда».

А потом состоялось трехдневное свидание с Марией Николаевной Толстой в Ясной Поляне — грустное свидание, всколыхнувшее старые, угасшие мечты. Лучистые глаза ее уже не светились былым ласкающим блеском. Была в них какая-то отрешенность и отдаленность от мирских дел и земных тревог. Тихий, светлый образ Лизы Калитиной все более детально и подробно прояснялся в сознании Тургенева под влиянием этой встречи. А Толстой записал в своем дневнике: «Тургенев скверно поступает с Машей».

В Спасском «были прекрасные ночи, величественные, тихие и ясные, с большим хвостом кометы, сверкающим таинственно в небе». И охота, русская охота! К июлю молодые тетерева поднялись на крыло и выпустили перья, отличающие рябку от черныша. Забеспокоилась любимая охотничья собака по кличке Бубулька. Она всегда спала в кабинете Тургенева на тюфячке, покрытая от мух и холода фланелевым одеялом, а в теплые дни — широкой французской газетой. Когда газета с нее сползала, Бубулька подходила к кровати хозяина и бесцеремонно толкала его лапой. «Вишь ты, какая беспокойная собака! — ворчал Тургенев. — Скоро, Бубулька, скоро!»

8 июля в Спасское приехал А. А. Фет. Начались сборы на охоту. За день до отъезда господ отправился на место верный слуга Афанасий. Следом за ним в Жиздринский уезд Калужской губернии пустились Фет и Тургенев. Ночевали в Болхове на постоялом дворе, хозяин которого нипочем не хотел пускать Бубульку в отведенные для господ комнаты. Пришлось Тургеневу применить все дипломатические способности, чтобы уговорить упрямого мужика. Собаку свою он очень любил. Когда-то ее ласкала мадам Виардо, приговаривая «Бубуль, бубуль», — откуда и пошло ее имя. Тургенев уверял Фета, что Бубулька, «со скорым, верным и в то же время осторожным поиском» соединяла «рассудок, граничащий с умозаключениями». Фет только посмеивался недоверчиво, но вскоре убедился в правоте приятеля.

Однажды собака привела Фета и Тургенева к оврагу, поросшему кустарником, с такой осторожностью, что друзья не сомневались: впереди большой выводок куропаток. К великой досаде, подход оказался неудобным. Взлетев в кустах, куропатки непременно полетят вдоль

оврага, по самому дну, защищенному кустами. Собака застыла в стойке, обращая к кустам раздувающиеся ноздри. «Бубуль, але!» — вполголоса скомандовал Тургенев. Бубулька оставалась задумчиво-неподвижной. И вдруг, после настойчивых понуканий, она бросилась, но не в кусты, а в сторону, в обход. «Что за притча? — прошептал Тургенев. — Надо обождать». Но в ту же минуту большое стадо куропаток с треском и чиликаньем взлетело над их головами. Последовало четыре выстрела...

— Ведь это плакать надо от умиления! — восклицал Тургенев. — Умнейший человек не мог бы ничего лучшего придумать, как, спустившись на дно оврага, гнать куропаток на нас из кустов на чистое поле!»...

«Нельзя не вспомнить наших привалов в лесу. В знойный июльский день при совершенном безветрии открытые гари, на которых преимущественно держатся тетерева, напоминают своею температурой раскаленную печь, — вспоминал А. А. Фет. — Но вот проводник ведет вас на дно изложины, заросшей и отененной крупным лесом. Там между извивающимися корнями столетних елей зеленеет сплошной ковер круглых листьев, и когда вы раздвинете их прикладом или веткою, перед вами чернеет влага, блестящая, как полированная сталь. Это лесной ручей. Вода его так холодна, что зубы начинают ныть, и можно себе представить, как отрадна ее чистая струя изнеможенному жаждой охотнику. Если кто-либо усомнится в том, как трусивший холеры Тургенев упивался такою водою, то я могу рассказать о привале в этом смысле гораздо более изумительном.

После знойного утра, в течение которого неудачная охота заставляла еще сильнее чувствовать истому, небо вдруг заволокло, листья, как кипящий котел, зашумели порывистым ветром, и косыми нитями полился ледяной, чисто осенний дождик. Случайно мы были с Тургеневым недалеко друг от друга и потому сошлись и сели под навесом молодой березы. При утомительной ходьбе по мхам и валежнику мы, конечно, старались одеваться как можно легче, и понятно, что наши парусиновые сюртучки через минуту прилипли к телу. Но делать было нечего. Мы достали из ягдташей хлеба, соли, жареных цыплят и свежих огурцов и, предварительно пропустив по серебряному стаканчику хереса, принялись закусывать под проливным дождем. Снявши с себя фуражку, я с величайшим трудом ухитрился закурить папироску,

охраняя ее в пригоршне от дождя. Мокрые, на мокрой земле, мы сидели под проливным дождем...

Через час дождик перестал, и мы, потянувши к нашим лошадям, вскоре обсохли.

Нельзя не вспомнить с удовольствием о наших обедах и отдыхах после утомительной ходьбы. С каким удовольствием садились мы за стол и лакомились наваристым супом из курицы, столь любимым Тургеневым, предпочитавшим ему только суп из потрохов. Молодых тетеревов с белым еще мясом справедливо можно назвать лакомством; а затем Тургенев не мог без смеха смотреть, как усердно я поглощал полные тарелки спелой и крупной земляники. Он говорил, что рот мой раскрывается «галчатообразно».

После обеда мы обыкновенно завешивали окна до совершенной темноты, без чего мухи не дали бы нам успокоиться. Непривычные спать днем, мы обыкновенно предавались болтовне. В этом случае известные стихи «Домика в Коломне» можно пародировать таким образом:

.....много вздору
Приходит нам на ум, когда *лежим*
Одни или с товарищем *иным*...

— А что, — говорит, например, Тургенев, — если бы дверь отворилась и вместо Афанасия вошел бы Шекспир? Что бы вы сделали?

— Я старался бы рассмотреть и запомнить его черты.

— А я, — восклицает Тургенев, — упал бы ничком да так бы на полу и лежал.

Зато как сладко спалось нам ночью после вечернего поля, и нужно было употребить над собою некоторое усилие, чтобы подняться в пять часов утра, умываясь холодной как лед водою, только что принесенной из колодца. Тургенев, видя мои нерешительные плескания, сопровождаемые болезненным гоготаньем, утверждал, что видит на носу моем неотмытые следы вчерашних мух».

Фет был свидетелем и хозяйственной деятельности Тургенева. Он вспоминал, что заброшенная усадьба Лаврецкого точно соответствовала тургеневскому имению Топки. «Описание старого флигеля, в котором мы останавливались, верное в тоне, весьма преувеличено пером романиста. По раскрытии ставней мухи действительно оказались напудренными мелом, но никаких штофных диванов, высоких кресел и портретов я не видал. А в одной из пустых комнат, вместо упоминаемой кровати

под пологом, я увидал ткацкий станок, на котором крепостной ткач работал прекрасную пестрядь. Правда, что, худо ли, хорошо ли, нам приготовили обед, и старый слуга Антон, принарядившись в серый сюртучок, надел белые вязаные перчатки».

Наутро явились крестьяне, и Фет был свидетелем хозяйственных распоряжений либерального Тургенева: «Красивые и видимо зажиточные крестьяне без шапок окружали крыльцо, на котором он стоял и, повернувшись к стенке, царапал ее ногтем. Какой-то мужик ловко подвел Ивану Сергеевичу о недостаче у него тягольной земли и просил о прибавке таковой. Не успел Иван Сергеевич обещать мужику просимую землю, как подобные настоятельные нужды явились у всех, и дело кончилось раздачей всей барской земли крестьянам».

Тургенев уезжал из Топков с чувством глубокого удовлетворения, с сознанием исполненного долга. Но не ведал либеральный «хозяин» Спасского, что его распоряжения обращаются усилиями трезвого дядюшки-управляющего в комическую забаву по русской пословице — «чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало». «Само собой разумеется, — продолжает свои записки цепкий деревенский помещик А. А. Фет, — что дело оставалось на этом основании до отъезда Ивана Сергеевича за границу и приезда Николая Николаевича Тургенева в Топки. С каким добросердечным хохотом говорил он мне впоследствии:

— Неужели, господа писатели, все вы такие бестолковые? Вы же с Иваном ездили в Топки и роздали мужикам всю землю, а теперь тот же Иван пишет мне: «Дядя, как бы продать Топки»? Ну что же бы там продавать, когда бы вся земля осталась розданною крестьянам?»

Обстоятельства веками складывавшихся отношений между барином и мужиком были сильнее новоявленного претендента на издание «Хозяйственного указателя», обладавшего к тому же искренней, незлоумышленной забывчивостью относительно всего, что касалось его собственных «хозяйственных» распоряжений. Дядюшка смотрел на своего племянника как на кратковременного гастролера, расстраивающего своевольной игрой крепкий быт и вековой уклад родного Спасского. По отъезде «чудака»-писателя в столицы и в Европу срочно штопались огрехи, причиненные племянником, благо многие его «распоряжения» и в глазах окрестных мужиков казались

временными барскими причудами. Фет приводит один из образцов разговора дяди-управляющего с мужиками той же усадьбы Топки.

«Спрашиваю двух мужиков-богачей, у которых своей покупной земли помногу:

— Как же ты, Ефим, не постыдился просить?

— Чего же мне не просить? Слышу, другим дают, чем же я-то хуже?»

Именно в это время Тургенев писал своим друзьям в Париж из Спасского: «Я вместе с дядей занимаюсь устройством своих отношений с крестьянами; с осени они все будут переведены на оброк, то есть я уступлю им половину земли за ежегодную арендную плату, а сам для обработки моих земель буду нанимать работников. Это будет только переходное состояние, впредь до решения комитетов; но ничего окончательного нельзя сделать до тех пор».

Покончив с делами в Спасском, Тургенев ездил в Тулу, чтобы помочь князю В. А. Черкасскому провести либеральных кандидатов на дворянских выборах в губернский комитет. Там он «много спорил, говорил, кричал», а вернувшись в Спасское, вновь отправился в Орел, чтобы присутствовать на заседаниях новоизбранного губернского комитета по крестьянскому делу.

Тургенев впервые жил столь напряженной деятельной жизнью. Он чувствовал себя героем дня, одним из главарей прогрессивной партии, одним из зачинателей великого исторического дела. Конечно, он имел на это полное моральное право, видел в этом свою святую обязанность. Наконец-то воочию сбывались светлые надежды и мечты его туманной юности, и даже сам государь, как ему сообщали люди, близкие ко двору, на одном из великосветских балов объявил, что желание освободить крестьян окрепло у него после чтения тургеневских «Записок охотника».

Тем не менее какие-то недобрые предчувствия омрачали этот праздник. Параллельно с бурной, деятельной жизнью Тургенев сочинял в уединенном кабинете элегически-грустные страницы «Дворянского гнезда». Наделенный редкой чувствительностью к общественным умонастроениям, он подспудно ощущал, по-видимому, некоторую театральность и призрачность совершавшейся у него на глазах дворянской комитетской говорильни. Возникали смутные сомнения и в собственных способностях стать одним из зачинателей совместного и дружного

усилия, согретого лучами «светосознательной мысли». Неспроста Лаврецкий отдавал преимущество молодой культурной поросли, людям нового склада, не отягощенным душеизнуряющим историческим опытом николаевского царствования. Часто возникала мысль о наследниках, призванных двинуть дело освобождения вперед. Где они? Кто они?

В ответ на унылое письмо юного поэта А. Н. Апухтина Тургенев пишет строки, просящиеся в эпилог «Дворянского гнезда»: «Если Вы теперь, в 1858 году, отчаиваетесь и грустите, что же бы Вы сделали, если б Вам было 18 лет в 1838 году, когда впереди все было так темно — и так и осталось темно? Вам теперь некогда и не для чего горевать; Вам предстоит большая обязанность перед самим собою: Вы должны *себя* делать, человека из себя делать — а там что из Вас выйдет, куда Вас поведет жизнь — это уже предоставьте Вашей природе: Вы будете правы перед самим собою. Думайте меньше о своей личности, о своих страданиях и радостях; глядите на нее пока как на форму, которую должно наполнить добрым и дельным содержанием; трудитесь, учитесь, сейте семена: они взойдут в свое время и в своем месте. Помните, что много молодых людей, подобных Вам, трудятся и бьются по всему лицу России; Вы не одни — чего же Вам больше? Зачем отчаиваться и складывать руки? Ну если другие то же сделают, что же выйдет из этого? — Вы перед Вашими (часто Вам неизвестными) товарищами нравственно обязаны не складывать руки».

Но ощущение нескладности, нелепости происходящего преследует Тургенева: выборы в губернские комитеты совершаются неорганизованно, лучшие из дворян оказываются не избранными и фактически опять же «лишними людьми». Во второй половине июля в Спасское приходит весть о скоропостижной смерти Александра Иванова. Говорили — от холеры. Но Тургеневу не верилось: «Что значит эта смерть? Уж полно, холера ли это? — Не отравился ли он?» И Тургенев вспоминал, что еще в Риме художника томили горькие предчувствия; что же? в сущности, они ведь и сбылись: дрянная газетная статья, для него оскорбительная, потом подчеркнуто-пренебрежительное отношение художников-академистов во главе с Ф. А. Бруни. Но если бы дело было только в них! Ведь Академия художеств возглавлялась сестрой государя Марией Николаевной, да и сам Александр II отнесся к картине холодно. «Нет, решительно: ни России, ни порядочным русским не везет!» А когда скончался В. Н. Шеншин, член правительства в Петербургском комитете по улучшению крестьянского быта и представитель Мценского уезда в Орловском губернском комитете, Тургенев писал Черкасскому: «Видно порядочные люди спешат убраться отсюда, видя, что здесь ничего путного не сделаешь».

Завершив работу над «Дворянским гнездом», Тургенев отправился в Петербург. В начале декабря П. В. Анненков прочел вслух этот роман в присутствии Некрасова, Дружинина, Писемского, Гончарова и Панаева. Сам Тургенев читать не мог: он был болен острым бронхитом, и врач запретил ему даже разговаривать. Роман приняли на «ура», без всяких замечаний, и опубликовали в первом номере «Современника» за 1859 год. Все прочили ему успех, но энтузиазм, вызванный им, превзошел всякие ожидания. Салтыков-Щедрин писал Анненкову, что давно не был так потрясен, Писарев назвал роман «самым стройным и законченным» из всех тургеневских созданий и поставил его в один ряд с «Евгением Онегиным», «Героем нашего времени», «Мертвыми душами».

«Дворянское гнездо» — это последняя попытка Тургенева найти героя времени в дворянской среде. Роман создавался в период первого этапа общественного движения 1860-х годов, когда революционеры-демократы и либералы, несмотря на существенные разногласия, еще выступали единым фронтом в борьбе против крепостного права. Но симптомы предстоящего разрыва, который произошел в 1859 году, глубоко тревожили чуткого Тургенева. Эта тревога отразилась в содержании романа: писатель понимал, что российское дворянство подходит к историческому рубежу, жизнь посылает ему последнее испытание. Способно ли оно в этих исторических условиях сыграть роль ведущей силы общества? Может ли оно искупить многовековую вину перед крепостным мужиком?

В облике главного героя Лаврецкого очень много автобиографического: рассказ о детских годах, о спартанском воспитании, о взаимоотношениях с отцом; раздумья повзрослевшего Лаврецкого о России, его желание навсегда вернуться на родину, осесть в своем «гнезде» и заняться устройством крестьянского быта, — все это очень близко настроениям Тургенева тех лет. И даже в разрыве Лаврецкого с женой, русской парижанкой Варварой Павлов-

ной, есть отголосок серьезной размолвки, которая произошла у Тургенева с Полиной Виардо.

Лаврецкий — это герой, объединяющий в себе лучшие качества патриотически и демократически настроенной части либерального дворянства. Он входит в роман не один: за ним тянется предыстория целого дворянского рода. Тургенев вводит ее в роман не только для того, чтобы объяснить характер главного героя. Предыстория укрупняет проблематику романа, создает необходимый эпический фон. Речь идет не только о личной судьбе Лаврецкого, а об исторических судьбах целого сословия, последним отпрыском которого является герой.

Раскрывая историю жизни гнезда Лаврецких, Тургенев резко критикует дворянскую беспочвенность, оторванность этого сословия от родной культуры, от русских корней, от народа. Таков, например, отец Лаврецкого: сперва галломан, потом — англоман, но во всех увлечениях — человек, глубоко презирающий Россию. Тургенев опасается, что дворянская беспочвенность может причинить России много бед. В современных условиях она порождает из их среды самодовольных бюрократов-западников, каким является в романе петербургский чиновник Паншин. Для паншиных Россия — пустырь, на котором можно осуществлять любые общественные и экономические эксперименты. Устами Лаврецкого Тургенев разбивает крайних либералов-западников по всем пунктам их головных, космополитических программ. Он предостерегает от опасности «надменных переделок» России с «высоты чиновничьего самосознания», говорит о катастрофических последствиях тех реформ, которые «не оправданы ни знанием родной земли, ни верой в идеал».

Лаврецкий в сравнении с Рудиным не испорчен односторонним философским воспитанием, не заражен чрезмерным самоанализом, истощающим интеллект и убивающим в человеке непосредственные ощущения жизни. В Лаврецком как бы соединены лучшие качества Рудина и Лежнева. Романтическая мечтательность уравновешивается трезвой положительностью, опирающейся на знание родной земли. Демократизм характера Лаврецкого подкрепляется и происхождением: его матерью была крепостная крестьянка. Многими чертами своего характера и даже некоторыми моментами жизненной судьбы Лаврецкий предвосхищает Пьера Безухова, героя толстовского романа-эпопеи «Война и мир».

Начало жизненного пути Лаврецкого ничем не отличается от типичного образа жизни людей дворянского круга. Лучшие годы тратятся впустую на светские удовольствия и развлечения, на женскую любовь, на заграничные путешествия. Как Пьер Безухов, Лаврецкий втягивается в этот омут и попадает в сети светской красавицы Варвары Павловны, за внешней красотой которой скрывается ничем не сдерживаемый эгоизм.

Обманутый женой, разочарованный, Лаврецкий круто меняет жизнь и возвращается домой. Лучшие страницы романа посвящены тому, как блудный сын обретает заново утраченное им чувство родины. Опустошенная душа Лаврецкого жадно впитывает в себя полузабытые впечатления: длинные межи, заросшие чернобыльничком, полынью и полевой рябиной, свежую, степную, тучную голь и глушь, длинные холмы, овраги, серые деревеньки, ветхий господский домик с закрытыми ставнями и кривым крылечком, сад с бурьяном и лопухами, крыжовником и малиной.

Исцеление Лаврецкого от суетных парижских впечатлений совершается не сразу, а по мере того, как душа его постепенно погружается в теплую глубину деревенской, русской глуши. Постепенно умирает в нем старый, суетный человек и рождается новый. Наступает момент полного растворения личности в течении тихой жизни, которая ее окружает: «Вот когда я на дне реки. ...И всегда, во всякое время тиха и неспешна здесь жизнь... кто входит в ее круг — покоряйся: здесь незачем волноваться, нечего мутить; здесь только тому и удача, кто прокладывает свою тропинку не торопясь, как пахарь борозду плугом. И какая сила кругом, какое здоровье в этой бездейственной тиши! Вот тут, под окном, коренастый лопух лезет из густой травы; над ним вытягивает зоря свой сочный стебель, богородицины слезки еще выше выкидывают свои розовые кудри; а там, дальше, в полях, лоснится рожь, и овес уже пошел в трубочку, и ширится во всю ширину свою каждый лист на каждом дереве, каждая травка на своем стебле».

Тургенев предостерегает: не спешите перекроить Россию на новый лад, остановитесь, помолчите, прислушайтесь. Учитесь у русского пахаря делать историческое дело обновления не спеша, без суеты и трескотни, без необдуманных, опрометчивых шагов.

Под стать этой величавой, неспешной жизни, текущей неслышно, «как вода по болотным травам», лучшие характеры людей из дворян и крестьян, выросшие на ее

почве. Такова Марфа Тимофеевна, старая патриархальная дворянка, тетушка Лизы Калитиной. Ее правдолюбие заставляет вспомнить о непокорных боярах эпохи Ивана Грозного. Такие люди не падки на модное и новое, никакие общественные вихри не способны их сломать.

Живым олицетворением родины, народной России является центральная героиня романа Лиза Калитина. Эта дворянская девушка, как пушкинская Татьяна, впитала в себя лучшие соки народной культуры. Ее воспитывала нянюшка, простая русская крестьянка. Книгами ее детства были жития святых. Лизу покоряла самоотверженность отшельников, угодников, святых мучениц, их готовность пострадать и даже умереть за правду. Лиза религиозна в духе народных верований: ее привлекает в религии не обрядовая сторона, а высокая нравственная культура, пронзительная совестливость, терпеливость и готовность безоговорочно подчиняться требованиям сурового нравственного долга.

Возрождающийся к новой жизни Лаврецкий вместе с заново обретаемым чувством родины переживает и новое чувство чистой, одухотворенной любви. Лиза является перед ним как продолжение глубоко пережитого, сыновнего слияния с животворной тишиной деревенской Руси. «Тишина обнимает его со всех сторон, солнце катится тихо по спокойному синему небу, и облака тихо плывут по нем». Ту же самую исцеляющую тишину ловит Лаврецкий в «тихом движении Лизиных глаз», когда «красноватый камыш тихо шелестел вокруг них, впереди тихо сияла неподвижная вода и разговор у них шел тихий».

Любовь Лизы и Лаврецкого глубоко поэтична. С нею заодно и свет лучистых звезд в ласковой тишине майской ночи, и божественные звуки музыки, сочиненной старым музыкантом Леммом. Но что-то настораживает читателя, какие-то роковые предчувствия омрачают его. Лизе кажется, что такое счастье непростительно, что за него последует расплата. Она стыдится той радости, той жизненной полноты, какую обещает ей любовь.

Здесь вновь входит в роман русская тема, но уже в ином, трагическом ее существе. Непрочно личное счастье в суровом общественном климате России. Укором влюбленному Лаврецкому является образ крепостного мужика: «С густой бородой и угрюмым лицом, взъерошенный и измятый, вошел» он «в церковь, разом стал на оба колена и тотчас же принялся поспешно креститься, закидывая назад и встряхивая голову после каждого поклона. Такое горькое горе сказывалось в его лице, во всех его движениях, что Лаврецкий решился подойти к нему и спросить его, что с ним. Мужик пугливо и сурово отшатнулся, посмотрел на него... «Сын помер», — произнес он скороговоркой и снова принялся класть поклоны...»

В самые счастливые минуты жизни Лаврецкий и Лиза не могут освободиться от тайного чувства стыда, от ощущения непростительности своего счастья. «Оглянись, кто вокруг тебя блаженствует, кто наслаждается? Вон мужик едет на косьбу; может быть, он доволен своей судьбою... Что ж? захотел ли бы ты поменяться с ним?» И хотя Лаврецкий спорит с Лизой, с ее суровой моралью, в ответах Лизы чувствуется убеждающая сила.

Катастрофа любовного романа Лизы и Лаврецкого не воспринимается как роковая случайность. В ней видится герою суровое предупреждение, возмездие за пренебрежение общественным долгом, за жизнь его отца, дедов и прадедов, за прошлое самого Лаврецкого. Как возмездие принимает случившееся и Лиза, решающая уйти в монастырь, совершая тем самым нравственный подвиг: «Такой урок недаром, — говорит она, — да я уж не в первый раз об этом думаю. Счастье ко мне не шло; даже когда у меня были надежды на счастье, сердце у меня все щемило. Я все знаю, и свои грехи, и чужие, и как папенька богатство наше нажил; я знаю все. Все это отмолить, отмолить надо. ...Отзывает меня что-то; тошно мне, хочется мне запереться навек».

В эпилоге романа звучит элегический мотив скоротечности жизни, стремительного бега времени. Прошло восемь лет, ушла из жизни Марфа Тимофеевна, не стало матери Лизы Калитиной, умер Лемм, постарел и душою и телом Лаврецкий. В течение этих восьми лет совершился, наконец, перелом в его жизни: он перестал думать о собственном счастье, о своекорыстных целях и достиг того, чего добивался, — сделался хорошим хозяином, выучился «пахать землю», упрочил быт своих крестьян.

Но все же грустен финал тургеневского романа. Ведь одновременно с этим, как песок сквозь пальцы, утекла в небытие почти вся молодая жизнь героя. Поседевший Лаврецкий посещает усадьбу Калитиных: «Он вышел в сад, и первое, что бросилось ему в глаза, — была та самая скамейка, на которой он некогда провел с Лизой несколько счастливых, не повторившихся мгновений; она почернела, искривилась; но он узнал ее, и душу его охва-

тило то чувство, которому нет равного и в сладости и в горести, — чувство живой грусти об исчезнувшей молодости, о счастье, которым когда-то обладал».

В финале романа герой приветствует молодое поколение, идущее ему на смену: «Играйте, веселитесь, растите молодые силы...» В эпоху 60-х годов такой финал воспринимали как прощание Тургенева с дворянским периодом русской истории. А в «молодых силах» видели «новых людей», разночинцев, которые идут на смену дворянским героям. Уже в «Накануне» героем дня оказался не дворянин, а болгарский революционер-разночинец Инсаров.

«Дворянское гнездо» имело самый большой успех, который выпадал когда-либо на долю тургеневских произведений. По словам П. В. Анненкова, на этом романе впервые «сошлись люди разных партий в одном общем приговоре; представители различных систем и воззрений подали друг другу руки и выразили одно и то же мнение. Роман был сигналом повсеместного примирения». Однако это примирение скорее всего напоминало затишье перед бурей, которая возникла по поводу следующего романа Тургенева «Накануне» и достигла апогея в спорах вокруг «Отцов и детей».

СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ

После «Дворянского гнезда» литературный авторитет Тургенева стремительно возрос. Вспоминали, что молодые писатели один за другим являлись к нему, приносили свои произведения и ждали приговора. Высокопоставленные светские особы и знаменитости всех родов искали свидания с ним и его знакомства. Но Тургенев не обольщался своими успехами: он понимал, что «Дворянское гнездо» было трогательным прощанием с жизнью, уходящей в историю. Анненков говорил, что «Тургенев, будучи жарким сторонником грядущих реформ», боялся всего более, что поэтический образ Лизы Калитиной, выросшей на почве старого крепостнического быта, «мог свидетельствовать еще и в пользу ее плодородности». Успех романа в светских кругах его не радовал. Поэтому уже в январе 1859 года писатель обдумывал план нового романа, призванного развеять возможные недоразумения насчет его общественной позиции.

Зимою 1859 года, на вечерах у Э. Ф. Радэн, Тургенев

часто встречался с Николаем Алексеевичем Милютиным. Он был знаком с Милютиным давно: в начале 1840-х годов они вместе служили в министерстве внутренних дел. Уже тогда Милютин проявил незаурядные государственные способности. В 1846 году он разработал законодательный проект по реформе городского самоуправления на либерально-демократических основах. Теперь же Милютин был товарищем министра внутренних дел С. С. Ланского и фактическим руководителем работ по подготовке крестьянской реформы. Именно Милютин сыграл решающую роль в рассылке рескрипта на имя генерала Назимова в ноябре 1857 года всем губернаторам и губернским предводителям дворянства. Крепостническая партия принимала тогда все меры, чтобы рескрипт не был опубликован. Но министр внутренних дел вместе с Милютиным, служившим директором хозяйственного департамента, предвидя сопротивление, в одну ночь напечатали рескрипт, разослав его по губерниям. И когда утром пришло приказание повременить с распространением этого государственного документа, было уже поздно: корабли у крепостников оказались сожженными.

8 января 1858 года секретный комитет по подготовке реформы был переименован в Главный, а в начале 1859 года при нем учреждалась редакционная комиссия под председательством Я. И. Ростовцева, который чувствовал себя не вполне подготовленным и во всем доверялся Милютину. Крепостники предпринимали всяческие усилия, чтобы дискредитировать Милютина в глазах государя. Распространялись слухи, что этот человек почище любого Робеспьера, в реакционных придворных кругах Милютин получил кличку «красного и революционера». Однако по своим убеждениям это был умеренный либерал-государственник. В личной беседе с Александром II Милютин сказал:

— О революционерстве позволительно было мечтать в молодости и при совершенно других условиях. Ныне же, когда я успел поседеть в борьбе с произволом и неразвитостью высших слоев нашего общества, которое при конституционном правлении создало бы у нас деспотизм олигархии, чего я для своего отечества вовсе не желаю, ныне, когда правительство либеральнее самого общества и вводит в свою программу освобождение крестьян, — исчезает всякий оппозиционный дух.

Александр II после этой встречи подписал указ о назначении Милютина товарищем министра внутренних

дел, однако не без колебаний и с припиской на резолюции — «временно». Эта приписка явилась поводом для злорадных шуток крепостников над Милютиным: придворные остряки называли его «временно-постоянным». Благодаря закулисным махинациям и интригам крепостников, царь никогда не относился к Милютину с полным доверием. И только покровительство великой княгини Елены Павловны и великого князя Константина Николаевича, человека либеральных убеждений, решительного сторонника крестьянской реформы, спасало Милютина от опалы.

В разговорах с Тургеневым Милютин заявлял, что правительство в настоящий момент гораздо «левее», либеральнее дворянского общества. Значительная группа помещиков вообще не высказывает никакого сочувствия освобождению крестьян и руководствуется только личными, материальными выгодами. Рожденные и воспитанные в условиях крепостного права, они ждут от реформы неминуемых потерь. Напуганное воображение рисует им картины нищеты и разорения их самих и их потомков. И хотя формально все губернские комитеты постановили отменить крепостное состояние, под разными видами они же пытались удержать дворянские права. Сначала хотели остановить работу по подготовке реформы, запугивая правительство и бюрократические верхи крестьянским бунтом, слухами о том, что сторонники освобождения вынашивают планы демократической революции в России. Теперь же, когда убедились, что остановить реформу невозможно, они стараются сделать ее выгодной только помещикам: домогаются выкупа за личность крестьянина, возлагая его или на самих крестьян, или на правительство, или на все сословия государства; борются за сохранение барщины и своей власти над крестьянами; стремятся всячески урезать земельные наделы крестьян и ограничить пользование надельной землей двенадцатилетним сроком, а если можно, то и вовсе лишить крестьян надела.

Не лучше вела себя и богатая земельная аристократия. На первый план она ставила сохранение и защиту сословных интересов помещиков и выступала за создание дворянской поземельной аристократии вроде английской и за введение вместо дворянской собственности на крепостных началах такой же собственности на началах феодальных. За предоставление крестьянам усадебной земли и полевых наделов они требовали введения помещичьих

«вотчинных прав», напоминающих средневековые привилегии дворянства Западной Европы. Но наделение крестьян землей с их стороны — вынужденная уступка, истинное их желание — освободить мужиков без всяких наделов.

Только незначительная группа дворян желала полного уничтожения крепостного права. По итогам деятельности губернских дворянских комитетов выяснилось, что эта группа составляла большинство лишь в Тверском, Харьковском и Киевском губернских комитетах, а в остальных губерниях им не удалось занять лидирующего положения. Сочувствуя планам правительства, стремясь оградить личность крестьянина от произвола и выступая за прочное обеспечение крестьян землею, они расходились в некоторых частных вопросах, но единодушно защищали полную отмену помещичьей власти и выкуп обязательный или необязательный всего или части надела в личную собственность на условиях умеренных.

Соглашаясь с Кавелиным, Милютин утверждал, что никакой другой конституции, кроме узко дворянской, в настоящее время в России невозможно. Он считал наивными мечты Константина Аксакова о Земском соборе. В нынешней исторической ситуации этот Собор будет удовлетворять лишь дворянские интересы, а не «общенародные мнения».

К марту 1859 года Милютин добился привлечения к работе редакционных комиссий людей практического опыта, «экспертов», зарекомендовавших себя в губернских комитетах решительными сторонниками освобождения. В их число вошли Ю. Ф. Самарин, кн. В. А. Черкасский, Г. П. Галаган, В. В. Тарновский. Приглашая к сотрудничеству Самарина, Милютин писал: «Отбросьте все сомнения и смело приезжайте. Мы будем, конечно, не на розах: ненависть, клевета, интриги всякого рода, вероятно, будут нас преследовать. Но именно поэтому нельзя нам отступать перед боем, не изменив всей прежней нашей жизни».

Они действительно оказались «не на розах»: в состав редакционных комиссий вошло немало крепостников: граф П. П. Шувалов, кн. Ф. И. Паскевич и многие другие. Им пришлось столкнуться с энергичным сопротивлением Милютина и его друзей. Особенно трудно было тягаться с Милютиным — неотразимым диалектиком. «Вас не переспоришь!» — в досаде воскликнул однажды его противник генерал П. А. Булгаков. Когда Милютин схва-

тывался с Позеном, председатель Ростовцев не знал, что ему делать, и молчал, потупив глаза.

Летом 1859 года единомышленники собирались у Милютина на даче. «В светлые, теплые летние ночи стол иногда выносился в садик и ставился посреди душистых сиреневых кустов. Заседания начинались около 8 часов и часто длились до 5 утра... Окрестные работники и крестьяне, извозчики, лодочники скоро разузнали, какого рода эти собрания, и пользовались всяким случаем, чтобы каким-нибудь трогательным образом выразить труженикам свое участие и благодарность», — вспоминала жена Милютина, Мария Аггеевна.

Общественная жизнь Петербурга в эти годы кипела ключом. Тургенев сошелся тогда с прогрессивным кружком украинских литераторов, познакомился с вернувшимся, наконец, из ссылки Тарасом Григорьевичем Шевченко, подружился с молодой украинской писательницей Марией Александровной Маркович, напечатавшей под псевдонимом Марко Вовчок свои рассказы из народного быта. Писатель так увлекся этими бесхитростными и правдивыми рассказами, в чем-то напоминавшими «Записки охотника», что перевел их на русский язык.

Но жизнь в Петербурге омрачилась на этот раз неожиданными, однако, как выяснилось, неизбежными столкновениями внутри редакции «Современника». Тургенев чувствовал, что его авторитет подвергают сомнению молодые члены редакции, с недавних пор занявшие в журнале руководящие посты. К его советам и рекомендациям Чернышевский и Добролюбов относились критически. Так, предложение опубликовать в журнале переводы деревенских рассказов немецкого писателя Бертольда Ауэрбаха было отклонено Чернышевским, который назвал прославленного во всей Европе автора «пресным и скучным жеманником» и фразером. Тургенев несколько раз пытался убедить Чернышевского, что он не прав, спорил, раздражался, но все оказалось безуспешным.

На одном из литературных обедов у Некрасова Тургенев рекомендовал к публикации драму Л. А. Мея «Псковитянка» и предложил прочесть ее членам редакции. Он расположился в зале на диване, все расселись вокруг, готовясь слушать. Один Чернышевский демонстративно удалился в противоположный угол зала с равнодушным и отсутствующим видом. Прочитав первый акт, Тургенев

попросил слушателей высказать свое мнение. Начались похвалы и восторги, но когда одобрительный говор стал утихать, Чернышевский заявил со своего отдаленного места: «Иван Сергеевич, это скучная и совершенно бездарная вещь, печатать ее в «Современнике» не стоит!» Так спокойно, публично, при всем литературном ареопаге была нанесена пощечина эстетическому вкусу и общественному чутью лучшего писателя России. Тургенев пытался защитить свое мнение, но натолкнулся на холодный, логически взвешенный и доказательный отпор.

Тургенев не мог не чувствовать, что и Некрасов с некоторых пор к нему уже не прислушивается, что мнения его, рекомендации перестали быть авторитетными для редактора «Современника». Назревал решительный и неприятный разговор о направлении журнала, круто изменившемся с приходом в него Чернышевского и Добролюбова. Тургенев постоянно прочитывал «Современник» от корки и до корки, считал его в какой-то мере и своим литературным детищем, ревниво следил за всем, что в нем печаталось. Давно ли Некрасов предлагал ему взять в свои руки «хромающий», по его словам, журнал? Давно ли Чернышевский писал Тургеневу в Италию восторженные письма? «Мое кровное убеждение: кто осмеливается сказать против Вас, как человека, хотя одно слово, тот должен быть покрыт нравственным позором, как человек, решившийся на гнусную клевету... Оскорбить Вас! — да это значит оскорбить нашу литературу!.. Вы не какой-нибудь Островский или Толстой, — Вы наша честь». Правда, и тогда в преувеличенно лестных словах Чернышевского что-то настораживало. Раньше Тургенев не давал себе отчета, что именно, а теперь начинал понимать: умный, хитрый Чернышевский, превознося его талант свыше всякой меры, пытался настроить Тургенева против его собственных либеральных друзей, общественные взгляды которых этот невский Даниил в грош не ставил. «Флюгера, флюгера, и Ваш Боткин первый и самый вертящийся из этих флюгеров. — он хуже Панаева — трус, и больше нежели трус — жалчайшая баба». «Вы по доброте Вашей слишком снисходительно слушаете всех этих гг. Боткиных с братиею. Они были хороши, пока их держал в ежовых рукавицах Белинский, — умны, пока он набивал им головы своими мыслями. Теперь они выдохлись и, начав «глаголати от похотей чрева своего», оказались тупицами. Они прекрасные люди, но в делах искусства или в другом чем-нибудь подобном не смыслят ни на

грош... По-моему, уж лучше Аполлон Григорьев — он сумасшедший, но все же человек (положим, без вкуса), а не помойная яма».

Передергивало Тургенева от такой неслыханной в его кругу резкости. А вот теперь и до него Чернышевский добирается, сомневаясь в его способности ценить искусство. На одном из вечеров только что основанного Дружининым с живейшим участием Тургенева Литературного фонда, встретившись с Чернышевским, Тургенев с грустной иронией посетовал: «Ну, Николай Гаврилович, вы, конечно, змея да, слава богу, простая, а вот Добролюбов — змея очковая!»

Добролюбов-то как раз более всего тревожил Тургенева. Еще за границей, вчитываясь в строки таинственного незнакомца «-лайбова», он испытывал противоречивые чувства. По возвращении Тургенев пересмотрел еще раз номера «Современника», специально останавливаясь на добролюбовских статьях. Его раздражало в них скептическое отношение к литературе, которая, по мнению критика, «служит лишь выражением стремлений и понятий образованного меньшинства и доступна только меньшинству». Но может ли быть иначе в стране, где творческие силы нации как раз и сконцентрированы в деятельности образованного меньшинства? Не слишком ли высокомерен этот «-лайбов» к людям, благословляющим зарю новой жизни, заявляя, что «в жизни общества мало оказывается результатов от всех восторженных разговоров». И это утверждается в момент, когда России не хватает гласности, когда Тургенев вместе с людьми своего круга хлопочет об организации журнала «Хозяйственный указатель»! От имени какой «живой и свежей массы», не щеголяющей своими страданиями и печалями, произносит «-лайбов» свой суровый приговор?

Тургенев вспоминал о спасской дворне, воскрешал в памяти лица знакомых мужиков... Какую гражданскую зрелость, какое «новое слово» ждет этот российский Дон Кихот от крестьянского «мира» — «толкового и дельного», по его характеристике. Уж не влияние ли это Александра Ивановича Герцена, доброго друга, но тоже неисправимого фантазера, проповедующего «свойственный общинному крестьянину социалистический инстинкт»? Не его ли полуславянофильская брага забродила в молодом поколении поповичей? Положим, что так, — но Герцен ведь не относится с высокомерием к культурному слою русского общества, как делает это со всей прямолинейностью решительный «-лайбов». К чему это приведет лихого отрицателя?

А вот к чему: в первом номере «Современника» за 1858 год Тургенев с возмущением прочел статью-рецензию «-лайбова» на седьмой дополнительный том «Собрания сочинений Пушкина», подготовленный П. В. Анненковым. Пушкину приписывался «весьма поверхностный и пристрастный» взгляд на жизнь, «слабость характера», «чрезмерное уважение к штыку»! Утверждалось: «в последнее время Пушкин... окончательно склонялся к той мысли, что для исправления людей нужны «бичи, темницы, топоры». Пушкин обвинялся в «подчинении рутине», в «генеалогических предрассудках», в «служении чистому искусству». Какое святотатство совершалось над творчеством национального поэта, которого Тургенев боготворил!

По трезвом размышлении, можно было в какой-то мере оправдать такие выпады полемическим задором молодого критика, возмущенного тоном дружининских статей о Пушкине. Любезнейший Александр Васильевич упорно подталкивал литературу на стезю «умеренности и аккуратности», проповедовал «чистое искусство» в эпоху гражданских битв и коренных общественных перемен. Но с какой стати за оплошности джентльменствующего Дружинина должен расплачиваться Пушкин? И почему у молодого критика с первых шагов его на литературном поприще развивается такое пренебрежительное отношение к художественному слову?

В другой статье — «О степени участия народности в развитии русской литературы» — «-лайбов», как бы предчувствуя недоуменные вопросы Тургенева, давал на них такой ответ: «Кстати, здесь же мы можем объясниться с некоторыми книжниками, которые возводят на «Современник» обвинение, будто он совершенно отвергает всякое значение литературы для общества». — Вот, вот, уже и слово подобрано, и Тургенев попадает в разряд оторванных от жизни «книжников»! Они-то и «горячатся» за престиж литературы, считая всякое художественное произведение «началом всякого добра». «Они готовы думать, что литература заправляет историей, что она изменяет государства, переделывает даже нравы и характер народный... Не жизнь идет по литературным теориям, а литература изменяется сообразно с направлением жизни».

Все это как будто правильно, но следует ли прини-

жать значение литературы в формировании общественного мнения? И виновата ли литература в том, что «массы народа чуждаются» ее? Ведь массы темны, необразованны, граждански неразвиты. Чего хочет этот «мужицкий демократ», зачем он так торопит историю? «Мы пишем для узкого кружка, и взгляд наш узок, стремления мелки». — Не слишком ли сурово сказано? И о какой это «партии народа в литературе» может идти речь сейчас, в неграмотной стране?

Вот и еще определение — «господа умники»! — «Коренная Россия, — считает «-лайбов», — не в нас с вами заключается, господа умники. Мы можем держаться только потому, что под нами есть твердая почва — настоящий русский народ; а сами-то по себе мы составляем совершенно неприметную частичку великого русского народа». Почему же «совершенно неприметную», к чему такое снисходительно-пренебрежительное отношение к науке, искусству, литературе, цивилизации?! Подобный «мужицкий демократизм» воинствующего критика Тургеневу действительно «претил».

А оценка «Семейной хроники» С. Т. Аксакова? Что вычитал критик из ее поэтических страниц? Почему он начал статью «Деревенская жизнь помещика в старые годы» с демонстративного отказа от «всяких суждений о художественных достоинствах этой книги»? Не потому ли, что все в ней свел к разоблачению «праздности и лени» старого дворянства? — «Да, все эти поколения, прожившие жизнь даром, на счет других, — все они должны были бы почувствовать стыд, горький стыд, при виде самоотверженного, бескорыстного труда своих крестьян». «Скорее же прочь все остатки отживших свое время предрассудков». Немало горькой правды должен был признать Тургенев в этих строках. Прекрасно понимал он гибельную силу крепостничества и в самом деле чувствовал себя в положении «сконфуженного барина». Но как можно, отрицая крепостнический уклад, одновременно выбрасывать за ненадобностью и дворянскую культуру, которая является национальным достоянием.

Так правомерно ли обходить стороной поэтические богатства аксаковской книги? И пристало ли нам обвинять Пушкина в «недостатке серьезного образования, легкомысленности воззрений» и даже заявлять, что он «предавался то псевдобайроническим порывам, то барабанному патриотизму»?!

В Петербурге Тургенев постарался сойтись с Добролюбовым, молчаливым и замкнутым молодым человеком, который не принимал участия в литературных спорах, но тем не менее очень внимательно вслушивался в них. С первых попыток откровенного общения Тургенев столкнулся с каким-то вызывающим недоброжелательством. Разумеется, оно раздражало его, глубоко озадачивало. А. Я. Панаева вспоминала, как однажды в редакции Тургенев обратился к старым знакомым литераторам:

— Господа, не забудьте: я вас всех жду сегодня обедать ко мне, — и затем, повернув голову к Добролюбову, прибавил: — Приходите и вы, молодой человек.

«Я посмеялась Добролюбову, что он, должно быть, считает себя сегодня счастливейшим человеком, удостоившись приглашения на обед от главного литературного генерала.

— Еще бы! такая неожиданная честь.

— Что же, пойдете? — спросила я, хотя была уверена, что он не пойдет после такого приглашения.

— К сожалению, у меня нет фрака, а в сюртуке не смею явиться к генералу, — отвечал, улыбаясь, Добролюбов».

Ноты явного недоброжелательства по отношению к Тургеневу в воспоминаниях Панаевой передают нараставшую в редакции «Современника» атмосферу социального раздора. Добролюбов чувствовал себя неловко в обществе Тургенева, как всякий бедный разночинец и поповский сын перед аристократом. Кроме различия в мировоззрении, между ними стояла глухая стена социальных предубеждений. За несколько месяцев до своей безвременной кончины Добролюбов писал родному человеку: «Добрая, милая тётенька! Как мне здесь *тяжело* и *нехорошо* на сердце, если б Вы знали. И болен-то я, и дела-то много, а кругом все чужие».

Панаева, вероятно, преувеличивает тургеневскую кичливость. Он был всегда живым, демократичным человеком, склонным скорее недооценивать себя и слишком преувеличивать свои слабости и недостатки. Но даже в тургеневском доброжелательстве самолюбивая натура разночинца и плебея улавливала барскую снисходительность, которая лишь обостряла и раздражала самолюбивые чувства.

«Тургенев был действительно добродушен, — вспоминал Чернышевский, — и в особенности всегда был рад оказывать любезную внимательность начинающим писателям». Естественно, что он пытался выяснить возник-

шие у него недоумения относительно взглядов Добролюбова на литературу, на задачи современного общественного деятеля, пытался повлиять на молодого критика, предостеречь его от крайностей, замеченных в статьях.

Обычно Добролюбов отделывался от настойчивых вопросов Тургенева короткими, односложными ответами, предпочитал молчаливо выслушивать его советы и наставления, осторожные, обтекаемые, мягкие и доброжелательные. Но вот настал момент, когда Добролюбов не выдержал и с прямолинейностью разночинца заявил Тургеневу спокойным и рассчитанно-ровным голосом:

— Иван Сергеевич, мне скучно говорить с вами, перестанем говорить, — и перешел на другую сторону комнаты.

Тургенев подавил в себе чувство обиды и после этого упорно продолжал заводить разговоры с Добролюбовым, когда встречался с ним у Некрасова. Но Добролюбов неизменно уходил от него, уклонялся от бесед с ним.

Попытки как-то подействовать на Некрасова тоже не давали желаемых результатов.

— В нашей молодости, — обратился однажды Тургенев к Панаеву на редакционном обеде, — мы рвались хоть посмотреть поближе на литературных авторитетных лиц, приходили в восторг от каждого их слова, а в новом поколении мы видим игнорирование авторитетов. Вообще, сухость, односторонность, отсутствие всяких эстетических увлечений...

— Это нам лишь кажется, что новое поколение литераторов лишено увлечений, — возразил Панаев. — Положим, у нас увлечений было больше, но зато они дельнее, теперь молодые люди умнее и устойчивее в своих убежденьях, нежели были мы в наши лета...

— Ну нет, — воскликнул Тургенев. — Мы спасем тебя, несмотря на все старания некоторых личностей обратить тебя в поборника тех нравственных принципов, которых требуют от людей семинарские публицисты-отрицатели, не признающие эстетических потребностей жизни, стирающие с лица земли поэзию, изящные искусства, все эстетические наслаждения... Это, господа, литературные Робеспьеры: тот ведь тоже не задумался ни минуты отрубить голову поэту Шенье. Меня удивляет, как Некрасов, с его практичностью, не видит, что семинаристы топят журнал...

Наконец, Тургенев понял и почувствовал, что Некрасов вместе с Чернышевским и Добролюбовым придают

журналу направление, в корне расходящееся с его убеждениями. Это стало особенно очевидным, когда во втором и четвертом номерах «Современника» за 1859 год появилась статья Добролюбова «Литературные мелочи прошлого года». Она имела программный характер и в своих существенных моментах полемически ударяла по общественным и эстетическим взглядам Тургенева.

Настораживали взятые Добролюбовым в кавычки вопросы, поставленные в самом начале статьи: все они принадлежали именно Тургеневу. Их писатель неоднократно задавал молодому критику, пытаясь вступить с ним в спор: «Но что же это за странный разлад в людях, которые, по-видимому, сходятся между собою как нельзя более в общих стремлениях? Вы хотите правды и права, и в этом не расходится с вами никто из людей, имеющих честное имя в литературе. Вы отвращаетесь зла и тьмы, и в этом отвращении никто из благонамеренных литераторов, конечно, вам не уступит. Зачем же смеяться над теми, в чьей благонамеренности и благородстве вы не сомневаетесь? Зачем выставлять в смешном виде то, что может хотя сколько-нибудь способствовать достижению тех же целей, к которым вы сами стремитесь? Не значит ли это вредить великому делу народного образования и развития, которому служит литература? Не будет ли унижением для всей литературы, если вы станете называть вздором и мелочью то, чем дорожат и восхищаются многие из почтенных и умных ее деятелей?»

Да, да! Это были именно его, тургеневские, вопросы. И, отвечая на них не в частной беседе, а на страницах журнала, Добролюбов заявлял, что литература не отражает подлинно народных интересов, что успех остается в ней пока за теми произведениями, которые отражают интересы узкой культурной прослойки людей преимущественно дворянского круга. Современные литераторы явились, по Добролюбову, перед обществом «не передовыми людьми, не смелыми вождями прогресса», «а людьми более или менее отсталыми, робкими и бессильными». Поначалу голос литераторов, друзей покойного Белинского, обнадеживал. «Слово их произносилось *со властию*... и молодое поколение с трогательною робостью прислушивалось к мудрым речам их, едва осмеливаясь делать почтительные вопросы... При малейшем равнодушии молодежи к поучениям зрелых мудрецов в их глазах и губах появлялось выражение, в котором ясен был презрительный вызов: «Вы, нынешние, — ну-тка!»

«Слишком книжно и гордо» глядели они на свое призвание, возомнили, что «жизнь без них обойтись уже вовсе не может», и занялись «повторением задов». И вот «живая и свежая часть русского общества» отказалась, наконец, от «почтенных и умных фразеров», расточающих праздные речи о пользе освобождения крестьян. Кто теперь сомневается в этой пользе? Кто осмелится заговорить против освобождения?

Читая статью, Тургенев все более и более удостоверялся, что главным врагом молодого критика оказывались не реакционеры-крепостники, а люди именно его, тургеневского, поколения — «книжники и пустозвонные фразеры», в глазах молодого отрицателя. «Люди *того* поколения, — читал Тургенев, — проникнуты были высокими, но несколько отвлеченными стремлениями. Они стремились к истине, желали добра, их пленяло все прекрасное; но выше всего был для них — *принцип*. ...Отлично владея отвлеченной логикой, они вовсе не знали логики жизни».

Добролюбов заявлял, что на смену людям тургеневского поколения пришел «тип людей реальных, с крепкими нервами и здоровым воображением». Они отличаются от фразеров и мечтателей «спокойствием и твердостью». Они спустились из безграничных сфер абсолютной мысли и стали в ближайшее соприкосновение с действительной жизнью. Отвлеченные понятия заменились у них живыми представлениями, подробности частных фактов обрисовались ярче и отняли много силы у общих определений.

«Вообще молодое, действующее поколение нашего времени не умеет блестеть и шуметь. В его голосе нет кричащих нот, хотя и есть звуки очень сильные и твердые... Признавая неизменные законы исторического развития, люди нынешнего поколения не возлагают на себя несбыточных надежд, не думают, что они могут по произволу переделать историю», а потому не входят в азарт и не убиваются из пустяков. «Предоставляя другим кричать, гневаться, плакать и прыгать, они делают свое дело ровно и спокойно...»

«Во многом сходясь с пожилыми мудрецами, молодое общество не сходится с ними в основном тоне...» — «Стоп! — подумал Тургенев, далее, вероятно, следует читать между строк. В чем же не сходится со мной Добролюбов?» В том, что разговоры о гласности, об адвокатуре и прочее — не более как *«средство»* к подлинно высокой

цели... А пожилые мудрецы, напротив, видят в них *цель*. Выходит, между либеральным и демократическим направлениями разверзается пропасть? Выходит, что у них разные цели, разные задачи, да и разные средства борьбы? Все, что дорого ему, Тургеневу, в глазах Добролюбова является лишь «образцовой умеренностью и аккуратностью», не выходящей за рамки правительственных распоряжений. Он заявляет, что литература ничего не сделала для освобождения крестьян, что «она не имеет ни малейшего права приписывать себе инициативы ни в одном из современных общественных вопросов», что «литература у нас не есть еще сила общественная, не есть жизненная потребность нации, а все-таки *потеха*, как и прежде». Это было не только очень обидно, но и несправедливо!

Наконец, критик с беспощадной иронией обрушивается на гласность, на печать, где обсуждаются современные вопросы. Он, конечно, прав, что в статьях по крестьянскому вопросу слишком часто проскальзывают дворянские интересы, что обличение в них носит порой поверхностный характер. Но в его требованиях к пробуждающейся русской мысли есть что-то слишком торопливое, опрометчивое. О каком «громком призыве к деятельности более широкой» говорит он, наконец?

Разумеется, Тургенев был посвящен в суть революционно-демократической точки зрения на крестьянский вопрос. Но он считал, что цели революционных мыслителей и преждевременны и несбыточны. Для чего же губить на корню благородное дело гласности и прогресса, для чего же высмеивать пробуждающуюся после тридцатилетней спячки русскую общественную мысль? Зачем недооценивать силу крепостнической партии, способной задушить в зародыше дорогое и святое для Тургенева дело правительственных реформ?

Из союзников либеральной партии молодые силы «Современника» превращались в ее решительных врагов. Совершался исторический раскол, предотвратить который было, конечно, не по силам Тургеневу. Чернышевский и Добролюбов убедились к 1859 году, что «реформа сверху» будет проведена в интересах помещиков. Это подтверждала с поразительной наглядностью деятельность губернских комитетов по крестьянскому вопросу. Это подтверждала на каждом шагу либеральная печать. Оставалось одно — идти на решительный разрыв с либерализмом и пытаться вызвать в стране крестьянскую революцию.

Приступая к работе над романом «Накануне», Тургенев мечтал о герое иного склада, «революционность» которого не вступала бы в противоречие с его либерально-демократическими чаяниями и надеждами. И в то же время это должен был быть такой герой, над которым «свистунам» «Современника» невозможно было бы иронизировать. Тургенев чувствовал, конечно, неизбежность исторической смены поколений в освободительном движении. Эта мысль отчетливо прозвучала в эпилоге «Дворянского гнезда», но она волновала писателя еще в момент работы над первым романом. «Я собирался писать «Рудина», — вспоминал он, — но та задача, которую я потом постарался выполнить в «Накануне», изредка возникала передо мною. Фигура главной героини, Елены, тогда еще нового типа в русской жизни, довольно ясно обрисовывалась в моем воображении; но недоставало героя, такого лица, которому Елена, при ее еще смутном хотя и сильном стремлении к свободе, могла предаться».

В те же годы сосед по имению, Василий Каратеев, отправляясь в Крым офицером Орловского ополчения, оставил Тургеневу рукопись своей автобиографической повести, предлагая автору «Записок охотника» распорядиться ею по своему усмотрению. Беглыми штрихами в ней был намечен сюжет, которым теперь и воспользовался Тургенев в романе «Накануне». Будучи в Москве, Каратеев встретил девушку, которая сначала ему симпатизировала, но потом полюбила болгарина, студента Московского университета.

Рукопись Каратеева до нас не дошла, но русские, болгарские и французские ученые детально восстановили историю жизни Николая Димирова Катранова, который явился прототипом тургеневского Инсарова. Он родился в 1829 году в городе Свиштов, в небогатой купеческой семье. В 1848 году в составе большой группы болгарских юношей Катранов приехал в Россию и поступил на историко-филологический факультет Московского университета. Здесь сформировались и окрепли его революционно-освободительные убеждения, связанные с идеей избавления балканских славян от турецкого ига. В Москве, при содействии писателя А. Ф. Вельтмана и фольклориста П. А. Бессонова, Катранов подготовил сборник болгарских народных песен — «Болгарские песни Ю. Венелина, Н. Д. Катранова и других болгар. М., 1855». П. А. Бессонов считал Катранова «весьма даровитым и горячо преданным задачам родного слова, а потому много обещающим болгарином».

Начавшаяся в 1853 году русско-турецкая война всколыхнула освободительные стремления балканских славян, их надежды на избавление от турецкого рабства. В начале 1853 года Катранов окончил университет и уехал с русской женой Ларисой на родину. Но внезапная вспышка туберкулеза заставила их вернуться в Россию, откуда, по рекомендации врачей, Катранов отправился на лечение в Венецию, простудился и скоропостижно скончался 5 мая 1853 года. Н. Д. Катранов был талантливым юношей: он писал стихи, занимался переводами, горячо пропагандировал идею освобождения Родины среди русских друзей. Болгары свято чтут память Катранова, судьба которого благодаря роману Тургенева явилась символом дружбы двух братских народов.

Тургенев пытался опубликовать повесть-дневник Каратеева в одном из журналов, но это произведение, совершенно беспомощное в художественном отношении, так и не вышло в свет. Вплоть до 1859 года тетрадь с рукописью Каратеева лежала без движения, хотя Тургенев вспоминал, что, познакомившись с нею, он «невольно воскликнул: «Вот герой, которого я искал!» Между тогдашними русскими такого не было». Весной 1859 года в Спасском-Лутовинове Тургенев получил печальное известие о смерти своего молодого соседа и вспомнил об этой рукописи, сюжет и болгарский герой которой его когда-то взволновали.

Теперь он приступил к самостоятельной художественной обработке подсказанного рукописью Каратеева замысла. Большую помощь оказал ему хороший знакомый Егор Петрович Ковалевский, известный путешественник и писатель, прекрасно знавший все детали и подробности освободительного движения в Болгарии и написавший очерки на материале путешествий по Балканам в момент подъема освободительного движения славян в 1853 году.

Весной 1859 года из Спасского Тургенев сообщал Е. Е. Ламберт: «Я теперь занят составлением плана и т. д. для новой повести: это работа довольно утомительная — тем более, что она никаких *видимых* следов не оставляет: лежишь себе на диване или ходишь по комнате — да переворачиваешь в голове какой-нибудь характер или положение — смотришь: часа три, четыре прошло — а кажется, немного вперед подвинулся. Собственно говоря, в нашем ремесле удовольствий довольно ма-

ло — да оно так и следует: все, даже артисты, даже богатые, должны жить в поте лица... а у кого лицо не потеет, тем хуже для него: у него сердце либо болит, либо засыхает...

Я очень рад, что не поддался желанию пользоваться успехом моего романа и не выезжал направо и налево: кроме усталости да, может быть, грешного удовлетворения мелкого и дрянного чувства тщеславия — ничего бы мне это не дало».

Весной Тургенев немножко охотился, встречался с Фетом, а в ненастные дни предавался воспоминаниям. «Сегодня Светлое воскресение — и я был у Всенощной, — писал он Боткину 12 апреля. — Дьячки пели на редкость: «Христос воскресе» — в церкви пахло тулупами и свечной копотью, вокруг церкви трещали бураки и шутихи доморощенной *«леминации»*, плечи мои ныли от тяжести шубы — но на душе вместе с воспоминаниями детства проходило что-то хорошее и глубоко грустное. Сегодня чудесная погода — жарко, тихо, птицы поют, пахнет почками; я раза три прошелся по саду — и чуть не всплакнул. Жизнь пролита до капли, но запах только что опорожненного сосуда еще сильнее, чем когда он был полный...»

В конце апреля 1859 года Тургенев уехал за границу. В Петербурге он пробыл четыре дня, не заходя в редакцию «Современника». Еще в марте он сообщал К. С. Аксакову: «Рецензия «Современника» на сочинения Вашего батюшки возмутила меня по крайней мере на столько же, сколько Вас самих; я выразил им мое негодование — и, скажу Вам между нами — строки моей в «Современнике» уже больше не будет». Теперь к нему на квартиру пришел Некрасов и просил забыть о недоразумениях и не отдавать новое сочинение в «Русский вестник». Разговор со стороны Тургенева был сухим, официальным: в публикации нового романа он Некрасову отказал.

За границей Тургенев отправился к Герцену и при встрече с ним горячо обсуждал позицию демократов «Современника». Герцен разделял с Чернышевским и Добролюбовым веру в социалистический характер будущей крестьянской революции, но считал, что в настоящий момент русский мужик к революции не готов, звать его к топору и опрометчиво и преждевременно. Потому Герцен шел на союз с либералами и правительственной партией, поощрял развитие в России либеральной гласности. Статья Добролюбова «Литературные мелочи прошлого года» вызвала и у него чувство глубокого возмущения, равно как и вышедший в первом номере «Современника» за 1859 год сатирический отдел «Свисток».

— Вы только посмотрите, что они собираются «освистывать»: «Итак, наша задача состоит в том, чтобы отвечать коротким и умилительным свистом на все прекрасное, являющееся в жизни и в литературе»! Истощая свой смех на обличительную литературу, милые паяцы наши забывают, что по этой скользкой дороге можно *досвистаться* не только до Булгарина и Греча, но (чего Боже сохрани) и до *Станислава на шею*! Кому помогают они своими шутовскими бубенчиками? Не той ли тройке крепостников из царских конюшен, которая называется Адлерберг, Тимашев и Муханов?!

— Есть, конечно, в этом смехе доля истины. Мало ли промахов и ошибок совершается на первых шагах российской гласности, мало ли мелочного, пустого «обличительства» выплескивает ежедневно на головы русских читателей обличительная наша печать.

— Но что же тут удивительного, что люди, которых всю жизнь грабили квартальные судьи, губернаторы, слишком много говорят теперь об этом? Они еще больше об этом молчали! Давно ли у нас вкус так избаловался, утончился? Слишком роскошествуют господа желчевики!

Так появилась в «Колоколе» Герцена предупреждающая революционеров-демократов «Современника» статья «Very dangerous!!!» («Очень опасно»), причинившая немало тревог редакции «Современника». Авторитет издания Герцена был слишком велик, и к словам его нельзя было не прислушиваться. Во второй половине июня 1859 года в Лондоне появился Чернышевский, приехавший сюда для специального объяснения с Герценом. Но доказать правоту своей позиции Чернышевский не смог. Оба лидера революционно-демократического движения остались при своих убеждениях. Чернышевский заявлял Герцену, что он, живя вдали от России, утратил политическое чутье, что в России назревает революция. Герцен же считал, что подталкивать крестьянство к революционному бунту пока преждевременно, а освистывание либералов объективно играет на руку придворной реакции.

Тургенева встреча с Герценом во многом укрепила. Он еще раз убедился, что союз либералов с революционерами-демократами перед лицом консервативной партии оголтелых крепостников — отнюдь не утопическая меч-

та. «Я ездил в Лондон, пробыл там неделю — и каждый день видел Герцена: он бодр и крепок — внутренняя грусть меньше его точит, чем прежде: теперь у него есть деятельность. Натура могучая, шумная — и славная».

Летом 1859 года Тургенев лечился во французском городке Виши, работая над романом, гуляя по липовым аллеям, которые в июне были в полном цвету. «Этот сладкий запах напоминает мне родину, — писал он Е. Е. Ламберт, — но нет здесь ее необозримых полей, полыни по межам, прудов с ракитами... Что ни говорите, человек гораздо больше растение, растение с *корнем*, чем он сам предполагает».

В середине июля Тургенев навестил с дочерью Куртавнель. Отношения с Полиной Виардо были холодны попрежнему. И обстановка этого старого гнезда, «колыбели» его литературной известности, не действовала ободряюще. «Я сижу перед окном, выходящим в сад... Все очень тихо вокруг: слышатся детские голоса и шаги... в саду воркуют дикие голуби — а малиновка распевает; ветер веет мне в лицо — а на сердце у меня — едва ли не старческая грусть. Нет счастья вне семьи — и вне родины; каждый сиди на своем гнезде и пускай корни в родную землю... Что лепиться к краешку чужого гнезда?» «Я теперь занят большой повестью, в которую намерен положить все, что у меня еще осталось в душе... Бог знает, удастся ли? Я беспрестанно вожусь с моими лицами — и даже во сне их вижу».

«Здоровье мое хорошо; но душа моя грустна. Кругом меня правильная семейная жизнь... для чего я тут, и зачем, отходя прочь от всего мне дорогого, — зачем обращать взоры назад? <...> Говорят: человек несколько раз умирает перед своей смертью... Я знаю, что́ во мне умерло... Не чувство во мне умерло; нет... но возможность его осуществления. Я гляжу *на свое счастье* — как гляжу на *свою* молодость, на молодость и счастье другого; я здесь — а все это там; и между этим *здесь* и этим *там* — бездна, которую не наполнит ничто и никогда в целую вечность. Остается одно: держаться пока на волнах жизни и думать о пристани...»

Осенью 1859 года Тургенев уехал в Спасское, где его навестил Лев Николаевич Толстой. Приятели немного охотились, но очень много спорили о предстоящих реформах.

— Русский дворянин служил и служит — и в этом его сила, — говорил Тургенев. — Владение крестьянами — явление случайное, вызванное не столько необходимостью, сколько неуменьем и недоразуменьем... Русский дворянин служит земле... Но есть разные службы. Было время, когда дворяне служили земле, умирая под стенами Казани, в степях Азовских; но не всегда одной крови требует от нас наше отечество; есть другие жертвы, другие труды и другие службы — и наше дворянство не отказывается от них. Дворянство на Западе стояло впереди народа, но не шло впереди его; не оно его двигало, не оно его влекло за собою по пути развития. Оно, напротив, упиралось, коснело, отставало... У нас мы видим явление противоположное... дворянство наше, оно служило делу просвещения и образования. Наши лучшие имена записаны на его скрижалях. И сейчас, когда сам царь сливается с земским делом, призвание дворянства — следовать за царем.

— А кто ему заплатит за землю? — возражал Толстой. — Официальные документы об этом молчат. Вспомним, что в Англии и Франции, освобождая крестьян, правительство заплатило за них деньги собственникам. У нас же правительство поручает самим помещикам, без изменения безобразнейшего полицейского устройства, взыскать с крестьян, освобожденных от зависимости, те огромные суммы, которые стоит отчужденная земля. И вот что удивительно. Вместо ожидаемого негодования дворянство встретило рескрипты неподдельным восторгом. Это единственное в истории и не оцененное еще явление произошло оттого, что рескрипт об освобождении отвечал на давнишнее желание дворянства.

— Но в нынешней ситуации не дворянство, а правительство явилось инициатором дела освобождения, и большая часть дворянства плетется в хвосте и ставит палки в колеса...

— А я утверждаю, что только одно дворянство со времен Екатерины готовило этот вопрос и в литературе, и в тайных обществах, и словом и делом, — запальчиво возражал Толстой. — Одно оно посылало в 25-м и 48-м годах за осуществление этой мысли своих мучеников в ссылки и на виселицы. Оно поддерживало мысль об отмене крепостного права.

— Но у вас нет оснований противопоставлять лучшую часть дворянства современному правительству. Да и в прошлые времена дворянство наше не вступало и не могло вступать в борьбу с правительством: русским царям никогда не приходилось, подобно королям на Запа-

де, искать точку опоры в сословии городском или сельском...

— Не могу согласиться, — прерывал рассуждения Тургенева Толстой. — Нынешнее слабое правительство отнюдь не является инициатором этого дела, правительство просто не нашло возможным более скрывать эту мысль. К чему тут излишний восторг? К чему лживые речи, убеждающие государя в том, что он второй Петр I и великий преобразователь России? Напрасно! Он только ответил, наконец, на давние требования дворянства. И не он, а дворянство подняло, развило и выработало мысль освобождения.

— Но меньшая, меньшая его часть!

— А разве не законен вопрос численного большинства дворян: «Кто заплатит за право собственности или, пожалуй, права пользования, за землю, которую от нас отнимают? Крестьяне? Да пускай правительство, имеющее больше нас средств, получит эти деньги, мы ему верим, а сами не видим возможности взыскивать с крестьян... И чем мы будем жить, лишившись рук и земли?» И вот «прогрессивное» ваше правительство отказывает на все проекты казенного выкупа или обеспечения. Более того, глава государства заявляет: «Долго подумав и помолясь Богу, я начал освобождение». Молясь Богу или нет, но не он поднял этот вопрос. Правительство, напротив, всегда давило всякие попытки дворянства не только действовать, но даже обсуждать открыто идеи освобождения. И дворянство одно продвинуло этот вопрос, несмотря на все правительственные преграды. Поэтому поощрять его обещанием благодарности и высоким доверием — неприлично, укорять его в медленности — несправедливо, а угрожать тем, что его порежут за то, что правительство слабо и нелепо, и давать чувствовать, что это было бы не худо, — нечестно и неразумно. Свободно став в положение, в котором нужно стоять за него, дворянство знало, что оно делает; но знает ли правительство, принимающее вид угнетенной невинности, те беды, которые своим упорством и неспособностью оно готовит России? Ежели бы, к несчастью, правительство довело нас до освобождения снизу, а не сверху, по остроумному выражению государя императора, то меньшее из зол было бы уничтожение правительства!

Продолжать спор было бессмысленно. В глазах Тургенева упрямец Толстой начисто отрицал цивилизующую роль государственной власти в России, идеализируя

дворянское сословие. А между тем Тургенев был убежден, что «служба, служение земле — царю, как центральной точке, к которой тяготела земля, — вот то коренное начало, которое лежит в основании всему учреждению русского дворянства, которое дает ему особенное значение и смысл. Дворянин служил за жалованье и получал жалованье за службу. И другие сословия служили, но вслед за дворянином; дворянин — первый слуга. Стоит только раскрыть наудачу наши летописи, наши законы, указы, частные записки, чтобы убедиться в этом. Увечные израненные старики вымаливали отставку как милость, и чувство, что дворяне должны нести службу, жало даже и детей, которых Петр посылал в заморские земли учиться разным художествам и которых наказывали за то, что они сказывались в «нетях»»...

«С Толстым мы беседовали мирно и расстались дружелюбно, — писал Тургенев Фету. — Кажется, недоразумений между нами быть не может — потому что мы друг друга понимаем ясно — и понимаем, что тесно сойтись нам невозможно. Мы из разной глины слеплены».

«В нынешний приезд, — писал Толстой Дружинину, — я окончательно убедился, что он умный и даровитый человек, но один из самых несноснейших в мире...»

В Спасском Тургенев продолжал «хозяйствовать»: «С крестьянами я почти везде благополучно размежевался... переселил их... и с нынешней зимы они все поступают на оброк... я говорю: *я* — а должен был бы сказать: мой дядя, которому *новые порядки* очень не по нутру, но который понял, что *старые порядки* вернуться не могут».

Осенью 1859 года писатель закончил работу над романом «Накануне» и впервые увез его не в Петербург, не в «Современник», а в Москву, в редакцию «Русского вестника».

ПОИСКИ НОВОГО ГЕРОЯ. РОМАН «НАКАНУНЕ». РАЗРЫВ С «СОВРЕМЕННИКОМ»

В письме к И. С. Аксакову в ноябре 1859 года Тургенев так сказал о замысле романа «Накануне»: «В основание моей повести положена мысль о необходимости сознательно-героических натур для того, чтобы дело продвинулось вперед». Что имел в виду Тургенев под сознательно-героическими натурами и как он к ним относился?

Параллельно с работой над романом Тургенев пишет статью «Гамлет и Дон Кихот», которая является ключом к типологии всех тургеневских героев и проясняет взгляды писателя на общественного деятеля современности, «сознательно-героическую натуру». Образы Гамлета и Дон Кихота получают у Тургенева очень широкую интерпретацию. Человечество извечно тяготеет, как к двум противоположно заряженным полюсам, к этим типам характеров, хотя полных Гамлетов, точно так же как и полных Дон Кихотов, в жизни не существует. Какие же свойства человеческой природы воплощают эти герои?

В Гамлете доведен до трагизма принцип анализа, в Дон Кихоте доведен до комизма принцип энтузиазма. В Гамлете главное — мысль, а в Дон Кихоте — воля. В этом раздвоении Тургенев видит трагическую сторону человеческой жизни: «Для дела нужна воля, для дела нужна мысль, но мысль и воля разъединились и с каждым днем разъединяются более...»

Статья имеет современный общественно-политический аспект. Характеризуя тип Гамлета, Тургенев держит в уме «лишнего человека», дворянского героя, под Дон Кихотами же он подразумевает новое поколение общественных деятелей. В черновиках статьи Дон Кихот неспроста именуется «демократом». Верный своему общественному чутью, Тургенев ждет появления сознательно-героических натур из разночинцев.

В чем сила и слабость Гамлетов и Дон Кихотов?

Гамлеты — эгоисты и скептики, они вечно носятся с самими собой и не находят в мире ничего, к чему могли бы «прилепиться душою». Враждуя с ложью, Гамлеты становятся главными поборниками истины, в которую они тем не менее не могут поверить. Склонность к чрезмерному анализу заставляет их сомневаться в добре. Поэтому Гамлеты лишены активного, действенного начала, их интеллектуальная сила оборачивается слабостью воли.

В отличие от Гамлета Дон Кихот совершенно лишен эгоизма, сосредоточенности на себе, на своих мыслях и чувствах. Цель и смысл существования он видит не в себе самом, а в истине, находящейся «вне отдельного человека». Дон Кихот готов пожертвовать собой ради ее торжества. Своим энтузиазмом, лишенным всякого сомнения, всякой рефлексии, он способен зажигать сердца народа и вести его за собой.

Но постоянная сосредоточенность на одной идее, «постоянное стремление к одной и той же цели» придает

некоторое однообразие его мыслям и односторонность его уму. Как исторический деятель, Дон Кихот неизбежно оказывается в трагической ситуации: исторические последствия его деятельности всегда расходятся с идеалом, которому он служит, и с целью, которую он преследует в борьбе. Достоинство и величие Дон Кихота «в искренности и силе самого убежденья... а результат — в руке судеб».

Раздумья о сущности характера общественного деятеля, о сильных и слабых сторонах сознательно-героических натур нашли прямой отголосок в романе «Накануне», опубликованном в январском номере журнала «Русский вестник» за 1860 год.

Н. А. Добролюбов, посвятивший разбору этого романа специальную статью «Когда же придет настоящий день?», дал классическое определение художественному дарованию Тургенева, увидев в нем писателя, чуткого к общественным проблемам. Очередной его роман «Накануне» еще раз блестяще оправдал эту репутацию. Добролюбов отметил четкую расстановку в нем главных действующих лиц. Центральная героиня Елена Стахова стоит перед выбором, на место ее избранника претендуют молодой ученый, историк Берсенев, будущий художник, человек искусства Шубин, успешно начинающий служебную деятельность чиновник Курнатовский и, наконец, человек гражданского подвига, болгарский революционер Инсаров. Социально-бытовой сюжет романа осложняет символический подтекст: Елена Стахова олицетворяет молодую Россию накануне предстоящих перемен. Кто нужнее ей сейчас: люди науки или искусства, государственные чиновники или героические натуры, готовые на гражданский подвиг. Выбор Еленой Инсарова дает недвусмысленный ответ на этот вопрос.

Добролюбов заметил, что в Елене Стаховой «сказалась та смутная тоска по чем-то, та почти бессознательная, но неотразимая потребность новой жизни, новых людей, которая охватывает теперь все русское общество, и даже не одно только так называемое образованное».

В описании детских лет Елены Тургенев обращает внимание на глубокую близость ее к народу. С тайным уважением и страхом слушает она рассказы нищей девочки Кати о жизни «на всей божьей воле» и воображает себя странницей, покинувшей отчий дом и скитающейся по дорогам. Из народного источника пришла к Елене русская мечта о правде, которую надо искать далеко-да-

леко, со страническим посохом в руках. Из того же источника — готовность пожертвовать собой ради других, ради высокой цели спасения людей, попавших в беду, страждущих и несчастных. Не случайно в разговорах с Инсаровым Елена вспоминает буфетчика Василия, «который вытащил из горевшей избы безногого старика и сам чуть не погиб».

Внешний облик Елены напоминает птицу, готовую взлететь, и ходит героиня «быстро, почти стремительно, немного наклонясь вперед». Смутная тоска и неудовлетворенность Елены тоже связаны с темой полета: «Отчего я с завистью гляжу на пролетающих птиц? Кажется, полетела бы с ними, полетела — куда, не знаю, только далеко, далеко отсюда». Устремленность к полету проявляется и в безотчетных поступках героини: «Долго глядела она на темное, низко нависшее небо; потом она встала, движением головы откинула от лица волосы и, сама не зная зачем, протянула к нему, к этому небу, свои обнаженные, похолодевшие руки». Проходит тревога — «опускаются невзлетевшие крылья». И в роковую минуту, у постели больного Инсарова, Елена видит высоко над водой белую чайку: «Вот если она полетит сюда, — подумала Елена, — это будет хороший знак...» Чайка закружилась на месте, сложила крылья — и, как подстреленная, с жалобным криком пала куда-то далеко за темный корабль».

Таким же окрыленным героем, достойным Елены, оказывается Дмитрий Инсаров. Что отличает его от русских Берсеневых и Шубиных? Прежде всего — цельность характера, полное отсутствие противоречий между словом и делом. Он занят не собой, все помыслы его сосредоточены на одной цели — освобождении родины, Болгарии. Тургенев чутко уловил в характере Инсарова типические черты лучших людей эпохи болгарского Возрождения: широту и разносторонность умственных интересов, сфокусированных в одну точку, подчиненных одному делу — освобождению народа от векового рабства. Силы Инсарова питает и укрепляет живая связь с родной землей, чего так не хватает русским героям романа — Берсеневу, который пишет труд «О некоторых особенностях древнегерманского права в деле судебных наказаний», талантливому Шубину, который лепит вакханок и мечтает об Италии. И Берсенев и Шубин — тоже деятельные люди, но их деятельность слишком далека от насущных потребностей народной жизни. Это люди без крепкого корня, отсутствие которого придает их характерам или внутреннюю вялость, как у Берсенева, или мотыльковое непостоянство, как у Шубина.

В то же время в характере Инсарова сказывается родовая ограниченность, типичная для Дон Кихота. В поведении героя подчеркивается упрямство и прямолинейность, некоторый педантизм. Художественную завершенность эта двойственная характеристика получает в ключевом эпизоде с двумя статуэтками героя, которые вылепил Шубин. В первой Инсаров представлен героем, а во второй — бараном, поднявшимся на задние ножки и склоняющим рога для удара. Не обходит Тургенев в своем романе и размышлений о трагичности судьбы людей донкихотского склада.

Рядом с сюжетом социальным, отчасти вырастая из него, отчасти возвышаясь над ним, развертывается в романе сюжет философский. «Накануне» открывается спором между Шубиным и Берсеневым о счастье и долге. «...Каждый из нас желает для себя счастья... Но такое ли это слово «счастье», которое соединило, воспламенило бы нас обоих, заставило бы нас подать друг другу руки? Не эгоистическое ли, я хочу сказать, не разъединяющее ли это слово?» Соединяют людей слова: «родина, наука, справедливость». И «любовь», но только если она — не «любовь-наслаждение», а «любовь-жертва».

Инсарову и Елене кажется, что их любовь соединяет личное с общественным, что она одухотворяется высшей целью. Но вот оказывается, что жизнь вступает в некоторое противоречие с желаниями и надеждами героев. На протяжении всего романа Инсаров и Елена не могут избавиться от ощущения непростительности своего счастья, от чувства виновности перед кем-то, от страха расплаты за свою любовь. Почему?

Жизнь ставит перед влюбленной Еленой роковой вопрос: совместимо ли великое дело, которому она отдалась, с горем бедной, одинокой матери? Елена смущается и не находит возражения на свой вопрос. Ведь любовь ее к Инсарову приносит несчастье не только ее матери: она оборачивается невольной жестокостью и по отношению к отцу, к друзьям Берсеневу и Шубину, она ведет Елену к разрыву с Россией. «Ведь все-таки это мой дом, — думала она, — моя семья, моя родина...»

Елена безотчетно ощущает, что и в ее чувствах к Инсарову счастье близости с любимым человеком времена-

ми преобладает над любовью к тому делу, которому весь, без остатка, хочет отдаться герой. Отсюда — чувство вины перед Инсаровым: «Кто знает, может быть, я его убила».

В свою очередь, Инсаров задает Елене аналогичный вопрос: «Скажи мне, не приходило ли тебе в голову, что эта болезнь послана нам в наказание?» Любовь и общее дело оказываются не вполне совместимыми. В бреду, в период первой болезни, а потом в предсмертные мгновения коснеющим языком Инсаров произносит два роковых для него слова: «резеда» и «Рендич». Резеда — это тонкий запах духов, оставленный Еленой в комнате больного Инсарова. Рендич — соотечественник героя, один из организаторов готовящегося восстания балканских славян против турецких поработителей. Бред выдает глубокое раздвоение некогда цельного Инсарова.

В отличие от Чернышевского и Добролюбова с их оптимистической теорией разумного эгоизма, утверждавшей единство личного и общего, счастья и долга, любви и революции, Тургенев обращает внимание на скрытый драматизм человеческих чувств, на вечную борьбу центростремительных (эгоистических) и центробежных (альтруистических) начал в душе каждого человека. Человек, по Тургеневу, драматичен не только в своем внутреннем существе, но и в отношениях с окружающей его природой. Природа не считается с неповторимой ценностью человеческой личности: с равнодушным спокойствием она поглощает и простого смертного, и героя; все равны перед ее неразличающим взором. Этот мотив универсального трагизма жизни вторгается в роман неожиданной смертью Инсарова, исчезновением следов Елены на этой земле — навсегда, безвозвратно. «Смерть, как рыбак, который поймал рыбу в свою сеть и оставил ее на время в воде: рыба еще плавает, но сеть на ней, и рыбак выхватит ее — когда захочет». С точки зрения «равнодушной природы», каждый из нас «виноват уже тем, что живет».

Однако мысль о трагизме человеческого существования не умаляет, а, напротив, укрупняет в романе красоту и величие дерзновенных, освободительных порывов человеческого духа, оттеняет поэзию любви Елены к Инсарову, придает широкий общечеловеческий, философский смысл социальному содержанию романа. Неудовлетворенность Елены современным состоянием жизни в России, ее тоска по иному, более совершенному социальному порядку в философском плане романа приобретает «продолжающийся» смысл, актуальный во все эпохи и все времена. «Накануне» — это роман о порыве России к новым общественным отношениям, пронизанный нетерпеливым ожиданием сознательно-героических натур, которые двинут вперед дело освобождения крестьян. И в то же время это роман о бесконечных исканиях человечества, о постоянном стремлении его к социальному совершенству, о вечном вызове, который бросает человеческая личность «равнодушной природе»:

«О, как тиха и ласкова была ночь, какою голубиною кротостию дышал лазурный воздух, как всякое страдание, всякое горе должно было замолкнуть и заснуть под этим ясным небом, под этими святыми, невинными лучами! «О боже! — думала Елена, — зачем смерть, зачем разлука, болезнь и слезы? или зачем эта красота, это сладостное чувство надежды, зачем успокоительное сознание прочного убежища, неизменной защиты, бессмертного покровительства? Что же значит это улыбающееся, благословляющее небо, эта счастливая, отдыхающая земля? Ужели это все только в нас, а вне нас вечный холод и безмолвие? Ужели мы одни... одни... а там, повсюду, во всех этих недосягаемых безднах и глубинах, — все, все нам чуждо? К чему же тогда эта жажда и радость молитвы? ...Неужели же нельзя умолить, отвратить, спасти... О боже! неужели нельзя верить чуду?»

Современников Тургенева из лагеря революционной демократии, для которых главным был социальный смысл романа, не мог не смущать его финал: неопределенный ответ Увара Ивановича на вопрос Шубина, будут ли у нас, в России, люди, подобные Инсарову. Какие могли быть вопросы на этот счет в конце 1859 года, когда дело реформы стремительно подвигалось вперед, когда «новые люди» заняли ключевые посты в журнале «Современник»? Чтобы правильно ответить на этот вопрос, нужно выяснить, какую программу действий предлагал Тургенев «русским Инсаровым».

Автор «Записок охотника» вынашивал мысль о братском союзе всех антикрепостнических сил и надеялся на гармонический исход социальных конфликтов. Инсаров говорит: «Заметьте: последний мужик, последний нищий в Болгарии и я — мы желаем одного и того же. У всех у нас одна цель. Поймите, какую это дает уверенность и крепость!» Тургеневу хотелось, чтобы все прогрессивно настроенные люди, без различия социальных положений

и оттенков в политических убеждениях, протянули друг другу руки.

В жизни случилось другое. Статья Добролюбова, с которой Некрасов познакомил Тургенева в корректуре, очень огорчила писателя. Он буквально умолял Некрасова в кратком письме: «*Убедительно тебя прошу*, милый Некрасов, *не печатать этой статьи*: она кроме неприятностей ничего мне наделать не может, она несправедлива и резка — я не буду знать, куда деться, если она напечатается. — Пожалуйста, уважь мою просьбу. — Я зайду к тебе».

При личной встрече с Некрасовым, в ответ на упорное желание редактора «Современника» напечатать статью, Тургенев сказал: «Выбирай: или я, или Добролюбов!» Некрасовский выбор окончательно разрешил затянувшийся конфликт. Тургенев оставил «Современник» навсегда.

Что же не принял писатель в добролюбовской статье? Ведь именно в ней давалась классическая оценка тургеневского дарования, а к роману в целом критик отнесся очень доброжелательно. Решительное несогласие Тургенева вызвала интерпретация характера Инсарова. Добролюбов отвергал тургеневского героя и противопоставлял задачи, стоящие перед «русскими Инсаровыми», той программе общенационального единения, которую провозглашал в романе болгарский революционер. «Русским Инсаровым» предстоит борьба с игом «внутренних турок», в число которых у Добролюбова попадали не только открытые крепостники-консерваторы, но прежде всего либеральные круги русского общества, в том числе и сам творец романа — И. С. Тургенев. Статья Добролюбова била в святая святых убеждений и верований Тургенева, поэтому он порвал все отношения с редакцией журнала.

Этот уход писателю дорого стоил. С «Современником» его связывало многое: он принимал участие в его организации, сотрудничал в нем пятнадцать лет. Память о Белинском, дружба с Некрасовым... Литературная слава, наконец... Некрасову тоже нелегко давался этот разрыв. Но последующий ход событий сделал мечту о примирении с Тургеневым невозможной. Вскоре в «Современнике» появился отрицательный отзыв на роман «Рудин», автором которого Тургенев ошибочно посчитал Добролюбова, хотя его написал Чернышевский. Роману было отказано в художественной цельности, говорилось о несвободе автора по отношению к главному герою, обрисованному с противоположных, не согласованных друг с другом точек зрения. Намекалось, что Тургенев якобы умышленно снижал характер Рудина в угоду богатым аристократам, в глазах которых «всякий бедняк — мерзавец». Юмористические выпады по адресу Тургенева стали появляться на страницах «Свистка». В конце сентября 1860 года писатель направил Панаеву официальный отказ от сотрудничества:

«Любезный Иван Иванович. Хотя, сколько я помню, вы уже перестали объявлять в «Современнике» о своих сотрудниках и хотя, по вашим отзывам обо мне, я должен предполагать, что я вам больше не нужен, однако, для верности, прошу тебя не помещать моего имени в числе ваших сотрудников, тем более что у меня ничего готового нет и что большая вещь, за которую я только что принялся теперь и которую не окончу раньше будущего мая, уже назначена в «Русский вестник».

В объявлении о подписке на «Современник» Тургенев вскоре прочел, что некоторые представители журнала (в основном беллетристического отдела) не состоят более в числе его сотрудников. «Сожалея об утрате их сотрудничества, редакция однако же не хотела, в надежде на будущие прекрасные труды их, пожертвовать основными идеями издания, которые кажутся ей справедливыми и честными и служение которым привлекает и будет привлекать к ней новых, свежих деятелей и новые сочувствия, между тем как деятели, хотя и талантливые, но остановившиеся на прежнем направлении, — именно потому, что не хотят признать новых требований жизни, — сами себя лишают силы и охлаждают прежние к ним сочувствия».

Возмутила Тургенева эта заметка: получалось так, что сама редакция «Современника», преданная радикальному направлению, отказалась от сотрудничества с Тургеневым и другими литераторами либерального лагеря. Обидной была и общая оценка-приговор, отказывающая писателям тургеневского круга в каких бы то ни было творческих перспективах. «Вот и мы с Вами попали в число Подолинских, Трилунных и других почтенных отставных майоров! — горько пошутил Тургенев в письме к Фету. — Что, батюшка, делать? Пора уступать дорогу юношам. Только где они, где наши наследники?»

Критические отзывы на роман «Накануне» тоже сильно огорчали Тургенева. Графиня Е. Е. Ламберт прямо го-

ворила Тургеневу, что он напрасно опубликовал роман. На ее великосветский вкус Елена Стахова представлялась безнравственной девицей, лишенной стыда, женственности и обаяния. Критик М. И. Дараган, выражая мнение консервативных кругов общества, называл Елену «пустой, пошлой, холодной девочкой, которая нарушает приличия света, закон женской стыдливости» и является каким-то «Дон Кихотом в юбке». Сухим и схематичным, совершенно не удавшимся автору героем казался этому критику и Дмитрий Инсаров. По Петербургу ходила кем-то пущенная великосветская шутка: «Это «Накануне», которое никогда не будет иметь своего завтра». Получалось, что после сигнала всеобщего примирения, принятого обществом в романе «Дворянское гнездо», наступал период всеобщего раздора: «Накануне» критиковали и слева и справа, тургеневский призыв к единению, вложенный в уста Инсарова, не был услышан русским обществом. После выхода «Накануне» в свет у Тургенева стало возникать желание «подать в отставку из литературы».

ВРЕМЯ РАЗБРАСЫВАТЬ КАМНИ

Зиму 1859/60 года Тургенев провел в основном в Петербурге, усиленно занимаясь общественной деятельностью в только что организованном Дружининым «Обществе для пособия нуждающимся литераторам и ученым» («Литературном фонде»). 9 февраля 1859 года, на обеде у Тургенева, был принят Устав общества, которое ставило целью оказание помощи нуждающимся писателям, деятелям науки, способным молодым людям, не имеющим средств для образования. Тургенева единодушно избрали членом комитета. Средства для Фонда отчислялись от гонораров за опубликованные произведения, а также путем организации систематических платных литературных чтений, все доходы которых безвозмездно передавались в Литературный фонд.

Первое чтение состоялось в зале «Пассажа» 10 января 1860 года. Оно прошло успешно при большом стечении публики. Тургенев читал здесь свой очерк «Гамлет и Дон Кихот». По воспоминаниям Л. Ф. Пантелеева, «в течение нескольких минут не умолкали рукоплескания. Тургенев, хотя и с заметной проседью, но еще во всей красе сорокалетнего возраста, только успевал раскланиваться; наконец установилась тишина. На этот прием Тургенев ответил так: «Как ни глубоко тронут я знаками высказанного мне сочувствия, но не могу всецело принять его на свой счет, а скорее вижу в нем выражение *сочувствия к нашей литературе*». Новые рукоплескания, и только когда Тургенев дал понять, что хочет приступить к чтению, мало-помалу публика затихла. Голос у Ивана Сергеевича был негромкий, неособенно приятный». Но содержание очерка оказалось созвучным настроению большинства слушателей, наполнивших зал. Когда Тургенев кончил, «рукоплесканиям и вызовам не было конца; почти вся публика встала, дамы махали платками, мужчины не жалели своих рук».

Этот теплый прием радовал Тургенева не только личным успехом: он был залогом успеха задуманного литераторами предприятия. В марте того же года прошел вечер в пользу нуждающихся студентов Петербургского университета, где Тургенев прочел очерк «Хорь и Калиныч». Писатель принимал участие и в чтении публичных лекций. Он избрал дорогую для себя тему — «О Пушкине и его влиянии на нашу литературу и общество». В этих лекциях Тургенев спорил с теми революционерами-демократами, которые недооценивали вклад Пушкина в историю русской культуры.

Задумали организовать любительские спектакли. В апреле поставили «Ревизора» и «Женитьбу» Гоголя, «Провинциалку» Тургенева. Особое внимание публики привлек «Ревизор» необычным составом исполнителей, собрались повидать известных литераторов в совершенно новом положении. Хлестакова играл поэт П. И. Вейнберг, городничего — А. Ф. Писемский, почтмейстера Шпекина — вернувшийся с каторги Достоевский. Тургенев, Григорович, Майков, Ф. Кони и В. Курочкин явились на сцену в роли безмолвствующих купцов. «Что тут происходило в течение нескольких минут — и рассказать трудно, — вспоминали современники. — Уже один вид Тургенева в пенсне на носу и с головою сахара в руках, в длиннополом сюртуке — чего стоил!» Зал разразился хохотом и бурными рукоплесканиями.

Еще одно важное благотворительное начинание предпринял тогда Тургенев: он начал самые настойчивые хлопоты о выкупе на волю крепостных братьев и сестры Тараса Григорьевича Шевченко у помещика В. Э. Флиорковского. Эти хлопоты достигли цели.

Радовали Тургенева и те успехи, которые совершала

в последние годы русская литература на драматургическом поприще. В ноябре 1859 года, в Петербурге, А. Н. Островский читал перед известными литераторами новую драму «Гроза». Тургенев пришел на чтения с предубеждением: Фет, познакомившийся с «Грозою» ранее, уже сообщил Тургеневу, что это мелодраматическая вещь, написанная в подражание французской сценической традиции.

В манере чтения у Островского отсутствовал тот артистический розыгрыш, который был характерен для Писемского и нравился многим, а у Тургенева вызывал скрытое раздражение. Островский оттенял характеры героев без нажима: создавалось ощущение, что над миром выведенных в драме героев царит и господствует мудрый чародей художественного слова. И чем долее вслушивался Тургенев в текст произведения, тем большее восхищение испытывал. Фету же он написал: «Фет! Помилосердуйте! Где было Ваше чутье, Ваше понимание поэзии, когда Вы не признали в «Грозе»... удивительнейшее, великолепнейшее произведение русского, могучего, вполне овладевшего собою таланта? Где Вы нашли тут мелодраму, французские замашки, неестественность? Я решительно ничего не понимаю — и в первый раз гляжу на Вас *(в этого рода вопросе)* с недоумением. Аллах! какое затменье нашло на Вас?»

Но радости Тургенева не были продолжительными. Вскоре одно за другим последовали события, поставившие под сомнение веру в святость и искренность дружеских чувств. Зимой 1860 года произошла пренеприятнейшая размолвка с И. А. Гончаровым. Талант этого писателя Тургенев ценил очень высоко еще со времен Белинского, благословившего на литературный успех первый гончаровский роман «Обыкновенная история». С благословения Тургенева вышел в свет второй роман Ивана Александровича — «Обломов». Гончаров читал его в Париже Тургеневу и другим русским писателям. Их высокая оценка окрылила сомневающегося в себе писателя. Иван Александрович платил Тургеневу взаимностью: «Записки охотника», например, он считал непревзойденным шедевром русской художественной прозы. «Помню, — рассказывал Л. Н. Толстой, — как Гончаров говорил мне, что из народной жизни после «Записок охотника» Тургенева писать уже нечего. Все исчерпано». Гончаров доверял критическому чутью и эстетическому вкусу Тургенева, часто читал ему отрывки из нового

романа («Обрыв»), над которым, по обыкновению, работал очень долго и трудно.

Недоразумения начались еще 28 декабря 1858 года, после чтения романа «Дворянское гнездо». Гончарову показалось, что и герои, и сюжетные повороты тургеневского романа перекликаются с теми фрагментами из «Обрыва», которые он читал Тургеневу. Выслушав претензии Ивана Александровича, Тургенев, с обычной для него уступчивостью, согласился, что, возможно, некоторые мотивы неосознанно подхвачены им у мнительного автора «Обломова». Чтобы снять напрасные подозрения, он устранил из «Дворянского гнезда» сцену объяснения Марфы Тимофеевны с Лизой, которая показалась Гончарову похожей на эпизод разговора Веры с бабушкой, Татьяной Марковной Бережковой. Теперь Тургенев понял, что своей уступкой он совершил большую ошибку. Уступка эта не только не развеяла, а, напротив, усилила подозрительность. Гончаров написал Тургеневу письмо, в котором предлагал автору «Рудина» и «Дворянского гнезда» отказаться от сочинения романов, якобы вообще несвойственных и чуждых его писательской манере, склонной к легким и изящным очеркам и раскрывшейся полно и всесторонне в «За́писках охотника». Что такое «Дворянское гнездо»? — «Это картинки, силуэты, мелькающие очерки, исполненные жизни, а не сущность, не связь и не целость взятого круга жизни». Тургенев соглашался с такой оценкой и прибавлял: «Но что же прикажете мне делать. Не могу же я повторять «Записки охотника» до бесконечности? А бросить писать тоже не хочется. Остается сочинять такие повести, в которых, не претендуя ни на целость, ни на крепость характеров, ни на глубокое и всестороннее проникновение в жизнь, я бы мог высказать, что мне приходит в голову».

Пытаясь снять всякие подозрения, Тургенев поделился с Гончаровым замыслом романа «Накануне», подробно передал ему сюжет. Когда номер «Русского вестника» с новым романом вышел в свет, Тургенев послал Гончарову журнальный оттиск с просьбой высказать нелицеприятное суждение. Спустя некоторое время он получил от автора «Обломова» оскорбительное письмо:

«Спешу, по обещанию, возвратить Вам, Иван Сергеевич, повесть «Накануне», из которой я прочел всего страниц сорок. Дочитаю когда-нибудь после, а теперь боюсь задержать: у меня есть другое дело.

На обе эти повести, то есть «Дворянское гнездо» и

«Накануне», я смотрю как-то в связи, потому, может быть, что ими начался новый период Вашей литературной деятельности.

...По прежним Вашим сочинениям я и многие тоже не могли составить себе определенного понятия о роде Вашего таланта, но по этим двум повестям я разглядел и оценил окончательно Вас как писателя и человека.

Как в человеке ценю в Вас одну благородную черту: это то радушие и снисходительное, пристальное внимание, с которым Вы выслушиваете сочинения других и, между прочим, недавно выслушали и расхвалили мой ничтожный отрывок все из того же романа, который был Вам рассказан уже давно в программе».

Художник Шубин напомнил Гончарову художника-дилетанта Райского, Елена Стахова — центральную героиню задуманного романа «Обрыв» Веру. В раздражении Иван Александрович захлопнул роман и отказался его читать. А встретив однажды на улице критика Дудышкина, спешившего на обед к Тургеневу, грубо пошутил:

— Это на мои деньги будете обедать.

Он имел в виду гонорар, полученный Тургеневым за роман «Накануне».

— Сказать ему? — спросил Дудышкин.

— Скажите! Скажите!

Конфликт обострялся, чаша терпения переполнялась с обеих сторон. Проще простого объяснить всю эту историю болезненной мнительностью Гончарова. Вероятно, и без нее тут дело не обошлось. Но весьма вероятно и другое: Тургенев действительно обладал уникальной способностью подхватывать на лету яркие жизненные впечатления, загораться художественным волнением и создавать фигуры, «сотканные из света и воздуха», намечать в своих романах тонкую художественную канву, по которой очень часто его современники и последователи вышивали свои узоры.

Его талант живого сочувствия всему прекрасному был Гончарову спасительной поддержкой. Постоянно сомневающийся в себе, работавший медленно и трудно, Иван Александрович был благодарен Тургеневу за приветливый, вдохновляющий отклик, во многом ускоривший его работу над «Обломовым». Гончаров постоянно делился с Тургеневым своими замыслами. Он вспоминал, как загорелись глаза приятеля, познакомившегося с героями и сюжетом «Обрыва».

— Вот если б я умер, Вы можете найти тут много для

себя! — сказал Тургеневу Гончаров. — Но пока я жив, я сделаю сам!

Случайны ли совпадения героев Тургенева с героями «Обрыва»? Что скрывается за этими совпадениями, невольная тургеневская впечатлительность или коварный умысел? В свою очередь, и Тургенев, крайне обеспокоенный случившимся, потребовал беспристрастного третейского суда. По взаимному согласию сторон судьями оказались Анненков, Дружинин и Никитенко, «одинаково сочувствовавшие обеим сторонам и ничего так не желавшие, как уничтожить и самый предлог к нарушению добрых отношений между лицами, имевшими одинаковое право на уважение к их авторитетному имени». Так определил позицию судей П. В. Анненков. Но ведь добрыми намерениями вымощена и дорога в ад: дело-то было слишком тонкое и деликатное, касающееся самолюбия утонченных, художественно впечатлительных натур.

29 марта 1860 года на квартире Гончарова состоялся этот суд. По воспоминаниям Никитенко, Тургенев волновался, но держал себя «без малейших порывов гнева». Гончаров отвечал как-то смутно и неудовлетворительно. Приводимые им места сходства в повести «Накануне» и своей программе мало убеждали в его пользу, так что победа явно склонилась на сторону Тургенева, и оказалось, что Гончаров был увлечен, как он сам выразился, «своим мнительным характером и преувеличил вещи». Насколько судьи пощадили при этом гончаровское самолюбие — вопрос спорный.

Суд, по воспоминаниям Анненкова, сделал такой вывод: «Произведения Тургенева и Гончарова, как возникшие на одной и той же русской почве, должны были тем самым иметь несколько схожих положений, случайно совпадать в некоторых мыслях и выражениях, что оправдывает и извиняет обе стороны».

Гончаров, казалось, остался доволен этим решением экспертов. Не то, однако же, случилось с Тургеневым. Лицо его покрылось болезненной бледностью, он пересел на кресло и дрожащим от волнения голосом произнес следующее:

— Дело наше с Вами, Иван Александрович, теперь кончено; но я позволю себе прибавить к нему одно последнее слово. Дружеские наши отношения с этой минуты прекращаются. То, что произошло с нами, показывает мне ясно, какие опасные последствия могут явиться из приятельского обмена мыслей, из простых, доверчивых

связей. Я остаюсь поклонником Вашего таланта, и, вероятно, еще не раз мне придется восхищаться им вместе с другими, но сердечного благорасположения, как прежде, и задушевной откровенности между нами существовать уже не может с этого дня.

И, кивнув всем головой, он вышел из комнаты.

При всем своем стремлении к беспристрастию, Анненков тонко уловил настроение Тургенева, но не почувствовал душевного состояния Гончарова. Иван Александрович, в свою очередь, не был удовлетворен решением суда. Возникшее недоразумение осталось, а с годами продолжало разрастаться. Вероятно, в делах такого рода вмешательство посторонних лиц действовало как соль на обнаженную рану.

Разрыв дружеских отношений с Гончаровым глубоко подействовал на Тургенева, и без того наделенного необычайно острым ощущением хрупкости и непрочности жизненных связей, трагичности человеческого бытия. Этот разрыв был особенно болезненным еще и потому, что одновременно порывались отношения с кругом «Современника», с Некрасовым.

Да и в общественной жизни совершались тревожные перемены. 6 февраля 1860 года умер председатель редакционных комиссий Я. И. Ростовцев. В преемники ему «плантаторы» прочили М. Н. Муравьева или В. Н. Панина. Граф А. Бобринский дерзко заявил Милютину:

— Неужели вы думаете, что мы дадим вам кончить это дело? Неужели вы серьезно это думаете? Полноте пожалуйста! Не пройдет и месяца, как вы все в трубу вылетите, а мы сядем на ваше место.

Чтобы предотвратить интриги крепостников, Милютин решился на отчаянный шаг: вместе с Ланским он написал и вручил государю записку, в которой Ланской предлагал свою кандидатуру на место Ростовцева и обещал кончить редакционный труд в два месяца. Но Александр II через четыре дня назначил председателем В. Н. Панина. Милютин был так потрясен, что слег в постель от нервного расстройства. К счастью, царь был полон решимости как можно скорее закончить это дело и 25 февраля вызвал Милютина во дворец для личной беседы. Видимо, он понимал, что назначение Панина неудачно, а сделать по-другому не мог: крепостники были достаточно сильной партией при дворе.

С назначением Панина в редакционных комиссиях начались баталии за каждый пункт. Крепостники в комиссиях осмелели и стали открыто высказываться против Милютина и его друзей. Споры доходили подчас до грани дозволенного и даже переступали ее. Однажды разгоряченный Милютин оборвал Булыгина:

— Ваши действия неблаговидны. Я знаю, что Вы хотите только подслужиться известному Вам лицу... Все, что Вы написали против комиссий, делает Вас недостойным быть в среде их членов!

Когда Булыгин стал оправдываться, Милютин бросил ему в лицо:

— Если Вам угодно, то я могу, только не здесь, дать Вам всякое удовлетворение!

...24 апреля 1860 года Тургенев уехал за границу потрясенным и подавленным. Тревожила и судьба дочери, заканчивающей пансион и по-прежнему недружелюбно настроенной к семье Виардо. Нужно было подыскать для себя и дочери парижскую квартиру. Полина нуждалась в гувернантке, старшей наставнице. По дороге в Париж он вновь сильно простудился, возобновилась часто докучавшая в последние годы болезнь горла, тот самый несчастный бронхит, существование которого никак не признавал Лев Николаевич Толстой. Еще один повод для постоянных тревожных размышлений Тургенева: в Толстом он любил великую надежду русской литературы, но человечески никак не мог сойтись с ним. «Ведь Толстой думает, что я и чихаю, и пью, и сплю, ради фразы», — грустно шутил Тургенев.

После свидания с дочерью Тургенев уехал на лечение во французский городок Соден. Здесь он усердно штудировал Фогта, с которым был давно знаком лично, но работы его не читал. В последнее время Добролюбов и особенно молодые люди из редакции журнала «Русское слово», проявляли ревнивый интерес к общественным наукам. Их кумирами стали немецкие естествоиспытатели К. Фогт, Л. Бюхнер, Я. Молешотт.

Тургенева давно задела за живое статья Добролюбова «Органическое развитие человека в связи с его умственной и нравственной деятельностью» своим приземленным взглядом на любовь. «Мы совестимся представить себе вещи, как они есть; мы непременно стараемся украсить, облагородить их и часто навязываем на себя такое бремя, которого и снести не можем... Кто не убирал розовыми цветами идеализма — простой, весьма понятной склонности к женщине? ...Нет, что ни говорите, а желание по-

идеальничать в нас очень сильно; врачи и натуралисты «имеют резон».

Что же хочет доказать этот юноша? Неужели чувство любви вполне способна объяснить физиология? И откуда в молодом поколении эта готовность легко и беззаботно разрешать с помощью естествознания самые сложные и трагически запутанные жизненные узлы? Почему все святое и высокое они пытаются унизить, свести к чему-нибудь простому и элементарному? Как это не похоже на молодость поколения Тургенева, когда господствовало стремление диаметрально противоположное!

Интересно, как бы эти матерьялисты оценили любовь Тургенева к Виардо? Вот прекрасный образец для упражнений относительно дряблости мозгового вещества и нарушения нормальных законов физиологии!

«Ныне в естественных науках, — утверждал оппонент Тургенева, — усвоен положительный метод, все выводы основываются на опытных, фактических знаниях, а не на мечтательных теориях... Ныне уже не признаются старинные авторитеты... Молодые люди читают Молешотта, Дюбуа-Реймона, Фохта, да и тем еще не верят на слово... Зато г. Берви очень остроумно умеет смеяться над скептиками, или, по его выражению, nihilist'ами».

«Нигилисты»! Ай да казанский профессор Берви! Слово-то какое найдено!.. Это значит, люди, отрицающие ради отрицания, не имеющие положительной и жизнеутверждающей программы. Чему учат нигилистов немцы, их кумиры? — Тому, что человеческая мысль сводима к элементарным физиологическим отправлениям мозгового вещества: мозг выделяет мысль, как печень желчь, что в процессе старения человека мозг его истощается, его объем уменьшается и, соответственно, становятся неполноценными как умственные способности человека, так и его психика в целом. Легко опрокидывают самоновейшие мудрецы вековой опыт, тысячелетние представления. Со времен классической древности старость считалась наиболее мудрым периодом в жизни человека, даже римское слово «сенат» означает «собрание стариков». А теперь доказывается, что молодое поколение вообще не должно прислушиваться к опыту людей, прошедших сложную и суровую жизненную школу. Ведь в свете самоновейших общественных теорий эти люди — существа неполноценные.

Дальше — больше: утверждалось, что «вместимость черепа расы» по мере развития цивилизации «мало-помалу увеличивается», что есть расы неполноценные в умственном отношении, как негры, например, или полноценные, как арийцы. «Вот она, старая гегелевская погудка, да только на новый лад!» Ну а далее шел вывод о поколениях: молодежь по этой физиологической раскладке оказывалась всегда умнее стариков, так как череп у нее по законам развития всегда чуть вместительнее, чем у предшествующего поколения. А значит, молодое поколение по тем же неопровержимым законам физиологии должно валить с пьедесталов кумиры, которым поклонялось поколение предыдущее. Это и есть подлинный прогресс...

Тургенев потрогал свою огромную голову и, удостоверившись в хорошей вместимости черепа, от всей души рассмеялся. А в письме к А. А. Фету сообщил: «Я собираюсь работать — или, собственно говоря, — читать. Я давно ничего путного не читал — и отстал. Принялся за Карла Фогта. Ужасно умен и тонок этот гнусный материялист!»

С буслаевской легкостью разделывались вульгарные материалисты и с проблемою смерти, мучившей в течение тысячелетий «глупое» человечество. «Может ли возмущать нас процесс превращения трупов наших в великолепную растительность полей, а полевых цветов в орган мышления? — задавал вопрос Молешотт и отвечал на него с тем же неуклюжим изяществом. — Кто понимает взаимную зависимость всего существующего, для того смерть не может быть неприятной».

Значит, смерть — дело естественное и приятное, но пока тебе не прищемили этой дверью палец. А как прищемят, так почему-то оказывается, что человек никак не хочет умирать и потерю близких воспринимает как трагедию.

Ну и какие же итоги? Любви в смысле идеальном не существует вовсе — есть только физиологическое влечение. Нет никакой красоты в природе — есть лишь вечный круговорот химических процессов единого вещества. Нет духовных наслаждений искусством — есть физиологическое раздражение нервов. Нет никакой преемственности в смене поколений: молодежь с порога отрицает ветхие идеалы «старичков». Материя и сила!

Тургенев чувствовал особую опасность этих идей для современной общественной ситуации, которую переживала Россия. Предреформенная ломка, разрушавшая вековые устои общества, освобождала человеческую индиви-

дуальность не только от пагубных крепостнических отношений, но и от живительной силы культурных традиций, преданий и авторитетов, от исторической памяти. Личность выпадала из культурных связей и попадала в слепую зависимость от ограниченных выводов самоновейшей науки, от «последних слов» идейной жизни общества. Особенно опасной такая ситуация была для молодежи из средних и мелких слоев общества. Представитель «случайного племени», одинокий юноша-разночинец, брошенный в круговорот общественных страстей, втянутый в идейную борьбу, вступал в крайне болезненные отношения с миром. Не укорененный в народном бытии, лишенный прочной культурной почвы, он оказывался беззащитным перед властью «недоконченных» идей, сомнительных общественных теорий, которые носились в «газообразном» российском обществе.

Проштудируй анатомию глаза — и ты убедишься, что неоткуда взяться загадочному взгляду, о котором любят распространяться поэты. Да и какие таинственные отношения могут быть между мужчиной и женщиной, если физиология камня на камне не оставила от придуманных романтиками загадок и тайн! Только почему же несчастному Тургеневу бывает достаточно лишь ласкового взгляда таинственных глаз любимой женщины, почему замирает его душа при созерцании природы, почему плачет он при звуках «Лунной сонаты» и почему до сих пор преклоняет колени при имени Учителя своего — В. Г. Белинского? «Отставной я человек с точки зрения современных нигилистов, — иронически рассуждал Тургенев. — В их глазах моя песенка спета. Только нет, мы еще повоюем!»

«Кто из образованных людей не говорил с уверенностью, даже иногда с восторгом, о Гомере, о Шекспире, пожалуй, о Бетховене, о Рафаэле и его мадонне, и между тем многие ли сами-то понимали в глубине души своей то, что говорили?» — вспоминался добролюбовский вопрос в заинтересовавшей Тургенева статье. Ведь это он, Тургенев, громче и больше всех говорил в редакции «Современника» о Гомере и Шекспире, Бетховене и Рафаэле, говорил и о тех отрицательных впечатлениях, которые вынес из Рима от русских художников, презирающих Рафаэля, который, по их понятиям, «гроша ломаного не стоит». А неразговорчивый молодой человек слушал с непроницаемым видом и спорил с Тургеневым, только не в открытом поединке, а в своих статьях. Он и

тут увидел лишь желание поидеальничать, типичное для дворянина с дряблой психикой, и подводил отнюдь не безобидный саркастический итог: «Врачи и натуралисты «имеют резон»!»

Далеко можно зайти в отрицании культуры и науки, красоты и искусства, любви и дружбы, если быть последовательным учеником таких вульгарных учителей! Временами Тургенев до того раздражался чтением Фогта, Бюхнера и Молешотта, что отбрасывал их сочинения в сторону и для душевного успокоения погружался в поэзию Горация, в античную мифологию, в «Одиссею» Гомера, в труды философов-стоиков, которых любил. Он внимательно перечитал книгу Цицерона «О старости, о дружбе, об обязанностях». Тысячелетняя культура во всей красе и мощи вставала перед ним, обнажая догматическую узость претензий вульгарных материалистов объяснить жизнь на ее высших уровнях действием процессов, протекающих в низшей «природной мастерской». Они правы, когда остаются в пределах физиологии, химии, зоологии, но стремление перенести химические и физиологические механизмы на законы человеческого общества угрожает основам человеческой культуры, обесценивает искусство, поэзию, нравственность.

Постепенно в сознании Тургенева стал возникать еще расплывчатый, но все более и более набиравший жизненные краски образ героя, убежденного, что естественнонаучные открытия объясняют в человеке все. Что бы стало с этим человеком, если бы он попытался осуществить на практике свои взгляды, по убеждению, что «вера без дела мертва есть»? И Тургеневу мечталась фигура мрачная, сильная, злобная и честная, наполовину выросшая из почвы. Мечтался русский бунтарь, разбивающий все авторитеты, повергающий в прах старые кумиры, уничтожающий культурные ценности без жалости и без пощады. Словом, виделось какое-то подобие интеллектуального русского Пугачева. Чаще всего эта фигура и повадками своими и даже внешним видом смахивала на главного обидчика Тургенева — Добролюбова.

Но в то же время Тургенев часто ловил себя на мысли, что он раздражается и теряет объективность в оценке этой личности. Ведь при всей антипатичности Добролюбова он испытывал к нему какое-то тайное влеченье — род недуга. Ведь многое в статьях этого сильного духом, честного юноши было справедливым. Разве мало в нашем обществе пустопорожней болтовни, которой

подменяется живое дело, разве не расцветает пустоцветом на страницах журналов и газет поверхностное обличительство? И, положа руку на сердце, разве нельзя не признаться, что в культурном дворянстве сороковых годов есть и внутренняя дряблость, и психическая расслабленность, и чрезмерная интеллектуальная утонченность при слабой укорененности в русской почве да и вообще в реальной действительности?! Тургенев вспоминал и свою непрактичность, свою хозяйственную беспомощность — и сокрушенно вздыхал...

Лихорадка работы с него соскочила, и, по обыкновению, он погрузился целиком в течение тихой жизни, которая его окружала. Соден действовал умиротворенно и очищающе своими зелеными улочками, чистыми домиками, честными физиономиями жителей городка. Здесь было много зелени, уединенных мест для отдыха под тенистыми деревьями. После тревожной петербургской зимы, после раздражения противоречивыми, а подчас и диаметрально противоположными критическими отзывами о романе «Накануне» наступала временами душевная тишина с небольшой примесью тихой скуки — этого верного признака правильного препровождения времени. Тургенев знал по долгому опыту, что такое состояние предшествует новой вспышке напряженной творческой работы. «Без сосредоточенности, — говорил он, — можно сильно чувствовать, понимать, но творить — трудно. Дерево сосредоточивается в течение целой зимы, чтобы весной покрыться листьями и цветами». Так и писателю нужны минуты внутреннего сосредоточения.

«А я здесь веду жизнь патриархально-мирную, — писал Тургенев Е. Е. Ламберт из Содена. — Ничего не делаю — а дни так и летят: не успеваешь оглянуться — уже вечер наступил и сон клонит. Мысли, которые мне приходят в голову, — такого свойства, что я без большого усилия мог бы иметь и противуположные им мысли — до того они поверхностны и самой своей поверхностностью приятны и гармоничны».

В июне в Соден приехал Николай Николаевич Толстой, к которому Тургенев питал чувство дружбы и сердечной симпатии. Он был человеком мягким и немножко замкнутым, эстетически чутким и художественно одаренным. Тургенев считал, что он не имел недостатков, которые нужны для того, чтобы стать писателем, и, в первую очередь, главного — тщеславия: ему совершенно неинтересно было, что думают о нем люди. Но он имел тонкое

художественное чутье, крайнее чувство меры, добродушный, веселый юмор, необыкновенное неистощимое воображение и правдивое, высоконравственное мировоззрение, — и все это без малейшего самодовольства. Воображение у Николая Николаевича было такое, что он мог импровизировать сказки или истории с привидениями в духе модной тогда госпожи Радклифф без остановки и запинки, целыми часами, с такой уверенностью в действительность рассказываемого, что забывалось, что это выдумка. В далеком детстве он сочинил игру в «муравьиных братьев» и легенду о «зеленой палочке» с написанной на ней разгадкой тайны о всеобщем человеческом счастье. Эту палочку искали маленькие братья Толстые на краю оврага в Старом Заказе. Лев Николаевич считал себя обязанным брату пробуждением чувства справедливости и веры в будущее братство. Не случайно в этом месте светлых детских игр с Николенькой завещал он выкопать себе могилу.

Тургенев познакомился с Н. Н. Толстым пять лет тому назад у Марии Николаевны в Покровском и очень тесно сошелся с ним. Веселый, искренний, без тени рисовки, он был человеком демократичным и непритязательным: в Москве снимал дешевую квартиру в каком-нибудь из отдаленных ее кварталов, делился всем, что имел, с любым бедняком. Тургенев общался с ним охотно и довольно часто в Спасском, в Ясной Поляне, в Москве. Они предавались охотничьим странствиям, разговаривали о жизни, об искусстве, играли в шахматы.

К концу зимы 1860 года у Николая Николаевича началась скоротечная чахотка. Узнав о болезни друга, Тургенев срочно написал А. А. Фету из Содена: «Все больные с расстроенною грудью лечатся в Содене; вот бы куда поехать Толстому (Николаю) и его сестре! Это было бы чудно. А воздух здесь действительно целебный: точно в нем парное молоко разлито... Боюсь я, что Николай Толстой все будет собираться — и не поедет наконец. А ему необходимо лечиться. Мне уже в прошлом году его кашель не нравился».

И вот он приехал к Тургеневу в Соден один, в надежде на исцеление. Нерадостной была эта встреча: здоровье Николая Николаевича оказалось из рук вон плохо. Тургенев с ним встречался ежедневно, играл в шахматы, но чаще увлекался разговором. Расспросы о предстоящей реформе, о том, как чувствует себя в преддверии великого события мужик, какие слухи ходят в народе о воле...

Николай Николаевич увлекался, рассказывал Тургеневу целые импровизированные повести о загадочном русском народе, напоминающем «таинственного незнакомца», о котором так любила толковать госпожа Радклифф.

За границей Николай Николаевич чувствовал себя неуютно, скучал, много думал о России, о родных местах: «Против окон моих стоит неказистое дерево, — писал он из Содена Фету, — но на нем живет птичка и поет себе каждый вечер; она мне напоминает флигель в Новоселках».

Нередко друзья предавались воспоминаниям о прошлогодней охоте в окрестностях Спасского, такие воспоминания гасили временами тоску по родине:

— Сегодня Петров день, Николай Николаевич! Вообразите себе Фета с Борисовым в сопровождении верного моего Афанасия на охоте в Полесье... Вот поднимается черныш из куста — трах! закувыркался оземь краснобровый.

— Нет! Удирает вдаль к синеющему лесу, редко дробит крылами — и глядит ему вслед мазила Борисов... не упадет ли, не свихнется...

— Эх, чешет, сукин сын, все далее и далее и закатился за лес. — Прощай! А что это мы с Вами, Николай Николаевич, сидим здесь в Содене да только вздыхаем. Не пройтись ли и нам по здешним угодьям?

Ходили, пробовали новую тургеневскую собаку... но то ли собака оказалась негодной, то ли не было в окрестностях дичи... Грустно было смотреть на тяжело больного друга: он таял с каждым днем, лечение в Содене не помогало... Уж слишком поздно Николай Николаевич спохватился: болезнь была в полном разгаре...

8 июля 1860 года Тургенев оставил Соден, получив «приказ» от Полины Виардо навестить Куртавнель. — «Мадам Виардо этого пожелала, — стыдливо оправдывался Тургенев, — а для меня ее воля — закон. Ее сын чуть было не умер; и она много натерпелась. Ей хочется отдохнуть в спокойном, дружеском обществе»...

На этом и расстались они, да так, что навек оборвалась еще одна довольно прочная нить, связывавшая Тургенева с Россией...

3 октября 1860 года Тургенев сообщал Фету: «Да, вот мы еще с Вами собираемся жить; а для Николая Толстого уже не существует ни весны, ни соловьиных песен — ничего! Он умер, бедный, па Гиерских островах, куда он только что приехал...»

Беда одна не ходит. Так случилось, что 1860 год для Тургенева явился годом трагических утрат... 7 декабря на острове Занд скончался Константин Аксаков. И года не прожил он после смерти своего «отесеньки», незабвенного Сергея Тимофеевича.

«Милый Александр Иванович, — обращался Тургенев к Герцену. — Пожалуйста, напиши мне немедленно, откуда дошла до тебя весть о смерти К. Аксакова и достоверна ли она... Я всё еще не хочу верить смерти этого человека».

Герцен откликнулся на эту смерть известным некрологом в «Колоколе»:

«Вслед за сильным бойцом славянизма в России, за *А. С. Хомяковым,* угас один из сподвижников его, один из ближайших друзей его — *Константин Сергеевич Аксаков* скончался в прошлом месяце.

Рано умер Хомяков, еще раньше Аксаков; больно людям, любившим их, знать, что нет больше этих деятелей благородных, неутомимых, что нет этих *противников,* которые были ближе нам многих *своих.* С нелепой силой случайности спорить нечего, у ней нет ни ушей, ни глаз, ее даже и обидеть нельзя, а потому, со слезой и благочестием закрывая крышку их гроба, перейдем к тому, что живо и после их.

Киреевские, Хомяков и Аксаков — *сделали своё дело;* долго ли, коротко ли они жили, но, закрывая глаза, они могли сказать себе с полным сознанием, что они сделали то, что хотели сделать, и если они не могли остановить фельдъегерской тройки, посланной Петром и в которой сидит Бирон и колотит ямщика, чтоб тот скакал по нивам и давил людей, — то они остановили увлеченное общественное мнение и заставили призадуматься всех серьезных людей.

С них начался *перелом русской мысли.* И когда *мы* это говорим, кажется, нас нельзя заподозрить в пристрастии.

Да, мы были противниками их, но очень странными. У нас была *одна* любовь, но не *одинакая.*

У них и у нас запало с ранних лет одно сильное безотчетное, физиологическое, страстное чувство, которое они принимали за воспоминание, а мы за пророчество, — чувство безграничной, обхватывающей все существование любви к русскому народу, к русскому быту, к русскому складу ума. И мы, как Янус или как двуглавый орел,

смотрели в разные стороны, в то время как *сердце билось одно»*.

А спустя два месяца Тургенев сообщал Герцену о смерти Т. Г. Шевченко. Незадолго до кончины поэт пережил последнее в своей жизни унижение: «Один исправник в Черниговской губернии арестовал его и отправил как колодника в губернский город, за то что Шевченко отказался писать его портрет масляными красками во весь рост...»

Скончалась милая жена Я. П. Полонского, который только что потерял сына. «Я не могу вам выразить, как мне жаль и её и его, — да и вы, вероятно, разделите мою печаль, — писал Тургенев Анненкову. — Ну отчего бы ей не жить на свете? Ведь следовало бы Полонскому иметь хоть маленькое вознаграждение за неизжитое еще им горе потери сына... Где же справедливость?»

Потом умерли сын, а вслед за ним и брат Е. Е. Ламберт: «Что я могу сказать Вам — матери, потерявшей единственного сына! Если бы я был в Петербурге — я бы плакал вместе с Вами; — а теперь я только протягиваю Вам обе руки и крепко и молча жму Ваши». Спустя шесть дней Тургенев сообщал несчастной Ламберт: «Я видел Вашего бедного брата незадолго до кончины: его исхудалое, желтое, как воск, лицо являло все признаки близкого разрушения — а он метался головой по подушке и два раза сказал мне: «Не хочется умирать». В эту минуту уже жизнь была для него невозможностью, а смерть — необходимостью, естественной и неизбежной. — Естественность смерти гораздо страшнее её внезапности или необычайности. Одна религия может победить этот страх... Но сама религия должна стать естественной потребностью в человеке, — а у кого её нет — тому остается только с легкомыслием или с стоицизмом (в сущности это всё равно) отворачивать глаза. На днях здесь умирала Мансурова... Одна моя знакомая, у которой она умерла на руках, была поражена легкостью, с которой человек умирает: — открытая дверь заперлась — и только... Но неужели тут и конец! Неужели смерть есть не что иное, как последнее отправление жизни? — Я решительно не знаю, что думать — и только повторяю: «счастливы те, которые верят!»

В начале ноября 1861 года до Тургенева дошел слух, что смертельно болен Добролюбов. И ему стало жаль этого молодого человека. Когда же и его не стало, Тургенов написал И. П. Борисову следующие слова: «Я пожалел о смерти Добролюбова, хотя и не разделял его воззрений: человек был даровитый — молодой... Жаль погибшей, напрасно потраченной силы!» Так беспощадно обошлась жизнь с прототипом тургеневского Базарова. Возникало жутковатое ощущение: уж не напророчил ли Тургенев своим романом эту смерть?

Пережитые утраты обострили типичные для Тургенева раздумья о смысле бытия, о смерти и бессмертии, о вере и безверии. По своему мировоззрению Тургенев оставался атеистом, но атеистом сомневающимся и терпимым к верующим людям. Он считал, что человек вообще не в силах решить вопрос о существовании Бога и бессмертия однозначно и уверенно. К существованию стоящей над людьми могущественной силы Тургенев относился с сомнением, с постоянной, никогда не замолкавшей внутренней тревогой. Эта тревога была основой поэтического ощущения Тургеневым таинственности и загадочности бытия с его многообещающей, но хрупкой и ускользающей красотой, которая, казалось, могла бы «спасти мир». Есть в судьбах человечества такие тайны, на которые можно лишь указать — и пройти мимо... Любые разъяснения только повредят: не даются в руки такие тайны слабому человеку. Когда А. И. Герцен, восхищаясь финалом «романа «Отцы и дети», писал Тургеневу: «Реквием на конце — с дальним апрошем к бессмертию души — хорош, но опасен, ты эдак не дай стречка в мистицизм», — Тургенев отвечал, что в мистицизм он не ударится, а в отношении к Богу придерживается мнения Фауста:

> Кто решится его назвать
> Или сказать: «Я верю в него»,
> Кто воспримет его своим чувством
> Или осмелится сказать:
> «Я не верю в него»?

Потрясенный потерями, Тургенев говорил: «Жестокий этот год... послужил и для меня доказательством тщеты всего житейского: да, земное всё прах и тлен — и блажен тот, кто бросил якорь не в эти бездонные волны! Имеющий веру — имеет всё и ничего потерять не может; а кто её не имеет — тот ничего не имеет, — и это я чувствую тем глубже, что сам принадлежу к неимущим! Но я еще не теряю надежды...» С таким безверием и с такой надеждой Тургенев прожил всю жизнь.

«Жестокий год» и в личной жизни дал Тургеневу ма-

ло утешения. Не принес желанного успокоения Куртавнель. «Бывало, как сердце билось, как дыханье стеснялось, когда я подъезжал к нему — а теперь всё это стало тише — да и пора!» При свидании Полина Виардо сказала: «Побудьте здесь дней десять». — «Дней десять? И никак не более? Уже эти два слова говорят о новых временах». Великая богиня бросала ему милостыню от своих щедрот. Но любящий Тургенев не чувствовал при этом унижения. Другие чувства жили в нем, когда он попал в любимую комнату, где сочинял двадцать три года назад «Записки охотника» и где, как встарь, под окном расстилалось водное пространство, покрытое зеленой плесенью. «Дней десять», — звучали в душе слова Полины, и слезы набегали на глаза.

Вдруг он почувствовал, что сердце его умерло. Прошедшее отделилось и отдалилось от него окончательно, и вся прожитая жизнь тоже отдалилась вместе с ним. Было очень тяжело, но приходилось свыкаться с гибелью надежд. «Что делать? Можно жить и так. Вот если бы возродилась малейшая надежда возврата прежних дней — она бы потрясла меня до основания. Ведь я и прежде испытывал порой этот лед бесчувствия, под которым таится немое горе... надо дать окрепнуть этой коре... надо — и горе под ней исчезнет».

Он бродил по Куртавнелю, общался с Луи Виардо, и с каким-то ранее ему незнакомым чувством отстраненности смотрел в глаза Полины, целовал ей руку при встрече и прощании. Казалось, он был давно умершим, казалось, что он принадлежал к давно минувшему, хотя и оставался еще существом, сохранившим любовь к добру и красоте. Вспомнился трактат Цицерона «О старости»: «Для другого поколенья дерево сажает!» Есть особое бескорыстие в том, что старики делают добро и любуются красотой — хотя и добро и красота личной пользы им уже не принесут, личного удовольствия не доставят... Неужели молодость прошла? Неужели старость у порога?

«Да, я по-прежнему люблю её, люблю Куртавнель, люблю поэзию, музыку, женскую красоту. Только в этой любви уже нет ничего личного. Глядя на какое-нибудь прекрасное молодое лицо, я так же мало думаю при этом о себе, о возможных отношениях между этим лицом и мною — как будто бы я был современником Сезостриса, каким-то чудом еще двигающимся на земле среди живых».

«Возможность пережить в самом себе смерть самого

себя — есть, может быть, одно из самых несомненных доказательств бессмертия души. Вот — я умер — и всётаки жив — и даже, быть может, лучше стал и чище. Чего же еще?»

«Как мне хочется вернуться в Россию с первыми днями весны, когда запоют соловьи... Все другие связи порвались, а точнее — истаяли. Но вот эта, кровная связь жива, осталась! Нет, весною возвращаюсь в возлюбленный Мценский уезд... Егорьев день, соловьи, запах соломы и березовых почек, солнце и лужи по дорогам — вот чего жаждет моя душа!»

Тогда же Тургенев писал Фету: «Вы приписываете Ваше увяданье, Вашу хандру отсутствию правильной деятельности... Все не то... Молодость прошла — а старость еще не пришла — вот отчего приходится узлом к гузну. Я сам переживаю эту трудную, сумеречную эпоху, эпоху порывов, тем более сильных, что они уже ничем не оправданы — эпоху покоя без отдыха, надежд, похожих на сожаления, и сожалений, похожих на надежды. Потерпим маленько, потерпим еще, милейший Афанасий Афанасьевич, и мы въедем наконец в тихую пристань старости, и явится тогда и возможность старческой деятельности и даже старческих радостей, о которых так красноречиво говорит Марк Туллий Цицерон в своем трактате «De senectute» *.

Много думает в эту пору Тургенев о взаимоотношениях между молодостью и старостью, между отцами и детьми, размышляет о недостатках и достоинствах разных возрастов человеческой жизни, о взаимоотношениях между поколениями, о преемственных связях между ними. На чем держатся они, эти связи? На сыновнем отношении к отцам, к прошлому своей родины, на отечески-благодатной любви старших поколений к детям, к молодой поросли, идущей им на смену.

Проблема отцов и детей лично затронула в это время Тургенева. Между ним и повзрослевшей дочерью Полиной возникали конфликты, похожие на те, которые изображаются в «Отцах и детях». «При большом сходстве со мною, — писал Тургенев Е. Е. Ламберт, — она натура совершенно различная от меня: художественного начала в ней и следа нет; она очень положительна, одарена характером, спокойствием, здравым смыслом... романтическое, мечтательное всё ей чуждо... Она не любит

* О старости *(лат.)*.

ни музыки, ни поэзии, ни природы... а я только это и люблю»... «для меня она — между нами — тот же Инсаров. Я её уважаю, а этого мало».

В письмах Тургенева периода работы над «Отцами и детьми» часто встречаются размышления о молодости и старости, об их психологической несовместимости и взаимной глухоте. Преимуществом молодости автор романа считает относительно безоблачный взгляд на жизнь. Но юношеский оптимизм по-своему ограничен: в нем нет еще ощущения драматизма человеческого существования. Старости этот драматизм открыт, она мудрее, человечнее, но зато она теряет крылья молодости, устремленность в будущее и живет в большей степени прошедшим, упивается воспоминаниями. «В сущности — всякому человеку более или менее плохо; в молодости этого не чувствуешь — оттого молодость и кажется таким прекрасным возрастом». Отдавая дань мудрости зрелого человека, Тургенев ловит себя на мысли, что и это чувство может быть эгоистическим. Самодовольство молодости естественнее и простительнее самодовольства в старости: отцы должны прощать юности её наивный эгоизм. И Тургенев поправляет себя: «А впрочем — это я вздор говорю: молодость — действительно прекрасная вещь. Вы это должны по себе знать — Вы молоды. Самая Ваша тоска, Ваша задумчивость, Ваша скука — молоды. Мы, например, с Вами во многом сходимся: одна только беда: Вы молоды — а я стар. Вы еще вносите новые суммы — а я уж подвожу итоги».

27 июля 1860 г. Тургенев встретился в Лондоне с Герценом. Разговор между старыми приятелями шел в основном о том направлении, которое определилось в последние годы в журнале «Современник», о нетерпимом отношении Чернышевского и Добролюбова к людям сороковых годов, к русскому либеральному движению. Тургенев посвятил в подробности своего разрыва с «Современником», Герцен делился впечатлениями от встречи с Чернышевским летом прошлого года:

— Я разделяю ваше возмущение, — говорил Герцен. — Это люди, которые тоном своим могут довести ангела до драки и святого до проклятия. Но нельзя не заметить, что ведь они, как и мы, «лишние», являются болезненным продуктом последнего, самого мрачного периода николаевского царствования. Люди типа Чернышевского не могут отделаться от желчи и отравы, набранной ими больше чем за шесть лет тому назад.

— Но у них, — возражал Тургенев, —есть все-таки и преимущество, я бы сказал, что в них уже гораздо меньше следов барства, чем в нас.

— Да не только в барстве тут дело, а и в том, что они не «лишние»... Но это люди озлобленные, больные душой, зачахнувшие от вынесенных оскорблений времен николаевских.

— Значит, Вы видите в них некий шаг вперед по сравнению с «лишними людьми»?

— Бесспорно! Но все же это болезненный шаг: у «лишних» была хроническая летаргия, а у этих — острое и болезненное страдание. Они какие-то «желчевики» и скоро, даже очень скоро сойдут со сцены. Для жизни они слишком унылы и аскетичны. И жизнь не сможет долго выносить наводящие уныние лица невских Даниилов, мрачно упрекающих людей, зачем они обедают без скрежета зубов и, восхищаясь картиной или музыкой, забывают о всех несчастьях мира сего.

— Да, Вы правы, — перебил Тургенев, — именно сухость и догматизм более всего в них отпугивает меня. К чему это литературное робеспьерство, это пренебрежение к художественности, к красоте, это недоверие к искусству. Интересно, о чем же у Вас шел разговор с Чернышевским?

— О, это было весьма поучительное общение. Меня поразила в нем злая радость отрицания и страшная беспощадность. Подобных людей я встречал во Франции после событий 1848 года. Поражение республики доводило их до таких резких выводов, которые пугали радикальной бойкостью. Но невский Даниил превзошел их всех. Дело в том, что, идя путем отрицания, русский пользуется перед европейцем страшным преимуществом: у него тут нет ни традиции, ни родного, ни привычки. Всего безопаснее по опасным дорогам проходит человек, не имеющий ни чужого добра, ни своего. На лице у Чернышевского я почувствовал глубокий след души помятой и раненой, какое-то снедающее и свернувшееся самолюбие. «Что же вы заступаетесь за всех этих лентяев, Онегиных и Печориных, — говорил он мне, — этих дармоедов, трутней, тунеядцев, которые любили стонать о несчастном положении, но притом спокойно есть да пить». — «Неужели вы в самом деле думаете, что эти люди по доброй воле ничего не делали?» — спросил я. «Без всякого сомнения, они были романтики и аристократы, они ненавидели работу, они считали бы себя уни-

женными, взявшись за топор или за шило, да и того, правда, они не умели», — отвечал мне «желчевик». «Но Чаадаев, например, он не умел взяться за топор, но умел написать статью, которая потрясла всю Россию. И за это был объявлен сумасшедшим. Белинский умел писать, Грановский читал лекции... Это были люди с огромной энергией и смелостью. Однако множество людей с меньшими силами поневоле оказывались парализованными», — убеждал я. «Зачем же они в самом деле чуждались простого труда?»... и так далее. Кончилось тем, что я решил прекратить эту сказку про белого бычка — и каждый из нас остался при своем мнении. Резюме невского Даниила было приблизительно следующим: «Я не заставляю никого работать, я констатирую факт — это были праздные, пустые аристократы, жившие покойно и хорошо, и не вижу причины, почему мне сочувствовать им». Я же ему ответил: «Воля ваша, а ведь это пустое дело — гнать людей или умерших, или приготовляющихся к смерти, и гнать их в таком обществе, где почти все живые хуже их — военные и штатские, помещики и попы».

Разговор с Герценом снова навел Тургенева на те размышления, которым он предавался в Содене, и вновь сильная, злобная, мрачная, но честная фигура «нигилиста» стала тревожить его воображение. Отправляясь на остров Уайт в городок Вентнор на морские купания, он уже обдумывал план нового романа, главным героем которого должен был стать «желчевик».

В Вентноре Тургенев поселился в прелестном домике у моря; широкая полоса желто-бурого песка тянулась далеко по морскому прибрежью, бутылочного цвета зеленые волны омывали ее в часы прилива; после отлива на влажном, твердом песке оставались пряди водорослей... Тургенев любил гулять по этой песчаной полоске в предзакатные часы в одиночестве, предаваясь творческим размышлениям. Часто он заходил в небольшое светлое здание. Это был своеобразный музей, в котором предприимчивые англичане собрали экспонаты, выброшенные на берег морем — обломки старинной утвари, мебели, посуды, материальные останки былых кораблекрушений. Особое внимание Тургенева сразу же привлек большой, громоздкий предмет в дальнем углу музея. Это была кормовая часть старинной галеры, столь ветхая, что, казалось, могла рассыпаться от малейшего прикосновения. Вековая плесень покрывала полуистлевшее дерево,

но сквозь её налет проступала надпись: «Молодая надежда» — название этого корабля. Поражал контраст между названием обломка и его состоянием, контраст, всегда тревоживший мысль Тургенева: дерзновенность человеческих порывов и бренность всего земного.

«Я начал понемногу работать, — писал Тургенев Е. Е. Ламберт, — задумал новую большую повесть — что-то выйдет?» Именно здесь, на острове Уайт, в Вентноре, был составлен «Формулярный список действующих лиц новой повести», где под рубрикой «Евгений Базаров» Тургенев отмечал: «Нигилист. Самоуверен, говорит отрывисто и немного — работящ. — (Смесь Добролюбова, Павлова и Преображенского). Живет малым; доктором не хочет быть, ждет случая. — Умеет говорить с народом, хотя в душе его презирает. Художественного элемента не имеет и не признает».

Добролюбов в качестве прототипа здесь указывался первым. Павлов Иван Васильевич, который шел следом, был мценским помещиком, врачом и литератором, приятелем М. Е. Салтыкова-Щедрина, атеистом и материалистом. Тургенев познакомился с ним в 1853 году, во время окончания спасской ссылки, а затем часто навещал его в мценском имении, в Москве, приглашал в Спасское. В 1859 году Тургенев помогал И. В. Павлову в организации политико-литературной газеты «Московский вестник», ходатайствуя перед министром народного просвещения Евграфом Петровичем Ковалевским. Тургенев относился к И. В. Павлову дружелюбно, однако его часто смущала в нем прямота и резкость суждений и оценок. Он категорически не принял, например, роман Тургенева «Дворянское гнездо» и в письме к Н. А. Основскому дал ему уничтожающую характеристику: «Роман... в целом есть фальшивый аккорд. Доказательства мои просты, ясны, жестоки и неотразимы! Героиня не русская, не христианка и даже не девушка, а член «кружка» 40-х годов. Дикая невежественная псевдорелигиозность в ней — сбоку припёка». Вероятно, павловскую характеристику Тургенев знал. В обрисовке Евгения Базарова он использовал прямоту и бескомпромиссность суждений этого человека.

Николай Сергеевич Преображенский был приятелем Добролюбова по педагогическому институту: оригинальная внешность — маленький рост, длинный нос и волосы, вечно стоящие дыбом на большой голове, несмотря на все усилия гребенки. Это был молодой человек

с таким повышенным самомнением, с такой бесцеремонностью и свободой суждений, что даже у Добролюбова вызывал некоторое восхищение. Критик называл Преображенского «парнем не робкого десятка». Преображенский был на два года моложе Добролюбова, и Тургенев встречался с ним зимой 1859 года в редакции «Современника». Этот молодой человек настолько пропитался критическими статьями своего приятеля, что напоминал «подобие добролюбовской тени».

В Вентноре Тургенев делился замыслом своего нового романа с А. К. Толстым, П. В. Анненковым, Н. Я. Ростовцевым, Н. Ф. Крузе, бывшим цензором леворадикальных убеждений, человеком, близким к редакции «Современника», находившимся в приятельских отношениях с Некрасовым. В то лето в Вентноре собрался целый кружок литераторов и общественных деятелей. Возникла идея организации «Общества для распространения грамотности и первоначального образования», за которую горячо ухватился Тургенев. Ему давно казалось, что народ без гражданского образования всегда будет плох, несмотря на всю хитрость и тонкость. Надо вооружиться терпением и учить русского мужика элементарным основам гражданского образования. Тургенева глубоко возмущала политика самодержавия в области народного образования, и когда «наше дальновидное правительство» наложило 50 рублей серебром пошлины на студентов и посетителей университетов, писатель с горечью заявлял: «Кого Юпитер хочет погубить — тех лишает разума!»

В проекте общества, обращенном ко всем просвещенным людям России, Тургенев говорит, что «настало время собрать воедино, направить к определенной ясной цели все эти отдельные силы, заменить частные, всегда более или менее неудовлетворительные попытки совокупным, обдуманным действием всех образованных русских людей — одним словом, свести в это благое дело могущество единодушных дружных усилий и светосознательной мысли».

Редакция «Современника» приняла этот проект Тургенева скептически, как одно из проявлений либерального прекраснодушия. Призыв писателя не получил отзвука в общественных кругах Москвы и Петербурга, уже схлестнувшихся в непримиримой борьбе. Надежда на всероссийское объединение антикрепостнических сил по-прежнему оставалась иллюзорной.

Даже внутри редакционных комиссий, завершавших разработку проекта реформы, ни на секунду не прекращалась напряженная борьба. Решающую роль в ней наряду с другими фактами сыграла принадлежность дворянских владений к нечерноземной и черноземной зонам.

В черноземных губерниях основную ценность помещичьих владений составляла земля. Здесь дворяне имели большую собственную запашку и извлекали огромные прибыли из труда крестьянина на барщине. Поэтому в своих рекомендациях, направляемых в редакционные комиссии, они стремились всячески урезать наделы крестьян и сохранить большую сумму выкупа за землю, передаваемую им в собственность. В страхе потерять даровые крестьянские руки они настаивали на введении переходного, срочно-обязанного периода. Опасаясь, что личное освобождение крестьян приведет к повсеместному отказу от подневольного труда, дворянство черноземных губерний требовало укрепления вотчинной власти помещиков, развития местного самоуправления на помещичье-аристократической основе.

Иная ситуация складывалась в нечерноземных губерниях, где основные доходы помещиков определялись не земельными наделами, а крепостными душами, благосостояние которых обеспечивалось в значительной степени не трудом на земле, а отхожими, неземледельческими промыслами. Главной формой повинности в этих имениях была не барщина, а денежный оброк. Поэтому дворянство настаивало на одновременной и полной ликвидации крепостных отношений за денежный выкуп крестьянами земельного надела. Причем стоимость этого надела оно старалось максимально завысить по сравнению с реальной, относительно невысокой рыночной ценой за неплодородную землю. В вопросах политических, касавшихся устройства общественной жизни, дворянство нечерноземья занимало более прогрессивные позиции: ратовало за ограничение бюрократического произвола, за развитие всесословного волостного, уездного и губернского самоуправления.

Н. А. Милютин да и вся правительственная партия оказывались в трудном положении: приходилось лавировать между двумя противоположными течениями, не зная, на какое опереться, и тщетно пытаясь выработать среднюю линию. В итоге приходилось волей-неволей завышать стоимость выкупной земли и одновременно сокращать площадь крестьянских наделов. С большим трудом

удалось Милютину отстоять в редакционных комиссиях $^4/_5$ находившейся в крестьянском пользовании земли.

1 ноября 1860 года Александр II, по настоянию великой княгини Елены Павловны и великого князя Константина Николаевича, принял членов редакционных комиссий, поблагодарил их за труд, заметив, что он имеет свои недостатки и что «может быть, придется многое изменить». Проект был передан на обсуждение Главного комитета под председательством Константина Николаевича, а 14 января 1861 года завершенный документ поступил на утверждение в Государственный совет. По сравнению с проектом редакционных комиссий размер крестьянского надела в нем был еще более урезан.

В Государственном совете борьба вспыхнула с новой силой. Говорили, что Александр II часто не считался с волей консервативного большинства, враждебного проекту, поддерживая прогрессивное меньшинство. Тем не менее ему пришлось согласиться на новое уменьшение предельных норм надела для многих уездов и введение так называемого четвертного или «нищенского» надела. Последняя уступка была хитро рассчитанной помещичьей ловушкой, особенно выгодной для дворян черноземья. Крестьяне получали право на бесплатный надел, размер которого составлял $^1/_4$ часть высшего. Тем самым помещики выкупали право вечного пользования остальною частью земли, которую им пришлось бы отдать крестьянам при нормальном наделе.

Наконец, 19 февраля 1861 года Александр II, соблюдая величайшую тайну, подписал исторический документ, сыгравший драматическую роль в судьбах России. Чтение манифеста он решил приурочить к дням великого поста, который в 1861 году начинался в первых числах марта.

«А ведь хороши вы все, таскающиеся в Европе для ради прохлаждения, когда долг, разум и сердце <...> заставляют быть в России», — укоризненно писал Тургеневу Герцен.

«Прежде всего должен тебе сказать, что ты ужасный человек, — ответствовал Тургенев. — Охота же тебе поворачивать нож в ране! Что же мне делать, коли у меня дочь, которую я должен выдавать замуж и потому поневоле сижу в Париже? Все мои помыслы — весь я в России».

«Дорогой приятель, — не отступал Герцен, — жги меня, режь меня, но твой резон — резона не имеет. Будто на два месяца ты не мог бы отлучиться. Мы все не привыкли жертвовать общему».

Так или иначе, но Тургенев ждал «великого дня» в Париже и накануне этого дня высказывал далеко не веселые мысли: «А в странное и смутное время мы живем. Приглядитесь к тому, что везде делается... Никогда разложение старого не происходило так быстро. А будет ли лучше новое — бог весть!»

И когда пришла долгожданная весть о манифесте 19 февраля, Тургенев сообщал Герцену, что плантаторы в ярости необыкновенной, но дело сделано и уже выбивается медаль со словом *благодарю* и вензелем государя, которая будет роздана всем членам комиссий и комитетам по крестьянскому делу. 5 марта 1861 года манифест был обнародован по всей России. Тургенев представлял из «прекрасного далека» всенародное ликование по этому поводу, однако из Петербурга приходили совершенно иные вести. Манифест читался в церквах при гробовой тишине. Никаких ликований, никаких манифестаций... «С некоторых пор народы как будто дали себе слово удивлять современников и наблюдателей — и русский народ, и в этом отношении, едва ли не перещеголял всех своих сверстников...» Народ молчал.

Но либерально настроенные господа в Париже ликовали. В православной посольской церкви устроили молебен. «Дожили мы до этого великого дня», — было в уме и на устах у каждого, — писал Тургенев. — Поп произнес нам краткую, но умную и трогательную речь, от которой я прослезился, а Николай Иванович Тургенев чуть не рыдал... Он мог сказать, как Симеон: «Ныне отпущаеши». Вспомнились слова Пушкина из «Евгения Онегина», ему посвященные:

Хромой Тургенев им внимал
И, плети рабства ненавидя,
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян.

Тут же был и старый декабрист князь Волконский. Однако Тургенев заметил, как демонстративно ушли из церкви «плантаторы», которых он ненавидел.

А в голове по-прежнему неотступно сверлила мысль: почему же народ, ради которого реформа была осуществлена, не проявлял никакой радости? Ошеломлен необыкновенностью события? Или ему еще непонятен великий смысл совершившегося? И в самом деле — «ма-

нифест явным образом написан был по-французски и переведен на неуклюжий русский язык каким-нибудь немцем. Есть фразы в роде: «благодетельно устроять», «добрые патриархальные условия», — которых ни один русский мужик не поймет». Тургенев утешал себя мыслью, что самое главное дело народ все-таки раскусит — и дело это устроено, по мере возможности, порядочно.

А в это время на берегах Невы его бывший друг Николай Алексеевич Некрасов лежал на постели, забыв о чае, который стоял подле на его столике. На лице Некрасова было выражение глубокой печали, глаза потуплены. Вошел Чернышевский. Некрасов встрепенулся, приподнялся с постели, стискивая лист, который был у него в руке:

— Так вот что такое эта «воля». Вот что такое она!

— А вы чего же ждали? Давно было ясно, что будет именно это.

— Нет, этого я не ожидал...

Так жизнь разводила бывших друзей на разные концы баррикад...

В апреле 1861 года Тургенев возвращался в Россию с незавершенной рукописью нового романа. Перед отъездом на родину он сообщал Л. Н. Толстому: «Читать я вам моё произведение — прочту, разумеется, но едва ли скоро. В Париже не работается, и вся штука застряла на половине. Но я надеюсь на деревню, на деревенскую тишину — и скуку, которая вернее всего приводит к труду нашего брата, удоборассейваемого и непостоянного славянина».

Работа над романом за границей подвигалась медленно и вяло. Иногда возникали сомнения — по силам ли выбрана трудная и обширная задача. Справиться с Базаровым, героем, во многом Тургеневу чуждым, было нелегко. Он даже завел «дневник» от лица героя, учился видеть мир глазами Базарова. Все материалы в голове были готовы — «но еще не вспыхнула та искра, от которой понемногу всё должно загореться». Проезжал через Париж писатель-демократ Николай Успенский, автор рассказов из народного быта. Тургенев к нему присматривался острым писательским взглядом: типичный «желчевик» и «человеконенавидец»! Обедая у Тургенева, счел своим долгом бранить Пушкина, уверяя, что Пушкин во всех своих стихотворениях только и делал, что кричал: «На бой, на бой за святую Русь!» Еще один образчик базаровского типа был взят на заметку, еще одна

русская натура «при огромном взмахе без удара», как говаривал когда-то Белинский о трагедии русского человека.

Тургенев возвращался на родину в хорошем настроении: предстояло окончательное решение крестьянского вопроса, работа в деревенском уединении, охота с друзьями. В последнее время, после смерти Николая Николаевича, как-то потеплели отношения Тургенева с Толстым. В Париже Толстой читал Тургеневу отрывки из своих новых сочинений, потом ездил в Лондон на свидание с Герценом. В письме от 22 февраля 1861 года Герцен сообщал: «Толстой — короткий знакомый, мы уже и спорили, он упорен и говорит чушь, но простодушный и хороший человек — даже Лиза Огарева его полюбила и называет «Левстой». Чего же дальше? Только зачем он не думает, а всё, как под Севастополем, берет храбростью, натиском».

А Тургенев радовался: всё-таки изменился Толстой, стал каким-то более умиротворенным, смягченным. Незадолго до отъезда Тургенев писал ему: «Я уверен, что мы встретимся в России хорошими приятелями и останемся таковыми, покуда Бог продлит жизни. Портить её (жизнь, то есть) позволительно только мальчишкам, а мы с вами уже не молоденькие. Еще раз благодарю Вас за мысль написать мне это письмо, которое разом и навсегда вправило бывший вывих.

Давно ожидаемые и всё-таки внезапные известия из России еще сильнее возбудили во мне желание вернуться домой.

Никакой вероятности устроить в скором времени свадьбу моей дочери нет — и потому я уезжаю отсюда через пять недель с тем, чтобы вернуться к осени — и всё это время, т. е. весну и лето, проведу в деревне для приведения в окончательный порядок моих отношений с крестьянами. Я очень рад, что уже в прошлом году уговорил дядю устроить ферму в Спасском, а остальные именья посадить на оброк; теперь трудностей будет меньше. Мысль о предстоящей поездке и о пребывании в России меня занимает почти постоянно; я уже вижу — духовным оком — себя с Фетом, Борисовым — а с нынешнего дня и с Вами, в наших полях и рощах и деревянных домиках; представляется мне охота и пр., и пр. Одно горе: не будет с нами Вашего доброго и незабвенного брата, Николая!»

Спасское встретило Тургенева после пяти пасмурных

холодных дней внезапным наступлением весны. Вдруг сделалось тепло, пролились дожди, — и все зазеленело. Тургенев много гулял по саду и вспоминал, вновь замечая с тревогой, как трогают его сердце лишь знакомые, старые воспоминания. — Признаки наступающей старости, которыми он наделяет и своего Николая Петровича Кирсанова. Жизнь вся в прошедшем, а настоящее дорого лишь как отблеск прошедшего...

Мужики при первой встрече тоже показались ему дружелюбно настроенными, только почему-то о выкупе и слышать не хотели. Но Тургенев пока в дела не вникал и жил ожиданием встречи с друзьями

24 мая в Спасское приехал Толстой.

На плотине большого спасского пруда они долго стояли и разговаривали. Вдруг Толстой сошел вниз, в поле, где паслась стреноженная лошадь, потрепал её по холке и начал импровизированный рассказ от её лица, да такой правдоподобный, что Тургенев только руками развел: «Ну, Лев Николаевич, с сегодняшнего дня я глубоко убежден в том, что вы когда-то были лошадью».

На другой день хотели устроить чтение глав нового тургеневского романа. Но Лев Николаевич попросил рукопись, чтобы почитать самому, вдумчиво, в спокойной обстановке. Тургенев согласился, рукопись передал; Толстой устроился поудобнее на диване, а Иван Сергеевич оставил его одного, разумеется, страшно волнуясь, какое впечатление произведет его роман на взыскательного читателя...

Спустя некоторое время, заглянув в комнату, он, к великой досаде и смущению своему, обнаружил, что Лев Николаевич безмятежно спит, а рукопись преспокойно лежит на столе... Неприятно всё это подействовало на щепетильного в литературных вопросах Тургенева.

Но утром сели в экипажи, светило яркое весеннее солнце, в спасском саду на все голоса гомонили птицы, горлинка ворковала вдали, куковала первая кукушка. Возбужденно и радостно взвизгивали собаки, предвкушая скорую охоту... Неприятный осадок исчез, растворился. Ехали семьдесят верст, заранее распорядившись, чтобы на середине пути, у зажиточного мужика Федота выставить лошадей на подставу. Путь держали в новоприобретенное имение Фета Степановку, о котором он много и восторженно писал Тургеневу в Париж.

При подъезде к Степановке потянулись поля вплоть до самого горизонта, местами пересеченные оврагами.

Солнце разыгралось на небе и припекало немилосердно. Наконец посредине широкого ровного поля показался барский дом под железною крышей, отливавшей на солнце красноватым, жарким блеском. Тощие деревца, многие из которых еще не прижились, окружали усадьбу. Вышел встречать гостей хозяин с бородой до чресл и с какими-то волосяными вихрами за и под ушами. Он теперь сделался фермером, агрономом до отчаянности — о литературе и слышать не хотел, а журналы ругал с энтузиазмом.

Осматривая имение, Тургенев, с изумлением раскидывая громадные ладони, восклицал:

— Мы всё смотрим, где же это Степановка, и оказывается, что есть только жирный блин, а на нем шиш, и это и есть Степановка! Хорош выбор для певца природы!

А на другой день случилось событие, которое развело друг с другом Тургенева и Толстого на целых семнадцать лет...

«Утром, — вспоминал Фет, — в наше обыкновенное время, то есть в 8 часов, гости вышли в столовую, в которой жена моя занимала верхний конец стола за самоваром, а я, в ожидании кофея, поместился на другом конце. Тургенев сел по правую руку хозяйки, а Толстой по левую.

Зная важность, которую в это время Тургенев придавал воспитанию своей дочери, жена моя спросила его, доволен ли он своею английскою гувернанткой. Тургенев стал изливаться в похвалах гувернантке и, между прочим, рассказал, что гувернантка с английскою пунктуальностью просила Тургенева определить сумму, которою дочь его может располагать для благотворительных целей.

— Теперь, — сказал Тургенев, — англичанка требует, чтобы моя дочь забирала на руки худую одежду бедняков и, собственноручно вычинив оную, возвращала по принадлежности.

— И вы это считаете хорошим? — спросил Толстой.

— Конечно, это сближает благотворительницу с насущною нуждой.

— А я считаю, что разряженная девушка, держащая на коленях грязные и зловонные лохмотья, играет неискреннюю, театральную сцену.

— Я вас прошу этого не говорить! — воскликнул Тургенев с раздувающимися ноздрями.

— Отчего же мне не говорить того, в чем я убежден, — отвечал Толстой.

Не успел я крикнуть Тургеневу: «Перестаньте!», как, бледный от злобы, он сказал:

— Так я вас заставлю молчать оскорблением. — С этим словом он вскочил из-за стола и, схватившись руками за голову, взволнованно зашагал в другую комнату. Через секунду он вернулся к нам и сказал, обращаясь к жене моей: «Ради бога извините мой безобразный поступок, в котором я глубоко раскаиваюсь».

«Безобразным» было слово, которое умалчивает Фет в своих воспоминаниях. По свидетельству других мемуаристов, Тургенев в гневе крикнул Толстому: «Замолчите! Или я вам дам в рожу!..»

Так или иначе, но после ссоры Толстой и Тургенев сразу же разъехались из Степановки: Тургенев — в Спасское, Толстой — в Новоселки к зятю Фета И. П. Борисову. Назревала дуэль, которая, к счастью, не состоялась: Толстой принял письменное извинение Тургенева, но всякие отношения между ними, казалось, кончились навсегда...

В извинительном письме к Толстому Тургенев объяснял свое «безумное» слово «раздражением, вызванным крайним и постоянным антагонизмом воззрений». Так оно и было. Основатель Яснополянской школы, близкий к народному, демократическому взгляду на вещи, Толстой не мог не возмутиться тем, чем восхищался Тургенев. В сцене барской благотворительности он увидел фальшь и постыдную театральность. Это была еще одна разновидность той любви Тургенева к «фразе», которая постоянно раздражала Толстого и которой Тургенев в себе не замечал, как не замечал он и того *ложного положения* доброго, либерального барина, которое занимал по отношению к народу.

В период работы Тургенева над «Отцами и детьми» чувство трагичности своего существования в России достигло у Тургенева апогея. Так уж случилось, что время это вписало одну из самых горьких страниц в личную и творческую биографию писателя. Один за другим следовали разрывы с людьми, которых он уважал и ценил: с Некрасовым и редакцией «Современника», с Гончаровым, Львом Толстым. Неудача за неудачей следовали во всех его общественных предприятиях: провалились планы издания журнала «Хозяйственный указатель», а потом — организации «Общества для распространения грамотности и первоначального образования». Рушилась вера писателя не только в силу и прочность дружеских чувств; сомнения коснулись лучших убеждений и надежд, связанных с верой в гармонический исход социальных конфликтов.

В лето 1861 года Тургеневу суждено было пережить и утрату надежд на единство с народом. Жизнь показала, что между ним, помещиком, и мужиком разверзается целая пропасть. Еще за два года до манифеста Тургенев «завел в Спасском ферму», перешел к обработке земли вольнонаемным трудом, но никакого нравственного удовлетворения он не почувствовал. «Крестьяне перед разлукой с «господами» становятся, как говорится у нас, козаками — и тащут с господ всё, что могут: хлеб, лес, скот и т. д.». Знакомясь с письмами Тургенева 1860-х годов, невольно замечаешь, как постепенно ослабевает вера автора «Записок охотника» в высокие нравственные качества русского мужика. В одном из писем срываются горькие слова: «Странное дело!.. Честности, простоты, свободы и силы нет в народе — а в языке они есть... Значит будут и в народе». За мыслями Базарова о том, что свобода едва ли пойдет нам впрок, потому что мужик наш рад напиться дурману в кабаке, стоят переживания самого Тургенева. Остается лишь надежда на будущее. Тургенев, как Николай Петрович Кирсанов, часто успокаивает себя и своих друзей мудростью любимой народной пословицы: «Перемелется — мука будет». Но «перемалывается» народная жизнь очень медленно, к тому же не так, как хотелось бы.

Весной и летом 1861 года отношения Тургенева с крестьянами приобретают особую напряженность. Мужики не хотят подчиняться советам помещика, не желают идти на оброк, отказываются подписывать уставные грамоты и вступать в какие бы то ни было «полюбовные» соглашения с помещиками. «До вас уже, вероятно, дошли слухи *о нежелании* народа переходить *с барщины на оброк*. Этот знаменательный — и, признаюсь, никем не предвиденный факт — доказывает, что народ наш готов отказаться от явной выгоды... в надежде, что вот — авось выйдет еще указ — и нам землю отдадут даром — или царь её подарит нам через два года...»

«Об участии в выкупе со стороны крестьян и думать нечего; не только через 36 или 40 лет, — но если сказать нашему крестьянину, что он, платя лишний рубль

в течение 5 только лет, приобретет себе землю для своего же сына, — он не согласится; во-первых, он заботится только о сегодняшнем дне, — а во-вторых — он лишен доверия в начальство: буду платить 5 лет, думает он — а там выйдет повеление: плати еще 5 лет. И в этом он не совсем прав. Мы пожинаем теперь горькие плоды прошедших 30 или 40 лет».

Разумеется, автор «Записок охотника» не ждал от своих мужиков бурного изъявления чувств благодарности и признательности: с детских лет он был свидетелем крепостнических самодурств и бесчинств. Но Тургенев всегда был заступником спасских крестьян, «сконфуженным» барином, считал себя ответственным за всё: и за то, что мужики темны и неграмотны, и за то, что у них малы наделы земли. Он завел в Спасском школу и богадельню, дарил десятинами землю, увеличивал наделы. Трудноисполнимая крестьянская просьба приводила его обычно в полное замешательство: одолеваемый злоупотребляющими его добротой просителями, он повертывался к стене и царапал её ногтем, не зная, как удовлетворить, но и не в силах отказать.

Теперь он столкнулся не только с равнодушием, но и с открытой ненавистью. Крестьяне то перегораживают барину дорогу к колодцу с ключевой водой, то пускают табун лошадей в барский сад и грозят тому, кто осмелится их выгонять, то на даровом угощении напиваются до бесчувствия. В отношении мужиков к своему барину нередко ощущается презрение и злоба. Тургенев готов видеть в этом законное и неизбежное возмездие за века крепостнического унижения, но в душу его закрадываются сомнения.

В такой тревожной обстановке писатель завершает работу над романом, успокаивая себя воспоминаниями о страницах всеобщей истории, где авторы описывают бедственное положение какой-нибудь страны: «Всё погибает, нигде не светит малейший луч надежды, все средства истощены — остаётся одно мрачное отчаяние... а смотришь: через несколько страниц всё исправилось, всё благоденствует. Изобилие сыплет на землю все дары своего рога — и надежда водворилась во всех сердцах».

20 июля Тургенев написал «блаженное последнее слово». Цель, как ему казалось, он поставил в романе верно, а попал ли в неё — бог знает. Поэтому, уезжая во Францию, передавая рукопись Каткову, редактору «Русского вестника», он требовал, чтобы тот обязательно

дал прочесть её Анненкову. Катков не только исполнил требование, но и сам прочел роман. В Париже Тургенев получил сразу два письма с оценкой своего детища: одно — от Каткова, другое — от Анненкова, и смысл их оценок во многом совпадал. В какой-то мере он перекликался с мнением Елизаветы Егоровны Ламберт. Будучи проездом в Петербурге, Тургенев занес ей рукопись романа, а вечером 3 сентября 1861 года, когда он явился к ней в собственный дом на Фурштадтскую, Ламберт встретила его словами: «Ни отцы, ни дети — вот настоящее заглавие вашей повести — и сами вы нигилист!»

«Если и не в апофеозу возведен Базаров, — писал Катков, — то нельзя не сознаться, что он как-то случайно попал на очень высокий пьедестал. Он действительно подавляет всё окружающее. Всё перед ним или ветошь, или слабо и зелено. Такого ли впечатления нужно было желать? В повести чувствуется... что-то несвободное в отношениях автора к герою... какая-то неловкость и принужденность. Автор перед ним как будто теряется, и не любит, а еще пуще боится его».

Каткову вторил Анненков: «Автор сам перед ним (Базаровым. — *Ю. Л.)* несколько связан и не знает, за что его считать — за плодотворную силу в будущем или за вонючий нарыв пустой цивилизации, от которого следует поскорее отделаться. Тем и другим вместе Базаров быть не может, а между тем нерешительное суждение автора колеблет и мысль читателя от одного полюса к другому».

Им всем хотелось определенности и однозначности оценок, никто не замечал, что Базаров у него — лицо трагическое, что в романе воссоздана особая трагическая ситуация, по отношению к которой эти категорические требования теряют всякий смысл. Тургенев стремился показать обоюдную правомерность борющихся друг против друга сторон и в процессе разрешения коллизии «снять» их односторонность. Но поскольку Тургенев почитал за правило видеть в любом, даже самом резком и несправедливом замечании известную долю истины, он сделал ряд дополнений к роману, положил несколько штрихов, усиливающих отрицательные черты в характере Базарова. Впоследствии многие из этих поправок Тургенев снял в отдельном издании романа, где он попытался учесть все критические отклики на свое новое произведение.

Когда работа была завершена, у писателя появились глубокие сомнения в целесообразности её публикации.

Уж слишком неподходящим оказался исторический момент: трех студентов арестовали в Москве за распространение литографированных переводов Бюхнера, Штирнера и герценовских изданий. М. Л. Михайлов был арестован за распространение прокламаций к юношеству, студенты Петербургского университета сожгли все новые билеты на право посещения лекций в знак протеста против нового университетского устава. Двести человек оказались арестованными и заключенными в Петропавловскую крепость, а занятия в университете приостановлены.

Тургенев пишет Каткову письмо с просьбой отложить печатание «Отцов и детей». Одновременно он высказывает и существенное несогласие с катковской оценкой Базарова: «Может быть, моё воззрение на Россию более мизантропично, чем Вы предполагаете: он — в моих глазах — действительно герой нашего времени. Хорош герой и хорошо время, — скажете Вы... Но оно так». Тогда же Тургенев пишет Анненкову: «Огорчила меня смерть Добролюбова, хотя он и собирался меня съесть живым. Последняя его статья («Забитые люди», посвященная творчеству Достоевского. — *Ю. Л.*), как нарочно, очень умна, спокойна и дельна». По-прежнему Тургенев ревностно следит за «Современником» и с удовлетворением отмечает каждый его успех: «Известия из России — литературные и всякие другие — печальны. Мы живем в темное и тяжелое время — и так-таки не выберемся из него. В «Современнике» я, однако, прочел повесть, в которой попадаются проблески несомненного дарования — «Молотов» Помяловского».

По всем этим причинам Тургенев хотел отложить печатание романа до весны, но «литературный купец» М. Н. Катков, «настойчиво требуя запроданный товар» и получив из Парижа список предложенных Тургеневым исправлений, уже не церемонился, и «Отцы и дети» увидели свет в самый разгар правительственных гонений на молодое поколение в февральской книжке «Русского вестника» за 1862 год.

НА СТРАЖЕ КУЛЬТУРЫ. РОМАН «ОТЦЫ И ДЕТИ»

Русская классическая литература семьей и семейными отношениями всегда выверяла устойчивость и прочность социальных устоев общества. Начиная роман с изображения семейного конфликта между отцом и сыном Кирсановыми, Тургенев идет дальше, к столкновениям общественного, социального характера. Но семейная тема в романе дает основному конфликту особую гуманистическую перспективу. Ведь никакие социальные, политические, государственные формы человеческого общежития не поглощают содержания семейной жизни. Отношения сыновей к отцам не замыкаются только на родственных чувствах, а распространяются далее на сыновнее отношение к прошлому и настоящему своего *отечества,* к тем историческим и нравственным ценностям, которые наследуют дети. Отцовство в широком смысле слова тоже предполагает любовь старшего поколения к идущим на смену молодым, терпимость и мудрость, разумный совет и снисхождение.

Конфликт романа «Отцы и дети» в семейных сферах, конечно, не замыкается, но трагическая его глубина выверяется нарушением семейственности в связях между поколениями, между противоположными общественными течениями. Противоречия заходят так далеко, что касаются коренных, природных основ бытия, угрожая национальному организму разложением и распадом.

В «Записках охотника», пронизанных мыслью о единстве всех жизнеспособных сил русского общества, Тургенев с гордостью писал: «Русский человек так уверен в своей силе и крепости, что он не прочь и поломать себя: он мало занимается своим прошедшим и смело глядит вперед. Что хорошо — то ему и нравится, что разумно — того ему и подавай, а откуда оно идет, — ему всё равно». По существу, здесь уже прорастало зерно будущей базаровской программы и даже базаровского культа «ощущений». Но тургеневский Хорь, к которому эта характеристика относилась, не был лишен сердечного понимания романтической, лирически-напевной души Калиныча; этому деловитому мужику не были чужды сердечные порывы, «мягкие как воск» поэтические души.

В романе «Отцы и дети» единство живых сил национальной жизни взрывается социальным конфликтом. Аркадий в глазах радикала Базарова — размазня, мягонький либеральный барич. Базаров не хочет принять и признать, что и мягкосердечие Аркадия, и голубиная кротость Николая Петровича — еще и следствие художественной одаренности их натур, поэтических, мечтательных, чутких к музыке и поэзии. Эти качества Тургенев

считал глубоко русскими, ими он наделял Калиныча, Касьяна, Костю, знаменитых певцов из Притынного кабачка. Они столь же органично связаны с субстанцией народной жизни, как и порывы базаровского отрицания. Но в «Отцах и детях» единство между ними исчезло, возник трагический разлад, коснувшийся не только политических и социальных убеждений, но и непреходящих культурных ценностей. В способности русского человека легко «поломать себя» Тургенев увидел теперь не только великое преимущество, но и опасность разрыва «связи времен». Поэтому социальной борьбе революционеров-демократов с либералами он придавал широкое национально-историческое освещение: речь шла о культурной преемственности в ходе исторической смены одного поколения другим.

Принято считать, что в словесной схватке либерала Павла Петровича и революционера-демократа Базарова полная победа остается за Базаровым. А между тем на долю «нигилиста» выпадает весьма относительное торжество. В основу конфликта Тургенев кладёт классическую коллизию античной трагедии, в которой «обе стороны до известной степени правы». Симпатии читателей остаются за Базаровым не потому, что он абсолютно торжествует, а отцы бесспорно посрамлены. Базаров значителен как титаническая личность, не реализовавшая громадных возможностей, отпущенных ей природой и историей. Трагичен в Базарове русский размах, на который уходит вся сила, предназначенная для удара.

Обратим внимание на особый характер полемики Базарова с Павлом Петровичем, на тот нравственный и философский результат её, который не всегда попадал в поле зрения. К концу романа, в разговоре с Аркадием, Базаров обвиняет своего ученика в использовании «противоположных общих мест». На вопрос Аркадия, что это такое, Базаров отвечает: «А вот что: сказать, например, что просвещение полезно, это общее место; а сказать, что просвещение вредно, это *противоположное общее место*. Оно как будто щеголеватое, а в сущности одно и то же».

И Базарова, и Павла Петровича можно обвинить в пристрастии к употреблению в споре противоположных общих мест. Кирсанов говорит о необходимости следовать авторитетам и верить в них, Базаров отрицает разумность того и другого. Павел Петрович утверждает, что без «принси́пов» могут жить лишь безнравственные и пустые люди, «Евгений Васильев» называет «пры́нцип» пустым, нерусским словом. Кирсанов упрекает Базарова в презрении к народу, нигилист парирует: «Что ж, коли он заслуживает презрения!» Павел Петрович говорит о Шиллере и Гёте, Базаров восклицает: «Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта!» и т. д.

Базаров прав, что любые истины и авторитеты должны подвергаться сомнению. Но наследник не может терять при этом сыновнего отношения к культуре прошлого. Это чувство Базаровым подчеркнуто отрицается. Принимая за абсолют конечные истины современного естествознания, Базаров впадает в нигилистическое отрицание всех исторических ценностей.

Тургенева привлекает в революционере-разночинце отсутствие барской изнеженности, презрение к прекраснодушной фразе, порыв к живому практическому делу. Базаров силен в критике консерватизма Павла Петровича, в обличении пустословия русских либералов, в отрицании эстетского преклонения «барчуков» перед искусством, в критике дворянского культа любви. Но, бросая вызов отживающему строю жизни, герой в ненависти к «барчукам проклятым» заходит слишком далеко. Отрицание «вашего» искусства перерастает у него в отрицание всякого искусства, отрицание «вашей» любви — в утверждение, что любовь — чувство напускное, все в ней легко объясняется физиологией, отрицание «ваших» сословных принципов — в уничтожение любых авторитетов, отрицание сентиментально-дворянской любви к народу — в пренебрежение к мужику вообще и т. д. Порывая с барчуками, Базаров бросает вызов непреходящим ценностям культуры, ставя себя в трагическую ситуацию.

В споре с Базаровым Павел Петрович прав, утверждая, что жизнь с ее готовыми, исторически рожденными формами может быть умнее отдельного человека или группы лиц. Но это доверие к опыту прошлого предполагает проверку его жизнеспособности, его соответствия молодой, вечно обновляющейся жизни. Оно предполагает отечески бережное отношение к новым общественным явлениям. Павел Петрович, одержимый сословной спесью и гордыней, этих чувств лишен. В его благоговении перед старыми авторитетами заявляет о себе «отцовский» дворянский эгоизм. Недаром же Тургенев писал, что его роман «направлен. против дворянства как передового класса».

Итак, Павел Петрович приходит к отрицанию человеческой личности перед принципами, принятыми на ве-

ру. Базаров приходит к утверждению личности, но ценой разрушения всех авторитетов. Оба эти утверждения — крайние: в одном — закоснелость и эгоизм, в другом — нетерпимость и заносчивость. Спорщики впадают в «противоположные общие места». Истина ускользает от спорящих сторон: Кирсанову не хватает отеческой любви к ней, Базарову — сыновнего почтения. Участниками спора движет не стремление к истине, а взаимная социальная нетерпимость. Поэтому оба, в сущности, не вполне справедливы по отношению друг к другу и, что особенно примечательно, к самим себе.

Уже первое знакомство с Базаровым убеждает: в его душе есть чувства, которые герой скрывает от окружающих. Очень и очень непрост с виду самоуверенный и резкий тургеневский разночинец. Тревожное и уязвимое сердце бьется в его груди. Крайняя резкость его нападок на поэзию, на любовь, на философию заставляет усомниться в полной искренности отрицания. Есть в поведении Базарова некая двойственность, которая перейдет в надлом и надрыв во второй части романа. В Базарове предчувствуются герои Достоевского с их типичными комплексами: злоба и ожесточение как форма проявления любви, как полемика с добром, подспудно живущим в душе отрицателя. В тургеневском «нигилисте» потенциально присутствует многое из того, что он отрицает: и способность любить, и «романтизм», и народное начало, и семейное чувство, и умение ценить красоту и поэзию. Не случайно Достоевский высоко оценил роман Тургенева и трагическую фигуру «беспокойного и тоскующего Базарова (признак великого сердца), несмотря на весь его нигилизм».

Но не вполне искренен с самим собой и антагонист Базарова Павел Петрович. В действительности он далеко не тот самоуверенный аристократ, какого разыгрывает из себя перед Базаровым. Подчеркнуто аристократические манеры Кирсанова вызваны внутренней слабостью, тайным сознанием своей неполноценности, в чем Павел Петрович, конечно, боится признаться даже самому себе. Но мы-то знаем его тайну, его любовь не к загадочной княгине Р., а к милой простушке Фенечке. Еще в самом начале романа Тургенев дает понять, как одинок и несчастен этот человек в своем «аристократическом» кабинете с мебелью английской работы. А потом, в комнате Фенечки, мы увидим его среди простонародного, старорусского быта: баночки варенья на окнах, чиж в клетке, растрепанный том «Стрельцов» Масальского на комоде,

темный образ Николая Чудотворца в углу. И здесь он тоже посторонний со своей странной любовью на закате дней без всякой надежды на взаимность.

Предпосланные решительному поединку аристократии с демократией, эти страницы призваны подчеркнуть социально-психологические издержки в споре у обеих борющихся сторон. Вспыхивающая между соперниками взаимная социальная неприязнь заходит так далеко, что неизмеримо обостряет разрушительные стороны кирсановского аристократизма и базаровского нигилизма.

Вместе с тем Тургенев показывает, что базаровское отрицание имеет демократические истоки, питается духом народного недовольства. Не случайно в письме к Случевскому автор указывал, что в лице Базарова ему «мечтался какой-то странный pendant с Пугачевым». Характер Базарова в романе проясняет широкая панорама провинциальной жизни, развернутая в первых главах: натянутые отношения между господами и слугами, «ферма» братьев Кирсановых, прозванная в народе «Бобыльим хутором», разухабистые мужички в тулупах нараспашку, гоняющие лошадей в кабак во время весенней страды, символическая картина векового запустения: «...небольшие леса, речки с обрытыми берегами, крошечные пруды с худыми плотинами, деревеньки с низкими избенками под темными, до половины разметанными крышами, покривившиеся молотильные сарайчики с зевающими воротищами возле опустелых гумен», «церкви, то кирпичные, с отвалившеюся кое-где штукатуркой, то деревянные, с наклонившимися крестами и разоренными кладбищами...» Как будто стихийная сила пронеслась как смерч над этим богом оставленным краем, не пощадив ничего, вплоть до церквей и могил, оставив после себя лишь глухое горе, запустение и разруху.

Читателю представлен мир на грани социальной катастрофы; на фоне беспокойного моря народной жизни и появляется в романе фигура Евгения Базарова. Этот демократический, крестьянский фон укрупняет характер героя, придает ему эпическую монументальность, связывает его нигилизм с общенародным недовольством, с социальным неблагополучием всей России.

В базаровском складе ума проявляются типические стороны русского народного характера: например, склонность к резкой критической самооценке. Базаров держит в своих сильных руках и «богатырскую палицу» — естественнонаучные знания, которые он боготворит, — надеж-

ное оружие в борьбе с идеалистической философией, религией и опирающейся на них официальной идеологией русского самодержавия, здоровое противоядие как барской мечтательности, так и крестьянскому суеверию. В запальчивости ему кажется, что с помощью естественных наук можно легко разрешить все вопросы, касающиеся сложных проблем общественной жизни, искусства, философии.

Но Тургенев, знавший труды немецких естествоиспытателей — кумиров революционных шестидесятников — из первых рук, обращает внимание не только на сильные, но и на слабые стороны вульгарного материализма Фогта, Бюхнера, Молешотта и их русских последователей. Он чувствует, что некритическое отношение к «немцам», «нашим учителям», может повлечь далеко идущие отрицательные результаты. Искусство, с точки зрения Базарова, — болезненное извращение, чепуха, романтизм, гниль; герой презирает Кирсановых не только за то, что они «барчуки», но и за то, что они «старички», «люди отставные», «их песенка спета». Он и к родителям своим подходит с той же меркой.

Д. И. Писарев как раз в период работы Тургенева над «Отцами и детьми» в статье «Схоластика XIX века» писал: «Каждое поколение разрушает миросозерцание предыдущего поколения; что казалось неопровержимым вчера, то валится сегодня; абсолютные, вечные истины существуют только для народов неисторических». Уважение к жизненному опыту и мудрости «отцов», веками формировавшееся чувство «сыновства» и «отцовства» ставились таким образом под сомнение.

Романтической чепухой считает Евгений Базаров и духовную утонченность любовного чувства: «Нет, брат, все это распущенность, пустота!.. Мы, физиологи, знаем, какие это отношения. Ты проштудируй-ка анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду? Это все романтизм, чепуха, гниль, художество». Рассказ о любви Павла Петровича к княгине Р. вводится в роман не как вставной эпизод, а как предупреждение заносчивому Базарову.

Большой изъян ощутим и в базаровском афоризме «природа не храм, а мастерская». Правда деятельного, хозяйского отношения к природе оборачивается вопиющей односторонностью, когда законы, действующие на низших природных уровнях, абсолютизируются и превращаются в универсальную отмычку, с помощью которой

Базаров легко разделывается со всеми загадками бытия. Отрицая романтическое отношение к природе как к храму, Базаров попадает в рабство к низшим стихийным силам природной «мастерской». Он завидует муравью, который в качестве насекомого имеет право «не признавать чувство сострадания, не то что наш брат, самоломанный». В горькую минуту жизни даже это естественное чувство сострадания Базаров склонен считать слабостью, аномалией, не согласующейся с законами природы.

Но, кроме правды физиологических законов, есть правда человеческой, одухотворенной природности. И если человек хочет быть «работником», он должен считаться с тем, что природа на высших ее уровнях — «храм», а не «мастерская». Да и склонность того же Николая Петровича к мечтательности — не гниль и не чепуха. Мечты — не простая забава, а естественная потребность человека, одно из проявлений творческой силы его духа. Разве не удивительна природная сила памяти Николая Петровича, когда он в часы уединения воскрешает прошлое? Разве не достойна восхищения изумительная по своей красоте картина летнего вечера, которою любуется этот герой?

Так встают на пути Базарова могучие силы красоты и гармонии, художественной фантазии, любви, искусства. Против «Stoff und Kraft» * Бюхнера — пушкинские «Цыганы» с их предупреждающим афоризмом — «И всюду страсти роковые, И от судеб защиты нет»; против приземленного взгляда на любовь — романтическое чувство Павла Петровича; против пренебрежения искусством, мечтательностью, красотой природы — раздумья и мечты Николая Петровича. Базаров смеется над всем этим, но «над чем посмеешься, тому и послужишь», — горькую чашу этой жизненной мудрости Базарову суждено испить до дна.

С тринадцатой главы в романе назревает поворот: непримиримые противоречия обнаружатся со всей остротой в характере героя. Конфликт произведения из внешнего — Базаров и Павел Петрович — переводится во внутренний план — «поединок роковой» в душе Базарова. Этим переменам в сюжете романа предшествуют пародийно-сатирические главы, где изображаются пошловатые губернские аристократы и провинциальные нигилисты. Комическое снижение — постоянный спутник тра-

* Материя и сила *(нем.)*.

гического конфликта, начиная с Шекспира. Пародийные персонажи, оттеняя своей низменностью значительность характеров двух антагонистов, гротескно заостряют, доводят до предела и те противоречия, которые в скрытом виде присущи центральным героям. С комедийного дна читателю становится виднее как трагедийная высота, так и внутренняя противоречивость пародируемого явления.

Не случайно именно после знакомства с Ситниковым и Кукшиной в самом Базарове начинают резко проступать черты «самоломанности». Виновницей этих перемен оказывается Анна Сергеевна Одинцова. «Вот тебе раз! бабы испугался, — подумал Базаров и, развалясь в кресле не хуже Ситникова, заговорил преувеличенно развязно...» Любовь к Одинцовой — начало трагического возмездия Базарову: она раскалывает душу героя на две половины. Отныне в нем живут и действуют два человека. Один из них — убежденный противник романтических чувств, отрицатель духовной природы любви. Другой — страстно и одухотворенно любящий человек, столкнувшийся с подлинным таинством этого чувства: «Он легко сладил бы с своею кровью, но что-то другое в него вселилось, чего он никак не допускал, над чем всегда трунил, что возмущало всю его гордость». Дорогие его уму естественнонаучные убеждения превращаются в *принцип*, которому он, отрицатель всякого рода принципов и авторитетов, теперь служит, тайно ощущая, что служба эта слепа, что жизнь оказалась сложнее того, что знают о ней физиологи.

Обычно истоки неудач базаровской любви ищут в характере Одинцовой, изнеженной барыни, аристократки, не способной откликнуться на чувство Базарова, робеющей и пасующей перед ним. Но Одинцова хочет и не может полюбить Базарова не только потому, что она аристократка, но и потому, что демократ, полюбив, не хочет любви и бежит от нее. «Непонятный испуг», который охватил героиню в момент любовного признания Базарова, человечески оправдан: где та грань, которая отделяет базаровское признание в любви от ненависти по отношению к любимой женщине? «Он задыхался; все тело его видимо трепетало. Но это было не трепетание юношеской робости, не сладкий ужас первого признания овладел им: это страсть в нем билась, сильная и тяжелая — страсть, похожая на злобу и, может быть, сродни ей». Стихия долго сдерживаемого чувства прорвалась в

нем, наконец, но с разрушительной по отношению к этому чувству силой.

«Обе стороны до известной степени правы» — этот принцип построения античной трагедии проходит через все конфликты романа, а в любовной его истории завершается тем, что Тургенев сводит аристократа Кирсанова и демократа Базарова в сердечном влечении к Фенечке и ее простотой, народным инстинктом выверяет ограниченность того и другого героя.

Павла Петровича привлекает в Фенечке простодушие и непосредственность: он задыхается в пустоте своего аристократического интеллектуализма. Но любовь его к Фенечке слишком заоблачна и бесплотна: «Так тебя холодом и обдаст!» — жалуется героиня Дуняше на его «страстные» взгляды.

Базаров же ищет в Фенечке жизненное подтверждение своему взгляду на любовь как на простое и ясное чувственное влечение. Но эта простота оказывается хуже воровства: она глубоко оскорбляет Фенечку, и нравственный укор, искренний, неподдельный, слышится из ее уст. Неудачу с Одинцовой Базаров объяснял для себя барской изнеженностью, аристократизмом героини, но применительно к Фенечке о каком «барстве» может идти речь?! Очевидно, в самой женской природе — крестьянской или дворянской, какая разница! — заложена отвергаемая героем одухотворенность и нравственная красота.

Уроки любви привели к кризису односторонние, вульгарно-материалистические взгляды Базарова на жизнь. Перед героем открылись две бездны: одна — загадка его собственной души, которая оказалась глубже и бездоннее, чем он предполагал; другая — загадка мира, который его окружает. От «микроскопа» героя потянуло к телескопу, от инфузорий — к звездному небу над головой.

«Ненавидеть! — восклицает Базаров. — Да вот, например, ты сегодня сказал, проходя мимо избы нашего старосты Филиппа, — она такая славная, белая, — вот, сказал ты, Россия тогда достигнет совершенства, когда у последнего мужика будет такое же помещение, и всякий из нас должен этому способствовать... А я и возненавидел этого последнего мужика, Филиппа или Сидора, для которого я должен из кожи лезть и который мне даже спасибо не скажет... да и на что мне его спасибо? Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет; ну а дальше?»

Вопрос о смысле человеческого существования здесь поставлен с предельной остротой: речь идет, в сущности, о трагической природе прогресса, о страшной цене, которой он окупается. Кто оправдает человеческие жертвы, которые совершаются во имя блага грядущих поколений? Имеют ли нравственное право будущие поколения цвести и благоденствовать в белых избах, предав забвению тех, чьими жизнями куплена им эта гармония? Базаровские сомнения потенциально содержат в себе проблемы, над решением которых будут биться герои Достоевского от Раскольникова до Ивана Карамазова.

«Черт знает, что за вздор! — говорит Базаров Аркадию. — Каждый человек на ниточке висит, бездна ежеминутно под ним разверзнуться может, а он еще сам придумывает себе всякие неприятности, портит свою жизнь». Не восхищение стойкостью человеческого духа, но внутреннее смущение перед неудержимой, парадоксальной силой нравственных чувств и страстей испытывает тут нигилист Базаров. К чему бы придумывать человеку поэтические тайны, зачем бы ему тянуться к утонченным переживаниям, если суть жизни прозаически ничтожна, физиологически проста, если человек — всего лишь атом во вселенной, слабое биологическое существо, подверженное неумолимым законам увядания и смерти?

«А я думаю, — заявляет Базаров, — я вот лежу здесь под стогом... Узенькое местечко, которое я занимаю, до того крохотно в сравнении с остальным пространством, где меня нет и где дела до меня нет; и часть времени, которую мне удастся прожить, так ничтожна перед вечностию, где меня не было и не будет... А в этом атоме, в этой математической точке кровь обращается, мозг работает, чего-то хочет тоже... Что за безобразие! Что за пустяки!»

Базаров-естествоиспытатель скептичен; но заметим, что скептицизм его лишен непоколебимой уверенности. Рассуждение о мировой бессмыслице при внешнем отрицании заключает в себе тайное признание смысла самых высоких человеческих надежд и ожиданий. Если эта несправедливость мирового устройства — краткость жизни человека перед вечностью времени и бесконечностью пространства — осознается Базаровым, тревожит его «бунтующее сердце», значит, есть у человека потребность поиска более совершенного миропорядка. Будь мысли Базарова полностью слиты с природными стихиями, не имей он как человек более высокой и одухотворенной точки

отсчета, — откуда бы взялась в нем эта обида на земное несовершенство, недоконченность, недовоплощенность человеческого существа? И хотя Базаров — физиолог, нигилист — и говорит о бессмыслице высоких одухотворенных помыслов, в подтексте его рассуждений чувствуется сомнение, опровергающее поверхностный, вульгарный материализм.

Старая вера в естествознание, в то, что люди подобны деревьям в лесу, давала герою возможность смотреть на мир оптимистически. Она вселяла уверенность, что нет нужды ученому и революционеру заниматься каждым отдельным человеком: самой природой установлена в мире некая общность, некий инстинкт общественной солидарности. Исправьте общество в соответствии с голосом этих инстинктов — и социальных болезней не будет. Любовь к Одинцовой поколебала оптимистические, но довольно абстрактные убеждения. В душу Базарова проникло сомнение: может быть, Одинцова права, может, точно всякий человек — загадка. Начался глубокий кризис антропологизма, веры в неизменную биологизированную им природу человека: эта вера оказалась бессильной перед открывшейся сложностью человеческого бытия, перед тайнами человеческой индивидуальности, перед парадоксами человеческого духа.

Не умея ответить на роковые вопросы о драматизме любви и познания, о смысле жизни и таинстве смерти, Базаров еще пытается, используя ограниченные возможности современного ему естествознания, хотя бы заглушить в сердце человеческом ощущение трагической серьезности этих вопросов. Но как незаурядный человек, герой не может сам с собой справиться: данные естественных наук его от этих тревог не уберегают. Он еще склонен как нигилист упрекать себя в отсутствии равнодушия к презренным аристократам, к несчастной любви, поймавшей его на жизненной дороге; в минуты отчаяния, когда к нему пробирается «романтизм», он негодует, топает ногами и грозит себе кулаком. Но в преувеличенной дерзости этих упреков скрывается другое: и любовь, и поэзия, и сердечное воображение прочно живут в его собственной душе.

Трагизм положения Базарова еще более усугубляется под кровом родительского дома. Мрачному, замкнутому герою противостоит великая сила безответной родительской любви. Но как и в истории с Одинцовой, Базаров безжалостно давит в себе сыновние чувства, боясь «рас-

сыропиться», и чем больше они сопротивляются, тем сильнее раздражается герой. В поведении Базарова с родителями нарушаются извечные ценности нравственной культуры. Не случайно в рассказе о жизни старичков Базаровых «в мифологию метнул» не только Василий Иванович, но и сам автор «Отцов и детей».

В трактате Цицерона «О старости» любовно повествуется о прелести земледельческого труда: по нормам античности это занятие наиболее соответствовало образу жизни мудреца, старого человека. Подобно античным мудрецам, живет в своем имении Василий Иванович Базаров: «А ты посмотри, садик у меня теперь какой! Сам каждое деревце сажал. И фрукты есть, и ягоды, и всякие медицинские травы».

Однако вместо ожидаемой гармонии в жизнь Василия Ивановича с приездом сына вторгается неожиданный диссонанс. «Потом явился на сцену чай со сливками, с маслом и кренделями; потом Василий Иванович повел всех в сад, для того чтобы полюбоваться красотою вечера. Проходя мимо скамейки, он шепнул Аркадию: «На сем месте я люблю философствовать, глядя на захождение солнца: оно приличествует пустыннику. А там, подальше, я посадил несколько деревьев, любимых Горацием».

Базаров попадает в историю, аналогичную той, которая с ним случилась в Марьине. Герой смеялся там над мечтательностью Николая Петровича, над его любовью к природе и поэзии, отвергал всякого рода философствования, а теперь у своего отца столкнулся с теми же самыми «болезнями». Но повторяется старая история по-новому. Ведь отец Базарова — плебей. Никакой дворянской изнеженности — «вся жизнь на бивуаках». И в то же время у этого плебея поистине патрицианская гордость ничуть не меньше, чем у Павла Петровича. «Как некий Цинциннат», римский патриций, он трудится в поле, обрабатывая землю сам, и очень гордится этим. Известно, что земледелием в Древнем Риме занимались почти все прославленные сенаторы, а Луция Квинкция Цинцинната известили о назначении диктатором, когда он пахал. Об участи Цинцинната Василий Иванович, конечно, не мечтает, но речь о Горации заходит в романе не случайно. Отец его был незнатного происхождения, но всеми силами старался возвысить своего сына. Собрав последнее, старик Гораций отправился со своим сыном в Рим с твердым намерением дать ему такое же воспитание, какое получали дети римских сенаторов и всадников. Вот почему в разговоре с Аркадием в характере Василия Ивановича проявляется довольно трогательная черта: «А я, Аркадий Николаич, не только боготворю его, я горжусь им, и все мое честолюбие состоит в том, чтобы со временем в его биографии стояли следующие слова: «Сын простого штаб-лекаря, который, однако, рано умел разгадать его и ничего не жалел для его воспитания...» — голос старика прервался».

Так и мечтательность, и поэзия, и любовь к философии, и сословная гордость — все это возвращается к Базарову в новом качестве, в жизни его отца, да еще в формах, воскрешающих традиции не вековой, дворянской, а тысячелетней, античной культуры, пересаженной на добрую почву старорусского патриархального быта. А это значит, что и философия, и поэзия — не только праздное занятие аристократов, развивших в себе нервную систему до раздражения, но вечное свойство человеческой природы, вечный атрибут культуры.

Базаров хочет вырваться, убежать от обступивших его вопросов, убежать от самого себя, — но это ему не удается, а попытки порвать живые связи с жизнью, его окружающей и проснувшейся в нем самом, ведут героя к трагическому концу. Тургенев еще раз проводит Базарова по тому кругу, по которому он прошел: Марьино, Никольское, родительский дом. Но теперь мы не узнаем прежнего Базарова: затухают его споры, догорает несчастная любовь. Второй круг жизненных странствий героя сопровождают последние разрывы: с семейством Кирсановых, с Фенечкой, с Аркадием и Катей, с Одинцовой и, наконец, роковой для Базарова разрыв с мужиком.

Вспомним сцену свидания Базарова с бывшим дядькой своим, Тимофеичем. С радостной улыбкой, с лучистыми морщинами, сердобольный, не умеющий лгать и притворяться, Тимофеич олицетворяет ту поэтическую сторону народной жизни, от которой Базаров презрительно отворачивается. В облике Тимофеича «сквозит и тайно светит» что-то вековое, крестьянское: «крошечные слезинки в съеженных глазах» как символ народной судьбы, народного долготерпения, сострадания. Певуча и одухотворенно-поэтична народная речь Тимофеича — упрек жестковатому Базарову. «Ах, Евгений Васильевич, как не ждать-то-с! Верите ли богу, сердце изныло на родителей на ваших глядючи». Старый Тимофеич тоже ведь один из тех «отцов», к культуре которых молодая демократия отнеслась не очень почтительно. «Ну, не ври», —

грубо перебивает его Базаров. «Ну, хорошо, хорошо! не расписывай», — обрывает он душевные признания Тимофеича. А в ответ слышит только укоризненный вздох. Словно побитый, покидает несчастный старик Никольское.

Дорого обходится Базарову это подчеркнутое пренебрежение поэтической сущностью жизни народной, глубиной и серьезностью крестьянской жизни вообще. В подтрунивании героя над мужиком к концу романа появляется умышленное, наигранное равнодушие, снисходительную иронию сменяет откровенное шутовство: «Ну, излагай мне свои воззрения на жизнь, братец: ведь в вас, говорят, вся сила и будущность России, от вас начнется новая эпоха в истории». Герой и не подозревает, что в глазах мужика он является теперь не только барином, но и чем-то вроде «шута горохового».

Неотвратимый удар судьбы читается в финальном эпизоде романа: есть бесспорно что-то символическое в том, что смелый «анатом» и «физиолог» русской жизни губит себя при вскрытии трупа мужика. «Демократ до конца ногтей», Базаров вторгался в жизнь народа смело и самоуверенно, его естественнонаучный «скальпель» отсекал в ней слишком много жизнеспособного, что и обернулось против самого «врачевателя».

Перед лицом смерти слабыми оказались опоры, поддерживавшие некогда базаровскую самоуверенность, медицина и естественные науки, обнаружив свое бессилие, отступили, оставив Базарова наедине с самим собой. И тут пришли герою на помощь силы, когда-то им отрицаемые, хранимые на дне его души. Именно их герой мобилизует на борьбу со смертью, и они восстанавливают цельность и стойкость его духа в последнем испытании. Умирающий Базаров прост и человечен: отпала надобность скрывать свой романтизм, и вот душа героя освобождается от плотин. Базаров умирает удивительно, как умирали у Тургенева русские люди в «Записках охотника». Он думает не о себе, а о своих родителях, готовит их к ужасному концу. Почти по-пушкински прощается герой с возлюбленной, и говорит он языком поэта: «Дуньте на умирающую лампаду, и пусть она погаснет». Любовь к женщине, любовь сыновняя к отцу и матери сливаются в сознании Базарова с любовью к Родине, к таинственной России, оставшейся не до конца разгаданной загадкой для Базарова: «Тут есть лес».

Искупая смертью односторонность своей жизненной программы, герой оставляет миру позитивное, творческое, исторически ценное как в самих его отрицаниях, так и в том, что скрывалось за ними. Не потому ли в конце романа воскрешается тема народной России, перекликающаяся с аналогичной темой в его начале. Сходство их очевидно, но и различие тоже: среди российского запустения, среди расшатанных крестов и разоренных могил появляется одна, «которую не топчет животное: одни птицы садятся на ней и поют на заре». Герой усыновлен народной Россией, которая помнит о нем, подтверждая высокий смысл прожитой им жизни. Две великих любви освящают могилу Базарова — родительская и народная...

Тургенев не списал своего героя с какого-нибудь образца. Конечно, в работе над характером Базарова он заимствовал определенные черты у Чернышевского и Добролюбова (антропологизм), еще более у Писарева (апофеоз индивидуализма, скептическое отношение к революционным возможностям народа, вульгарный материализм). Забегая вперед, Тургенев многое в русском нигилизме предугадал: писаревское «разрушение эстетики», например, или зайцевское ниспровержение искусства. Однако «полных» Базаровых в России 60-х годов не существовало: нигилистические веяния явились лишь преходящим явлением в сложном процессе формирования революционно-демократического миросозерцания. Поэтому в реальной жизни тех лет нигилизм не стал явлением трагическим: для сильных, одаренных личностей он был этапом, «детской болезнью левизны», а для людей, примкнувших к революционному лагерю, он остался левой фразой, удобной формой самоутверждения. Работая над характером Базарова, Тургенев создавал образ человека, в жизни не существовавшего, но в идеале возможного и потому живого. Это герой трагического масштаба, жизнью оплативший то, что в устах современников писателя было или левой фразой, или отвлеченной теорией.

Пушкин говорил о необходимости судить писателя по законам, им самим над собою признанным. В отношении к роману Тургенева этот принцип, как правило, нарушался. Современная писателю критика, не учитывая качественной природы конфликта, неизбежно сбивалась к той или другой субъективной односторонности. Раз «отцы» оказывались у Тургенева до известной степени правыми, появлялась возможность сосредоточить внимание на доказательстве их правоты, упуская из виду ее от-

носительность. Демократы, в свою очередь, обращали внимание на слабые стороны «аристократии» и утверждали, что Тургенев выпорол «отцов». При оценке характера главного героя романа, Базарова, произошел раскол в самой революционной демократии. Критик Антонович обратил внимание на относительно слабые стороны базаровского характера. Абсолютизируя их, он написал критический памфлет, в котором назвал героя карикатурой на молодое поколение. В «Современнике» вообще ждали этот роман с предубеждением. Ходили слухи, что Тургенев готовит в нем отмщение Добролюбову. Писарев, заметивший только правду базаровских суждений, восславил торжествующего нигилиста. Единства не было и в лагере «отцов». Тургенева упрекали в идеализации русских отрицателей. Когда летом 1862 года писатель оказался в Петербурге во время знаменитых, страшных пожаров, одна из светских дам, встретившая Тургенева на Невском проспекте, укоризненно сказала: «Смотрите, что творят ваши нигилисты — жгут Петербург!» А в отчете III отделения сообщалось, что Тургенев «неожиданно для молодого поколения, недавно ему рукоплескавшего, заклеймил наших недорослей-революционеров едким именем «нигилистов» и поколебал учение материализма и его последователей».

Вряд ли можно обвинить участников этих бурных дискуссий в сознательной предубежденности: конфликт был настолько злободневным, что коснулся всех партий русского общества, острота же возникшей борьбы исключала возможность признания трагического его характера. П. В. Анненков писал тогда Тургеневу: «Отцы и дети» действительно нашумели так, как даже я и не ожидал. Вы можете радоваться всему, что о них говорят. Писателем-реалистом быть хорошо, но кинуть в публику нечто вроде нравственного масштаба, на который все себя примеривают, ругаясь на градусы, показываемые масштабом, и равно злясь, когда градус мал и когда велик, — это значит добраться, через роман, до публичной проповеди. А это, я полагаю, — последнее и высшее звено всякого творчества».

Но Тургенева такие утешения не радовали: он писал свой роман с тайной надеждой, что его произведение послужит делу сплочения и объединения общественных сил России. Тургенев был писателем повышенно чутким к мнению публики. За этой обострённой чуткостью, кроме обычных в писателе тщеславных чувств, стояла вера в

товарищеские отношения между писателем и «культурным слоем» общества, вера, выросшая на почве кратковременно существовавшего духовного единства русской интеллигенции в эпоху 1840 — первой половины 50-х годов. Как справедливо отмечал в свое время один из критиков журнала «Дело», Тургенев верил в своих современников и вполне разделял мнение, что — «непризнанных гениев нет. «Публика сумеет каждого оценить по достоинству...» Нужно сознаться, что в среде выдающихся деятелей каких бы то ни было стран и времен далеко не часто можно встретить эту приятную уверенность».

Тургенев всегда доверчиво идет на душевный союз с читателем в основной точке зрения, в симпатиях и антипатиях, а потому только подсказывает читателю такие выводы, которые последний, кажется, вот-вот готов был сделать сам.

Но в период публикации «Отцов и детей» расчет на этот союз не оправдался; желаемое единодушие и единомыслие исчезло в русском обществе, раздираемом непримиримой межпартийной борьбой. Назревал мучительный для Тургенева разрыв с русским читателем, тоже посвоему отражавший крах его сокровенных надежд на союз всех антикрепостнических сил. Этот разрыв переживался писателем как серьезная духовная драма.

Да и могло ли быть иначе, если некоторые отзывы демократической критики не щадили ни литературной известности, ни авторского самолюбия, ни заслуженного авторитета творца «Записок охотника». Чего стоил, например, прокурорский приговор господину Тургеневу, опубликованный в одной из русских демократических газет.

«Наконец, Иван Сергеевич, вы не выдержали!

Пригретые комфортом парижских гостиных, приобретя высокую и очень почетную дружбу в лице г-на Луи Виардо, вы долго сдерживали гордое и презрительное молчание на плебейские возгласы русской литературы, возгласы, далеко не бывшие в состоянии дать вам почувствовать то, что у нее таилось в сердце...

Помните ли, Иван Сергеевич, когда вы, если не ошибаемся, в конце 1859 года читали в петербургском Пассаже статью вашу «Гамлет и Дон Кихот». Обширная зала, вмещавшая 1500 человек, дрожала от грома рукоплесканий и самых симпатических возгласов привета, возбужденых одним вашим появлением. Долго и выразительно раздавались эти крики и после чтения вашей

статьи, которая, конечно, сама по себе, не могла произвести такого горячего одушевления в слушателях.

Кто же поддерживал это одушевление в огромной аудитории, набитой битком самым разнообразным обществом? Мы не ошибемся, если скажем, что не первые ряды кресел могли сознательно сочувствовать тому значению, которое занимал в русской литературе любимый и уважаемый писатель. Вся сила уважения выходила из дешевой галереи, наполненной кем бы вы думали? — теми самыми людьми, которых вы, Иван Сергеевич, уже в то время задумали выставить на всеобщее поругание и обозвать унизительным, по вашему мнению, титлом «нигилистов», имеющим, в настоящее время, благодаря вам, такое позорное значение в великосветских гостиных...

Эта благородная горсть доверчивой молодежи не могла догадаться, что в то самое время в вашей душе уже совершался процесс естественного перерождения, которому неумолимая судьба, по неизменному своему закону, подвергает каждый живой организм... Многие при этом могут утешиться, что иначе и быть не может, что не вы первый, не вы последний подчиняетесь сильному голосу того неизменного закона, устанавливающего истинное положение общества, в котором всегда есть и будут люди, рвущиеся вперед и тянущие назад. Пора неизбежного старения обуславливается годами. Есть возраст, за которым наступает перелом. Конечно, бывают сильные, великие натуры, которые до самых преклонных лет сохраняют пыл благородного одушевления и сочувствия ко всему живому. Но природа крайне скупа в создании таких непоколебимых и твердых натур».

Приговор этот был сделан по рецептам самоновейших естественных теорий: «старички» — люди отставные, их песенка спета! Но реакция демократической молодежи на характер Базарова еще и потому огорчала Тургенева, что карикатурой был назван герой трагического масштаба. Ведь Тургенев, тонкий знаток и ценитель классического искусства и эстетики, прекрасно понимал, что далеко не всякое общественное явление и далеко не всякий конфликт может подняться на трагическую высоту. По воспоминаниям Я. П. Полонского, Тургенев, например, отказывал в трагическом величии русским революционерам-террористам. «И, развивая теорию трагического, Иван Сергеевич, между прочим, приводил в пример Антигону Софокла. «Вот это, — сказал он, — трагическая героиня!

Она права, потому что весь народ точно так же, как и она, считает святым делом то дело, которое она совершила (погребла убитого брата). А в то же время тот же народ и Креона, которому вручил он власть, считает правым, если тот требует точного исполнения своих законов. Значит, и Креон прав, когда казнит Антигону, нарушившую закон. Эта коллизия двух идей, двух прав, двух равнозаконных побуждений и есть то, что мы называем трагическим. Из этой коллизии вытекает высшая нравственная правда, и эта-то правда всею своею тяжестью обрушивается на то лицо, которое торжествует. Но можно ли сказать, что то учение или та мечта, за которую погибают у нас, есть правда, признаваемая народом и даже большинством русского общества?»

Во взглядах русских революционеров-демократов Тургенев видел отражение насущных народных потребностей, хотя в крайностях своих нигилистических отрицаний они казались ему героями, обреченными на поражение. Тургенев сознавал, что в трагических коллизиях теряют силу обычные представления о «положительных» героях. «Тенденция! — восклицал он в письме к Фету, — а какая тенденция в «Отцах и детях» — позвольте спросить? Хотел ли я обругать Базарова или его превознести? *Я этого сам не знаю*, ибо я не знаю, люблю ли я его или ненавижу! Вот тебе и тенденция!» А в ответ на упреки гейдельбергской молодежи в умышленном снижении героя, в карикатурности, Тургенев прямо излагал свою позицию в письме к Случевскому: «Я хотел сделать из него лицо трагическое — тут было не до нежностей. Он честен, правдив и демократ до конца ногтей — а вы не находите в нем *хороших* сторон?.. Смерть Базарова... должна была, по-моему, наложить последнюю черту на его трагическую фигуру. А ваши молодые люди и ее находят случайной! Оканчиваю следующим замечанием: если читатель не полюбит Базарова со всей его грубостью, бессердечностью, безжалостной сухостью и резкостью... — я виноват и не достиг своей цели. Но «рассыропиться», говоря его словами, — я не хотел, хотя через это я бы, вероятно, тотчас имел молодых людей на своей стороне. Я не хотел накупаться на популярность такого рода уступками».

Сам автор «Отцов и детей» оказался жертвой трагической ситуации. С недоумением и горечью он останавливался, опуская руки, перед хаосом противоречивых суждений: приветствий врагов и пощечин друзей. И лишь

впоследствии он осознал причину столь разноречивых оценок и признал их относительную правоту. Дело было не только в том, что словечком «нигилист» он дал повод «реакционной сволочи» ухватиться за кличку, за имя, и даже не в том, что роман вышел в трудное для революционеров время, когда после петербургских пожаров и студенческих волнений начался поворот правительства к реакции и прокатилась грозная волна арестов, политических преследований. В жестокое время идейных битв Тургенев злоупотребил искусством: «Возникший вопрос, — писал он Салтыкову-Щедрину в 70-х годах, — был поважнее художественной правды — и я должен был это знать наперед».

ИДЕЙНОЕ БЕЗДОРОЖЬЕ

Так вдребезги разлетелась тургеневская мечта о едином и дружном всероссийском культурном слое. Глубокие сомнения возникали по поводу способности русского мужика уразуметь великий, как думалось Тургеневу, смысл происходящих в России реформ. Он вернулся в Париж осенью 1861 года еще отуманенный грандиозностью перемалывающихся в России исторических событий, еще с верой в благодетельность правительственных действий, еще с ощущением загадки и тайны в поведении русского мужика, которое казалось ему парадоксальным и объяснимым только вековым невежеством и отсталостью.

Очутившись в Париже, Тургенев почему-то медлил с традиционной поездкой в Лондон к А. И. Герцену, хотя, по обыкновению, имел к нему немало поручений от тайных русских друзей. Возможно, его задержала доработка романа «Отцы и дети», а затем обострившаяся болезнь. В январе 1862 года он писал Герцену, что именно вследствие болезни его поездка в Лондон «начинает принимать какой-то мифический оттенок». Однако есть основания предполагать, что к этому времени в отношениях Тургенева с Герценом возникла напряженность.

Еще в сентябре 1860 года, передавая через Н. П. Огарева проект «Общества для распространения грамотности и первоначального образования», Тургенев просил Герцена высказать свое отношение к задуманному делу со всей откровенностью. Мнением Герцена он дорожил «больше, чем сотнями других». Прямая оценка Герценом этого проекта неизвестна, но по косвенным замечаниям

можно предположить, что он не придал идее Тургенева серьезного значения. Так возник повод для принципиальной идейной размолвки: ведь Тургенев считал, что успешное проведение реформы требует определенного уровня гражданского образования народных масс...

В январе 1862 года из сибирской ссылки бежал М. А. Бакунин и оказался в Лондоне у Герцена. Возникла настоятельная необходимость помощи ему и его семейству. Жена Бакунина осталась в Сибири: нужно было добиваться разрешения властей на ее возвращение сначала в Премухино, а потом за границу. Тургенев активно взялся за организацию помощи старому другу, а лично от себя обязался выплачивать Бакунину ежегодно 1500 франков. Была надежда на помощь со стороны В. П. Боткина, но она не оправдалась. Тургенев с раздражением писал: «Все обстоит довольно благополучно у Василия Петровича: кушает он до онемения, посещает театры — и даже завел у себя по вторникам отличнейшие квартеты, на которые приглашаются только избранные любители. — Но увы! Эти эпикурейские наслаждения прекращаются, потому что сам Эпикур... едет через несколько дней с Милютиным в Италию, в Рим, где будет сидеть в тени лимонов и венчаться гроздьями». «Старый эпикуреец» после настоятельных просьб Тургенева пообещал-таки, наконец, от своих щедрот в помощь Бакунину 100 франков. Выступая в роли «мальчика, шлем носящего и просящего», Тургенев добился еще 100 франков помощи от Николая Ивановича Тургенева. Дело продвигалось туго и отнимало много времени и сил.

Да и российские новости приносили мало радости. В литературе «совершился какой-то наплыв бездарных и рьяных семинаров — и появилась новая, лающая и рыкающая литература. Что из этого выйдет — неизвестно, — но вот» и Тургенев попал «в старое поколение, не понимающее новых дел и новых слов». «Гаерство, глумление, свистание с завыванием... зловонная руготня. Это все надо переждать. Надоест это публике — и настанет лучшее время; не надоест, надо, как мишка, в шубу нос уткнуть».

В начале января Тургенев узнал об аресте М. Л. Михайлова, поэта, революционера-демократа, сотрудника «Современника». Пусть он был идейным противником — сердце дрогнуло. Тургенев написал П. В. Анненкову в Петербург: «Если у Вас остались какие-нибудь деньги из моих, то Вы могли бы их употребить на вспомоществово-

вание несчастному человеку, который недавно был отправлен из Петербурга в дальний путь и об имени которого Вы, вероятно, догадаетесь сами».

Верный себе, Тургенев по-прежнему стремится сбалансировать противоречия, взвешивая плюсы и минусы противоборствующих в России общественных и литературных сил. Познакомившись с «Записками из Мертвого дома» Достоевского, он пишет бывшему приятелю доброе письмо: «Картина *бани* просто дантовская — и в Ваших характеристиках разных лиц (например, Петрова) много тонкой и верной психологии».

Тургенев предпринимает отчаянную попытку вновь примириться с Толстым и просит Фета «написать ему (Толстому. — *Ю. Л.)* или сказать (если увидите) — что я (безо всяких фраз и каламбуров) *издали* его очень люблю, уважаю — и с участием слежу за его судьбою — но что *вблизи* все принимает другой оборот. Что делать! Нам следует жить, как будто мы существуем на различных планетах или в различных столетиях».

Фет пересылает Толстому это письмо и получает ответ, полный гнева и раздражения: «Тургенев — *подлец, которого надобно бить,* что я прошу вас передать ему так же аккуратно, как вы передаете мне его милые изречения, несмотря на мои неоднократные просьбы о нем не говорить». Тургеневское «балансирование» раздражало «новых людей», оно никак уже не вписывалось в боевую атмосферу «нового времени».

Не ко двору теперь были тургеневские поучения, обращенные к Фету: «Вы поражаете ум остракизмом — и видите в произведениях художества только бессознательный лепет спящего. Это воззрение я должен назвать славянофильским — ибо оно носит на себе характер этой школы: «здесь все черно — а там все бело» — «правда вся сидит на одной стороне». А мы, грешные люди, полагаем, что этаким маханием с плеча топором только себя тешишь... Впрочем, оно, конечно, легче; а то, признавши, что правда и там и здесь, что никаким резким определением ничего не определишь — приходится хлопотать, взвешивать обе стороны и т. д. А это скучно. То ли дело брякнуть так, по-военному: Смирно! Ум — пошел направо! марш! — стой, равняйся! — Художество! налево — марш! стой — равняйсь! — И чудесно! Стоит только подписать рапорт — что все, мол, обстоит благополучно».

Я. П. Полонский присылает Тургеневу отрывок из

статьи Д. И. Писарева «Писемский, Тургенев, Гончаров», опубликованной в ноябрьском номере «Русского слова» за 1861 год. Молодой критик причисляет названных писателей к деятелям прошедшего времени и настаивает на суде «ближайшего потомства». Тургенев пишет в ответ:

«Отрывок из статейки г-на Писарева, присланный тобою, показывает, что молодые люди плюются; погоди, еще не так плеваться будут! Это всё в порядке вещей — и особенно на Руси не диво, где все мы такие деспоты в душе, что нам кажется, что мы не живем, если не бьем кого-нибудь по морде. А мы скажем этим юным плевателям: «На здоровье!» и только посоветуем им выставить из среды своей хотя бы таких плохих писателей, каковы были те, в кого они плюют. Тогда они будут правы, — а мы им пожелаем всякого благополучия».

От дяди-управляющего, Николая Николаевича сыплются одно за другим письма, исполненные какой-то «отчаянной иронии», хотя «спасские крестьяне удостоили, наконец, подписать уставную грамоту́». «Будем надеяться, — отшучивается Тургенев, — что и остальные меня, как говорится в старинных челобитных, — «пожалуют, смилуются!». Возникшее у писателя скептическое отношение к мужику все более и более укрепляется:

«Знаться с народом необходимо; но истерически льнуть к нему — бессмысленно», — пишет Тургенев Фету.

В мае 1862 года Тургенев побывал, наконец, в Лондоне и встретился с Михаилом Бакуниным, теперь уже легендарным человеком, вернувшимся, казалось, с того света. Четырнадцать лет казематов и ссылки наложили на старого друга суровую печать разрушения. «Ох, какая безжалостная мельница — жизнь! Так и превращает людей в муку... нет, просто в сор!» Но удивительно! Духовно Мишель не изменился, остался не сломленным.

— Вы никогда не поймете, что значит чувствовать себя погребенным заживо; говорить себе всякую минуту дня и ночи: я — раб, я уничтожен, сделан бессильным к жизни; слышать даже в своей камере отголоски назревающей великой борьбы, в которой решаются самые важные мировые вопросы, — и быть вынужденным оставаться неподвижным и немым... Наконец, чувствовать себя полным самоотвержения, способным ко всяким жертвам и даже к героизму для служения тысячекрат святому делу — и видеть, как все эти порывы разбиваются о че-

тыре голые стены, единственных моих свидетелей, единственных моих поверенных!

Но тюрьма по крайней мере была тем хороша для меня, что дала мне досуг и привычку к размышлению. Она, так сказать, укрепила мой разум, но она нисколько не изменила моих прежних убеждений. Напротив, она сделала их более пламенными, более безусловными, чем прежде, и отныне все, что остается мне в жизни, сводится к одному слову: «свобода». Свободная федеративная организация славянского мира... С кем, куда и за кем я пойду во имя этой свободы? За Романовым, за Пугачевым или, если новый Пестель найдется, за ним? Скажу правду: я охотнее всего пошел бы за Романовым, если б Романов мог превратиться из петербургского императора в царя земского.

Однако, по мысли Бакунина, надежды на царя были весьма сомнительными, новый Пестель в среде русского дворянства был столь же проблематической фигурой, зато с ощутимой реальностью представала перед ним выросшая из почвы народной жизни грозная фигура Пугачева:

— Николаевский период, — говорил Бакунин, — развил в России очень много дряблых душ, без страсти в сердце, без живой мысли в голове, но с великолепными фразами на языке. Этим людям в последнее время становилось между нами неловко. Они чувствовали, что дело доходит до дел, до жертвы... Их много, и они все пойдут под доктринерское знамя, под сень благодушного правительства. Благо, отступление открыто и для измены есть благовидный предлог, а для ее прикрытия великодушная фраза: «Мы стоим за цивилизацию против варварства», то есть за немцев против русского народа.

Тургенев не мог не почувствовать в гневных тирадах Бакунина прямого выпада на свой счет. Раздражала ожесточенность Мишеля против современного государственного режима: он был безудержен в критике дорогих Тургеневу либеральных принципов и пропагандировал какой-то социалистический мужицкий бунт:

— Я ничего не жду от известных в литературе имен, верю же в спящую силу народа, верю в среднее сословие, — не в купечество, оно гнилее даже дворянства, — но в фактическое, официально не признанное среднее сословие, образующееся постоянно из отпускных людей, приказчиков, мещан, поповских детей — в них сохранились еще и русский сметливый ум, и русская удалая

предприимчивость... Страшна будет русская революция, а между тем поневоле ее призываешь, ибо она одна в состоянии будет пробудить нас из этой гибельной летаргии к действительным интересам. Она вызовет и создаст, может быть, живых людей, большая же часть нынешних известных людей годна только под топор!

Тургенев долго слушал гремящие монологи Мишеля, тщетные попытки Герцена отрезвить неумеренно пылкое воображение прирожденного агитатора. Слушал и грустно молчал. Когда же к нему обратились с вопросом, что он думает по поводу крестьянского возмущения, Тургенев встал и произнес внушительно и торжественно: «Сказано Пушкиным и остается верным: «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!»

В Париж он вернулся в подавленном состоянии духа. Возникшая уже довольно давно и довольно заметная трещинка в его отношениях с Герценом теперь все более и более раздвигалась. «Щапова, читайте, Щапова!» — настоятельно советовали ему Герцен и Огарев на прощание. В Париже Тургенев основательно занялся изучением новоявленного кумира лондонских и петербургских радикалов. Он прочитал щаповские статьи «Земство и раскол», «Сельская община», «Земские соборы XVII столетия», опубликованные в «Отечественных записках» и журнале «Век». А читая, вспоминал слова Герцена, что «свежий, чистый и могучий голос Щапова, теперь почти единственный, отрадно раздается среди разбитых и хриплых голосов современных русских писателей и глубоко западает в душу». Умел Герцен сказать убедительно, красиво и эффектно! Но А. П. Щапов Тургенева все-таки не вдохновлял.

Этот новоявленный идеолог из поповичей был решительным противником всех проектов, предлагаемых русскими либералами, и призывал обратиться «к самой почве нашего саморазвития» — к народу. Из особенностей крестьянского общинного быта он вывел понятие «земства» как национального варианта демократического самоуправления.

В наиболее чистом виде это самоуправление сохранилось, по Щапову, в кругах раскольников. В расколе в эпоху XVIII—XIX веков проявилась своеобразная историческая жизнь русского народа, религиозная и гражданская, умственная и нравственная. Выразилась в чистом, отрешенном от иноземных влияний виде.

Теория «земского» или «общинно-колонизационного» развития русской государственности очень напоминала славянофильскую мысль о Земском соборе. Земля, по Щапову, составляла основу всего русского самобытного народно-бытового общественного строя. Области на Руси назывались «землями», а населяющие их люди — «земскими». Земская организация общественной жизни осуществлялась вольным, естественным путем. «На одной земле и воде в колонизационно-географической и общинно-бытовой связи, сами собой, без всяких указов, возникали два привычных мира — городской и сельский». В лесу насаждался «починок» и разрастался в село. К нему присоединялись «деревни на поле», «приселья», которые вместе с «починком»-селом образовывали уезд или волость — «село с уездом». Из первичных сел или починков «на почве вольнонародного земского строения путем торга и промысла» вырастали посады и возникали посадские миры. Волостные и уездные миры естественноисторическим путем смыкались в областные общины. Сначала эти областные объединения были обособлены друг от друга: каждая представляла из себя вольное общество, местное «земско-советие», возникшее в процессе колонизации на особой речной системе или отдельном волоке. Между областными единицами существовало федеративное взаимодействие, а иногда возникала междоусобная борьба. В эпоху «смутного времени» борьба достигла вершины и разрешилась созданием особой соединенно-областной общественной формы, когда в процессе розни областных общин они решили на своих областных земских соборах жить в единении, любви и совете. Так появилась земско-областная федерация. Путем такого же соединения, идущего снизу вверх, появилось и управление: сельский мир управлялся сельским мирским сходом, волостной — волостным и т. д. Земский собор всех людей русской земли был выражением соединенно-областной организации государственной жизни России.

Получалось, что народ нисколько не нуждался в уроках образованных классов, в развитии просвещения и «цивилизации». Получалось, что реформа Петра нарушила естественный, органический рост русского государственного устроения. Тургенев же из опыта французской революции, из поздних статей В. Г. Белинского вынес убеждение, что «народ — сила охранительная, консервативная». Вслед за Белинским он не раз повторял, что «во всякой коренной реформе, касающейся всего государства, только то действительно, что проникает в народ. Своею инстинктивною преданностью преданию, обычаю, привычке он противится всякому движению вперед, всякому успеху и медленно, с упорством поддается натиску врывающихся к нему сверху нововведений». В спорах с радикалами Тургенев часто опирался на мысли, высказанные Белинским в 1848 году, в рецензии на четвертый выпуск «Сельского чтения».

«Начиная с греков, — утверждал Белинский, — родоначальников европейской цивилизации, у всех европейских народов высшие сословия были представителями образования и просвещения, по крайней мере везде то и другое начиналось с них и от них шло к народу». «Личность вне народа есть призрак, но и народ вне личности есть тоже призрак. Одно уравновешивается другим. Народ — почва, хранящая жизненные соки всякого развития: личность — цвет и плод этой почвы. Развитие всегда и везде совершалось через личности, и потому-то история всякого народа так похожа на ряд биографий несколько лиц. История показывает, как часто случалось, что один человек видел дальше и понимал лучше всего народа то, что нужно было народу, один боролся с ним и побеждал его сопротивление, и самим народом причислялся потом за это к числу его героев».

Бакунин, Герцен и Огарев в Лондоне, Чернышевский, Добролюбов и Щапов в России радикально пересмотрели взгляды Белинского и, по мнению Тургенева, «поливали грязью» тот культурный слой общества, который и является двигателем общественного развития. Тургенев с горечью замечал, что его друг Александр Иванович Герцен все более решительно уходил от союза с либеральными силами русского общества, уступая революционному «нигилизму» Огарева и Бакунина.

Зиму 1862 года Тургенев провел в Париже. Здесь он встречался с К. Д. Кавелиным, только что приехавшим из Петербурга с самыми свежими новостями — одна тревожнее другой. В январе 1862 года, во время губернских выборов в Москве, реакционные дворяне-аристократы потребовали принятия «олигархической дворянской конституции» в качестве компенсации за утраченную над крестьянами власть:

— Не знаю, что вы скажете, а эта игра в конституцию меня пугает так, что я ни о чем другом думать не могу. Разбесят дворяне мужиков до последней крайности, уверят их своим псевдолиберальным балагурством, что

они, дворяне, в самом деле затевают что-то против царя, и пойдет потеха! — говорил Кавелин.

После свидания с Кавелиным в письме к Боткину от 26 марта 1862 года Тургенев так сформулировал свои опасения: «Кавелин подтвердил мне факт о соединении крепостников с социалистами в оппозиции к правительству». Оставалось грустно пошутить, что «время приняло слабительное — и неудержимо стремится — не хочу сказать куда». Услужливые друзья сообщали из Петербурга, что «Современник» готовит против Тургенева истребительную статью под названием «Отходная большому таланту». «Спасибо еще, что при теперешнем тоне не напечатали «Похороны свиньи». Приходится мысленно твердить сонет Пушкина: «Поэт, не дорожи» и т. д. (Во 2-й книжке «Современника» исправник рассказывает, как один помещик сперва оплевал его, потом *обосцал*. Textuel)».

Но и в Париже жилось неуютно и холодно. Мечты о свадьбе дочери оставались пока неосуществимыми, отношения с Полиной Виардо — дружески вежливыми. Дядя-управляющий Николай Николаевич по-прежнему писал из Спасского отчаянные письма, призывая на родину заплутавшего в Европе племянника.

25 мая 1862 года Тургенев приехал в Петербург накануне грозного пожара, истребившего Апраксин двор, Министерство внутренних дел... В светских кругах и в народе ходили слухи о поджогах, совершенных какой-то тайной революционной организацией. Радикалы, напротив, утверждали, что поджоги инспирированы правительством как повод для расправы с ними...

Тургенев стоял среди горящего Петербурга, видел народ вблизи, слушал толки, пересуды... «Эти безумия, эти злодеяния, весь этот хаос — не следствие ли нашей российской замашки рубить сплеча, не знать меры ни в чем, доходить в отрицании до разрушительного разгула?» Вспоминался Бакунин, словопрения по поводу народного бунта. «Нет, остается желать одного, чтобы царь — единственный наш оплот в эту минуту — остался тверд и спокоен среди ярых волн, бьющих справа и слева». Тургенев чувствовал, что итогом пожаров, в возникновении которых обвиняли «нигилистов», будет усиление правительственной реакции. «Страшно подумать, до чего она может дойти, и... нельзя не сознаться, что она будет до некоторой степени оправдана».

В Спасском он тоже не отдохнул душою. Крестьянские дела шли, «скрипя и треща, как немазаная телега», даже вникать в них было жутковато, и Тургенев, передоверив возню с мужиками дядюшке, убедив себя, что «му́ка» все-таки будет, в первой половине августа 1862 года уехал в Баден-Баден. Он так и не понял, что же происходило в народной жизни, чем объяснялась крестьянская нерешительность, нежелание мужиков подписывать уставные грамоты и вступать в «полюбовные» соглашения с помещиками.

А крестьяне как Спасского, так и всей России ожидали от царя не такой «воли», какую получили, а воли настоящей, полной. Они не могли ни понять, ни согласиться, почему земля признавалась «Положениями» собственностью помещика. По крестьянской вековой традиции в народе жило убеждение, что земля на Руси божья, то есть принадлежит всему миру, всей деревенской общине. С какой же стати их заставляют теперь выкупать эту землю у помещика, да еще по цене, почти в десять раз превышающей ее рыночную стоимость?

Незамедлительно в среде мужиков появились свои толкователи «Положений»: «Помещику земли — горы да долы, овраги да дороги, лесу ему ни прута. Переступит он шаг со своей земли — гони добрым словом, не послушался — секи ему голову, получишь от царя награду». Так ухитрялся читать «царску грамоту» объявившийся в селе Бездна Казанской губернии Антон Петров. Четыре тысячи крестьян собрались в село послушать мужицкого толкователя воли. 12 рот пехоты с тремя артиллерийскими орудиями бросило правительство против них.

Составление уставных грамот совершалось в ту пору, когда крестьяне надеялись на появление «новой царской грамоты». Поэтому они оказывали пассивное сопротивление помещикам: не подписывали уставные грамоты, не выходили на барщину. Такая ситуация оказалась на руку именно дворянам. Ведь согласно «Положениям» уставная грамота, в случае отказа крестьян, могла утверждаться волею помещика. Дворянство смекнуло свои выгоды и использовало процедуру введения уставных грамот для максимального закабаления бывших своих крестьян. В ходе размежевания господской и крестьянской земли осуществлялось переселение крестьянских усадеб. Помещики беспрепятственно прибирали к своим рукам наиболее плодородные земли из бывших крестьянских наделов, а мужиков переводили «на песочек».

Именно так и поступал Николай Николаевич Турге-

нев, пользуясь тем, что его литератор-племянник в хозяйственных делах смышлен не был, а в благодетельность общих принципов реформы верил свято. Прозванный среди спасских крестьян Лупоглазым, Николай Николаевич переселил ивановских и петровских крестьян в новые усадьбы, отобрав у них лучшие земли. Бывший крестьянин села Петровского Федор Бизюкин, вернувшийся по окончании земледельческой школы домой, родного села Петровского уже не обнаружил. Отца своего он нашел в слободке Никольское в довольно оригинальном жилище.

— Что же сени-то у тебя перегорожены пополам?

— Это так перегородил Лупоглазый из выгоды, чтоб одни сени были на две семьи.

Сени действительно делились одною общею капитальною стеной, за которою помещался уже другой домохозяин.

— Да ведь если сосед сгорит, сгоришь и ты...

— Вестимо сгоришь. Что же делать теперь?.. Барину стали не нужны, не жалки его крестьяне...

— Где же теперь твои надельные поля-то?

— Вон, под Бастыевым, на глине-то, по косогорам да оврагам.

— А поля петровских крестьян кому перешли?

— Вестимо кому, барину.

Не порадовал Федора Бизюкина и разговор с Порфирием Тимофеевичем Кудряшовым. На вопрос о том, чем же занят былой «заступник» спасских крестьян, Порфирий недовольно ответил:

— Чем занят? Что делает? Пишет о русских людях из «прекрасного далека»... Охоту с собаками оставил, продает понемногу имения, родовое Спасское пустеет, упадает, разрушается, как и он сам...

Шел Федор Бизюкин к распаханным родным местам и думал: «Как бесследно уничтожено мое ребяческое, незатейливое, но родное и сердцу милое «гнездо», распахано плугом, раскорежено зубьями бороны и засеяно дятлиной, — так, пожалуй, по закону «силы и материи». и Спасское-Лутовиново «общей не уйдет судьбы».

Такова была крестьянская точка зрения, в которую Тургенев вникать не хотел и которой неосознанно, инстинктивно боялся. Когда в 1862 году разногласия с Герценом выплеснулись в прямую полемику, Тургенев настаивал, что в результате проведения «Положения» в жизнь «крестьянин разбогател и, как они выражаются, *раздобрел* от него — и знает, что он этим царю обязан».

Полемика началась в связи с проектом «Адреса-письма», обращенным к Александру II от лица русской интеллигенции и прогрессивных кругов дворянства. В основу адреса, составленного Огаревым и одобренного Герценом и Бакуниным, была положена мысль о созыве «общего Земского собора», так как царь и его правительство оказались «не в силах постановить ясные и определенные преобразования». Резкой критике подвергалось «Положение о крестьянах», которое, «не распустив окончательно старого узла, навязало к нему так много новых петлей, что, если теперь не поспешить распутать их общими народными силами, узел в скором времени затянется до того, что его разве мечом или топором перерубишь, а не развяжешь работою мирных рук».

Тургенев не принял такого проекта. «Это — род обвинительного акта против «Положения» — а с «Положения» начинается новая эра России». Критика «Положения» будет на руку крепостникам, «которые обрадуются случаю выказать свою вражду к эмансипации». С другой стороны, крестьяне «увидят в адресе новое нападение дворянства на освобождение». Но главное несогласие Тургенева с Огаревым, Герценом и Бакуниным состояло в том, что «они, презирая и чуть не топча в грязь образованный класс в России, предполагают революционные или реформаторские начала в *народе*; на деле же это — совсем наоборот. Революция в истинном и живом значении этого слова — существует *только* в меньшинстве образованного класса — и этого достаточно для ее торжества, если мы только самих себя истреблять не будем». Тургенев все еще надеялся на единство честных, гуманных, просвещенных и деятельных людей культурного слоя и предлагал свой вариант адреса правительству, программа которого была такой:

«Признав великое благо, основанное «Положением», указать на необходимость некоторых дополнений и улучшений — а главное, на настоятельную потребность привести весь остальной состав русского государства в *гармонию* с совершившимся переворотом — и для этого, раскрыв беспощадной рукой все безобразия нашей администрации, суда, финансов и т. д., требовать созвания Земского Собора, как единого спасения России — одним словом, доказать правительству, что оно должно продолжать дело, *им начатое*».

Тургенев и сам чувствовал политическую бескостность своей программы, но иной предложить не мог.

Отпугивала Тургенева и центральная идея народнического социализма Огарева и Герцена — вера в крестьянскую общину и социалистические инстинкты русского мужика.

— Итак, любезный друг, ты решительно дальше не едешь, — обращался к Тургеневу Герцен в связи с отказом подписать адрес. — Тебе хочется отдохнуть в тучной осенней жатве, в тенистых парках, лениво колеблющих свои листья после долгого летнего зноя...

— Не из эпикуреизма, не от усталости и лени я удалился, как говорит Гоголь, под *сень струй* европейских принципов и учреждений, — оправдывался Тургенев. — Роль *образованного класса* в России — быть передавателем цивилизации народу, с тем чтобы он сам уже решал, что ему отвергать или принимать... Вы же, господа, напротив, немецким процессом мышления (как славянофилы), абстрагируя из едва понятой и понятной субстанции народа те принципы, на которых вы предполагаете, что он построит свою жизнь — кружитесь в тумане — и, что всего важнее, в сущности *отрекаетесь от революции* — потому что народ, перед которым вы преклоняетесь, консерватор par exellence * — и даже носит в себе зародыши такой буржуазии в дубленом тулупе, теплой и грязной избе, с вечно набитым до изжоги брюхом и отвращением ко всякой гражданской ответственности и самодеятельности — что далеко оставит за собою все метко верные черты, которыми ты изобразил западную буржуазию... *Земство*, о котором вы мне в Лондоне протрубили уши... оказалось на деле такой же кабинетной, высиженной штучкой, как *родовой быт* Кавелина и т. д.

Здесь Тургенев отступал от прежних своих убеждений. Ведь в переписке и в разговорах с К. Аксаковым, отрицая кавелинскую идею родового быта, он признавал наличие в крестьянской общине здоровых мирских традиций, а выступал только против перенесения их в высшие структуры государственной организации. Когда в 1857 году Луи Виардо предложил Тургеневу сделать анонимное описание русского крестьянского быта для одной из французских газет, Тургенев согласился. Не стесненный цензурными ограничениями, он развернул

* По преимуществу *(лат.)*.

перед французскими читателями всю неприглядную картину крепостнических порядков. Но, обличая крепостное право, писатель обратил внимание на одно учреждение в русском крестьянском быту, которое делает особым, существенно отличным от западноевропейского, весь строй русской деревенской жизни.

«Когда вы в первый раз видите русскую деревню, — писал Тургенев, — вы можете подумать, что попали к моравским братьям. Здесь нет, как у вас во Франции, больших отличных ферм, где живут сельские капиталисты, — этих своеобразных сельскохозяйственных мануфактур, окруженных бедными лачугами, в которых многочисленные поденщики, подлинные сельскохозяйственные рабочие, влачат жизнь не менее жалкую и не более обеспеченную, чем рабочие городских фабрик. Ввиду того что каждый русский крестьянин входит в состав общины и имеет право на земельный надел, в России нет пролетариата. В нашей деревне, по обеим сторонам проходящей через нее дороги, тянутся два ряда домов совершенно одинаковых, похожих один на другой».

Существование в русской деревне общинного владения с периодическими переделами земли по едокам и круговой порукой в оплате повинностей смягчало, по Тургеневу, бедствие всеобщего порабощения, помогало деревенскому миру отстоять свою относительную независимость от давления государства и от корыстных притязаний помещика. Общинный институт удерживал крестьянина от полного разорения, «выравнивал» всех жителей деревни в их отношениях к главному источнику крестьянского трудового существования — земле.

Земля в русских селах и деревнях, отведенная в пользование крестьянину, находилась и до и после реформы 1861 года в распоряжении мира, сельского схода, а не отдельного лица. На миру решались вопросы об уравнительном переделе земли, на миру происходило избрание сельских властей, деревенских старост, здесь совершался сбор средств на общие расходы, решались мелкие гражданские и уголовные дела, осуществлялась организация взаимопомощи. Естественно, что общинное владение землей накладывало особый отпечаток на психологию русского крестьянина, приглушая частнособственнические инстинкты. Земля в понимании русского мужика не являлась собственностью частных лиц. Она была «мирской», «божьей». Надел крестьянину давал мир, который и являлся подлинным собственником, крестьянин же в ка-

честве временного единоличного владельца оказывался собственником условным.

На протяжении всей русской истории крестьянство стремилось превратить общину в добровольный союз, оказывающий демократическое давление на помещичью усадьбу и самодержавное государство. Более того, «в моменты крестьянских волнений деревенский «мир», сдавленный властью помещиков и чиновников, на некоторое время сбрасывал эту внешнюю давящую силу и самостоятельно выбирал сельскими старостами наиболее энергичных вожаков своего движения. Идея земельного передела сохраняла свою силу в сознании крестьянства: чем больше росло население и земельное «утеснение», тем могущественнее становилось стремление уравнять землепользование среди общинных слоев деревни», — утверждает современный историк Н. М. Дружинин.

Почему же спустя пять лет Тургенев отрицает то, что сам же он утверждал ранее: наличие общественно-коллективистских начал внутри деревенского мира? Причем это отрицание особенно настойчиво и упорно. В 1867 году он напишет Герцену следующее письмо:

«...Ты романтик и художник... веришь — в народ, в особую породу людей, в известную расу: ведь это в своем роде та же троеручица! И все это по милости придуманных господами философами и навязанных этому народу совершенно чуждых ему демократически-социальных тенденций — вроде «общины» и «артели»! От общины Россия не знает как отчураться, а что до артели — я никогда не забуду выражения лица, с которым мне сказал в нынешнем году один мещанин: «кто артели не знавал, не знает петли». Не дай бог, чтобы бесчеловечно эксплуататорские начала, на которых действуют наши «артели» — когда-нибудь применялись в более широких размерах! «Нам в артель его не *надыть*: человек он хоша не вор — да безденежный и поручител*ев* за себя не имеет, да и здоровьем не надежен — на кой его нам ляд!» Эти слова можно услыхать сплошь да рядом — далеко, как изволишь видеть, до fraternité* — или хоть до Шульце-Деличской ассоциации!»

Изменившийся взгляд Тургенева на общину и артель как ее разновидность связан с реальными наблюдениями писателя над русской народной жизнью пореформенного

* Братство *(франц.)*.

времени. В самом народе часто возникало тогда недоверие и недовольство этими вековыми общественными порядками. Но источником недовольства были те самые, «благодетельные», по Тургеневу, принципы реформы, которые он сомнению не подвергал.

В процессе земельной ломки, круто повернувшей налаженный быт крестьянских хозяйств, в ходе крестьянской реформы совершено было закабаление крестьянской общины, оказенивание элементов демократического самоуправления в ней. Во-первых, сельское общество как административная единица было отделено от поземельной общины как единицы хозяйственной с помощью образования «надстроечных» волостных правлений, под властью которых находилось несколько сельских общин. В результате поземельная община ограничивалась в своих правах: она могла заниматься лишь хозяйственным устроением, а все административные функции переходили в руки поставленных над деревенскими «мирами» волостных старшин, являвшихся на деле представителями официальной власти.

Этот шаг еще в ходе работы редакционных комиссий вызвал решительную критику со стороны славянофилов. Ю. Ф. Самарин заявлял, обращаясь к одному из членов редакционной комиссии: «Вы навязываете народу такую правительственную форму в волостном управлении, в которой крестьяне вовсе не поймут ни вашего учреждения, ни того, что вы от них требуете, и примут на себя предписанные вами обязанности как тяжелую для них повинность. Они совсем не будут интересоваться этим управлением». К. С. Аксаков высказался на этот счет еще более решительно: «Вы подняли руку на народ. Злое дело, худое дело. Вы посягнули на душу народа; это уже настоящее душегубство. Остается утешаться, что не всегда же русская история будет сочиняться в Петербурге и что вам, господа, совершить душегубства над русским народом на деле не удастся».

Однако это «душегубство» было осуществлено. Согласно «Положению» о реформе, волостному старшине вменялось в обязанность беспрекословное повиновение сначала требованиям мирового посредника, а впоследствии — земского начальника. Сельский же староста, избранный деревенским сходом, обязан был подчиняться не мирскому приговору, а волостному старшине. Ясно, что волостное управление было создано с фискальными целями, с его помощью государство усиливало давление на по-

земельную общину, стремясь парализовать крестьянское самоуправление.

Второй удар реформа нанесла самому принципу общинной собственности, разрешив отдельным домохозяевам выдел земли в постоянное личное пользование и открывая широкий простор для появления в деревне кулаческой прослойки. К тому же выдел приводил к разрушению всей системы земельной разверстки. Ведь при общинном владении у крестьян не существовало цельных и отдельных участков. Чтобы выдел осуществить, нужно было расстроить все общинное хозяйство, сломать весь строй налаженного крестьянского быта. А. И. Кошелев с возмущением писал: «Знаете, шибко я боюсь вашей петербургской стряпни. Уж как вы, господа чиновники, да к тому же петербуржцы, да еще вдобавок ученые, приметесь законодательствовать, право, из этого может выйти чисто-начисто беда, да еще какая! Знаете, мороз по коже дерет и меня и Хомякова от одних опасений. Многого мы от вас боимся, но на деле вы будете страшнее и ужаснее. Старайтесь сделать как можно неполно, недостаточно, дурно: право, это будет лучше!»

В ходе реформы было осуществлено вмешательство и в саму организацию сельского схода. Приговор «мира» согласно «Положению» считался действительным, если за него высказалось не менее $^{2}/_{3}$ голосов. Введение голосования нарушало старый народный обычай, требующий согласия всех членов схода. Допущение решающего значения большинству голосов вносило раздор в традиционные убеждения общинников, обостряя конфликты между ними, облегчая кулаческой прослойке деревни обеспечивать большинство голосов на сельских сходах.

Наконец, самый чувствительный удар реформа нанесла по связи крестьянина с землей. Особенно разрушительно он подействовал на общинную жизнь российского нечерноземья. Повинности за отведенную землю во много раз превышали реальную доходность земли, особенно в бедных и середняцких хозяйствах. Это повело к резкому, катастрофическому нарастанию недоимок по выкупным платежам и подушным податям. Кулачество воспользовалось сложившейся ситуацией для закабаления и в конечном счете полного разорения значительной массы соседей-общинников. Нарастание недоимок обостряло отношения внутри сельской общины, столкновения между кулаками и разоряющимися общинниками принимали теперь антагонистический характер. На сельских сходах мирской приговор стали вершить кулаки, получавшие всяческую поддержку со стороны правительства и без труда диктовавшие свою волю мужикам, попавшим к ним в экономическую кабалу.

В первые месяцы после объявления «воли» ожила мирская жизнь мужика, а по отношению к дворянству и правительству приняла грозный характер, доставляя неисчислимые хлопоты провинциальной администрации. Тургенев испытал непокорство спасских мужиков в первое пореформенное лето на собственном опыте. Чтобы сдержать народную инициативу, по всей стране были проведены досрочные выборы сельских старост и волостных старшин. Выборы эти не имели ничего общего с крестьянской демократией. Сельские старосты и волостные старшины фактически назначались мировыми посредниками.

Выборы укрепили позиции господствующих классов общества. Была продумана целая система подкупов и поощрений: сельских старост и волостных старшин награждали за усердие серебряными медалями, жаловали почетными кафтанами. А в тех случаях, когда они становились на сторону мира и оказывали неповиновение, их жестоко наказывали. Только в Самарской губернии в течение октября — ноября 1861 года были сосланы в Сибирь свыше шестидесяти сельских старост.

Так правительству удалось совершить противоестественный акт бюрократизации общинного самоуправления, принесший большой нравственный урон живому социальному организму деревни. Сельская власть в общине превращалась в «правительственную агентуру», призванную «обеспечивать беспрекословное повиновение в выполнении крестьянами их повинностей как государству, так и помещикам». Но веривший в основные положения реформы Тургенев во все эти «подробности» крестьянской жизни, по всей вероятности, не вникал.

Его нападки на общину и артель были связаны также с отрицательным отношением к самой идее социализма. Тургенев считал социалистический идеал чуждым всему европейскому миру — как российскому, так и западноевропейскому. В письме к Герцену, развивая свою мысль о пагубности «общины» и «артели», Тургенев заявлял: «Ты указываешь мне на Петра и говоришь — смотри: «Петр-то умирает, едва дышит»; согласен — да разве из этого следует, что Иван здоров? Особенно, если принять

в соображение, что Иван точно такой же комплекции, как и Петр, и тою же болезнью болен. Нет, брат, как ни вертись, — а старик Гёте прав: der Mensch (der *europäische* Mensch) ist nicht geboren frei zu sein * — почему? Это вопрос физиологический — а *общества рабов* с подразделением на классы попадаются на каждом шагу в природе (пчелы и т. д.) — и изо всех европейских народов именно русский менее всех других нуждается в свободе. Русский человек, самому себе предоставленный — *неминуемо вырастает в старообрядца* — вот куда его гнет — его прет — а вы сами лично достаточно обожглись на этом вопросе, чтобы не знать, какая там глушь, и темь, и тирания. Что же делать? Я отвечаю, как Скриб: prenez mon ours ** — возьмите науку, цивилизацию — и лечите этой гомеопатией мало-помалу. А то, пожалуй, дойдешь до того, что будешь, как Иван Сергеевич Аксаков, рекомендовать Европе для совершенного исцеления — обратиться в православие. Вера в народность — есть тоже своего рода вера в бога, есть религия — и ты — непоследовательный славянофил — чему я лично, впрочем, очень рад».

Революционно-социалистические выводы Герцена, Огарева и Бакунина, основанные на вере в русскую крестьянскую общину и артель, кажутся Тургеневу славянофильским дымом и туманом:

«Огареву я не сочувствую, во-первых, потому, что в своих статьях, письмах и разговорах он проповедует старинные социалистические теории об общей собственности и т. д., с которыми я не согласен; во-вторых, потому, что он в вопросе освобождения крестьян и тому подобных — показал значительное непонимание народной жизни и современных ее потребностей — а также и настоящего положения дел; в-третьих, наконец, потому, что даже там, где он почти прав <...> он излагает свои воззрения языком тяжелым, вялым и сбивчивым, обличающим отсутствие таланта».

Противоречия заходили так далеко, что назревал разрыв. И он наступил, когда Тургенев затронул самую чувствительную струну, обвинив Герцена в отрыве от России и указав ему на практическую бесполезность и даже вредность его социалистической пропаганды на страницах «Колокола»:

— Правда до политических изгнанников так же трудно доходит, как и до царей; обязанность друзей — доводить ее до них. *«Колокол» гораздо меньше читается с тех пор, как в нем стал первенствовать Огарев*... И это понятно: публике, читающей в России «Колокол», не до социализма: она нуждается в той критике, в той чисто политической агитации, от которой ты отступил, надломив свой меч. «Колокол», напечатавший без протеста 1/2 манифеста Бакунина и социалистические статьи Огарева — уже не *герценовский*, не *прежний* «Колокол», как его понимала и любила Россия.

В ответ издатель «Колокола» заявил, что взгляды его оппонента «представляют полнейший нигилизм *устали* и *отчаяния* в противуположность нигилизму *задора* и *разрушительности* у Чернышевского, Добролюбова и пр.».

Нельзя отказать автору «Былого и дум» в точности и меткости социально-психологических определений. Тургенев действительно чувствовал, что в общественной борьбе пореформенной эпохи он теряет ориентиры. Не случайно же в письмах к Герцену он полностью отождествил беды буржуазной цивилизации, переживаемые Западом, с теми же бедами, которые, с его точки зрения, переживала и Россия, а в конце давал Герцену совет: «Шопенгауэра, брат, надо читать поприлежнее, Шопенгауэра». Герцен сразу почувствовал, что мировоззрение Тургенева постепенно лишается социального оптимизма. «Доказательство тебе в том, — писал издатель «Колокола», — что ты выехал на авторитете идеального нигилиста, буддиста и мертвиста — Шопенгауэра».

Ссору Тургенева с «лондонскими эмигрантами» еще более обострили внешние политические события. В январе 1863 года вспыхнуло восстание в Польше.

«Для нас мятеж Польши есть дело семейственное, старинная наследственная распря; мы не можем судить ее по впечатлениям европейским, каков бы ни был, впрочем, наш образ мыслей», — сказал А. С. Пушкин в письме к П. А. Вяземскому от 1 июня 1831 года. И вот история на очередном витке спирали повторила давний, застарелый спор двух славянских народов.

Еще в июне 1861 года, с тревогой прислушиваясь к первым сигналам нараставшего в Польше революционного брожения, Тургенев писал Е. Е. Ламберт: «Поляки

* Человек (европейский человек) не рожден быть свободным *(нем.)*.
** Возьмите моего медведя *(франц.)*.

имеют право, как всякий народ, на отдельное существование; это — их *что* — а *как* они этого добиваются — это уже второстепенный вопрос. Этим я не хочу сказать, чтобы мы были совершенно неправы во всем этом деле; со времен древней трагедии мы уже знаем, что настоящие столкновения — те, в которых обе стороны до *известной степени* правы. Я также готов согласиться, что наша роль в Варшаве очень трудна — и что люди, которые отправляются туда, оказывают самоотвержение».

В самый разгар крестьянской реформы поляки решили распутать клубок тех противоречий, которые завязывались между Россией и Польшей в течение столетий. Еще в XIV—XVI веках, когда Россия с трудом расправляла плечи после многовекового татарского ига, Польское королевство расширило свои владения за счет древних русских, украинских и белорусских земель. Польские магнаты вели на этих землях политику религиозного угнетения, вызывавшую недовольство и возмущение порабощенных народов. Амбиции королевской власти росли, вынашивались замыслы присоединения к Польше всей Московии. В смутное время начала XVII века эти мечты, казалось, были близки к осуществлению.

Однако после разгрома польской интервенции в 1612 году под руководством Минина и Пожарского военной мощи Польского королевства был нанесен сокрушительный удар. Обострились внутренние противоречия, еще более ослаблявшие государственную власть, а попытки восстановить былое господство в процессе общеевропейских войн за раздел и передел владений привели к тому, что после трех разделов самой Польши между Пруссией, Австрией и Россией некогда могущественное королевство перестало существовать как самостоятельное государство. Земли, отошедшие в ходе этих разделов Пруссии и Австрии, были методично и жестоко онемечены. Только в русских владениях Польша сохранилась в качестве подчиненного России на правах наместничества Царства Польского и не исчезла почва, питавшая гордый национальный дух.

Потеря государственной самостоятельности трагически переживалась свободолюбивой нацией и приводила к постоянным вспышкам, перераставшим в восстания, подавлявшиеся царским правительством в 1794, 1831 и, наконец, в 1863 году.

Уже с первых шагов революционного движения 1863 года стало ясно, что оно обречено на поражение.

У руководства восстанием оказались две партии польских патриотов — «белые» и «красные». «Белые», выражавшие интересы польской знати, мечтали о восстановлении границ Польши «от моря до моря»; «красные» считали необходимым при этом учитывать интересы польских крестьян, поддержка которых была гарантией успеха восстания.

«Лондонские эмигранты», приветствуя борьбу за свободу и самоопределение Польши, пытались организовать в процессе этой борьбы польско-русский революционный союз. В переговорах с Польским центральным национальным комитетом в конце сентября 1862 года Герцен настаивал, что только народный, крестьянский характер восстания может принести успех русским и полякам: «Если в России на вашем знамени не увидят *надел земли* и *волю провинциям*, то наше сочувствие *вам не принесет никакой пользы*, а *нас погубит*...»

И в то же время Герцен понимал, сколь тщетны надежды на подъем крестьянского революционного движения в самой России. Об этом свидетельствовали первые шаги тайной организации «Земля и воля». Иначе воспринимал ход событий Бакунин. Во время переговоров с поляками он торжественно заявлял:

— Жмудь и Волга, Дон и Урал восстанут как один человек, услышав о Варшаве.

«...Я видел, — иронически замечал Герцен, — что он запил свой революционный запой и что с ним не столкуешь теперь. Он шагал семимильными сапогами через горы и моря, через годы и поколенья. За восстанием в Варшаве он уже видел свою «славную и славянскую» федерацию, о которой поляки говорили не то с ужасом, не то с отвращением... он уже видел красное знамя «Земли и воли» развевающимся на Урале и Волге, на Украйне и Кавказе, пожалуй, на Зимнем дворце и Петропавловской крепости — и *торопился* сгладить *как-нибудь* затруднения, затушевать противуречия, не выполнить овраги, а бросить через них *чертов мост*...»

2 февраля 1863 года Бакунин писал Центральному правительству польского восстания: «В этот торжественный час, когда решается участь наших двух стран, я заклинаю вас отвечать мне категорически и откровенно — имеете ли вы доверие к нам? Хотите ли вы, чтоб я пришел в Польшу?» Ответа на это обращение Бакунин не получил. «Белые» в «Национальном правительстве», меч-

тая о Польше «от моря до моря», отрицательно относились к идее всероссийского крестьянского восстания.

Но Бакунин не уставал проповедовать: «Русский народ за два века рабства сохранил в неприкосновенности три принципа, которые послужат ему основой будущего развития. Первым является общераспространенное в народе убеждение, что вся земля принадлежит ему. Второй принцип — уважение к общине, организации, которую два века рабства не могли совершенно уничтожить и которую русский народ сохранил в виде обычая... Наконец, третий принцип, источник всей нашей будущей свободы — самоуправление общины.

Эти три принципа в их наиболее широком значении содержат в зародыше всю будущность России. Их развитие должно иметь своим первым следствием соединение общин в округа, затем округов — в области, наконец областей — в государство». Принимая общину за исходный пункт, Бакунин хотел «превратить чисто немецкую бюрократическую администрацию в национально-выборную систему и заменить насильственную централизацию империи федерацией независимых и свободных провинций».

1863 год не оправдал его надежд: крестьянской революции в России не произошло, а националистически настроенные польские патриоты отнеслись к программе Бакунина с откровенным недоверием и даже враждебностью. Польское восстание было подавлено, русские либералы, напуганные революционным движением в Польше, отвернулись от «Колокола» Герцена, на демократическую интеллигенцию России обрушились репрессии.

Тургенев, считавший надежды «лондонских эмигрантов» на крестьянскую революцию наивными, с первых шагов польского восстания почувствовал его трагическую обреченность. В письме к П. В. Анненкову от 25 января 1863 года он заявлял: «Известия из Польши горестно отразились и здесь. Опять кровь, опять ужасы... Когда же все это прекратится, когда войдем мы, наконец, в нормальные и правильные отношения к ней?! Нельзя не желать скорейшего подавления этого безумного восстания, столько же для России, сколько для самой Польши».

Тургенев считал польское восстание необдуманным и безрассудным. В период, когда реформы «сверху» делали первые шаги, польские патриоты невольно помогали реакционным кругам России объединиться и уничтожить молодые ростки либерализма. Так оно и случилось. После

поражения восстания наступил резкий спад не только революционно-демократического, но и либерального движения.

Окончательный удар по либеральным иллюзиям Тургенева принесло неожиданное известие о вызове его в Сенат по делу «о лицах, обвиняемых в сношениях с лондонскими пропагандистами» — так называемое «Дело 32-х».

Летом 1862 года из Лондона в Петербург отправился П. А. Ветошников с большим количеством нелегальных изданий и писем, адресованных Герценом, Бакуниным, Огаревым и В. И. Кельсиевым друзьям-единомышленникам в России. На границе Ветошников был арестован, и в руках III отделения оказались письма Бакунина, в которых упоминалось имя Тургенева, обещавшего Бакунину денежную помощь. В других письмах и инструкциях Тургенев представал как близкий и доверенный Герцену человек, через которого поддерживались связи «лондонских эмигрантов» с Россией и черпались сведения для обличения правительственных верхов в «Колоколе». Дело принимало неприятный для Тургенева оборот. 22 января 1863 года ему вручили официальный вызов.

Тургенев был в смятении, не зная, что предпринять. «Вызывать меня теперь (в Сенат) <...> когда я окончательно — чуть не публично — разошелся с лондонскими изгнанниками, т. е. с их образом мыслей — это совершенно непонятный факт», — писал он П. В. Анненкову. После некоторых колебаний по совету посланника русского посольства в Париже Тургенев написал личное письмо Александру II с просьбой выслать «допросные пункты» за границу. Одновременно он вызвал к себе брата Николая, чтобы договориться с ним о своих имущественных делах на случай возможной конфискации имения.

Вскоре в Париж пришли «допросные пункты», Тургенев ответил на них и несколько успокоился. Однако Сенат не удовлетворился ответами, и вызов в Россию был повторен. Поскольку Тургенев довольно долго откладывал поездку под предлогом болезни, в Петербурге распространился слух, что писатель испугался судебной ответственности и решил остаться в эмиграции. Сочувствующие пострадавшим по этому делу люди упрекали Тургенева в том, что он своей неявкой отягощает положение других обвиняемых. Писатель оказался, таким образом, в весьма щекотливой ситуации как справа, со стороны правитель-

ственных верхов, так и слева, со стороны радикальной части русского общества. Пришлось ехать в Россию.

С приездом в Петербург в начале января 1864 года Тургенев срочно восстанавливает все свои великосветские связи и знакомства. В его защиту выступают поэт А. К. Толстой, фрейлина Э. Ф. Раден, великая княгиня Елена Павловна, чиновник государственной канцелярии Министерства внутренних дел, писатель-романист Б. М. Маркевич.

6 января Тургенев побывал в Сенате: «Меня ввели с некоторой торжественностью в большую комнату, где я увидел шестерых старцев в мундирах и со звездами. Меня продержали стоя в течение часа, мне прочитали ответы, посланные мною. Меня спросили, не имею ли я чего-нибудь прибавить, потом меня отпустили, сказав явиться в понедельник на очную ставку». Скрывая свое участие в изданиях Герцена, Тургенев отвечал: «Герцена я знал хорошо и находился с ним в приятельских отношениях. Я долгое время не прерывал с ним связи, хотя знал, что он действует против правительства; нечего прибавлять, что я не принимал никакого участия в этих действиях, будучи, по самому существу своему, врагом всего, что походит на заговор».

Очной ставки не состоялось. При следующем посещении Сената судьи удовольствовались тем, что вручили Тургеневу досье его дела и указали страницы, на которых упоминалось его имя, предложив дать письменные разъяснения. Дело завершилось полным оправданием Тургенева. Ему был разрешен выезд из России. Но с этих пор в некоторых кругах общества стали распространяться сплетни, что Тургенев получил освобождение вследствие покаяния, а может быть, и доноса. Слухи эти доползли до Лондона и вызвали осуждающую Тургенева заметку Герцена в «Колоколе».

Пребывание Тургенева в светских и придворных кругах Петербурга не прошло бесследно для его творчества. Общение с людьми правительственной партии показало ему, что многие из них отреклись от дорогого, великого дела реформ, что настроение правительственных особ поворачивает вспять. Впоследствии писатель использовал свои наблюдения в романе «Дым».

19 января 1864 года умер А. В. Дружинин. Тургенев был на его похоронах и у раскрытого гроба друга протянул руку одному из своих бывших приятелей. «Ко мне подошел Анненков, — вспоминал И. А. Гончаров, — и сказал, что Тургенев желает подать мне руку — как я отвечу? — «Подам свою», — отвечал я, и мы опять сошлись, как ни в чем не бывало. И опять пошли свидания, разговоры, обеды — я все забыл».

Петербург не прибавил Тургеневу ни надежд, ни оптимизма. Он постепенно терял веру в благодетельность правительственных реформ. «Время, в которое мы живем, — с горечью замечал писатель, — сквернее того, в котором прошла наша молодость. Тогда мы стояли перед наглухо заколоченной дверью: теперь дверь как будто несколько приотворена, но пройти в нее еще труднее». Вера в истинность идей, провозглашенных реформой, у Тургенева теплилась, но в современной России он не видел общественной силы, которая способна возглавить и повести дело реформы вперед. В правительственной партии он разочаровался, не оправдали надежд и либеральные круги культурного дворянства: после реформы 1861 года и польского восстания они круто повернули вправо. К революционному движению и народническому социализму Герцена Тургенев тоже относился скептически.

Вернувшись из России, он прочел в «Колоколе»: «Корреспондент наш говорит об одной седовласой Магдалине (мужского рода), писавшей государю, что она лишилась сна и аппетита, покоя, белых волос и зубов, мучаясь, что государь еще не знает о постигнувшем ее раскаянии, в силу которого она прервала все связи с друзьями юности». Заметка Герцена глубоко оскорбила Тургенева и даже заставила написать следующее письмо: «Не далеко же ты отстал от покойного Николая Павловича, который также осудил меня, не спросив даже у меня, точно ли я виноват? Если бы я мог показать тебе ответы, которые я написал на присланные вопросы — ты бы, вероятно, убедился, что, ничего не скрывая, я не только не оскорбил никого из друзей своих, но и не думал от них отрекаться...»

Волею судеб и собственными усилиями Тургенев оказался в духовном вакууме: идейные связи с Россией истончились и в основном были порваны, вера в единство либерально мыслящей интеллигенции развеялась как дым. Углублялся философский пессимизм писателя, возникали сомнения в самой возможности устранения социального зла на земле. История человечества представлялась трагикомической борьбой с «неизменяемым» и «неизбежным». Эти сомнения отчетливо прозвучали

в двух повестях Тургенева тех лет — «Призраки» (1864) и «Довольно» (1865).

В смутный период духовного бездорожья Тургенев вновь попал в сферу притяжения главного светила своей жизни — Полины Виардо: «Я чувствую на своей голове добрую тяжесть Вашей любимой руки — и так счастлив сознанием, что Вам принадлежу, что мог бы уничтожиться в непрестанном поклонении!»

24 апреля 1863 года в Лирическом театре Парижа состоялось прощальное представление «Орфея» Глюка и «при бесконечных аплодисментах» Полина Виардо простилась с публикой и Парижем. Голос ее сдавал, и она решила оставить сцену и покинуть Францию. В конце апреля 1863 года семья Виардо поселилась в Баден-Бадене, а 3 мая сюда приехал Тургенев. Полина открывала в Баден-Бадене школу вокального искусства и окружила себя целой колонией русских учениц из богатых семейств. Тургенев приехал сюда вместе с дочерью, но постоянно напряженные отношения девушки с семьею Виардо на этот раз закончились навсегда тяжелой сценой и «незаслуженными обвинениями» в адрес хозяйки дома. Дочь оставила Баден-Баден и в семье Виардо больше никогда не появлялась. В 1865 году она вышла замуж за управляющего, а потом и владельца стекольной фабрики в Ружмоне Гастона Брюэра.

Тургенев поселился в Баден-Бадене, а в 1865 году приобрел здесь участок земли, прилегавший к вилле Виардо, и построил дом в стиле Людовика XIII, с мансардами, высокими крышами и трубами — по словам немецкого литератора, друга Тургенева Людвига Пича, — сказочный замок среди леса и полян. Связи писателя с Родиной все более и более ослабевали. Даже любимая страсть — охота — уже не манила его в родные места, на просторы орловского края. Он охотился с Луи Виардо в Шварцвальдских лесах и в письмах к друзьям говорил, что культурно организованная охота имеет ряд преимуществ.

В доме Виардо звучала музыка, обсуждались новинки европейской литературы и искусства, составлялись программы домашних концертов, которые вскоре превратились в музыкальный центр этой летней столицы Европы. На музыкальных «утренниках» играли выдающиеся пианисты, среди которых был А. Рубинштейн, партию фортепиано на одном из концертов исполнял Брамс. По-



М. Н. Толстая.
1860-е годы.



Ю. П. Вревская.



Полина Виардо
за роялем.
Фото 60-х годов.

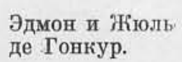
▶
Вилла Тургенева
в Буживале.



Тургенев.
Карандашный
рис. П. Виардо.

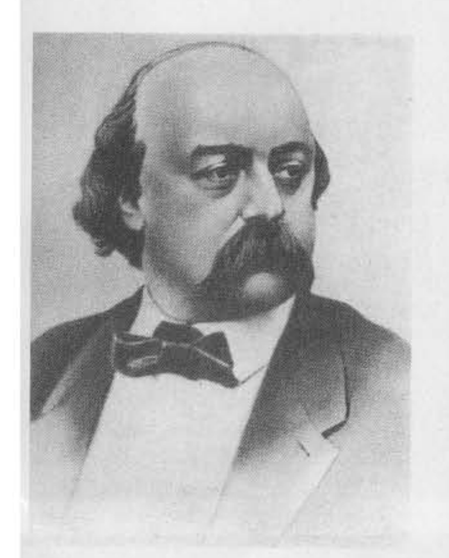


Жорж Санд.

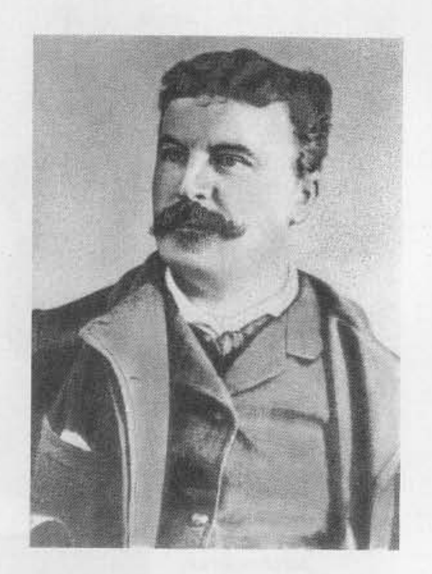


Эдмон и Жюль де Гонкур.





Флобер.



Мопассан.



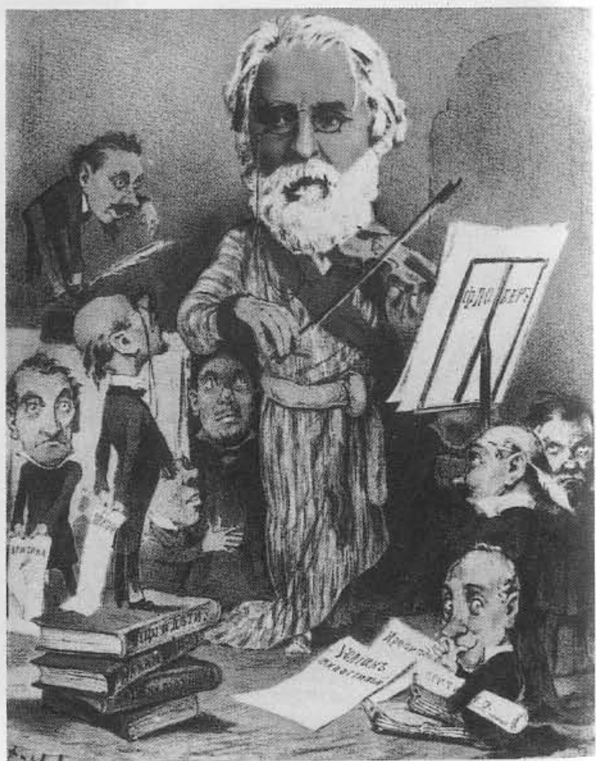
А. Доде.

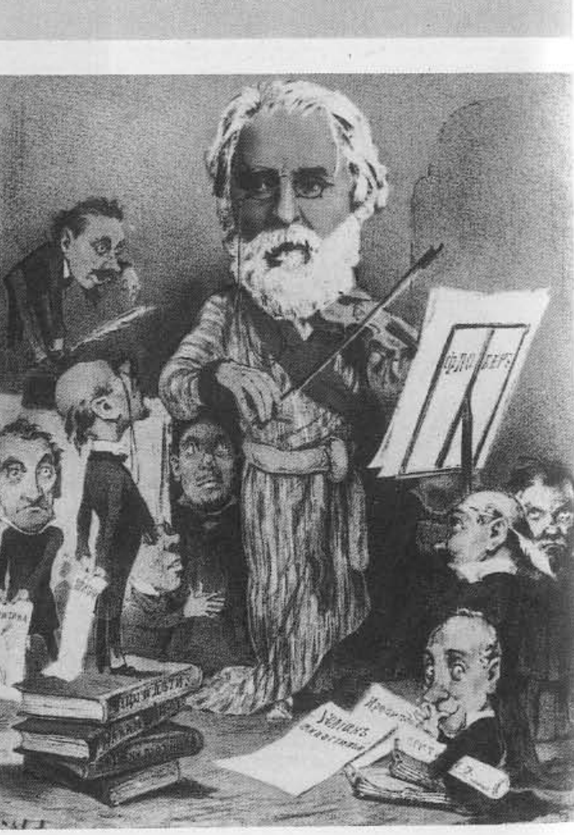


Э. Золя.

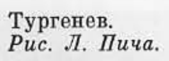


«Застолье классиков». Доде, Флобер, Золя, Тургенев.





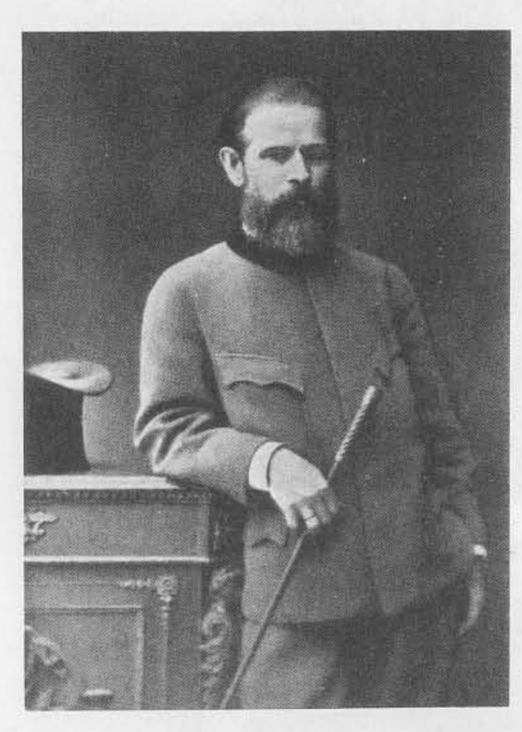
С чужого голоса. Шарж на Тургенева.



Тургенев.
Рис. Л. Пича.



Тургенев на охоте.
Рис. Л. Пича.



М. М. Стасюлевич.

▶ Полина Брюэр (Тургенева).



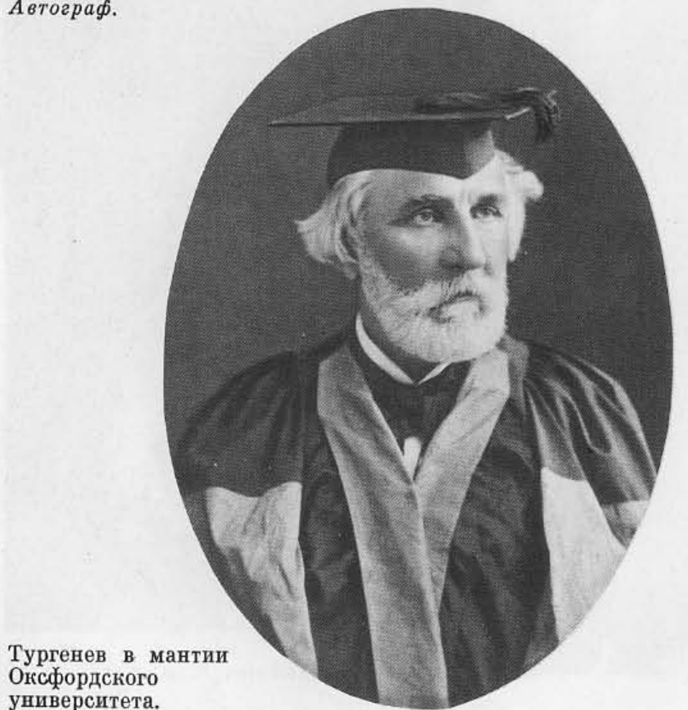
А. А. Краевский.

Русскій языкъ.

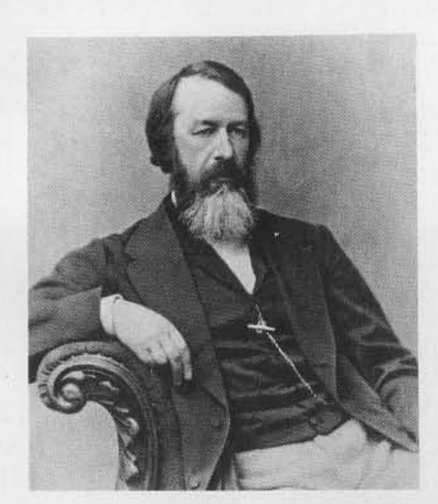
Во дни сомнѣній, во дни тягостныхъ раздумій
о судьбахъ моей родины — ты одинъ мнѣ под-
держка и опора, о великій, могучій, правдивый и
свободный русскій языкъ! Не будь тебя — какъ
не впасть въ отчаяніе при видѣ всего, что совер-
шается дома? — Но нельзя вѣрить, чтобъ такой
языкъ не былъ данъ великому народу!

Іюнь. 1882.

Стихотв. в прозе «Русский язык». *Автограф.*



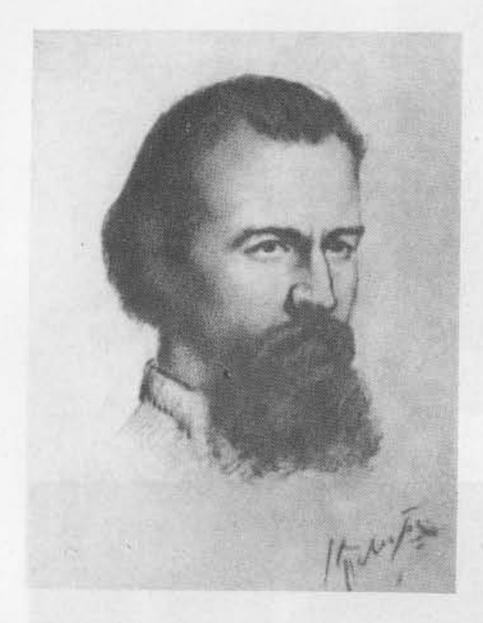
Тургенев в мантии Оксфордского университета.



В. В. Стасов. *Фотогр. 1883 г.*

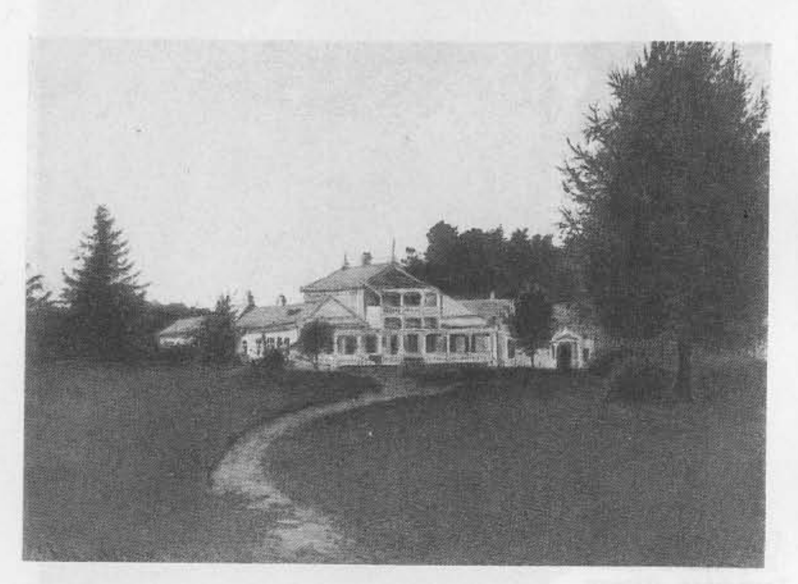


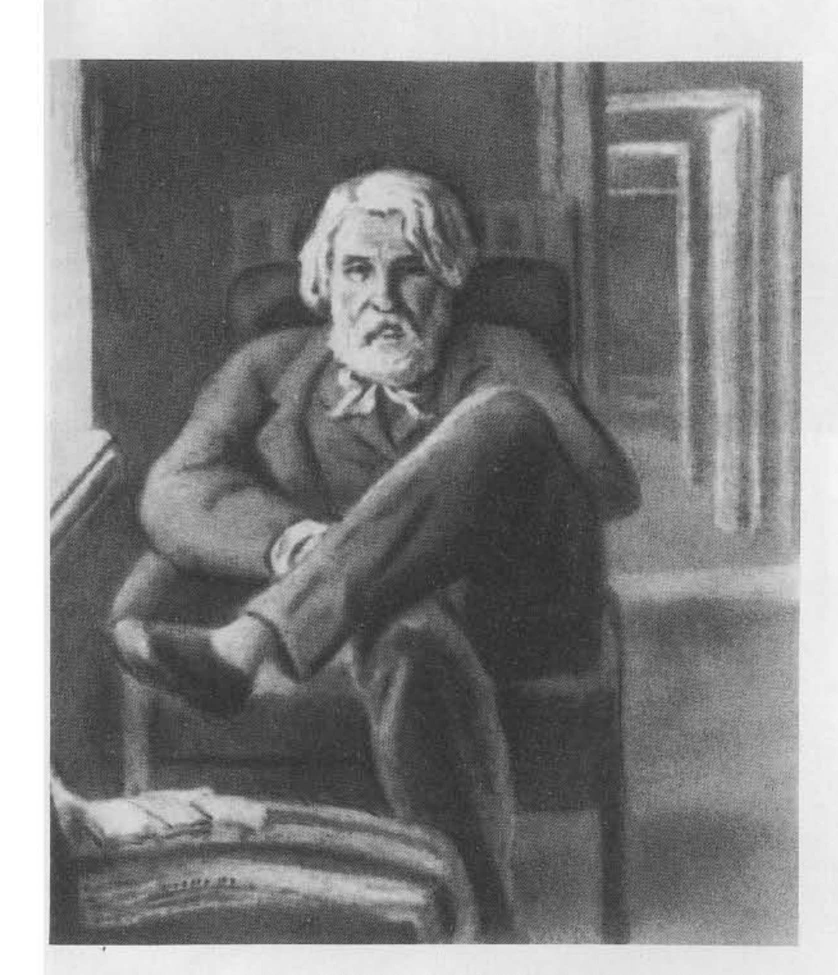
М. Г. Савина в роли Верочки в пьесе Тургенева «Месяц в деревне». *1879 г.*



Я. Полонский.
С портрета
И. Крамского.

Усадьба
в Спасском-
Лутовинове.
Акв. Я. Полонского.
1882 г.

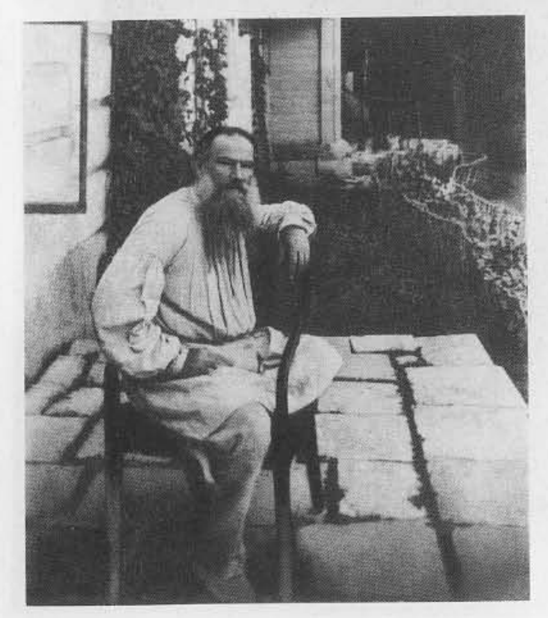


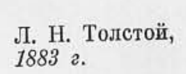


Портрет Тургенева работы Я. Полонского. *1882 г.*

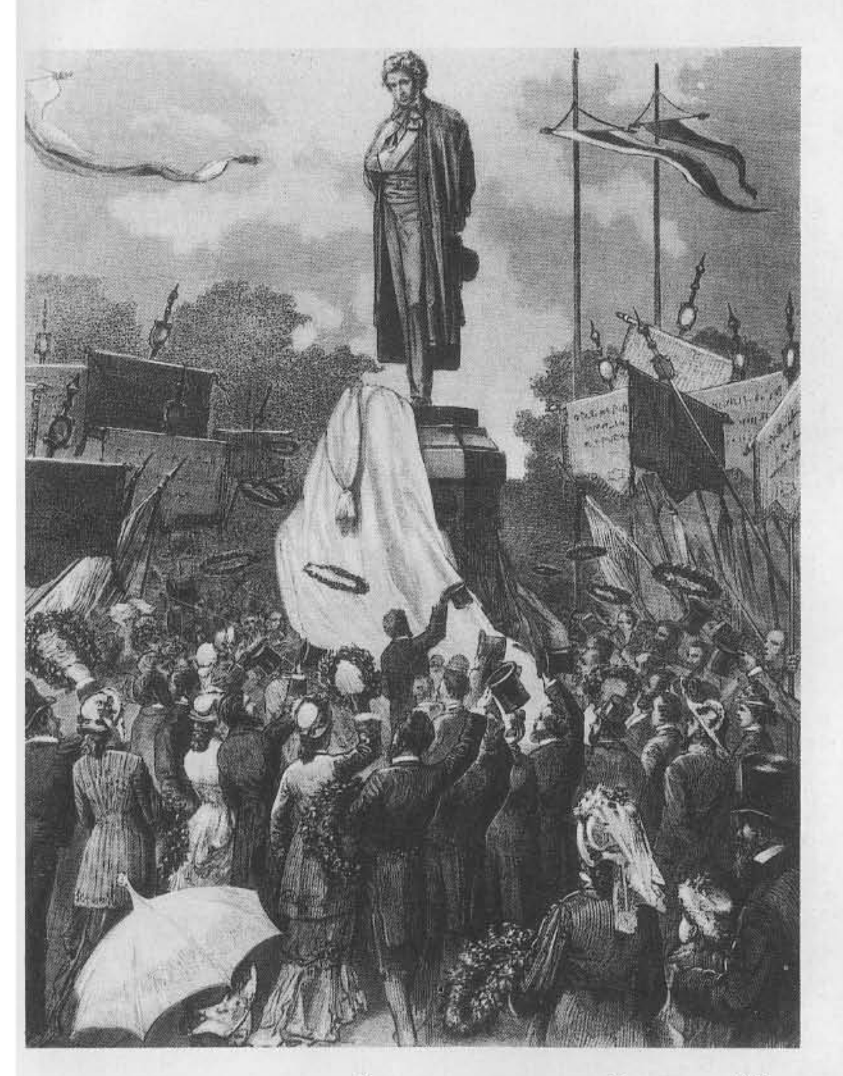


Семья Афанасия Алифанова. *Фото 80-х гг. XIX в.*

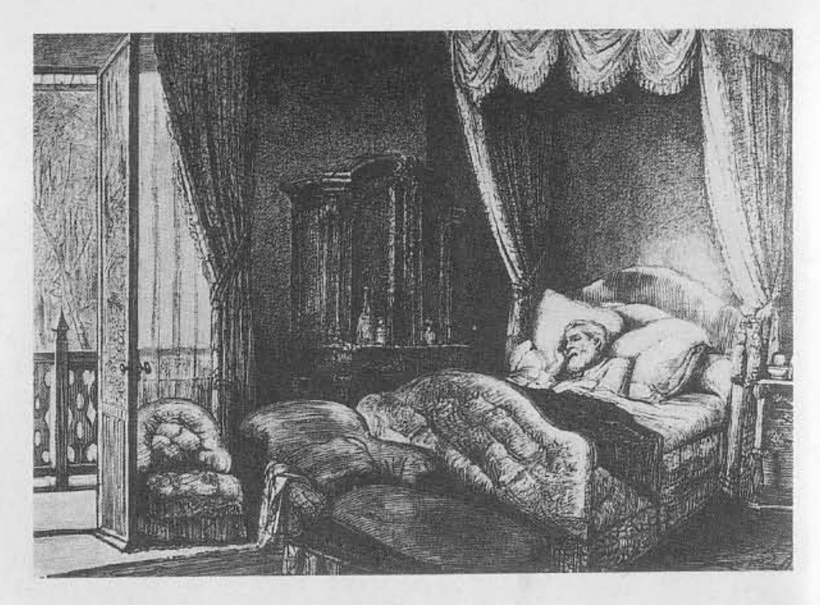




Л. Н. Толстой, *1883 г.*



Открытие памятника Пушкину. *1881 г.*



Умирающий Тургенев. *Рис. К. Шамро. 1883 г.*



Дуб в Спасском. *Совр. фото.*

являлись на вилле Виардо и Бисмарк, и нидерландский король.

Полина стала заниматься сочинением музыки: писала романсы на стихи русских поэтов — Пушкина, Лермонтова, Кольцова и Фета, сочинила оперу «Золушка, или Ночь святого Сильвестра», затем совместно с Тургеневым обратилась к оперетте, и автор «Записок охотника» сочинял ей «всеевропейские» либретто «Слишком много жен» и «Последний колдун».

Для постановки оперетток Тургенев отдавал большой зал своей виллы: соорудили сцену, повесили зеленый занавес, несколько кустов олеандров изображали дремучий лес, заставленное окно — хижину. В «Последнем колдуне» Тургенев играл безмолвную роль паши; в момент, когда по сценарию он распластывался на сцене, на неподвижных губах присутствовавшей на представлении баденской кронпринцессы «медленно скользила легкая усмешка презрения». Но чего не мог сделать Тургенев ради прелестной мадам Виардо?! Правда, в письме к Анненкову, описывая этот пассаж, он замечал: «Что-то во мне дрогнуло! Даже при моем слабом уважении к собственной персоне, мне представилось, что дело зашло уж слишком далеко». Так оно и было в действительности. Когда речь шла о Полине Виардо, Тургеневу изменяло не только эстетическое чувство, но подчас и элементарный здравый смысл. «Последнему колдуну» он пророчит большой музыкальный успех на европейской оперной сцене. Некоторые дуэты в нем он ставит в ряд выдающихся явлений оперной музыки.

Но когда «Последнего колдуна» поставил оперный театр в Карлсруэ, где Виардо выступила в роли принца Лемо, спектакль с треском провалился и «под шиканье публики» был «отправлен в могилу». Скандальный провал стал достоянием многих газет, которые с ядовитым сожалением писали о «впавшей в детство» Виардо. Заодно высмеивались и знаменитые писатели, сочиняющие вздор, и знаменитые певицы, пишущие душераздирающую музыку.

Чтобы поддержать тщеславные чувства своей повелительницы, Тургенев пускался на маленькие хитрости: на свои деньги печатал романсы Виардо в России, оплачивая весь тираж, и умолял друзей написать несколько лестных строк о них в русских газетах. Так, он просил А. В. Топорова: «А теперь скажу Вам нечто, которое

прошу Вас сохранить в глубочайшем секрете. Иогансен мне ничего не платит за романсы г-жи Виардо, а я, щадя ее самолюбие, говорю, что он мне дает 25 р. сер. за каждый. Напишите мне письмо, в котором Вы скажете, что получили от Иогансена 125 р. сер. за последние пять романсов — а я это письмо ей покажу (она читает по-русски), так как она начинает подозревать мою дружескую хитрость — и я ей эти деньги заплачу, а Вы их будто задержите в Петербурге».

В жизни Тургенева начиналась полоса второй духовной эмиграции, более страшной, чем та, которая случилась в юности. «Я очень хорошо понимаю, что мое постоянное пребывание за границей вредит моей литературной деятельности — да так вредит, что, пожалуй, и совсем ее уничтожит: но и этого изменить нельзя». В этих словах Тургенева гораздо больше правды, чем в тех, которые он же сказал Е. Е. Ламберт в самом начале своего переселения в Баден-Баден: «Нет никакой необходимости писателю непременно жить в своей родине и стараться улавливать видоизменения ее жизни -- во всяком случае, нет необходимости делать это постоянно; я довольно потрудился на этом поприще — и теперь, почему Вы знаете? может, я намерен приступить к сочинению, которое не будет иметь значения специально русского — а поставит себе цель более обширную?» Чего не скажешь в пылу полемики с близким человеком, который упрекает тебя в отступничестве, в желании оберечь себя от волнений, которые в трудные минуты истории переживает Россия. В рассуждениях о всеевропейских замыслах, вне национального корня и насущных российских проблем, чувствуется уже влияние той атмосферы, какая царила в семействе Виардо. Дальше «Слишком много жен» и «Последнего колдуна» в своих всеевропейских замыслах Тургенев не пошел.

Заметно охлаждается в эти годы интерес Тургенева к родной литературе. «Что делать?» Чернышевского он все-таки прочел, но едва осилил: манера этого писателя вызвала в нем «физическое отвращение, как цицварное семя». «Если это — не говорю художество или красота — но если это ум, дело — то нашему брату остается забиться куда-нибудь под лавку». В Петербурге он избегает «общения с здешними литераторами: эти господа напоминают» ему «погремушки: маленькие, пустые внутри и шумят». Хотя он с нетерпением ждет новых вещей у Островского, тем не менее признается, что «охладел

к изображению добродетельных людей в дегтярных тулупах и с суконным языком».

Если раньше Тургенева, как перелетную птицу, с наступлением весенних дней неудержимо тянуло в Россию, то теперь эти порывы в нем затухают. Кратковременные наезды в Петербург и Москву сбивчивы и торопливы. «С самого утра снежная буря бушует, плачет, стонет, воет на унылых улицах Москвы... Ну и хорошая же погодка! Ну и прелестная страна!» Он радуется своему «благополучному прибытию» в Баден-Баден, на его *«родину»* или, по крайней мере, в *«гнездо»*: «Все найдено мною в порядке: перед окнами у меня так же зелено и золотисто, как в Москве было бело и тускло».

Параллельно с этим идут «странные», почти юношеские признания в любви: «*Никогда* еще разлука не была так тяжела: я ночью плакал горькими слезами». «Ах, мои чувства к Вам слишком велики и могучи. Я не могу больше жить вдали от Вас, — я должен чувствовать Вашу близость, наслаждаться ею, — день, когда мне не светили Ваши глаза, — день потерянный».

Духовная бесприютность, идейная смута и душевный хаос, овладевшие Тургеневым вместе с крахом его либеральных надежд, еще плотнее прибивают его к чужой семье, которую он теперь считает своей. Детей мадам Виардо он любит больше, чем собственную дочь. Им он копит деньги на приданое, продавая поместья, продавая леса. Даже Спасское, разоренное напрочь «реформами» дядюшки, не шевелит в нем никаких покаянных чувств. Он говорит о спасских мужиках, что «свобода не сделала их богаче», и недоумевает, откуда столько берется всех этих нищих, бродяг, хромых, слепых, одноруких — этих немощных существ, взъерошенных от голода? Откуда свалился на него этот «сущий «Двор чудес»?

И в Спасском его не оставляют мысли о Виардо и ее детях. Усевшись на скамью, он вспоминает Полину Виардо, «две великолепные сосны редкой породы» напоминают ему Диди и Марианну. Даже в минуты благотворительной деятельности он не забывает о них. «Я обещал им (мужикам. — *Ю. Л.*) восстановить школу, в течение некоторого времени существовавшую в Спасском <...>, и ассигновал на это 150 рублей». И похвалившись, что выдает 825 рублей в год на разные пособия, как бы спохватывается и сообщает: «Купцы из Мценска приезжали торговать у меня здешний лес; если дело устроится,

это даст мне от 4000 до 4500 рублей <...> и я смогу, наконец, начать откладывать на приданое Диди». Перед Полиной Виардо он считает себя обязанным давать уже и денежные отчеты.

В России видит он брожение, не чувствует ничего твердого и определенного. «Все наши так называемые направления — словно пена на квасу: смотришь — вся поверхность покрыта — а там и ничего нет и след простыл. Я еще, пожалуй, доживу, что тот же «Современник» будет бранить меня за мой нигилизм».

Порой случаются минуты прозрения. Чаще под влиянием талантливых литературных произведений. «А «Воевода» Островского меня привел в умиление. Эдаким славным, вкусным, чистым русским языком никто не писал до него!.. Какая местами пахучая, как наша русская роща летом, поэзия!.. Ах, мастер, мастер этот бородач! Ему и книги в руки. Вот уж у него нет «искания мелкой букашки»... Сильно он расшевелил во мне литературную жилу».

В 1865 году Тургенев принимается за работу над новым романом «Дым», опубликованным в «Русском вестнике» в мартовской книжке 1867 года.

«ДЫМ»

Роман глубоких сомнений и слабо теплящихся надежд, «Дым» резко отличается от всех предшествующих романов писателя. Прежде всего в нем отсутствует типичный герой, вокруг которого организуется сюжет. Литвинов далек от своих предшественников — Рудина, Лаврецкого, Инсарова и Базарова. Это человек не выдающийся, не претендующий на роль общественного деятеля первой величины. Он стремится к скромной и тихой хозяйственной деятельности в одном из отдаленных уголков России. Мы встречаем его за границей, где он совершенствовал свои агрономические и экономические знания, готовясь стать грамотным землевладельцем.

Рядом с Литвиновым — Потугин. Его устами как будто бы высказывает свои идеи автор. Но не случайно у героя такая неполноценная фамилия: он потерял веру и в себя и в мир вокруг. Его жизнь разбита безответной, несчастной любовью.

Наконец, в романе отсутствует и типичная тургеневская героиня, способная на глубокую и сильную любовь,

склонная к самоотвержению и самопожертвованию. Ирина развращена светским обществом и глубоко несчастна: жизнь людей своего круга она презирает, но в то же время не может сама от нее освободиться.

Роман необычен и в основной своей тональности. В нем играют существенную роль не очень свойственные Тургеневу сатирические мотивы. В тонах памфлета рисуется в «Дыме» широкая картина русской революционной эмиграции. Много страниц отводит автор сатирическому изображению правящей верхушки русского общества в сцене пикника генералов в Баден-Бадене.

Непривычен и сюжет романа «Дым». Разросшиеся в нем сатирические картины на первый взгляд сбиваются на отступления, слабо связанные с сюжетной линией Литвинова. Да и потугинские эпизоды как будто бы выпадают из основного сюжетного русла романа.

После выхода «Дыма» в свет критика самых разных направлений отнеслась к нему холодно: ее не удовлетворила ни идеологическая, ни художественная сторона романа. Говорили о нечеткости авторской позиции, называли «Дым» романом антипатий, в котором Тургенев выступил в роли пассивного, ко всему равнодушного человека.

Революционно-демократическая критика обращала внимание на сатирический памфлет по адресу революционной эмиграции и упрекала Тургенева в повороте вправо, зачисляя роман в разряд антинигилистических произведений. Либералы были недовольны сатирическим изображением «верхов». Русские «почвенники» (Достоевский, Н. Н. Страхов) возмущались западническими монологами Потугина. Отождествляя героя с автором, они упрекали Тургенева в презрительном отношении к России, в клевете на русский народ и его историю. С разных сторон высказывались суждения, что талант Тургенева иссяк, что роман его лишен художественного единства.

Роман «Дым» — произведение с особой художественной организацией сюжета, связанной с изменившейся точкой зрения Тургенева на русскую жизнь. Он создавался в эпоху кризиса общественного движения 60-х годов, в период идейного бездорожья. Это было смутное время, когда старые надежды не осуществились, а новые еще не народились. «Куда идти? Чего искать? Каких держаться руководящих истин? — задавал тогда и себе и читателям тревожный вопрос М. Е. Салтыков-Щедрин. — Старые идеалы сваливаются с своих пьедесталов,

а новые не нарождаются... Никто ни во что не верит, а между тем общество продолжает жить и живет в силу каких-то принципов, тех самых принципов, которым оно не верит». Тургенев тоже оценивал пореформенный период исторического развития России как время переходное, когда старое разрушается, а новое теряется в далеких горизонтах будущего: «Говорят иные астрономы, что кометы становятся планетами, переходя из газообразного существования в твердое; всеобщая *газообразность* России меня смущает — и заставляет меня думать, что мы еще далеки от *планетарного* состояния. Нигде ничего крепкого, твердого — нигде никакого зерна; не говорю уже о сословиях — в самом народе этого нет».

В романе «Дым» Тургенев изображает особое состояние мира, периодически повторяющееся: люди потеряли ясную, освещавшую их жизнь цель, смысл жизни заволокло дымом. Герои живут и действуют как будто впотьмах: спорят, ссорятся, суетятся, бросаются в крайности. Им кажется, что они попали во власть каких-то темных стихийных сил. Как отчаявшиеся путники, сбившиеся с дороги, они мечутся в поисках ее, натыкаясь друг на друга и разбегаясь в стороны. Их жизнью правит слепой случай. В лихорадочной скачке мыслей одна идея сменяет другую, но никто не знает, куда примкнуть, на чем укрепиться, где бросить якорь.

В этой сутолоке жизни, потерявшей смысл, и человек теряет уверенность в самом себе, мельчает и тускнеет. Гаснут яркие личности, глохнут духовные порывы. Образ «дыма» — беспорядочного людского клубления, бессмысленной духовной круговерти — проходит через весь роман и объединяет все его эпизоды в симфоническое художественное целое. Развернутая его метафора дается к концу романа, когда Литвинов, покидающий Баден-Баден, наблюдает из окна вагона за беспорядочным кружением дыма и пара.

В романе действительно ослаблена единая сюжетная линия. От нее в разные стороны разбегается несколько художественных ответвлений: кружок Губарева, пикник генералов, история Потугина и его западнические монологи. Но эта сюжетная рыхлость по-своему содержательна. Вроде бы уходя в стороны, Тургенев добивается широкого охвата жизни в романе. Единство же книги держится не на фабуле, а на внутренних перекличках разных сюжетных мотивов. Везде проявляется ключевой образ дыма, образ жизни, потерявшей цель и смысл. Отступления

от основного сюжета, значимые сами по себе, отнюдь не нейтральны по отношению к нему: они многое объясняют в любовной истории Литвинова и Ирины. В жизни, охваченной беспорядочным, хаотическим движением, трудно человеку быть последовательным, сохранить свою целостность, не потерять себя.

Сначала мы видим Литвинова уверенным в себе и достаточно твердым. Он определил для себя скромную жизненную цель — стать культурным хозяином. У него есть невеста, добрая и честная девушка из небогатой дворянской семьи. Но захваченный баденским вихрем, Литвинов быстро теряет себя, попадает во власть неотвязных людей с их противоречивыми мнениями, с их духовной сутолокой и метаниями. Тургенев добивается почти физического ощущения того, как баденский дым заволакивает сознание Литвинова: «С самого утра комната Литвинова наполнилась соотечественниками: Бамбаев, Ворошилов, Пищалкин, два офицера, два гейдельбергских студента, все привалили разом...» И когда после бесцельной и бессвязной болтовни Литвинов остался один и хотел было заняться делом, «ему точно *копоти* в голову напустили». И вот уже герой с ужасом замечает, «что будущность, его почти завоеванная будущность, опять заволоклась мраком».

Постепенно Литвинов начинает задыхаться в окружающем его и проникающем в него хаосе. В состоянии потерянности герой и попадает во власть трагически напряженной любви. Она налетает как вихрь и берет в плен всего человека. И для Литвинова, и для Ирины в этой страсти — единственный живой исход и спасение от духоты окружающей жизни. Ирина признается, что ей «стало уже слишком невыносимо, нестерпимо, душно в этом свете», что, встретив «живого человека посреди этих мертвых кукол», она обрадовалась ему, «как источнику в пустыне». Сама катастрофичность, безрассудность и разрушительность этого чувства — не только следствие трагической природы любви, но и результат особой общественной атмосферы, этот трагизм усугубляющей.

Мы видим среду, в которой живет Ирина: придворный генералитет, цвет правящей страной партии. В сцене пикника генералов Тургенев показывает политическую и человеческую ничтожность этих людей. Пошлые, трусливые и растерянные, они открыто выступают против реформ, ратуя за возвращение России назад, и чем дальше, тем лучше.

Их лозунг: «Вежливо, но в зубы!»

На фоне баденского «дыма» роман Литвинова и Ирины прекрасен своей порывистостью, безоглядностью и какой-то огненной, разрушительной, опьяняющей красотой. Но с первых страниц понимаешь, что эта связь — на мгновение, что она тоже плод клубящейся бессмыслицы, царящей вокруг. Литвинов смутно сознает, что его предложение Ирине начать с ним новую жизнь и безрассудно, и утопично: оно продиктовано не трезвым умом, а безотчетным порывом. Но и Ирина понимает, что в ее характере произошли необратимые перемены. «Ах! мне ужасно тяжело! — воскликнула она и приложилась лицом к краю картона. Слезы снова закапали из ее глаз... Она отвернулась: слезы могли попасть на кружева». Светский образ жизни стал уже второй натурой героини, и эта вторая натура берет верх в решительную минуту, когда Ирина отказывается бежать с Литвиновым.

Сатирическими красками рисует Тургенев и русскую революционную эмиграцию во главе с Губаревым. На новом материале Тургенев продолжает здесь тему грибоедовской «репетиловщины» с ее «шумим, братец, шумим!».

Культурнические идеи Тургенева в какой-то мере выражает Потугин — герой, возбудивший всеобщее недовольство современников, которые склонны были полностью отождествлять его с автором. Действительно, многое в речах Потугина отвечает убеждению Тургенева: Россия — европейская страна, которую нельзя искусственно отрывать от Западной Европы; она призвана органически освоить достижения европейской цивилизации, чтобы выработать на этой основе собственные принципы. К концу 60-х годов правительственные круги взяли на вооружение некоторые консервативные положения славянофильских теорий, подвергнув их грубой официальной адаптации. Это вызывало у Тургенева серьезную тревогу. Поэтому удар по официальной идеологии рикошетом отскакивал и в сторону славянофилов, и в сторону революционеров-народников, идеализировавших крестьянскую общину.

Вместе с тем нельзя отождествлять автора с Потугиным, которого сам Тургенев не отделял от баденского «дыма», хотя и считал ведущим героем романа. Писатель чувствовал слабость и своей собственной западнической программы. Потому-то «неисправимый западник» Потугин лишен в романе всяких признаков идеализации. Он велеречив и болтлив под стать всем другим героям романа. Это человек неловкий, не устроенный в жизни, диковатый и бесприютный. Даже юмор его уныл, а речи отзываются не желчью, а печалью. В своих критических «потугах» герой часто хватает через край, впадает в шарж и карикатуру. Есть в его речах нигилистическая бравада. Некоторые его высказывания оскорбительны для национального достоинства русского человека. Но Тургенев дает понять, что сам Потугин страдает от своей желчности и ворчливости, что его выпады — жест отчаяния, порожденный внутренним бессилием потерянного человека.

Надежды Тургенева в романе «Дым» связываются с Литвиновым. Писатель делил лучших представителей рода человеческого на героев и строителей: герои толкают историю вперед, но, как Дон Кихоты, делают это с типичными для них «святыми» ошибками. Творят же историю в конечном счете не они, а «повседневные строители жизни». На долю Лежневых и Литвиновых падает почетная, хотя и скромная задача будничных практических дел. В конце 60-х годов, по Тургеневу, на первый план и вышла такая задача терпеливого и скромного практического труда. Но этот труд имел мало общего с типичным буржуазным предпринимательством, с жаждой только личного обогащения. Литвинов мечтает принести своей деятельностью «пользу всему краю». Однако Тургенев далек и от чрезмерной апологетики литвиновского дела, свойственной, например, либеральным народникам с их теорией «малых дел». Литвиновы — практики переходной эпохи, деятели во имя грядущего возрождения, почву для которого они готовят исподволь, скромным своим трудом.

В финале романа появляется надежда, что в отдаленном будущем Россия перейдет из газообразного состояния в твердое. Мы видим, как медленно освобождается душа Литвинова от «дыма» баденских впечатлений, как в деревенской глуши он ведет хозяйственную и культурническую работу. Его тропинка узка, да на большее он и не способен. Но великое ведь и начинается с малого. Постепенно к Литвинову возвращается уверенность в себе, а вместе с нею и любовь, и прощение Татьяны, той девушки, от которой оторвала его баденская круговерть. Мирный финал романа не ярок, свет в нем приглушен, краски жизни акварельны. Но тем не менее он согревает читателя верой и надеждой в будущность России. В одном из писем начала 70-х годов Тургенев писал: «На-

родная жизнь переживает воспитательный период внутреннего, хорового развития, разложения и сложения; ей нужны помощники — не вожаки, и лишь только тогда, когда этот период кончится, снова появятся крупные, оригинальные личности».

«НА КРАЮШКЕ ЧУЖОГО ГНЕЗДА»

Тургенев привез роман «Дым» в Петербург 25 февраля 1867 года. Здесь он прожил десять дней на квартире В. П. Боткина, решив, по обыкновению, предварить публикацию романа чтением и обсуждением в кругу друзей. Чтение состоялось в первый же день по приезде, Тургенев с удовлетворением сообщал П. Виардо: «Успех моего чтения чем дальше, тем больше возрастал; кончил все вчера, к двенадцати ночи — читал почти семь часов подряд, изнемогая от усталости, но то впечатление, которое, я видел, производило мое чтение, поддерживало и бодрило меня. Словом, по-видимому, из всего написанного мною это наименее плохо, и мне сулят золотые горы. Тем лучше, тем лучше. Я в особенности счастлив тем, что ваше мнение — единственное решающее для меня — подтверждается». Тургенев еще не понимал, что его литературные советчики — В. П. Боткин, П. В. Анненков, В. А. Соллогуб и Б. М. Маркевич, которые прослушали роман, уже далеко не отражали подлинного общественного мнения России.

В Петербурге Тургенев познакомился на сей раз с известным ценителем живописной и музыкальной культуры России Владимиром Васильевичем Стасовым. Встреча произошла на концерте «Русского музыкального общества» в зале Благородного собрания. «Я в первый раз видел эту крупную, величавую, немного сутуловатую фигуру, его голову с густой гривой тогда еще не седых волос, его добрые, немножко потухшие глаза», — писал Стасов о первом своем впечатлении. Завязался разговор по поводу живописного наследия Брюллова, и поскольку Стасов был его противником, Тургенев оживился, встретив единомышленника. Но единство и взаимопонимание оказалось иллюзорным. Едва речь зашла о музыке, как их взгляды резко разошлись. Тургенев воспитывался в салоне Виардо на классических традициях Бетховена и Моцарта, к новаторским исканиям русской «Могучей кучки» он относился недоверчиво. «Завязался спор, горячий, сердитый, первый из тех споров, какие мне суждено было вести с Тургеневым в продолжение стольких еще лет впереди», — вспоминал Стасов.

Тогда же состоялась первая встреча Тургенева с Дмитрием Ивановичем Писаревым. «Писарев, великий Писарев, бывший критик «Русского слова», зашел ко мне, — шутливо рассказывал Тургенев писателю М. В. Авдееву, — и оказался человеком весьма не глупым и который может еще выработаться: а главное — он выглядит «ребенком из хорошей семьи», как говорится, ручки имеет прекрасные, и ногти необыкновенной длины, что для нигилиста несколько странно».

Впоследствии Тургенев так вспоминал об этом визите: «Я останавливался тогда у В. Боткина. Надо вам сказать, что Боткин бывал частенько очень груб. Когда он узнал, что пришел Писарев, он взволновался: «Зачем этот явился? Неужто ты его примешь?» Я говорю: «Конечно, приму, а если тебе неприятно, ты бы лучше ушел». «Нет, — говорит, — останусь». Мне очень хотелось, чтобы Боткин ушел, — я знал его и боялся, чтобы он не выкинул чего-нибудь. Но делать было нечего, не мог же я гнать хозяина из дома. Я их познакомил. Боткин поклонился небрежно и уселся в угол. «Ну, думаю, быть беде!» И действительно, только что Писарев что-то сказал — как мой Боткин вскочил и начал: «Да как вы, — говорит, — мальчишки, молокососы, неучи!.. Да как вы смеете?..» Писарев отвечал учтиво, сдержанно, заявив, что едва ли г. Боткин настолько знает современную молодежь, чтоб называть ее огульно «неучами». Что же касается самого укора в *молодости*, то это еще не вина: придет время — и эта молодость созреет. Таким образом, оказалось, что поклонник всего изящного, прекрасного и утонченного оказался совершенно грубым задирой, а предполагаемый «нигилист», «циник» и т. п. — истым джентльменом. Я после стыдил этим Боткина. «Не могу, — оправдывался он, — не могу переносить их».

Вероятно все-таки, что Тургенев несколько смягчил конфликтный разговор, возникший между ним и Писаревым: «В течение разговора я откровенно высказался перед ним... «Вы, — начал я, — втоптали в грязь, между прочим, одно из самых трогательных стихотворений Пушкина (обращение его к последнему лицейскому товарищу, долженствующему остаться в живых: «Несчастный друг» и т. д.). Вы уверяете, что поэт советует приятелю просто взять да с горя нализаться. Эстетическое чувство в вас

слишком живо: вы не могли сказать это сёрьезно — вы это сказали *нарочно*, с целью. Посмотрим, оправдает ли вас эта цель. Я понимаю преувеличение, я допускаю карикатуру, — но преувеличение, карикатуру в дельном смысле, в настоящем направлении. Если б у нас молодые люди теперь только и делали, что стихи писали, как в блаженную эпоху альманахов, я бы понял, я бы, пожалуй, даже оправдал ваш злобный укор, вашу насмешку, я бы подумал: несправедливо, но полезно! А то, помилуйте, в кого вы стреляете? Уж точно по воробьям из пушки! Всего-то у нас осталось три-четыре человека, старички пятидесяти лет и свыше, которые еще упражняются в сочинении стихов; стоит ли яриться против них? Как будто нет тысячи других, животрепещущих вопросов, на которые вы, как журналист, *обязанный* прежде всего ощущать, чуять насущное, нужное, безотлагательное, *должны* обратить внимание публики? Поход на стихотворцев в 1866 году! Да это антикварная выходка, архаизм! Белинский — тот никогда бы не впал в такой просак!» Не знаю, что подумал Писарев, но он ничего не ответил мне. Вероятно, он не согласился со мною».

Молчал ли Писарев? Есть основания усомниться в этом. С какой целью он нанес визит Ивану Сергеевичу? Тургенев об этом почему-то умалчивает. В какой-то мере корректируют тургеневский рассказ не слишком доброжелательные по отношению к автору «Дыма», но не лишенные, вероятно, известной доли истины воспоминания П. Мартьянова. Писарев пришел к Тургеневу по поручению демократической редакции журнала «Дело» с предложением о публикации нового романа в их издании. И Писарев высказал Тургеневу горький упрек, когда узнал, что «Дым» предназначен для консервативного редактора «Русского вестника» М. Н. Каткова.

— Как! — возмутился Писарев и словно ужаленный вскочил со стула. — Вы!.. Вы — наш лучший писатель, доступный современному движению молодого поколения и им за то чтимый!.. Вы — человек независимый, имеющий громадное состояние, работающий не для заработка, Вы отдаете свой роман Каткову!.. Для чего?.. С какой целью? Что общего между Вами и этим... (тут последовало несколько жестких слов по адресу М. Н.). Или Вам деньги нужны?.. За деньги Вы готовы идти на сделку с совестью? Кто же Вы после этого? Что я должен о Вас думать!

Не потому ли на обратном пути из Москвы за границу Тургенев избежал повторной встречи с Писаревым в Петербурге, хотя в письме к нему и высказал сожаление, что не успел пообщаться с ним: «Я сожалею об этом — потому что — по разрушении того, что французы называют первым льдом, мы бы, я уверен, если не сошлись бы — то поговорили бы откровенно. Я ценю Ваш талант, уважаю Ваш характер — и, не разделяя некоторых Ваших убеждений, постарался бы изложить Вам причину моего разногласия — не в надежде обратить Вас — а с целью направить Ваше внимание на некоторые последствия Вашей деятельности. Я не знаю, когда я попаду в Петербург; если бы Вам случилось выехать за границу и добраться до Бадена, я бы с истинным удовольствием увиделся с Вами».

«Дым» не только не принес Тургеневу ожидаемой литературной славы и успеха, но едва ли не окончательно рассорил писателя с его соотечественниками. Анонимный рецензент газеты «Голос» заявлял: «Не с любовью глядит г. Тургенев на Россию «из своего прекрасного далека», презреньем мещет он в нее оттуда!» Сугубое недовольство «Дымом» высказал Ф. И. Тютчев. «Признавая все мастерство, с каким нарисована главная фигура, — он горько жалуется на нравственное настроение, проникающее повесть, и на всякое отсутствие национального чувства», — сообщал Тургеневу Боткин.

Отзыв Тютчева в особенности задел Тургенева за живое: слишком высоко ставил он его как поэта, очень дорожил дружескими связями с ним. Вспомнилось баденское свидание 1864 года, когда Тютчев вернулся из Ниццы, где написал свое знаменитое «О, этот юг, о эта Ницца». Поэт был удручен смертью любимой женщины, Е. А. Денисьевой. Они зашли, чтобы поговорить, в кафе на бульваре и, спросив себе из приличия мороженого, сели под трельяжем из плюща. Тургенев молчал все время, а Тютчев болезненным голосом говорил, говорил, и грудь его сорочки под конец рассказа оказалась промокшей от слез. А теперь из России Тургенев получил на «Дым» эпиграмму:

«И дым отечества нам сладок и приятен!» —
Так поэтически век прошлый говорит.
А в наш — и сам талант все ищет в солнце пятен,
И смрадным дымом он отечество коптит.

Тогда, правда, эту эпиграмму приписывали П. А. Вяземскому, давнему антагонисту Тургенева. Но и от этого вряд ли ему было легче.

Особенно зло потешалась над романом демократическая журналистика и критика. В «Искре» за 1868 год появился карикатурный роман «Отцы и дети», состоящий из сатирических гравюр А. М. Волкова и ядовитых подписей под ними. На последней карикатуре Тургенев сидел за столиком ресторана вместе с Павлом Петровичем Кирсановым. Подпись гласила: «В Дрездене на террасе между двумя и четырьмя часами, в самое фешенебельное время для прогулки, мы встречаем автора романа с Павлом Петровичем, пьющих мильцбрун и шпрудель (ох, горько!) и дружески разговаривающих.

— Как мы разделали Базарова-то, — замечает Павел Петрович. Вместо ответа автор «Отцов и детей» глубокомысленно закурил и выпустил «Дым».

В «Искре» же за 1867 год была опубликована карикатура Волкова: Тургенев держит на блюдце кадильницу, из которой идет дым. На него взирает группа мужчин и дам. Подпись: «Какой несносный запах — фи! — Дым догорающей известности, чад тлеющего таланта... — Т-с-с, господа! И дым Тургенева нам сладок и приятен». А. М. Волков иллюстрировал «Дым» рядом карикатур, в конце которых давалось следующее общее заключение о романе: «Это уже не дым — это черт знает что такое, какая-то отвратительная помесь «Некуда» с «Маревом», погруженная в самую тину «Взбаламученного моря», — сказал Литвинов, и сказал в первый раз умное слово».

С конца 60-х годов соотечественники становятся к Тургеневу как никогда резкими и беспощадными. Высмеивается его личная жизнь, длительное пребывание за границей. Однажды Тургенев получил в Баден-Бадене следующую эпиграмму:

Талант он свой зарыл в «Дворянское гнездо».
С тех пор бездарности на нем оттенок жалкий,
И падший сей талант томится приживалкой
У спадшей с голоса певицы Виардо.

А. И. Герцен, которому Тургенев, после некоторых колебаний, все-таки послал свой новый роман, ответил: «Я искренне признаюсь, что твой Потугин мне надоел. Зачем ты не забыл половину его болтанья?» Пришлось отвечать резкостью на резкость: «Тебе наскучил мой Потугин, и ты сожалеешь, что я не выкинул половину его речей. Но представь: я нахожу, что он еще не довольно говорит, — и в этом мнении утверждает меня всеобщая

ярость, которую возбудило против меня это лицо... То, что за границей избито как общее место, — у нас может приводить в бешенство своей новизной». Тургенев, очевидно, не чувствовал, что возмущение соотечественников вызывает не западническая проповедь, действительно ставшая в те годы и в России «общим местом», а презрительное отношение героя к русской культуре, задевающее национальное достоинство.

Ознакомившись с «Дымом», Огарев написал дошедшую до Тургенева эпиграмму:

Я прочел ваш вялый «Дым»
И скажу вам не в обиду —
Я скучал за чтеньем сим
И пропел вам панихиду.

В мае 1867 года Тургенев сетовал в письме к П. В. Анненкову: «Судя по всем отзывам и письмам, меня пробирают за «Дым» не на живот, а на смерть во всех концах нашего пространного отечества. «Я оскорбил народное чувство — я лжец, клеветник — да я же не знаю вовсе России...» А мне все это — как с гуся вода». Но сквозь бодрый тон тургеневского заключения пробивается затаенное чувство обиды и потерянности. Такого он, конечно, не ожидал.

В августе 1867 года в Бадене Тургенева навестил Достоевский. Между ними состоялся довольно напряженный и неприятный разговор. «Откровенно скажу, — писал Достоевский А. Н. Майкову, — я и прежде не любил этого человека лично <...> Не люблю тоже его аристократически-фарисейское объятие, с которым он лезет целоваться, но подставляет вам свою щеку. Генеральство ужасное; а главное, его книга «Дым» меня раздражила. Он сам говорил мне, что главная мысль, основная точка его книги состоит в фразе: «Если б провалилась Россия, то *не было бы* никакого ни убытка, ни волнения в человечестве». Он объявил мне, что это его основное убеждение о России. Нашел я его страшно раздраженным неудачею «Дыма». А я, признаюсь, и не знал всех подробностей неудачи. Вы мне писали о статье Страхова в «Отечественных записках», но я не знал, что его везде отхлестали и что в Москве, в клубе, кажется, собирали уже подписку имен, чтобы протестовать против его «Дыма». Он это мне сам рассказывал.

<...> Заметил я, что Тургенев, например (равно

как все, долго не бывшие в России), решительно фактов не знают (хотя и читают газеты) и до того грубо потеряли всякое чутье России, таких обыкновенных фактов не понимают, которые даже наш русский нигилист уже не отрицает, а только карикатурит по-своему. Между прочим, Тургенев говорил, что мы должны ползать перед немцами, что есть одна общая всем дорога и неминуемая — это цивилизация и что все попытки русизма и самостоятельности — свинство и глупость. Он говорил, что пишет большую статью на русофилов и славянофилов. Я посоветовал ему, для удобства, выписать из Парижа телескоп. — Для чего? — спросил он. — Отсюда далеко, — отвечал я; — Вы наведите на Россию телескоп и рассматривайте нас, а то, право, разглядеть трудно. Он ужасно рассердился. Видя его так раздраженным, я действительно с чрезвычайно удавшеюся наивностью сказал ему: «А ведь я не ожидал, что все эти критики на Вас и неуспех «Дыма» до такой степени раздражает Вас; ей-богу, *не стоит* того, плюньте на все». — «Да я вовсе не раздражен, что Вы!» — и покраснел. Я перебил разговор; заговорил о домашних и личных делах, я взял шапку и как-то, совсем без намерения, к слову, высказал, что накопилось в три месяца в душе от немцев:

«Знаете ли, какие здесь плуты и мошенники встречаются. Право, черный народ здесь гораздо хуже и бесчестнее нашего, а что глупее, то в этом сомнения нет. Ну вот Вы говорите про цивилизацию; ну что сделала им цивилизация и чем они так очень-то могут перед нами похвастаться!»

Он побледнел (буквально, ничего, ничего не преувеличиваю!) и сказал мне: «Говоря так, Вы меня *лично* обижаете. Знайте, что я здесь поселился окончательно, что я сам считаю себя за немца, а не за русского, и горжусь этим!»

Разговор Достоевского с Тургеневым довольно точно передает тогдашние тургеневские настроения, за исключением того, что, вероятно, он был менее сдержанным с обеих сторон. Так вновь, после дружеского сближения, когда Тургенев сошелся с Достоевским после его возвращения из Сибири и даже опубликовал в его журнале «Эпоха» повесть «Призраки», — наступил решительный разрыв.

Когда Тургенев узнал, что Майков показал письмо Достоевского П. И. Бартеньеву, издателю «Русского архива», он написал в этот журнал официальное письмо, в котором, между прочим, говорил: «Виделся я с Достоевским <...> всего один раз. Он высидел у меня не более часа и, облегчив свое сердце жестокою бранью против немцев, против меня и моей последней книги, удалился; я почти не имел времени и никакой охоты возражать ему: я, повторяю, обращался с ним, как с больным. Вероятно, расстроенному его воображению представились те доводы, которые он предполагал услыхать от меня, и он написал на меня свое... донесение потомству».

Но Достоевский не выдумал доводы Тургенева; тургеневская переписка подтверждает полностью его правоту. Не будем смягчать серьезную конфликтную ситуацию, которую вызвал в сознании русских писателей и общественных деятелей тургеневский Потугин, назойливый «болтун», по меткому определению Герцена. Таким ведь он объективно и представал в романе. Беда Тургенева заключалась в том, что он пытался придать потугинским словам оттенок скрытой, завуалированной проповеди и слишком обнаружил при этом своё собственное раздражение. То, что произошло с «Отцами и детьми» на родине, давало Тургеневу моральное право на обиду и раздражение. Но, прикрывая их рецептами абстрактно понимаемой всеевропейской цивилизаторской гомеопатии, он лишь усилил неприятие романа современниками, вновь отлучившими его от истинного знания и понимания того, что совершалось тогда в России.

«Мне хочется спросить у Вас: Иван Сергеевич, куда Вы девали Базарова? — Вы смотрите на явления русской жизни глазами Литвинова, Вы подводите итоги с его точки зрения, Вы его делаете центром и героем романа, а ведь Литвинов — это тот самый друг Аркадий Николаевич, которого Базаров безуспешно просил не говорить красиво. Чтобы осмотреться и ориентироваться, Вы становитесь на эту низкую и рыхлую муравьиную кочку, между тем как в Вашем распоряжении имеется настоящая каланча, которую Вы же сами открыли и описали», — упрекал Тургенева Д. И. Писарев. Того героя, который автору «Дыма» казался «каланчой», ехидный критик просто не приметил: в его глазах Потугин был всего лишь мухой, причем назойливой.

«Дым» усилил духовную изоляцию Тургенева от русской жизни. И, вероятно, писатель в такой ситуации мог не выдержать и задохнуться в одиночестве и жестокой

обиде, если бы не поддержка немецких и французских друзей.

В феврале 1863 года Тургенев познакомился с Г. Флобером, подарил ему издание переводов своих сочинений на французский язык. Флобер ответил: «Я давно уже вижу в вас мастера. Но чем больше я вас читаю, в тем большее изумление приводит меня ваш талант. Меня восхищает ваша манера повествования, одновременно пылкая и сдержанная, ваше сочувствие к людям, которое распространяется на малых сих и одухотворяет пейзаж». Флоберу нравилось тургеневское свойство «быть правдивым без банальности, чувствительным без жеманства, комичным без всякой пошлости». Он оценил искусство автора в изображении женских характеров: «Они идеальны и реальны в одно и то же время. Они обладают притягательной силой и окружены сиянием».

Тургенев получил от Адольфа де Сикура письмо с высокой оценкой романа «Дым» и в ответе этому видному французскому литератору мужественно признавал: «Эта книга создала мне много врагов в России, и признаю, что до некоторой степени я это заслужил: мой мизантроп *полон* горечи, которая, возможно, выражается слишком резко».

Тургенев с благодарностью отзывается на критический этюд немецкого литератора Юлианна Шмидта: «Никто еще так метко и проницательно не говорил обо мне, так ясно не очертил пределов моего творчества и вообще так наглядно не вскрыл мое внутреннее существо».

Тургенев обращается к Людвигу Пичу: «Вы пишете мне, что должны написать рецензии на «Отцов и детей». Прекрасно! Пусть одна из них будет сдержанной и строгой — но выразите в ней Ваше недоумение и удивление по поводу того, что молодое русское поколение восприняло образ Базарова как обидную карикатуру, как клеветнический памфлет. Больше того, укажите на то, что я задумал этого молодца даже чересчур героически идеализированным (так оно и *есть*) и что у русской молодежи слишком *чувствительная* кожа. Из-за Базарова забросали меня таким количеством грязи и гадостей (и продолжают забрасывать). Так много оскорблений и ругательств пало на мою голову, <...> что для меня было бы удовлетворением показать, что другие нации смотрят на это дело совсем иначе».

И Тургенев был очень удовлетворен, когда рецензия

Л. Пича об «Отцах и детях» появилась в одной из немецких газет. В сентябре 1869 года он писал П. В. Анненкову: «Надо вам сказать, что, хотя в России моя репутация провалилась, в Германии она процветает».

Однако Тургенев был бы неискренним человеком и нечутким художником, если бы он не признал, что в упреках современников в его отрыве от России и слабом знании русской жизни была известная доля истины: «Я чувствую, что, отдалившись от почвы, скоро умолкну: короткие набеги на родину ничего не значат. Песенка моя спета». «Вдали от родной почвы долго не напрыгаешься».

Пятидесятилетний рубеж в его жизни был отягощен уже не размолвками с друзьями, а их потерями. В октябре 1869 года он узнал о смерти В. П. Боткина. Весть о безнадежном его положении заставила протянуть вновь руку дружбы А. И. Герцену: «Вон — Боткин лежит как пласт в параличе в Риме — Милютин доживает последние дни в Швейцарии — у меня уже было два припадка подагры... Ты скажешь мне, что с этими людьми у тебя нет ничего общего (или, может быть, ты для меня сделаешь исключение?) — но всё равно — это были товарищи — и как видишь, что начинает разлагаться современная ячейка, покорившая под иго своей отдельности разные газы земли и соли — так и за свою ячейку начинаешь несколько беспокоиться. Перевалившись за 50 лет, человек живет как в крепости, которую осаждает — и рано или поздно возьмет смерть... Надо защищаться — и не *по-тотлебенски* — без вылазок». Чем больше он «подвигается в жизнь», тем «больше дорожит старыми связями». Но смерть жестоко выбивает стареющих друзей.

В начале 1870 года Тургенев встретился с Герценом в Париже после семилетней разлуки. Никогда его друг «не был более весел, разговорчив и шумен»; им было *хорошо и радостно, прежняя холодная стена предубеждений* истаяла как лед. А вечером Герцен занемог, на другой день Тургенев застал его в постели в сильном жару с воспалением легких. И, уезжая в Баден-Баден, Тургенев чувствовал, что друг его безнадежен.

10 января 1870 года он сообщал П. В. Анненкову: «Пишу вам под впечатлением горестного известия, любезный Анненков: я с час тому назад узнал, что Герцен умер. Я не мог удержаться от слез. Какие бы ни были разноречия в наших мнениях, какие бы ни происходили

между нами столкновения, все-таки старый товарищ, старый друг исчез: редеют, редеют наши ряды! <...> Вероятно, все в России скажут, что Герцену следовало умереть ранее, что он себя пережил; но что значат эти слова, что значит так называемая наша деятельность перед этою немою пропастью, которая нас поглощает?»

А вскоре жизнь основательно тряхнула и Тургенева: в одно мгновение рассыпалось как будто бы навеки свитое им баденское гнездо. Началась франко-прусская война, во многом пошатнувшая веру Тургенева в европейскую цивилизацию, обнаружившая непрочность тех корней, которые пустил он в её почву. Сперва Тургенев приветствовал победы Германии. Ему казалось, что империи Луи Наполеона с её «бонапартизмом», напоминавшим худшие времена эпохи римских цезарей, нужен страшный исторический урок, подобный тому, какой николаевская Россия получила под Севастополем. Немецкие победы над войсками Луи Наполеона он называл победами цивилизации над варварством.

Но когда пала гнусная империя, когда в Париже была провозглашена республика, Тургенев стал с тревогой присматриваться к милитаристскому духу в Германии, к разгулу шовинизма в ней. «Теперь немцы являются завоевателями, а к завоевателям у меня сердце не особенно лежит». Но стоило Тургеневу лишь слегка охладить немецкую кичливость в «Вешних водах» и посмеяться над мещанской ограниченностью буржуа и тупостью германского офицерства, — возник решительный конфликт. Писатель навлек на себя гнев всего цивилизованного немецкого общества. Пауль Гейзе отказался отвечать Тургеневу на дружеское письмо. Критик немецкой «Петербургской газеты» призвал «всех офицеров германской армии» «стереть с лица земли клеветника и наглого лжеца». В Берлине распространился слух, что Тургенев в одной французской газете оскорбил национальное достоинство Германии, и Юлиан Шмидт, по просьбе ни в чем не повинного писателя, вынужден был напечатать опровержение.

«Господи! — писал Тургенев Л. Пичу. — Какими вы — все немцы — стали неженками, обидчивыми, как старые девы, после ваших великих успехов! Вы не в состоянии перенести, что я в моей последней повести чуточку вас поцарапал? Но ведь своему родному народу — который я ведь, конечно, люблю — мне случалось наносить и не такие удары! <...> До сих пор я думал, что немцы более спокойны и объективны. Вот я и должен похвалить своих русских».

Тургенев неспроста удивлялся немецкой щепетильности. Ведь в тех же «Вешних водах» он наносил куда более чувствительный удар национальному русскому самолюбию. Даже Анненкову любовное рабство Санина под властью Полозовой показалось не вполне достойным и нравственным. Очищать «омерзительную грушу» для её мужа — «страшно эффектно», но и «страшно позорно для русской природы человека». Но Тургенев оставил эту «позорную» правду, пережитую в какой-то мере на собственном жизненном опыте.

Пребывание семейства Виардо в Германии становилось невозможным. Они отправились в Лондон, и баденская вилла была продана вместе с домом Тургенева, который еще ранее перешел в собственность Луи Виардо. Теперь этот дом купил у Виардо московский банкир Ахенбах. «Я немножко пожалел о моем гнезде, — писал Тургенев Анненкову, — впрочем, во мне недаром татарская, кочевая кровь: чувства оседлости не имеется — и всякий дом — вроде палатки». Конечно, грустное это утешение мало успокаивало, но иначе поступить он не мог: по его словам, он готов был ехать за семьей Виардо куда угодно — даже в Австралию.

Некоторое время Тургенев ютился в Лондоне, пока не отшумела во Франции Парижская коммуна и вновь мещанско-буржуазный порядок не вошел в свои берега. Тогда супруги Виардо вернулись во Францию и поселились на улице Дуэ в доме, где на втором этаже Тургенев занимал две маленькие комнаты. Вскоре он построил себе дачный домик рядом с виллой Виардо под Парижем в местечке Буживаль. Это была последняя пристань Тургенева, русского писателя, которого мотала по Европе без жалости скитальческая судьба.

ПОСОЛ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Длительное пребывание во Франции сблизило Тургенева с французскими писателями, и с лучшими из них он сошелся в тесном дружеском кружке. Конечно, меру этой близости нельзя преувеличивать. В общении Тургенева с французскими собратьями нет-нет да и проскальзывало снисходительно-высокомерное отношение

Западной Европы к России как нецивилизованной и варварской стране. Когда Эдмон Гонкур впервые встретился с Тургеневым, он записал в своем дневнике: «Это обаятельный великан, кроткий, с белыми волосами, у него вид доброго горного или лесного гения. Он красив, величественно красив, чрезмерно красив, с небесной синевой в глазах, с очаровательной певучестью русского говора, с особенными переливами в голосе, напоминающими не то ребенка, не то негра». В преувеличенно лестной и восторженной характеристике есть налет экзотики: так говорят о некой диковинке и любопытной, и забавной для рафинированного интеллигента-парижанина.

Характеристика, данная Тургеневу стареющей французской знаменитостью, писателем Ламартином, и вовсе удивляла своей несообразностью. Тургенев у него предавался военной службе, «соединяя воинственную суровость скифа с мягкостью податливого славянина», «высокий лоб его, осененный густыми волосами, походил на древний храм в тени священной рощи». «Скажите, ради бога, — писал Тургенев Анненкову по поводу такой характеристики, — почему же это непременно надо быть ослом даже и гениальному французу, как только он потянет носом другой воздух...»

Присутствие Тургенева во Франции сыграло особую роль в преодолении вековых предрассудков и предубеждений, какие существовали в «культурном слое» Западной Европы по отношению к России и её литературе. Странствия Тургенева по Германии, Англии и Франции помогали русскому писателю выступать в качестве добровольного миссионера, «решительного радетеля» за родную литературу. Он становится одним из самых деятельных посредников между французскими и русскими писателями и даже между французами и немцами.

С апреля 1874 года Тургенев, Э. Гонкур, Г. Флобер, Э. Золя, и А. Доде скрепляют свой союз «пяти освистанных литераторов» ежемесячными обедами. Тургенев вводит французских писателей в неведомый им русский культурный мир. Он рассказывает им о нравах и обычаях России, о собственном детстве и юности, о загадочном русском мужике. В ответ на возражения, что культурному человеку должно быть скучно общество невежественного крестьянина, он говорит: «Напротив, часто приходится кое-чему поучиться у этих невежественных мудрецов, вечно занятых своими думами в полном от-

чуждении от культурного общества». Тургенев рассказывает французским приятелям об «истинно шекспировской простоте и силе чувств», таящихся в народе.

Блистательный рассказчик, он покоряет всех не только завораживающей беседой, но и энциклопедизмом, широтою эрудиции. «В нем чувствовалось знание всего огромного разнообразия жизни, — писал американец Г. Джеймс, — знание малодоступных другим явлений и ощущений, чувствовался горизонт, в котором терялся узкий горизонт Парижа, и эта широта знания и понимания выделяла его среди парижских литераторов». Своим присутствием в кружке, своими разговорами он искусно расшатывал национальные границы между разными культурами, поскольку условность этих границ прекрасно чувствовала его по-русски отзывчивая и восприимчивая душа.

Тургенева подчас удивляла и раздражала национальная кичливость французов, их культурная замкнутость и обособленность. Какая там Россия! И в «цивилизованной» Европе они не слишком стремились узнать то, что выходило за пределы Франции. В беседе с В. Гюго Тургенев убеждается, что французский гений «ровно ничего не видит в сочинениях Гёте». Он не смущается, приписывая Гёте шиллеровского «Валенштейна», поскольку «никогда не читает этих немцев», но и не читая знает, что могли написать и написали Гёте и Шиллер — «одного поля ягоды». Тургенева приводит в изумление, что Гюго не знает и английской литературы, а русская, конечно, ему вообще представляется каким-то мифом.

На традиционные обеды Тургенев является с томиками Гёте и Пушкина, Свинберна и Теккерея, знакомит французских писателей с красотами чужих литератур, переводит на ходу с английского, немецкого, русского на французский, толкует, объясняет «своим мягким, слегка слабым, медлительным голосом». То же самое он делает в Германии и Англии. Его английский друг, пропагандист русской литературы Вильям Рольстон покорён глубиною познаний и мастерством устного слова, которыми обладает Тургенев. И Мопассан говорит о «величайшем очаровании и занимательности его устных рассказов и бесед».

Порой миссионерская деятельность Тургенева наталкивается на глухое непонимание. Французские друзья отказываются принимать тургеневский культ женственности, особую одухотворенность его героев и героинь.

Ипполит Тэн, известный французский историк, прочитав роман «Новь», приходит в недоумение: «Я совсем дезориентирован насчет ваших нигилистов. Я столько слышал о них дурного, — что они отрицают собственность, семью, мораль... А в ваших романах нигилисты — единственные честные люди. Особенно меня поразило их целомудрие. Ведь ваши Марианна и Нежданов даже не поцеловались друг с другом ни разу, хотя поселились в уединении рядом. У нас, французов, это вещь невозможная. И отчего это у вас происходит? От холодного темперамента?»

Когда в кругу литераторов речь заходила о любви, то французский шаловливый разговор по поводу этого святого для Тургенева чувства он воспринимал, по мнению французов, с каким-то *«окаменелым* изумлением варвара». Его попытка возразить, его стремление убедить друзей в нелепости «натуралистического» приземления закончилась тем, что Альфонс Доде сказал ему на ухо полушепотом:

— Никогда, mon cher, в этом не признавайтесь, иначе вы покажетесь просто смешным, всех насмешите.

«Раз в Париже, — вспоминал Тургенев, — давали одну пьесу... Я, Флобер и другие из числа французских писателей собрались на эту пьесу взглянуть, так как она немало наделала шума: нравилась она и журналистам и публике. Мы пошли, взяли места рядом и поместились в партере.

Какое же я увидел действие? — А вот какое... У одного негодяя была жена и двое детей — сын и дочь. Негодяй муж не только прокутил всё состояние жены, но на каждом шагу оскорблял её, чуть не бил. Наконец, потребовал развода... Он остаётся в Париже кутить; она с детьми, на последние средства, уезжает в Швейцарию. Там она знакомится с одним господином и, полюбив его, сходится с ним и почти что всю жизнь свою до старости считается его женой. Оба счастливы — он трудится и заботится не только о ней, но и о её детях: он их кормит, одевает, обувает, воспитывает. Они также смотрят на него как на родного отца и вырастают в той мысли, что они его дети. Наконец сын становится взрослым юношей, сестра — девушкой-невестой. В это время состарившийся настоящий муж узнает стороной, что жена его получает большое наследство. Проведав об этом, старый развратник, бесчестный и подлый во всех отношениях, задумывает из расчета опять сойтись с женой и с этой целью инкогнито приезжает в город, где живет брошенная им мать его детей.

Прежде всего он знакомится с сыном и открывает ему, что он отец его. Сыну же и в голову не приходит спросить: отчего же, если он законный отец, он не жил с его матерью, и, если он и сестра его — его дети, то отчего, в продолжение стольких лет, он ни разу о них не позаботился? Он просто начинает мысленно упрекать свою мать и ненавидеть того, кто один дал ей покой и на свои средства воспитал его и сестру, как родных детей своих.

И вот происходит следующее. На сцене брат и сестра. Входит воспитавший их друг их матери и, по обыкновению, здороваясь, как всегда, хочет прикоснуться губами к голове девушки, на которую с детства он привык смотреть как на родную дочь.

В эту минуту молодой человек хватает его за руку и отбрасывает в сторону от сестры.

— Не осмеливайтесь прикасаться к сестре моей! — выражает его негодующее, гневное лицо. — Вы не имеете никакого права так фамильярно обходиться с ней!

И весь театр рукоплещет, все в восторге, — не от игры актера, а от такого благородного, прекрасного поступка молодого человека. Вижу, Флобер тоже хлопает с явным сочувствием к тому, что происходит на сцене.

Когда мы вышли из театра, Флобер и все другие французы стали мне доказывать, что поступок молодого человека достоин всяческой похвалы и что поступок этот высоконравственный, так как чувство, которое сказалось в нем, поддерживает семейный принцип или то, что называется honneur de la famille *.

И вот чуть ли не всю ночь я с ними спорил и доказывал противное, доказывал, что поступок этот омерзительный, что в нем нет главного чувства — чувства справедливости, что, если бы такая пьеса явилась на русской сцене, автора бы не только ошикали — стали бы презирать как человека, проповедующего неправду и безнравственность. Но, как я ни спорил, что ни говорил — они остались при своем мнении. Так мы и порешили, что русский и французский взгляд на то, что нравственно и безнравственно, что хорошо и дурно, — не один и тот же...»

Вероятно, это столкновение было для Тургенева особенно чувствительно: оно обнаруживало с французской

* Честь семьи *(франц.)*.

точки зрения абсолютную недопустимость тех искренних отцовских чувств, которые питал Тургенев к детям Полины и Луи Виардо. Особенно любил он Марианну, возил с собою постоянно ее фотографии, показывал с неизменным чувством отцовского восхищения своим русским и немецким друзьям. Другой любимицей Тургенева была Клоди, или «Диди». По-отцовски он преувеличивал ее способности, считал едва ли не гениальной девушкой, призванной впоследствии удивить весь мир... И вот перед лицом французского формального кодекса нравственности его трогательная отцовская доброта легко и даже торжественно упразднялась как не имевшая прав гражданства сентиментальность «нецивилизованного варвара», оскорбляющего фамильную честь.

Никогда не переоценивал Тургенев и меру своей писательской популярности во Франции даже среди близких друзей. Гонкур читал лишь «Записки охотника», не далее ушел и Доде, рассказавший, что при первой их встрече Тургенев пришел в изумление: «Правда, вы читали меня?» — и сообщил ему о том, как плохо раскупаются в Париже его книги. «Я в глазах здешней публики не имею ровно никакого значения. Едва знают мое имя, да и с чего им знать?» — писал Тургенев русским друзьям.

Действительно, по-настоящему ценили и знали Тургенева-писателя Флобер и Жорж Санд. Но и Флобер не пользовался в те годы популярностью. И его, точно так же не избалованного судьбой, Тургенев часто утешал и убеждал «работать твердо для нас обоих», «не поедать самого себя».

И в Англии Тургенева знали только отдельные литераторы. Так, однажды, по приглашению Диккенса, он присутствовал на обеде в честь лорда Пальмерстона и сидел рядом с Теккереем. Как на всех официальных обедах, здесь царствовала скука и монотонность. Тургенев рассказывал Е. Я. Колбасину: «Пальмерстон произнес длиннейшую речь весьма дюжинного сорта, так как он не принадлежал к числу замечательных ораторов. После обеда Теккерей начал расспрашивать меня о русской литературе, сомневаясь даже в ее существовании. Зная резкий и грубоватый характер английского романиста, я отделывался от него шутками, но он напирал все сильнее и сильнее, говоря, что он сомневается в том, чтобы его, Теккерея, романы были известны русской публике и что он в первый раз слышит о том, что он после появления

в английской печати тотчас переводится на русский язык. «Сколько же подписчиков имеют ваши журналы?» — допытывался Теккерей. Услыхав, что от 7 до 10 тысяч, он бесцеремонно расхохотался, сказав, что литература ценится по рублю и что подобная литература есть одно самообольщение, да еще при цензуре; следовательно, и замечательных писателей там не может быть; меня это задело за живое, и я отвечал ему тоже неделикатно, что у нас есть романист-сатирик, который, при всем моем высоком уважении к таланту его, Теккерея, стоит выше его во всех отношениях. Теккерей взбеленился и запальчиво спросил, как имя его, я назвал Гоголя, доказывая ему, что это великий юморист в романах, повестях и комедиях. «Хорош гениальный писатель, о существовании которого Европа не знает, и читают только десять тысяч!» Вот вам и моя размолвка с Теккереем, из которой вы видите, какое явное пренебрежение англичан к нам, русским».

Тогда же, в начале 60-х годов, Тургенев познакомился с Т. Карлейлем, был принят в его доме, где знали и любили автора «Записок охотника». Только что вышли в свет двенадцать «Памфлетов последних дней» этого английского мыслителя, в которых он смеялся над эмансипацией негров, над демократией, филантропией. Наступало время, когда даже поклонники Карлейля перестали его понимать.

При первом знакомстве Карлейль сказал Тургеневу: «Движение великих народных масс по мановению одной могущественной руки вносит цель и единообразие в исторический процесс. В такой стране, как Великобритания, иногда бывает утомительно видеть, как всякий мелочной человек может высунуть голову наподобие лягушки из болота и квакать во все горло. Подобное положение вещей ведет лишь к замешательству и беспорядку».

«Это чрезвычайно курьезный факт, — говорил Тургенев Карлейлю, — что многие, живущие в странах со свободными учреждениями, восхищаются деспотическими правительствами. Чрезвычайно легко любить деспотизм на расстоянии. Если бы вы пожили в России месяца два в одной из внутренних губерний, вы собственными глазами убедились бы в обратном.

Тот, кто утомлен демократией, потому что она создает беспорядки, напоминает человека, готовящегося к самоубийству: он утомлен разнообразием жизни и мечтает о монотонности смерти.

До тех пор, пока мы остаемся индивидуумами, а не однообразными повторениями одного и того же типа, жизнь будет пестрой, разнообразной и даже, пожалуй, беспорядочной. И в этом бесконечном столкновении интересов и идей лежит главная надежда. Величайшая прелесть американских учреждений в том, что они дают широкий простор для индивидуального развития, а именно этого деспотизм не позволяет, да и не может позволить.

Конечно, бывают обстоятельства, когда право меньшинство. Но это не правило, а исключение. В природе здоровье всегда преобладает над болезнью; если бы в мире возобладал отрицательный принцип, у человечества не хватило бы жизненных сил для продолжения существования».

Тургенев много сделал для знакомства России с французскими писателями. Он перевел на русский язык легенды Флобера и весь гонорар за эту публикацию передал своему другу. К Золя Тургенев пришел на помощь в самую трудную минуту: «Ни одно издание не принимало меня, я умирал с голоду, в меня бросали грязью со всех сторон, и вот в это время он ввел меня в эту великую Россию, где потом меня так полюбили», — вспоминал Золя. Через Стасюлевича, редактора «Вестника Европы», Тургенев сделал Золя постоянным сотрудником этого журнала, взял на себя всю деловую переписку. Тургенев приложил немало усилий, чтобы русские читатели оценили по достоинству талант Мопассана, и не случайно после смерти Тургенева Мопассан сказал: «Он был прост, добр, в высшей степени прямодушен, обаятелен, как никто, предан необыкновенно и верен своим друзьям, мертвым и живым».

Нельзя не подивиться, с какой настойчивостью Тургенев пропагандировал во Франции Л. Н. Толстого. Несмотря на личные недоразумения, он по-прежнему считал его «слоном» среди остальной литературной братии, внимательно следил за его творчеством и через посредничество Фета получал от Толстого согласие на перевод «Двух гусаров», а потом «Казаков» и «Войны и мира».

Переведенную «Войну и мир» он лично развозит французским критикам, посылает Флоберу и буквально торжествует, получив от него следующее письмо: «Спасибо, что вы дали мне возможность прочесть роман Толстого. Это первоклассное произведение. Какой художник и какой психолог! Два первых тома великолепны; третий значительно слабее. Он повторяется и философствует. Слишком чувствуется он сам, писатель и русский человек, в то время как раньше перед нами была лишь Природа и Человечество. Подчас он напоминает мне Шекспира. Во время чтения я то и дело издавал крики восторга... а чтение это долгое!»

Тургенев добивается перевода на немецкий язык романа А. Ф. Писемского «Тысяча душ». Английскому литератору и другу Рольстону он с готовностью сообщает: «Очень рад, что Вы хотите познакомить Ваших соотечественников с нашей литературой. Не говоря уже о Гоголе, я думаю, что произведения графа Льва Толстого, Островского, Писемского и Гончарова могут представить интерес и по своей новой манере восприятий и по передаче поэтических впечатлений; нельзя отрицать, что со времени Гоголя наша литература приняла оригинальный характер».

«Познакомить Европу с Вами — мне вот как хочется!» — пишет он А. Н. Островскому и не только рекомендует Э. Дюрану перевести драму «Гроза» на французский язык, но и сам помогает переводчику: «Мы вдвоем ее прошли тщательно — я все ошибки выправил».

В своей роли миссионера и ходатая по делу русской литературы Тургенев забывает и те горькие обиды, которые порой наносили ему литературные собратья. Ф. М. Достоевский, возмущенный тургеневским «Дымом», в романе «Бесы» выводит карикатурный образ Тургенева под именем писателя Кармазинова, читающего русской публике с кокетливой фразистостью свое «последнее» произведение «Мерси!». «Мне сказывали, — пишет Тургенев Я. П. Полонскому, — что Достоевский «вывел» меня... Что ж! Пускай забавляется!.. Но, боже мой, какие дрязги!» И вот спустя шесть лет он первым протягивает руку Достоевскому, рекомендуя ему знакомство с французом, составителем монографии о выдающихся представителях русской словесности: «Я решился написать вам это письмо, несмотря на возникшие между нами недоразумения, вследствие которых наши личные отношения прекратились. Вы, я уверен, не сомневаетесь в том, что недоразумения эти не могли иметь никакого влияния на мое мнение о вашем первоклассном таланте и о том высоком месте, которое вы по праву занимаете в нашей литературе».

Однако недоразумения возникали и на пути миссионерского призвания Тургенева. И. А. Гончарову показа-

лось, что многие сюжеты западноевропейских писателей, друзей Тургенева, удивительно совпадают с сюжетами и образами его романа «Обрыв». Сначала Гончаров увидел эти совпадения в романе Ауэрбаха «Дача на Рейне», вышедшем в русском переводе с предисловием Тургенева на страницах журнала «Вестник Европы», непосредственно перед «Обрывом». Потом сходство обнаружилось в романе Флобера «Госпожа Бовари», но особенно — в «Воспитании чувств». Не исключено, что разраставшейся подозрительности способствовали в немалой степени и гончаровские недоброжелатели из «Вестника Европы». Зная мнительность автора «Обломова» и, вероятно, с умыслом пытаясь эту мнительность расшевелить, редакция «Вестника Европы» опубликовала фрагменты из «Воспитания чувств», сопроводив их следующим предисловием: «Не знаем, приходили ли нашим читателям на мысль некоторые сравнения между лицами романа Флобера и лицами наших русских известных романов, но нам многие из них напомнили родное, особенно Фредерик... Он напоминает хорошо знакомого нашим читателям Райского с тем различием, что Флобер отнесся еще объективнее к своему герою, чем наш почтенный романист».

«Чеченец бродит за рекой!» — оповещал Гончаров своих приятелей об очередном наезде Тургенева в Петербург. От примирения между писателями у могилы Дружинина в 1864 году не осталось и следа...

Их примирила только смерть Тургенева. Когда Гончарова пригласили на литературный вечер памяти Тургенева, он послал на имя распорядителя следующее письмо: «Под влиянием горестной утраты для литературы, для всего русского общества, друзей и горячих поклонников усопшего, я мысленно сливаю свой слабый, неслышный голос с общим хором голосов всей образованной России и от всей глубины души восклицаю: «Мир праху твоему, великий художник!»

Неизменное и бескорыстное внимание Тургенев проявлял не только к крупным дарованиям. Предметом его забот были молодые таланты. Он постоянно кого-то рекомендовал издателям, о ком-то хлопотал, кого-то опекал, кому-то покровительствовал. Н. Ф. Щербина даже написал по этому поводу эпиграмму: «Тургенева во сне видеть — предвещает получить тонкую способность суметь откопать талант там, где его вовсе нет...» Тургенев действительно часто ошибался в своих прогнозах, но не столько из отсутствия эстетического чутья, сколько по мягкости характера и по свойственной ему способности несколько переоценить новичка, из желания вселить в него веру в успех, а иногда и просто материально помочь ему.

Временами он шел на обман: посылал произведение молодого автора в редакцию журнала и платил ему гонорар из своих средств, а редакторов просил не выдавать его. Об одном из таких писателей он сообщал М. М. Стасюлевичу: «Умирая с голода, он один никому не протягивает руки, — так я уж решил солгать и сказать ему, что Вы приняли его статью и выслали мне за нее 150 франков... пожалуйста, не выдавайте меня».

Редактору «Русской мысли» С. А. Юрьеву о переводчике одной повести Тургенев писал так: «Денег у него, разумеется, ни гроша, а он горд (вообще он очень хороший человек) <...> я и придумал эту pia fraus; деньги я ему выдам, как будто полученные за перевод, но вы, пожалуйста, с своей стороны, не выдайте меня и согласитесь разыграть роль в моей маленькой и печальной комедии».

Тургенев глубоко сочувствовал русской революционной эмиграции, людям, волею судьбы выброшенным за пределы своего отечества. В эмигрантских кругах Парижа бедность усугублялась потерянностью в огромном и чужом городе. В поисках средств к существованию приходилось прибегать к невероятной изобретательности, особенно людям семейным. Выбитые из общего течения жизни, они инстинктивно тянулись друг к другу, но искреннего общения между ними не получалось. Люди мельчали и замыкались, развивалась болезненная мечтательность, строились самые невероятные, самые фантастические планы, вспыхивала взаимная подозрительность, возникали ссоры.

И все эти «алчущие и страждущие» несчастные люди устремлялись к Тургеневу: к нему мог явиться всякий; он ни у кого не спрашивал рекомендательных писем. Говорили, что «если бы его не охраняла строгая дисциплина дома Виардо, у него вряд ли были бы часы для собственных занятий». Сколько талантов, начинающих и непризнанных, стучалось в его гостеприимную дверь! Причем шел народ нервный, озлобленный, издерганный, с болезненной чувствительностью и непомерным самолюбием. Желание стать писателями у этих людей возникало, как правило, не по внутреннему побуждению,

а по жестокой необходимости. Естественно, что Тургенев не мог всех удовлетворить, появлялись обиженные, даже враждебно к нему настроенные люди.

«Часто приходилось слышать: «Тургенев прочитал мою повесть — и в восторге! Он дал мне самое лестное письмо в редакцию...» Или: «Тургеневу так понравилась моя картина, что он ее оставил у себя, чтобы показать... (называлось имя знаменитости в художественном мире)». И когда спустя некоторое время повесть возвращалась автору, а картина не проходила на выставку, на Ивана Сергеевича сыпались упреки: он один оказывался во всем виноватым. Он и письмо-то дал в редакцию не настоящее, чтоб только отвязаться, и картину никому не показывал, так как никаких знакомств среди влиятельных художников у него на самом деле нет.

О «неискренности» Тургенева распускались слухи, в которых он чаще всего был виновен сам: не мог отказать, боялся огорчить. А если и делал порой замечания, если и сомневался, то в такой осторожной и деликатной форме, что у просителя складывалось впечатление, что Тургенев, напротив, очень доволен.

Когда же ему заявляли: «Это для меня жизненный вопрос!» — Тургенев, по его словечку, «размякал», соглашался, бормотал: «Тут что-то есть», — давал рекомендательные письма. Естественно, что рукописи возвращались, а покровитель оправдывался виноватым голосом: «Уж это моя судьба!.. Мои рекомендации, как фальшивый *пачпорт* (он любил так произносить это слово), всегда имеют обратный эффект».

Вспоминали: «Однажды пришел к нему молодой человек, бедно одетый, красивый, поразивший своим надменным, почти дерзким лицом. Он поздоровался с Иваном Сергеевичем, отрывисто ответил на два-три вопроса, уселся в кресло и стал курить. Посидев таким образом с четверть часа, он вдруг брякнул: «Тургенев, дайте денег!» Иван Сергеевич сконфузился и поспешно увел посетителя в соседнюю комнату, притворив за собой дверь. Когда оба вернулись, у молодого человека горели щеки, и глаза были потуплены. Тургенев любезно проводил его до лестницы, и затем долго объяснял, вздыхая, что очень застенчивые и робкие люди нарочно напускают на себя ухарство, чтобы выйти из тяжелого положения».

Для материальной поддержки русской эмиграции Тургенев проводил специальные литературно-музыкальные вечера. Он был одним из организаторов «Общества взаимного вспоможения и благотворительности русских художников в Париже», 30 процентов доходов которого отчислялись «русскому консулу для подачи помощи русским подданным».

Отличавшемуся скуповатостью А. А. Фету, не желавшему платить взносы в Литературный фонд, Тургенев писал: «Вы... «не шутя не знаете ни одного бедного литератора». Это происходит оттого, что Вы их вообще мало знаете. Укажу Вам на один пример. Недавно А. Н. Афанасьев умер буквально от голода — а его литературные заслуги будут помниться тогда, когда наши с Вами, любезный друг, давно уже пожрутся мраком забвения. Вот на такие-то случаи и полезен наш бедный Вами столь презираемый Фонд».

Бывало, что этой безграничной добротой и щедростью Тургенева пользовались и бесцеремонные просители. Но именно он помог в трудную минуту жизни русскому ученому и путешественнику Н. Н. Миклухо-Маклаю, художнику-графику В. В. Матэ, итальянскому революционеру К. Каффьеро и многим другим выдающимся людям. Он устанавливал постоянные пенсии, выдавал денежные ссуды, писал обращения к состоятельным соотечественникам — П. М. Третьякову, С. С. Полякову и др. Кто только не обращался к нему — учащаяся молодежь, политические эмигранты, ученые, художники, писатели. В Париже его прозвали «послом русской интеллигенции».

Причем к эмигрантам «по призванию» Тургенев относился критически. Им проходилось выслушивать от него такие, например, упреки: «Будет вам шататься за границей, поезжайте в Россию. Здесь вы только истреплетесь и изверитесь. Как ни тяжела для мыслящего человека русская атмосфера, там, все-таки, вы на родной почве, которая постоянно воздействует на вас, дает пищу и направление вашей мысли, поддерживает жизнь и энергию. Поезжайте; вы еще недостаточны стары, чтобы вполне оценить разрушительное действие жизни вне родственной среды, вне общественных связей и обязанностей, без определенной цели и деятельности... Я лучше вас был приспособлен к жизни за границей, да и то, в сущности, прозябаю и все чего-то жду... и не дождусь уж теперь».

С годами Тургенев все яснее осознавал драматические последствия своего отрыва от России. Встретившись с Тургеневым в Париже на выставке 1878 года, русский

литератор Н. В. Берг спросил, доволен ли Иван Сергеевич Парижем, не скучает ли по России. И вот что он услышал в ответ:

«Русскому нельзя не скучать по России, куда бы он ни приехал. Другой России для русского нигде не найдется. Россия — русские — это нечто совсем особенное. Потому нас никто надлежащим образом не понимает; в особенности не способны на это французы. Я живу здесь в кругу высшей интеллигенции. Но эта интеллигенция ничего не видит дальше своего носу. Она не понимает хорошего и гениального других наций. Гений Англии, Германии, Италии — для французов почти не существует. Об нас и говорить нечего... Исключения, впрочем, изредка бывают. Жорж Санд понимала нас так, как бы родилась русскою, но... она все понимала! Это было совершенно исключительное создание, ни на кого не похожее».

И вот этот «неисправимый западник», неутомимый спорщик со славянофилами, создатель Потугина в «Дыме» в разговорах с французскими литераторами развивает славянофильские идеи. Гонкур сохранил в своем дневнике записи таких разговоров:

«Да, вы люди латинской расы, в вас еще жив дух римлян с их преклонением перед священным правом; словом, вы люди закона... А мы не таковы... Как бы вам это объяснить? Представьте себе, что у нас в России как бы стоят по кругу все *старые русские,* а позади них толпятся *молодые русские.* Старики говорят свое «да» или «нет», а те, что стоят позади, соглашаются с ними. И вот перед этими «да» и «нет» закон бессилен, он просто не существует; ибо у нас, русских, закон *не кристаллизуется,* как у вас. Например, воровство в России — дело не редкое, но если человек, совершив хоть и двадцать краж, признается в них и будет доказано, что на преступление его толкнул голод, толкнула нужда — его оправдают... Да, вы — люди закона и чести, а мы, хотя у нас и *самовластье,* мы люди...

Он ищет нужное слово, и я подсказываю ему:

— Более человечные!

— Да, именно! — подтверждает он. — Мы менее связаны условностями, мы более человечные люди».

Западник, опровергавший К. Аксакова и Герцена по всем пунктам их суждений о крестьянской общине, вдруг противопоставляет римскому праву «соборное» решение вопросов «по совести», как оно существует в русском крестьянском миру.

Ругая славянофилов за то, что они систематики, что они создали идею о русском человеке и подгоняют всю русскую жизнь под эту идею, Тургенев довольно часто использует мысли своих противников. «Кто говорит — конечно, мы во многом отличаемся от западноевропейских народов... Возьмите хоть то, что вы говорили об индивидуализме — я согласен с вами: русский гораздо меньше индивидуалист, чем западный европеец, — внушает Тургенев А. Луканиной. — И нравственность у нас другая, у нас больше общественного чувства, развившегося на почве русской общины».

Один из парижских знакомых Тургенева вспоминал: «Несмотря на свою нелюбовь к славянофилам аксаковского пошиба и свое так называемое «западничество» (термин весьма неопределенный и глупый, но почему-то получивший твердое право гражданства в русской печати), Тургенев особенно любил беседы о нравственной и психической разнице между русским и западноевропейским человеком — разнице, придававшей совершенно особый склад жизни, культуре и всему будущему русского народа.

«Обратите главное внимание на то обстоятельство, — заметил он мне, говоря об одной моей статье, — что в русском народе продолжаются психические процессы самоопределения, искания правды и идеала, тогда как во Франции замечается во всех классах какая-то культурная окристаллизованность, нравственная и идейная законченность, точно нация исчерпала весь запас своих духовных сил... тогда как мы, русские, еще духовно прогрессируем, растем, ищем истины, новых форм жизни и красоты...

Вот я занят теперь более серьезной вещью; мне давно хочется написать роман, в котором выразилась бы коренная разница духовных основ русского человека и француза; показать в этом романе глубину психических причин и мотивов у русского протестанта и отщепенца рядом с формализмом и традиционной шаблонностью французского революционера, который никогда не выходит из раз установившихся рамок, идет по утоптанному руслу, верит в себя и в свои формулы, тогда как русский вечно копается в своей душе, вечно занят разрешением нравственных вопросов и исканьем правды... Не знаю только, удастся ли мне довести дело до конца и справиться с сюжетом. Стар я, умру скоро».

Тургенев, считающий революционной силой культурный слой общества, призванный учить, просвещать народ, в то же время высказывает тревогу по поводу некоторых весьма специфических особенностей «русского европейца». С «легкостью в мыслях необыкновенной» он мог отрекаться от предмета вчерашнего поклонения с тем, чтобы, спустя некоторое время, с такой же легкостью отречься от кумира сегодняшнего дня. Отсутствие в душе прочных культурных устоев порождало опасность идейного фанатизма:

«Нам нужно не вносить новые общественные и нравственные идеалы в народную среду, а только предоставить ей свободу возделывать и растить те общественные идеалы и нравственные принципы, зародыши которых кроются в ней самой, — говорил Тургенев. — Я не принадлежу к тем людям, которые проповедуют необходимость учиться у народа, искать в нем идеал и правду и, отказавшись от добытого и усвоенного европейской цивилизацией, отказаться от своей культурной личности и принизиться до народного уровня. Это и нелепо и невозможно. Но и насильственно вламываться в народную жизнь с чуждыми ей принципами и теориями (а таковы все революционно-социальные доктрины и все попытки пересадить их на русскую народную почву) — нет никакого резона; лучше предоставить народу полную свободу устраиваться самому, предоставляя ему всё необходимое и ограждая от всяких корыстных и бескорыстных набегов на его жизнь».

Тургеневское недоверие к завершенным общественным доктринам, к философским, политическим и всяческим иным системам порождалось ощущением особой опасности такого рода «систем» для ищущего, духовно не защищенного русского человека. Они были тем более опасны в стране, только что освободившейся от бремени крепостной зависимости. Об этом со всею прямотою и бескомпромиссностью говорил в романе «Дым» Потугин:

«Что прикажете делать?! Правительство освободило нас от крепостной зависимости, спасибо ему; но привычки рабства слишком глубоко в нас внедрились; нескоро мы от них отделаемся. Нам во всем и всюду нужен барин; барином этим бывает большею частью живой субъект, иногда какое-нибудь так называемое направление над нами власть возымеет... теперь, например, мы все к естественным наукам в кабалу записались... Новый барин народился — старого долой! То был Яков, а теперь Сидор; в ухо Якова, в ноги Сидору!»

«Посол русской интеллигенции», плохо понимаемый своими соотечественниками, не чувствовал себя своим человеком и на Западе, даже в кругу семьи Виардо: «У меня есть близкие друзья, — говорил он, — люди, которых я люблю и которыми любим; но не всё, что мне дорого, так же близко и интересно для них; не всё, что волнует меня, одинаково волнует и их... Отсюда понятно, что наступают для меня довольно продолжительные периоды отчуждения и одиночества».

«Слава — да... знаменитость — да... любимая деятельность... — задумчиво говорил Тургенев. — У меня, разумеется, совершенно отдельное помещение в Париже... Бывают дни, когда я готов был бы отдать свою знаменитость за то, чтобы вернуться в свои пустые комнаты и застать там кого-нибудь, кто сейчас бы заметил и спохватился, что меня нет, что я опаздываю, не возвращаюсь вовремя. Но я могу пропасть на день, на два, и этого не заметит никто. Подумают, что я отозван куда-нибудь. Жизнь бойко течет в Париже».

«Разубедить в чем-нибудь французское общество и представителей его, рассеять в нем то или другое предубеждение, как, например, к нашему отечеству, к России и русскому народу, а также к нашим порядкам, к нашей литературе, к нашим нравам и обычаям, — дело невозможное, да, поверьте, не стоит труда!»

И тем не менее Тургенев с завидным упорством и последовательностью внушает французам, англичанам и немцам уважение к русской литературе и добивается заметных успехов. Летом 1878 года он участвует в Первом международном литературном конгрессе в Париже. Открытие его состоялось 11 июня под председательством В. Гюго. Конгресс был созван по инициативе французских писателей, которые решили воспользоваться присутствием иностранцев-литераторов на Парижской всемирной выставке. Собралось более трехсот писателей из Англии, Франции, Германии, Италии, Испании, Португали, Дании, Бельгии, Голландии, Швеции, Австрии, Северной Америки, Швейцарии, России. Общество французских писателей обратилось к Тургеневу с просьбой назвать имена русских литераторов, чье присутствие желательно. По его рекомендации были официально приглашены Толстой, Достоевский, Гончаров, Полонский, но, к огорчению Тургенева, никто из них на конгресс не приехал.

Обсуждались международные законы по охране авторского права. Вице-президентом второй комиссии конгресса, занимавшейся этой проблемой, был избран Тургенев. Он руководил прениями, отстаивал интересы русских литераторов. «Мы, русские, — говорил он, — пока не можем платить авторские деньги за переводы с французского на русский язык. Вы, французы, нас вовсе не переводите и почти вполне игнорируете; мы же переводим все ваши новинки. И кто у нас занимается переводными работами? Бедная молодежь: курсистки и студенты, для которых эта работа часто составляет единственное средство к существованию».

В официальной речи от лица русских литераторов Тургенев говорил об огромном влиянии французской культуры на русскую: «Двести лет тому назад, еще не очень понимая вас, мы уже тянулись к вам; сто лет назад мы были вашими учениками; теперь вы нас принимаете как своих товарищей и происходит факт необыкновенный в летописях России, — скромный простой писатель... имеет честь говорить перед вами от лица своей страны и приветствовать Париж и Францию, этих зачинателей великих идей и благородных стремлений».

В доме на улице Дуэ по-прежнему царила артистическая атмосфера. По четвергам здесь устраивались концерты с благотворительной целью, музыкальные «утра», литературные чтения. В них участвовали русские и французские писатели, певцы, музыканты, художники. В феврале 1875 года на литературно-музыкальном утре в пользу русской читальни в Париже читали свои произведения И. С. Тургенев, Н. С. Курочкин, Г. И. Успенский. Исполняла русские романсы Полина Виардо. Вспоминали, что когда она пела романс П. И. Чайковского «И больно и сладко», Тургенев «совершенно воодушевлялся». Художник В. Д. Поленов рассказывал, как «Иван Сергеевич стоял в углу и прямо рыдал». В мае 1877 года С. И. Танеев, постоянный участник «четвергов», писал своим родным в Россию: «Вообще я очень много получил удовольствия от этих вечеров и больше всего от пения самой Виардо: я никого не слыхал, кто так хорошо поет, и вряд ли услышу».

В доме Виардо часто бывали Г. Флобер, И. Тен, О. Конт, Ж. Массне, русские художники И. Е. Репин, В. Д. Поленов, А. П. Боголюбов, А. К. Беггров, Н. Д. Дмитриев-Оренбургский, А. А. Харламов. Неизменными гостями были старые друзья дома — Э. Ренан, Тома, Гуно, Сен-Санс, Ожье, Г. Доре. Время проводили разумно и весело под руководством неистощимой на выдумки Полины Виардо. И. Е. Репин писал Стасову в декабре 1874 года: «Сумасшедшие французы!!! Вот так веселятся: по-детски, до глупости. Всего перепробовали, начали с пенья и музыки, потом импровизировали маленькие пьески (Тургенев тут отличился, сколько в нем молодости и жару!!!), фанты и кончили танцами. Всех превзошел в шутовстве и глупости Сен-Санс (чуть на голове не ходил), танцы играя».

По воспоминаниям В. Д. Поленова, Виардо «была очень живая. Она придумывала разные драматические сцены». По воскресеньям в тесном дружеском кругу часто разыгрывались шарады. Превращали в сцену часть гостиной с выходом в столовую, служившую уборной для актеров. Раздавались звуки импровизированной увертюры — и начинались шарады, «самые шутовские и неслыханные». Главные действующие лица — Тургенев и Сен-Санс, с ними географ Поль Жоанн, дальний родственник Луи Виардо. Они наскоро сговаривались, намечая основной сюжет шарады, — и начиналась комическая импровизация, которая длилась от пяти минут до целого часа, в зависимости от вдохновения «актеров».

Например, соорудили на сцене анатомический театр. Вышел профессор-хирург И. С. Тургенев, в окружении студентов-медиков, среди которых бросалась в глаза молодая англичанка в исполнении Поля Жоанна. Посреди сцены на столе лежал труп — Сен-Санс, обернутый в розовую фланель. Профессор начинал лекцию, в ходе которой выяснялось, что пациент скончался от «назита» — чрезмерного разращения носа. Профессор прикасался к длинному носу Сен-Санса скальпелем — и труп, к всеобщему ужасу, внезапно оживал. В суматохе англичанка падала в обморок и приходила в себя в объятиях покойника. Оказывалось, что влюбленный Сен-Санс специально прибегнул к хитрости. Наступала ночь, меркли лампы. Начинался любовный дуэт. Над ширмой поднималась луна — огромная фаянсовая тарелка.

Вечера заканчивались чаепитием вокруг большого самовара, который Полина Виардо привезла из России.

Тургенев старался «не мешать русских с французами», и поэтому на русских вечерах преобладали, как правило, его соотечественники. Весело и оживленно, например, прошла в доме Виардо встреча нового 1877 года по ста-

рому стилю и на русский лад — с гаданиями, ряжеными и святочными играми.

И. Е. Репин замечал, что мнения Полины Виардо были для Тургенева законом, её эстетические вкусы и суждения воспринимались как беспрекословные. Так, первый сеанс написания портрета Тургенева в марте 1874 года ознаменовался для Репина удачей, был найден очень точный ракурс, раскрывавший внутреннее существо тургеневского характера. Радовался Репин, радовался вместе с ним и Тургенев, поздравляя художника с успехом.

Но уже на другой день Тургенев прислал огорчительную записку: мадам Виардо забраковала портрет, ей не понравилось выражение лица — наиболее удачная с точки зрения Репина да и самого Тургенева находка. Виардо настаивала на другом повороте фигуры, другом профиле, считая репинский подход неудачным. И Тургенев отказался от своей первоначальной оценки, полностью соглашаясь с Виардо. Пришлось скрепя сердце уступить. «Каждый раз я не могу равнодушно вспомнить записанную *сверху* голову, — говорил Репин, — которая была *так удачна по жизни и сходству»*.

Однажды утром Тургенев «особенно восторженно-выразительно» объявил Репину, чтобы он приготовился: «Сегодня нас посетит мадам Виардо! Она обладает большим вкусом». И Тургенев показал Репину, как надо поклониться, какие слова сказать.

Когда прозвенел звонок, Репин не узнал Ивана Сергеевича: «Он уже был озарен розовым восторгом». «Как он помолодел!.. Он бросился к дверям, приветствовал, суетился — куда посадить мадам Виардо!» Приглядываясь к богине Тургенева острым взглядом художника, Репин замечал, что это «очаровательная женщина», что «с нею интересно и весело».

Впоследствии, бывая на музыкальных вечерах в салоне Виардо, Репин обратил внимание, что именно Виардо «руководила приговором о достоинствах новых явлений в искусствах». К ней все обращались за разъяснениями, и даже муж её, Луи Виардо, ждал, как окончательного, приговора своей супруги. Тургенев же в этом триумвирате оказывался лишь третьим лицом. Беспрекословно подчиняясь суждениям Полины, он в то же время дорожил и мнением Луи, всякий раз ожидая его оценки и соглашаясь с нею.

Так случилось, например, с художником А. А. Харламовым, написавшим портреты Полины и Луи Виардо.

Оба эти портрета были выставлены в Палэ д-Индустри. Тургенев, общаясь здесь с русскими художниками, серьезно заявлял, что Харламов теперь — лучший портретист в Париже, а следовательно, и во всем мире. Такая категоричность, не совсем обычная для сдержанного Тургенева, была связана с тем, что «Харламов был уже признан госпожой Виардо: следовательно Харламов был уже известен».

Летом Тургенев с семейством Виардо отправлялся на дачу в Буживаль, в поместье «Les Frênes» («Ясени»). Уезжали с вокзала Сен-Лазар. В Аржантейле обычно пересаживались на речной пароходик и плыли по Сене. По берегам тянулись ряды тополей и лип, краснели в зелени садов черепичные крыши вилл. Весело свистя, пароходик проплывал под арками железнодорожных мостов, обгоняя украшенные праздничными флажками лодки с отдыхающей публикой в пестрых нарядах. На повороте реки показывался, наконец, высокий шпиль старинной церкви XII века, расположенной на вершине холма, с которого открывался вид на луга и ивы острова Круасси, прославленного картинами знаменитого Коро. В Буживале жили французские художники-импрессионисты Ренуар, Клод Моне и Сислей. В Буживале имел дачу и Николай Иванович Тургенев.

К большому дому в гору вели две дороги, посыпанные крупным песком. Между группами кустов, расположенных живописно, с большим вкусом, пестрели обильные цветники. Под густою листвой деревьев вились прихотливо узкие тропинки. И везде журчала, пела вода: не только в бассейнах, но и в кучах искусно набросанного камня. Струйки чистой ключевой воды выбивались из-под мшистых стволов старых деревьев, и, журча, разбегались в разных направлениях.

Около большого усадебного дома — маленький «le chalet», собственность и жилище Тургенева. При входе в кабинет бросалась в глаза картина В. Д. Поленова «Московский дворик». По стенам размещались два больших шкафа с книгами. По самой середине кабинета, перед камином, располагался большой письменный стол с аккуратно прибранными бумагами, книгами, номерами журналов.

Здесь, в Буживале, Полина Виардо продолжала давать уроки пения. Они проходили утром, при открытых окнах. Услышав звуки музыки, на террасу часто поднимался Тургенев. Он с ласковым участием относился к успехам

учениц Виардо, и, когда она просила послушать их после нескольких месяцев занятий, Тургенев охотно делал это, а потом беседовал, шутил.

Иначе вел себя Луи Виардо. Сгорбленный, молчаливый старик «с крючковатым носом хищной птицы» выходил в гостиную в халате и мягких туфлях, молча слушал пение и, ни на кого не глядя, поворачивался и уходил в свою комнату. Лишь спустя некоторое время Полина передавала ученицам его мнение.

В последние годы жизни Луи превратился в сварливого и капризного старика. Он, конечно, был, как всегда, под башмаком у волевой и энергичной хозяйки дома. Но если Тургенев нес этот крест как великое благо, то Луи впадал временами в угрюмое расположение духа, а порой терял самообладание. О невыносимом характере Луи Тургенев «проговорился» лишь однажды — в стихотворении в прозе «Эгоист».

Однако неизбежные семейные неурядицы смягчались поэзией, музыкой, любимыми искусствами. Особенно нравились Тургеневу музыкальные вечера. Зажигали лампу в гостиной, Виардо садилась играть в четыре руки с одной из учениц или дочерей. Больной Тургенев садился на диван, закутываясь в красную шаль. «Мы сидели в сумерках, — вспоминал Б. Фори, — а окна, выходившие в огромный парк, залитый лунным светом, были открыты. Не зная устали, великая артистка играла нам ноктюрны Шопена, а затем «Лунную сонату» Бетховена»...

ТУРГЕНЕВ И РЕВОЛЮЦИОННОЕ НАРОДНИЧЕСТВО. РОМАН «НОВЬ»

В начале 70-х годов в России наметился новый общественный подъем, связанный с деятельностью революционных народников. Он вновь повернул Тургенева лицом к России и русскому. Теплый луч любви и сочувствия согрел последнее десятилетие жизни писателя.

Тургенев проявлял к этому движению самый оживленный интерес. Он близко сошелся с одним из идейных вождей и вдохновителей «хождения в народ» П. Л. Лавровым и даже оказывал материальную помощь в издании сборника «Вперед». Дружеские чувства питал Тургенев к Герману Лопатину, П. А. Кропоткину, С. М. Степняку-Кравчинскому. Он внимательно следил за всеми бесцензурными эмигрантскими изданиями, вникал в тонкости

полемики между различными течениями внутри этого движения. В спорах между лавристами, бакунинцами и ткачевцами Тургенев проявлял большую симпатию к позиции Лаврова. В отличие от Бакунина Лавров считал, что русское крестьянство к революции не готово. Потребуются годы напряженной и терпеливой работы интеллигенции в деревне, прежде чем народ поймет необходимость революционных перемен. Не одобрял Лавров и заговорщическую, бланкистскую тактику революционной борьбы Ткачева, который проповедовал идеи политического террора, захвата власти в стране горсткой революционеров, не опирающихся на широкую поддержку народных масс. Более умеренная и трезвая позиция Лаврова была во многом близка Тургеневу, который в эти годы глубоко разочаровался в правительстве и в своих друзьях, трусливых либералах, решительно порвал с М. Н. Катковым и его журналом «Русский вестник».

Однако отношение Тургенева к революционному движению было по-прежнему сложным. В 1873 году он писал Лаврову по поводу программы журнала «Вперед»: «Со всеми главными положениями я согласен — я имею только одно возражение... Мне кажется, что Вы напрасно так жестоко нападаете на конституционалистов, либералов и даже называете их врагами; мне кажется, что переход от государственной формы, служащей им идеалом, к Вашей форме ближе и легче, чем переход от существующего абсолютизма — тем более, что Вы сами плохо верите в насильственные перевороты — и отрицаете их пользу». Тургенев не разделял полностью народнических социалистических программ. Ему казалось, что революционеры-социалисты страдают нетерпением и слишком торопят русскую историю. Их деятельность не бесплодна в том смысле, что они будоражат общество, побуждают правительство к реформам. Но бывает и другое: напуганная их революционным экстремизмом власть идет вспять; в этом случае их деятельность косвенным образом подталкивает общество к реакции.

Истинно полезными деятелями русского прогресса, по Тургеневу, должны явиться «постепеновцы». В письме к А. П. Философовой от 11 сентября 1874 года он заявлял: «Времена переменились; теперь Базаровы *не нужны*. Для предстоящей общественной деятельности не нужно ни особенных талантов, ни даже особенного ума — ничего крупного, выдающегося, слишком индивидуального; нужно трудолюбие, терпение; нужно уметь жертвовать собою

безо всякого блеску и треску — нужно уметь смириться и не гнушаться мелкой и темной и даже низменной работы. Я беру слово: низменной — в смысле простоты, бесхитростности, «terre à terre'а» *. Что может быть, например, низменнее — учить мужика грамоте, помогать ему, заводить больницы и т. д. На что тут таланты и даже ученость? Нужно одно сердце, способное жертвовать своим эгоизмом <...> Чувство долга, славное чувство патриотизма в истинном смысле этого слова — вот всё, что нужно».

«Постепеновцы», которых Тургенев называет «третьей силой» и которые должны занять промежуточное положение между правительственной партией и либералами, с одной стороны, и революционными народниками, с другой, являются в глазах писателя истинными деятелями прогресса, чернорабочими русской истории. Откуда ждет Тургенев появления «третьей силы»? Если в 50-х — начале 60-х годов писатель возлагал надежды на «постепеновцев» «сверху» — культурное дворянство, либеральная партия, — то теперь он считает, что они должны прийти «снизу», из народа.

В творчестве Тургенева 70-х годов вновь пробуждается острый интерес к народной теме. Появляется цикл произведений, продолжающих «Записки охотника». Тургенев дополняет книгу тремя рассказами: «Конец Чертопханова», «Живые мощи» и «Стучит». К ним примыкают тематически повести «Пунин и Бабурин», «Бригадир», «Часы», «Степной король Лир». В этих произведениях Тургенев уходит в историческое прошлое. Разгадку русской жизни он начинает искать теперь не в скоропреходящих типах, а в героях, воплощающих коренные черты национального характера, не подвластные ходу времен. Тургенев преодолевает свой исторический пессимизм конца 60-х годов, проявившийся в повестях «Призраки», «Довольно» и в романе «Дым». Писатель с грустью утверждал там, что в ходе истории меняются лишь внешние формы жизни, а зло остаётся; теперь он делает акцент на другом — остаётся и добро! В пестром многообразии русской жизни Тургенев ищет теперь проблески величия и силы, неистребимость русской сути в характерах своих героев. В ряде произведений — «Пунин и Бабурин», «Часы» — готовится будущая соломинская тема романа «Новь»: Тургенев поэтизирует разночинца с его плебейской гордостью и

* Будничности *(франц.)*.

честностью, с его практичностью и осмотрительностью, чуждой чрезмерной восторженности и неумеренных порывов, — с той самой «нетороопливой сдержанностью ощущений и сил», о которой шла речь в «Поездке в Полесье» и «Дворянском гнезде».

Особую группу произведений 70-х — начала 80-х годов составляют так называемые «таинственные повести» Тургенева: «Собака», «Казнь Тропмана», «Странная история», «Сон», «Клара Милич», «Песнь торжествующей любви». В них Тургенев обращался к изображению загадочных явлений в человеческой психике: к гипнотическим внушениям, тайнам наследственности, загадкам и странностям в поведении толпы, магической, необъяснимой власти умерших над душами живых, телепатии, галлюцинациям, спиритизму. К концу XIX века и в России, и на Западе к таким явлениям возник живой интерес в связи с кризисом философии позитивизма. Л. Н. Толстой высмеял спиритические увлечения русской интеллигенции в драме «Плоды просвещения». Тургенев отнесся к ним несколько иначе.

В письме к М. А. Милютиной от 22 февраля 1875 года Тургенев так определил основы своего миросозерцания: «Я преимущественно реалист — и более всего интересуюсь живою правдою людской физиономии; ко всему сверхъестественному отношусь равнодушно, ни в какие абсолюты и системы не верю, люблю больше всего свободу — и, сколько могу судить, доступен поэзии».

В «таинственных повестях» Тургенев верен этим принципам своего творчества. Касаясь загадочных явлений в жизни человека и общества, ни о каком вмешательстве потусторонних сил он предпочитает не говорить. Пограничные области человеческой психики, где сознательное соприкасается с подсознательным, он изображает с объективностью реалиста, оставляя для всех «сверхъестественных» феноменов возможность «земного», посюстороннего объяснения. Привидения и галлюцинации мотивируются отчасти расстроенным воображением героев, болезненным состоянием их психики, нервным перевозбуждением. Тургенев не скрывает от читателя, что некоторым явлениям он не может подыскать реалистической мотивировки, хотя и не исключает её возможности в будущем, когда знания человека о мире и самом себе углубятся и расширятся.

В «таинственных повестях» Тургенев не оставляет своих размышлений над загадками русского характера.

В «Странной истории», например, его интересует склонность русского человека к самоотречению и самопожертвованию. Героиня повести Софи, девушка из аристократической семьи, нашла себе наставника и вождя в лице юродивого Василия, проповедующего в духе раскольнических пророков конец мира и приход антихриста. Тургенев говорит о таинственной силе воли, которой этот юродивый обладает, и о столь же таинственной жажде самоотвержения русской женской души. Сам факт служения Софи ужасному и грубому юродивому вызывает у рассказчика повести неприятные чувства. Но нравственные побуждения героини заслуживают удивления и восхищения. «Я не понимал поступка Софи, но я не осуждал её, как не осуждал впоследствии других девушек, так же пожертвовавших всем тому, что *они* считали правдой, в чем *они* видели своё призвание». Тургенев намекал здесь на русских девушек-революционерок, образ которых получил развитие в героине романа «Новь» Марианне.

Тургенев завершил работу над этим романом в 1876 году и опубликовал его в январском — февральском номерах журнала «Вестник Европы» за 1877 год. Действие «Нови» отнесено к самому началу «хождения в народ», к 1868 году. Тургенев показывает, что народническое движение возникло не случайно. Крестьянская реформа 1861 года, в чем писатель теперь убедился, обманула ожидания, положение народа после 19 февраля не только не улучшилось, но резко ухудшилось. Главный герой романа революционер Нежданов говорит: «Пол-России с голода помирает, «Московские ведомости» торжествуют, классицизм хотят ввести, студенческие кассы запрещаются, везде шпионство, доносы, ложь и фальшь — шагу нам ступить некуда».

Но Тургенев обращает внимание и на слабые стороны народнического движения. Молодые революционеры — это русские Дон Кихоты, не знающие реального облика своей Дульсинеи — народа. В романе изображается трагикомическая картина народнической революционной пропаганды, которую ведет Нежданов: «Слова: «За свободу! Вперед! Двинемся грудью!» — вырывались хрипло и звонко из множества других, менее понятных слов. Мужики, которые собрались перед амбаром, чтобы потолковать о том, как бы его опять насыпать, <...> уставились на Нежданова и, казалось, с большим вниманием слушали его речь, но едва ли что-нибудь в толк взяли, потому что когда он, наконец, бросился от них прочь, крикнув последний раз: «Свобода!» — один из них, самый прозорливый, глубокомысленно покачав головою, промолвил: «Какой строгий!» — а другой заметил: «Знать, начальник какой!» — на что прозорливец возразил: «Известное дело — даром глотку драть не станет. Заплачут теперича наши денежки!»

Конечно, в неудачах «пропаганды» такого рода виноват не один Нежданов. Тургенев показывает и другое — темноту народа в вопросах гражданских и политических. Но так или иначе между революционной интеллигенцией и народом встает глухая стена непонимания. А потому и «хождение в народ» изображается Тургеневым как хождение по мукам, где русского революционера на каждом шагу ждут тяжелые поражения, горькие разочарования.

Драматическое положение, в котором оказываются народники-пропагандисты у Тургенева, накладывает свою печать и на их характеры. Вся жизнь Нежданова, например, превращается в цепь постоянно нарастающих колебаний. Герой то и дело бросается в крайности: то в отчаянные попытки действовать, то в пучину сомнений, разочарований и душевной депрессии. Эти метания трагически отзываются и в личной жизни героя. Нежданова любит Марианна. Эта девушка готова умереть за идеалы любимого человека. Но Нежданов, теряющий веру в их осуществимость, считает себя недостойным любви. Повторяется история, знакомая нам по роману «Рудин», но только в роли «лишнего человека» здесь оказывается революционер. Да и финал этой истории более трагичен: в припадке отчаяния Нежданов кончает жизнь самоубийством.

На почве глубоких разочарований у народников действительно участились тогда случаи самоубийства. Лидеры народнического движения понимали их историческую неизбежность. П. Л. Лавров, например, утверждал, что в начале движения появляются мученики идеи, способные на практически бесполезные жертвы ради грядущего торжества социалистических идеалов. Это будет «пора бессознательных страданий и мечтаний», «фанатических мучеников», пора «безрасчетливой траты сил и бесполезных жертв». Лишь со временем наступит этап «спокойных, сознательных работников, рассчитанных ударов, строгой мысли и неуклонной терпеливой деятельности».

Тургенев не отступил от исторической правды, показывая типические черты первой фазы народнического движения. Однако неудачи первых шагов этого движения

он абсолютизировал, видя в них роковую неизбежность, вечное революционное донкихотство.

Трагедия Нежданова заключается не только в том, что он плохо знает народ, а политически неграмотный мужик его не понимает. В судьбе героя большую роль играет его происхождение, наследственные качества его натуры. Нежданов — полуплебей-полуаристократ. От дворянина-отца ему достались в наследство эстетизм, художественная созерцательность и слабохарактерность. От крестьянки-матери, напротив, — плебейская кровь, несовместимая с эстетизмом и слабодушием. В натуре Нежданова идет постоянная, ни на секунду не прекращающаяся борьба этих противоположных качеств, между которыми не может быть примирения. А потому эта борьба изматывает, истощает духовные силы героя, приводит его к самоубийству.

Нота «физиологического фатализма» проходит через весь роман и относится не только к Нежданову. Все революционеры-народники оказываются у Тургенева физически или психически болезненными людьми. Таков Маркелов с его душевной усталостью, являющейся врожденным свойством его натуры; таков Паклин с его болезненным шутовством — прямым следствием физической неполноценности. Случайно ли это? По-видимому, нет. Тургенев считает революционный героизм и энтузиазм противоестественным делом. Потому-то и уходят у него в ряды революционеров не вполне здоровые люди. Писатель восхищается их самоотверженными порывами, сочувствует их неудачам, но в то же время сознает, что эти герои не могут быть терпеливыми, мужественными и трезвыми тружениками исторического прогресса.

Роману «Новь» Тургенев предпосылает эпиграф «из записок хозяина-агронома»: «Поднимать следует новь не поверхностно скользящей сохой, но глубоко забирающим плугом». В этом эпиграфе содержится прямой упрек «нетерпеливцам»: это они пытаются поднимать «новь» поверхностно скользящей сохой. В письме к А. П. Философовой от 22 февраля 1875 года Тургенев сказал: «Пора у нас в России бросить мысль о «сдвигании гор с места» — о крупных, громких и красивых результатах; более, чем когда-либо, следует у нас удовлетворяться малым, назначать себе тесный круг действия».

Глубоко забирающим плугом поднимает «новь» в романе Тургенева «постепеновец» Соломин. Демократ по происхождению и по складу характера, он сочувствует

революционерам и уважает их. Но путь, который они избрали, Соломин считает заблуждением, в революцию он не верит. Представитель «третьей силы» в русском освободительном движении, он, как и революционеры-народники, вызывает подозрения и преследования со стороны правительственных консерваторов калломейцевых и действующих «применительно к подлости» либералов сипягиных. Эти герои изображаются теперь Тургеневым в беспощадном сатирическом освещении. Никаких надежд на правительственные «верхи» и дворянскую либеральную интеллигенцию писатель уже не питает. Он ждет реформаторского движения снизу, из русских демократических глубин. В Соломине писатель подмечает характерные черты великоросса: так называемую «сметку», «себе на уме», «способности и любовь ко всему прикладному, техническому, практический смысл и своеобразный деловой идеализм». Поскольку в жизни таких Соломиных были еще единицы, герой получается у писателя слишком декларативным. В нем резко проступают черты либерально-демократической доктрины Тургенева.

В отличие от революционеров, Соломин занимается культурнической деятельностью: он организует фабрику на артельных началах, строит школы и библиотеки. Именно такая, не громкая, но практически основательная работа способна, по Тургеневу, обновить лицо родной земли. Россия страдает не от нехватки героического энтузиазма, а от практической беспомощности, от неумения «не спеша делать» простое и будничное дело. Тургенев отчетливо видел в эти годы слабые стороны русского духовного максимализма. Гигантомания нередко оборачивалась тем, что всё относительное, конечное, всё устоявшееся и закрепленное, всё, ушедшее в уют, склонны были считать буржуазным, филистерским. Конечно, эта черта в характерах русских героев была надежным противоядием мещанству в любых его формах. Но, достигая предельных высот, максималист впадал в крайности отрицания всего временного, относительного, преходящего. Таким народникам-утопистам Тургенев и противопоставляет в «Нови» трезвого практика Соломина, кровно связанного с родной почвой, осмотрительного и делового.

Народники-лавристы относились к людям соломинского типа довольно терпимо и видели в них своих союзников. Лавров подразделял русских либералов на «конституционалистов» и «легалистов». Первые ограничивали свои требования заменой самодержавия конститу-

ционным образом правления. Вторые искренне верили в возможность «легального переворота» и перехода России к народному самоуправлению через артель и школу без напрасных революционных жертв и потрясений. Лавров допускал возможность союза народников-революционеров с «легалистами». Обращаясь к последним, он писал: «Во-первых, вы не верите в правительство: это — общее для нас отрицание. Во-вторых, вы признаете права народа на строй общества, где *его* интересы, экономические и нравственные, будут стоять на первом месте: это — общее для нас утверждение». Нетрудно заметить, что соломинская программа целиком и полностью совпадает со взглядами «легалистов». В понимании Тургенева, Соломин — не типичный буржуазный «постепеновец», рассчитывающий на реформы «сверху», а «постепеновец «снизу», народный деятель и просветитель. Для такого человека Нежданов и Марианна — свои люди, так как у них общая цель — благо народа. Различия лишь в средствах достижения этой цели. Вот почему Лавров называл Соломина «уравновешенным революционером», а одна из современниц Тургенева, дочь К. Д. Кавелина С. К. Брюллова, народница по убеждениям, приветствовала Соломиных как «желанных для русской земли пахарей». «Только тогда, когда они вспашут «новь» вдоль и поперёк, на ней можно будет сеять те идеи, за которые умирают наши молодые силы».

Таким образом, союз Тургенева с видными деятелями, идеологами народничества и революционно настроенной молодежью был не случайным. Он возникал на почве существенной демократизации общественных взглядов писателя на пути и перспективы обновления России.

В «Нови» восторжествовал новый тип тургеневского общественного романа, контуры которого были намечены в романе «Дым».

«Дым» обозначил переход к новой романной форме. Общественное состояние пореформенной России показывается здесь уже не через судьбу одного героя времени, но с помощью широких картин жизни, посвященных изображению различных социальных и политических группировок общества.

В центре романа «Новь» оказываются уже не столько индивидуальные судьбы отдельных представителей эпохи, сколько судьба целого общественного движения — народничества. Нарастает широта охвата действительности, заостряется общественное звучание романа. Любовная

тема уже не занимает в «Нови» центрального положения и не является ключевой в раскрытии характера Нежданова. Ведущая роль в организации художественного единства романа принадлежит социальным конфликтам эпохи: трагическому противоречию между революционерами-народниками и крестьянством, столкновениям между революционной, либерально-демократической и консервативной партиями русского общества.

Роман «Новь» на первых порах вызвал бурное неприятие со стороны левых и правых сил русского общества. Снова зашумела критическая буря. В какой-то мере Тургенев её предвидел: на первом листе первой тетради романа он написал стихи Пушкина: «Услышишь суд глупца и смех толпы холодной», — а Полонскому сказал: «Если за «Отцов и детей» меня били палками, то за «Новь» меня будут лупить брёвнами».

Первым ударил по «Нови» известный теоретик народничества, критик «Отечественных записок» Н. К. Михайловский, обозвавший Тургенева «безумнейшим человеком, который будет запускать свои неумелые пальцы в зияющие раны нового поколения». «Славно сказано!» — заметил Тургенев. Затем начал бранить «Голос» и, как писал Тургенев, «за самыми ничтожными исключениями брань посыпалась «crescendo», и в «Гражданине», наконец, было напечатано, как один из русских читателей бросил книгу на пол со словами: «Гадость! Мерзость!»

«Я никогда не подвергался такому единодушному осуждению, — сетовал Тургенев. — У меня насчет «Нови» раскрылись глаза, — это вещь неудавшаяся. Не говорю уже об единогласном осуждении всех органов печати, которых, впрочем, нельзя же подозревать в заговоре против меня, — но во мне самом проснулся голос — и не умолкает. Нет! нельзя пытаться вытащить самую суть России наружу, живя почти постоянно вдали от неё. Я взял на себя работу не по силам... В судьбе каждого из русских несколько выдающихся писателей была трагическая сторона; моя — абсентизм, причины которого было бы долго разыскивать, но влияние которого неотразимо высказалось в этом последнем — именно последнем произведении».

Отрыв Тургенева от России еще более усугублялся влиянием буржуазно-либеральных сотрудников журнала «Вестник Европы». Даже П. В. Анненков вынужден был предостеречь Тургенева от опасности космополитических крайностей, которые были свойственны редактору журна-

ла М. М. Стасюлевичу и постоянному сотруднику В. Д. Спасовичу. Когда Тургенев, по обычаю, послал на суд Анненкову автограф «Нови», даже старого западника покоробили в финале следующие слова Паклина, героя романа: «Вы про римлян слыхали? Ну да как вам не знать — ведь латыни вы, по вашему званию, обучались! Народ был, доложу вам, грубый, сильный, практический, безо всякого идеала — и ничего после себя не оставил, кроме большого имени да большого страха, потому: завоеватели! крепкая, плотная масса! Кулаки! Вот и мы, русские, такие же будем, только с прибавкой демократического элемента — и к этому же результату нас и ведут люди вроде Соломина. К Риму — пополам с Америкой! — к царству кулаков. Впрочем, и американцы похожи на римлян. Сам-то Соломин — не кулак — напротив — он, коли хотите, и широкий человек, народный, простой — да за ним потянутся кулаки».

С трудом сдерживая возмущение, П. В. Анненков так охарактеризовал слова Паклина, от которых Тургенев сразу же отказался:

«Труднее будет изменить конец романа, т. е., собственно, не конец, а речь о России, вложенную Вами в уста паршивого Паклина, но собственно принадлежащую Вам самим. Уже не говоря о неудобстве скрываться за таким господином, причем смешение обоих неизбежно, но сама речь, по-моему, — и не верна, и обидна по своей неверности. Во-первых, основная мысль её, почти теми же словами, даже сказана впервые страшным реакционером Жозефом де Местром, который на запрос министра Разумовского, что он думает о плане основать Лицей, отвечал, что Россия никогда не будет иметь ни ученых, ни художников, ни влияния на образованность и должна ограничиться тем, чем ограничивался Рим, столь же мало способный к интеллектуальной жизни, как и она, то есть добиваться чести быть крепким и могущественным государством, основанным на религии и императорской власти... Какая же надобность повторять его буквально и навязываться в родство к обскуранту, хотя бы и гениальному! Это ли последнее слово романа? Во-вторых подумайте, друг, отымать от общества надежду когда-либо видеть императора не русского пошиба, а человеческого, конституционного, смягченного, просвещенного, значит просто понапрасну оскорблять общество, публично награждать его пощечиной, унижать его по-вельможески перед Европой, а так выходит из слов Паклина или того, кто за ним скрывается. Конечно, иной Спасович и порадуется этой речи, но ведь Вас не один Спасович будет читать, а вся Россия. Какая надобность ругаться над ней, даже в будущем? Да и с чужого голоса еще. Брани партий Вы должны ожидать, но брани всего государства — и справедливой — да у кого есть плечи, чтобы выдержать это. Я не буду спокоен, пока Вы не перемените этого места, ибо Катоном всепрезирающим можно быть, но неосновательным Катоном быть нельзя. Как изменить эту тираду, я не знаю — это Ваше дело: найдите заключение, которое было бы достойно основной идеи романа — вот и всё. А основная идея его ясна — всё это дикое, неумелое, почти позорное брожение есть результат невозможности существовать с абсолютизмом. Народ еще не чувствует этой невозможности, а образованный класс, начиная с гимназиста и семинариста, уже страдает акутным (острым. — *Ю. Л.*) абсолютизмом, вошедшим внутрь. От этого противоречия и весь кавардак. <...>

Безымянная Русь. Да, это та, которая уже стоит на кафедрах, пишет в журналах, мечется из стороны в сторону под предостережениями, увольнениями, притеснениями. Об ней-то надо упомянуть, она-то и упразднит безобразников, в ней-то и будущность».

Соглашаясь с Анненковым в отрицательной оценке паклинской характеристики России, Тургенев иначе смотрел на молодых революционеров. В отличие от Анненкова, он не мог назвать их порывы «безобразными». Еще осенью 1875 года, при встрече со Стасюлевичем в Буживале, Тургенев так говорил о цели нового романа:

«Молодое поколение было до сих пор представлено в нашей литературе либо как сброд жуликов и мошенников — что, во-первых, несправедливо, — а во-вторых, могло только оскорбить читателей-юношей как клевета и ложь; либо это поколение было, по мере возможности, возведено в идеал, что опять несправедливо — и сверх того, вредно. Я решился выбрать среднюю дорогу — стать ближе к правде; взять молодых людей, большей частью хороших и честных — и показать, что, несмотря на их честность, самое дело их так ложно и не жизненно, что не может не привести их к полному фиаско. Насколько мне это удалось — не мне судить; но вот моя мысль... Во всяком случае, молодые люди не могут сказать, что за изображение их взялся враг; они, напротив, должны чувствовать ту симпатию, которая живет во мне — если не к их целям, то к их личностям. И только таким

образом может роман, написанный для них и о них, принести им пользу.

Я предвижу, что на меня посыплются упреки из обоих лагерей; но ведь то же самое случилось и с «Отцами и детьми»; а между тем изо всего моего литературного прошлого я имею причины быть довольным именно этой повестью...»

Упреки действительно посыпались с двух сторон, причем они превзошли ожидания. Возникло сомнение в собственном таланте, в способности верно понимать и глубоко чувствовать существо русского общественного движения. В мае 1877 года Тургенев писал своим друзьям: «Я перестаю писать не потому, что критика со мной обходится строго — а потому, что, живя почти постоянно за границей, я лишен возможности прилежных и пристальных наблюдений над русской жизнью, которая, к тому же, усложняется с каждым годом».

Но причина «неудач» лежала все-таки глубже: Тургенев своим романом не только попал в настроение минуты, но и вновь забежал вперед. Первый же процесс «пятидесяти» стал подтверждать некоторую правоту его прогнозов, затем начался процесс Веры Засулич. Во Франции «Новь» вышла уже со следующим примечанием от издателей: «Если бы роман г. Тургенева не был написан и даже напечатан раньше политического процесса, который происходит сейчас в петербургском Сенате, можно было бы подумать, что он скопировал этот процесс, тогда как он предсказал его. В этом процессе мы, действительно, видим те же самые благородные иллюзии и то же полное разочарование; мы вновь находим там всё, вплоть до неожиданных браков и браков фиктивных. Роман «Новь» внезапно сделался историческим».

И вот уже в апреле 1877 года преданный Тургеневу друг и поверенный А. В. Топоров с радостью сообщал: «Слышал я, что Вы опечалены отзывами нашей печати о «Нови» — напрасно. Поверьте, что это произведение с каждым днем будет приобретать больше и больше почитателей... Даже критиканы уже начинают раскаиваться в своих первых отзывах. Ларош во второй статье говорит, что «это произведение по таланту не ниже «Рудина» и «Дворянского гнезда», а рецензент «Санкт-Петербургских ведомостей» во вчерашнем фельетоне пишет, что если бы роман Ваш появился двумя месяцами спустя, т. е. после процесса пятидесяти, то критика иначе бы отнеслась к

нему, что она, бедная, не знала, что в этом процессе явится хождение в народ, и переодевание, и проч.» — «Я знаю, что в критике наступила реакция в мою пользу», — отвечал Тургенев.

Через год революционерка-народница Вера Засулич стреляла в петербургского градоначальника Трепова, жестоко обращавшегося с ее заключенными товарищами, и суд присяжных оправдал её. «История с Засулич решительно взбудоражила всю Европу, — писал Тургенев Стасюлевичу. — Из Германии я получил настоятельное предложение написать статью об этом процессе, так как во всех журналах видят интимнейшую связь между Марианной в «Нови» и Засулич, — и я даже получил название «der Prophet» («пророк»).

Изменилось отношение к роману и со стороны революционной молодежи. Не случайно в народнической прокламации, написанной П. Ф. Якубовичем после смерти Тургенева, утверждалось, что «постепеновец» по убеждениям, Тургенев «служил революции сердечным смыслом своих произведений». «Он признал нравственное величие «русской нови», — вторил Якубовичу П. Л. Лавров. А тургеневский знакомец, революционер-народник Герман Лопатин, сначала относившийся к роману с осуждением, впоследствии сказал: «Он знал, что мы потерпим крах, и все же сочувствовал нам».

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Уже в самом начале 70-х годов Тургенев стал ощущать первые признаки обнадеживающих перемен в отношении к нему со стороны русской молодежи, долгое время таившей обиду за Базарова. В феврале 1871 года «масса публики, кипящей молодостью», оказала ему в Петербурге такой восторженный прием, что он растерялся от неожиданности: «Что касается меня, — писал Тургенев Полине Виардо, — то должен сознаться, что никогда еще я не был предметом таких — простите мне это слово! — *оваций*... У меня было такое ощущение, словно крупный грозовой дождь, быстрый и сильный, льется мне на голые плечи. Я читал отрывок из «Записок охотника» под названием «Бурмистр»; мне кажется, я прочел довольно хорошо, напряжение моих нерв ослабло за время всего этого шума, и я был спокоен, притом публика была так благожелательна».

В обществе русских людей в Париже в 1874 году Тургенев с радостной улыбкой рассказывал об одном случившемся с ним «приключении»:

— По дороге из деревни в Москву, на одной маленькой станции, вышел я на платформу. Вдруг подходят ко мне двое молодых людей: по костюму и по манерам вроде мещан ли, мастеровых ли. «Позвольте узнать, — спрашивает один из них, — вы будете Иван Сергеевич Тургенев?» — «Я». — «Тот самый, что написал «Записки охотника»?» — «Тот самый...» Они оба сняли шапки и поклонились мне в пояс. «Кланяемся вам, — сказал все тот же, — в знак уважения и благодарности от лица русского народа». Другой только молча еще поклонился. Тут позвонили. Мне бы догадаться сесть с ними в третий класс, а я до того растерялся, что не нашелся даже, что им ответить. На следующих станциях я их искал, но они пропали. Так я и не знаю, кто они такие были...

Что-то изменялось в русской жизни, чем-то новым повеяло на Тургенева из её таинственных глубин. И было досадно на самого себя, обреченного на прозябание во Франции: «Я готов допустить, что талант, отпущенный мне природой, не умалился; но мне *нечего* с ним делать... Голос остался — да *петь* нечего... А петь *нечего* — потому что я живу вне России; а не жить вне России я по обстоятельствам — всесильным — не могу. Следовательно: заключение выводите сами», — пишет Тургенев М. А. Милютиной. «Что же касается до литературы, тут я, голубчик мой, совсем швах; нельзя, решительно нельзя писать русские вещи, рисовать русскую жизнь, пребывая за границей», — жалуется он А. Ф. Писемскому.

И в то же время у Тургенева появляется потребность как-то переменить привычный образ жизни. «И у нас весна, — пишет он П. В. Анненкову в 1873 году, — но и весна мне нипочем. Право, нужно бы, чтобы кто-нибудь меня встряхнул хорошенько — хоть Вы, например, — а то периной я стал, да еще не немецкой, а вот какие бывают у нас в купеческих домах, что от одного вида зевается. <...> Из Карлсбада на короткий срок сунусь в нашу великую Расею — быть может, прямо в Орловскую губернию. Хорошо бы вместе прокатиться».

И вот жизнь, как бы в ответ на желания Тургенева, основательно встряхнула его. 23 июня 1876 года он писал из Спасского Г. Флоберу: «Я вообще сейчас не могу ничего читать, кроме газеты, которую здесь получаю и которая сообщает о событиях на Востоке и заставляет меня размышлять. Думаю, что это начало конца! Но до тех пор сколько это сулит отрубленных голов, изнасилованных и истерзанных женщин, девушек, детей! Полагаю также, что мы (я имею в виду русских) не сможем избежать войны».

Это было действительно «начало конца» того славянского освобождения, о котором мечтал в 1848 году друг Тургенева М. А. Бакунин. Когда в 1875 году в Боснии и Герцеговине вспыхнуло восстание против турецкого порабощения, русское общество охватил патриотический подъём. По всей стране возникали славянские благотворительные комитеты. Петербургское общество организовало сбор приношений в пользу жертв восстания и обратилось к русскому народу с воззванием, разослав подписные листы по всей России. Для сборов средств в провинции были посланы особые уполномоченные, предпринято несколько изданий: сборник «Братская помощь», перевод брошюры английского публициста Гладстона «Болгарские ужасы и восточный вопрос», организована бесплатная раздача рисунков («Балканская мученица») и портретов героев восстания.

Деятельность Московского славянского комитета возглавил Иван Сергеевич Аксаков. В кружок патриотов-славянофилов, группировавшихся около Аксакова, входил генерал Михаил Григорьевич Черняев. Весною 1875 года, когда вспыхнуло восстание в Герцеговине, Черняев первый почувствовал в нем начало крупного международного кризиса, связанного с судьбами восточного славянства. Он вступил в личные сношения с сербским правительством и был приглашен в Белград для руководства военными действиями.

Русское дипломатическое ведомство, узнав об этих секретных переговорах, приняло меры к тому, чтобы не дозволить выезд. Но Черняев, используя все свои связи с русскими патриотами в высокопоставленных кругах, приобрел заграничный паспорт и тайно отправился за границу. Переданный по телеграфу приказ задержать его на границе опоздал. В июне 1876 года Черняев был уже в Белграде. Известие о его назначении главнокомандующим сербской армией явилось сигналом к наплыву добровольцев в Сербию. Туда был отправлен санитарный отряд, 360 офицеров, 289 нижних чинов, 176 разночинцев и 120 донских казаков в полном вооружении с лошадьми. В числе добровольцев оказались известные врачи Склифософский и Боткин, писатели и художники — Глеб Успен-

ский, Гаршин, Поленов, Константин Маковский и Верещагин.

В апреле 1876 года началось восстание в Болгарии. В ответ последовали со стороны Турции жесточайшие репрессии, массовое истребление болгарского населения. Около 60 местечек в южной Болгарии было разорено и свыше 12 тысяч болгар обоего пола и различного возраста зверски замучено, зарезано или повешено. Особенно беспощадную резню и расправу устроили турки в местечке Батак в Родопских горах. Русская печать сообщала ужасающие подробности этих зверств. В России поднялась волна гнева и возмущения. Однако правительство цивилизованной Англии, союзницы Турции, не только не принимало мер к прекращению этого кровопролития, но молчаливо содействовало ему.

21 июня 1876 года в Орле учреждается Комитет для вспомоществования славянским семействам Болгарии, пострадавшим от зверств турецких войск после апрельского восстания. За один месяц орловцы собрали около 4 тысяч рублей и отослали их в Московский славянский комитет. Вероятно, в числе этих средств была лепта и от Ивана Сергеевича Тургенева. Но главную лепту в общеславянское дело он внес писательским словом.

Глубоко потрясенный сообщениями русских газет о событиях на Балканах, возмущенный позицией «цивилизованной» Англии, летом 1876 года, на пути из Москвы в Петербург Тургенев написал стихотворение «Кро́кет в Виндзоре». В Виндзорском бору английская королева Виктория играет в крокет, и вот ей чудится, что крокетные шары превращаются в «целые сотни голов, обрызганных кровию черной»:

То головы женщин, девиц и детей...
На лицах — следы истязаний,
И зверских обид, и звериных когтей —
Весь ужас предсмертных страданий.

И вот королевина младшая дочь —
Прелестная дева — катает
Одну из голов — и все далее, прочь —
И к царским ногам подгоняет.

Головка ребенка в пушистых кудрях,
И ротик лепечет укоры...
И вскрикнула тут королева — и страх
Безумный застлал ее взоры.

. . . .

Вернулась домой и в раздумье стоит...

Склонились тяжелые вежды...
О ужас! кровавой струею залит
Весь край королевской одежды!
«Велю это смыть! Я хочу позабыть!
На помощь, британские реки!»
«Нет, ваше величество! Вам уж не смыть
Той крови невинной вовеки!»

Петербургская газета «Новое время», в редакции которой Тургенев оставил эти стихи, не решилась их напечатать. Но, как писал Тургенев, стихи «облетели всю Россию», «читались на вечерах у наследника», были сразу же переведены на немецкий, французский, английский языки. Молодежь России заучивала их наизусть. В ноябре 1876 года «Крокет в Виндзоре» появился в болгарской газете «Стара Планина», издававшейся в Бухаресте участником апрельского восстания С. С. Бобчевым.

Даже равнодушный к литературным делам брата Николай Сергеевич послал «запрос» из Москвы, точно ли автор прославленных стихов — И. С. Тургенев, и получил ответ:

«Милый брат,
Я понимаю твои сомнения насчет моего авторства в деле «Крокета»; это совсем не по моей части и не в моем духе. И, однако, представь! Эту штуку я точно написал или, вернее, придумал ночью, во время бессонницы, сидя в вагоне Николаевской дороги — и под влиянием вычитанных из газет болгарских ужасов».

Осенью в Париже Тургеневу жилось неспокойно: «От времени до времени меня ужасно подмывает к вам отправиться — в Россию... Там совершается нечто удивительное, вроде «крестовых походов». Война мне кажется совершенно неизбежной — и какие она размеры примет — ты един, господи, веси!» — писал он Полонскому.

Когда сербские войска под командованием генерала Черняева и при широком участии русских добровольцев терпят поражение, Тургенев сообщает: «Сербская катастрофа меня очень огорчает. Будь мне только 35 лет, кажется, уехал бы туда».

Жизнь во Франции становится невыносимой. Катастрофа в Сербии не только не вызывает сострадания во французском обществе, но выводит наружу «странный факт»: «Нас, русских (и славян) везде ненавидят и никакого другого чувства не питают». Премьер-министр Англии Дизраэли тщательно готовит с помощью своих эмиссаров в

Европе невиданный по своему размаху русофобский шабаш в буржуазной прессе.

«Жить русскому за границей... невесело: невесело видеть, до какой степени все нас ненавидят, все, не исключая даже французов! Россия должна замкнуться в самое себя и не рассчитывать ни на какое внешнее сочувствие». «Европа нас ненавидит — *вся Европа без исключения; мы одни* — и должны остаться одни».

Переживая русские неудачи, Тургенев, с другой стороны, как либерал и западник, не может принять той религиозно-славянофильской окраски, которую неизбежно принимает в России общественный подъем. В ноябре 1876 года он пишет: «Я, Вы знаете, не славянофил и никогда им не буду; сочувствовать глубоко движению, охватившему всю Россию, уже потому не в состоянии, что оно исключительно религиозное; но силу и стихийную громадность его признаю — и сам желаю войны, как единственного исхода из этого взволнованного мрака; да — видя на месте ненависть к нам всей Европы — нельзя наконец не углубиться в самого себя — и не признать за Россией права поступить как ей хочется. Преклоняюсь перед самоотвержением И. С. Аксакова — но не вижу причины самому воспламеняться. Болгарские безобразия оскорбили во мне гуманные чувства: они только и живут во мне — и коли этому нельзя помочь иначе как войною — ну, так война! Зарезанные болгарские жены и дети были бы не христианской веры и не нашей крови — моё негодование против турок не было бы нисколько меньше. Оставить это так, не обеспечить будущность этих несчастных людей было бы *позорно* — и, повторяю, едва ли возможно без войны».

12 апреля 1877 года Россия объявила Турции войну. В мае сестрой милосердия отправлялась в Болгарию Юлия Петровна Вревская, женщина, к которой Тургенев испытывал глубокую сердечную симпатию.

Баронесса Ю. П. Вревская (урожденная Варпаховская) была на 23 года моложе Тургенева. Семнадцатилетней девушкой она вышла замуж за генерала И. А. Вревского, вскоре убитого на Кавказе в 1858 году. Тургенев познакомился с нею в 1873 году. Ю. П. Вревская приезжала к нему в Спасское и гостила там пять дней: «Милая Юлия Петровна, — писал ей Тургенев. — Когда Вы сегодня утром прощались со мною, я — так, по крайней мере, мне кажется — не довольно поблагодарил Вас за Ваше посещение. Оно оставило глубокий след в моей душе —

и я чувствую, что в моей жизни с нынешнего дня одним существом больше, к которому я искренне привязался, дружбой которого я всегда буду дорожить, судьбами которого я всегда буду интересоваться».

Тургенев встречался с Вревской в Карлсбаде и, очевидно, находился в душевном смятении: «Ужасно хотелось бы перед концом выкинуть какую-нибудь штуку... Не поможете ли?» — обращался он к ней. В письмах встречаются глухие упреки в нерешительности с её стороны: «Одна существует вещь, которая, по-видимому, представляет непреоборимые затруднения... но мне сдается, это происходит оттого, что Вы сами её не желаете».

Наконец, Тургенев признается, что любил Вревскую, «но не настолько необузданно», чтобы просить её руки, да и «другие причины препятствовали». «Вы хотите уверить меня, что Вы не питали «никаких задних мыслей»; увы! я, к сожалению, слишком был в этом уверен. Вы пишете, что Ваш *женский* век прошел; когда мой *мужской* пройдет — и ждать мне весьма недолго — тогда, я не сомневаюсь, мы будем большие друзья — потому что ничего нас тревожить не будет. А теперь мне все еще пока становится тепло при мысли: ну, что если бы она меня прижала бы к своему сердцу *не по-братски*».

И вот теперь она уезжала на фронт сестрой милосердия. Узнав в мае 1877 года о её решении, Тургенев писал: «Сейчас получил Ваше письмо, милая *сестра Юлия* — и спешу отвечать Вам в надежде, что моё письмо Вас застанет еще в Петербурге. Грустно очень думать, что мы не скоро увидимся; тем грустнее, что я, вероятно, двумя-тремя днями не захвачу Вас там!» Подагра держала его в Париже, но, к счастью, приступ прошел, и 22 мая Тургенев приехал в Петербург. Трудно сказать, что он чувствовал, на что рассчитывал. Но, во всяком случае, обстановка в семье Виардо в последние годы вновь стала тяготить его, да так, что даже появилось желание выйти из ложного положения, в котором он там находился.

В марте 1877 года Тургенев писал Я. П. Полонскому:

«Сижу я опять за своим столом; внизу моя бедная приятельница что-то поет совершенно разбитым голосом; а у меня на душе темнее темной ночи... Могила словно торопится проглотить меня: как миг какой, пролетает день, пустой, бесцельный, бесцветный. Смотришь — опять вались в постель. Ни права жить, ни охоты нет; делать больше нечего, нечего ожидать, нечего даже желать...

Ты забываешь, что мне 59-й, а ей 56-й год; не только

она не может петь — но при открытии того театра, который ты так красиво описываешь, ей, той певице, которая некогда создала Фидес в «Пророке», даже места не прислали: к чему? Ведь от неё уже давно ждать нечего... А ты говоришь о «лучах славы», о «чарах пения»... Душа моя, мы оба — два черепка давно разбитого сосуда. Я, по крайней мере, чувствую себя урыльником в отставке».

К этому времени Тургенев уже выдал замуж всех дочерей Виардо, снабдив их приданым, во многом превышавшим выделенное своей собственной дочери...

...Тургенев встретился с Ю. П. Вревской перед ее отъездом в Яссы в Павловске, на даче у Я. П. Полонского, и был чрезвычайно рад этому свиданию. На сей раз проклятая «катковка» — так он в шутку называл свою болезнь — его не подвела. Потом он получал трогательные письма от Юлии Петровны из Болгарии.

Именно Ю. П. Вревская сообщила Тургеневу в Париж о тяжелой, неизлечимой болезни Н. А. Некрасова, о его желании примирения и советовала написать Некрасову письмо. «Я бы сам охотно написал Некрасову, — отвечал Тургенев, — перед смертью все сглаживается — да и кто из нас прав — кто виноват? «Нет виноватых», — говорит Лир... да нет и правых. Но я боюсь произвести на него тяжелое впечатление: не будет ли ему мое письмо казаться каким-то предсмертным вестником».

В Петербурге летом 1877 года Тургенев узнал, что Некрасову уже ничего «казаться» не может; он понимает: дни его сочтены. Так состоялось последнее свидание:

«Мы были когда-то короткими, близкими друзьями... Но настал недобрый миг — и мы расстались, как враги.

Прошло много лет... И вот, заехав в город, где он жил, я узнал, что он безнадежно болен — и желает видеться со мною.

Я отправился к нему, вошел в его комнату... Взоры наши встретились.

Я едва узна̀л его. Боже! что с ним сделал недуг!

Желтый, высохший, с лысиной во всю голову, с узкой седой бородой, он сидел в одной, нарочно изрезанной рубахе... Он не мог сносить давление самого легкого платья. Порывисто протянул он мне страшно худую, словно обглоданную руку, усиленно прошептал несколько невнятных слов — привет ли то был, упрек ли, кто знает? Изможденная грудь заколыхалась — и на съёженные зрачки загоревшихся глаз скатились две скупые, страдальческие слезинки.

Сердце во мне упало... Я сел на стул возле него — и, опустив невольно взоры перед тем ужасом и безобразием, также протянул руку...

...Да... Смерть нас примирила».

«С немалым огорчением узнал я о смерти Некрасова, — писал Тургенев 1 января 1878 года А. В. Топорову из Парижа, — надо было её ожидать — и даже удивительно, как он мог так долго бороться. Никогда не выйдет у меня из памяти его лицо, каким я его видел нынешней весною».

Уходили, один за другим уходили люди, связанные с его прошедшей жизнью, и вместе с ними умирала бо́льшая часть его прошедшего, его молодости, его силы... «Вот и князь Черкасский отправился в ту сторону, иде же несть ни болезни, ни воздыхания, ни устраиваемой Болгарии! Предпоследний славянофил исчез (если только кн. Черкасский был славянофилом); последний, как известно, И. С. Аксаков».

В январе 1878 года прекратились письма от Ю. П. Вревской... А в феврале Тургенев сообщил П. В. Анненкову: «К несчастью, слух о милой Вревской справедлив. Она получила тот мученический венец, к которому стремилась её душа... Её смерть меня глубоко огорчила. Это было прекрасное, неописанно доброе существо. У меня около 10 писем, написанных ею из Болгарии. Я вам когда-нибудь их покажу. Её жизнь — одна из самых печальных, какие я знаю».

«На грязи, на вонючей сырой соломе, под навесом ветхого сарая, на скорую руку превращенного в походный военный гошпиталь, в разоренной болгарской деревушке — с лишком две недели умирала она от тифа.

Она была в беспамятстве — и ни один врач даже не взглянул на неё; больные солдаты, за которыми она ухаживала, пока еще могла держаться на ногах, поочередно поднимались с своих зараженных логовищ, чтобы поднести к её запекшимся губам несколько капель воды в черепке разбитого горшка.

Она была молода, красива; высший свет её знал; об ней осведомлялись даже сановники. Дамы ей завидовали, мужчины за ней волочились... два-три человека тайно и глубоко любили её. Жизнь ей улыбалась; но бывают улыбки хуже слёз.

Нежное кроткое сердце... и такая сила, такая жажда жертвы! Помогать нуждающимся в помощи... она не ведала другого счастия... не ведала — и не изведала. Всякое

другое счастье прошло мимо. Но она с этим давно помирилась — и вся, пылая огнем неугасимой веры, отдалась на служение ближним...»

К освободительной войне Тургенев относился крайне противоречиво. В письме к Полонскому он заявлял: «Да и наконец — с чего мы все в такой раж пришли? То, что у нас теперь совершается, тот же крестовый поход; вещь огромная, историческая — но все-таки все мои симпатии, как сына XIX века, направлены не туда — а к гораздо позднейшим явлениям — хоть бы к революции 89-го года. Восторгаться и бить себя в грудь нечего; разумная, действительная свобода ничего у нас от этого не выиграет, каков бы ни был исход войны».

Либерал-западник, он был обеспокоен судьбою оппозиционного либерального движения, пытавшегося ограничить русское самодержавие конституционной формой правления. Подобно своим друзьям в России, он считал, что победоносная война может укрепить самодержавие и привести к полному краху всех либеральных надежд. Как писал Тургенев П. В. Анненкову: «Будет стоять крепенький морозец — и старая Россия будет по-прежнему кататься по установленному санному пути. А настанет оттепель — она поедет в телеге — и только толчков будет поболее. Другого зрелища наши глаза (Ваши и мои) не увидят — в этом мы можем быть уверены».

Неизменное раздражение вызывает у него фигура генерала Черняева, поскольку вполне бескорыстный и честный сам по себе, Черняев терпел около себя людей сомнительных и предоставлял действовать от своего имени мелочным честолюбцам и карьеристам типа П. А. Монтеверде. Но как объяснить недоброжелательную иронию Тургенева по отношению к приятелю его князю Черкасскому, а также к брату писательницы О. А. Новиковой Н. А. Кирееву — герою сербского национально-освободительного движения?

Получив известие о первых неудачах русских войск в Болгарии, Тургенев пишет Я. П. Полонскому: «...Мне ужасно скверно на душе по милости наших неслыханных глупостей на Востоке — и мне хотелось бы забиться в какую-нибудь нору, чтобы не видеть никого и ничего не слышать! В таком случае лучше всего беречь всю свою дрянь у себя на сердце — и не разливать её ни перед кем». Но — увы — она разливается: «Новость о брате Новиковой превосходна — если только она справедлива. Славянофила на это хватит. Вот другой славянофил, кн. Черкасский, тоже превосходно отличается в Тырново. Как бы его турки не посадили на кол по взятии этого города, которое, кажется, висит уже на носу».

С чем связана тургеневская ирония по отношению к Николаю Алексеевичу Кирееву, который, будучи камер-пажом, отправился добровольцем на Балканы, где, командуя отрядом сербско-болгарской милиции, погиб 6 июля 1876 года в сражении при Вратарнице? Этот человек организовал в 1876 году отправку добровольцев в Сербию, затем сам вступил под именем Хаджи-Гирея в сербскую армию, одержав над турками ряд побед. Среди славянского населения о нем ходили легенды. Тело его было так обезображено турками, что его не могли узнать в груде других трупов, оставшихся после сражения.

Почему с досадой говорит Тургенев о деятельности В. А. Черкасского, возглавившего сразу же по вступлении русских войск на болгарскую землю гражданское управление? Главная квартира действующей армии находилась тогда в Тырново, где и развернулась с июля 1877 года широкая деятельность Черкасского по оказанию помощи разоряемому войной населению.

Ирония над Н. А. Киреевым и В. А. Черкасским, по-видимому, вытекала из противоречивой натуры Тургенева, откликавшейся неприятием на любое *бурное* общественное движение и всеобщий патриотический подъем. Сказывались и западнические убеждения.

В письме к американскому писателю и личному другу Г. Джеймсу Тургенев, опасаясь, что победа России над Турцией неизбежно приведет к войне с Англией, еще раз недвусмысленно высказался по поводу всех русских побед: «Эта война будет — она давно уже предрешена — восточный вопрос не может иначе разрешиться; и война эта будет долгой и тяжелой; я надеюсь, что она закончится изгнанием турок и освобождением славянских народностей, греков и других; но моя страна будет надолго разорена — и мои глаза не увидят даже тех внутренних реформ, которые нам обещаны. Вы легко поймете, что с подобными убеждениями я вижу будущее в черном цвете...»

Но, как заметил один из самых проницательных тургеневских биографов, русский писатель Б. К. Зайцев, «сквозь все тургеневское западничество» просвечивает «его любовь к родной земле, к тетеревиной травке, красными хохолками цветущей в июле, к кустам, обрызганным росистыми каплями, откуда с треском, грохотом может

подняться черныш — чудесный, краснобровый!» «В спорах со славянофилами часто Россию ругает — умом, «либеральной» своей головой, а темными недрами, откуда исходит художество, — весь в России...» Да и в западнических своих суждениях не выдает сказанного за «последние слова»: *«Главное* — не желайте никогда и ни в чем ни высказать, ни выслушать *последнего* слова, как бы справедливо и искренно ни было: эти последние слова большей частью бывают началом новых недоразумений».

И вот в письме к закоренелому западнику М. М. Стасюлевичу, рассказывая о страшных слухах в Париже о положении русских войск, Тургенев оговаривается: «Несомненно, что все это преувеличено; однако, если Вы знаете что-нибудь *верное,* напишите: мое патриотическое чувство очень беспокоится». Узнав о сдаче Карса, он пишет: «Я должен сказать, что давно не испытывал такой патриотической скорби; предчувствия самые мрачные меня терзают». Когда же русские войска одержали, наконец, победу в Малой Азии, Тургенев сообщает брату: «Как и все русские, я порадовался взятию Карса; это очень блестящее дело».

Победоносный штурм Плевны, шипко-шейновское окружение турецкой армии и стремительное движение русских войск к столице Турции Стамбулу вызывают у Тургенева чувство гордости: «А в Турции совершаются чудеса! Здесь все рты разинули от последних наших побед, занятия Адрианополя и т. д. Дай бог заключить скорее почетный и прочный мир».

Однако почетного мира России заключить не пришлось. Подписанный 19 февраля 1878 года Сан-Стефанский мирный договор между Россией и Турцией вызвал враждебную реакцию Англии, Германии и Австро-Венгрии, опасавшихся усиления влияния России на Ближнем Востоке и выхода её к Средиземному морю. Царское правительство приняло унизительные для победителей условия, продиктованные западными державами на Берлинском конгрессе. Блестящую речь против правительства, пошедшего на уступки, произнес в славянском комитете Иван Сергеевич Аксаков. Власти закрыли Московский славянский комитет, а И. С. Аксакова сослали на несколько месяцев в село Варнавино Юрьевецкого уезда Владимирской губернии. Однако вскоре ему разрешили въезд в столицы: авторитет этого человека был слишком велик. Годы освободительной борьбы балканских славян принесли Аксакову славу и всемирную известность. Не случайно же многие

болгарские избирательные комитеты выдвинули его кандидатуру на болгарский престол!

Тургенев, подобно И. С. Аксакову, отнесся к Берлинскому мирному договору 13 июня 1878 года отрицательно. Вмешательство западных держав вызывало у него, в отличие от космополитически настроенной части либералов, резкое неприятие. «Вы знаете, какой я слабый «chauvin» и славянофил, — писал он П. В. Анненкову, — но я сам начинаю желать, чтобы мы пошли к Константинополю — что ли!»

Во Франции жилось неуютно: «Не только англичане и немцы, французы начинают под собою землю грызть... Только и слышишь, что «Варвары! Нашествие варваров!» «Самое курьезное (психологически курьезное) во всем этом деле — ненависть и зависть, которую ощущают теперь в отношении к нам *все* французы без исключения».

«А моя утлая ладья выброшена на чужой берег — и догнивает там в мире и тишине, — пишет Тургенев Фету. — Я сейчас упомянул о «мире и тишине», и точно: если дела будут идти по-прежнему, Франция под эгидой тиерогамбеттовской республики превратится в самую идиллическую страну в целом свете. Посмотришь: везде волнения, бури, бедствия, убийства — а здесь, как говорится, и ветерок не шелохнет. Деньжищев пропасть, ни одного социалистического журнала, благодать и благостыня».

Тянуло домой... Но и Россия тоже повернулась к Тургеневу. На закате дней одна за другой стали возвращаться к нему прежние литературные привязанности. Подали руки старые друзья.

Первым оказался М. Е. Салтыков-Щедрин. Когда во втором номере «Отечественных записок» за 1870 год Тургенев прочел продолжение «Истории одного города», он «хохотал до чихоты» и сообщал Анненкову: «Он нет, нет, да и заденет меня; но это ничего не значит: он прелестен». А в ответ на присланную книгу с дарственной надписью Салтыкова-Щедрина Тургенев отвечал: «Любезнейший Михаил Евграфович... Душевно благодарю Вас за память обо мне и за великое удовольствие, которое доставила мне Ваша книга: прочел я ее немедленно. Не говоря уже о прочих ее достоинствах, эта книга в своем роде драгоценный исторический материал, который ни одним нашим будущим бытописателем обойденным быть не должен. Под своей резко сатирической, иногда фанта-

стической формой, своим злобным юмором напоминающей лучшие страницы Свифта, «История одного города» представляет самое правдивое воспроизведение одной из коренных сторон российской физиономии».

Между Тургеневым и Салтыковым возникла оживленная переписка; Тургенев с истинным наслаждением читает все, что выходит из-под пера Щедрина: «Вы отмежевали себе в нашей словесности целую область, — пишет он, — в которой Вы неоспоримый мастер и первый человек».

В последние годы жизни Тургенев часто встречался с Салтыковым то в Петербурге, то в Париже. Однажды в Буживале Соллогуб решил прочесть Тургеневу и Салтыкову комедию, в которой он ругал молодое поколение на чем свет стоит. «Салтыков взбесился, обругал его, — сообщал Тургенев, — да чуть с ног не свалился от волнения. Я думал, что с ним удар сделается... Он напомнил мне Белинского».

Читая «Благонамеренные речи», Тургенев специально выделил главу «Семейный суд». «Она так хороша, что невольно рождается мысль, отчего Салтыков вместо очерков не напишет крупного романа с группировкой характеров и событий, с руководящей мыслью и широким наполнением?» — обращался Тургенев с вопросом к приятелю. И Салтыков-Щедрин воспользовался тургеневским советом: он написал роман «Господа Головлевы».

— Очень я люблю этого человека, — признавался Тургенев Анненкову, — как он ни вращает глазами и ни старается быть «букой». Он очень наивен и добр. И ругается от избытка этих двух качеств.

Герман Лопатин вспоминал об одном характерном диалоге между Тургеневым и Щедриным в Париже:

«Михаил Евграфович сердито кричал:

— Ну, что ваши Зола и Флобер? Что они дали?

— Они дали форму, — отвечал Тургенев.

— Форму... форму... а дальше что? — допытывался Щедрин. — Помогли они людям разобраться в каком-нибудь трудном вопросе? Выяснили ли они нам что-нибудь? Осветили тьму, нас окружающую? Нет, нет и нет...

Тогда Тургенев, беспомощно разводя руками, спросил Щедрина:

— Но куда же нам-то, Михаил Евграфович, беллетристам, после этого деваться?

— Помилуйте, Иван Сергеевич, я не о вас говорю, — возразил Щедрин, — вы в своих произведениях создали

тип лишнего человека. А в нем ведь сама русская жизнь отразилась. Лишний человек — это наше больное место. Ведь он нас думать заставляет.

Надо вам заметить, что Тургенев до старости не потерял способности краснеть, как юноша. И тут он вспыхнул весь».

Через Салтыкова-Щедрина Тургенев познакомился с кругом молодых писателей народнической ориентации, высоко оценил талант Г. И. Успенского, посетил членов редакции народнического журнала «Русское богатство». Неизменно высоко оценивал Тургенев в беседах с молодежью талант и общественное значение Салтыкова-Щедрина:

— Знаете, что мне иногда кажется: что на его плечах вся наша литература теперь лежит. Конечно, есть и кроме него хорошие, даровитые люди, но держит литературу он.

Вот на ком непростительный грех, что не пишет, вот кто мог быть теперь чрезвычайно полезен — Лев Толстой; но что же вы с ним поделаете: молчит и молчит, да мало еще этого — в мистицизм ударился. Такого художника, такого первоклассного таланта у нас никогда еще не было и нет. Меня, например, считают художником, но куда же я гожусь сравнительно с ним? Ему в теперешней европейской литературе нет равного!

...В апреле 1878 года Тургенев получил от Л. Н. Толстого следующее письмо:

«Иван Сергеевич!

В последнее время, вспоминая о моих с вами отношениях, я, к удивлению своему и радости, почувствовал, что я к вам никакой вражды не имею. Дай бог, чтобы в вас было то же самое. По правде сказать, зная, как вы добры, я почти уверен, что ваше враждебное чувство ко мне прошло еще прежде моего.

Если так, то, пожалуйста, подадимте друг другу руку, и, пожалуйста, совсем до конца простите мне все, чем я был виноват перед вами.

Мне так естественно помнить о вас только одно хорошее, потому что этого хорошего было так много в отношении меня. Я помню, что вам я обязан своей литературной известностью, и помню, как вы любили и мое писанье и меня. Может быть, и вы найдете такие же воспоминания обо мне, потому что было время, когда я искренно любил вас.

Искренно, если вы можете простить меня, предлагаю вам всю ту дружбу, на которую я способен. В наши годы

есть одно только благо — любовные отношения с людьми. И я буду очень рад, если между нами они установятся».

По свидетельству П. В. Анненкова, Тургенев плакал, когда читал это письмо...

«Любезный Лев Николаевич,
я только сегодня получил Ваше письмо, которое Вы отправили poste restante. Оно меня очень обрадовало и тронуло. С величайшей охотой готов возобновить нашу прежнюю дружбу и крепко жму протянутую мне Вами руку. Вы совершенно правы, не предполагая во мне враждебных чувств к Вам: если они и были, то давным-давно исчезли — и осталось одно воспоминание о Вас, как о человеке, к которому я был искренно привязан — и о писателе, первые шаги которого мне удалось приветствовать раньше других, каждое новое произведение которого всегда возбуждало во мне живейший интерес. Душевно радуюсь прекращению возникших между нами недоразумений.

Я надеюсь нынешним летом попасть с Орловскую губернию — и тогда мы, конечно, увидимся. А до тех пор желаю Вам всего хорошего — и еще раз дружески жму Вам руку.

Иван Тургенев».

В августе 1878 года Толстой встретил Тургенева в Туле, и они отправились в Ясную Поляну. Что передумал тогда Тургенев, слушая «ропот колес непрестанный», вспоминая, как двадцать лет тому назад, в 1858 году, он в последний раз был здесь, встречался и прощался с Марией Николаевной... Вспоминалась молодость, Покровское, Снежедь, «разлука с улыбкою странной», вспоминался давно ушедший из жизни, чуткий и скромный человек, друг и приятель Николай Николаевич Толстой.

Сыну Льва Николаевича Сергею было пятнадцать лет, когда он впервые увидел Тургенева. Он вспоминал, что все ждали его с большим нетерпением и любопытством. «Я знал, что Тургенев большого роста, — рассказывал Сергей Львович впоследствии, — но он превзошел мои ожидания. Он показался мне великаном с добрыми глазами, с красноватым лицом, с густыми, хорошо причесанными, белыми, даже желтоватыми волосами и такой же бородой. Сравнительно с ним отец мне показался маленьким (хотя он был роста выше среднего)... В их отношениях чувствовалось, что Иван Сергеевич старший. Мне тогда казалось, что отец к нему относился сдержанно,

любезно и слегка почтительно, а Тургенев к отцу, несмотря на свою экспансивность, немножко осторожно».

Как обычно бывает после длительной разлуки, разговор сначала не клеился, прыгал с пятого на десятое. Давала себя знать и взаимная боязнь «возвратных ощущений». Беседовали о литературе. Тургенев декламировал «Медного всадника». Толстой немножко с ним спорил. К деятельности Петра I он относился отрицательно, осуждая его за деспотизм и произвол. Тургенев возражал, но от решительного спора тоже уклонялся.

Из молодых писателей в России и за рубежом Тургенев горячо рекомендовал Льву Николаевичу Гаршина и Мопассана. Толстой согласно кивал головой, но при этом как-то недоверчиво улыбался...

Но вот прошла первая неловкость — и, по обыкновению, Тургенев завладел разговором и общим вниманием. Бесподобный рассказчик, на этот раз Иван Сергеевич был в особенном ударе: он не мог скрыть радости, что в отношениях с Толстым восстановилась, наконец, дружеская связь. Один сюжет в его рассказах сменялся другим: он вспоминал, как, сидя на гауптвахте за статью о Гоголе, безуспешно заискивал у сторожа, здоровенного унтер-офицера; он изображал под хохот окружающих вареную курицу в супе, свою легавую собаку, делающую стойку. Он так описывал статую «Христос» Антокольского, что все зрительно представляли ее.

Софья Андреевна поинтересовалась, как Тургенев чувствует себя на родине после долгих разлук с нею, не кажется ли ему все русское странным?

Тургенев насторожился и задумался... Вопрос, по-видимому, был для него чуть-чуть болезненным: слишком часто и не без укора задавали ему его русские друзья.

— Вы знаете, Софья Андреевна, — конечно, многое в России поражает. Любой деревне, даже моему Спасскому, далеко до самой захудалой французской деревушки. Крестьянская Русь со времен реформы отнюдь не процветает: разметанные крыши, худые, испитые лица, сплошные кабаки... Еду по дороге из Мценска в Спасское; ямщик попался хмурый, неразговорчивый. Ухаба на ухабе, рытвина на рытвине... Обгоняем телегу — впереди баба правит, сзади сидит, безвольно мотая головой, пьяный мужик. Все лицо у него в кровь разбито, опухло, под левым глазом огромный синяк.

Вдруг молча́ливый мой ямщик заерзал на облучке,

заворчал одобрительно и, показывая кнутом на побитую мужицкую физиономию, торжественно произнес:

— Руцкая работа!

— Да, — продолжал Иван Сергеевич, — потом к этому привыкаешь, перестаешь замечать... Вы знаете, как я люблю родную природу, а деревенская скука действует на меня благотворно. Нигде так хорошо не работается, как в русской деревне. Обычно по приезде я провожу несколько дней безвыходно в саду; я ничего не знаю прелестнее наших орловских старых садов — и нигде на свете нет такого запаха, такой зелено-золотистой серости под чуть-чуть лепечущими липами в этих узких и длинных аллеях, заросших шелковистой травкой и земляникою. Чудо!

Тургенев помолчал, и в его голубых глазах вновь мелькнула лукавая искорка:

— В нашей деревне я с одним не могу примириться. Это — с рытвиной. Отчего во всей Европе нет рытвин?.. Я люблю Францию, но как русского человека меня раздражает во французах национальное самодовольство и мещанская расчетливость. Я не могу не обратить внимания на любопытный факт: насколько русские женщины и девушки образованнее француженок! Точно из темной комнаты войдешь в светлую, когда приедешь в русскую семью...

В эти дни, проведенные в Ясной Поляне, Тургенев словно и забыл о своих болезнях, о своей проклятой подагре, так мучившей его и заставлявшей носить даже особые, мягкие, с широким носком сапоги. Он был весел и подвижен, ходил гулять с яснополянским обществом по окрестностям усадьбы, интересовался хозяйством, восхищался красотами природы.

Сережа Толстой запомнил один живой эпизод. В то время около яснополянского дома кто-то устроил первобытные качели — длинную доску, лежащую своей серединой на перекладине. Проходя мимо, радостно возбужденные Толстой и Тургенев соблазнились нехитрой затеей и, став каждый на конец доски, стали при общем смехе подпрыгивать, подбрасывая друг друга...

Вечером Тургенев читал свой новый рассказ «Собака». Он очень старался, но этот рассказ большого впечатления на слушателей не произвел.

В другой вечер увлекались шахматами. Тургенев был сильный игрок, и Толстой ему проигрывал. С Сережей он

выиграл партию, давая ему ладью вперед. Особенно искусно Тургенев действовал слонами.

— Меня шахматисты называют «Рыцарем слона», — заметил он и вспомнил, как на одном международном шахматном турнире решающую партию ему довелось играть с поляком. Благодаря грубейшей ошибке противника вскоре он получил возможность сделать шах.

— Публика с волнением ждала, сделаю ли я этот ход. Замешался национальный интерес: русский играл с поляком. Подумав, я все же сделал этот выигрышный ход, и поляк сдался, — сказал Иван Сергеевич, а Сережа Толстой заметил, что «патриотическая жилка» билась в этом «неисправимом западнике»...

Вернувшись в Спасское, Тургенев написал Толстому доброе письмо: «Не могу не повторить Вам еще раз, какое приятное и хорошее впечатление оставило во мне мое посещение Ясной Поляны, и как я рад тому, что возникшие между нами недоразумения исчезли так бесследно, как будто их никогда и не было».

На обратном пути из Спасского Тургенев снова завернул к Толстым. Конечно, не все в отношениях писателей оставалось гладким. Тургенев высоко ценил Толстого-художника, но иронически смотрел на его философские и религиозные искания, считая их чудачествами гениального человека. Зная, что это неприятно Льву Николаевичу, он невольно сдерживал себя, но иногда снисходительное невнимание к толстовской философии прорывалось непроизвольно в разговорах и раздражало Толстого. После осеннего посещения Тургеневым Ясной Поляны Толстой писал Фету: «Тургенев на обратном пути был у нас... Он все такой же, и мы знаем ту степень сближения, которая между нами возможна».

1879 год начался для Тургенева очередным горестным известием. «Сообщаю Вам, любезнейший Павел Васильевич, — писал Тургенев Анненкову, — постигшее меня горе: в прошлое воскресенье брат мой Николай Сергеевич скончался в тульской своей деревне. Мы с ним виделись редко, интересов общих не имели... а все-таки брат! Тут есть кровная, бессознательная связь, которая сильнее многих других».

14 февраля Тургенев был в Москве. Этот приезд писателя на родину по весьма невеселому поводу был смягчен явлением неожиданным и небывалым в его литературной судьбе. Казалось, суровая жизнь на закате дней решила вернуть писателю то, чего безжалостно лишала

на протяжении долгих лет. Читающая Россия, которую Тургенев склонен был уже считать неисправимо неблагодарной, вдруг устремила на него ласковый и благодарный, бескорыстно-признательный взгляд.

15 февраля группа молодых профессоров Московского университета во главе с М. М. Ковалевским устроила в честь писателя торжественный обед. Собралось человек двадцать гостей, среди которых были известные ученые — А. Веселовский, Н. Бугаев, А. Чупров. Это была новая поросль российской науки, люди, мало знакомые Тургеневу.

Хозяин дома М. М. Ковалевский в своей приветственной речи сказал о самом дорогом для писателя — о молодежи, о благотворном влиянии на нее тургеневских книг. Он предложил тост «за любящего и снисходительного наставника юности». Тургенев, едва дослушав это приветствие, не выдержал... и разрыдался.

...«А вчерашний день надолго останется мне в памяти — как нечто еще небывалое в моей литературной жизни», — сообщал он М. Ковалевскому в благодарственной записке. «А мне точно везет — как Вы предсказывали, — писал он в Петербург А. В. Топорову, — в четверг мне здешние молодые профессора давали обед с сочувственными «спичами» — а третьего дня в заседании любителей русской словесности студенты мне такой устроили небывалый прием, что я чуть не одурел — рукоплескания в течение пяти минут, речь, обращенная ко мне с хоров и пр. и пр. Общество меня произвело в почетные члены. Этот возврат ко мне молодого поколения очень меня порадовал, но и взволновал порядком».

Тургенев вошел в большую физическую аудиторию Московского университета, битком набитую публикой. С его появлением аудитория заволновалась и обрушилась на бедную голову Ивана Сергеевича шквалом аплодисментов. Большинство студентов впервые увидело «живого» Тургенева, до тех пор они знали его только по портретам и не ожидали, что он такого громадного роста, что у него такие серебряные волосы и такая чудесная, почти детская улыбка. Он приветливо посмотрел кругом и в смущении опустил голову. Тургенев поместился за большим столом, рядом с председателем общества С. А. Юрьевым. Он внимательно слушал слова приветствия, но смотрел по-прежнему вниз, точно конфузился чего-то.

Только когда с хоров раздался молодой, звонкий голос,

Тургенев встрепенулся, оживился, поднял голову и все лицо его зарделось. Говорил студент-медик П. Викторов: «Вас приветствовал недавно кружок профессоров, — доносились до Тургенева слова юношеского делегата, — позвольте теперь приветствовать вас нам, учащейся русской молодежи, приветствовать вас, автора «Записок охотника», появление которых неразрывно связано с историей крестьянского освобождения...»

Викторов говорил далее, что Иван Сергеевич никогда не стоял так близко к пониманию общественных задач и стремлений молодежи, как именно в эту эпоху своей литературной деятельности. А Тургенев, склонив голову набок, слушал незнакомого ему оратора, и печальная, чуть-чуть недоуменная улыбка не сходила с его доброго лица.

Когда закончилась речь, Тургенев встал и, глядя наверх, сказал:

— Я отношу ваши похвалы более к моим намерениям, нежели к исполнению их...

Ему не дали договорить: поднялась такая буря аплодисментов и криков, какую ни предвидеть, ни подготовить заранее было нельзя. Тургенева проводили из университета с громкими рукоплесканиями. То сдержанно-критическое отношение к Ивану Сергеевичу, которое было обязательным после публикации «Нови», вдруг исчезло, пропало навсегда. Всплыло чувство преклонения перед громадным талантом с пророческим даром, перед великим певцом русской женщины. О нем уже не спорили, а говорили с неизменной почтительностью, не критиковали, а интересовались каждым его шагом.

4 марта чествования продолжились в зале Благородного собрания на вечере в пользу недостаточных студентов Московского университета.

8 марта он вернулся в Петербург и здесь тоже оказался в центре всеобщего внимания: новые овации, встречи с молодежью, приветственные адреса, лавровые венки. На вечере Литературного фонда 9 марта публика стоя приветствовала Тургенева. Он читал рассказ «Бурмистр». «После чтения в зале стоял содом. Молодежь жала Тургеневу руку. Он, в белых перчатках, торопливо жал протянутые десницы и, конфузливо кланяясь, торопливо пробирался к выходу», — вспоминал беллетрист П. П. Гнедич.

13 марта его чествовали петербургские профессора и литераторы. Юрист и адвокат В. Д. Спасович говорил о

том, что Тургенев своими произведениями примирил «отцов» и «детей», объединил разные поколения под общим знаменем борьбы за русскую свободу.

Идея единства прогрессивно мыслящих людей культурного слоя была и оставалась самой заветной в мировоззрении Тургенева. И вот пришел, наконец, тот долгожданный час, когда она близка к своему торжеству, когда, казалось, сбывалась давняя его мечта, выпестованная еще в юности.

В ответной речи Тургенев сказал:

«Такие часы не забываются до конца жизни; в них высшая награда для писателя, для всякого общественного деятеля. Но здесь, в Петербурге, в виду многих моих товарищей и друзей, тех людей «сороковых годов», о которых так много стали говорить в последнее время и сближение с которыми, столь заметное в рядах современной молодежи, составляет событие — событие знаменательное, — в виду всех вас, господа, мне хочется поделиться с вами следующим, поистине отрадным соображением. Что бы ни говорили о перерыве, будто бы совершившемся в постепенном развитии нашей общественной жизни, о расколе между поколениями, из которых младшее не помнит и не признает старшего, а старшее не понимает и тоже не признает младшего, — что бы там ни говорили большей частью непризнанные судьи, — есть, однако, область, в которой эти поколения, по крайней мере в большинстве, сходятся дружески; есть слова, есть мысли, которые им одинаково дороги; есть стремленья, есть надежды, которые им общи; есть, наконец, идеал не отдаленный и не туманный, а определенный, осуществимый и, может быть, близкий, в который они одинаково верят. Еще недавно, очень недавно нельзя было это сказать; но теперь это истина, это факт, видимый всякому непредубежденному глазу — и нынешний обед один из таких фактов.

Мне не для чего указывать более настойчивым образом на этот идеал; он понятен вам и в литературе, и в науке, и в общественной жизни. Говорящий в эту минуту перед вами написал 16 лет тому назад роман «Отцы и дети». В то время он мог только указать на рознь, господствовавшую тогда между поколениями; тогда еще не было почвы, на которой они могли сойтись. Эта почва теперь существует — если еще не в действительности, то уже в возможности; она является ясною глазам мыслителя. Напрасно станут нам указывать на некоторые преступные увлечения. Явления эти глубоко прискорбны; но видеть в них выражение убеждений, присущих большинству молодежи, было бы несправедливостью, жестокой и столь же преступной... Правительственные силы, которые заправляют и должны заправлять судьбами нашего отечества, могут еще скорее и точнее, чем мы сами, оценить все значение и весь смысл настоящего, скажу прямо — исторического мгновения. От них, от этих сил зависит, чтобы все сыновья нашей великой семьи слились в одно деятельное, единодушное служение России — той России, какою ее создала история, создало то прошедшее, к которому должно правильно и мирно примкнуть будущее. А потому позвольте мне, человеку прошедшего, человеку 40-х годов, человеку старому, провозгласить тост за молодость, за будущее, за счастливое и здравое развитие ее судеб, и да совершатся наконец слова нашего великого поэта, да настанет возможность каждому из нас воскликнуть в глубине души:

В надежде славы и добра
Глядим вперед мы без боязни!»

Либеральная часть молодежи и профессоров встретила окончание тургеневской речи бурными аплодисментами: им было ясно, на что намекал здесь Тургенев — на конституцию. Но праздничное настроение испортил Достоевский. Попросив слова, он потребовал от Тургенева:

— Скажите же прямо, каков ваш идеал?

Вопрос, поставленный в лоб и не подлежащий в России легальному обсуждению, вызвал в кругу друзей Тургенева возмущение. Достоевский и сам сразу же почувствовал его бестактность и стушевался.

Но в либеральные полумеры он не верил, а намеки на конституцию вызывали у него раздражение. «Конституция, — замечал Достоевский в записной тетради. — Да вы будете представлять интересы нашего общества, но уж совсем не народа. Закрепостите вы его опять! Пушек на него будете выпрашивать! А печать-то — печать в Сибирь сошлете, чуть она не по вас! Не только сказать против вас, да и дыхнуть ей при вас нельзя будет».

Достоевский не без основания боялся, что за буржуазным либерализмом в России в конечном счете стоят интересы тех финансистов, которые давно использовали в своих целях свободолюбивые порывы народов Западной Европы. Писатель, вслед за славянофилами, мечтал об

идеальной монархии, во главе с царем, выражающим интересы народа. Конституция же, полагал он, приведет на практике к торжеству буржуазной олигархии, к еще более страшным формам деспотизма.

Тургенев думал иначе. Он торжествовал. Его номер на четвертом этаже гостиницы «Европейская» превратился в какой-то проходной двор: тут бывали известнейшие люди, корифеи журналистики и литературы, студенты, курсистки, депутаты от самозваных кружков... 15 марта на литературном вечере в пользу нуждающихся слушательниц женских курсов чествование его превратилось в сплошной триумф. Тургенев был несказанно счастлив. Кончилось длительное недоразумение между ним и молодежью. Но неумеренно восторженные манифестации вызвали подозрение у правительства. Еще до появления Тургенева в Петербурге III отделение с тревогой отмечало, что «овации, которые подготовляются г. Тургеневу в Петербурге, могут принять бóльшие размеры и значение, чем даже в Москве». Правительственные круги были встревожены тем, что в приветственных речах, обращенных к Тургеневу, говорилось о грядущем конституционном устройстве России, о «какой-то особой демократизации».

В середине марта к Тургеневу в «Европейскую» явился флигель-адъютант императора «с деликатнейшим вопросом: его величество интересуются знать, когда Вы думаете, Иван Сергеевич, отбыть за границу». Так ему дали понять, что торжественный прием не нравится правительству. Тургенев вынужден был отказаться от участия в литературных вечерах, ссылаясь на болезнь, но студенческой депутации Горного института и Петербургского университета намекнул, что «ему положительно запрещено являться среди молодежи и принимать ее овации».

Почти одновременно реакционная пресса поспешила обвинить Тургенева в рабском «кувыркании» перед молодежью. «Иногородний обыватель» (тот самый Болеслав Маркевич, которого Тургенев заклеймил в «Нови» как «клеврета» под именем Ladislas) опубликовал в мартовском номере «Московских ведомостей» злой фельетон на грани прямого доноса: «Другой, более цельный и независимый по убеждениям своим и характеру учитель молодежи не выразил бы туманного сочувствия «всем ее стремлениям», а определил бы ясно и точно те из этих стремлений, которым может и должен сочувствовать каждый зрелый и просвещенный сын страны своей, строго отделяя их от тех, которые могут вести лишь к позору и гибели», — писал публицист.

В Петербурге Тургенев встретился тогда с находившимся на нелегальном положении революционером-народовольцем Германом Лопатиным. «Прежде чем войти, — рассказывал Лопатин, — я отправил ему свою визитную карточку, чтобы он узнал мою тогдашнюю фамилию. Кажется, Афанасием Григорьевичем Севастьяновым я был тогда. Вхожу. Увидал меня Тургенев и воскликнул: «Безумный вы человек! Можно ли так рисковать собой?..» Потом он рассказывал мне о своем пребывании в Москве, о речах, о молодежи и чествовании».

А спустя некоторое время Тургенев узнал о том, что Лопатин замечен и его должны арестовать. При очередной встрече Тургенев стал упрашивать Лопатина уезжать немедленно. «И столько было тревоги за меня и боязни, что я его не послушаю, в голосе Ивана Сергеевича, — вспоминал Лопатин. — Я упорствовал. Мне захотелось проверить источник слухов. Иван Сергеевич назвал мне фамилию. Я знал названного господина за труса. Этот господин встретился с одной важной особой. «А знаете, ваш-то Лопатин...» — огорошила его особа. При словах «ваш Лопатин» на лице моего знакомого появилось, конечно, выражение горячего протеста. «Да нечего, нечего, — продолжала особа, — я ведь знаю, что вы там, за границей, с ним якшаетесь, ну, так недолго ему гулять, скоро его на веревочку посадят». Взвесив достоверность названного источника, я заявил: «Нет, Иван Сергеевич, я не поеду». Иван Сергеевич сокрушенно качал головой. Ему больно было сознавать, что он не сможет убедить меня. Я остался. А через два дня меня арестовали».

Вернувшись в Париж, Тургенев писал Лаврову: «Несчастье, обрушившееся на Лопатина, было неизбежно; он сам как бы напросился на него. В самый день моего отъезда я *умолял* его уехать на юг — ибо об его присутствии в Петербурге полиция *знала*. Что теперь делать — сказать трудно».

Однако Тургенев едет к графу Орлову, русскому послу в Париже, и пытается воздействовать через него на великого князя Константина Николаевича. «...Но и тут надо поступать с величайшей осторожностью, как бы не испортить дело, дав понять великому князю, что мне известны некоторые сношения его с революционерами», — пишет Тургенев Лаврову. Дело в том, что в процессе следствия

Лопатину предъявили обвинения, угрожавшие ему смертной казнью. Возможно, что ходатайство Тургенева и возымело действие: Лопатин был отправлен в ссылку.

В 1879 году Тургенев не только примирился с молодежью, но и встретил свою последнюю любовь, актрису Александринского театра Марию Гавриловну Савину. Еще в начале года она обратилась к Тургеневу в Париж с просьбой разрешить в ее бенефис постановку тургеневской пьесы «Месяц в деревне». Писатель согласился, но неохотно: он был невысокого мнения о сценических достоинствах своих драм. После бенефиса он получил известие о необыкновенном успехе комедии, премьера которой состоялась 17 января, и послал Савиной телеграмму: «Тысяча благодарностей за трогательное внимание, поздравляю с успехом, ставшим возможным благодаря вашему таланту».

В Петебурге состоялось знакомство, и Савина пригласила Тургенева на очередной спектакль. «С каким замиранием сердца я ждала вечера и как играла — описать не умею; это был один из счастливейших, если не самый счастливый спектакль в моей жизни. Я священнодействовала... Мне совершенно ясно представлялось, что Верочка и я — одно лицо... Что делалось в публике — невообразимо! Иван Сергеевич весь первый акт прятался в тени ложи, но во втором публика его увидела, и не успел занавес опуститься, как в театре со всех концов раздалось: «Автора!» Я, в экстазе, бросилась в комнату директорской ложи и, бесцеремонно схватив за рукав Ивана Сергеевича, потащила его на сцену ближайшим путем. Мне так хотелось показать его всем, а то сидевшие с правой стороны не могли его видеть. Иван Сергеевич очень решительно заявил, что, выйдя на сцену, он признает себя драматическим писателем, а это ему и «во сне не снилось», и потому он будет кланяться из ложи, что сейчас же и сделал. «Кланяться» ему пришлось целый вечер, так как публика неистовствовала. Я отчасти гордилась успехом пьесы, так как никому не пришло в голову поставить ее раньше меня...

После третьего действия — знаменитая сцена Верочки с Натальей Петровной — Иван Сергеевич пришел ко мне в уборную, с широко открытыми глазами подошел ко мне, взял меня за обе руки, подвел к газовому рожку, пристально, как будто в первый раз видя меня, стал рассматривать мое лицо и сказал: «Верочка... Неужели эту Верочку я написал?! Я даже не обращал на нее внимания, когда писал... Все дело в Наталье Петровне... Вы живая Верочка... Какой у вас большой талант!»

На другой день вечером в зале Благородного собрания Савина и Тургенев читали сцену из «Провинциалки». «Поставили стол с двумя свечами, положили две книги, придвинули два стула и... надо было выходить, — вспоминала Савина. — Теперь, столько лет спустя, у меня сердце замирает при одном воспоминании, а что было тогда!.. Иван Сергеевич взял меня за руку, Вейнберг скомандовал: «Выходите!» — за кулисами зааплодировали, публика подхватила, — и я, оглушенная, дрожащая, вышла на сцену. Когда мы вышли, я, конечно, не кланялась на аплодисменты, а сама аплодировала автору. Долго раскланивался Иван Сергеевич, наконец, все затихло — и мы начали: «Надолго вы приехали в наши края, ваше сиятельство?» (Этой фразой начинается сцена.) Не успела я это произнести, как аплодисменты грянули вновь. Иван Сергеевич улыбнулся. Овации казались нескончаемыми — и я, в качестве «профессиональной», посоветовала ему встать, так как он совершенно растерянно смотрел на меня. Наконец публика утихла, и он отвечал. Тишина была в зале изумительная. Все распорядители, т. е. литераторы и даже Достоевский, участвовавший в этом вечере, пошли слушать в оркестр. Я совершенно оправилась от волнения, постепенно вошла в роль и, казалось, прочла хорошо. Нечего и говорить об овациях после окончания чтения. Ивана Сергеевича забросали лаврами. Вызывали без конца, но я, выйдя два раза на вызовы — и то по настоятельному требованию Ивана Сергеевича, — спряталась в кулисе за распорядителями и оттуда аплодировала вместе с ними».

Вслед за Тургеневым и Савиной выступал Достоевский. «Когда вышел Достоевский на эстраду, — вспоминала Мария Гавриловна, — овация приняла бурный характер: кто-то кому-то хотел что-то доказать. Одна известная дама Ф. (А. П. Философова. — *Ю. Л.*) подвела к эстраде свою молоденькую красавицу дочь, которая подала Федору Михайловичу огромный букет из роз, чем поставила его в чрезвычайно неловкое положение. Фигура Достоевского с букетом была комична — и он не мог не почувствовать этого, как и того, что букетом хотели сравнять овации. Вышло бестактно по отношению «гостя», для чествования которого все собрались, и Достоевского, которому вовсе не нужно было присутствие «соперника» для возбуждения восторга публики».

Рассуждения Савиной несколько пристрастны. Это было не чествование Тургенева, а литературный вечер, в программе которого имя Тургенева стояло рядом с именем Достоевского. И поскольку Иван Сергеевич получил венок, букет его сопернику не представлял ничего вызывающего. Более того, публика на этом вечере попыталась примирить Тургенева с Достоевским: «Вызывали Тургенева, Достоевского, наконец, Тургенева и Достоевского вместе: они вышли на вызов и обменялись на эстраде дружеским рукопожатием».

Однако это примирение на эстраде все-таки было неглубоким. Достоевский за кулисами сделал Савиной такой комплимент: «У вас каждое слово отточено как из слоновой кости. — И прибавил не без яда: — А вот старичок-то пришепетывает».

Это было последнее выступление Тургенева в Петербурге. Он уезжал в Париж 21 марта — раньше, чем предполагал. Ему устроили дружные проводы, и в памяти всплыл 1856 год, дружеский обед литераторов, на котором Некрасов сидел рядом с Дружининым, Тургенев с Толстым и Панаевым. Неужели старое литературное и духовное братство возвращается вновь?

Жандармский офицер вежливо сообщил Тургеневу на границе: «А мы уже пять дней ждем вас».

3 апреля 1879 года в Париж прилетела глубоко потрясшая Тургенева весть: 2 апреля народник-террорист А. К. Соловьев совершил неудавшееся покушение на жизнь Александра II. Начавшееся в стране либеральное движение вновь оказалось под угрозой. «Последнее безобразное известие меня сильно смутило, — в тревоге писал Тургенев Полонскому, — предвижу, как будут иные люди эксплуатировать это безумное покушение во вред той партии, которая, именно вследствие своих либеральных убеждений, больше всего дорожит жизнью государя, так как только от него и ждет спасительных реформ: всякая реформа у нас в России, не сходящая свыше, немыслима. Все это прекрасно... но в результате выйдет то, что именно эта партия и пострадает... Очень я этим взволнован и огорчен... вот две ночи, как не сплю: все думаю, думаю — и ни до чего додуматься не могу».

Было над чем задумываться Тургеневу в эти бессонные ночи. Сложные превращения совершались тогда в народническом и либеральном движении.

Первые народнические кружки Н. В. Чайковского и Ф. В. Волховского, начавшие «хождение в народ», придерживались тактики Лаврова. Революционеры, переодетые в мастеровых или под видом сельских учителей, врачей, писарей в волостных правлениях пытались закрепиться в деревне и вести систематическую пропаганду революционных идей в крестьянской среде.

Однако правительственные репрессии вскоре показали, что подобная «оседлая» пропаганда в народе невозможна. К тому же движение принимало все более широкий, массовый характер, молодежью овладевало революционное нетерпение. Таким настроениям более соответствовала бакунинская идея летучей пропаганды, к которой молодежь и приступила.

Массовое «хождение в народ» завершилось в 1874 году арестами нескольких тысяч человек и последовавшими затем процессами 193-х, 50-ти. После провала революционеры вновь решили сменить летучую пропаганду организацией прочных поселений в деревне, но действовать при этом крайне осмотрительно и осторожно. В 1876 году они создали новую подпольную организацию «Земля и воля». Основой ее считались поселения в деревне, а подвижный идеологический центр оставался в нескольких крупных городах и вел пропаганду среди учащейся молодежи и рабочих.

Вскоре между деревенскими поселенцами и городским ядром землевольцев возникли разногласия. Первые все более и более убеждались в невозможности поднять народ на революцию в ближайшее время и частично переходили к культурной деятельности в деревне, отказываясь от революционных целей. Вторые, напротив, все более и более заражались революционным нетерпением и энтузиазмом, находясь под большим давлением молодых интеллигентских сил. В городской прослойке землевольческой организации становилась все более популярной и заманчивой ткачевская идея политического террора.

Летом 1879 года на съезде партии в Воронеже «Земля и воля» распалась: «политики» организовали новую партию «Народная воля», провозгласив главной целью движения политический переворот и террористические формы борьбы с правительством, деревенские поселенцы отделились в свою партию под названием «Черный передел».

К этому времени существенно оживилось и окрепло в России либеральное движение. Толчком к его пробуждению явилась русско-турецкая война, обнаружившая крупные недостатки в системе государственного управления.

Возник интерес к политике, заговорили о реформах. Разочарование усилилось, когда правительство не воспользовалось результатами победы. Либералы сочли себя оскорбленными и тем обстоятельством, что царское правительство согласилось на установление в Болгарии конституционного образа правления, а у себя в стране все более и более ужесточало самодержавный режим.

В среде либералов возникло набиравшее силу конституционное движение. Его поддерживала «третья сила» — разросшаяся к семидесятым годам в провинциальных земских учреждениях либерально-демократическая прослойка, состоявшая из сельских врачей, учителей, агрономов, волостных и уездных писарей. Земцы на тайных совещаниях обсуждали вопросы о свободе и независимости земского самоуправления, а также ограничения самодержавия конституционной формой правления. В воздухе носилась идея созыва всероссийского Земского собора. В этих условиях либералы проявляли терпимость и даже сочувствие к революционному движению. Когда в январе 1878 года раздался выстрел Веры Засулич в генерала Трепова и суд присяжных оправдал ее, либералы, приветствуя решение суда, организовали уличную демонстрацию.

Съезды земцев утверждают и направляют правительству адреса, в которых требуют политических реформ. Легальная народническая публицистика «Отечественных записок», «Дела» и других журналов поддерживает либеральное движение и пытается объединить политические силы либералов с революционными народниками. Однако такого союза не происходит. Революционеры не хотят в основной массе подмены своих широких задач мелкими политическими уступками, а некоторые либералы, в свою очередь, добиваются политических свобод для «всенародной» борьбы с революционным движением. Однако стремление к единству всех прогрессивных сил нарастает.

Немецкий дипломат X. Гогенлоэ записал в дневнике одну из своих бесед с Тургеневым 1 апреля 1879 года. Тургенев был поражен, что в России его чествовали как политического деятеля. Этот факт он объяснял поиском русскими либералами хоть какой-нибудь объединяющей силы для проявления либеральных воззрений, для их консолидации. Тургенев обвинил правительство в непонимании этого движения, в отождествлении либеральных кругов общества с нигилистами-заговорщиками. Он рассказывал, что существуют тайные общества с радикальными

требованиями, что ему приходилось беседовать с такими радикалами: у них нет никакой программы, они только высказывают мысль о том, что старый, обветшавший дом должен быть подожжен со всех четырех сторон, а потом построен новый. Образованные круги — литераторы, ученые, чиновники, — убеждены, что Россия должна получить конституцию, которая включала бы представителей земств, чтобы контролировать финансы, внести порядок в управление. Движение охватило всех. Русский народ в брожении. Царю, по мнению Тургенева, было бы легко уступками привлечь на свою сторону народ и вызвать в нем по отношению к своей особе необычайный энтузиазм. И теперь для этого наступил самый благоприятный момент. Однако царь, которого всегда предостерегали, что уступки привели Людовика XVI к гильотине, не хочет об этом и думать. К тому же он сделался равнодушным, он окружен тесной кликой, склоняется к тому, чтобы одними и теми же мерами противодействовать как либеральному, так и радикальному движению. Это ожесточает умеренных. Вполне благомыслящие люди говорили ему, Тургеневу, что они сами смущены тем, что не могут в душе порицать террористические акты, которые публично осуждают. Тургенев упомянул различные факты, вызывающие раздражение. Так, девятьсот молодых людей, на которых только пали кой-какие подозрения, были брошены в одиночки. Шестьдесят человек из них в результате многолетнего заключения сошли с ума, многие заболели туберкулезом... И это были не только нигилистические заговорщики, большая часть их — либералы, которые не могли скрыть своих мечтаний о конституционном устройстве.

«Неверно утверждают некоторые, — говорил Тургенев, — что в России нет людей, способных к руководству делами». И он назвал дельных провинциальных чиновников и адвокатов. Но если момент будет упущен, спасти Россию не удастся — наступит общий крах, потому что в перспективы революции Тургенев не верил.

«Если бы я был царем Александром, — заключил Гогенлоэ свои записки, — я бы поручил Тургеневу составить кабинет».

Тургенев чувствовал, что его приезд в Россию в 1879 году стал удобным поводом для демонстраций либералов; тут был расчет на полный успех: речь шла о писателе, действительно любимом всеми группами русской интеллигенции. «Не только либералы более взрослого по-

коления видели в нем наиболее честное и чистое воплощение своих стремлений, но и радикальная молодежь разглядела в Иване Сергеевиче подготовителя ее борьбы, воспитателя русского общества в тех гуманных идеях, которые, *надлежащим* образом понятые, *должны* были фатально привести к революционной оппозиции русскому императорскому самодурству», — *писал Лавров.*

Конечно, никакого заискивания, никакого «кувыркания» перед молодежью у Тургенева не было. Он мог искренне сказать, что не «шел» сознательно к молодому поколению, но оно само «пришло к нему».

В речах и адресах профессора, литераторы, адвокаты, студенты высказывались весьма смело о том, о чем в России обыкновенно лишь шепчутся. Ведь сам царь обратился к русской общественности с официальным призывом: «Правительство должно найти себе опору в самом обществе и потому считает ныне необходимым призвать к себе на помощь силы всех сословий русского народа для единодушного содействия ему в усилиях вырвать с корнем зло».

В речах, обращенных к Тургеневу, литературу в России сравнивали с «преторским эдиктом», впервые внесшим начало гуманности в суровую римскую среду. Проводили сравнение России 70-х годов с закрепощенною Россией 1840-х. Говорили: «Состояние общества сходно: и тогда была под ногами закованная почва, только иначе закованная; и ждет общество, что рухнут наши неправды». В адресах писали: «Вас так же, как и нас, возмущают до глубины души печальные и странные явления нашей общественной жизни, вытекающие, как строго логическое последствие, из нашего общественного строя», и призывали его «в ряды той интеллигенции нашего общества, которая стремится к ниспровержению настоящего порядка». Даже высказывали: «Вы один в настоящее время сумеете объединить все направления и партии, сумеете оформить это движение, придать ему силу и прочность. Подымайте высоко ваше светлое знамя; на ваш могучий и чистый голос откликнется вся Россия; вас поймут и отцы и дети».

После русских оваций Тургенев летом 1879 года получил известие, что Оксфордский университет произвел его за «литературные заслуги» в доктора естественного права. «Честь великая, едва ли я не первый русский, ее заслуживший, — но как, почему!»

Оказалось, что степень присуждалась ему за содействие «Записками охотника» освобождению крестьян. Тургенев первоначально опасался за исход официального торжества: между Россией и Англией после русско-турецкой войны отношения были крайне недружелюбными. Но все обошлось благополучно. Когда он явился в залу в докторской мантии и берете, его встретили рукоплесканиями. Одно только смущало Тургенева: «Ох! Как плохо идет ученая шапка к моей великорусской роже!»

Но другого рода опасения были более основательны: «То-то, я воображаю, на меня прогневаются иные господа в любезном отечестве». Они прогневались.

Кто-то из русских парижан привел к Тургеневу политического эмигранта Павловского, который написал автобиографическую повесть о впечатлениях преступника, подвергнутого одиночному заключению и впавшего в душевную болезнь. Тургенева попросили написать предисловие. С рукописью он познакомился, нашел ее довольно интересной с психологической точки зрения и предисловие написал. 12 ноября 1879 года повесть вышла во французском журнале «Le Temps»; и сразу же на это предисловие отозвались «Московские ведомости». Б. Маркевич писал, что нигилист, беглец из России, оказался под «сенью голубых крыл» г. Тургенева. Он намекал, что и сам рассказ подвергнулся тургеневской литературной правке, что это «творение шустрого ученика по заданному ему учителем шаблону». И все это — из жажды популярности перед молодежью: ради этого Тургенев готов плясать на каком угодно канате. Что за «постылый зуд популярничанья, так мало отвечающий достоинству его седых волос?» Теперь любой нигилист сочтет за благо «аттестацию», выданную Тургеневым. Ведь он признает первым их гнусное дело. «Поддерживая их былым авторитетом своего имени, он этим же самым приводит к соблазну и всех тех колеблющихся, нетвердо стоящих на ногах из этой русской молодежи...»

Это был откровенный политический донос! «На меня в Питере — в самых высших кружках — страшно озлобились за мое предисловие, — писал Тургенев Анненкову, — в котором я, однако, объявил, что нисколько не разделяю образ мыслей гг. революционеров... Князь Орлов объявил мне, что я совсем испортил этим мое положение — хотя положение это никогда не было блестящим — в его смысле — несмотря на то, что я недели три тому назад был представлен наследнику и цесаревне, ко-

торые очень ласково со мной обошлись. Все это: «Тень, бегущая от дыма».

И все же Тургенев твердо решил ехать в Россию, предварительно написав ответ «иногороднему обывателю» Б. Маркевичу. Этот ответ был напечатан в журнале «Вестник Европы» в феврале 1880 года. «Если бы г. «Иногородний обыватель» ограничился одними посильными оскорблениями, — писал Тургенев, — я бы не обратил на них никакого внимания, зная, из какой «кучи» идет этот гром; но он позволяет себе заподозрить мои убеждения, мой образ мыслей, — и я не имею права отвечать на это одним презрением...

В глазах нашей молодежи — так как о ней идет речь — в ее глазах, к какой бы партии она ни принадлежала, я всегда был и до сих пор остался «постепеновцем», либералом старого покроя в английском династическом смысле, человеком, ожидающим реформ *только свыше,* — принципиальным противником революций, не говоря уже о безобразиях последнего времени».

Эта фраза о «безобразиях» несколько охладила революционную молодежь в ее восторженном отношении к Тургеневу. Да и события конца 1879 года развивались не в пользу тургеневских надежд на единодушие и объединение всех прогрессивных сил. 19 ноября 1879 года произошел взрыв императорского поезда, затем суд над Л. Мирским. Усилились меры полицейского давления на учащуюся молодежь. В декабре 1879 года Тургенев писал Л. Н. Толстому: «Точно, тяжелые и темные времена переживает теперь Россия; но именно теперь-то и совестно жить чужаком. Это чувство во мне все становится сильнее и сильнее — и я в первый раз еду на родину, не размышляя вовсе о том, когда я сюда вернусь — да и не желаю скоро вернуться».

Все чаще и чаще ощущал он себя в семье Виардо одиноким, брошенным человеком. «Здесь я — пока — один; все мои переехали в Париж, куда и я перееду дней через пять, — писал Тургенев Анненкову в ноябре 1879 года. — Я желал этого уединения — чтобы приготовиться к более продолжительной разлуке. В мои годы смешно говорить о новом повороте в жизни (нашему брату, собственно, один поворот предстоит: в могилу) — но что перемена будет — это несомненно. Я еду в Россию, не зная нисколько, когда я оттуда вернусь. Причины, побуждающие меня к этому поступку, разнообразные: и *личные* и другие. Об этом мы поговорим при личном свидании. Не скажу, чтобы принятое мною решение было легко: оно даже очень тяжело... и я даже нахожусь в некоторой меланхолии. Но не стану больше распространяться о сем: «эти растроганности по поводу самого себя» — и не нужны, да и вредны... Хватит».

Летом 1879 года его навестил в Париже петербургский знакомый А. Ф. Кони. Неприветливый швейцар отворил ему дверь на улице Дуэ, 50. Чей-то резкий голос, выделывавший вокальные упражнения, заполнял все пространство бельэтажа. Пройдя по лестнице на второй этаж, Кони встретил Тургенева, который ввел его в помещение из двух небольших комнат. Гостю бросилась в глаза старая, довольно потертая куртка хозяина. В комнатах царила «оброшенность»; густая пыль на маленьком закрытом рояле, оторванная от палки штора, висевшая поперек окна со слоем той же пыли на складках. Пришли на память стихи Некрасова: «Но тот, кто любящей рукой не охранен, не обеспечен...»

— Да, да, — заторопился Тургенев, узнав, что его ждут к обеду русские друзья, — сейчас я оденусь! — Через минуту он вошел в темно-сером пальто из грубой материи, напоминавшей парусину. Продолжая разговаривать, он машинально искал пуговицу, которой давно уже не было.

— Вы напрасно ищете пуговицу, — заметил Кони смеясь, — ее нет!

— Ах! — воскликнул он, — и в самом деле! Ну, так мы застегнемся на другую. И он перевел руку на одну петлю ниже, но соответствующая ей пуговица болталась на ниточках, за которыми тянулась выступавшая наружу подкладка. Тургенев добродушно улыбнулся и, махнув рукой, просто запахнул пальто, продолжая разговаривать.

За обедом в ресторане зашла речь о возможной женитьбе А. Ф. Кони. *Тургенев оживился:*

— Да, да, женитесь, непременно женитесь! Вы себе представить не можете, как тяжела одинокая старость, когда ждешь ласки, как милостыни, и находишься в положении старого пса, которого не прогоняют только по привычке и из жалости к нему. Послушайте моего совета! Не обрекайте себя на такое безотрадное будущее!

Все это было сказано горячо и взволнованно, на одном дыхании и с таким плохо затаенным страданием, что все невольно переглянулись. Тургенев это заметил, смутился и вдруг стал собираться уходить, по-видимому

недовольный вырвавшимся у него признанием. Друзья пытались его удержать, но безуспешно.

— Нет, нет, я и так засиделся. Мне надо домой. Дочь мадам Виардо больна и в постели. Может оказаться нужным, чтобы я съездил к доктору или сходил в аптеку...

Возможно, в этих воспоминаниях волей-неволей сказалось ревнивое отношение русских друзей Тургенева к семейству Виардо, отлучившему писателя от родины? Однако вот письмо самого Тургенева к Флоберу о сборах в Кан:

«Кан? почему Кан, — скажете вы, мой старый друг, — шутил Тургенев с горькой усмешкой. — На кой черт Кан? — А дело вот в чем. Дамы семейства Виардо должны провести две недели на берегу моря в местечке Люк или Сент-Обен; *я отправлен* вперед подыскать для них что-нибудь...»

Едва ли уместно было такое поручение для уже пожилого человека, страдающего систематическими и мучительными приступами подагры, приковывавшими его к постели на долгие недели и месяцы...

В феврале 1880 года он был в Петербурге, но родной столицы не узнал. Его оставили в «совершенно идиллическом покое», предоставив неизменной подагре-«катковке», которая по иронии судьбы всякий раз навещала его в последние приезды на родину.

Только что состоялось новое неудавшееся покушение народников-террористов на Александра II. Столица застыла в каком-то оцепенении. «Старые приятели ко мне захаживают, новых лиц не вижу — и вместе с целым миром поражаюсь совершающимися событиями», — писал Тургенев Анненкову.

«Старые приятели» намекнули Тургеневу, что в нынешней обстановке ему лучше избегать публичных выступлений, так как он находится на подозрении у правительства. Когда болезнь отступила, писатель, используя свои знакомства, добился разрешения на участие в литературных чтениях: «Мне разрешили читать публично — убедясь в моей голубиной невинности, — сообщал Тургенев Анненкову, — и я встречаю прежний прием, конечно, без венков и адресов, о чем я, разумеется, не печалюсь». Овации в его честь были, очевидно, запрещены.

Особенно запомнилась Тургеневу встреча с сотрудниками журнала «Русское богатство», которая состоялась на квартире Г. И. Успенского. «Речь Тургенева лилась

почти безостановочно, а мы слушали, попивая чай, — вспоминал об этой встрече С. Н. Кривенко. — Впрочем, не все молчали: кто предлагал вопрос, кто вставлял замечание, а один вступил даже в продолжительный разговор. Это были две полные противоположности: один старик, другой — юноша, совсем почти мальчик; тот седой и высокий, этот черный, как жук, и маленький; тот художник, этот экономист, т. е. сама проза и цифра. Тургенев с большим вниманием вслушивался в то, что говорил этот юноша по фамилии Русанов.

— Вы, Иван Сергеевич, давно живете во Франции и хорошо знаете и ее настоящее и прошлое, вы, конечно, знаете и Россию. Каково же ваше мнение о теперешнем положении вещей у нас, и не думаете ли вы, что у нас на носу революция?

— Я не пророк в своем отечестве, — мягко возражал Тургенев, — и не могу претендовать на предсказание: «Будущее на лоне у богов», — говорил Гомер. Но мне кажется, что Россия далеко не так близка к революции, как Франция прошлого века. Обратите внимание на одно обстоятельство: в то время во Франции было могущественное оппозиционное течение, и все мыслящие люди, несмотря на различие мнений, соглашались в одном: старый дом должен быть заменен новым. А у нас? Есть реакционеры, есть либералы, есть революционеры... крайние прогрессисты, — поправился Тургенев и окинул молодых людей добродушным взглядом, как бы не желая обидеть их, — что между ними общего, что они все согласны уничтожить и что сохранить? А пока нет общего могучего течения, в котором бы сливались все отдельные оппозиционные ручьи, мне кажется, рановато говорить о революции...

— Но *именно* те, кого вы, Иван Сергеевич, *назвали* «крайними прогрессистами», и являются той настоящей силой, о которой вы говорите, о которой мечтаете. А что такое либералы? Полное отсутствие энергии, трусость...

Разговор принимал жесткий и неприятный для Тургенева характер. И, по воспоминаниям его участников, писатель незаметно перевел его в конкретный план, заворожил молодых людей поэзией устного рассказа:

— Так ли надо вести дело, как оно ведется теперь, — не знаю. Но что хождение в народ не удалось, это, кажется, очевидно. Да и могла разве удаться пропаганда отвлеченностей социализма людям, вся жизнь которых состоит из перехода от одной конкретной, осязательной

вещи к другой: от сохи к бороне, от бороны к цепу, а от цепа иной раз и к полуштофу... особливо ежели дело о Покрове или о Рождестве. Если речь, которую вы ведете к мужику, не идет прямо навстречу его конкретным желаниям, он не станет вас слушать... Вон правительство несколько раз принималось внушать, чтобы он не думал того и того-то, а думал то-то и то-то. А мужик все понимал в том смысле, в каком ему хотелось понять... Да, вот, кстати, я расскажу вам по этому поводу один небезынтересный факт. Дело было так. На границе Орловской и Калужской губерний — невдалеке от меня — случился, не припомню точно когда, но вообще вскоре после отмены крепостного права, бунт. Помещик надул уставной грамотой крестьян: отрезал у них самый лучший участок, которым они пользовались крепостными. Те упрашивать барина, жаловаться к мировому посреднику. Последний решил не в их пользу. Мужички забунтовали, то есть, невзирая на отмежевание, отправились пахать под озими спорное поле. Власти переполошились и наделали такого шуму, что об этом дошла весть до государя, который случайно охотился в это время на лося поблизости, в дремучих калужских лесах. Время было горячее, волнения из-за «настоящей воли» вспыхивали повсюду, и царь решил явиться на место и самоличным увещанием подействовать на бунтовавших, а через них, надеясь на стоустую молву, и вообще на крестьян нашей полосы. Бунтовщиков с раннего утра собрали возле церковной паперти: государь известил начальство о скором прибытии. Целый день прошел в напрасных ожиданиях...

Тут Тургенев внезапно переменил тон и с неподражаемой интонацией в неподражаемо народной форме повел рассказ от лица мужика-очевидца, который описал Тургеневу все царское посещение.

— Ждем мы пождем, а царя все нет да нет. Уж солнышко закатываться за лес стало. Отошшали мы, инда тоска на нас напала... Только глядь, по дороге, прямо на нас валит кто-то страшенный, с усами, на коне: как подлетел, как пужанет во все горло: «Такие из-этакие, на колени! Государь едет!..» Так мы и пали ничком, и лежим словно на страшной неделе — Господи, владыко живота моего — и головы поднять не смеем. Много ли, мало ли мы так лежали, только как загогочет кто-то опять: «Государь едет!» Поднял я бочком голову: вижу, не то казаки, не то егеря летят во всю мочь и гигикают, а по дороге, брат ты мой, этак в шагах в тридцати, жарит тройка лошадей, каких и отроду не видывал: копыта — во какие, дуга — во какая, — и Тургенев широко разводит своими мощными руками, — кучер как чудо-юдо бородатое, а в брычке, значит, сидит сам ен, и того больше, шинель серая, фуражка с красным околышем, а голова, ну вот умри я, что пивной котел, ровно у Лукопера богатыря. Прожег мимо нас, как молния какая, крикнул зычно таково: «Стой! — и остановился шагах в пяти от нас. — Вставай, пгавасдавные!» — а голос, как труба, только что с картавинкой, как у нашей старшей барышни. Мы вскочили. Стоят царские лошади, что вкопанные, и ямщик, как астатуй какой, сидит, а царь, не слезая, приподнялся, повернулся, значит, к нам с брычки, через верх спущенный, да и начал говорить грозно так сначала, да слова все какие-то мудреные, а потом словно бы смиловался, а под конец опять закричал: «Повиноваться господам помещикам, повиноваться вам им!» Да как подымет руку, да как погрозит нам ба-а-альшущим пальцем, да как крикнет кучеру: «Айда!» Лошади опять, как молния, в гору по дороге, промеж леску, а солнышко уж село, и заря уж погорела, а царь все держится за брычку, стоит к нам обернумши да пальцем грозит, а палец-то евойный — во какой, что столб, — по небу-то огневому качается...» «Ну и что же?» — спрашиваю я мужика, — продолжает Тургенев, убравши свой не меньше легендарного царского палец. «Ну, вестимое дело, и повиновались, только уж и драли нас за это!» — «Как, за что за это?» — недоумевал я. «Да мы, знычит, землю ту у помещика так и отпахали». — «Как отпахали? А разве вы не слыхали, что вам царь-то говорил, чтоб повиноваться помещикам?» — «Эх, барин, мы люди темные, мы рассудили, что накричать-то он на нас только для страху накричал, а что приказ от яво был помещикам, чтоб, знычит, теперь-то уж их благородиям да нам сиволапым повиноваться: буде-ста им над нами мудровать...»

Другая встреча с «литературной артелью» состоялась в доме богатого мецената и издателя журнала «Слово» К. М. Сибирякова. Там разговора по душам вообще не получилось. Когда разночинцы вошли в роскошную залу, убранную какими-то тропическими растениями, когда увидели впереди стоявшее отдельно кресло, а вокруг него целый ряд стульев, уже занятых богатой публикой, — они смутились и заняли места в сторонке, около входной двери.

На этом вечере говорил один Тургенев, в частности, о том, как изменяется народный характер.

— Заехал я побывать в свое старое имение. Думаю, — посмотрю, как-то там, что осталось от старого, — все же старая поэзия, воспоминания... Признаться сказать, холодно почувствовалось, неуютно, сиротливо... Да оно так и должно быть!.. Так и должно быть... Велел это я старосте вынести на террасу самовар; сел, пью чай... Вот вижу: двигается торопливо к дому молодая деревня, все ближе и ближе. Смотрю: пиджаки, сапоги с наборами, глянцем так и прыщут, на головах картузы словно накрахмаленные натянуты, — идут, зернышки погрызывают, скорлупки на сторону побрасывают. Подошли, остановились невдалеке от меня. Смотрят: глаза веселые, бодрые. Приподняли не торопясь над головами фуражки, опять не торопясь аккуратно надели.

— Ивану Сергеичу-с! — говорят.

— Здравствуйте, господа.

— Разгуляться, значит, к нам приехали?

— Да.

— Соскучились по родной стороне?..

— Соскучился.

— Поди, не весело теперь у нас здесь?

— Вот посмотрю.

— Тэ-эк-с!

Стоят, зернышки грызут, скорлупки на сторону побрасывают, — повторял Тургенев, — «Счастливо, говорят, оставаться, Иван Сергеич!» Ну, мыслимо ли было что-нибудь подобное двадцать лет тому назад?!

Возникла неловкая пауза. И хотя публика ждала от Тургенева новых рассказов, вечер кончился так: Тургенев встал, посмотрел на часы, сконфузился и вышел. Когда Г. И. Успенский спустился вниз, он сердито посмотрел на него: «Да, хорош ваш Сибиряков!»

Полного единодушия с молодежью, о котором мечтал Тургенев, не получилось. Более того: между ними пробежал холодок отчуждения:

«Барин, чистокровный русский старый барин, — вспоминал Л. Е. Оболенский. — Мне не понравилась даже его наружность, в которой нельзя было уловить никакого выражения, кроме вежливости, любезности — и только. Что он думал, что он чувствовал — это осталось тайной. Его вопросы о литературе, о новых ее течениях были как-то мимолетны, в них не чувствовалось живого, глубокого интереса к русской жизни, как будто бы он был или совершенно равнодушен к этой жизни, или уверен, что знает ее вполне и что никто ему не скажет ничего нового, а если он и предлагает некоторые вопросы, то только для того, чтобы быть любезным.

Вообще же впечатление было таково, что он страшно далек от мира, который дорог мне и людям, окружавшим меня в то время, что между нами нет даже возможности представить себе какой-нибудь мостик, какое-нибудь общение, что это — человек совсем иного мира, иных привычек, вкусов, чем мы...»

Отрадным явлением петербургской жизни 1880 года по-прежнему оставалась для Тургенева М. Г. Савина. Он посещал театр и видел молодую актрису в «Дикарке» Островского, в «Майорше» Шпажинского, не уставая восхищаться ее красотой и редким талантом. Уезжая в Москву на пушкинский праздник, Тургенев сказал Савиной: «Изо всех моих петербургских впечатлений самым дорогим и хорошим остаетесь вы!»

Праздник Пушкина, праздник русской литературы, его, тургеневский праздник! Когда редактор «Вестника Европы» М. М. Стасюлевич заикнулся однажды, что он любит Пушкина более, чем кто-либо, Тургенев сильно осерчал:

— Вас Пушкин не может занимать более, чем меня — это мой идол, мой учитель, мой недосягаемый образец! Я, как Стаций о Вергилии, могу сказать каждому из моих произведений: «Следы его всегда почитай!»

Была у Тургенева заветная мечта: «Очень было бы желательно, чтобы вся литература единодушно сгруппировалась бы на этом пушкинском празднике».

Тургенев был избран членом юбилейного комитета и принимал самое горячее участие в подготовке предстоящих торжеств. Комитет поручил Тургеневу «трудную работу: написать небольшую брошюру о значении Пушкина, которую будут раздавать бесплатно» всем участникам праздника. Писатель решил, как всегда, поработать над нею в Спасском-Лутовинове и в начале мая отправился на родину, решив по пути заехать к Л. Н. Толстому и уговорить этого упрямца не отказываться от участия в юбилейных торжествах.

И вот они бродят по весеннему «Чепыжу», любуясь сквозистой зеленью берез, прислушиваясь к немолчному птичьему гомону. «Это поет малиновка, — говорит Тургенев, — это — коноплянка, это — овсянка». Толстой признавался, что он так хорошо не знает пенья птиц.

Вечером отправились на тягу вальдшнепов через речку Воронку в казенный лес «Засеку». На место прибыли как раз к заходу солнца. Затихло в лесу, только по кустам кое-где цевкали неугомонные дрозды да на болотце гулко бурлили весенние лягушки.

Толстой поставил Тургенева на лучшую свою полянку, а сам отошел в сторону, пристроившись неподалеку в тени ольховых кустов. Софья Андреевна осталась с Тургеневым и, между прочим, спросила его, почему он в последнее время перестал писать.

— Я конченый писатель, Софья Андреевна... Нас никто не слышит? Так я вам скажу по секрету. Раньше всякий раз, как я задумывал написать новую вещь, меня трясла лихорадка любви. Теперь это прошло. Я стар — и не могу более ни любить, ни писать...

Послышался выстрел.

—Началось, — шепнул Тургенев. — Лев Николаевич уже с полем. Вот кому счастье. Ему всегда в жизни везло.

Вдруг в чуткой тишине, вдали, послышалось загадочное «хорканье», как будто кто-то упорно рвал тугую, крепкую материю, все ближе, ближе... Донеслись наконец и характерные прицокивания: «цук-цук, цук-цук», и из синеющих сумерек вынырнул над поляной темный силуэт плавно летящей птицы. Тургенев ловко вскинул ружье и выстрелил.

— Убили? — приглушенно выкрикнул Толстой.

— Камнем упал! — ответил Тургенев.

Но вальдшнепа его собака так и не нашла. Тургенев смутился как мальчишка: получалось, что он зря похвастался, «ради фразы»... На другой день утром Сережа Толстой с братом Ильюшей специально ездили на поиски. Тургенев не ошибся: собака не могла найти птицу, так как она повисла па дереве между густых сучьев.

Уговорить упрямого Толстого принять участие в пушкинских торжествах оказалось нелегко. Лев Николаевич считал юбилейные собрания литераторов чем-то противоестественным и даже оскорбляющим память о поэте. Фальшивые спичи за вином и закуской, фальшивые речи... Тургенев соглашался с Толстым: «Нельзя допустить, чтобы все, сколько угодно, гуляли и возились около Пушкина: ставят же ограды около мраморных статуй. Но раз в десять-двадцать лет почтить память национального поэта в кругу литераторов — что в этом противоестественного, особенно в настоящий момент, требующий от русской интеллигенции сплочения вокруг общего знамени гуманизма, свободы и демократии. Да и в обществе, слава Богу, назревает благотворный поворот: пора нигилистических расправ над Пушкиным уходит в прошлое.

Я познакомился в Париже с одним очень неглупым тридцатилетним русским, который признался мне, что в молодости любил поэзию и Пушкина, играл на скрипке и рисовал — и бросил все это под влиянием Писарева (и не один он это сделал), — а теперь, окургузившись кругом, не знает, к чему приткнуться, и только охает. Вот поди, отрицай силу слова!»

Толстой согласно кивал головой, но ехать в Москву все-таки отказывался. Спустя много лет он так объяснял свой отказ: «Вспоминаю, как давно уже, лет около тридцати тому назад, во время чествования Пушкина и поставления ему памятника, милый Тургенев заехал ко мне, прося меня ехать с ним на этот праздник. Как ни дорог и мил мне был тогда Тургенев, как я ни дорожил и высоко ценил (и ценю) гений Пушкина, я отказался... потому что и тогда уже такого рода чествования мне представлялись чем-то неестественным и, не скажу ложным, но не отвечающим моим душевным требованиям».

Ничего не вышло у Тургенева, и он уехал из Ясной Поляны в Спасское с тяжелым недоумением в душе.

И вот он снова в аллеях старого деревенского сада, в мире дремлющих лучей солнца и теней. «Замираешь с каким-то ощущением торжественности, бесконечности — и отупения, в котором есть нечто и от зверя, и от бога. Выходишь из этого состояния словно после какой-то сильнодействующей ванны. А затем снова вступаешь в привычную житейскую колею». Обдумывая пушкинскую речь в тенистой беседке, на высоком берегу пруда, в прохладном кабинете спасского дома, Тургенев в который раз убеждался в том, «что пишется хорошо, только живя в русской деревне. Там и воздух-то как будто «полон мыслей»! И полон воспоминаний — детских, юношеских.

Уже никогда не придет поутру старый друг Афанасий. Восемь лет прошло, как его нет на свете. Последний раз он встречался с ним, кажется, в 1868 году. Увлеченно рассказывал о своих охотничьих подвигах в Бадене, о том, как там устраивают облавы с загонщиками, описывал ему не без преувеличений внешность фазана — он их никогда не видел — и забавлялся его изумлением. А когда Афанасий узнал, что Тургенев привез

ружье, заряжающееся с казенной части, удивлению старого охотника не было предела.

Эх, охота! страсть горячая, сильная, неистомная!

Подарил он тогда Афанасию это ружье. Да недолго ему пришлось поохотиться. Где-то около 1869 года тяжело захворал бедняга, ноги совсем отнялись. Прикованный болезнью к одному месту, приткнувшись к косяку на пороге избы, он по-прежнему давал советы и указывал хорошие места окрестным охотникам, неизменно к нему обращавшимся. Со слезами на глазах смотрел вслед уходившим счастливцам, сопровождать которых уже не мог. Но дареное ружье оставалось для него священным предметом, даже трогать его он никому не позволял. Перед смертью Афанасий приказал достать ружье с крючка, тщательно его вычистил и положил себе под изголовье... Говорили, что когда в 1872 году тело Афанасия везли на кладбище, заяц перебежал дорогу похоронной процессии...

Вот и Тургенев с завистью глядит вслед молодым охотникам. А давно ли, кажется, он был неутомимым ходоком. Теперь же охотничьи странствия видятся ему волшебным сном: проклятая подагра лишила последнего удовольствия. Добряк Писемский как-то горько пошутил на этот счет: «Господи! за что вас мучит подагра — мы пьянствовали, а вы за нас мучаетесь».

В прошлый приезд на родину, приковыляв в сад на костылях, Тургенев приказал слуге принести ружье — спугнуть ворону с дальних деревьев. Стоя на костылях, ему трудно было целиться. Прогремел выстрел — и ворона как ни в чем не бывало продолжила свой путь. Тургенев сел на скамью, потупил голову и грустно сказал:

— Прежде я стрелял перепелок без промаха, а теперь не могу попасть даже в ворону!... Пора умирать!

Как гром среди ясного неба принеслась из Парижа скорбная весть. Умер Флобер! Умер лучший друг из числа французских друзей. «Золотой был человек и великий талант!»

Исчез великий талант, а жизнь идет, и свет не перевернулся. Так же сияет солнце по утрам, заглядывая в тургеневский кабинет, тот же гомон птиц раздается в тенистых аллеях сада. Печаль Тургенева была светла. Вспоминались пушкинские строки: «И пусть у гробового входа /Младая будет жизнь играть, /И равнодушная природа/ Красою вечною сиять».

— Стоит ли заниматься таким пустым делом, которое всякий ленивый человек на гулянках может исполнить,— вспомнились слова брата Николая Сергеевича.

— Вот ты и не ленив, — попенял ему Иван Сергеевич, — но даже одного стиха не напишешь, как Жуковский.

— Нет ничего легче, — отвечал Николай: — «Дышит чистый фимиам Урною святою».

— А ведь похоже, похоже!.. — восклицал Тургенев, заливаясь от смеха...

Нет на земле и брата Николая, и Тургенево, деревушка отца, прахом пошла после его смерти...

Да и Спасское тоже переменилось, общей не избежав судьбы. «Набегают... набегают тени на жизнь — и падают они не на одно настоящее или будущее — но и на прошедшее. И то становится тусклее и туманнее». Уже не встретишь в Спасском знакомых, добродушных лиц верных старых слуг, не услышишь приветливого слова: «Барин наш, заступник наш приехал...»

Новое время — новые песни. «По приезде сюда я был встречен следующею новостью: между всеми здешними мужиками и бабами ходили толки, что вследствие взрыва во дворце меня государь приказал замуровать в каменный столб и надеть мне на голову двенадцатифунтовую чугунную шапку. Вот в какие цветики выраживаются семена, столь тщательно посеянные опытными руками гг. Каткова и К°».

Только вечно суровый и угрюмый на вид Захар Балашев ходил за своим барином, как за ребенком, и... сравнивал себя с Савельичем из «Капитанской дочки» Пушкина — на своем веку он перечитал всех русских авторов, да и сам, подражая барину, писал повести в часы досуга, никому их не показывая.

Умерли в Спасской богадельне и нянюшка, и кормилица Тургенева. Как любили его эти старые женщины! А теперь остались от них два портрета: у няни в руках ножницы, которыми она готовится резать кусок белой ткани, у кормилицы — маленький цыпленок...

Да. «За несколько недель молодости — самой глупой, изломанной, исковерканной, но молодости, — отдал бы я не только мою репутацию, но славу действительного гения, если бы я был им. Что бы я тогда сделал, спросишь ты? — обращался Тургенев к Полонскому. — А хоть бы десять часов сряду с ружьем пробегал, не останавливаясь, за куропатками. И этого было бы достаточно — и это для меня теперь немыслимо...»

В 1879 году, после восторженного приема в Москве и Петербурге, Тургенев писал: «Недавно на мое старческое сердце со всех сторон нахлынули молодые женские души — и под их ласкающим прикосновением зарделось оно уже давно поблекшими красками, следами бывалого огня».

Так случилось, что в это же время произошла встреча с тем прекрасным женским существом, на котором сошлись и почти по-пушкински замкнулись все уснувшие молодые мечты:

И, может быть, на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.

Он полюбил Савину той последней отпущенной человеку любовью, которая «и блаженство, и безнадежность».

24 апреля Тургенев писал Савиной из Москвы: «Вчера, поздно вечером, получил я Ваши два письма... — и почувствовал (и не в первый раз после моего отъезда из Петербурга) — что Вы стали в моей жизни чем-то таким, с которым я никогда не расстанусь». И он пригласил Савину завернуть в Спасское по пути на гастроли в Одессу хотя бы на два дня. Савина отказалась. Тогда он выехал на встречу с нею 16 мая в Мценск и провел несколько часов в поезде от Мценска до Орла. Эти часы и были кульминацией его последнего любовного романа. 17 мая Тургенев писал:

«Милая Мария Гавриловна.

Теперь половина первого — полтора часа тому назад я вернулся сюда — и вот пишу Вам. Ночь я провел в Орле — и хорошую, потому что постоянно был занят Вами — и нехорошую, потому что глаз сомкнуть не мог... Сегодня — день, предназначенный на Ваше пребывание в Спасском — словно по заказу: райский. Ни одного облачка на небе — ветра нет, тепло... Когда вчера вечером я вернулся из вагона, а Вы были у раскрытого окна — я стоял перед Вами молча — и произнес слово «отчаянная». Вы его применили к себе — а у меня в голове было совсем другое... Меня подмывала уж точно *отчаянная* мысль... схватить Вас и унести в вокзал... Но благоразумие, к сожалению, восторжествовало — а тут и звонок раздался — и «ciao!» — как говорят итальянцы. Но представьте себе, что было бы в журналах!! Отсюда вижу корреспонденцию, озаглавленную «Скандал в Орловском вокзале»: «Вчера здесь произошло необыкновенное происшествие: писатель Т. (а еще старик!), провожавший известную артистку С., ехавшую исполнять блестящий ангажемент в Одессе, внезапно, в самый момент отъезда, как бы обуян неким бесом, выхватил г-жу С-ну через окно из вагона, несмотря на отчаянное сопротивление артистки» и т. д., и т. д.».

Вслед за этим письмом последовало письмо-стихотворение, письмо-поэма: высший взлет и духовное разрешение «следов былого огня»:

«Милая Мария Гавриловна!

Однако, это ни на что не похоже. Вот уже третий день, как стоит погода божественная, я с утра до вечера гуляю по парку или сижу на террасе, стараюсь думать — да и думаю — о различных предметах — а там, где-то на дне души, все звучит одна и та же нота. Я воображаю, что я размышляю о Пушкинском празднике — и вдруг замечаю, что мои губы шепчут: «Какую ночь мы бы провели... А что было бы потом? А господь ведает!» И к этому немедленно прибавляется сознание, что этого никогда не будет и я так и отправлюсь в тот «неведомый край», не унеся воспоминания чего-то, мною никогда не испытанного. Мне почему-то иногда сдается, что мы никогда не увидимся: в Ваше заграничное путешествие я не верил и не верю, в Петербург я зимою не приеду — и Вы только напрасно уверяете себя, называя меня «своим грехом»! Увы! я им никогда не буду. А если мы и увидимся через два, три года — то я уже буду совсем старый человек. Вы, вероятно, вступите в окончательную колею Вашей жизни — и от прежнего не останется ничего.

Вам это с полугоря... вся Ваша жизнь впереди — моя позади — и этот час, проведенный в вагоне, когда я чувствовал себя чуть не двадцатилетним юношей, был последней вспышкой лампады. Мне даже трудно объяснить самому себе, какое чувство Вы мне внушили. Влюблен ли я в Вас — не знаю; прежде это у меня бывало иначе. Это непреодолимое стремление к слиянию, к обладанию — и к отданию самого себя, где даже чувственность пропадает в каком-то тонком огне... Я, вероятно, вздор говорю — но я был бы несказанно счастлив, если бы... если бы... А теперь, когда я знаю, что этому не бывать, я не то что несчастлив, я даже особенной меланхолии не чувствую, но мне глубоко жаль, что эта прелестная ночь так и потеряна навсегда, не коснувшись меня своим крылом... Жаль для меня — и осмелюсь

прибавить — и для Вас, потому что уверен, что и Вы бы не забыли того счастья, которое дали бы мне.

Я бы всего этого не писал Вам, если бы не чувствовал, что это письмо прощальное. И не то чтобы наша переписка прекратилась — о, нет! я надеюсь, мы часто будем давать весть друг другу — но дверь, раскрывшаяся было наполовину, эта дверь, за которой мерещилось что-то таинственно чудесное, захлопнулась навсегда... Вот уж точно, что le veviou est tiré (засов задвинут. — *Ю. Л.*). Что бы ни случилось — я уже не буду таким — да и Вы *тоже*.

Ну, а теперь довольно. *Было*... (или не было!) — да сплыло — и быльем поросло. Что не мешает мне желать Вам всего хорошего на свете и мысленно целовать Ваши милые руки. Можете не отвечать на это письмо... но на первое ответьте.

Ваш Ив. Тургенев.

P. S. Пожалуйста, не смущайтесь за будущее. *Такого* письма Вы уже больше не получите».

...6 июня в 12 часов дня состоялось торжественное открытие памятника Пушкину в Москве, ознаменовавшее начало великого праздника. По воспоминаниям современников, Тургенев стоял около памятника сияющий и просветленный. Его настроение невольно сообщалось всем окружающим. Он был несказанно счастлив, что честь возложения к подножию памятника венка от русских литераторов выпала вместе с И. С. Аксаковым на его долю.

Открытие памятника Пушкину А. Ф. Кони назвал «одним из незабвенных событий русской общественной жизни последней четверти прошлого столетия. Тот, кто в нем участвовал, конечно, навсегда сохранил о нем самое светлое воспоминание. После ряда удушливых в нравственном и политическом смысле лет, с начала 1880 года стало легче дышать, и общественная мысль и чувство начали принимать хотя и не вполне определенные, но, во всяком случае, более свободные формы. В затхлой атмосфере застоя, где все начало покрываться ржавчиной отсталости, вдруг пронеслись свежие струи чистого воздуха — и все постепенно стало оживать. Блестящим проявлением такого оживления был и Пушкинский праздник в Москве».

«С утра Москва приняла праздничный вид, и у памятника, закутанного пеленой, собрались многочисленные

депутации с венками и хоругвями трех цветов: белого, красного и синего — для правительственных учреждений, ученых и литературных обществ и редакций. Ко времени окончания литургии в Страстном монастыре яркие лучи солнца прорезали облачное небо, и, когда из монастырских ворот показалась официальная процессия, колокольный звон слился с звуками оркестров, исполнявших коронационный марш Мендельсона. На эстраду взошел принц Ольденбургский со свитком акта о передаче памятника городу. Наступила минута торжественного молчания; городской голова махнул свитком, пелена развернулась и упала, и под восторженные крики «ура» и пение хоров, запевших «Славься» Глинки, предстала фигура Пушкина с задумчиво склоненной над толпою головой. Казалось, что в эту минуту великий поэт простил русскому обществу его старую вину перед собою и временное забвение. У многих на глазах заблистали слезы... Хоругви задвигались, поочередно склоняясь перед памятником, и у подножья его стала быстро расти гора венков».

В этот же день, на обеде в Московской думе, возник эпизод, вызвавший много толков. Петербургские литераторы решили бойкотировать намечавшееся выступление Каткова и демонстративно выйти из зала, как только он начнет говорить свою речь. Тургенев особенно горячо поддерживал это решение: он-то, пожалуй, более всех пострадал в последнее время от выпадов катковской прессы. Но «когда после красивой речи И. С. Аксакова встал Катков и начал своим тихим, но ясным и подкупающим голосом тонкую и умную речь, законченную словами Пушкина: «Да здравствует разум, да скроется тьма!» — никто не только не ушел, но большинство — временно примиренное — двинулось к нему с бокалами. Чокаясь направо и налево с окружавшими, Катков протянул через стол свой бокал Тургеневу, которого перед тем он допустил жестоко «изобличать» и язвить на страницах своей газеты... Тургенев отвечал легким наклонением головы, но своего бокала не протянул. Окончив чоканье, Катков сел и во второй раз протянул бокал Тургеневу. Но тот холодно посмотрел на него и покрыл свой бокал ладонью руки».

Впоследствии его за это упрекали. А. Н. Майков сетовал:

— Эх, Иван Сергеевич, ну зачем вы не ответили на примирительное движение Каткова? Зачем не чокнулись с ним? В такой день можно все забыть!

— Ну, нет! — живо ответил Тургенев. — Я старый воробей, меня шампанским не обманешь.

В себе самом Тургенев не нашел достаточно сил для осуществления того идеала всеобщего примирения, который всю жизнь вынашивал в своей душе. Вдруг он, человек, считавший себя слабым, способным подчиняться чужому влиянию, обнаружил решительную невозможность мягкости и податливости по отношению к некоторым своим противникам. Как-то в разговоре с друзьями Тургенев сказал: «Я искренне ненавижу Каткова, но очень может быть, завтра вы меня увидите на Невском под руку с ним, бога ради, не подумайте, что я подлец. Своих убеждений я не меняю, но я не могу избавиться от неотразимого влияния на меня этого человека. Я просто перед ним пасую, я сам не знаю отчего. Как посмотрит он на меня своими оловянными глазами, я решительно уничтожаюсь, и он может делать из меня что хочет». На Пушкинском празднике Тургенев превзошел самого себя.

«Вечером, в зале Дворянского собрания, был первый из трех устроенных в память Пушкина концертов, с пением и чтением поэтических произведений. На устроенной в зале сцене стоял среди тропических растений большой бюст Пушкина, и на нее поочередно выходили представители громких литературных имен, и каждый читал что-либо из Пушкина или о Пушкине. Островский, Полонский, Плещеев, Чаев, вперемежку с артистами и певцами, прошли перед горячо настроенной публикой. Появился и грузный, с типическим лицом и выговором костромского крестьянина, всклокоченный и с большими глазами навыкате Писемский. Вышел, наконец, и Тургенев. Приветствуемый особенно шумно, он подошел к рампе и стал декламировать на память, и нельзя сказать, что особенно искусно, «Последнюю тучу рассеянной бури», но на третьем стихе запнулся, очевидно его позабыв, и, беспомощно разведя руками, остановился. Тогда из публики, с разных концов, ему стали подсказывать все громче и громче. Он улыбнулся и сказал конец стихотворения вместе со всею залой. Этот милый эпизод еще более подогрел общее чувство к нему, и когда, в конце вечера, под звуки музыки все участники вышли на сцену с ним во главе и он возложил на голову бюста лавровый венок, а Писемский затем, сняв этот венок, сделал вид, что кладет его на голову Тургенева, — весь зал огласился нескончаемыми рукоплесканиями и громкими криками «браво».

7 июня на заседании Общества любителей российской словесности Тургенев выступил с речью о Пушкине. Он говорил об особой «художественной восприимчивости» Пушкина, о «мощной силе самобытного присвоения чужих форм». Эту способность «сами иностранцы признают за нами, правда, под несколько пренебрежительным именем способности к «ассимиляции». И здесь Тургенев шел за Белинским, впервые отметившим эту черту пушкинского дарования, эту способность его «быть как у себя дома во многих и самых противоположных сферах жизни». Тургенев говорил, что самая сущность поэзии Пушкина «совпадает со свойствами, сущностью нашего народа. Не говоря уже о мужественной прелести, силе и ясности его языка, эта прямодушная правда, отсутствие лжи и фразы, простота, эта откровенность и честность ощущений — все эти хорошие черты хороших русских людей поражают в творениях Пушкина не одних нас, его соотечественников, которым он стал доступен. Суждения иноземцев бывают драгоценны: их не подкупает патриотическое увлечение. «Ваша поэзия, — сказал нам однажды Мериме, известный французский писатель и поклонник Пушкина, которого он, не обинуясь, называл величайшим поэтом своей эпохи, чуть ли не в присутствии самого Виктора Гюго, — ваша поэзия ищет прежде всего правды, а красота потом является сама собою; наши поэты, напротив, идут совсем противоположной дорогой: они хлопочут прежде всего об эффекте, остроумии, блеске, и если ко всему этому им предстоит возможность не оскорблять правдоподобия, так они и это, пожалуй, возьмут в придачу». «У Пушкина, — прибавлял он, — поэзия чудным образом расцветает как бы сама собою из самой трезвой прозы».

Тургенев отметил, что «Пушкин не избег общей участи художников-поэтов, начинателей. Он испытал охлаждение к себе современников; последующие поколения еще более удалились от него». Причины охлаждения «лежали в самой судьбе, в историческом развитии русского общества, в условиях, при которых зарождалась новая жизнь, вступившая из литературной эпохи в эпоху политическую... Не до поэзии, не до искусства стало тогда... Миросозерцание Пушкина показалось узким, его горячее сочувствие нашей, иногда официальной славе — устарелым, его классическое чувство меры и гармонии — хо-

лодным анахронизмом». «Не станем, однако, слишком винить эти поколения... это забвение было неизбежно. Но мы не можем также не радоваться этому возврату к поэзии».

В своей речи Тургенев признал народный и национальный характер поэзии Пушкина. Он говорил, что «самая сущность, все свойства его поэзии» народны: Пушкин «дал окончательную обработку нашему языку», «отозвался типическими образами, бессмертными звуками на все веяния русской жизни». И «русский народ имеет право называться великим народом потому, что среди этого народа родился, в ряду других великих, и *такой* человек!»

Но признать всемирное значение творчества Пушкина Тургенев не решился, несмотря на то, что трижды подходил к этой теме. «Вопрос: может ли Пушкин назваться поэтом национальным, в смысле Шекспира, Гёте и других, мы оставим пока открытым, — говорил Тургенев, — быть может, явится новый, еще неведомый избранник, который превзойдет своего учителя и заслужит вполне название национально-всемирного поэта, которое мы не решаемся дать Пушкину, хотя и не дерзаем его отнять у него».

Не такого выступления ждала от Тургенева молодежь. Встретили писателя дружно и шумно, однако речь его расхолодила публику, особенно в той ее части, где Тургенев проявлял колебания в определении национального и всемирного значения Пушкина-поэта.

Подлинным триумфом оказалась на Пушкинских праздниках речь Достоевского, произнесенная с удивительным талантом и редкой силой убеждения на другой день торжеств, 8 июня.

Достоевский говорил о том, что Пушкин — пророческое явление русского духа. И хотя поэты Европы имели на него свое влияние, он никогда не был простым их подражателем. Так, уже в Алеко, герое поэмы «Цыганы», сказалась не байроническая, но совершенно русская мысль о национальном типе человека-скитальца, оторванного от народа. Эти русские скитальцы до сих пор продолжают свои странствия и долго еще не исчезнут. Ими движет поиск счастья, и счастья не только для себя, но и всемирного. Люди этого типа возникли после петровской реформы в оторванном от народа интеллигентном обществе. К ним относил Достоевский и героев Тургенева, «лишних людей», а также революционеров-социалистов.

В «Цыганах» Пушкин дал, по Достоевскому, и русское решение вопроса по народной вере и правде: «Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной ниве». Скитальцу Онегину Пушкин противопоставил Татьяну — тип, твердо стоящий на родной почве. Этот тип почти уже и не повторялся в нашей литературе, кроме разве образа Лизы в «Дворянском гнезде» Тургенева.

Гений Пушкина, русский гений, наделен уникальной способностью — «всемирной отзывчивостью». Эту главнейшую способность русской нации он разделяет с народом нашим. Ни один из европейских поэтов не воплощал в себе с такой силой гений соседних с ним народов, не обладал свойством перевоплощаться вполне в чужую национальность. Тут-то и выразилась, по Достоевскому, наиболее национальная русская сила с ее стремлением ко всемирности и всечеловечности.

Реформа Петра показала, что народ наш обладает уникальной, единственной во всем мире возможностью принимать в душу свою гении чужих наций, умея инстинктом извинять и примирять различие между ними. «О, все это славянофильство и западничество наше есть только одно великое у нас недоразумение, хотя исторически и необходимое. Для настоящего русского Европа и удел всего великого арийского племени так же дороги, как и сама Россия, как и удел своей родной земли, потому что наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретаемая, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей. Если вы захотите вникнуть в нашу историю после петровской реформы, вы найдете уже следы и указания этой мысли, этого мечтания моего, если хотите, в характере общения нашего с европейскими племенами, даже в государственной политике нашей. Ибо, что делала Россия во все эти два века в своей политике, как не служила Европе, может быть, гораздо более, чем себе самой?.. И впоследствии... стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всесоединяющей, вместить в нее с братской любовию всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону! ... Я говорю лишь о братстве людей и о том, что ко всемирному,

ко всечеловеческому единению сердце русское, может быть, изо всех народов наиболее предназначено, вижу следы сего в нашей истории, в наших даровитых людях, в художественном гении Пушкина. ...Если бы жил он дольше, может быть, явил бы бессмертные и великие образы души русской, уже понятные нашим европейским братьям... Жил бы Пушкин долее, так и между нами было бы, может быть, менее недоразумений и споров, чем видим теперь. Но Бог судил иначе. Пушкин умер в полном развитии своих сил и, бесспорно, унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем».

«Последние эти слова своей речи Достоевский произнес каким-то вдохновенным шепотом, опустив голову, и стал как-то торопливо сходить с кафедры при гробовом молчании, — вспоминали современники. — Зал точно замер, как бы ожидая чего-то еще. Вдруг из задних рядов раздался крик: «Вы разгадали!», подхваченный несколькими женскими голосами на хорах. Весь зал встрепенулся. Послышались крики: «Разгадали! Разгадали!» — гром рукоплесканий, какой-то гул, топот... Кричали и хлопали буквально все — и в зале, и на эстраде. Аксаков бросился обнимать Достоевского. Тургенев, спотыкаясь как медведь, шел прямо к Достоевскому с раскрытыми объятиями. Какой-то истерический молодой человек, расталкивая всех, бросился к эстраде с болезненным криком: «Достоевский, Достоевский!» — и вдруг упал навзничь в обмороке...»

Достоевского увели в ротонду под руки Тургенев и Аксаков; он ослабел... Казалось, пришла долгожданная минута всенародного торжества, братского единения всех партий, всех общественных течений русского общества. П. В. Анненков подбежал к Достоевскому со словами: «Вы гений, вы более чем гений!» Иван Аксаков вышел на эстраду и объявил, что своей речи читать не будет, ибо все сказано и все разрешено великим словом Достоевского. «Это не просто речь, а историческое событие! — сказал Аксаков. — Туча облегала горизонт, и вот слово Достоевского, как появившееся солнце, все рассеяло, все осветило. С этой поры наступает братство и не будет недоумений». А возбужденная аудитория стоголосым эхом откликнулась: «Да! Да!»

Однако иллюзорность надежд на примирение противоположных общественных направлений обнаружилась уже на второй день, как только сгладилось первое впечатление от вдохновенной речи Достоевского и она стала предметом критического анализа. Газета «Молва» от 13 июня писала: «Все это очень заносчиво и потому фальшиво. Что за выделение России в какую-то мировую особь». 18 июня газета «Русский курьер» в передовой статье отмечала: «Русская интеллигенция прежде всего должна была завоевать себе в государстве ту независимость и влияние, какими она пользуется на Западе. Если *гордый* интеллигентный человек должен *смириться* перед народною правдою, то и смиренный народ должен *подняться* до понимания хотя бы Пушкина». Либеральный профессор А. Д. Градовский отвечал Достоевскому в «Голосе» от 25 июня 1880 года: «Правильнее было бы сказать и современным «скитальцам» и «народу»: смиритесь перед требованиями той общечеловеческой гражданственности, к которой мы, слава Богу, приблизились благодаря реформам Петра. Впитайте в себя все, что произвели лучшего народы — учители ваши. Тогда, переработав в себе всю эту умственную и нравственную пищу, вы сумеете проявить и всю силу вашего *национального* гения».

Несогласия с Достоевским возникли даже в кругу славянофилов. В противоположность И. С. Аксакову, А. И. Кошелев в десятом номере «Русской мысли» за 1880 год писал: «Вполне согласны, что Пушкин народный поэт и, прибавим — первой степени, но что отзывчивость составляет главнейшую особенность нашей народности — это, кажется нам, неверно; и мы глубоко убеждены, что не это свойство утвердило за Пушкиным достоинство народного поэта... Не могу также согласиться со следующим мнением господина Достоевского: «Что такое сила духа русской народности, как не стремление ее, в конечных целях своих, ко всемирности и всечеловечности?» Думаем, что это стремление также вовсе не составляет отличительной черты характера русского народа. Все народы, все люди более или менее, с сознанием или без сознания, стремятся осуществить идею человека — это задача каждого из нас. До сих пор с сознанием мы менее других ее исполняем или даже стремимся к ее исполнению».

Г. И. Успенский так объяснял причину необыкновенного успеха речи Достоевского в кругах революционно настроенной народнической молодежи: «Как же было не приветствовать господина Достоевского, который в первый раз, в течение трех десятков лет с глубочайшею (как

кажется) искренностью решился сказать всем исстрадавшимся в эти трудные годы — «Ваше неуменье успокоиться в личном счастье, ваше горе и тоска о несчастье других и, следовательно, ваша работа, как бы несовершенна она ни была, на пользу всеобщего благополучия — есть предопределенная всей нашей природой задача, лежащая в сокровенных основах нашей национальности».

«Конечно, молодежь, делавшая овации Достоевскому, — писал П. Л. Лавров, — брала из его речи не то, что он действительно говорил, а то, что соответствовало *ее* стремлениям. Не христианское прощение зла, наносимого братьям, читала она в туманных словах нервного оратора, <...> а солидарность в борьбе за право на лучшую будущность для всех обездоленных братьев против их эксплуататоров всех наций. Она готова была смириться перед народом, <...> жертвуя ему своими интересами, своим благополучием, своею жизнью, но перед народом, в пробуждающемся сознании которого она читала ненависть к его вековым притеснителям, перед народом, который, в стремлении к правде умственной и нравственной, «принял бы в свою суть» уже не Христа, смиренно переносящего заушения, а Христа, воскресшего из могилы невежества и бессознательности, Христа, являющегося справедливым и грозным судьею».

Тургенев тоже не случайно поддался общему эмоциональному порыву. Было в речи Достоевского что-то родственное его собственным взглядам на Пушкина и на русскую жизнь. Во-первых, обе речи — и Тургенева, и Достоевского — восходили к общему источнику, к оценке пушкинского гения Белинским и Гоголем. Ведь именно Белинский впервые назвал Пушкина Протеем, гением, способным легко и свободно перевоплощаться в культуры других наций. На эту особенность Пушкина обращал внимание и Гоголь: «И как верен его отклик, как чутко его ухо! Слышишь запах, цвет земли, времени, народа. В Испании он испанец, с греком — грек, на Кавказе — вольный горец, в полном смысле этого слова; с отжившим человеком он дышит стариной времени минувшего; заглянет к мужику в избу — он русский с головы до ног».

Белинский же приближался к мысли о пророческой сути пушкинской переимчивости. В статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» он писал: «Не любя гаданий и мечтаний и пуще всего боясь произвольных, личных выводов, мы не утверждаем за непреложное, что русскому народу предназначено выразить в своей национальности наиболее богатое и многостороннее содержание и что в этом заключается причина его удивительной способности воспринимать и усваивать себе все чуждое ему; но смеем думать, что подобная мысль, как предположение, высказываемое без самохвальства и фанатизма, не лишена основания».

Во-вторых, признание Достоевским высокого трагического смысла за «русским скитальцем» не могло не польстить Тургеневу, автору «Рудина», где тема бесприютного скитальчества поднимается на большую нравственную высоту. Лежнев неспроста говорит Рудину: «Ты назвал себя Вечным Жидом... А почему ты знаешь, может быть, <...> ты исполняешь этим высшее, для тебя самого неизвестное назначение: народная мудрость гласит недаром, что все мы под Богом ходим».

Наконец, когда Достоевский, рассуждая о пушкинской Татьяне, сказал, что этот тип русской женщины не повторялся впоследствии, кроме, может быть, тургеневской Лизы, — в зале раздались овации и крики, а Тургенев послал Достоевскому воздушный поцелуй...

Но какую-то неудовлетворенность оставила в душе Тургенева и эта речь, и этот чрезмерный энтузиазм, и эти женщины, бросившиеся с венком к Достоевскому и потеснившие Тургенева со словами: «Не вам! Не вам!» И уже 13 июня Тургенев написал из Спасского письмо редактору журнала «Вестник Европы» М. М. Стасюлевичу: «Не знаю, кто у вас в «Вестнике Европы» будет писать о Пушкинских праздниках, но не мешало бы заметить ему следующее: и в речи Ив. Аксакова, и во всех газетах сказано, что лично я совершенно покорился речи Достоевского и вполне ее одобряю. Но это не так — и я еще не закричал: «Ты победил, галилеянин!» Эта очень умная, блестящая и хитро-искусная, при всей страстности, речь всецело покоится на фальши, но фальши, крайне приятной для русского самолюбия. Алеко Пушкина чисто байроновская фигура — а вовсе не тип современного русского скитальца; характеристика Татьяны очень тонка — но неужели же одни *русские* жены пребывают верны своим старым друзьям? А главное: «Мы скажем последние слова Европе, мы ее ей же подарим — потому что Пушкин гениально воссоздал Шекспира, Гёте и пр.»? Но ведь он их *воссоздал*, а не *создал* — и мы точно так же не создадим новую Европу — как он не создал Шекспира и др. И к чему этот *всечеловек*, которому так неистово хлопала публика? Да быть им вовсе

и не желательно: лучше быть оригинальным русским человеком, чем этим безличным всечеловеком. Опять все та же гордыня под личиною смирения. Может быть, европейцам оттого и труднее та ассимиляция, которую возводят в какое-то гениальное всемирное творчество, что они оригинальнее нас. Но понятно, что публика сомлела от этих комплиментов, да и речь была действительно замечательная по красивости и такту. Мне кажется, нечто в этом роде следует высказать. Господа славянофилы нас еще не проглотили».

Так в частном письме обнаружились «западнические крайности», которые в речи своей Тургенев непроизвольно сдерживал; здесь он полностью солидарен с теми иностранцами, которые считают отзывчивость Пушкина выражением русской способности к «ассимиляции». Стасюлевич в «Вестнике Европы» высказался на этот счет по тургеневской канве прямо и недвусмысленно: «Наша «всечеловечность» была «просто признаком известной ступени развития, стремлением усвоить сделанные ранее другими приобретения; наклонность вживаться в умственную жизнь Европы не была ли следствием умственной бедности нашего собственного быта, бедности, которую столько могущественных причин производили и поддерживали. ...Речь Достоевского была построена на фальши — на фальши, крайне приятной только для нераздраженного самолюбия». Если в душе Тургенева теплились патриотические чувства, заставившие его «сомлеть от комплиментов» Достоевского, то стасюлевичи и спасовичи хладнокровно укатывали эти чувства тяжелым западническим катком.

ИСХОД

Тургенев покидал Россию в предчувствии надвигающейся катастрофы. Вскоре до Парижа докатилось грозное известие: 1 марта 1881 года народовольцы убили Александра II. Эта их «победа» обернулась поражением не только народовольческого, но и либерального движения. Восторжествовало то, чего Тургенев более всего опасался, — фанатизм.

Еще 26 февраля Тургенев заявлял К. Д. Кавелину, что пришла пора либералам выступить с совершенно ясной, подробной и обстоятельной программой. Теперь эти планы «упали в воду». «Да, несчастная страна — наша родина, — сетовал Тургенев Анненкову. — А вот еще если и против нового царя вздумают делать попытки — тогда уж точно — как говорится: завязамши глаза, да беги на край света — пока мужицкая петля не затянула твоей цивилизованной глотки. Невольно повторяю за Стасюлевичем: хорошенькое времечко мы переживаем!»

Ровно через два месяца после покушения Тургенев приехал в Россию с надеждой как-то повлиять на ход событий. Но эта надежда оказалась иллюзорной, наивным представилось недавнее горячее желание навсегда вернуться в Россию:

— Я вам расскажу, в каком я здесь положении, только вы, пожалуйста, никому не передавайте, потому что мне, право, стыдно, — делился Тургенев своими переживаниями с народником С. И. Кривенко, навещавшим его тогда в Петербурге. — В Париже были глубоко убеждены, что, как только я сюда приеду, так сейчас же меня позовут для совещаний: «Пожалуйста, Иван Сергеевич, помогите вашей опытностью». И сам я, признаться, тоже разделял надежды, а я сижу здесь дурак дураком целых две недели, и не только меня никуда не зовут, но и ко мне-то никто из влиятельных людей не едет, а те, кто заглядывают, как-то все в сторону больше смотрят и норовят поскорее уехать: «Ничего, мол, неизвестно, ничего мы не знаем». По некоторым ответам и фразам имею даже основание думать, что я здесь неприятен, что лучше мне куда-нибудь уехать. Да я и сам уехал бы с большим удовольствием, если бы только не эта проклятая болезнь. Очень уж тут скучно теперь, а иногда, право, даже страшно бывает: ничего не понимаешь, что творится, каждый что хочет, то и делает, а потом все объясняют недоразумением. Как только мало-мальски поправлюсь, сейчас же уеду в деревню. Но теперь, пожалуй, и в деревне тоже страшно.

— А в деревне-то чего же бояться?

— Как чего? И там, я думаю, тоже сумятица и смута в головах. Знаете, что может быть, — с иронически-грустной улыбкой продолжал Тургенев, — я иногда боюсь, что какой-нибудь шутник возьмет и пришлет в деревню приказ: «Повесить помещика Ивана Тургенева!» И достаточно, и поверьте, придут и исполнят. Придут целою толпою, старики во главе, принесут веревку и скажут: «Ну, милый ты наш, жалко нам тебя, потому ты хороший барин, а ничего не поделаешь, — приказ такой

пришел». Какой-нибудь Савельич или Сидорыч, у которого будет веревка в руках, даже, может быть, будет плакать от жалости, а сам веревку станет расправлять и приговаривать: «Ну, кормилец ты наш, давай головушку-то свою, видно, уж судьба твоя такая, коли приказ пришел».

— Ну, уж это вы, Иван Сергеевич, преувеличиваете...

— Нет, право, может быть, может. И веревку помягче сделают, и сучок на дереве получше выберут, — фантазировал Тургенев...

Догадки о том, что его присутствие в Петербурге раздражает правительство, были не напрасными. Уже на другой день после его приезда Победоносцев, которого Александр III сделал своим приближенным, сообщал Я. П. Полонскому: «Вижу по газетам, что Тургенев здесь. Некстати он появился. Вы дружны с ним: что бы вот по дружбе посоветовать ему не оставаться долго ни здесь, ни в Москве, а ехать скорее в деревню... Я применил бы к нему теперь, от лица всех простых и честных людей, слова цыган к Алеко: «Оставь нас, гордый человек».

Так Тургенев и сделал: отправился в последний раз вместе с семьей Я. П. Полонского в благословенное, милое его сердцу Спасское. Лето выдалось холодное, дождливое. «Вот ты тут и живи!» — говаривал Тургенев, поглядывая на небо, с утра обложенное дождливыми тучами. Но когда случались ясные, солнечные дни, хозяин с гостями блуждали по саду. Здесь Тургенева осаждали воспоминания. «То припоминал он о какой-то театральной сцене, еще при жизни отца его сколоченной под деревьями, где в дни его детства разыгрывались разные пьесы, несомненно на французском языке, и где собирались гости; смутно помнил он, как горели плошки, как мелькали разноцветные фонарики и как звучала доморощенная музыка».

То указывал он Полонскому «на то место, по которому крался он на свое первое свидание, в темную-претемную ночь, и подробно, мастерски рассказывал, как он перелезал через канавы, как падал в крапиву, как дрожал как в лихорадке и по меже — «вон по той меже» — пробирался в темную, пустую хату. И это было недалеко от той плотины, где дворовые и мужики, после смерти старика Лутовинова, не раз видели, как прогуливается и охает по ночам тень его».

Тургенев рано ложился спать, но по утрам вставал с восходом солнца и сначала шел в сад кормить хлебом птиц или посидеть у пруда на своей любимой скамейке. «Раз проснулся он до зари, — вспоминал Полонский, — и, как поэт, передавал мне свои впечатления того, что он видел и слышал: какие птицы проснулись раньше, до восхода солнца, какие голоса подавали, как перекликались и как постепенно все эти птичьи напевы сливались в один хор, ни с чем не сравнимый, не передаваемый никакою человеческой музыкой...»

У Тургенева была с природой какая-то своя, утонченная, полумистическая связь. Однажды он рассказывал, как ему показалось, будто все его окружающее — деревья, травы — все силилось говорить ему и не могло, все, казалось, хотело сказать ему что-то и давало как-то ему почувствовать, что оно связано. Перед ним стояла небольшая береза. «Мне показалось, не знаю почему, — продолжал Тургенев, — что она была женского рода; я сказал внутренно: я знаю, что ты женщина, говори; и в ту же минуту один сук березы медленно, как будто с грустью, опустился. Волосы стали у меня дыбом от испуга, и я бежал опрометью».

С любопытством наблюдал Полонский за привычками Ивана Сергеевича. Чтобы не беспокоить слуг, он предпочитал сам чистить обувь, любил приколачивать занавеси на окнах в ожидании гостей, развешивать ковры на стенах готовящихся для них комнат. Он помогал своим друзьям собирать чемоданы, укладывать вещи или распаковывать их. Если он замечал шляпу на стуле — непременно вешал ее на место, если попадался брошенный зонтик — аккуратно ставил его в угол. Вообще любовь к порядку он унаследовал от матушки. Он любил, чтобы все его вещи были на местах, и вставал ночью, вспомнив, что ножницы лежали не на том месте, на котором должны быть. Он не мог заниматься, не мог писать, если письменный стол оказывался не в порядке, если вещи на нем были не прибраны или не лежали на отведенных им местах.

По утрам Тургенев долго занимался своим туалетом и особенно тщательно причесывался. «Смотри, — говорил он Полонскому, — я начинаю справа этим гребнем... пятьдесят раз, потом налево... пятьдесят раз; затем другим, более частым гребнем — сто раз. А потом — щеткой. Ты удивлен, не правда ли? Но, понимаешь ли, хорошо причесываться и быть безукоризненно приглаженным всегда было моей страстью с самого детства. Я унаследовал эту слабость от матери, у которой одно время была мания причесывать всех на свете».

В последнее лето Тургенев даже попытался восстановить некоторые существовавшие в усадьбе при Варваре Петровне традиции. Когда наступили солнечные дни, беспокойное и шумное семейство Полонских было трудно собрать к обеду в положенное время: Яков Петрович пристраивался в живописном месте с мольбертом, дети разбегались по укромным уголкам сада, лакомились клубникой, малиной, смородиной, собирали грибы. Тургеневу не нравился такой беспорядок. И однажды он послал в Мценск слугу за колоколом. Колокол привезли и установили на столбе, как в старые времена. Звон его разносился по саду в обеденное время.

По традиции, Тургенев устроил спасским крестьянам господский праздник. Жена Полонского Жозефина Антоновна должна была ехать в Мценск для закупки лент, бус, платков и сережек. Управляющий отправился за вином, пряниками, орехами и леденцами.

«К 7 часам вечера толпа уже стояла перед террасой: мужики без шапок, бабы и девки нарядные и пестрые, как раскрашенные картинки, кое-где позолоченные сусальным золотом. Начались песни и пляски. В пении мужики не принимали никакого участия, они по очереди подходили к ведру с водкой, черпали ее стеклянной кружечкой и, запрокидывая голову, выпивали. Только один пришлый мужик, в красной рубашке, и пел, и плясал, и кланялся, и подмигивал, и присвистывал. Помню — он спел какую-то сатирическую веселую песню на господ», — вспоминал Я. П. Полонский.

Тургенева этот мужик очень заинтересовал.

— Ты что думаешь? — говорил он Полонскому. — В случае какого-нибудь беспорядка, бунта или грабежа он был бы всех беспощаднее, был бы одним из первых, даром что он так юлил и кланялся... Это, брат, тип!

— И то уже радует, — говорил он в другой раз, — что поклон мужицкий стал далеко не тот поклон, каким он был при моей матери. Сейчас видно, что кланяются добровольно — дескать, почтение оказываем; а тогда от каждого поклона так и разило рабским страхом и подобострастием. Видно, Федот — да не тот!

Вообще Тургенев проявлял особый интерес к нравственному состоянию народной жизни. Вспоминали, что под его влиянием спасские крестьяне давно уже составили мирской приговор о неимении у себя кабака. «Тогда нашелся один предприимчивый отставной унтер-офицер, который у соседних крестьян князя Меншикова снял

в аренду клочок земли, подходящий к самому въезду в Спасское. Здесь, на основании приговора меншиковских крестьян, он и выстроил себе кабак. Тогда была придумана другая комбинация: при въезде в Спасское на иждивение Ивана Сергеевича выстроена часовня в память покойного императора Александра II, и по открытии часовни возбуждено было ходатайство о закрытии кабака, находящегося на незаконном расстоянии от часовни. После этого предприимчивый унтер должен был ретироваться. В часовне Тургенев поставил прекрасный образ Александра Невского, выполненный художником В. Д. Фартусовым, учеником профессора Е. С. Сорокина».

Вскоре в Спасское приехал старый приятель Тургенева Дмитрий Васильевич Григорович. Вспоминали, как двадцать шесть лет тому назад разыгрывали на спасской сцене «Школу гостеприимства», как молодой, веселый смех раздавался по комнатам дома, как дядюшка Николай Николаевич шагал под окнами залы вдоль крытой галереи, всплескивал руками и восклицал: «Оголтелые! Оголтелые!»

Ждали Марию Гавриловну Савину. Из Москвы доставили по этому случаю новое пианино. Тургенев не раз повторял: «Общество мужчин без присутствия доброй и умной женщины походит на тяжелый обоз с немазаными колесами, который раздирает уши нестерпимым, однообразным своим скрипом».

На этот раз Савина приехала и прогостила в Спасском пять дней. 17 июля праздновали день свадьбы Полонских — 15-летие их брака. За обедом с шампанским Тургенев говорил спич. Потом устроили праздник для крестьян с угощением, песнями и плясками. Савина подпевала мужикам и бабам и под конец так развеселилась, что едва не пустилась в пляс.

— Ишь, расходилась цыганская кровь! — шептал Тургенев Полонскому.

«Но он и сам был так весел, что готов был отплясывать», — вспоминал Полонский. Господский вечер закончился танцами под музыку игравшего на пианино Полонского. «Увы! плясовые песни еще кое-как удавались мне, полька тоже кое-как сошла с рук, но мазурка не давалась.

— Играй! — кричал мне Тургенев, — как хочешь, как знаешь, валяй! Мазурку валяй! Лишь бы была какая-нибудь музыка... Ну, раз, два, три... ударение на раз... Ну, ну!..

И вечер до чая прошел в том, что все присутствующие, в том числе и сам хозяин, плясали и танцевали кто во что горазд».

В один из вечеров, когда красное предзакатное солнце золотило вершины стройных лиственниц, Тургенев читал Савиной на балконе «Песнь торжествующей любви». Отрывая глаза от рукописи, он ловил устремленные на него взоры, «эти взоры, которые и жгут и ласкают, даже когда их не видишь, а только чувствуешь их лучи». Тогда же он получил от Савиной высшую награду: он поцеловал ее в губы, «в эту прелестную живую розу», которая «горела и шевелилась под его лобзанием». И потом Тургенев часто вспоминал этот поцелуй, «который чуть не сжег его на балконе спасского дома».

Смертельно больным, Тургенев так откликнулся на поздравление, которое прислала ему Марья Гавриловна в день рождения, 28 октября 1882 года: «Сизокрылая моя голубка — спасибо за Вашу вчерашнюю поздравительную телеграмму! Ваша память обо мне меня очень тронула»...

Так блеснула любовь «улыбкою прощальной» на его «печальный закат»...

В ночь на 9 июля в Спасское приехал Лев Толстой. Он появился неожиданно, когда в доме все готовились ко сну. Заслышав шум, Полонский встревожился и поспешил в прихожую:

«Вижу — горит свеча и какой-то мужик, в блузе, подпоясанный ремнем, седой и смуглый, рассчитывается с другим мужиком. Всматриваюсь и не узнаю. Мужик поднимает голову, глядит на меня вопросительно и первый подает голос: «Это вы, Полонский?» Тут только я признал в нем графа Л. Н. Толстого.

Мы горячо обнялись и поцеловались...

В столовой появился самовар и закуска... Беседа наша продолжалась до 3-х часов пополуночи...»

Толстой рассказывал о том, как он ходил пешком на богомолье в Оптину пустынь, в простом крестьянском платье и в такой же обуви. В особенности любопытен был толстовский очерк «двух оптинских пустынников или схимников». Очень увлеченно граф говорил о расколе, видя в нем «искание ближайших путей к тому христианству, которое утратилось». Говорили о судьбе крестьянства. Толстой полагал, «что крепостное право было школой, которая приучила его к терпению. Но что, если все

пойдет по-старому, через 25 лет 9/10 народа не будет знать, чем кормить своих детей.

Граф никому... не навязывал своего образа мыслей и спокойно выслушивал возражения Ивана Сергеевича. Одним словом, заметил Полонский, это был уже не тот граф, каким я когда-то в молодости знавал его. Я никогда... не видел его таким мягким, внимательным и добрым и, что всего непостижимее, таким уступчивым. Все время, пока он был в Спасском, я не слыхал ни разу, чтобы он спорил. Если он с чем-нибудь и не соглашался — он молчал, как бы из снисхождения. Так опроститься, как граф, можно не иначе, как много переживши, много передумавши. Я видел его как бы перерожденным, проникнутым иною верою, иною любовью».

Переменился и Тургенев. Д. В. Григорович вспоминал: «Иван Сергеевич был по-прежнему разговорчив, приветлив, часто шутил, но уже той веселости, — той полной веселости, которая оживляла нас в старое время, я уже в нем не заметил. Время от времени в чертах его проявлялся плохо скрываемый оттенок меланхолического, как будто даже горького чувства».

Наступала осень. Пришла пора собираться в дальнюю дорогу. Перед отъездом Тургенев часто заводил речь о том, «как бы ему опять водвориться в России, отвыкнуть от Франции и от французов, которых он не раз называл копеечниками». По пути в Париж он нанес ответный, прощальный визит в Ясную Поляну.

Тургенев случайно попал на день рождения Софьи Андреевны. В доме собралось много гостей, единомышленников Льва Николаевича. Разговоры велись в основном на религиозные темы и почти совсем не касались политических событий последнего времени. Зашла речь о смерти. Лев Николаевич с Урусовым утверждали, что религиозный человек, живущий истинной, а не животной жизнью, не должен бояться смерти. А кто ее боится, тот неправедно живет.

Тургенев слушал, слушал — и вдруг спросил:

— Кто боится смерти — пусть подымет руку! — и сам первый сделал это, но кроме него никто не поднял.

— Я, кажется, один, — сказал Тургенев. Тогда Толстой тоже поднял руку, и многим показалось, что не из учтивости, а всерьез.

Тургенев предложил французскую игру, по условиям которой каждый должен был рассказать счастливый слу-

чай в своей жизни. Когда очередь дошла до Тургенева, он сказал:

— Самыми счастливыми мгновениями жизни я считаю мгновения любви...

Тургенев помолчал, вздохнул и вдруг добавил:

— Со мной это было раз в жизни, а может быть, и два...

Под вечер развеселились. Молодежь пустилась плясать кадриль. Кто-то спросил Ивана Сергеевича, танцуют ли еще во Франции старую кадриль или же ее заменили непристойным канканом?

— Старый канкан, — сказал Тургенев, — совсем не тот непристойный танец, который танцуют в кафешантанах. Старый канкан — приличный и грациозный танец. Я когда-то умел его танцевать. Пожалуй, и теперь протанцую.

И вот Иван Сергеевич, пригласив себе в дамы двенадцатилетнюю Машеньку Кузьминскую и заложив пальцы за проймы жилета, по всем правилам искусства мягко отплясал старинный канкан с приседанием и выпрямлением ног. Правда, кончилось это неожиданным конфузом. Тургенев не удержал равновесия, упал, но вскочил довольно легко и загладил неловкость. Все хохотали, в том числе и он сам, но и всем как будто было немножко совестно за Тургенева.

Своим артистизмом, преобладающей во всех поступках и движениях художественной жилкой он уже не вписывался в мир Ясной Поляны, принимавший все более суровые и строгие, аскетические черты.

Толстой, по отъезде Тургенева, записал в своем дневнике: «Тургенев, cancan. Грустно».

Осенью Тургенев посетил Англию, охотился там, участвовал в обеде, устроенном в его честь английскими писателями и художниками. В Париже он написал один из лучших рассказов, посвященных трагедии широкой русской натуры — «Отчаянный». Созревал замысел нового большого романа о двух типах революционеров — русском и французском. Тургенев радовался: «Неужели из старого засохшего дерева пойдут новые листья и даже ветки? Посмотрим».

Но с января 1882 года начались испытания. Сначала — драма в семье дочери, которая вынуждена была бежать от промотавшего все состояние и опустившегося мужа. Потом — роковая болезнь...

Замыкалось кольцо тургеневской жизни, угасали воспоминания. Лицом к лицу он встретился с той, что всю

жизнь пугала его, являлась в виде страшной стихийной силы, слепой, никого не щадящей, ничего не различающей. Как принял Тургенев роковое испытание?

Мучительная болезнь, выпавшая на его долю — рак спинного мозга, — приносила нечеловеческие страдания. Когда, опомнившись, он вспоминал о них, он рассказывал, что был на дне моря и видел чудовищные сцепления безобразнейших организмов, которые никто не описывал, потому что никто не воскресал после таких спектаклей.

Но, воскресая, Тургенев находил в себе силы встретить смерть, подобно Базарову, мужественно и достойно.

В июле 1882 года фактически прекратилась его личная жизнь: писать он больше не в силах, после пятой строки начинает чувствовать боль в плече, без морфия глаз закрыть не может.

Но, получив известие с родины о железнодорожной катастрофе недалеко от Спасского, Тургенев скорбит и печалится и пишет ослабевающей рукой: «Ужасные слова — «стоны слышались под землей до 10 часов утра» — так и засели гвоздем в голову. Неужели же не было сейчас приступлено к раскопке?»

До русских друзей доходят слухи, что Тургенев одинок и заброшен, говорят о постоянном «грохоте музыки» в школе Виардо, располагающейся под комнатами писателя, о равнодушии членов семьи к его страданиям. Рассказывают об этом очевидцы, и Тургенев делает немалые усилия, чтобы успокоить друзей и оправдать семью Виардо. По поводу тесноты своей спальни он пишет, что все парижские спальни с низкими потолками и небольшого размера. Насчет музыки, гремящей с утра до вечера, говорит, что она ему нравится и что у него проделана специальная слуховая труба для ее прослушивания. Вообще он «как сыр в масле», а если и бывает одинок, то только по собственному желанию.

Альфонс Доде, навещавший Тургенева во время болезни, всегда находил одну и ту же картину: внизу, в роскошном зале, неумолчно раздавалась музыка и пение, а вверху, в крохотном полутемном кабинете лежал, сжавшись в комок, исхудавший, молчаливый, больной старик. Под шум музыки он рассказывал Доде о перенесенной только что операции, о страшных муках, периодически посещавших его.

Лето 1882 года семья Виардо жила с ним в Буживале. В сентябре, когда возник вопрос о переселении в Париж, Тургенев согласился остаться один. И вот он пишет

друзьям, что «одиночество ему по вкусу». А в ответ на их сожаления возражает: «Насчет одиночества я с вами не согласен. Вот теперь я совершенно одинок, «аки перст» — и ничего!»

И в эти трагические минуты своей догорающей жизни он предпочитает думать не о себе, а о других. За два с половиной месяца до смерти, 29 июня 1883 года, познакомившись с «Исповедью» Л. Н. Толстого, он пишет другу последнее, прощальное письмо:

«Милый и дорогой Лев Николаевич!

Долго Вам не писал, ибо был и *есмь*, говоря прямо, на смертном одре. Выздороветь я не могу — и думать об этом нечего. Пишу же я Вам собственно, чтобы сказать Вам, как я был рад быть Вашим современником — и чтобы выразить Вам мою последнюю искреннюю просьбу. Друг мой, вернитесь к литературной деятельности! Ведь этот дар Вам оттуда же, откуда все другое. Ах, как я был бы счастлив, если б мог подумать, что просьба моя так на Вас подействует!! Я же человек конченый... Ни ходить, ни есть, ни спать, да что! Скучно даже повторять все это! Друг мой, великий писатель русской земли, внемлите моей просьбе! Дайте мне знать, если получите эту бумажку, и позвольте еще раз крепко, крепко обнять Вас, Вашу жену, всех Ваших.

Не могу больше, устал».

Подобно своей героине Лукерье из рассказа «Живые мощи» он смиряется со своим положением, приучает себя не думать о безысходности, а жить «покелева богу угодно». «Иным и хуже бывает», «иной и слепой и глухой! А я, слава Богу, вижу прекрасно и все слышу», — говорит его Лукерья. «Я мог бы ослепнуть... А теперь даже работать можно... Живут же устрицы...» — вторит он.

Подобно Евгению Базарову, он отказывается от последнего утешения в письме к Е. П. Кавелиной: «В присланной Вами молитве вижу также знак Вашего ко мне участия, которым, однако, не могу воспользоваться в указанном Вами виде». Даже в мучительной болезни он выражается крайне осторожно, чтобы не оскорбить религиозного чувства доверившейся ему молодой девушки, которая просит его читать молитву и носить ее при себе.

За две недели до конца в нем вспыхивают творческие силы, но руки уже не могут держать перо. И тогда он просит Полину Виардо «дунуть на умирающую лампаду».

Вот как об этом событии рассказывала сама его царица или леди Макбет — оба эти определения она услышала тогда из его остывающих уст:

«Дней за пятнадцать до своей кончины он велел позвать меня к постели. Он сказал мне со слезами на глазах, что хочет просить у меня большой услуги, которой никто другой в мире, кроме меня, не может оказать ему. Я хотел бы написать рассказ, который у меня в голове, но это слишком утомило бы меня, я не смог бы».

Он просил записать рассказ «Конец» под его диктовку. Это было повествование о помещике, который и после реформы продолжал грубо обходиться с крестьянами, пока его не нашли на дороге с проломленной головой...

За несколько дней до смерти Тургенев завещал похоронить его на Волковом кладбище, подле своего друга В. Г. Белинского. Высшим его желанием было — лечь у ног своего учителя, Пушкина, но: «Я не заслуживаю такой чести», — прошептал он...

В бреду, прощаясь с семейством Виардо, он забыл, что перед ним французы, и говорил с ними на русском языке: «Ближе, ближе ко мне, — шептал он, вскидывая веками во все стороны и делая усилие обнять дорогих ему людей, — пусть я всех вас чувствую тут около себя... Настала минута прощаться... прощаться... как русские цари... царь Алексей... царь Алексей... Алексей второй...».

Последние слова Тургенева переносили его на просторы родных орловских лесов и полей, к тем людям, которые жили в России и помнили о нем: «Прощайте, мои милые, мои белесоватые...»

«Последний день июня месяца; на тысячу верст кругом Россия — родной край.

Ровной синевой залито все небо; одно лишь облачко на нем — не то плывет, не то тает. Безветрие, теплынь... воздух — молоко парное!»

Кто знает, не эти ли картины жизни вольной русской деревни проносились в его угасающем сознании, когда 22 августа 1883 года, в два часа пополудни, оставил он мир земной?..

После смерти черты его лица приняли спокойный, ласковый и мягкий характер, следы страдания исчезли.

27 сентября 1883 года, в Петербурге, Россия торжественно похоронила его, согласно завещанию, со всеми почестями, достойными его замечательного таланта.

Открылась новая страница его судьбы: жизни после смерти, его бессмертия.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА И. С. ТУРГЕНЕВА

1818, 28 октября (9 ноября нового стиля) — Рождение И. С. Тургенева, «в Орле, в своем доме в 12 часов утра».
1833, 20 сентября — Тургенев принят своекоштным студентом по словесному отделению философского факультета Московского университета.
1834, 18 июля — Тургенев переводится на философский факультет Петербургского университета.
1834, 30 октября — Смерть отца.
1837, осень — Получает степень кандидата.
1838, начало апреля — Выход в свет № 1 «Современника» со стихотворением Тургенева «Вечер».
1839, май — Известие о пожаре в Спасском-Лутовинове.
1839, август — ноябрь — Тургенев в Спасском-Лутовинове.
1840, февраль — начало мая — Путешествие по Италии, дружеские отношения со Станкевичем.
1840, 24 июня — В Италии, в городе Нови, скончался Станкевич.
1840, 20 июля — Тургенев знакомится с М. А. Бакуниным.
1841, весна — Тургенев заканчивает занятия в Берлинском университете и возвращается в Россию.
1841, лето — В Спасском-Лутовинове Тургенев сближается с А. Е. Ивановой.
1841, 10—16 октября — Тургенев посещает Премухино. Начало любовного романа с Т. А. Бакуниной.
1842, апрель — май — Сдает магистерские экзамены по философии и латинской словесности в Петербургском университете.
1843, конец февраля — Знакомство с Белинским.
1843, апрель — Выход отдельного издания поэмы «Параша».
1843, 8 июня — Тургенев зачислен на службу в Министерство внутренних дел.
1843, 1 ноября — Тургенев знакомится с Полиной Виардо.
1844, лето — Тесное сближение Тургенева с Белинским. Знакомство с Некрасовым.
1845, 18 апреля — Тургенев увольняется со службы в Министерстве внутренних дел.
1845, около 10 мая — Тургенев вместе с семьей Виардо выезжает во Францию.
1845, ноябрь — Тургенев возвращается в Россию. Знакомится с Достоевским.
1846 — Выход в свет «Петербургского сборника» с повестью Тургенева «Три портрета» и поэмой «Помещик».
1846, конец года — Переход журнала «Современник» в руки Некрасова и Панаева.
1847 — В первой книжке «Современника» опубликован очерк «Хорь и Калиныч» из «Записок охотника».
1847, январь — Тургенев уезжает за границу.
1847, май — июль — Тургенев и Белинский отдыхают в Зальцбрунне.

1848, 26 мая — В Петербурге скончался Белинский.
1848, март — декабрь — Дружеское сближение Тургенева с Герценом.
1850, 17 июня — Тургенев выезжает из Парижа в Россию.
1850, 16 ноября — В Москве скончалась мать Тургенева.
1852, 24 февраля — Тургенев узнает о смерти Гоголя.
1852, 16 апреля — Арест Тургенева.
1852, 18 мая — После месячного заключения Тургенев сослан в Спасское-Лутовиново под полицейский надзор.
1852, август — Известие о выходе в свет отдельного издания «Записок охотника».
1853, март — Тайная десятидневная поездка Тургенева в Москву для свидания с П. Виардо.
1853, 23 ноября — Конец спасской ссылки.
1854, июнь — июль — Увлечение писателя О. А. Тургеневой.
1854, осень — Тургенев охотится вместе с Некрасовым в Спасском-Лутовинове.
1855, январь — Тургенев на юбилее Московского университета, посещает Грановского, А. Н. Островского, Аксаковых.
1855, май — июнь — В Спасском-Лутовинове гостят Боткин, Григорович, Дружинин.
1855, 7 октября — Тургенев на похоронах Грановского.
1855, 19 ноября — Л. Н. Толстой возвращается из Севастополя и останавливается на квартире у Тургенева в Петербурге.
1856, январь — февраль — Публикация в «Современнике» романа «Рудин».
1856, лето — Поездки Тургенева в Покровское к М. Н. Толстой. Работа над повестью «Фауст».
1856, середина октября — Тургенев уезжает во Францию.
1857 — Размолвка с Полиной Виардо.
1857, 5 октября — Тургенев выезжает с Боткиным из Парижа в Рим.
1858, 27 мая — Тургенев выезжает в Россию.
1859 — В первом номере «Современника» опубликован роман «Дворянское гнездо».
1859, 29 апреля — Тургенев уезжает за границу.
1859, с 21 по 25 мая — Тургенев в Лондоне. Общение с Герценом.
1859, в середине сентября — Тургенев возвращается в Петербург, затем — в Спасское-Лутовиново. Работает над романом «Накануне».
1860 — В первом и втором номерах «Русского вестника» М. Н. Каткова выходит роман «Накануне». Размолвка Тургенева с Некрасовым и уход из редакции журнала «Современник».
1860, 29 марта — Третейский суд между Тургеневым и Гончаровым.
1860, 24 апреля — Отъезд Тургенева за границу.
1860, 27 июля — Свидание в Лондоне с А. И. Герценом.
1860, август — Формулярный список действующих лиц романа «Отцы и дети», составленный Тургеневым во время морских купаний в г. Вентноре на острове Уайт.
1861, 30 апреля — Тургенев возвращается на родину.
1861, 27 мая — Ссора Тургенева с Л. Н. Толстым в имении Фета Степановка.

1861, 30 июля — Тургенев заканчивает работу над романом «Отцы и дети».
1861, сентябрь — Тургенев приезжает в Париж.
1862 — В февральской книжке «Русского вестника» выходит роман Тургенева «Отцы и дети».
1862, май — Свидание Тургенева в Лондоне с Бакуниным и Герценом.
1862, 25 мая — Приезд Тургенева в Петербург.
1862, 15 октября — Возвращение Тургенева в Париж.
1863, 3 мая — Тургенев поселяется в Баден-Бадене.
1864, январь — Приезд Тургенева в Петербург по официальному вызову в Сенат.
1864, 28 февраля — Возвращение Тургенева в Баден-Баден.
1865, 13 февраля — Свадьба дочери Тургенева.
1867, 26 февраля — Тургенев привозит в Петербург роман «Дым».
1867, середина апреля — Выходит третья книжка «Русского вестника» с романом Тургенева «Дым».
1867, август — Ссора Достоевского с Тургеневым в Баден-Бадене.
1870, 10 января — Тургенев узнает в Баден-Бадене о смерти Герцена.
1870, 3 июля — С началом франко-прусской войны Тургенев вместе с семейством Виардо покидает Баден-Баден и переезжает в Англию.
1871, 13 февраля — Тургенев приезжает в Петербург. Знакомится со Стасовым, читает в клубе художников рассказ «Бурмистр».
1871, ноябрь — Тургенев с семейством Виардо переезжает в Париж.
1873, июль — Тургенев совместно с семьей Виардо нанимает в Буживале загородную виллу «Ясени».
1874, 2 апреля — Начало «обедов пяти» (Тургенев, Э. Гонкур, Доде, Золя и Флобер).
1874, 19—26 июня — У Тургенева в Спасском-Лутовинове гостит Ю. П. Вревская.
1877 — В январской и февральской книжках «Вестника Европы» выходит роман Тургенева «Новь».
1878, 8 и 9 августа — Тургенев гостит у Толстого в Ясной Поляне.
1879, январь — Тургенев получает известие о смерти брата и едет в Россию.
1879 — март — Чествование Тургенева в Москве и Петербурге. Решение писателя вернуться в Россию.
1879, с 3 по 10 июня — Тургенев в Англии на присуждении ему степени доктора обычного права Оксфордского университета.
1880, июнь — Участие Тургенева в Пушкинском празднике в Москве.
1881, лето — Последний приезд Тургенева в Спасское. Посещение Спасского Л. Н. Толстым, Д. В. Григоровичем, М. Г. Савиной.
1883, 22 августа — Смерть Тургенева.
1883, 19 сентября — Проводы тела Тургенева в Петербург на Северном вокзале в Париже.
1883, 27 сентября — Похороны Тургенева в Петербурге на Волковом кладбище.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

I. Произведения Тургенева.
Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем. Сочинения в 15-ти т., письма в 13-ти т. — М.—Л.: Наука, 1961—1968.
Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем в 30-ти т. — М.: Наука, 1978—1982.
Переписка И. С. Тургенева: В 2-х т. — М.: Художественная литература, 1986.
II. Литература о жизни Тургенева.
Рында И. Ф. Черты из жизни Тургенева. СПб., 1903.
Гутьяр Н. М. Иван Сергеевич Тургенев. Юрьев, 1907.
Иванов И. И. Иван Сергеевич Тургенев. Нежин, 1914.
Никольский Ю. Тургенев и Достоевский. София, 1921.
Утевский Л. С. Смерть Тургенева. Пб., 1923.
Португалов М. В. По тургеневским местам. М., 1924.
Клеман М. К. Летопись жизни и творчества Тургенева. М.—Л., 1934.
Чернов Н. Орловские литературные места. Тула, 1970.
Новиков В. По тургеневским местам. Тула, 1971.
Богословский Н. Тургенев. М.: Молодая гвардия, 1968.
Розанов А. Полина Виардо-Гарсиа. Л., 1973.
Петров С. М. И. С. Тургенев. Творческий путь. 2-е изд. М., 1979.
Липеровская С. На родине И. С. Тургенева. М., 1961.
Винникова Г. Тургенев и Россия. М., 1977.
Мостовская Н. Н. И. С. Тургенев и русская журналистика 70-х годов XIX века. Л., 1983.
Громов В. А. Предания «Бежина луга». Тула, 1969.
Курляндская Г. Б. И. С. Тургенев и русская литература. М., 1980.
Наумова Н. Н. Иван Сергеевич Тургенев. Л., 1976.
Бялый Г. А., Муратов А. Б. И. С. Тургенев в Петербурге. Л., 1968.
Афанасьев В., Боголепов П. Тропа к Тургеневу. М., 1983.
Тургеневские сборники Пушкинского дома АН СССР. I — 1964; II — 1966; III — 1967; IV — 1968; V — 1969; Тургенев и его современники — 1977; И. С. Тургенев. Вопросы биографии и творчества — 1982. И. С. Тургенев в воспоминаниях современников. В 2-х т. М., 1983.
Литературное наследство. Т. 73, кн. 1—2. Из парижского архива И. С. Тургенева. М., 1964.
Литературное наследство. Т. 76. И. С. Тургенев. Новые материалы и исследования. М., 1967.
Чалмаев В. Иван Тургенев. М., 1986.

В книге использованы материалы из личного архива орловского ученого-краеведа Р. М. Алексиной, иллюстрации, предоставленные ст. научн. сотрудником Музея И. С. Тургенева Л. А. Балыковой. Автор признателен ученым г. Орла за консультации и содействие в работе.

СОДЕРЖАНИЕ

ИБ № 6351

Лебедев Юрий Владимирович

ТУРГЕНЕВ

Заведующий редакцией **С. Лыкошин**
Редактор **О. Ярикова**
Младший редактор **А. Никитин**
Художественный редактор **С. Курбатов**
Технический редактор **В. Пилкова**
Корректоры **Н. Самойлова, Т. Контиевская**

Сдано в набор 30.06.89. Подписано в печать 20.02.90. А02751. Формат 80×108 1/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 31,92. + 2,52 вкл. Усл. кр. отт. 36,54. Учетно-изд. л. 37,6. Тираж 200 000 экз. (100 001 — 200 000 экз.) Цена 2 р. 70 к. Зак. 1778.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес: ИПО: 103030, Москва, Сущевская, 21.

ISBN 5-235-00789-1 (2 з-д.)